

№ 20.

Сборникъ „НИВЫ“

1906

116



КНИГА 20

ГИМНОЗИАТУРЫ

С.- ПЕТЕРБУРГЪ.



|       |          |       |
|-------|----------|-------|
| P1    | A2134    | Γ1695 |
|       | 20212    |       |
|       | KOB M.E. |       |
| A2134 | T.I.G    | 30    |

360

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗДНЕЕ  
указанного здесь срока

---



---

Шолнич. пред. выдач

---



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА].

20212

4809  
1950  
издание пятое.

Съ «Материалами для биографии М. Е. Салтыкова»,  
К. К. Арсеньева, и съ двумя портретами М. Е. Салтыкова.

68.

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

Г1695

42134

15

Приложение къ журналу „Нива“ на 1906 г.

С.-ПЕТЕРВУРГЪ.  
Издание А. Ф. МАРКСА.

1906.

Р1  
С/6

БИБЛИОТЕКА БОЛШОГО ДЕЛА  
БИБЛИОТЕКА БОЛШОГО ДЕЛА



Артистическое заведение А. Ф. МАРКСА. Измайловский просп., 29.



# ПЕСТРЫЯ ПИСЬМА.

(1884—1886 гг.).





## Письмо первое.

Несколько месяцев тому назадъ я совершенно неожиданно лишился употребленія языка. Не то чтобы даръ слова совсѣмъ оставилъ меня, но языкъ мой сдѣлался способенъ произносить только служительскія слова: «чего изволите?» «какъ прикажете», «не погубите!»—вотъ и все. А прежде я говоривъ довольно-таки смѣло. Напримеръ: «коли я ничего не сдѣлалъ, стало-быть и бояться мнѣ нечего»; или: «коли я никого не трогаю, стало-быть и меня никто не тронеть»... И вдругъ словно съ цѣпи сорвался: «не погубите!»

Сначала я испугался. Ежели простое физическое косноязычіе можетъ отравить человѣку жизнь, то еще болѣе отравляющихъ элементовъ заключаетъ въ себѣ косноязычіе нравственное. Со страхомъ спрашивалъ я себя: ужели изреченія, въ родѣ: «ежели я ничего не сдѣлалъ» и т. д., заключаютъ въ себѣ такой угрожающей смыслъ, для прекращенія котораго требовались бы натискъ и быстрота? Но ежели это такъ, то кто же можетъ поручиться, что со временемъ и такое изреченіе, какъ «ваше превосходительство, не погубите!»—не будетъ сочтено равносильнымъ призыву къ оружію?

Очевидно, это было новое и совсѣмъ особенное проявленіе внезапности, котораго я еще не испыталъ.

Внезапность не составляетъ для меня новости. Я родился на лонѣ ея, воспитывался подъ ея сѣнью и до такой степени съ ней освоился, что даже никогда не спрашивалъ себя, ушибетъ она меня или помилуетъ. Но я долженъ сказать, что до послѣдняго времени внезапность имѣла несовершенный, переходный характеръ, и это въ значительной мѣрѣ помогало уживаться съ нею. Внезапностей было много, и онѣ постоянно другъ друга побивали. Не-

легко было ориентироваться въ этомъ разнообразіи смыняющихся внезапностей, но при извѣстномъ навыкѣ все-таки можно было нѣчто угадать. Это называлось: «ловить моментъ». Поймать моментъ — пользуйся! Не поймаль — пеняй на себя! Игра была не весьма нравственная, но настолько замысловатая, что могла заинтересовать. Нынѣ эта переходная форма, очевидно, исчерпала все свое содержаніе. Внезапность окончательно отказалась отъ экспериментовъ въ сферу случайныхъ вѣяній, которая своюю противорѣчивостью подрывали ее; она сдѣлалась единою, неизмѣнною, сама себѣ довѣщаю. «Моменты» упразднены; ловить больше нечего.

Но это-то именно и пугало меня. Перспектива внезапного пріуроченія къ служительскимъ словамъ, безъ надежды, что придетъ другая внезапность и разрушить чары колдовства — эта перспектива казалась черезчуръ ужъ суровою. Неясная тревога сжимала сердце мучительными предчувствіями; душа тосковала, мысль безнадежно искала пропасти...

Однако прошель мѣсяцъ, прошель другой — и пелена сама собой спала съ моихъ глазъ. Недоразумѣнія исчезли, тревога утихла, а положеніе до такой степени выяснилось, что въ какую сторону ни оглянись — вездѣ лучше не надо быть.

Прежде всего я привыкъ, или, говоря точнѣе, принюхался. Нельзя было не принюхаться, потому что кругомъ вся атмосфера пропахла прочными служительскими словами. Я не утверждаю, что эти запахи сдѣлялись мнѣ достолюбезными, но они такой густой, непроницаемой массой заполонили весь мой домашній обиходъ, что незамѣтно для меня самого всѣ факторы моей жизнедѣятельности сами начали работать примѣнительно къ новой атмосфѣрѣ и подчиняясь ея давленію.

Я очень хорошо знаю, что привычка играетъ въ жизни человѣка роль по преимуществу бессознательную и что, следовательно, она, въ большинствѣ случаевъ, служить источникомъ безчисленныхъ недомыслій и даже безнравственостей; но вѣдь для того, чтобы чувствовать себя вполнѣ удобно въ атмосфѣре служительскихъ словъ, именно это и нужно.

Съ безнравственностью нельзя ужиться иначе, какъ съ помощью безнравственности же, съ безсмыслѣемъ — иначе, какъ при помощи безсмыслія.

Нужно такое счастливое стеченье обстоятельствъ, которое отняло бы у человѣка способность отличать добро отъ зла и заглушило бы въ немъ всякое представлѣніе объ отвѣтственности. Вотъ эту-то именно задачу и выполняетъ привычка. И при этомъ она выполняетъ ее совершеннѣе и съ несравненно меньшей суворостью, нежели другіе факторы, въ томъ же смыслѣ споспѣшивающіе, какъ, напримѣръ, трусость, измѣна, предательство и т. п.

И трусость, и измѣна, и предательство предполагаютъ извѣстную долю насилия и боли, и—что всего важнѣе—нимало не обезпечиваютъ отъ мучительныхъ пробужденій совѣсти, тогда какъ привычка обвиваетъ человѣка бархатной рукой и бережно и ласково погружаетъ его въ мягкое ложе безпечального служительского житія...

Любо дрѣматъ, варывшись подушѣ въ пуховики; любо сознавать, что эти пуховики представляютъ своего рода твердыню. Забравшись въ нее, человѣкъ не только освобождается отъ обязанности относиться критически къ самому себѣ и къ окружающей средѣ, не только становится на недосягаемую высоту патентованной благонамѣренности, но и дѣлается безответственнымъ передъ судомъ своей собственной совѣсти. Ибо о какомъ же судѣ совѣсти можетъ быть рѣчь, коль скоро сама совѣсть, вмѣстѣ со всѣми прочими опредѣленіями человѣческаго существа, потонула въ омутѣ привычки?..

Но, кромѣ привычки, въ дѣлѣ умиротворенія мнѣ много помогъ и опытъ. Опытъ—это, такъ сказать, консолидированный сводъ привычекъ прошлаго. Всѣ уступки, компромиссы, соглашенія, которыми такъ богата исторія личная и общая, всѣ малодушія, обходы и каверзы—все это складывается, по мѣрѣ осуществленія, въ кучу, надпись на которой гласить: опытъ или мудрость вѣковъ. Дѣйствія героическая, подвиги самоотверженія, факты, свидѣтельствующіе о беззавѣтной преданности идеѣ,—все это не болѣе какъ красивыя безумства, отъ которыхъ никакихъ подспорій въ жизни ожидать нельзя. Правда, что эти безумства освѣщаются тѣму будущаго, и что плодами ихъ несомнѣнно воспользуются грядущія поколѣнія; но вѣдь, съ одной стороны, подвижничество необязательно и не всякой можетъ его вмѣстить, а съ другой стороны—какъ еще на эти красивыя безумства поглядѣть: иное, быть-можетъ, полезительно, а другое, пожалуй, и неблаговременно. Тогда какъ въ той кучѣ, которая именуется мудростью вѣковъ, за что

ни возьмись—все полезительно. Трудность только въ томъ разѣ состоять, какъ разобраться въ кучѣ, чтобы вытащить именно ту бирюльку, которая какъ разъ впору. Но, во-первыхъ, все бирюльки болѣе или менѣе впору; а во-вторыхъ, въ данномъ случаѣ изъ затрудненія выручаютъ очень простые приемы, которые тоже освящены опытомъ, напримѣръ: загадъ, навыкъ, наметка, глазомѣръ...  
— Итако, — говорилъ Маркесъ, — можно, тоже, опытъ —

Итакъ, привычка—приготовила мягкое ложе; опыт—обставилъ его всевозможными подтверждениями прошлаго. Тѣ боли, которыя чувствовались вначалѣ, очень скоро утратили свою жгучесть въ виду цѣлой массы преданій, фактъвъ и анекдотовъ, которые въ одинъ голосъ вонзяли, что искони въ основе человѣческаго счастья лежали служительскія мысли и служительскія слова. Сущность этихъ мыслей и словъ формулируется кратко: «спасай себя!»—и человѣкъ, который серьезно посвятилъ себя осуществленію этой задачи и безъ заднихъ мыслей призналъ законность ея, можетъ быть заранѣе увѣренъ, что благополучіе его обеспечено. И—что всего важнѣе—обеспечено безъ особыхъ усилий. Ибо стоять только отдать себя во власть вцоли современности, и она сама собой устроить такую блаженную обстановку, при которой воистину ничего другого не остается, какъ воскликнуть (не съ мысленными оговорками, какъ бывало вѣкогда, а по сущей совѣсти и отъ полноты душевной): «ежели я ничего не дѣлаю—стало-быть и бояться мнѣ нечего!»

«Ничего не делаю» — это идеаль; но его все-таки не слѣдуетъ понимать буквально. Всмотримся ближе въ его содержаніе, и мы убѣдимся, что онъ вмѣщаетъ безконечное множество разнообразнѣйшихъ и дѣятельнѣйшихъ подробностей. Сегодня поютъ дѣвки въ «Аркадіи», завтра — будуть пѣть въ «Ливадіи», послѣ завтра — въ *Jardin des familles russes*. И у всякой дѣвки особы примѣты, о которыхъ во всѣ концы гласить стουстая молва. Сегодня пьянство у Донона, завтра — у Дюссо, послѣ завтра — у Бореля. Из-рѣдка — газетные столбцы, отъ которыхъ несеть исполнить бѣльемъ Чичиковскаго Петрушки...

Воть это-то именно и разум'ють, когда говорятъ: «ежели я ничего не дѣлаю, стало-быть...»

И совсѣмъ не такъ подиа эта жизнь, какъ думаютъ умные люди. Мудрость вѣковъ самыи несомнѣнныи образомъ свидѣтельствуетъ, что съ незапамятныхъ временъ такъ жили люди и не только не считали себя посрамленными,

но даже отъ времени до времени восклицали: «не постыдимся во-вѣкъ!» Воистину обольщаются себѣ тѣ, которые думаютъ, что такъ-называемое общество когда-нибудь волновалось высшими вождѣніями. Въ сущности, волновались только немногіе, и ужъ, конечно, никто не скажетъ, чтобы существованіе этихъ немногихъ сколько-нибудь напоминало о благополучіи. Почвенный же и русовой людъ всегда и неизмѣнно имѣлъ въ виду только служительское благополучіе. И онъ былъ по-своему правъ, ибо какая надобность изнывать надъ отыскиваніемъ новыхъ жизненныхъ идеаловъ, рискуя при этомъ прогнѣтить начальство и насыщить массу однокорытниковъ, тогда какъ существуютъ идеалы вполнѣ формулированные, ни отъ кого не возбраненные и для всѣхъ однокорытниковъ равно любезные?

Я знаю, что унылые люди все-таки не убѣдятся моими доводами и будутъ продолжать говорить: «стыдно!» Но что такое стыдъ?—спрашиваю я васъ. Предложите этотъ вопросъ любому прихвостню современности, и онъ, не обинаясь, отвѣтитъ: «стыдъ есть вывороченная наизнанку наглость». Или, говоря иными словами: и стыдъ, и наглость—игра словъ, въ которой то или другое выражение употребляется глядя по дѣлу. Поэтому, когда до слуха моего доходитъ слово: «стыдъ», то мнѣ всегда кажется, что мимо пролетѣла муха и, никого не обезпокоивъ, исчезла въ пространствѣ.

Итакъ, будемъ благополучны и не постыдимся. Къ этому приглашаютъ насъ привычка и опытъ, а, наконецъ, и разсужденіе... Да хоть и кажется съ первого взгляда, что въ атмосфѣрѣ служительскихъ словъ для разсужденія нѣтъ места, однако это справедливо лишь отчасти.

Разсужденіе бываетъ большое и среднее (малое, какъ черезчуръ обидное, пускай останется въ сторонѣ). Большое разсужденіе въ служительскомъ дѣлѣ не только не имѣть приложенія, но даже прямо препятствуетъ. Собственно говоря, его слѣдуетъ даже предварительно покорить, если хочешь удачно разрѣшить задачу: кто истинно счастливый человѣкъ? Случается, конечно, что и большое разсужденіе можетъ служить источникомъ чистѣйшихъ наслажденій; но тутъ уже предполагаются особенные люди и особенная, споспѣшствующая обстановка. Для людей среднихъ и при средней обстановкѣ потребно разсужденіе среднее. Оно одно укажетъ человѣку въ перспективѣ безопасное слу-

жительское счастье, одно поможет примириться съ этимъ счастьемъ и преподастъ средства для его осуществлениі.

Это среднее разсужденіе какъ разъ кетати явилось кому на помощь. Оно убѣдило меня, что прежде всего слѣдуетъ обеспечить безопасность процесса своего личнаго существованія. Жажда жизни, независимо отъ всякихъ обстановокъ (дурныхъ или хорошихъ), сама по себѣ столь существенна, что ей вполнѣ естественно подчиняются всѣ другія жизненные стремленія и опредѣленія. Жить надо—вотъ главное, хотя бы слово: «живь» было равносильно выражению: «маяться». Люди, которые годами изнемогаютъ подъ бременемъ неносильныхъ физическихъ страданій, люди, у которыхъ судьба отняла не только радости, но и самое обыкновенное спокойствіе,—и тѣ омертвѣлыми руками цѣпляются за жизнь и коснѣющимъ языкомъ твердятъ: «жизнь есть ликование». Жизнь—это жестокая неизбѣжность, и не всякому дано поднять противъ нея знамя бунта. Поэтому самая простая справедливость требуетъ, чтобы существа, надъ которыми вѣчно виситъ этотъ Дамокловъ мечъ, имѣли, по малой мѣрѣ, возможность принимать его удары безъ особеннаго изумленія.

Услуги средняго разсужденія въ этомъ случаѣ неоцѣнены. Оно съ необыкновенною ясностью убѣждаетъ, что жизнь обязательна, и затѣмъ указываетъ, для соглашенія съ нею, именно на тѣ средства, которыя въ данную минуту благовременны. Оно—не поведеть въ область эмпиреевъ, заблужденій и риска, а прямо предложить оголенную отъ всякихъ экскурсій жизнь, не блестящую и не особенно интересную, но зато общепризнанную и вполнѣ защищенную. Но, главное, оно докажетъ, что все старое, колеблющееся, дававшее только кажущійся просторъ, исчезло навсегда! Да-сь, навсегда-сь. Что корабли сожжены и, слѣдовательно, ничего другого не остается, какъ совсѣмъ забыть о томъ, что они когда-то были . . .

Такимъ образомъ, привычка—воспитываетъ и предрасполагаетъ; опытъ—свидѣтельствуетъ и подтверждаетъ; разсужденіе—убѣждаетъ и преподаетъ нужныя средства. Совокупность всѣхъ этихъ функций производить въ результатѣ—психологический моментъ.

Именно этотъ психологический моментъ и выручили меня въ трудную минуту.

Во-первыхъ, онъ ввѣль меня въ заколдованный кругъ патентованныхъ русскихъ пословицъ.

Во-вторыхъ, онъ убѣдилъ меня, что жизнь обязательна, и что сохранить и обеспечить спокойное теченіе ея можно только при помощи приспособленій, вполнѣ отвѣчающихъ требованіямъ современности.

Въ-третьихъ, онъ доказалъ, что какія бы усилия я лично ни употреблялъ, какъ бы широко ни захватывалъ, хотя бы даже «жегъ сердца глаголомъ» (на чѣмъ, впрочемъ, ни малѣйше не претендую)—все-таки изолировать меня можно во всякое время, и никто этого не замѣтитъ.

Таковы три элемента, при помощи которыхъ достигается современное человѣческое благополучіе. Но для того, чтобы послѣднее не оставалось только возможностью, но получило практическое осуществленіе, необходимо, чтобы упомянутые сейчасъ элементы были восприняты не только сознательно но и вполнѣ искренно. «Мало обличать—любить надо»,—прорицали когда-то наши «почвенники», тонко инсипиуруя, что обличеніе равносильно отсутствію патріотизма и измѣнѣ. Я же, отъ себя, въ превосходной степени прибавлю: «Мало любить; надо, сверхъ того, представить несомнѣнныя та-ковой любви доказательства». Разъ эти доказательства пред-ставлены—можно смѣло глядѣть въ глаза будущему.

Я не стану говорить здѣсь ни о пользѣ русскихъ пословицъ, въ качествѣ жизненнаго подспорья, ни о томъ, что принципъ самосохраненія искони служилъ главнымъ регуляторомъ поступковъ и дѣйствій почвенного человѣка; все это вещи общеизвѣстныя. Но не могу не остановиться на сколько подольше на вопросѣ о человѣческой изолированности,—вопросѣ тоже небезызвѣстномъ, но который на нашихъ глазахъ пріобрѣлъ очень рѣшительныя и рѣзкія формы.

Я личнымъ опытомъ основательно и безповоротно убѣдился, что человѣку, который живеть и дѣйствуетъ въ сферы служительскихъ словъ, ни откуда поддержки для себя ждать нечего. Сколько разъ, въ теченіе моей долгой трудовой жизни, я взывалъ: гдѣ ты, русский читатель, отклинись!—и право, даже сю минуту не знаю, гдѣ онъ, этотъ русскій читатель. По временамъ, правда, мнѣ казалось, что гдѣ-то просвѣчиваются какіе-то признаки, свидѣтельствующіе о самосознаніи и движеніи впередъ; но чѣмъ глубже я уходилъ въ ту страну терній, которая называется русской литературой, тѣмъ болѣе и болѣе убѣждался въ

бездности моих чаяний. Нѣть тебѣ, любезный читатель! еще не народился ты на Руси! Нѣть тебѣ, вѣтъ и нѣть.

Русскій читатель, очевидно, еще полагаетъ, что онъ самъ по себѣ, а литература—сама по себѣ. Что литераторъ по-писывается, а онъ, читатель, почитывается. Только и всего. Попробуйте сказать ему, что между нимъ и литературной профессіей существуетъ известная солидарность,—онъ взглянетъ на васъ удивленными глазами.—Ахъ, нѣты!—сказать онъ:—лучше я совсѣмъ не буду «связываться», чѣмъ добровольно наложу на себя какое-то обязательство!

И какъ скажетъ, такъ и сдѣлаетъ. И когда затѣмъ для писателя наступить трудная минута, то читатель въ подворотню шмыгнется, а писатель увидитъ себя въ пустынѣ, на пространствѣ которой тамъ и сямъ мелькаютъ одиночные сочувствователи изъ команды слабосильныхъ.

Это не вѣроломство, не предательство и даже, пожалуй, не трусость, но во вскомъ случаѣ несомнѣнно—бесѣдѣ.

Миѣ скажутъ, быть-можетъ, что у писателя должны быть въ запасѣ свои личныя силы, въ которыхъ онъ обязывается покерпать для себя устойчивость... Да, но какія же это силы, коль скоро самой простой мышеловки достаточно, чтобы обратить ихъ въ прахъ?

Спрашивается теперь: ежели ни изнутри, ни извнѣ нельзя ожидать для жизни защиты—гдѣ же ее искать? . . .

Именно такъ я и поступилъ. Сначала испугался, но затѣмъ очень быстро очнулся и безпрекословно погрузился въ пучину служительскихъ словъ.

Теперь я жуирую. Цѣлое лѣто провелъ въ переѣздахъ изъ Аркадіи въ Ливадію и кончилъ тѣмъ, что получилъ флюсъ. Это загнало меня въ зимнія квартиры, гдѣ, въ ожиданіи открытія Palais de Cristal, я перехожу отъ Дюссо къ Донону и отъ Донона къ Борелю. И хотя попрежнему «ничего не дѣлаю», но понимаю, что между прежнимъ моимъ ничего-недѣланіемъ и нынѣшнимъ—цѣлая бездна. Прежнее мое «ничегонедѣланье» означало фырканье, форыбаченіе, форсь, озорство; нынѣшнее—ровно ничего не означаетъ, но зато пользу приносить. Ибо ни въ Аркадію, ни къ Дюссо, ни въ Palais de Cristal—никуда я не могу прити безъ кошелька; а разъ кошелекъ при мнѣ, я тутъ же воочию вижу, какъ, благодаря ему, кругомъ расцвѣтастъ промышленность и сживляется торговля.

И я чувствую, какъ довѣріе, которое совсѣмъ-было утра-

тиль, вновь постепенно ко мнѣ возвращается. И дружественные мнѣ тайные союзники (въ теченіе длинной жизни я ихъ цѣлую сотню наловилъ), которые еще такъ недавно при встрѣчахъ обдавали меня холодомъ и говорили притчами, теперь вновь начинаютъ одобрительно кивать въ мою сторону, какъ бы говоря: еще одно усиление—и... ничего въ волнахъ не будетъ видно!

---

## Письмо второе.

Такъ какъ вы, вѣроятно, позабыли о происшествіи, которое въ юлѣ 1883 года взволновало весь петербургскій чиновничій міръ, то постараюсь вкратцѣ возстановить его въ вашей памяти. Пропалъ статскій союзникъ Никодимъ Лукичъ Передрягинъ. Жилъ онъ на дачѣ, на Сиверской станціи варшавской желѣзной дороги, и утромъ въ воскресный день пошелъ въ лѣсъ по грибы. Ушелъ и не возвращался. На другой день охотникъ изъ мѣстныхъ крестьянъ нашелъ въ лѣсу трехугольную шляпу и лукошко, до половины наполненное подосиновиками, и представилъ свою находку мѣстному уряднику. Оказалось, что эти вещи принадлежали Передрягину...

Такова голая фабула загадочной драмы, столь неожиданно омрачившей мирное теченіе дачной жизни. Я помню удручающее впечатлѣніе, которое произвело это происшествіе на сиверскихъ дачниковъ. Мѣсто это и сейчасъ довольно дикое. Нѣть въ немъ ни Аркадій, ни Ливадій и вообще никакихъ распутствъ, которыми экзаменуетъ себя вступившая въ свои права цивилизaciя. По всему правому берегу излучистой рѣчки, на далекое пространство тянется сплошной хвойный лѣсъ, и покуда только самая незначительная его часть подверглась захвату подъ дачи. Въ этомъ лѣсу великое изобиліе ягодъ, грибовъ, пернатыхъ и... звѣрей. Звѣрей множество, а ни городовыхъ, ни подчасковъ нѣть. Одинъ урядникъ на всю палестину—спрашивается: какую онъ можетъ представить защиту? Стало-быть, ежели даже зайцы составятъ злоумышленное общество съ цѣлью покиранія статскихъ союзниковъ, то и они имѣютъ возможность свое мерзкое намѣреніе привести въ исполненіе безпрепятственно. До тѣхъ поръ никто не сознавалъ возможности такой перспективы, но послѣ исчезновенія Передрягина

она представилась до того явною и въ то же время унизительною, что все лѣто прошло въ неописанной тоскѣ. Ночные прогулки при лунѣ прекратились; дѣвицы перестали ходить на станцію навстрѣчу женихамъ; дѣтямъ позволяли развиваться только въ виду дачныхъ балконовъ, и тутъ же, по какой-то странной ассоціаціи идей, мясникъ началь поставлять провизію очень сомнительного качества. Но когда, въ довершеніе всего, узнали, что у крестьянъ во ржахъ залегъ бѣглый солдатъ, то наняли по подпискѣ отрядъ калѣкъ, вооружили ихъ дубинами и приказали за восемь желтенькихъ бумажекъ въ мѣсяцъ защищать жизнь и достоиніе дачниковъ, такъ точно, какъ въ томъ передъ страшнымъ судомъ отвѣтъ дать надлежитъ. Но и за всѣмъ тѣмъ, какъ только дождались половины августа, такъ тотчасъ же всѣ разомъ потянулись въ городъ.

Въ Петербургѣ, между чиновниками, переполохъ оказался еще рѣшительнѣе. Прежде всего вопросъ ставился принципіально: ежели стали пропадать статскіе совѣтники, то чего же могутъ ожидать совѣтники титулярные и другіе? Очевидно, имъ предстоитъ исчезать поминутно, и притомъ безъ всякой обстановки, открыто, на виду у всѣхъ. Влѣзъ, напримѣръ, титулярный совѣтникъ въ вагонъ конки — и поминай какъ звали! Или: встрѣтился титулярный совѣтникъ на улицѣ, и только-что вы протянули ему руку — глядь, а его ужъ нѣтъ.

Кто же будегъ дѣла вершать? кто будетъ смазывать и пускать въ ходъ эту машину, которая, подобно громадному головоногу, присасывается ко всему, къ чему ни прикоснется ея всепроникающая щупальца? Ахъ, господа, господа! куда мы идемъ? гдѣ мы живемъ?

Но помимо принципіальной постановки вопроса, въ чиновническихъ волnenіяхъ очень важную роль играла и самая личность пропавшаго статского совѣтника. Передрягина любили, потому что онъ былъ малый на всѣ руки и имѣлъ бойкое перо. Когда требовалось мыслить либерально — онъ мыслилъ либерально; когда нужно было мыслить консервативно — онъ мыслилъ консервативно. Однажды онъ, по порученію, написалъ проектъ: «О расширеніи, на случай надобности, области компетенцій», а въ другой разъ, тоже по порученію, написалъ другой проектъ: «Или наоборотъ». А можетъ-быть, и оба проекта разомъ написать: какъ нашему превосходительству угодно? Сверхъ того, Никодимъ Лукичъ и въ частной жизни всѣмъ сумѣлъ угодить: быть

привѣтливъ, гостепріимъ, любилъ угостить. И жена у него была бѣлая и разсыпчатая, и называлась Акулиной Ивановной. Каждое воскресенье утромъ бывали у нихъ пироги, а вечеромъ на шести столахъ играли въ винтъ. На одномъ столѣ—тайные совѣтники, на двухъ—дѣйствительные статскіе, на трехъ—статскіе. Прочие же чины, собравшись въ гостиной, говорили Акулинѣ Ивановнѣ комплименты. И въ заключеніе: «милости просимъ на дорожку закусить!» Разумѣется, эти *jours fixes* начинались только съ открытиемъ осеннаго сезона, такъ что, собственно говоря, исчезновеніе Передрягина до половины сентября было бы, пожалуй, и не очень чувствительно, но кто же можетъ по ручиться, что къ сентябрю онъ отыщется? Въ виду такой невзгоды кровь застыла въ жилахъ чиновниковъ, и они, позабывть стыдъ, открыто обвиняли начальство въ бездѣйствіи. Такъ что не было во всемъ Петербургѣ того статскаго совѣтника, который бы, при встрѣчѣ съ другимъ статскимъ совѣтникомъ, не вопіалъ во всеуслышаніе: «куда же мы, однако, идемъ?»—и въ отвѣтъ на этотъ вопль не услышать бы: «да, батюшка, идемъ! Идемъ, сударь, идемъ».

Съ своей стороны, и публицистъ Скомороховъ не преминулъ подкинуть угольковъ въ разгорѣвшуюся суматоху. Въ длинной передовицѣ: «Куда мы идемъ?» (этотъ вопросъ нынѣ сдѣлался чѣмъ-то въ родѣ кошмара) онъ доводилъ до свѣдѣнія публики о новомъ дерзкомъ подвигѣ враговъ порядка и приписывалъ исчезновеніе Передрягина интригамъ газеты «Чего изволите?». Возникла полемика. Газета «Чего изволите?» на первый разъ отвѣтила довольно игриво. Съ одной стороны, она категорически отрицалась отъ всякаго участія въ столь преступномъ дѣлѣ, но, съ другой стороны, ей видимо было лестно, что на нее взводятъ именно *такую* напраслину. Стало-быть, и она не лыкомъ шита; стало-быть, и она свою лепту... не въ этомъ дѣлѣ, конечно, но вообще... Это малодушное стремленіе за одинъ разъ поймать двухъ зайцевъ очень ловко подмѣтила газета «Нюхайте на здоровье!» и, нимало не медля, обострила формулированное Скомороховымъ обвиненіе, снабдивъ его нѣкоторыми ядовитыми выдержками, изъ которыхъ половину, впрочемъ, выдумала сама. Тогда «Чего изволите?» обидѣлась и сказала, что это, наконецъ, подло; а «Нюхайте на здоровье!» отвѣтала: «И я знаю, что подло,—давно ужъ мнѣ всѣ говорятъ, что я подлая,—да вѣдь это къ дѣлу не относится; а вотъ какъ-то вы насчетъ статского совѣтника Передрягина отвѣ-

тите? Кто его предательски выкрадъ, и гдѣ онъ въ настоящую минуту находится? Ась?»

Словомъ сказать, полемика приняла обычный по обстоятельствамъ времени характеръ и, быть-можеть, кончилась бы безвременною гибелью газеты «Чего изволите?», если бы Передрягинъ самъ не выступилъ на сцену, чтобы положить предѣлъ безпокойствамъ, возникшимъ по его поводу.

На-дняхъ онъ возвратился на свою квартиру въ Гусевомъ переулкѣ, проживъ въ безвестной отлучкѣ ровно годъ и четыре мѣсяца. Судя по его разсказу, исчезновеніе его произошло самимъ естественнымъ образомъ.

Будучи страстнымъ охотникомъ до грибовъ, рано утромъ въ праздничный день онъ отправился въ лѣсъ. Тамъ онъ до такой степени увлекся своей страстью, что незамѣтно углубился въ самую чащу. И вдругъ, въ то самое время, когда его взору предстало цѣлое море разнообразившихъ тайнобрачныхъ, онъ почувствовалъ, что кто-то сильно ударили его по плечу. И въ то же время чье-то горячее дыханіе обдало его лицо.

То былъ медвѣдь. Натурально, Передрягинъ свѣта не ввидѣть. Въ одно мгновеніе передъ нимъ пролетѣла вся его жизнь и тутъ же утонула въ какой-то зіяющей бездѣ. Эта бездна знаменовала смерть. Хотя онъ зналъ, что всѣ люди смертны, а слѣдовательно и Кай смертенъ; хотя, сверхъ того, онъ былъ вполнѣ увѣренъ, что его вдовѣ будетъ назначена пенсія вѣрѣ правиль,—однако мысль о роковомъ концѣ все-таки нерѣдко заставляла его вздрагивать. Онъ любилъ начальство, любилъ жену, любилъ широги и понималъ, что pallida шог однѣмъ приосновеніемъ своей косы можетъ навсегда обратить въ прахъ и его самого, и предметы его привязанностей. Встрѣтившись теперь со смертью такъ близко, онъ стоялъ какъ окаменѣлый и, ничего не понимая, смотрѣлъ медвѣду въ глаза. Но прошла минута, другая, и медвѣдь не только не отнималъ у него жизни, но привѣтливо и тихо рычалъ, какъ бы стараясь вташить къ себѣ довѣрѣ. И въ заключеніе, повернувшись Передрагина лицомъ къ востоку, вполнѣ отчетливо произнесъ: «айдѣ!»

Шли они трое сутокъ силошнымъ лѣсомъ, и въ теченіе всего времени медвѣдь всячески покорилъ и оберегалъ своего пѣвицы. Питалъ онъ его ягодами и дивімъ медомъ; но когда Передрягинъ жестами объяснилъ, что этого недостаточно, тогдѣ сбѣгалъ за десять верстъ въ помѣщичью

усадьбу и укралъ съ плиты жаренаго поросенка. Даже спички и папиросы у него за пазухой нашлись, такъ что и эта прихоть была предусмотрѣна и удовлетворена. А дляnochлеговъ медвѣдь выбиралъ моховых болота и, уложивъ Передрягина на мягкомъ ложѣ, самъ, не смыкаючи очей, караулилъ его на случай внезапнаго нападенія. Словомъ сказать, приключение получило такую комфортабельную обстановку, что, даже будучи въ вагонѣ второго класса, Никодимъ Лукичъ такъ не журироваль.

На четвертыя сутки волшебное арѣлище открылось глазамъ Передрягина. На обширной полянѣ, съ трехъ сторонъ окруженнѣй лѣсомъ, а съ четвертой упирающейся въ озеро, копошилось несмѣтное количество медвѣдей. Повидимому, это былъ народъ веселый, потому что всѣ поголовно находились въ движениі: рѣзвились, бѣгали взапуски, кувыркались, играли въ чехарду и т. д. Но болѣе всего удивило плѣнника то, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пылали костры. «Ежели есть костры,—весело сказалъ онъ себѣ:—то должны быть и котлы; а ежели есть котлы, то должна быть и кашница». И сердце его окончательно взыграло, когда онъ увидалъ, что изъ толпы отдѣлились два человѣка въ вицмундирахъ и направились къ нему.

О, радость! то были два сослуживца Передрягина, тоже статскіе совѣтники и въ той же мѣрѣ, какъ и онъ, оправдывавшіе довѣріе начальства. Оба завѣдавали отдѣленіями: одинъ—Семенъ Михайловичъ Неослабный—отдѣленіемъ завязыванія узловъ, другой—Петръ Самойлычъ Прелестниковъ—отдѣленіемъ развязыванія таковыхъ. Совмѣстное существованіе обоихъ отдѣленій представлялось чрезвычайно полезнымъ, потому что какъ только, бывало, Семенъ Михайловичъ завяжетъ узелокъ, такъ Петръ Самойлычъ сейчасъ его развязаетъ, а потомъ Семенъ Михайловичъ опять завяжетъ, а Петръ Самойлычъ опять развязаетъ. А покуда они дѣлали свое дѣло, Никодимъ Лукичъ похаживалъ и отмѣчалъ: узель первый, узель второй и т. д. И когда замѣтокъ накоплялось достаточно, то изъ нихъ составлялась «статистика узловъ, сколько таковыхъ завязано и сколько развязано, а для чего—неизвѣстно». Въ заключеніе же подводился балансъ: приходъ съ расходомъ вѣренъ, и въ кассѣ—ничего.

Всѣ трое жили душа въ душу и всѣ трое были счастливы и къ повышенію достойны. Въ этомъ волшебномъ мірѣ, гдѣ одни пишутъ проекты «Или наоборотъ», другие—завязываютъ узлы, третьи—развязываютъ ихъ, а четвертые

радостно потирают руки, воскликая: «приходь съ расхомъ въренъ!»—въ этомъ мірѣ и Передрягинъ, и Неослабный, и Прелестниковъ не только чувствовали себя какъ рыба въ водѣ, но были серьезно убѣждены, что всякая попытка выйти изъ него есть бунтъ и потрясеніе основъ.

Такъ вотъ съ какими ребятами привезъ Богъ встрѣтиться Передрягину. Оказалось, что Неослабный нанималъ дачу на Судѣ и былъ выкраденъ, три недѣли тому назадъ, почюю прямо съ постели. Прелестниковъ же проводилъ лѣто въ окрестностяхъ Луги и назадъ тому съ мѣсяцемъ взять съ прогулки въ глазахъ урядника и уведенъ въ плѣнъ. Но такъ какъ оба они числились въ отпуску, то въ Петербургѣ до сихъ поръ ихъ исчезновеніе не было известно.

— Здѣшніе медведи совсѣмъ особенные,—сказалъ Неослабный послѣ первыхъ радостныхъ изліяній:—много они нашего брата въ плѣну держать. А двѣ недѣли тому назадъ даже полковницкую вдову Волшебнову, да не одну, а съ племянницей Клеопатриной, прямо съ поѣзда сняли и привели.

— Для чего же мы имъ занадобились?—полюбопытствовалъ Передрягинъ.

— Для реформъ. Народъ молодой; на волѣ жить захотѣли—вотъ и скучно показалось въ скотскомъ видѣ оставаться; реформъ захотѣлось. А сами собой совершилъ не умѣютъ.

— Какія же такія реформы они затѣваютъ.

— Да какъ вамъ сказать... всего хочется! А что именно для нихъ полезнѣе—это ужъ мы должны опредѣлить. Вотъ я—полицію реформирую, а коллега мой—по части юстиції реформы какъ блины печетъ. Помаленьку до понемножку,—можетъ-быть, со временемъ и польза выйдетъ. Три недѣли тому назадъ обѣ огнѣ въ здѣшнемъ мѣстѣ и не слыхать было, а теперь смотрите, какіе костры горятъ!

— Но какіе же вы имѣете виды... напримѣръ, по части юстиції?

— Насчетъ юстиції мнѣнія въ здѣшнемъ лѣсу раздѣлились. Одни говорятъ: «для насть и палокъ достаточно»; другие: «надо завести настоящіе суды, какъ на Литейной». Вотъ Петръ Самойлычъ и смекаетъ: палки—само собой, а судъ—само собой. Чтобы всѣмъ было хорошо.

— А по финансовой части они статского советника Нечетникова залучили,—перебилъ Прелестниковъ:—этотъ имъ деньги съ картинками печатаеть. И экономистъ у нихъ

есть. Этот говорить: прежде всего нужно, чтобы торговый балансъ былъ. Да спросъ, да предложеніе, да раздѣленіе труда, да накопленіе богатствъ, а объ распределеніи мы въ слѣдующій разъ поговоримъ. Когда все это у васъ будетъ, тогда, моль, вы будете жить по-благородному!

— Къ сухопутной части они капитана Пѣшедралова приспособили, а къ морской—лейтенанта Жевакина. Жевакинъ надѣнеть мѣшокъ съ козой, а Пѣшедраловъ въ барабанъ бѣгъ, а они представляютъ, какъ малые ребята въ полѣ горохъ воруютъ. Это, изволите видѣть, они до непріятеля ползкомъ добираются, врасплохъ его хотятъ застать.

— И для дамъ у нихъ дѣло нашлось: полковница молодыхъ медвѣдицъ жеманиться учить, а Клеопатринька «науку о женихахъ» преподаетъ.

— Ну, а я-то зачѣмъ понадобился?

— Должно полагать, что конституції писать заставлять. Давненько они по департаментамъ человѣчка для конституцій ищутъ; сеймъ у нихъ на всякий случай ужъ заведенъ. Сеймъ-то есть, а конституцій нѣтъ—вотъ и выходить, что всѣ ихъ рѣшенія какъ будто незаконны...

Вспомнилъ Никодимъ Лукичъ свои департаментскіе труды по части конституціи и мысленно сказалъ себѣ: «Ну, это еще не ахти что! Дѣло знакомое, я его въ одинъ часъ кругомъ пальца обведу!» Однако дальний свѣдѣнія, полученные отъ друзей, заставили его задуматься. Во-первыхъ, конституцію предстояло писать на-двоє: лѣгнью, какъ медвѣди должны поступать, когда на волѣ по лѣсу ходятъ, и зимнюю, какіе они сны должны видѣть, когда въ берлогѣ лапу сосутъ. Во-вторыхъ, и правительства настоящаго у этихъ новоявленныхъ реформаторовъ не было: ни президента, ни отвѣтственныхъ министровъ. Вместо всего этого существовала какая-то самочинная юнта, состоявшая изъ пяти самыхъ проказливыхъ медвѣдей, которые по вопросу о пользѣ конституцій не только разноголосили, но каждый, съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ, нарочно мычалъ по-своему, въ пику остальнымъ.

Всю эту разноголосицу предстояло уладить. Однимъ—вторить въ тонъ, другихъ—ловкимъ образомъ провести, остальныхъ—«обломать». Всѣ эти «штуки» были известны Передрягину, по департаментской практикѣ, какъ свои пять пальцевъ; но онъ уже не скрывалъ отъ себя, что труда предстоитъ много, труда серьезнаго, упорнаго.

Я не буду подробно рассказывать о ходѣ занятій статскаго советника Передрягина. Во-первыхъ, это привело бы меня къ опѣнкѣ конституцій, чѣмъ, по моему убѣженію, не благовременно и щекотливо. Во-вторыхъ, сколько мнѣ известно, Никодимъ Лукичъ самъ приготовляется къ выпуску въ свѣтъ обширное сочиненіе подъ названіемъ: «Годь въ плену въ странѣ Топтыгинъхъ», и я не желалъ бы, чтобы этотъ почтенный трудъ, благодаря моей нескромности, утратилъ интересъ новизны.

Тѣмъ не менѣе отъ некоторыхъ позаимствованій я все-таки воздержаться не могу.

Прежде всего я долженъ засвидѣтельствовать, что Передрягинъ вѣль свое дѣло крайне осторожно и умно, и подъ конецъ даже проявилъ не совсѣмъ обыкновенную твердость души. Какъ человѣку опытному и проницательному, ему неоднократно представлялся вопросъ: что, въ сущности, означаетъ его внезапное, почти волшебное появление въ странѣ Топтыгинъхъ? Игра ли это простого случая, или же тутъ слѣдуетъ видѣть косвенную командировку, устроенную съ вѣдома начальства и даже по инициативѣ его? Нерѣдко начальство задается цѣлями, опубликованіе которыхъ считается неблаговременнымъ, и потому для достиженія ихъ прибѣгаешь къ косвеннымъ командировкамъ... Ежели это такъ,—а Передрягинъ все больше и больше склонялся къ убѣженію, что именно такъ,—то, очевидно, ему предстоитъ сообщить своимъ дѣйствіямъ такое направление, чтобы впослѣдствіи, давая о нихъ отчетъ, онъ могъ ожидать не порицанія, а одобренія своего начальства. Однимъ словомъ, онъ рѣшился дѣйствовать, *не забывая впередъ, но и не отступая назадъ*. Ни тру, ни иу.

Въ этихъ индахъ, онъ первоначально внесъ въ сеймъ свой проектъ: «Или наоборотъ», какъ уже бывшій въ разсмотрѣніи и не приведенный въ дѣйствіе лишь за ненаступленіемъ благопріятной минуты. Впечатлѣніе, произведенное проектомъ, было очень хорошее. Онъ приходился какъ разъ впору Топтыгинъмъ, такъ что если бы при этомъ еще вѣпѣти членамъ сейма по десятку горяченькихъ, то наѣрное они приняли бы «Передрягинскую конституцію» *par acclamation*. Но тутъ вмѣшилась полковница Волшебнова, поддержанная Жевакинъмъ, и стала доказывать, что предложеніе Передрягина находится въ прямомъ противорѣчіи съ «наукой о женихахъ»...

Говоря по совѣсти, никакихъ особыхъ противорѣчій

не было, и оппозиція Волшебновой имѣла совсѣмъ другую подкладку, весьма наказистую. Дѣло въ томъ, что на первыхъ порахъ Передрягинъ имѣлъ неосторожность повздорить съ Жевакиномъ, а Волшебнова между тѣмъ разсчитывала выдать за послѣдняго Клеопатриньку. Въ сущности, пререканіе вышло изъ-за пустяковъ, такъ что если-бъ Никодимъ Лукичъ могъ предвидѣть послѣдствія, то, конечно, сдержалъ бы себя. Рѣчь шла о предстоящей постройкѣ кораблей. Для Топтыгинахъ это дѣло было совершенно новое, да, признаться сказать, едва ли и нужное; однако, такъ какъ имъ брюхомъ захотѣлось флотъ, то Жевакину было поручено представить необходимыя къ осуществленію сего предположенія. Но когда Жевакинскій докладъ поступилъ въ сеймъ, то произошли весьма важныя разногласія. Передрягинъ доказывалъ, что корабли, ради прочности, нужно строить изъ картона съ небольшимъ лишь прибавленіемъ хорошей бумаги (докладной); Жевакинъ же, ища популярности и желая какъ можно скорѣе стать во главѣ флота, утверждалъ, что предлагаемый Передрягинымъ способъ слишкомъ медленъ и обременителенъ для казны, и что на первый разъ можно удовольствоваться кораблями изъ старой афишечной бумаги. «Но будуть ли таковые для супостатовъ вредительны?»—не безъ ядовитости спросилъ Передрягинъ и однимъ этимъ вопросомъ сразу «провалилъ» Жевакинскій проектъ...

Эту неудачу Волшебнова принялъ къ сердцу и поклялся отомстить. И въ данную минуту исполнила свою клятву. Съ помощью искусственныхъ діалектическихъ пріемовъ и нѣсколькихъ ловкихъ передержекъ она сорвала сеймъ и провалила Передрягинскую затѣю навсегда.

Тогда Никодимъ Лукичъ сдѣлалъ очень ловкій ходъ. До ноября онъ провелъ время въ экивокахъ; но какъ только на землю падъ первый снѣгъ, онъ тотчасъ же изготовилъ «зимнюю конституцію» и внесъ ее въ сеймъ. Конституція заключала только одну статью: «Съ наступленіемъ зимы всякий да залижетъ въ берлогу и да сосетъ лапу». Разумѣется, интрига и тутъ съ обычною наглостью начала доказывать, что предложенный Передрягинымъ проектъ есть не чѣмъ иное, какъ подвохъ, пущенный съ цѣлью окончательно похоронить конституціонный вопросъ; но было уже поздно. Берлоги стояли уже совсѣмъ готовыя, и большинство Топтыгинахъ ходило сонное, мечтая единственно объ удовольствіяхъ предстоящей спячки. Благодаря этому вѣя-

пю, «зимняя конституція» прошла громаднымъ большинствомъ, и принятіе ея ознаменовалось обычными празднествами. Выкатили народу нѣсколько бочекъ краденаго вина и наняли хоръ сибирской пѣти пѣсни. Но соловьевъ, за сурвымъ временемъ, добыть не могли.

Зима прошла благополучно. Охотничихъ облавъ въ этой мѣстности не бываетъ, и Топтыгины наслаждаются таюю обезпеченністю, какая и людямъ не всегда достается въ удѣль. Но что всего замѣчательнѣе — и статскіе совѣтники, увидѣвъ себя среди этого соннаго царства, не выдержали.

«Сначала мнѣ сіе удивительнымъ казалось,—пишетъ по этому поводу Передрягинъ: — какъ это живы существа почти половину года во снѣ проводять; но такъ велико было обаяніе внезапно обступившей насть тишины, что и мы съ товарищами, какъ ни крѣпились, но недѣли черезъ двѣ тоже вынуждены были общему примѣру послѣдовать. А въ томъ числѣ и госпожа Волшебнова съ родственницей».

Тѣмъ не менѣе, съ наступленіемъ весны, конституціонный вопросъ, силою обстоятельствъ, настойчивѣе прежняго выступилъ на очередь. Топтыгины вышли изъ берлогъ и не знали, какъ поступать. Ибо зимняя конституція предвидѣла только сосаніе лапы, а такой конституціи, которая бы о прочихъ поступкахъ упоминала, пришасено не было. Приступили къ Передрагину; но послѣдній, освѣжившись четырехмѣсячнымъ отдыхомъ, понялъ, что почва, на которую ему предстоитъ вступить, далеко не безопасна. Сверхъ того, онъ вспомнилъ, что, будучи уже однажды призванъ къ отвѣту по поводу проекта о расширениіи компетенцій, онъ и тогда избѣгнулъ ответственности единственно потому, что даль начальству клятву ни о какихъ компетенціяхъ впередъ не помышлять. Сообразивъ все это, онъ принялъ безоворотное рѣшеніе. Безъ запальчивости, но твердо онъ заявилъ, что для существъ, которыхъ для реформъ отыскиваютъ по департаментамъ статскихъ совѣтниковъ, совершенно достаточно одной зимней конституціи. «Есть народы и починце вѣсть,—сказалъ онъ: — но и тѣ довольствуются зимней конституціей и подъ сѣнью ея благополучно почиваютъ». Словомъ сказать, на всѣ топтыгинскія настоянія отвѣтилъ рѣшительнымъ отказомъ.

Услышавъ это, Топтыгины совсѣмъ ошалѣли. Произошли волненія и даже неистовства, въ которыхъ, къ сожалѣнію, не послѣднюю роль играла полковница Волшебнова. Никодимъ Лукичъ пострадалъ

Нужно прочитать въ подлинникѣ скорбную повѣсть этихъ страданій, чтобы получить понятіе о томъ запасѣ нравственной чистоты, которымъ долженъ быть обладать безвѣстный статскій совѣтникъ, вознамѣрившійся лучше похертовать своею популярностью, нежели нарушить данную клятву. Но пусть читатель узнаетъ объ этомъ изъ сочиненія самого Передрягина. Я же скажу здѣсь кратко: все лѣто прошло въ поступкахъ самаго безумнаго свойства. Тонтыгины, не получивъ удовлетворенія въ главномъ своемъ домогательствѣ, и къ прочимъ реформамъ сдѣлались равнодушны; они твердили одно: «зачѣмъ намъ суды, зачѣмъ кутузка, зачѣмъ балансъ, колѣ скоро мы не понимаемъ, по какой причинѣ и на какой предметъ?»

Вообще я долженъ сознаться, что вся эта исторія представлялась бы очень странною и исполненною всякаго рода загадочностей, если бы Передрягину не удалось, наконецъ, выяснить, въ чемъ собственно заключался ея секретъ. Съ теченіемъ времени, все болѣе и болѣе всматриваясь въ окружающую его среду, онъ сдѣлалъ открытие чрезвычайной важности. А именно, уѣдился и неопровергимыми фактами доказалъ, что существа, державшія его въ плѣну, совсѣмъ не медведи, а особаго рода «братушки», которые еще въ древности самочинно развелись въ глухой мѣстности Лужскаго уѣзда и доднесъ тамъ жуиругуть, уклоняясь отъ выполненія рекрутской повинности и платежа податей. Многіе вѣка они жили въ дикомъ состояніи, не имѣя прочныхъ жилищъ, не заводя ни полиції, ни юстиції, ни народнаго просвѣщенія и не подавая о себѣ ревизскихъ сказокъ, какъ вдругъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, очнулись безъ повода и даже безъ надобности, сами не зная зачѣмъ. И узнавъ, что въ Петербургѣ есть статскіе совѣтники, которые умѣютъ для братушекъ конституціи писать, стали подыскивать и для себя таковыхъ.

Я не буду перечислять здѣсь факты, приводимые Передрягінимъ въ доказательство справедливости сдѣланныхъ имъ открытий. По мнѣнію моему, эта справедливость всего лучше подтверждается катастрофою, которую въ концѣ концовъ разрѣшилась эта суматоха.

Извѣстно, что когда жизнь начинаетъ предъявлять требованія, то вмѣсть съ тѣмъ въ обществѣ обнаруживается броженіе. Броженіе это преимущественно выражается въ появлениіи безчисленнаго множества разномастныхъ политическихъ партій, которыхъ не пренебрегаютъ никакими сред-

ствами, чтобы подсидѣть другъ друга. Въ особенности же ожесточенно и даже безчестно дѣйствуетъ въ этихъ слу-  
чаяхъ партія старыхъ, отживающихъ порядковъ. Соста-  
вленная изъ людей мелко-самолюбивыхъ, съ потухшими  
сердцами, воспитанная въ дурныхъ привычкахъ ябеды,  
своекорыстія и любонаачалія, растерявшая, въ теченіе про-  
должительной и бесплодной житейской суматохи, всякій  
жизненный смыслъ и всѣ человѣческія побужденія, кромѣ  
одного: злобы,—эта партія на первыхъ порахъ лицемѣрно  
подлаиваетъ къ заставшему ее врасплохъ движенію и за-  
тѣмъ коварно подстерегаетъ всякое колебаніе, всякій оши-  
бочный шагъ, чтобы броситься на своихъ противниковъ и  
моментально ихъ задушить.

Такого рода старовѣрческая партія существовала и среди  
братушекъ Лужскаго уѣзда.

Топтыгинское возрожденіе изумило старовѣровъ своюю  
неожиданностью и испугало крайнею живостью своихъ пер-  
выхъ проявлений. Тѣмъ не менѣе они притворились под-  
чинившимися и даже старались выказать самихъ себя въ  
возможнѣи смирнѣи и даже презрѣнїи видѣ. Но въ дѣй-  
ствительности они только выжидали благопріятнаго мо-  
мента и, постепенно переходя отъ одного коварства къ  
другому, то подстрекая, то съя вражду, вошли, наконецъ,  
въ секретные переговоры съ мѣстнымъ урядникомъ.

И—увы!—я не могу скрыть, что душою и руководите-  
лемъ этого предательства былъ статскій советникъ Нико-  
димъ Лукичъ Передрягинъ...

Времена созрѣли.

Въ концѣ минувшаго сентября, ровно черезъ четырина-  
дцать мѣсяцевъ послѣ пѣненія Передрягина, въ ту ми-  
нуту, когда неурядица среди топтыгинского племени до-  
стигла размѣровъ поистинѣ нетерпимыхъ, до веселой по-  
ляны, обитаемой братушками, донеслись звуки приближаю-  
щагося колокольчика. Топтыгины тотчасъ же догадались,  
что эти звуки возвѣщаютъ прѣбѣдѣ изъ Луги начальства...

Переборка пошла очень быстро. Зачинщики сейчасъ же  
были отданы и препровождены; прочие братушки — тща-  
тельно переписаны и внесены въ ревизскія сказки. Затѣмъ  
имуществу Топтыгина была произведена опись и оценка,  
при чёмъ открыты складъ воровскихъ вещей, изъ коихъ из-  
которыхъ, какъ, напримѣръ, двадцать дюжинъ дамскихъ каль-  
сонъ, очевидно, были украшены по недоразумѣнію. Оцѣ-  
ненъ быть и громадный запасъ еловыхъ шишекъ, между

которыми оказалось и нѣсколько геморроидальныхъ. Этаъ плодъ многолѣтняго труда цѣлаго племени былъ опечатанъ и сданъ подъ расписку старѣйшинѣ, съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи найти для него сбыть на иностраннѣхъ рынкахъ. Что касается до статскихъ совѣтниковъ и прочихъ инструкторовъ, то ихъ съ первымъ же поѣздомъ отправили въ Петербургъ для распределенія по подлежащимъ вѣдомствамъ. И въ заключеніе, съ полковницей и ея родственницей было поступлено по произволенію.

Замѣчательно, что при этой переборкѣ всего больше пострадали вожаки изъ партіи старовѣровъ. Хотя нельзя было отрицать, что казенный интересъ, столь продолжительное время поруганный, лишь благодаря ихъ рвению, вступилъ, наконецъ, въ свои права, но, съ другой стороны, чувство справедливости убѣждало, что старовѣры дѣйствовали въ этомъ случаѣ не столько за совѣсть, сколько за страхъ. Въ сущности, вѣдь они-то, по преимуществу, и поддерживали въ теченіе столѣтій тотъ порядокъ венцей, который помогалъ Топтыгинамъ уклоняться отъ рекрутства и отъ платежа податей. Стало-быть, совсѣмъ не усердіе, а только злоба, вызванная утратой привилегированаго положенія, сдѣлала ихъ поборниками казеннаго интереса.

Сегодня вы усердіе и покорность выказываете,—сказалъ имъ урядникъ Справедливый, на котораго были возложены всѣ труды по возсоединенію заблудшихъ братушекъ:—а завтра вы опять начнете кляузничать и отвиливать отъ узаконенныхъ властей!

Однимъ словомъ, воздаяніе было полное и справедливо. А черезъ мѣсяцъ къ братушкамъ была проведена столбовая дорога, и на каждую берлогу выданъ отдѣльный окладной листъ. Такъ что въ настоящее время ни урядникъ, ни сборщикъ податей уже не встрѣчаются больше препятствій при исполненіи своихъ обязанностей.

И живугъ-себѣ Топтыгина какъ у Христа за пазушкой. Смирно, благородно, безъ конституцій.

---

Чтѣ жесталось съ Передрягинамъ? получить ли онъ за свою твердость соотвѣтственную награду? — спросить меня читатели.

Какъ это ни прискорбно, но на послѣдній вопросъ я могу отвѣтить только отрицательно. Почтенѣйший Никодимъ Лукичъ не только не получилъ награды, но даже вынужденъ былъ подать въ отставку.

Причиною всему было слово: «конституція».

Хотя и Прелестниковъ, и Неослабный, по совѣсти, за- свидѣтельствовали о неуклонной борьбѣ Передрягина съ конституціоналистами, но они не могли скрыть, что въ первое время своего пленна Никодимъ Лукичъ довольно- таки ходко пошелъ навстрѣчу тонтыгинскимъ затѣямъ, и что во всякомъ случаѣ онъ, а не кто другой, былъ авторомъ пресловутой «зимней конституціи», которая на цѣлыхъ полгода отдала раскрытие злонамѣренныхъ укрыва- тельствъ, грозившихъ казнью безвременнымъ оскудѣніемъ.

Разумѣется, распоряженіе не замедлило.

Теперь Передрягинъ скромно живетъ съ своею Акули- ной Ивановной и довольствуется обществомъ титуларныхъ совѣтниковъ. Статскіе совѣтники его опасаются; дѣйстви- тельные статскіе совѣтники хотя и не выказываютъ явной боязни, но дѣйствуютъ на-двое. Что же касается тайныхъ совѣтниковъ, то они просто-на-просто дразнятся: «консти- туціоналистъ! конституціоналистъ!»

Тѣмъ не менѣе Передрягинъ не унываетъ и даже, пови- димому, совсѣмъ примирился съ своимъ новымъ званіемъ. На-дняхъ я его встрѣтилъ идушимъ въ контору «Поли- цейскихъ Вѣдомостей», куда онъ несъ, для опубликованія, объявление. Объявление это гласило:

НОВОСТЬ!! СТАТСКІЙ СОВѢТНИКЪ ПЕРЕДРЯГИНЪ!!!

(Знаменская, Гусевъ переулокъ, 29).

Иаготовлять КОНСТИТУЦІИ для всѣхъ странъ и во всѣхъ смыслахъ. Проектируеть реформы судебныя, земскія и иные, а равно ходатайствуєть обѣ упраздненій таковыхъ. Имѣть аттестаты. Вознагражденіе умѣренное. Согласенье въ отъездъ.

И вы увидите, что объявление это, чего доброго, возы- мѣть дѣйствіе, и Передрягинъ получить заказъ.

### Письмо третье.

Чаше и чаше приходится слышать, что жить становится скучно и тяжело. И нельзя сказать, чтобы эти сѣтованія были безосновательны. Не въ смыслѣ сокращенія суммы такъ-называемыхъ развлечений—ихъ даже черезчуръ доста- точно — и не въ смыслѣ увеличивающейся съ каждымъ

днемъ суммы утратъ и несбытий надѣждъ, а просто потому, что понять ничего нельзѧ. Самыя противорѣчивыя теченія до такой степени перепутались и загромоздили пути, что человѣкъ чувствуетъ себя какъ бы въ застѣнкѣ, въ которомъ, вдобавокъ, его ударило по темени. Онъ измученъ не столько реальностью настигающихъ его золь, сколько безплодностью своихъ мечтаній и сознаніемъ, что жизненный процессъ хотя и не прекратился, но въ то же время утерялъ творческую силу. Жизнь утонула въ массѣ подробностей, изъ которыхъ каждая устраивается сама по себѣ, виѣ всякаго соотвѣтствія съ какой бы то ни было руководящей идеей. Нѣоткуда взяться этой идеѣ, нѣоткуда и незачѣмъ. Прошедшее — несостоитъ, будущее — загромождено.

Я знаю, что нѣтъ недостатка въ попыткахъ разобраться въ удручающихъ жизнь противорѣчіяхъ, но, говоря по совѣсти, эти попытки не только ничего не объясняютъ, но даже еще больше запутываютъ пониманіе предстоящихъ задачъ. Всѣ онѣ, какъ бы ни были разнообразны ихъ формы и клейма, свидѣтельствуютъ только объ ощущеніи боли и о томъ, что это ощущеніе въ одинаковой мѣрѣ присуще всѣмъ, которые не однимъ прозабаніемъ, но и работою мысли принимаютъ участіе въ совершающемся жизненному процессу. Всѣмъ присуще, — начиная отъ самыхъ ядовитыхъ и нагло-торжествующихъ и кончая самыми наивными и пригнетенными.

Въ самомъ дѣлѣ, въ чёмъ выражаются эти попытки? Какія даютъ онѣ разрѣшенія, какія открываютъ перспективы безнадежно-матущейся массѣ замученныхъ и недоумѣвающихъ людей? Чтобы отвѣтить на эти вопросы, достаточно, не заходя далеко, остановиться на современной русской публицистикѣ.

Съ одной стороны, раздаются голоса, изрыгающіе проклятія, призывающіе къ ябедѣ, человѣконенавистничеству, междуусобію. Нельзя, конечно, отрицать, что эта проповѣдь имѣть смыслъ вполнѣ определенный, и что она даже производить массу частнаго зла; но самая безсодержательность ея отправныхъ пунктовъ уже свидѣтельствуетъ о ея творческомъ безсиліи. Не проклятіями исправляется жизнь и не человѣконенавистничествомъ насаждается миръ и благоволеніе въ сердцахъ — этого самыя закоснѣлыхъ личности не могутъ не понимать. Стало-быть, если онѣ упорствуютъ въ человѣконенавистничествѣ, то не потому, чтобы вѣрили

въ зиждительныя свойства его, а потому лишь, что проклятия представляютъ своеобразную формулу, въ которую выливается общій всей современности безсильный вопль противъ массы недодѣлокъ, недомолвокъ и встрѣчныхъ течений. Но при этомъ очень возможно и то, что проповѣдь ненависти, благодаря сложившимся обстоятельствамъ, сдѣлалась и небезвыгоднымъ ремесломъ...

Съ другой стороны, въ отвѣтъ кляузъ, слышатся голоса наивныхъ, которые тоже чего-то ищутъ и иѣчто стараются разъяснить. Но, въ сущности, они не разъясняютъ, но лишь уклоняются и оправдываются. Положеніе, поистинѣ, унізительное, хотя, по обстоятельствамъ, совершенно понятное. Существуетъ иѣкоторая загадочная подкладка въ спорахъ, касающихся современности, — подкладка, благодаря которой одна сторона вступаетъ въ состязаніе заранѣе торжествующею, а другая — заранѣе виноватою, хотя и не знать за собой ни одного факта, на который могло бы опереться обвиненіе. Ни для кого не тайна, что въ современныхъ полемикахъ рѣчь идетъ совсѣмъ не о вопросахъ, которые ставить жизнь, а о чѣмъ-то постороннемъ, почему вполнѣ произвольно присвоется название «образъ мыслей». И такъ какъ «правильный» образъ мыслей сдѣлался какъ бы monopolіей кляузъ, то понятно, что противная сторона прежде всего обязывается обѣлить себя передъ лицомъ кляузъ и только уже по выполненіи этого считаетъ себя вправѣ выложить, въ формѣ рискованного предположенія, ту скромную кручинку истины, какая имѣется въ запасѣ. Или, говоря другими словами, чтобы пустить эту кручинку въ обращеніе, необходимо предварительно надѣть Петрушкіны (Чичиковскаго Петрушки) порты и уже въ этомъ видѣ дерзать. Спрашивается: какихъ результатовъ можетъ достигнуть разъясненіе, обставляемое такими условіями?

Какъ плодъ недодѣлокъ и недомолвокъ, появились на сцену «кризисы». Ни о какихъ кризисахъ въ старые годы не слыхивали, а тутъ вдругъ повалило со всѣхъ сторонъ. То хлѣбный кризисъ, то фабрічный, то промышленный, то желѣзнодорожный, изконецъ, денежный, торговый, сахарный, нефтяной, даже пшеничный. Не говоря ужъ о кризисѣ совѣсти, который, повидимому, никому жить не мѣшаетъ. И, очевидно, этотъ новый бичъ — не выдумка такъ-называемыхъ отрицателей и потрясателей, а самая несомнѣнная правда, потому что сами оракулы современности (они же изрыгатели проклятий) только о кризисахъ

и говорятъ. Всѣ, безъ различія партій, на этой почвѣ сошлись; всѣ въ одинъ голосъ воспіютъ: «кризисы! еще кризисы! нѣтъ отбою отъ кризисовъ!» И не только воспіютъ, но даже во всѣ зараженные мѣста пальцемъ тычутъ (вотъ, дескать, гдѣ, и вотъ, и вотъ!), а исцѣленія все-таки преподать не умѣютъ.

Это напоминаетъ мнѣ провинціалку-барыню, которую я въ старые годы зналъ и которая тоже безпрерывно страдала кризисами. Всѣ доктора, къ кому она ни обращалась, въ одинъ голосъ говорили: «Это, сударыня, кризисъ!»—но затѣмъ всѣ же, получивъ трехрублевку за визитъ, считали свою задачу выполненою. Да и что другое могли сказать убогіе провинціальные эмпірики, коль скоро и сами они (дѣло происходило въ сороковыхъ годахъ, въ одной изъ самыхъ глухихъ провинцій) никакихъ «средствицъ», кромѣ гофманскихъ капель, бобковой мази да липового цвѣта, не знали.

— У кого же вы теперь лѣчитесь, Любовь Ивановна?—спросилъ я однажды, заставъ ее удрученной какимъ-то совсѣмъ новымъ кризисомъ.

— Да чтѣ, голубчикъ, все перепробовала: и лѣкарей, и захарей, и колдуновъ — нѣтъ мнѣ облегченья! Теперь... оборотень лѣчить!

— Какъ «оборотень»?

— Какіе бываютъ оборотни! Ни-то человѣкъ, ни-то хавронья. Наговорили мнѣ о немъ съ три-короба; сказывали, будто бы духъ отъ него здоровый... Да врядъ ли. Чавкаетъ... ну, роется... воняетъ... это такъ! А чтобы онъ настоящимъ манеромъ облегчить могъ—не вѣрю!

Хорошо, что впослѣдствіи природа Любови Ивановны взяла свое, и добрая женщина освободилась-таки отъ угнетающихъ ее кризисовъ; но скажите по совѣсти, до какой безнадежности она должна была дойти, чтобы довѣрить свою жизнь... оборотню!

Но что всего знаменательнѣе — указывая на кризисы, люди всѣхъ партій непремѣнно приплетаютъ къ нимъ реформы. Всѣ въ одно слово утверждаютъ, что именно въ реформахъ и заключается весь секретъ. Только одни прибавляютъ: «не дореформили!»—а другие: «перереформили!»

Я не буду останавливаться на людяхъ первой разновидности. Голоса ихъ имѣютъ столь же мало значенія въ общемъ политиканствующемъ концертѣ, какъ и воркотня того «слуги», который на театральной сценѣ, при подня-

ти занавѣса, мететь комнату (ворчить, а все-таки мететь) и съ негодованіемъ сообщаетъ, что ужъ двѣнадцатый часъ на исходѣ, а господа все еще почиваютъ... И вдругъ справа: «Иванъ! одѣваться!»—слѣва: «Иванъ! чаю!»—изъ глубины: «Иванъ! принесли ли афиши?» И мчится Иванъ, какъ угорѣлый, не только позабывъ о недавней воркотнѣ, но весь, съ верхняго конца до нижняго, проникнутый одною мыслью, чтѣ ежели эту воркотню подслушалъ баринъ и ударитъ его за нее по затылку?

Но люди второй разновидности, тѣ, которые на самое возникновеніе реформаторской дѣятельности (независимо отъ ея содержанія) смотрятъ какъ на катастрофу, породившую всѣ дальнишія злосчастія, эти люди заслуживаютъ того, чтобы побесѣдовать о нихъ подробнѣе, ибо въ настоящее время они — авторитетъ. Каждый день они каркаютъ: погибнемъ! погибнемъ! погибнемъ! — такъ что отъ однихъ этихъ паскудныхъ проклинаній становится жутко жить. Вся улица гремитъ ихъ угрозами; всѣ столбы пропахли ихъ мудростью, и кто знаетъ, далеко ли времена, когда, быть-можетъ, и канцеляристы проникнутся убѣженіемъ, что кляуза и судаченіе представляютъ наиболѣшее средство если не для того, чтобы выпутаться изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, то, по крайней мѣрѣ, для того, чтобы хоть временно «отписаться» отъ нихъ.

Я охотно допускаю, что совершившіяся реформы не для всѣхъ пріятны, и что, слѣдовательно, единомыслія въ ихъ оцѣнкѣ ожидать нельзя. Но для того, чтобы съ успѣхомъ вести по ихъ поводу упразднительную пропаганду, недостаточно ненавидѣть, проклинать и подсаживать, а необходимо ясно и определительно указать, какъ съ ненавидимымъ предметомъ поступить. Нѣкоторымъ изъ реформъ уже четверть вѣка минуло, а большинство приближается къ концу второго десятилѣтія. Вѣдь это уже въ извѣстномъ смыслѣ храмъ славы, а совсѣмъ не наважденіе, по поводу которого достаточно сказать: «дунь и плюнь!» — и ничего не будетъ. Но если-бы даже и возможно было симъ легкимъ способомъ освободиться отъ храма славы, то все-таки надо и самимъ знать, и для другихъ сдѣлать понятнымъ, какой иной храмъ славы предполагается соорудить на мѣсто только-что выстроеннаго и уже предполагаемаго къ упраздненію.

Если, какъ можно догадываться, безмятежное житіе, проектируемое кляузниками на мѣсто реформенной жизни,

должно заключаться въ томъ, что люди, причастные ему, будутъ служить безмолвными объектами для всевозможныхъ оздоровительныхъ затѣй, то эта перспектива едва ли кого-нибудь соблазнитъ. Потому что даже простодушнѣи изъ простодушныхъ — и тѣ уже понимаютъ, что, при известной обстановкѣ, выраженія: «оздоровительное предпріятіе» и «битье по темени» имѣютъ значеніе не только равносильное, но даже съ нѣкоторымъ преферансомъ въ пользу второго.

Что битье по темени, точно такъ же, какъ и сѣченіе, никогда не обладало творческой силой — исторія доказала иамъ это достаточно. Отъ начала вѣковъ исправникъ сѣкъ мужика, полагая, что черезъ это числящаяся на немъ недоимка полностью поступитъ въ казначейство, а недоимка и до-днесъ на мужикъ числится. Стало-быть, сѣченіемъ имало интереса казны не соблюли, а только спину мужика понапрасну испортили.

Конечно, большинство исправниковъ оправдываетъ себя въ этомъ случаѣ тѣмъ, что мужикъ, при совершенніи экзекуціи, цѣ только не прекословилъ, но даже, по окончаніи ея, благодарилъ за науку. Стало-быть, говорять они, онъ самъ чувствовалъ, что сѣченіе ему на пользу. Однако едва ли на этотъ разъ можно повѣрить мужику на слово. Почему онъ молчитъ и даже благодарить — это тайна, которую не особенно мудрено разгадать. А именно: онъ молчитъ и благодарить потому, что ежели онъ будетъ «разговаривать», то исправникъ, пожалуй, не затруднится и опять его «разложить».

Точно то же бесплодное будущее предстоитъ и битью по темени. Ни фабричный, ни даже пшеничный кризисъ не прекратится оттого, что люди ополоумѣютъ. Очень возможно, что эти ополоумѣвшіе, подобно сейчась упомянутому мужику, будутъ кланяться и благодарить; но скрѣть этой благодарности будетъ столь же легко объяснимъ, какъ и въ предыдущемъ случаѣ. Стало-быть, кризисы останутся въ своей силѣ, да вдобавокъ получится еще громадная масса проломленныхъ головъ. Неужели это можетъ кого-нибудь утѣшить?

Но кромѣ того, здѣсь является и другой очень важный вопросъ: кого стукать и за что?

Ежели стукать такъ-называемую интеллигенцію, то она не только не виновна въ кризисахъ, но, можно сказать, даже вполнѣ равнодушна къ нимъ. Въ сущности, и са-

харные, и всякие другие кризисы задѣваютъ ее такъ мало, что едва ли она даже видѣть нужду въ опредѣлениі тѣхъ убытковъ, которые она несетъ отъ нихъ. Она бѣзпреко- словно уплачиваетъ лишній грошъ въ одномъ мѣстѣ и идетъ въ другое мѣсто, чтобы уплатить другой лишній грошъ. И при этомъ отлично помнить, что совать носъ не въ свое дѣло не слѣдуетъ. Конечно, не можетъ она отъ времени до времени не разсуждать (а въ томъ числѣ и о кризисахъ), но въ этомъ уже виновны университеты, гим- назіи и кадетскіе корпуса, гдѣ совершенно открыто вну- шается, что человѣку свойственно разсуждать. Но, кромѣ того, ежели даже о словахъ говорится: *verba volant*, — то для мыслей у насть и крыльевъ-то не заведено: гдѣ рождаются, тамъ и умираютъ. Вотъ почему, когда, года три тому назадъ, изо всѣхъ щелей выползали кляузники, воору- женные проектами истребленія интеллигентіи, то громад- ная масса интеллигентовъ даже протестовать не пыталась, а только въ недоумѣніи спрашивала себя: за чѣмъ?

Ежели стукать мужика, то онъ еще менѣе виноватъ въ появлениі кризисовъ, хотя преемственность ихъ въ особен- ности живо отдается на его бокахъ. Мужикъ и до сихъ поръ не знаетъ, что въ существованіе его заподали какіе-то кризисы, но для него не тайна, что съ кризисами или безъ оныхъ онъ все-таки повиненъ работѣ. И работаетъ. Минь разразять, быть-можеть, что во вниманіе къ таковымъ похвальнымъ качествамъ ни одинъ кляузникъ и не вы- ступилъ съ проповѣдью объ истребленіи мужика: пускай, дескать, плодится и множится. Согласенъ; дѣйствительно, объ истребленіи мужика проектовъ не было; однако-жъ ни одинъ беспристрастный человѣкъ не будетъ отрицать, что о подкузленіи его мечтали и мечтаютъ очень многіе. За чѣмъ?

Существуетъ и еще кляузное мнѣніе: въ самомъ, дескать, правительствѣ накопилось бесконечное множество анти-правительственныхъ элементовъ, которые, пользуясь своимъ привилегированнымъ положеніемъ, преднамѣренно поддер- живаютъ въ странѣ смуту, служащую источникомъ всѣхъ кризисовъ. Но, во-первыхъ, это мнѣніе вполнѣ обстоятельно опровергается существованіемъ знаменитаго З-го пункта для смѣняемыхъ и кабинетныхъ собесѣдований — для не- смѣняемыхъ. Во-вторыхъ, если бы даже расколъ, о кото- ромъ идетъ рѣчь, и не былъ баснею, то прежде чѣмъ на- право и налево раздавать клички, слѣдовало бы опредѣлить, откуда этотъ расколъ пришелъ, и не имѣется ли орга-

нической причины, которая дѣлаетъ его неистребимымъ. И въ-третьихъ, наконецъ, гдѣ найти компетенцію, которая, не будучи посвящена въ тайну правительственныйыхъ намѣреній, имѣла бы возможность безошибочно устанавливать признаки правительственности и анти-правительственности? Ужели достаточно заявить себя кляузникомъ, чтобы присвоить себѣ монополіе такой компетенції?

Повторяю: проклятъя останутся только проклятіями, человѣконенавистничество пребудетъ только человѣконенавистничествомъ. Не изъ могилъ, разрываемыхъ гіенами, услышится живое слово... нѣть, не изъ нихъ!

Ахъ, кляузники, кляузники! Вѣдь дѣло совсѣмъ не въ укорахъ и завиненіяхъ заднимъ числомъ; дѣло не въ ябедахъ и не въ подгасовкахъ, а въ томъ, чтобы жизнь не калѣчила живыхъ. Ежели слово «реформы» до того постыло, что даже слышать его больно, то пусть будетъ замѣнено другимъ... напримѣръ, хоть «регламентаціей». Ежели и «регламентація» окажется подозрительною (она отзывается отчасти соціализмомъ, отчасти аракчеевщиною), то замѣните ее «постепеннымъ», при содѣйствіи околоточныхъ надзирателей, благопоспѣшениемъ». И это будетъ хорошо. Не въ словахъ сила, и нѣть той номенклатуры, съ которой нельзя было бы помириться; но пускай же исчезнетъ то постыдное пустоугробіе, которое выдаетъ камень за хлѣбъ и полуумный доносъ—за содѣйствіе.

---

Оскудѣніе полное. Тѣмъ не менѣе, такъ какъ мысль не можетъ окончательно умереть, то она и подъ игомъ всевозможныхъ недоумѣній продолжаетъ свою работу. Но, очутившись внѣ живоносной струи руководящихъ началь, она исключительно устремляется къ мелочамъ обыденной жизни и въ нихъ ищетъ утолить присущую ей потребность творчества.

Отсюда—громадная масса проектовъ и проектцевъ, удручающая нашу современность. Я не утверждаю, чтобы между ними не было практически-полезныхъ, снабженныхъ весьма интересными справками и изложеніями прекраснѣйшимъ слогомъ, но не могу скрыть, что даже полезнѣйшіе построены на «песцѣ», зависятъ отъ массы случайностей и вѣдѣствіе этого осуждены на полную неустойчивость.

Много мы знали полезныхъ выдумокъ и многія изъ нихъ видѣли даже въ дѣйствіи; но польза, которая отъ нихъ ожидалась, прежде всего парализировалась ихъ внутреннею изолированностью. Въ общемъ укладѣ жизни не было для

нихъ ни соотвѣтствія, ни поддержки, и это сказывалось до такой степени рѣзко, что едва ли можно указать хотя на одно явленіе этой категоріи, которое при самомъ рожденіи не стояло бы подъ угрозой ежеминутнаго упраздненія. Мы созидаемъ и вслѣдъ за тѣмъ разрушаемъ, потомъ опять возвращаемся къ разрушеному и, возсоздавъ его, вновь разрушаемъ. Плотина, которая сдерживала бы напоръ пораженного паникою произвола, не только не существуетъ, но даже самая мысль о ея необходимости представляется небезопасною.

Тѣмъ не менѣе неустойчивость отнюдь не обезкураживаетъ прожекторовъ. И это вполнѣ понятно, потому что человѣкъ самый простодушный, чувствуя боль во всѣхъ суставахъ, не можетъ не употреблять усилий, чтобы освободиться отъ нея. Но еще болѣе понятно то, что человѣкъ этотъ, игнорируя общіе законы, управляющіе жизнью, останавливается въ недоумѣніи передъ мало-мальски широкой задачей и спѣшить отыгратъ на подробностяхъ.

Простодушіе цѣнитъ только непосредственныя практическія примѣненія, а ничто такъ легко не поддается практической разработкѣ, какъ подробности. Миръ подробностей—миръ простодушныхъ людей, и ежели вы сообразите, какое разнообразіе подробностей представляетъ даже самая бѣдная содержаніемъ жизнь, то убѣдитесь, что прожекторы могутъ черпать изъ этого источника, никако не опасаясь, что онъ когда-нибудь истощится.

Повторяю: и количество, и разнообразіе ходячихъ проектовъ поистинѣ изумительны. И тѣмъ больше проектъ напоминаетъ принципъ раздѣленія труда, въ силу котораго рабочий на всею жизнь осуждается выѣмывать одну двадцатую часть булавочной головки, тѣмъ большую претензію представляетъ онъ на авторитетность. Тѣмъ онъ низменѣе, тѣмъ благоременіе и излойливѣе. Многіе даже утверждаютъ, будто бы въ основѣ большинства современныхъ выдумокъ—прямо или косвенно, но *испрѣмѣнно* лежитъ воровство; но я считаю это мифѣи чрезезчуръ уже рискованнымъ. Меня гораздо болѣе поражаетъ и оскорбляетъ то, что всякий одержимый чесоткою празднолюбецъ, не оби-  
нуясь, пріурочиваетъ свою личную чесотку къ лицу недуговъ общественныхъ и государственныхъ.

Низменность и безсвязность большинства същноющихъ со всѣхъ сторонъ оздоровительныхъ предприятій таковы, что даже породили мифѣи о вырожденіи человѣческаго

рода. Старики, по крайней мѣрѣ, положительно утверждаютъ, что въ былыя времена разсуждали обстоятельнѣе, не «растекались мыслью по древу», а начавши долбить стоявшій на очереди сукъ, долбили его во всѣхъ смыслахъ и до конца. И въ примѣръ приводятъ рѣшеніе и поступки, которые хотя и сданы въ архивъ, но въ свое время задали-таки копоти. Тогда какъ нынѣ—взьмите любой оздоровительный проектъ, и вы прежде всего убѣдитесь, что содержаніе его напоминаетъ пирогъ, въ которомъ, вместо съѣдобной начинки, затисканы стружки, глина, песокъ и другой строительный материалъ. А затѣмъ и виѣшностиличной нѣть налицо. Начнѣть человѣкъ: «такъ какъ»,—а обѣ «то» позабудеть; или начнѣть съ «хотѣ», а ни «тѣмъ не мене», ни «но» и въ поминѣ нѣть. Даже многоточія въ ходѣ пошли—на чѣо похоже!

— Фельетоны такъ писать дозволительно, а не проекты-съ,—негодовалъ на дняхъ безшабашный совѣтникъ Дыба:—скажите на милость, начали прибѣгать къ многоточію! Вѣдь многоточіе-то, государь мой, волненіе чувствъ означаетъ. А развѣ таковое приличествуетъ въ вопросѣ столь несомнѣнной важности, какъ общественное оздоровленіе?

Я не буду, однако-жъ, рассматривать, насколько правы сѣтующіе старики, хотя вообще думаю, что они многое забыли и весьма малому научились. Не стану также приводить примѣры полезныхъ оздоровительныхъ проектовъ, въ родѣ обузданія гласности, упраздненія судейской несмѣняемости, неограниченного выпуска кредитныхъ билетовъ, учрежденія элеваторовъ и т. п. Не стану, во-первыхъ, потому, что все, что я могу сказать обѣ этихъ предметахъ, исчерпывается слѣдующими немногими словами: можетъ-быть, хорошо выйдетъ, а можетъ-быть, и не хорошо, и даже зловредно. Я и самъ раздѣлъ бы какой-нибудь оздоровительный проектъ написать, но что же я, сидя у себя въ кабинетѣ, знаю? Чѣмъ я могу руководиться, кроме цифръ, въ качествѣ отправного пункта, и логики, въ качествѣ орудія для вывода? Допустимъ, что я—человѣкъ вполнѣ добросовѣтный и недюжинаго ума, что взятая мною цифра вѣрна, и что сдѣланное мною на основаніи ея построеніе вполнѣ согласно съ законами логики; но могу ли я поручиться, что не упустилъ изъ вида тѣхъ примѣсей, которыя при всякомъ практическомъ примѣненіи всплываютъ со дна жизни, вопреки всякимъ цифрамъ и построеніямъ. На-

сколько, напримѣръ, моя выдумка можетъ потерпѣть отъ вмѣшательства воровства, лихомства, нравственной расшатанности, неряшства или, наконецъ, отъ такой пустой и нелѣпой вещи, какъ провинціальный этикетъ? Я знаю, конечно, что эти дрянныя примѣси вполнѣ устранимы, а можетъ-быть, даже знаю, при какихъ условіяхъ онѣ устранимы (впрочемъ, и тутъ не выдаю своего мнѣнія за непогрѣшимое); но до тѣхъ поръ, пока этихъ условій не существуетъ, ни о чёмъ ничего сказать не могу, кромѣ: можетъ-быть, хорошо, а можетъ-быть, такъ нехорошо, что завтра же передѣлывать придется.

А во-вторыхъ, если бы я, даже не останавливаясь передъ этими соображеніями, и началъ вкривь и вкорь разсудить, то навѣрное меня на первыхъ же шагахъ остановятъ люди болѣе меня опытные и компетентные. И хорошо сдѣлаютъ, ибо фортуна поступила со мною жестоко, отдавъ всю мудрость и опытность въ удѣль столонаачальниковъ, а мнѣ (впрочемъ, быть-можеть, и вамъ, читатель) предоставивъ бродить на помочахъ и спотыкаться.

Итакъ, область серьезного и дѣльного для меня недоступна. Я и не стараюсь проникнуть въ нее и, право, безъ зависти взираю на вереницы коллежскихъ регистраторовъ, передъ которыми настежь растворяется запертая для меня дверь. Я знаю, что существуетъ другая область: область нелѣпаго и смѣшишаго, на воротахъ которой написано: «entrée libre», и въ которую я, вмѣсть съ другими профанами, могу входить вполнѣ свободно. Почему свободно? — а потому, во-первыхъ, что смѣшишое и несерьезно-нелѣпое предполагается исходящимъ отъ людей мизерныхъ, значенія не имѣющихъ, то-есть вообще такихъ, которыхъ можно «касаться», не рискуя быть обвиненнымъ въ потрясеніи основъ. А во-вторыхъ, и потому, что смѣшишое и нелѣпое сами по себѣ настолько невинны, что и спотыкающейся, подобно мнѣ, человѣкъ ничего, кромѣ невиннаго упражненія, извлечь изъ подобной темы не можетъ.

Какъ бы то ни было, но я пользуюсь этой свободой и благодарю.

---

Изъ числа моихъ школьныхъ сверстниковъ, оставшихся въ живыхъ, ничей удѣль не кажется мнѣ столь желательнымъ, какъ тотъ, который выпалъ на долю Федоту Архимедову. И выпалъ, надо сказать правду, совершенно незаслуженно, единственно благодаря счастливо сложившимся обстоятельствамъ

Въ школѣ мы называли Архимедова «Федотъ да не тотъ», и эта кличка удивительно къ нему шла. Что-то не-свойственное въ немъ было, какая-то закодированность, абсан-теизмъ. Уроки онъ отыывалъ всегда исправно, но учите-лямъ почему-то казалось, что не онъ лично отвѣчает урокъ, а какая-то сущая въ немъ чертовщина; ведь онъ себя добропорядочно, но надзирателямъ казалось, что эта добро-порядочность въ немъ не то чтобы лицемѣрная, а какъ бы невмѣняемая. Поэтому и баллы ему, какъ въ ученіи, такъ и въ поведеніи, ставились очень умѣренные. И онъ не протестовалъ противъ несправедливости, а только при слу-чаѣ горько улыбался; но эта горькая улыбка была до того беззывѣтно-нелѣца, что ему тутъ же сбавляли за нее еще балль или два въ поведеніи,—какъ будто онъ произвелъ нѣвѣсть какое дебоширство. Ни съ кѣмъ онъ не былъ друженъ и ни къ какому занятію не оказывалъ предпо-ченія. Охотнѣе всего игралъ въ свайку; но и тутъ устроится въ-одиночку гдѣ-нибудь въ уголку и самъ себѣ задаетъ рѣдьки. Въ рекреационные часы онъ и по залѣ, и по саду ходилъ всегда одинъ,—и непремѣнно задумавшись; но никто не могъ опредѣлить, дѣйствительно ли онъ думаетъ или у него болитъ голова. Нѣкоторые даже утверждали, что у него въ головѣ завелось мышиное гнѣздо, и приста-вали къ нему, спрашивая, выпросталась ли старая мышь, и не беспокоять ли его своей бѣготней молодые мышата. Однако-жъ этотъ вопросъ—только онъ одинъ—приводилъ его почти въ изступленіе. Онъ, какъ бѣшеный, бросался въ толпу обидчиковъ, ничего не разбирая, сыпалъ ударами на-право и налево, швырялъ чернильницами—и, разумѣется, взаимно украшенный синяками, попадалъ, въ концѣ кон-цовъ, въ карцеръ. Между тѣмъ какъ прочіе товарищи интересовались литературой и втихомолку зачитывались журналами, онъ въ продолженіе всего шестидесятаго курса читалъ одинъ и тутъ же № «Репертуара» (Песоцкаго), въ которомъ былъ помѣщенъ водевиль: «Отецъ, какихъ мало». Читалъ постоянно и не могъ начитаться. И въ довершеніе всего—лицо у него было похоже на подмалеванный пор-третъ, въ которомъ художникъ тщетно пытался что-то из-образить и наконецъ бросилъ, подписавъ внизу: «Галиматъ».

По выходѣ изъ школы, онъ вмѣстѣ съ другими товари-щами обязательно поступилъ на службу. Однако-жъ и но-вое начальство довольно долго не могло приспособиться къ нему и разгадать: тотъ ли онъ Федотъ, или не тотъ. По-

этому, на первыхъ порахъ, на него возлагались работы самыя легкія, такъ сказать, идіотскія; но даже и въ нихъ онъ не обнаруживалъ ни мастерства, ни виртуозности. Запишеть, бывало, бумагу во входящій реестръ—и не беспокоятся. Всѣ беспокоятся, у всѣхъ сердце болить, а ему какъ съ гуси вода! И, можетъ-быть, служебныя дѣла его и до сего дня шли бы тихимъ ходомъ, если бы, на его счастье, въ служебной атмосферѣ не послѣдовало новаго вѣянія. Неизвѣстно почему, но, конечно, не безъ основанія, на Федотовъ явилось въ бюрократическихъ сферахъ усиленное требованіе. Отъ нихъ однихъ ожидалось усердіе не по разуму, а на ихъ непреклонность въ соблюденіи канцелярской тайны возлагались самыя горячія упованія. «Федотовъ нужно! никого, кроме Федотова!» раздавался кличъ по всему лагерю, и въ согласность этому кличу произошли существенный перемѣны и въ этомъ вѣдомствѣ, въ которомъ служилъ Архимедовъ. Старый начальникъ былъ смѣненъ и на его мѣсто посажены другой—тоже Федотъ да не тотъ. Оба Федота любили сами себѣ сваечныя рѣдкі задавать, оба—ничего не читали, кромѣ водевиля: «Отецъ, какихъ мало», и у обоихъ—подъ портретомъ написано было: «Галиматъ». Взглянули они другъ на друга, да такъ и ахнули. И съ той минуты служебная карьера Архимедова была обеспечена.

И точно, съ первого же абцуза дѣло пошло у нихъ какъ по маслу и въ настоящее время доведено до такого совершенства, какъ дай Богъ всякому. Подчиненный-Федотъ—докладываетъ, а начальникъ-Федотъ—понимаетъ; начальникъ-Федотъ—приказываетъ, а подчиненный-Федотъ—понимаетъ. И не видать оба, какъ время летить. Всѣ сослуживцы дивятся и говорятъ, что они при дьявольскомъ наложденіи присутствуютъ; а имъ что за дѣло!

И лѣзть да лѣзть Федотъ Архимедовъ по лѣстницѣ, видѣнной Іаковомъ во снѣ, и навѣрное до чего-нибудь долѣзть. Въ послѣднее время онъ почти сряду получилъ три награды: къ Рождеству его сдѣлали дѣлопроизводителемъ комиссій для разсмотрѣнія предшествующихъ заблужденій, постомъ онъ получилъ дифтеритъ, а къ святой — орденъ Такова. И живетъ себѣ припѣвающи въ великолѣпной казеннѣй квартирѣ, и съ-часу-на-часъ ожидаетъ курьера. А некоторые даже присовокупляютъ, что онъ каждое утро казанскимъ мыломъ моется и лоделавандомъ ротъ полощетъ, дабы, въ случаѣ чего, не оплошать. Что-жъ!

казанское мыло не одному Федоту открывало путь къ почестьямъ.

Такъ вотъ этотъ самый Федотъ съ чего-то началъ ко мнѣ похаживать. Придеть, разседется въ креслѣ, выпить пла-токъ, опрысканный какими-то ни съ чѣмъ несообразными духами, и начнетъ вытиратъ имъ между пальцевъ. И чтобы я не возмечталъ о себѣ, по поводу его визита, чего-нибудь лишняго, непремѣнно скажетъ:

— Я потому къ тебѣ зашелъ, что нахожу не лишнимъ отъ времени до времени окунуться въ волны обществен-наго мнѣнія...

Оговорившись такимъ образомъ, онъ начинаетъ, не торопясь, разматывать предо мной, одинъ за другимъ, на-гноившіеся въ его головѣ проjекты. Проjектовъ этихъ у него напасено ровно столько, сколько есть звѣздъ на небѣ, и хоть, по всѣмъ вѣроятіямъ, ни одному изъ нихъ не предстоитъ осуществленія (черезчуръ уже они смѣлы), тѣмъ не менѣе это не мѣшаетъ имъ циркулировать въ сферахъ и даже утруждать вниманіе. Ибо, при всеобщемъ современ-номъ оголтѣніи, Федоты изображаютъ собой силу, съ которой нельзя не считаться и высушивать которую—обязательно.

Въ большинствѣ случаевъ, эта «сила» всплываетъ на поверхность случайно (какъ это уже и разсказано мною выше); но, разъ всплыши, она устраивается настолько прочно, что сдвинуть ее съ занятой позиціи представляется дѣломъ весьма не легкимъ. Секрѣтъ заключается въ томъ, что Федоты быстро и издалека угадываютъ другъ друга и, угадавши, составляютъ изъ себя, такъ сказать, ассоціацію взаимнаго страхованія. Во главѣ этой ассоціаціи становится Федотъ первый, который гдѣ-то имѣлъ «руку» и, слѣдовательно, считаетъ себя въ правѣ колобродить, не стѣняясь ничѣмъ, кромѣ усердія не по разуму. У первого Федота имѣть руку Федотъ второй, у второго Федота—третій и т. д. Всѣ заимствуются свѣтомъ другъ у друга и всѣ колобродятъ. Колобродятъ серьезно, сосредоточенно и сер-дито, такъ что ежели въ разгарѣ этого колобродства под-вернется профанъ и попробуетъ высказать не то чтобы несогласіе, а только равнодушіе, то ему навѣрное не сдо-бровать.

Въ силу такихъ счастливыхъ условій колобродилъ и Федотъ Архимедовъ. Сознавая себя Федотомъ по преимуще-ству, онъ не ограничивался тѣмъ, что разводилъ свои ко-лобродства въ тѣсномъ кругу подобныхъ ему Федотовъ, но

находиъ наслажденіе угнетать ими и людьми совершилъ постороннихъ. А въ томъ числѣ и меня.

Всѣ кризисы постепенно прошли черезъ горнило его умомъ помраченія, всѣ одинаково вызывали на его лицѣ озабоченное выраженіе, и всѣ онъ пріурочивъ къ одной и той же причинѣ: разнудданности. Долгое время онъ ограничивался въ разговорахъ со мною, одними общими мыслями на эту тему, но, наконецъ, не выдержавъ и раскрыть мнѣ подробности своего плана.

— Ты уже знаешь,—сказалъ онъ мнѣ:—что, по мнѣнію моему, прежде всего необходимо уничтожить разнудданность. Разъ мы успѣмъ въ этомъ, жизнь естественнымъ порядкомъ войдетъ въ надлежащую колею. Внутренне враги разсѣются, а съ вѣшними мы, съ Божьей помощью, и сама справимся. Надѣюсь, что ты ничего не имѣшь противъ этого результата?

Разумѣется, я не только не имѣлъ ничего, но былъ даже очень радъ. На то враги и существуютъ, чтобы ихъ обуздывать. Но такъ какъ время нынѣ стоитъ загадочное, то и я счелъ нужнымъ отвѣтствовать загадочно. То-есть, не отрицать, но и безусловного согласія не изъявлять.

— Какъ тебѣ сказать, душа моя,—резонировалъ я:—можеть-быть, оно и хорошо выйдетъ, а можетъ-быть, и нехорошо. Обуздывать, вообще говоря, полезно и даже всегда благовременно; однако не мѣшаеть при этомъ имѣть въ виду и слѣдующее: а что, если вдругъ понадобится снова разнуддывать?! Кто будетъ тогда виноватъ въ безвременномъ обузданії? Но, съ другой стороны, можетъ случиться и такъ: ежели мы оставимъ разнудданность необузданною, то какъ бы потомъ не пришлось быть въ отвѣтѣ за то, что мы своевременно ее не обуздали. Словомъ сказать, все въ этомъ предпріятіи сводится къ пословицѣ: и повернешься—бывать, и не повернешься—бывать. Вотъ чего я боюсь.

Высказавши это мнѣніе, я вдругъ очнулся: чѣмъ, бишь, такое я сказалъ? Къ счастью, Архимедовъ не только не казался изумленнымъ, но даже понялъ.

— Ты слишкомъ остороженъ,—укорилъ онъ меня.—Завѣсу будущаго приподнимать полезно, но не всегда. Есть вещи, которыхъ необходимо приводить въ исполненіе сразу, не разсуждая. Разсужденіе—вотъ корень угнетающаго зла. Разсуждая, я, конечно, всегда рискую встрѣтиться съ препятствіями. Сперва придется одно препятствіе, потомъ другое, третье, и, наконецъ, накопится такое множество, что для

разборки ихъ потребуется цѣлая комиссія, которая, послѣ десяти лѣтъ неусыпныхъ трудовъ, подобно тебѣ, резюмируетъ свою мысль въ трехъ словахъ: «бабушка на-двоє сказала». Но это мы ужъ давно знаемъ; это написано въ видѣ эпиграфа во главѣ всѣхъ нашихъ начинаній, и, къ сожалѣнію, мы нимало не дѣлаемся отъ него благополучны. Намъ нужно совсѣмъ другое, а именно: отзвонилъ — и съ колокольни долой. Правду ли я говорю?

— Какъ тебѣ сказать, мой другъ?.. Быть-можеть, безъ разсужденія выйтѣть хорошо, но можетъ быть и нехорошо. А равнымъ образомъ — и насчетъ звону. Иной звонарь бухаетъ въ колоколь зря, а другой — старается попасть въ тонъ... Словомъ сказать — загвоздка.

Но онъ даже не отвѣтилъ на мое возраженіе, а самодовольно выпрямился и сказалъ:

— Ну, ужъ насчетъ звону... можешь не беспокоиться: слишкомъ тридцать пять лѣтъ я звоню, и, кажется... Но не будемъ увлекаться голословными препирательствами, а обратимся къ фактамъ, которые, я надѣюсь, лучше всякихъ разсужденій убѣдятъ тебя въ моей правотѣ.

И тутъ-то вотъ онъ, пунктъ за пунктомъ, развилъ передо мной свой проектъ объ уничтоженіи разнуданности.

По его мнѣнію, наша современность представляла два главныхъ вмѣстилища разнуданности: во-первыхъ, современную молодежь; во-вторыхъ, печать. Онъ не отрицалъ, впрочемъ, что если копнуть, то могутъ открыться и еще два-три вмѣстилища (например: земство, судь, акцизное вѣдомство, контроль), но покуда еще позволяль себѣ смотрѣть сквозь пальцы на ихъ «недостойную игру». Зато на вопросахъ о молодежи и печати онъ сосредоточилъ все свое вниманіе и изучилъ ихъ до тонкости.

— Относительно нашей молодежи, — началъ онъ: — я полагаю, что прежде всего необходимо упорядочить ея воспроизведеніе..

И, прочитавъ на моемъ лицѣ испугъ, поспѣшилъ успокоить меня.

— Не прекратить — я соглашаюсь, что это было бы черезчуръ радикально, — но «упорядочить». Не пугайся и выслушай меня до конца. Наблюденія свѣдущихъ людей показываютъ намъ съ послѣднею очевидностью, что качества, какъ физическія, такъ и нравственныя, наслѣдственно переходятъ отъ производителей къ производимымъ. Какимъ образомъ это происходитъ — никому неизвѣстно; но таковъ

законъ природы. Отецъ, обладающійъ большімъ иносомъ, передаетъ его по наслѣдству сыну, а въ некоторыхъ случаяхъ, къ несчастью, и дочери. Точно то же явленіе замѣчается и относительно характера (особенно ежели характеръ строптивъ), и ежели бываютъ исключенія изъ этого общаго правила, то они доказываютъ лишь вмѣшательство постороннихъ факторовъ, котораго никакой законъ ни предотвратить, ни предусмотрѣть не можетъ. Слѣдовательно, дабы получить молодое поколѣніе, вполнѣ соответствующее требованіямъ благоустройства и благочинія, необходимо, главнѣйшимъ образомъ, упорядочить производительную среду. Но гдѣ мы отыщемъ эту среду? Ежели мы будемъ искать ее среди нашихъ сверстниковъ, то врядъ ли поиски наши приведутъ къ плодотворному результату. Мы, старики, свое дѣло сдѣлали. Чѣмъ съ возу упало, тѣ пропало. Тщетно стараться обѣ упорядоченій того, чѣмъ самою природою до такой степени упорядочено, чѣмъ можетъ сказать о себѣ только: на нѣтъ и суда нѣтъ. Конечно, найдутся и среди насъ... между прочимъ, не скрою и о себѣ... но это уже, такъ сказать, особливое благоволеніе природы, на которое законъ смотрѣть, какъ на явленіе въ высшей степени пріятное, но не обязательное... Не правда ли, mon vieux, такъ вѣдь я говорю?

— То-есть какъ тебѣ сказать... Конечно, въ такихъ дѣлахъ молодые люди болѣе компетентны, но, съ другой стороны, ежели взглянуть на дѣло съ точки зреінія осмотрительности...

— Ну, ну, чѣмъ ужъ, не оправдывайся, Богъ проститъ! Итакъ, продолжаемъ. Истинная производительная сила, та, которая производить обязательно и съ увлеченіемъ, сосредоточивается въ самомъ молодомъ поколѣніи. И вотъ отъ этой-то именно силы, то-есть отъ ея доброкачественности или недоброкачественности, и зависятъ судьбы будущаго. Или, говоря языкомъ науки: «всякій молодой человѣкъ, воспроизводящій въ лицѣ ребенка подобіе самого себя, не только удовлетворяетъ этимъ естественной склонности къ самовоспроизведенію, но въ то же время вліяетъ и на дальнѣйшія судьбы своего отечества». Это аксиома, или, лучше сказать, краеугольный камень, на которомъ долженъ произрасти цвѣтъ будущаго. Заручившись этимъ основаніемъ, я говорю себѣ: такъ какъ составъ и свойство грядущихъ поколѣній находятся въ тѣсной зависимости отъ состава и свойствъ нынѣ дѣйствующаго молодого поколѣнія.

пія, то, дабы усовершенствовать первое, необходимо произвести въ послѣднемъ такой подборъ людей, который представлялъ бы несомнѣнное ручательство въ смыслѣ благонадежности. Или, говоря языкомъ науки, необходимо, паряду съ прочими возникшими въ послѣднее время институтами, образовать еще институтъ племенныхъ молодыхъ людей, признавъ чисто-правоспособными только тѣхъ молодыхъ людей, кои добрымъ поведеніемъ и успѣхами въ древнихъ языкахъ (а на первое время хотя бы въ одномъ изъ нихъ,— прибавилъ онъ снисходительно) окажутся того достойными; тѣмъ же, которые подобного ручательства не представятъ, доказывать свою правоспособность отъ дѣла сего особо. Такъ ли я говорю?

— Какъ бы тебѣ сказать...

— Позволь. Твоя рѣчь впереди, — перебилъ онъ меня нетерпѣливо. — Прошу замѣтить, что я ни экзаменовъ, ни пробныхъ лекцій, ничего такого не требую. Хорошо вѣль себя въ школѣ, знаешь наизусть двѣ-три басни Федра (но надоѣло знать ихъ твердо, мой другъ!) — иди и шествуй! Хоть сейчасъ подъ вѣнецъ. Наше вѣдомство не токмо не встрѣтить препятствій, но даже окажеть дѣятельнѣйшее въ семъ смыслѣ содѣйствіе. И еще замѣтъ: я и строптиваго не обезкураживаю. Я, такъ сказать, только отчисляю его по инфантеріи, но не павѣчно, ибо въ то же время говорю: старайся оправдаться, и ежели представишь подлинное удостовѣреніе — дерзай! И чѣмъ больше будетъ раскаивающихся, тѣмъ полнѣе будетъ наша радость. Одного не могу допустить и не допущу: это — чтоѣlementы неблагонадежные или сомнительные могли проникнуть въ корпорацію правоспособныхъ... Нѣть, не допущу!

— Но неужели же тѣ, которые, по упорству или по нерадѣнію, все-таки не выучатъ двухъ-трехъ басенъ Федра, неужели они будутъ навсегда осуждены влечь безотрадное существованіе по инфантерії?

— Всепремѣнно; въ этомъ заключается вся экономія предлагаемаго мною проекта. Впрочемъ, не огорчайся; вѣдь это только издали кажется страшно; но какъ только дѣло дойдетъ до практики, то опасенія твои навѣрное дойдутъ до минимума. Инстинктъ самовоспроизведенія настолько силенъ въ человѣкѣ, что даже самые строптивые будутъ прилагать старанія къ скорѣйшему духовному и нравственному возрожденію. А сверхъ того, право, не такъ ужъ трудно выучить двѣ-три басни Федра, чтобы изъ-за этого

подвергать себя столь существенному лишению. Немногие терпят и очень много твердости со стороны наблюдавших — и ты увидишь, что в самое короткое время эти кадрами останутся только закосицкие.

— Но ежели...

— Никаких «ежели» въ проектъ моемъ не допускается. Вопросъ поставленъ ясно и категорически, а сверхъ того чтобы кадры не поминально только, а действительно оставались замкнутыми, имѣется въ виду неусыпное наблюдение и строго соображенная система взысканій. Прорваться не будетъ возможности. Сначала, конечно, въ отношеніи къ покушающимся будутъ пущены въ ходъ мѣры кротости и убѣжденія, потомъ — взысканія, постепенно усиливаются, наконецъ...

— Ахъ!

— И я знаю, что жестоко, но иначе нельзя. И ты увидишь, что, благодаря содѣйствію племенныхъ молодыхъ людей, слѣдующее же поколѣніе получить совсѣмъ другую окраску. О разнозданности не будетъ и въ поминѣ, а ежели и останутся отдельные индивидуумы, имѣющіе унылый и недоброкачественный видъ, то они мало-по-малу износятъ сами собой.

Онъ умолкъ и самонадѣянно смотрѣлъ на меня, выжидая одобренія. Но любопытство мое настолько было задѣто за живое, что я уже и самъ пожелалъ пѣкоторыхъ поясненій.

— Но мужички, — спросилъ я: — неужели и они...

— О, нѣтъ, до нихъ мой проектъ не касается, — разубѣдилъ онъ меня: — крестьянское сословіе можетъ плодиться и множиться на прежнихъ основаніяхъ! Для усмиренія крестьянской разнозданности существуютъ специальные установленія: волостная управа, волостные суды, клоповники и наконецъ... чикъ-чикъ! Этого вполнѣ и надолго будетъ достаточно... разумѣется, если какая-нибудь комиссія и тутъ не подпустить... Но какъ ты находишь мой проектъ въ цѣломъ? Не правда ли, онъ въ настоящую точку бѣть?

— Какъ тебѣ сказать? Конечно, можетъ выйти хорошо, но можетъ выйти и не хорошо. Вѣдь Рыковъ думалъ: — дай-ка я оживлю земледѣліе и торговлю, — и, разумѣется, ждалъ, что выйдетъ хорошо. Однако теперь онъ за свою выдумку сидитъ на скамье подсудимыхъ. А почему? — потому, что это была его личная выдумка, которую онъ увлекся, да что-нибудь и упустилъ... А можетъ-быть, и подпустилъ...

— Рыковъ! — какъ, однако-жъ, у тебя тривіальный сравненія!

— Ахъ, нѣтъ, я не обѣ томъ... Я говорю только: если у тебя все пойдетъ какъ по маслу, то выйдетъ хорошо; если же, напримѣръ, люди, зачисленные по инфантеріи, прорвутся въ дѣйствующіе кадры, хотя бы даже въ качествѣ посторонней стихіи... Ну, не сердись, не сердись! Это я по простотѣ... Навѣрно ты уже все заранѣе предуготовилъ и предусмотрѣлъ, и слѣдовательно... отлично выйдетъ, отлично! Одно только меня интригуетъ: какимъ путемъ ты додумался до такой изумительной комбинаціи? Ужасно это любопытно!

— Какимъ путемъ? Наблюдалъ, размышлялъ, прислушивался, сопоставлялъ... Свои личныя наблюденія провѣрялъ наблюденіями добрыхъ друзей—и наоборотъ. Я, голубчикъ, еще въ то время, когда реформы только-что начались, уже о многомъ думалъ. И многое предусмотрѣлъ и даже предупреждалъ, но... Впрочемъ, оставимъ эти дурныя воспоминанія и обратимся къ предмету нашего собесѣданія. Теперь мнѣ предстоитъ изложить мои предположенія относительно другого вмѣстилища современной разнозданности — печати.

Ѳедотъ остановился и испытующе взглянулъ на меня. Очевидно, онъ вспомнилъ, что я, до извѣстной степени, не чуждъ печати, и это какъ будто стѣснило его. Разумѣется, я поспѣшилъ его разувѣрить.

— Итакъ, будемъ откровенны! — началъ онъ. — Впрочемъ, это будетъ для меня тѣмъ легче, что, въ сущности, я совсѣмъ не врагъ печати, а только желаю, такъ сказать, оплодотворить ее.

Онъ опять остановился и, какъ бы предвидя, что все-таки нельзя обойтись безъ того, чтобы не огорчить меня, взялъ мою руку и крѣпко, по-товарищески ее сжалъ.

— Да не стѣсняйся, голубчикъ, говори! — убѣждалъ я, растроганный до глубины души.

— Итакъ, будемъ откровенны, — вновь началъ онъ послѣ нѣкотораго колебанія. — Не безызвѣстно тебѣ, что въ настоящее время печать служить предметомъ очень тяжкихъ обвиненій. Я считаю, впрочемъ, излишнимъ излагать здѣсь многообразную сущность этихъ обвиненій; она извѣстна тебѣ, по малой мѣрѣ, столь же подробно, какъ и мнѣ. Нельзя похвалить современную печать, мой другъ, нельзя! И хотя я стараюсь быть безпредвѣтственнымъ, но во всякомъ случаѣ не могу не признать, что дѣло поставлено очень и очень неправильно! И я увѣренъ, что ты самъ внутренно

соглашаешься со мной, хотя, конечно, по чувству солдарности, и не высказываешь... Признайся, вѣдь соглашаешься? а?

— Что-жъ, коли тебѣ все ужъ извѣстно...

— Ну, вотъ видишь, я такъ и зналъ! Есть что-то такое въ этой печати, чего ни подъ какимъ видомъ нельзя дпустить. И даже въ самой формѣ. Вызывающее что-то дерзкое! А притомъ и не всегда понятное. Вотъ почему многие заявляютъ открыто, что печать слѣдуетъ или совсѣмъ упразднить, или, по малой мѣрѣ, надѣть на нее измордники!

— Намордники!

— Да, намордники. И замѣтъ, это говорять люди, которые въ общежитіи слытутъ за людей обязательныхъ, мягкихъ и вѣжливыхъ. Они мягки и обязательны во всемъ, кроме литературы! Какъ только рѣчь коснется литературы, намордники! Я, однако-жъ, этого мнѣнія и-не раз-дѣ-ля-ю.

Онъ произнесъ послѣднія слова съ некоторою торжественностью, такъ что я не воздержался и воскликнулъ:

— Федотъ! ты великодушенъ!

— Я только справедливъ,—отвѣтилъ онъ томно.—Тѣмъ не менѣе, не раздѣляя мнѣнія столь крайняго, я въ то же время понимаю, что мѣры необходимы, и мѣры рѣшительны. И имѣю основаніе думать, что такія мѣры... возможны.

— О!

— Не пугайся, выслушай меня. Вѣроятно, ты ужъ замѣтилъ, что въ основѣ всѣхъ моихъ предположеній лежитъ главнымъ образомъ, не упраздненіе, а упорядоченіе. Или лучше сказать, возрожденіе. Такъ поступаю я и въ данномъ случаѣ. Многіе противопоставляютъ моей системѣ спасительный страхъ, но я нахожу, что послѣдній ужъ въ значительной мѣрѣ утратилъ свое обаяніе. Съ самаго此刻ия варяговъ мы живемъ подъ дѣйствіемъ спасительного страха, а дурныя страсти, какъ были разнудзданы при Гостомыслѣ, такъ и теперь остаются разнудзанными. Другъ мой, чтѣ пользы въ томъ, что мы, подобно Сатурну будемъ глотать своихъ дѣтей?! Проглотимъ одного, проглотимъ другого, третьяго, четвертаго... чтѣ-жъ дальше? И расточать надо, а собирать въ житницы—вотъ мой девизъ. Этотъ девизъ, какъ тебѣ извѣстно, я примѣнилъ къ той части моего проекта, которая касается нашей молодежи; его же предполагаю примѣнить и къ печати.

— О!

— Вотъ вкратцѣ содеряніе моихъ предположеній по этому предмету. Печать, говорю я, сама по себѣ не могла бы существовать, если бы не существовало дѣятелей печати. Ежели дѣятели печати хороши, то и печать хороша; ежели дѣятели дурны или вредны, то и печать дурна или вредна. Это... аксіома. А ежели это аксіома, то очевидно, что сущность или, такъ сказать, стрѣла всякаго проекта, написаннаго въ здравомъ умѣ и твердой памяти, должна быть направлена не противъ печати собственно, а противъ ся дѣятелей. Такъ оно у меня и выходитъ. Дѣятелей печати я раздѣляю на два разряда: къ первому отношу современныхъ литераторовъ и публицистовъ; ко второму—публицистовъ и литераторовъ будущаго. Что касается первыхъ, то на ихъ бозрожденіе надежда плохая. Они слишкомъ закоснѣли въ дурныхъ привычкахъ, слишкомъ избалованы. Поэтому я полагаю удобнѣйшимъ оставить ихъ подъ дѣйствіемъ спасительного страха, подъ коимъ они до-днесъ пребывали, не чувствуя оттого для себя отягощенія...

— Ну, не совсѣмъ-таки безъ отягощенія...

— Извини меня, но со стороны господъ писателей это уже прихоть! Все вамъ предоставлено, все! И яредостереженія, и предупрежденія, и совѣты! Если же и затѣмъ... согласись со мной, что самая смиходительная система дальше идти не можетъ, не рискуя попасть пальцемъ въ небо. Впрочемъ, повторяю: на нынѣшній составъ литературы я и не полагаю никакихъ надеждъ. Alea jacta est. Чѣдъ будетъ, тѣдъ будетъ, а будетъ, чѣдъ Богъ дастъ. Намордниковъ я не предлагаю, но думаю, что сама природа, наконецъ, возмутится и явится на помощь благонамѣреннымъ людямъ съ естественной связкой. Уже достаточное количество сошло съ арены; остальные... не замедлять! Жалко, но дѣлать нечего—таковъ законъ природы! Ну-съ, а затѣмъ прошу тебя выслушать меня внимательно, потому что я приступаю.

— Съ большимъ удовольствіемъ, хотя я не могу не сказать, что мнѣніе твое насчетъ современной литературы...

— Ни слова объ этомъ. Ежели я не требую намордниковъ, то и идти дальше по пути послабленій вимало не желаю. Словомъ сказать, я возлагаю упованіе на будущее. Въ этихъ видахъ я связываю мои предположенія о возрожденіи печати съ проектомъ объ упорядоченіи молодого поколѣнія вообще. Ты видѣлъ, какъ не трудно и даже легко достигается послѣднее, а по послѣднему можешь су-

дить и о первомъ. Какъ скоро образуется, благодаря содѣстствію племенныхъ молодыхъ людей, молодое поколѣніе, усовершенствованное и очищеннное отъ неблагонадежныхъ элементовъ, то имѣстъ съ тѣмъ получатся и питательные кадры, изъ которыхъ имѣютъ пополняться ряды дѣятелей печати. Но здѣсь—какъ, впрочемъ, и вездѣ—возникаютъ иѣсколько очень существенныхъ вопросовъ, которые необходимо разрѣшить впередъ. Вопросъ первый: слѣдуетъ ли сдѣлать входъ въ литературу среду общедоступную? Или полезнѣе будетъ ограничить число дѣятелей печати опредѣленнымъ комплектомъ? Я долго колебался между этими двумя системами, но, по обсужденію доводовъ pro и contra, пришелъ къ такому заключенію: первая хороша—вообще, вторая—въ частности. А такъ какъ наше время—не время широкихъ задачъ, то хотя и съ болѣю въ сердцѣ, но приходится предпочесть частное общему. Въ этихъ видахъ я полагаю, что на первыхъ порахъ комплектъ дѣйствующихъ литераторовъ ограничить числомъ 101. Сто—это потребность настоящаго; одинъ—это, такъ сказать, окно, изъ которого открываются перспективы будущаго. Гдѣ есть одинъ, тамъ есть начало новой сотни, или, по крайней мѣрѣ, надежда на оную—вотъ! Или, говоря точнѣе, я не только не закрываю дверей будущаго, но, напротивъ, приглашаю достойнѣйшихъ: идите! Вотъ этотъ *сто первый* укажетъ вамъ путь къ славѣ!

— Прекрасно! — воскликнулъ я. — Стало-быть, ты все-таки сознаешь, что и литературѣ не чуждъ путь славы!..

Но онъ вмѣсто отвѣта только махнулъ рукою и продолжалъ:

— Второй вопросъ касается организаціи. Не имѣя въ виду precedentовъ, которые указывали бы, какъ въ данномъ случаѣ поступить, я былъ вынужденъ довольствоваться собственnoю изобрѣтательностью. И посему полагаю: сто русскихъ литераторовъ раздѣлить на десять отрядовъ, по десяти въ каждомъ, а сто первому литератору, предоставить переходить по очереди изъ одного отряда въ другой до тѣхъ поръ, пока время не укажетъ на необходимость образования новаго, одиннадцатаго отряда, къ которому онъ и примкнетъ. Во главѣ этихъ отрядовъ, на первое время, я предполагаю поставить старѣйшихъ изъ числа дѣятелей современной русской литературы, по исключительно изъ такихъ, которые, по преклонности лѣтъ, уже мышней не ловятъ. При этомъ я отдалъ бы предпочтеніе

составителямъ хрестоматій, которымъ, по свойству ихъ занятій, всѣ роды литературы доступны. Когда все будетъ готово, тогда, по совершенніи молебствія и по воснослѣдованіи пригласительного сигнала, отряды начнутъ между собою полемику. Но полемику благородную и притомъ сливающуюся въ одномъ общемъ чувствѣ признательности.

Онъ остановился, чтобы передохнуть, и я воспользовался этимъ, чтобы слегка походатайствовать.

— Вотъ ты упомянулъ о старѣйшинахъ,—робко инсипионировалъ я:—вотъ кабы...

— Имѣю въ виду,—обнадежилъ онъ меня кратко.—Затѣмъ продолжаю. Вопросъ третій: слѣдуетъ ли членамъ литературныхъ отрядовъ присвоить штатное содержаніе, или же удобнѣе считать ихъ занятія безвозмездными? На этотъ вопросъ отвѣчаютъ трояко: одни—въ утвердительномъ смыслѣ; другіе—въ отрицательномъ и, наконецъ, трети говорятъ: слѣдуетъ, но въ видѣ частнаго пособія и притомъ келейно. Отрицательной системы я не допускаю вовсе, потому что она до извѣстной степени подрываетъ принципъ отвѣтственности и притомъ уже доказала на дѣлѣ свою несостоятельность. Систему келейныхъ пособій я тоже не могу одобрить, потому что она, страдая тѣмъ же недостаткомъ, какъ и система отрицательная, имѣеть сверхъ того и еще неудобство: такъ-называемыя субсидіи стоять казнѣ, по малой мѣрѣ, столь же дорого, какъ и гласно выдаваемое жалованье. Затѣмъ остается система утвердительная, которую я и принимаю. Но что касается размѣра предполагаемыхъ содержаній, то таковой поставленъ мною въ зависимости отъ состоянія бюджета. Хорошъ бюджетъ—и жалованье хорошо; дуренъ бюджетъ—и нѣтъ ничего. Но расписываться въ полученіи и въ томъ, и въ другомъ случаѣ—обязательно.

— Вотъ-то будуть о ниспосланіи хорошаго бюджета Бога молить!—невольно вырвалось у меня.

— Га! ты понялъ теперь, въ чемъ заключается соль моего проекта! Вотъ это-то именно мнѣ и нужно. Да-сь, перестанутъ господа публицисты хихикать надъ бюджетомъ! Перестанутъ-сь, будуть Бога молить-сы! Но пора кончить. Остается четвертый и послѣдній вопросъ: какому порядку надлежитъ слѣдовать въ видахъ пополненія отрядовъ, какъ при образованіи ихъ, такъ и на случай убылей? На это я отвѣчиваю кратко: тѣ же правила, какія проектированы мною для признания правоспособности молодыхъ

людей, могутъ быть примѣнены и здѣсь. Въ средѣ племенныхъ молодыхъ людей дѣятели печати составлять какъ *status in statu*; это будуть дѣятели племенные по преестественному. Только одно лишнее требование я считаю полнымъ допустить—это знаніе латинскихъ пословицъ и изречений. Знаніе это сообщаетъ слогу колоритность, а писателю даетъ видъ, какъ будто онъ нѣчто знаетъ, но толкомъ не все сказать хочетъ. Затѣмъ остальное—пускай устроитъ жребій.

Онъ кончилъ и заторопился. На этотъ разъ онъ да не поинтересовался моимъ мнѣніемъ: до такой степени рельефно выступала въ его сознаніи непрекаемость проекта. Впрочемъ, онъ обѣщалъ невдолгъ вновь меня посетить и изложить мнѣ свои проекты относительно упорядоченія судовъ и земства.

— А при этомъ, быть-можетъ, придется намъ коснуться и элеваторовъ,—присовокупилъ онъ, загадочно подмигнувъ мнѣ глазомъ.

---

### Письмо четвертое.

Чтобы «Пестрыя письма» воистину оправдывали это название, позвольте мнѣ сдѣлать небольшую экскурсию въ область прошлаго.

До «катастрофы» моя сосѣдка, добрая Арина Михайловна Окунцева, жила очень смироно. Къ этому времени ей было уже за тридцать, а мужу ея, Севастьяну Игнатьевичу, годомъ-двумя побольше. Имѣніе у нихъ было изъ среднихъ—по старому счету, душъ триста; но, какъ люди старались и неприхотливые, они довольствовались и малымъ. А такъ какъ, сверхъ того, они изъ деревни не выѣзжали, то это малое настолько граничило съ изобилиемъ, что домъ Окунцевыхъ представлялъ собой полную чашу, въ которой все говорило о запасливости и предусмотрительности домовитой хозяйки.

И мужъ, и жена жили душа въ душу. Она взяла на себя всѣ хлопоты по домашнему обиходу и по управлению имѣніемъ; на немъ—лежала только сладкая обязанность любить ее. Восемнадцати лѣтъ Ариша была бодрою, свѣжею и сильною дѣвушкой; такою же казалась она Севастьяну Игнатьичу и въ тридцать лѣтъ, хотя значительно пошла

въ кость, обзавелась усиками и фигурой скорѣе напоминала солидно скроенного мужчину, нежели деликатную даму. Съ своей стороны, и Севастьянъ Игнатьичъ, въ глазахъ Арины Михайловны, оставался все тѣмъ же обаятельный гусаромъ, какимъ онъ былъ, когда впервые пропѣль передъ нею модный въ то время романсь: «Гусаръ, на саблю опираясь», хотя черезъ пятнадцать лѣтъ, благодаря усиленной выкормкѣ, онъ скорѣе напоминалъ среднихъ лѣтъ скопца, нежели лихого корнета. Время не наложило своей всевластной руки на ихъ взаимныя отношенія. Какъ въ первую, такъ и въ послѣднюю минуту оба помнили и понимали одно: онъ—что она Ариша, она—что онъ Савося. И что лучшаго ничего они не выдумаютъ, какъ любить другъ друга.

Богатствъ у нихъ не было, но не было и затѣй, которыхъ заставляли бы чувствовать отсутствіе богатства. Было все «свое», и въ этомъ «своемъ» они себѣ не отказывали. Своя живность, свое варенье, свои наливки, свои смоквы, свое тепло, свой просторъ. Все некупленное и притомъ являющееся какъ будто само собой, безъ усилий, безъ думы, точно волна за волной плыть, а за этой волной и еще волна виднѣется. Поѣсть захотять—поѣсть; посидѣть захотять—посидѣть, а не то такъ и походить. Пріемовъ они не дѣлали и съ гостями скучали (глаза при гостяхъ у нихъ слипались), хотя отъ хлѣбосольства не отказывались. Всего охотнѣе, по случаю всегдашней взаимной любви, они оставались съ-глазу-на-глазъ, вдвое.

Встануть, бывало, часовъ въ восемь утра, Ариша по хозяйству исчезнетъ, а Савося временно остается одинъ въ цѣлой анфиладѣ комнатъ. Посидѣть онъ и походить, какъ вздумается: иногда подумаетъ, а иногда и такъ въ окошко поглядить; и во всякомъ случаѣ чего-нибудь покушаетъ («пить» она ему дозволяла только одну рюмку водки передъ обѣдомъ). Но пройдетъ часъ-другой, и онъ уже начинаетъ просовывать голову въ коридоръ, выглядывая, не пройдетъ ли мимо Ариша. И, разумѣется, поймаеть.

— Ариша, ты?

— Ахъ, ты мо-о-ой!

Поцѣлуются, и опять каждый за дѣло. Опять пройдетъ часъ-другой...

— Ты, что ли, Ариша?

— Ахъ, ты мо-о-ой!

И не увидяты, какъ день пролетитъ. А вечеромъ, еще

восьми часовъ на дворѣ пѣть. Савося ужъ начинаетъ рошиться. Перестанетъ ходить и усидется въ кресло, то нѣвѣсть какъ уморился. Увидѣвъ Савосю въ этомъ поженіи, Арина Михайловна и съ своей стороны начинѣла спѣшить. Заказавши завтрашнюю ъду, она шла къ мужу говорила:

— Чтѣ, пѣтушокъ, къ курочкѣ подъ крыльшко бани собрался?

Словомъ сказать, тѣмъ горячѣе они любили другъ друга, что и любовь у нихъ была «своя», не купленная. Но особенности преданно и горячо любила она. Почему-то предполагала, что Савося, какъ бывшій гусаръ, долженъ имѣть вкусы изысканные. А такъ какъ она съ каждымъ годомъ все больше и больше шла въ кость, то и ставила мужу въ большую заслугу, что онъ, несмотря на это, только ни разу ей не измѣнилъ, но никогда ни на одногорничную завистливѣмъ окомъ не взглянулъ.

— Чтѣ я такое—мужикъ—мужикомъ!—открывалась съ ключницѣ Платонидушкѣ:—кожа на мнѣ словно голени, выростковое, на рукахъ—мозоли, на ногахъ—саражинки. Ты думаешь, онъ этого не понимаетъ? Понимаетъ, мнѣ другъ, ахъ, какъ понимается! И ему, голубчику, любовине то хочется! И чтобы бѣленъкая, и чтобы вѣжненькая... онъ, вмѣсто того, одну меня, бабу-чернавку, любить. Должна ли я это пѣнить?

И вознаграждала Савосю за любовь тѣмъ, что окружала его всевозможными попеченіями. Вѣтру не давала на нее вѣнуть, любимая его блюда наперечеть знала и нарочно по коридору лишний разъ пробѣгала (хотя дѣла у нее всегда по горло было) на случай, не выглянетъ ли Савося изъ комнаты.

Дѣтей имъ Богъ не далъ, копить было не для кого. Такимъ образомъ, они имѣли полную возможность жить иключительно для себя. Конечно, Божьяго добра зря не транжирили, но и не скопидомствовали, а только всемѣромъ другъ друга холили, чувствуя, какъ мягко подхватываетъ ихъ волна за волной, и зная напередъ, что и конца этимъ ласкающимъ волнамъ не предвидится.

И крестьяне, и дворовые не могли нахвалиться имъ, говорили: «у насть не господа, а ангелы». Никого они не обременяли ни непосильной работой, ни оброками, а довольствовались тѣмъ и другимъ лишь въ той мѣрѣ, въ какой это было нужно, чтобы въ господскомъ домѣ полно-

чаша была. И чтобы не въ однихъ господскихъ покояхъ, но и въ застольной, и на скотномъ и конномъ дворахъ—вездѣ чтобы изобиліе и сытость царствовали. Чтобы дѣвка—такъ дѣвка, корова—такъ корова, пѣтухъ—такъ пѣтухъ,—вотъ у насъ какъ!

Денегъ въ домѣ Окунцевыхъ въ обращеніи мало водилось. Было у Арины Михайловны «маменькино приданое», но оно хранилось въ «Совѣтѣ», и проценты ежегодно присовокуплялись къ капиталу. Что касается до текущаго дохода, то онъ почти всецѣло получался натуральными произведеніями, изъ которыхъ только малая часть поступала въ продажу. Вообще на деньги Окунцевы смотрѣли какъ на что-то исключительное, волшебное, существующее придти на выручку въ «черный день». Для обихода на наличные деньги пріобрѣталась только бакалея и матеріаль для одежды, и все «покупное» расходовалось до крайности разсчетливо и даже скupo. Кассой завѣдывалъ Севастьянъ Игнатьичъ, который приходилъ въ неописанное волненіе всякой разъ, когда по хозяйству предстояла денежный расходъ. Раза два въ годъ онъ усчитывалъ себя, и ежели оказывался излишекъ, то супруги уѣзжали на короткое время въ Москву (въ «Совѣтѣ»), гдѣ Севастьянъ Игнатьичъ вель переговоры съ приказными, что-то «вынималъ» и что-то «клалъ», но при этомъ вель свои операции въ такомъ секрѣтѣ, что ни одинъ сосѣдъ не пронюхалъ, что у Окунцевыхъ пахнетъ деньгами, и не попросилъ взаймы.

Это была идиллія, содержаніе которой не разнообразилось даже проявленіями такъ-называемыхъ патріархальныхъ отношений. Сосѣди-помѣщики смѣялись надъ неповрежденной годами страстью счастливыхъ супруговъ и сочиняли по этому поводу пикантные анекдоты; но Окунцевы жили такою замкнутую жизнью, что никакое судаченіе не доходило до нихъ. Зато имъ довольно часто приходилось выслушивать реприманды по поводу слабаго управления крѣпостными людьми. Время тогда было серьезное и предусмотрительно во всѣхъ частяхъ согласованное. Человѣкъ представлялся чѣмъ-то въ родѣ сатанина сосуда, который надлежало держать тщательно закупореннымъ, такъ какъ, при малѣйшей оплошности, сатана выскочить и начнетъ чертить. Но ежели таково было представление о человѣкѣ вообще, то по отношенію къ крѣпостному человѣку оно являлось уже совсѣмъ непререкаемымъ. Окунцевыхъ

предостерегали (преимущественно съ точки зрења дурного примѣра), предсказывали, что они и сами раскаются, но будетъ поздно, и специально указывали на Макарку-идола, который отъ корму да отъ праздности, того гляди, съ жиру лопнетъ. Послѣ подобныхъ увѣщаній Савося нерѣдко задумывался и прищуриваль одинъ глазъ, какъ бы искушаемый вопросомъ: не вспрыснуть ли Макарку-идола, чтобы ходилъ веселѣ? Но Ариша замѣчала эту задумчивость и успокаивала мужа однимъ словомъ: «пустяки». Никогда даже колебаній по этому поводу ей на умъ не входило.

— Дѣтей намъ Богъ не дать,— говорила она:—чего захочется, и безъ тиранства всего у насъ вдоволь; а они на-тко что выдумали: людей тигосить!

И жили они среди этой идиліи, забытые не только исправникомъ, но даже становымъ приставомъ, жили счастливые, довольные, сытые... до самаго дня «катастрофы».

Слухи о приготовленіи къ «катастрофѣ» дошли до нихъ поздно. Сельскій батюшка за третнымъ жалованьемъ въ городъ поѣхалъ и засталъ тамъ большой съѣздъ. А на постояломъ дворѣ ему сказали, что дворянне съѣхались, потому что имъ дозволено насчетъ «воли» просить. Но Окунцевы не вдругъ повѣрили, а истолковали съѣздъ дворянъ въ томъ смыслѣ, что, какъ прежде бывало, «пошушкаются-пошушкаются дворняжки, да и разъѣдутся». Однако-же мѣсяца черезъ два пришла изъ губерніи печатная разграфленная бумага на имя Арины Михайловны Окунцевой, владѣлицы сельца Присыпкина съ деревнями. Требовали статистику.

— Статистику требуютъ,—сказалъ Севастьянъ Игнатьичъ, прочитавши бумагу.—Вотъ, прочти!

Арина прочла и поблѣдѣла.

— Разорвать, что ли?—предложилъ онъ рѣшительно.

— Разорви!—отвѣтила она, не задумавшись.

Это было первое открытое неповиновеніе властямъ, которое Севастьянъ Игнатьичъ позволилъ себѣ въ теченіе всей своей мирной жизни. Разорвавши бумагу и предавши клочки сожженію, онъ, повидимому, успокоился; но спокойствіе это было только наружное. Ни онъ, ни Арина Михайловна уже не могли забыть. Домашній обиходъ не измѣнился, но въ сердца заползъ страхъ будущаго. «Отнимутъ!»—неотступно мелькало въ умѣ Севастьяна Игнатьича, и ему казалось, что стѣны господскаго дома, въ которомъ росла и провела жизнь его Ариша (имѣніе было ея, а онъ только свою красоту въ домъ принесъ), начинаютъ коле-

батъя. «Отнимутъ!» шептала, съ своей стороны, и Арина Михайловна и автоматически вперяла взоръ въ Платонидушку, словно думая: «вотъ она, эта самая птица... вотъ она сейчасъ полетитъ!»

Такъ и не написалъ Савося статистики.

— Никакой я бумаги не получалъ, врете вы!—малодушно отпирался онъ, когда становой приставъ напоминалъ ему о скорѣйшемъ отвѣтѣ.

— Вамъ же хуже будетъ, Севастьянъ Игнатьичъ! — уговаривалъ его становой:—теперича въ губерніи господа собрались; стараются, какъ бы для господъ помѣщиковъ получше сдѣлать—ну, и надобно, значитъ, все по сущей правдѣ показать. Земля, моль, черноземъ, луга—человѣка въ травѣ не видать, а опричь того тѣльки, грибы, куры, бараны—покорно прошу вознаградить!

— А они, вмѣсто награжденья-то, обложеніемъ пожалуютъ...

— Помилуйте, какимъ же манеромъ?

— Да безъ всякаго манера—такъ. Коли у васъ черноземъ, скажутъ, такъ пожалуйте по рублику серебрецомъ съ десятинки, да съ луговъ, да съ талекъ, да съ куръ... Да еще за фальшь, за то, что ты глину за черноземъ показа... Пожалуйте!

Тѣмъ не менѣе, несмотря на то, что многіе Севастьянны Игнатьичи статистики не доставили, дѣло освобожденія состоялось. Господа Окунцевы собственными глазами увидѣли, какъ однажды утромъ потянулся мимо усадьбы народъ въ ближайшее село къ обѣднѣ и часа черезъ тричетыре веротился назадъ. А послѣ обѣда Платонидушка доложила барынѣ, что на посадѣ мужички водку пили.

— Теперь будуть пить — не беспокойся! теперь... будуть! — рѣшила Арина Михайловна, но безъ гнѣва, а скорѣе въ тонѣ пророчества, который она съ этихъ поръ и усвоила себѣ навсегда.

Обстоятельства, въ которыхъ очутились Окунцевы, были тѣмъ болѣе затруднительны, что вплоть до самаго осуществленія эманципаціоннаго дѣла и мужъ, и жена были увѣрены, что оно уничтожится изморомъ. Поэтому никакихъ бумагъ они не принимали, и даже когда становой *оставилъ* на столѣ въ конвертѣ печатный экземпляръ «Положенія», то и его велѣли подальше убрать. Тѣмъ не менѣе фактъ совершился, и надобно было жить...

Можно ли приказывать, или нельзя? Какъ поступать съ

кушаньемъ, со стиркой бѣлля, съ топкой печей, съ уборкой комнатъ? И поступать не когда-нибудь, въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, а именно сегодня, сейчасъ?

Какъ ни странны были эти вопросы, но они первые—или, лучше сказать, они одни—пришли на умъ. Допустимъ, что сегодняшній обѣдъ еще вчера былъ заказанъ—ну, съ этимъ еще какъ-нибудь можно... ну, рыбки солененькой, рыбичковъ... Но завтрашній обѣдъ? Чѣмъ такое этотъ завтрашній обѣдъ и вообще все завтрашнее—утопія это или достовѣрность?

Для Севастьяна Игнатьича перемѣна была не столько чувствительна, потому что онъ и сегодня, какъ вчера, шагалъ взадъ и впередъ по анфиладѣ, не принимая участія въ распоряженіяхъ; но Арина Михайловна положительно почувствовала себя какъ въ камennomъ мѣшкѣ. Вчера она мелькала по дому, разспрашивая, приказывая, объясня; сегодня—внезапно спуталась и оторопѣла. Точно она куда-то шла, хотѣла что-то нужное сдѣлать и вдругъ забыла. Остановилась, смотрѣть во всѣ глаза и даже не усиливается припомнить.

Въ домѣ все стихло; господа—уклонялись, дворовые—выжидали. Что-то существенное перестало дѣйствовать въ этомъ механизмѣ, какой-то скрытый рычагъ, который приводилъ его въ движеніе. Такъ бываетъ, когда въ домѣ умеръ главный человѣкъ, и никто еще не опредѣлилъ себѣ съ ясностью, какъ и что нужно дѣлать, чтобы опять все мало-мальски наладилось. Сперва нужно покойника похоронить, а потомъ ужъ и о «дѣлахъ» думать.

Недѣли черезъ двѣ къ барскому дому подѣхали троечные сани, и изъ нихъ выскочилъ молодой человѣкъ. Онъ надѣлъ въ передней цѣпь на шею, вошелъ въ комнаты и отрекомендовался участковымъ мировымъ посредникомъ.

— Такъ-съ,—отвѣтилъ Севастьянъ Игнатьичъ и до того сконфузился, что даже не подалъ молодому человѣку руки и не предложилъ сѣсть.

Молодой человѣкъ съ минуту поколебался и сѣлъ безъ приглашенія.

— Я пріѣхалъ къ вамъ,—началь онъ:—чтобы предложить, не пожелаетъ ли ваша супруга приступить къ составленію уставной грамоты?

— Не желаемъ-съ.

Молодой человѣкъ, услышавъ этотъ неожиданно-ясный отвѣтъ, окинулъ Савосю удивленнымъ взоромъ.

- То-есть, въ какомъ смыслѣ?—недоумѣвалъ онъ.
- Не «въ смыслѣ», а просто не желаемъ-сь.
- То-есть, покуда или вообще?
- Не «покуда» и не вообще-сь... не желаемъ-сь!
- Но въ такомъ случаѣ я вынужденъ буду лично выполнить за вашу супругу эту обязанность.
- Это... смотря-сь...
- Какъ это... «смотря»?
- Смотря-сь... только и всего.
- Въ такомъ случаѣ... до пріятнаго свиданія!
- Но мы... не желаемъ-сь!

Молодой человѣкъ шаркнулъ ножкой и ретировался, а Севастьянъ Игнатьичъ проводилъ его до передней и, покуда онъ укутывался, разъ десять повторилъ одну и ту же фразу:

- Но мы... не желаемъ-сь:

Молодой человѣкъ былъ въ великомъ смущеніи. Какъ усердный малый, онъ успѣлъ ужъ почти весь участокъ обѣхать, но еще нигдѣ подобного приема не встрѣтилъ. Въ одномъ мѣстѣ его встрѣчали общимъ подколоднымъ шипѣніемъ, въ которомъ принимали участіе даже малолѣтки; въ другомъ—неслисъ къ нему навстрѣчу съ распластертыми объятіями и съ возгласомъ: «привѣтствуемъ васъ, благую вѣсть приносящаго!» Но во всякомъ случаѣ вездѣ съnimъ настоящій разговоръ разговаривали и вездѣ предлагали вмѣстѣ хлѣба-соли откушать. И вотъ, наконецъ, выскользя домъ, гдѣ ему только какія-то рыцарскія слова говорять. «Не желаемъ-сь!» Ахъ, чортъ побери, они «не желаютъ!» И не желайте; любезнѣйшѣе, и никто васъ не принуждаетъ! Только помните...

Однако вотъ будетъ потѣха, ежели весь уѣздъ, по примѣру Окѣнцевыхъ, вмѣсто исполненія благихъ преднаречтаній, начнетъ рыцарскія слова говорить!

А Севастьянъ Игнатьичъ, между тѣмъ, тотчасъ по отъѣзду посредника, кликнулъ Аришу, и затѣмъ съ частью они, обнявшись, ходили по залу, о чемъ-то по секрету совѣщаясь. Послѣ обѣда Савося, спустивши предварительно въ окнахъ шторы, заперся въ кабинетъ, вынуль изъ потайного ящика ломбардные билеты, нѣсколько разъ прикинуль ихъ на счетахъ, потомъ сосчиталъ наличность, и къ вечернему чаю его работа была готова. Оказалось, что маменькино приданое, вмѣстѣ съ наросшими на него процентами и съ ежегодными присовокупленіями изъ доходовъ, представляло

круглую цифру въ шестьдесятъ тысячъ рублей. Результатъ этотъ, повидимому, настолько удовлетворилъ супруговъ, что весь остальной вечеръ они были веселы.

На другой день начались сборы. Укладывали все вообще, кромѣ громоздкихъ вещей. Ящики съ неособенно нужными вещами запирали въ кладовую, а чтѣ понужнѣе—готовилось къ отправкѣ. Очевидно, господа торопились воспользоваться посльднимъ зимнимъ путемъ; но куда и надолго ли они собирались—никто не зналъ. На другой день Благовѣщенья, рано утромъ, господа сѣѣздили на могилки къ Аришинымъ родителямъ, и когда дорожный возокъ былъ окончательно уложенъ и снаряженъ, созвали въ залу дворовыхъ людей и простились.

— Ёду отъ васъ. Не могу!—сказалъ Севастьянъ Игнатьичъ.—За службу—благодарю. Хоть вы и не мои были, а барынины, а все-таки, по ея великой ко мнѣ милости (онъ сдѣлалъ низкій поклонъ въ сторону Арины Михайловны... «Ахъ, что ты, Савоя!»), я за вами много лѣть покоенъ былъ. И ежели кто отъ меня обиду видѣлъ—простите!

— И меня простите! — прибавила Арина Михайловна, низко кланяясь.

— Провизію, которая въ погребахъ осталась,—продолжалъ Севастьянъ Игнатьичъ:—барыня вамъ жалуетъ. А о томъ, какъ вамъ быть до решенія судьбы, спрашивайте у вышняго начальства, а мы тому не причинны. Живите!

Въ тотъ же день мировой посредникъ получилъ отъ присыпкинской барыни бумагу слѣдующаго содержанія:

«Господину мировому посреднику.

«Не желая быть свидѣтелями онаго происшествія, каковое, кромѣ разоренія, не иначе, какъ къ общей гибели почитаемъ, выѣзжаемъ мы съ мужемъ изъ имѣнія сельца Присыпкина и возлагаемъ на васъ. И въ случаѣ будущей выдана за сіе отъ вышняго начальства награда, а равно и насчетъ угодьевъ, какъ-то: лѣсовъ, пустошей, рыбныхъ ловлей и прочаго, то просимъ таковое выслать по жительству.

«Жена корнета Арина Окнцева».

А внизу была особая приписка рукою Арины Михайловны: «Я паденку покойнаго вашего знала и уверена, что онъ сего бы не допустилъ».

Однако-жъ искусственное вѣзбужденіе, поддерживавшееся новостью факта и дорожными сборами, ушло съ первыхъ

же шаговъ по вступлениі супруговъ въ область вольной жизни. Арина Михайловна, впрочемъ, выдерживала постигшую ее невзгоду довольно стойко, но Севастьянъ Игнатьичъ сразу раскисъ. Вдобавокъ ъхать пришлось по пути уже почти разрушенному и на цѣляя сутки дольше обыкновенного. На четвертый день прїѣхали въ Москву и остановились на постояломъ дворѣ у Сухаревой. Тотчасъ же по прїѣздѣ Севастьянъ Игнатьичъ сталъ жаловаться, что у него вздохи точно клещами зажало, но за лѣкаремъ не послалъ; думалъ, что и безъ лѣкаря отъ липового цвѣта пройдетъ. А черезъ недѣлю Арину Михайловну постигло великое горе, о которомъ она и въ мысляхъ никогда не держала: Севастьянъ Игнатьичъ скончался.

Сверхъ ожиданія, Арина Михайловна перенесла свою потерю довольно мужественно. Но въ Присыпкино не воротилась, а устроилась навсегда въ Москвѣ и съ этой минуты окончательно закоснѣла. Не злобилась, а именно закоснѣла, т.-е. начала всѣ невзгоды, не только личныя, но и государственные, какъ-то: войны, неурожай, эпидеміи, хищенія, недоимки и проч., неизмѣнно пріурочивать къ «катастрофѣ». Проворуѣтся ли кто—это оттуда идетъ; произойдетъ ли грандіозное убийство—это оттуда идетъ; поразить ли цѣлую губернію неурожай—это оттуда идетъ; случится ли на желѣзной дорогѣ крушенье поѣзда—это оттуда идетъ. Гессенская муха, кузька, новые суды, суслики, расхищеніе власти, свобода книгопечатанія, ослабленіе религіознаго чувства—все оттуда. Она не злорадствовала, не ехидствовала, а только любила прорицать: «не то еще будетъ, вотъ погодите!» Казалось, у нея былъ наготовѣ цѣлый каталогъ бѣдствій, и она цитировала то одно, то другое, автоматически приговаривая: «это еще цвѣточки, а вотъ ужъ ягодки будутъ!»

Междѣ тѣмъ личное ея положеніе, въ сущности, было совсѣмъ недурное. Въ ломбардѣ у нея лежалъ приличный капиталъ, который она съ выгодою помѣстила въ пятипроцентныхъ банковыхъ билетахъ. И домъ для жительства своего, въ одной изъ Мѣщанскихъ, она задешево пріобрѣла, и устроилась на новосельѣ какъ нельзя лучше. Выписала изъ Присыпкина все барское добро, не исключая и мебели, составила себѣ небольшой штатъ изъ старой присыпкинской дворни, сѣла у окошка въ то самое юльтеровское кресло, въ которомъ никогда Севастьянъ Игнатьичъ послѣ обѣда

дремаль, и начала шерстяной шарф вязать. Провизія въ то время была еще не особенно дорога, денегъ было достаточно; дрова, правда, кусались—ну, да погодите, ужъ тѣ ли еще будетъ! Послѣ деревенской хозяйственной сутолоки она точно на дно рѣки опустилась. Никому до нея дѣла нѣть, и ей ни до кого и ни до чего дѣла нѣть. Скучновато, но зато покойно. Сидѣть она у окошка, и все ей на улицѣ видно. Кто ни пройдетъ, ни прѣйдетъ—она ко всѣмъ постепенно присматривалась. Вотъ это «здѣшній» идетъ—абла-катъ; вотъ и это «здѣшній» же—онъ «не при занятіяхъ» состоять, но по имени его звать Иваномъ Иванычемъ. А вотъ это «чужой» прошелъ—куда это онъ лыжи навострилъ? Ишь спѣшить, точно въ аптеку торопится. А вотъ кто-то у Семенъ Семеныча звонится. Звонится-звонится, не отпираютъ бѣдному, а дождикъ такъ на него и льетъ. Наконецъ, однако, отперли. Выглянула въ дверь баба, злая-презлая. Она, должно-быть, блохъ у себя въ бѣльѣ ловила, а ей посѣтитель помѣшалъ—ахъ, пропасти на васъ, шатуновъ, нѣть!

— Дома Семенъ Семенычъ?

— Ни свѣтъ, ни заря ушелъ. Его у насъ одна заря выгонить, а другая вгонить!

Дверь съ азартомъ захлопывается, и посѣтитель задумчиво впираетъ взоры вглубь Четвертой Мѣщанской, какъ бы испытуя: гдѣ ты, Семенъ Семенычъ? ау! — А Семенъ Семенычъ, съ «Гамлетомъ» въ рукахъ, съ Гамлетомъ въ сердцѣ и съ Гамлетомъ въ головѣ (есть въ Москвѣ чудаки, которые до сихъ поръ Мочалова да Цынскаго забыть не могутъ!), тутъ же, неподалечку, передъ Сухаревой башней въ восторженномъ одѣченіи стоитъ и мысленно разрѣшаешь вопросъ: кто выше—Шекспиръ или Сухарева башня?

Словомъ сказать, всю подноготную Арина Михайловна знала и отлично къ ней прижилась. А вдобавокъ, спустя немнога послѣ «катастрофы», и еще деньги къ ней привалили. Мировой посредникъ не попомнилъ Савосинова неувѣжества и добросовѣстно занялся имѣніемъ Арины Михайловны. И уставную грамоту написалъ, и на выкупъ крестьянъ выпустилъ, и зацадѣльнную землю по частямъ распродалъ, такъ что у Ариши очутился новый капиталъ тысячъ въ шестьдесятъ. Жить бы да поживать при такомъ капиталѣ, а она вмѣсто того заладила: «погодите, пе то еще будетъ, вотъ увидите!»

И точно: нужно было сквозь особенные очки смотрѣть.

чтобы не видѣть, что свѣтопреста~~зл~~еніе ужъ на носу. А такъ какъ Арина Михайловна безъ очковъ свой шерстяной шарфъ вязала, то, разумѣется, она видѣла.

Началось съ того, что волю вину объявили. И съ боковъ, и напротивъ, и наискось стѣны домовъ расцвѣтились вывесками «распивочно и на-выность». Всѣ Мѣщанскія наполнились стономъ. Одно хлопанье кабацкими дверьми, одно визжаніе кабацкихъ блоковъ способны были разстроить самые крѣпкіе нервы. Арина Михайловна не могла привыкнуть къ этимъ звукамъ; безпрерывно она вздрагивала, крестилась и, глядя въ окно, прорицала:

— Ишь, пьяница! ишь поперекъ улицы, словно на печи, на снѣгу разлегся! Погодите, тѣ ли еще будетъ! Сотнями мертвыхъ тѣла по улицамъ подымать будутъ!

Потомъ явились новые суды, и застонали Иверскія ворота, заскрежеталъ Страстной бульваръ... Вой подьячихъ былъ такъ пронзителенъ, что вмѣстѣ съ эманаціями Охотнаго ряда явственно доносился до самой Крестовской заставы. Опять пришлось Аринѣ Михайловнѣ вздрагивать и прорицать.

— И за чѣдъ только старичковъ обидѣли? — жалѣла она подьячихъ. — Развѣ за то, что дешевенькие они были, именно развѣ только за это! Ахъ, да тѣ ли еще будетъ, погодите, и не то увидимъ ужѣ!

Наконецъ, подоспѣло и земство... Тутъ ужъ самъ квартирный сказалъ: «ну, теперь, братъ, капутъ!» А Арина Михайловна сначала-было не поняла, — думала, что дворянамъ будутъ жалованье раздавать, но потомъ вдругъ все сдѣлалось для нея ясно.

— Пойдутъ теперь во всѣ стороны тащить! — прорицала она. — Вотъ помянете мое слово: оглянуться не успѣмъ, какъ все до послѣдней нитки растащатъ! Останется одинъ пшикъ!

Даже привольное житѣе въ собственномъ домѣ не удовлетворяло ее, даже капиталъ не примирялъ съ вѣяніями новаго жизненнаго уклада.

— На чѣдъ мнѣ капиталъ, — говорила она: — вотъ кабы ангель мой былъ живъ — тогда, дѣйствительно... Еще лукавый съ этими деньгами попутаетъ...

Увы! она имѣла нѣкоторое основаніе поминать о лукавомъ. Во-первыхъ, Иванъ Иванычъ (тотъ самый, который «не при занятіяхъ» состоялъ), какъ только узналъ, что она выкупину ссуду получила, такъ сейчасъ же къ ней

свахъ прислать. Во-вторыхъ, какой-то молодой приказный, изъ самаго квартала, мимо ея дома ходить повадился. Ходить да посвистываетъ, и какъ только поровняется съ окномъ, около которого она сидить, такъ сейчасъ же руку къ сердцу прижметъ и глазами взыграетъ... Насилу она отъ него отдалась! Помощнику квартального трехрублевенькую ножертвовала, такъ онъ раза четыре его, козла несытаго, въ кутузку сажаль и только по пятому разу смирилъ. И въ-третьихъ, ей самой, несмотря на то, что со смерти Савоси прошло ужъ пять лѣтъ, безпрестанно чудилось, что ея «ангель», словно живой, выглядываетъ въ дверь и ищетъ ее. «Ариша! ты, что ли?...»

А вдругъ это выглядываетъ не Савося... а «лукавый»?

Нельзя не опасаться «лукаваго». Нельзя, живучи въ Четвертой Мѣщанской, не ожидать съ-часу-на-часть появленія его. Москва — такой большой городъ и притомъ до того простодушно затѣянный, что въ немъ только и есть два сорта людей: лукавые и простофили, изъ коихъ первые хайлѣ разъваются, а вторые въ разинутое хайлѣ сами лѣзутъ. Лукавые больше въ центрѣ города юятся; простофили — по окраинамъ жмутся, а въ томъ числѣ и во всѣхъ четырехъ Мѣщанскихъ. Отъ времени до времени, однако-же, «лукавые» дѣлаютъ на окраины набѣги, и тогда простофили, какъ куры, только крыльями хлопаютъ, но прекословить не пробуютъ.

На этотъ разъ «лукавый» объявился въ образѣ молодого, черноглазаго брюнета, Тимофея Удалого.

Въ одно прекрасное утро онъ явился къ Аринѣ Михайловнѣ, подошелъ къ ручкѣ, называлъ ее тетенькой, а себя — сыномъ кузины Маши.

— Какой же это Маша?.. словно я не помню! — смущилась Арина Михайловна. — У меня троюродная сестра... какъ будто Даша... такъ та, кажется, за Недотыкина вышла.

— За Недотыкина — это сначала; а потомъ за корнета Мстислава Удалого. А теперь папенька съ маменькой скончались-сь.

— Не знаю; помнится, была не Маша, а Даша, а впрочемъ... Какъ же ты обо мнѣ, мой другъ, узналь?

— Иду по улицѣ и вижу: домъ госпожи Окунцевой. Тутъ все и открылось.

— Ну, что-же... коли племянникъ — видно, такъ Богу угодно. Садись, гость будешь.

Арина Михайловна совсѣмъ растерялась: до такой сте-

пени она отвыкла оть людского общества. Думала одна-одинешенька вѣкъ скоротать, а тутъ вотъ родственникъ проявился — какъ его изъ дому выгонишь? И чужихъ сиротъ грѣшно не приголубить, а тѣмъ паче троюродныхъ. А вдобавокъ и Тимоѳей не полѣзъ сразу нахаломъ, а повель дѣло умненько. Посидѣль недолго и на вопросъ тетеньки, при какой онъ службѣ состоять, объяснилъ, что онъ просто «молодой человѣкъ» — только и всего.

— Это что же за званіе такое: «молодой человѣкъ», поди, чай, присутствіе какое-нибудь есть?

— Комитетъ-сь, — скромно объяснилъ Удалой: — дама-старушка предсѣдательствуетъ, а прочія старушки присутствуютъ-сь. А я при нихъ — молодой человѣкъ-сь!

На этомъ свиданіе и кончилось. Въ сущности, ничего угрожающаго не произошло, но, какъ на грѣхъ, у Арины Михайловны сердце съ чего-то заныло. Глаза у него окаянные, у этого Тимоѳея, — это она сразу замѣтила. Самъ весь почтительный, а глаза — большущіе-большущіе, такъ вотъ и подманиваютъ, такъ ядомъ и поливаются! Какъ взглянетъ онъ этакими-то глазищами, да ежели тутъ оплошать...

И пообѣдала она въ этотъ день безъ аппетита, и вечеръ скучно провела; а укладываясь на ночь въ постель, прямо сказала Платонидушкѣ:

— Вотъ и родственникъ проявился! Погоди, ужъ и не тѣ еще будеть!

И затѣмъ цѣлую ночь проворочалась безъ сна, и все думала:

«Возьметъ онъ меня, какъ поморенную курицу, ощиплетъ, да и сѣсть, какъ ему вздумается!»

Время однако-жъ шло, а Удалой продолжалъ вести себя благородно. Приходитъ только по воскресеньямъ, но не къ обѣду, а къ тому времени, какъ тетенька отъ обѣдни воротится и за самоваръ сядетъ. Выпить чашечку и онъ, посидѣть у стѣнки, разскажетъ, въ какомъ году когда Москва-рѣка вскрылась, или что прежде къ масляной балаганы подъ Новинскимъ строили, а нынче ихъ на Дѣвичье-Пole перевели, — и уйдетъ.

Тѣмъ не менѣе Аринѣ Михайловнѣ почему-то казалось, что онъ это только зубы ей заговориваетъ, исподтишка сѣть на ея погибель раскидываетъ. Она и сама не могла себѣ уяснить причину этихъ опасеній, но убѣжденіе, что въ Тимоѳеѣ кроется нѣчто угрожающее, съ каждымъ днемъ зрѣло въ ней больше и больше. И откуда онъ выскочилъ?

Сидѣла она смирихонько, ни о чём не думала, а онъ шелъ, распостылый, мимо, да и пришель. И выгнать его нельзя, потому онъ кузины Маши сынокъ... Маша или Даша... ахъ, прахъ тебя побери! И должность за собой объявилъ: «при старушкахъ... молодой человѣкъ»!—вотъ какая должность! Не быть тутъ добру, не быть! Не даромъ сразу сердце зачудило! «При старушкахъ»... «кузина Маша»... Вытаращить глазищи да дурманомъ ей душу и поливаетъ! А она сидѣть и ждеть... дура, ахъ, дура! Вотъ увидите, не тѣ еще будетъ!

Встревоженная предчувствіями, она съ любовью обращалась къ недавнему прошлому, когда она жила въ Присыпкинѣ, и «ангель» ея былъ живъ, и никакихъ сѣтей они не боялись, а жили, жили, жили... И продолжали бы жить и поднесъ, кабы не оно... ахъ, кабы не это «злое ужасное дѣло»! И «ангель» ея былъ бы живъ, и она бы за нимъ, какъ за камениной стѣной, жила. А теперь куда она одна-одинѣшенька поспѣла! Куда ни обернись—вездѣ словно капкановъ наставили. Въ ряды за покупками пойдешь—пожалуйте къ мировому! Въ церковь помолиться пойдешь—пожалуйте въ кварталь! Намедни вышла этакъ-то сосѣдка Марья Ивановна погулять, а домой только на третій день воротилась. Водили ее по мытарствамъ, водили и по судамъ, и по участкамъ, и по кварталамъ, наконецъ, ужъ самъ оберь-полицеймейстеръ взошелъ: «въ чёмъ же вы, сударыня, виноваты?»

— Никакъ нынче съ жизнью не сообразишь,—жаловалась она сама себѣ:— законовъ много, да иное, по страсти, въ забвенье пришло, а въ другомъ, по новости, еще смаку не нашли. И правители есть—вотъ онъ, правитель, тротуаръ гранить, ишь каблучками постукиваетъ!—да словно они въ отлучкѣ, и воротятся ли, иѣть ли—неизвѣстно. И деньги есть, только чьи онъ—тоже неизвѣстно. Ни-то мои, ни-то чужія, и въ какой силѣ—тоже не знаю. Вчера онъ былъ рубль, а сегодня, сказываютъ, онъ ужъ не рубль, а полтинникъ. Какимъ манеромъ? почему? Вонъ мать Митрофанія деньги-то присовокупляла-присовокупляла, а ее за это по Владиміркѣ...

Удалой замѣтилъ эту наклонность ея къ прорицаніямъ и поддерживалъ ее въ этомъ настроеніи. Какъ ни придется, непремѣнно какую-нибудь судебную проказу расскажетъ, а иногда и соединенную судебно-земскую.

— Въ баламутовскомъ земствѣ господинъ управскій

предсѣдатель сумму присвоилъ, а судь его, милая тетенька, оправдалъ-сь.

— Это, мой другъ, чтобы и на предбудущее время воровали. И пусть воруютъ! Воруйте, батюшки, воруйте! Нынче по этой части свободно, потому вездѣ голь да шмоль завелась—какъ тутъ деньгамъ уцѣлѣть! Вотъ хоть бы насчетъ Присыпкина—сколько лѣтъ и я имъ владѣла, и ма-менька владѣла, и бабенька, и прочие которые... И все говорили: мое! А теперь спроси, чье оно? Былъ домъ, былъ садъ, скотный дворъ былъ, погреба—чи теперь они? гдѣ? Платонидушка лѣтось тетку въ Присыпкинѣ пакѣстить ходила: «искали мы, искали, говорить, того мѣста, гдѣ барскій домъ стоялъ,—такъ и не нашли!» Ни намъ, ни вамъ—словно въ воздухѣ растаялъ! Такъ вотъ, мой другъ, съ имѣніемъ, съ настоящимъ имѣніемъ, съ недвижимымъ—какое чудо случилось! А деньги ему что—тыфу!

Или:

— Въ Петербургѣ, тетенька, одинъ чиновникъ начальнику нагрубилъ, а судь его оправдалъ-сь.

— И по дѣломъ начальнику. Не ходи въ суды, самъ распорядись. А ежели самъ распорядиться не умѣешь, предоставь другимъ, а себя въ сторонкѣ держи. Вотъ я: сколько времени за ворота не выхожу—а почему?—потому знаю, что только потоль я и жива. Выдѣ я на минуту—сейчасъ меня окружать. Пойдутъ во всѣ стороны теребить, одинъ сюда, другой туда—смотрѣши, ань судь да дѣло! Они-то правы изъ суда вышли, а я, простофия, въ дурахъ осталась. Нѣтъ, нынче только держись... какъ разъ!

Но больше всего заинтересовалъ Арину Михайловну процессъ червонныхъ валетовъ. Въ подробности этого дѣла она вслушивалась съ захватывающимъ интересомъ, а смѣлые подвиги главнаго валета положительно приводили ее въ восторгъ.

— Такъ-таки до сихъ поръ его и не нашли?—спрашивала она въ волненіи.

— Такъ и не нашли-сь. И представьте себѣ, тетенька, какія онъ штуки выкидываетъ! Его по всей Москвѣ ищутъ, а онъ въ своемъ кварталѣ по вольному найму письмоводствомъ занимается. Однажды даже къ самому предсѣдателю письмо написалъ: я, говорить, завтра самолично въ судъ явлюсь. Ну, тогдѣ и ждеть, думаетъ, что съ повинной. А онъ приди-то пришелъ, да въ залѣ между публикой все время и просидѣлъ!

— Вотъ такъ ловко!

— Его, тетенька, въ Бакастовомъ трактирѣ ищутъ, а онъ въ «Крыму» съ арфистками отличается. Они — въ «Крымъ», а онъ къ цыганамъ въ «Грузины» закатился! Наслѣдить имъ слѣдовъ — ищи да свищи!

— Да, нынче этимъ ловкачамъ... только имъ однимъ и житье!

— Нынче, тетенька, ежели кто съ дарованіемъ, такъ даже очень хорошо можно прожить. Главное дѣло, выдумку надо въ запасѣ имѣть, чтобы никто такой выдумки не ожидалъ. Сегодня — онъ купецъ, завтра — генераль, послѣ завтра — архіерей... Квартальные-то — «ахъ, ахъ, ахъ, никакъ это онъ самый и есть!» — а его ужъ и слѣдъ простылъ.

— Такъ, такъ, такъ. «Онъ» по волѣ гуляетъ, а просто-филя за него въ кутузкѣ сидитъ. Это — такъ, только этого и можно по нынѣшнему времени ожидать. Поди, онъ и сю минуту гдѣ-нибудь финты-фантъ выкидываетъ.

— Теперь, милая тетенька, и слѣды его потеряли. Можеть-быть, въ земствѣ гдѣ-нибудь скрывается-сь.

— Ха-ха! именно такъ! Именно, именно въ земствѣ. Суды ищутъ — земство покроетъ; земство ищетъ — суды покроютъ... такъ, такъ, такъ!

Въ этотъ день Арина Михайловна даже обѣдать его оставила, а онъ и послѣ обѣда осмѣлился посидѣть.

— Хотите, тетенька, я вѣсъ въ ералашъ съ двумя болванами научу?

И она согласилась. Сперва даромъ играла, а потомъ по орѣху за пушнъ, и онъ ей цѣлый фунтъ сразу проигралъ. Наконецъ, въ десятомъ часу, когда онъ прощаться сталъ, Арина Михайловна посмотрѣла на него пристальнѣе обыкновенного и не удержалась.

— Что это у тебя глаза-то... словно волшебные! — сказала она, не то шуткой, не то конфузясь. — Ишь вѣдь ты какъ глядишь! Нехорошо это, мой другъ, дурно! Ежели и есть въ тебѣ что-нибудь этакое, такъ ты долженъ статься себя побѣдить!

— Это у меня, тетенька, отъ природы-сь. У папеньки такие глаза были и ко мнѣ отъ него перешли. Ахъ, тетенька, вѣдь я сирота!

Онъ произнесъ послѣднія слова такъ жалобно и при этомъ такъ крѣпко прижалъ губы къ ея руки, что она не могла его не пожалѣть. Ей было съ небольшимъ сорокъ лѣтъ, и сердце ея еще не зачерствѣло. Напротивъ того, отъ

спокойной жизни она даже расцвѣла. Мужчина въ сорокъ лѣтъ дѣйствительно вступаетъ въ періодъ холоднаго разсужденія и осмотрительности, а женщина въ эту пору именно и становится неосмотрительною. Покуда есть у нея молодость да красота—она кокетствомъ занимается; а чуть дѣло подъ гору пошло—у нея и ушки на макушкѣ. Именно это самое случилось и съ Ариной Михайловной. По уходѣ Удалого, всѣ сомнѣнія относительно его личности окончательно разсѣялись. Она все припомнила. Дѣйствительно у нея была кузина не Даша, а Маша, которая сначала за Недотыкина вышла, а потомъ овдовѣла и вышла... да, именно, за Удалого и вышла! И папенька-покойникъ сколько разъ, бывало, говаривалъ:—«Гдѣ-то теперь наша «удалая» хвости треплеть?..» А это она самая и была! Да и о Мстиславѣ Удаломъ она гдѣ-то слыхала... когда, бишь?.. Въ дѣвицахъ еще, должно-быть, когда была, а только навѣрное слышала... Стало-быть, Тимоѳей-то и взаપравду приходится ей племянникомъ.

— Ахъ, эти сироты! Ни отца у него, ни матери! Вонъ и сертучонко на немъ... ничего еще сертучокъ, а все-таки... А пріодѣнь-ка его да приглядь—тѣ ли изъ него выйдетъ!

Я не буду описывать здѣсь подробности послѣдовавшаго затѣмъ сближенія, такъ какъ не мастеръ въ воспроизведеніи любовныхъ эпопей, да и къ дѣлу онѣ въ настоящемъ разсказѣ не относятся. Но не могу не отмѣтить, что въ короткое время Арина Михайловна совсѣмъ растерялась. Она настолько подчинилась охватившей ее страсти, что даже о внутренней политикѣ позабыла и перестала прорицать. Пускай суды оправдываютъ, пускай расхищаются власти, пускай изъ земскихъ сундуковъ исчезаютъ мужицкія денежки, пускай желѣзнодорожные поѣзда другъ друга въ лобъ бьютъ! — дѣла ей ни до чего нѣть. Вся она, всѣмъ своимъ существомъ, неслась къ ненаглядному «сиротѣ», который случайно шелъ мимо, да и пришелъ. Пришелъ и напоилъ ея жизнь тепломъ, свѣтомъ, счастьемъ! Даже на деньги она получила совсѣмъ иной взглядъ, и ежели не говорила прямо, что онѣ на то и даны, чтобы ихъ тратить, то потому только, что она просто-напросто тратила, не размышляя, въ силу какихъ логическихъ построений она такъ поступала.

Съ своей стороны Удалой былъ весьма признателенъ. Когда она подарила ему сюрпризомъ щегольскую сюртучную пару, то онъ съ такимъ увлеченіемъ бросился цѣло-

вать ея руки, что она, вся взволнованная, автоматически твердила:

— Ну, вотъ! ну, вотъ! вотъ онъ какъ радуется... Ахъ, бѣдный ты мой!

На чѣдъ онъ скромно и жалобно отвѣтилъ:

— Ахъ, тетенька, вѣдь я—сирота!

За первымъ подаркомъ послѣдовали другіе. Прекраснѣйшая скунсовая шуба, потомъ шапка-боярка, потомъ часы, а также и деньги. Онъ не просилъ денегъ—ужасно онъ былъ на этотъ счетъ деликатенъ,— но она настояла. Она понимала, что молодому человѣку нельзя безъ денегъ. У него есть товарищи, друзья, съ которыми ему и повеселиться хочется, и покутить,—ну, вотъ тебѣ, мой другъ, пятирублевенькая, повеселись! Молодое естественно къ молодому лнеть—это не нами заведено, не нами и кончится. Такъ-то и онъ, сироточка. Съ иею—какая она ему пара!—посидить, поскучаетъ, въ родѣ какъ жертву ей принесеть, а на умѣ у него все-таки, какъ бы въ театрѣ да на дѣвушекъ посмотрѣть, да съ товарищами пѣсенки попѣтъ! А на веселье-то деньги нужны—гдѣ ему, сиротѣ, взять? А ей для кого деньги беречь? Дѣтей у нея нѣть, близкихъ родственниковъ—тоже; къ нему же, сиротѣ троюродному, все со временемъ перейдетъ!

Словомъ сказать, опять въ жизни Арины Михайловны началась идиллія, но на этотъ разъ въ подлинность ея вѣрила только она одна. И Платонидушка, и старый Савосинъ камердинеръ, Евсеичъ, инстинктивно возненавидѣли Удалого и не выражали ему своего пренебреженія только потому, что барыня при первыхъ же въ этомъ смыслѣ попыткахъ внушила имъ, что она никого служить себѣ не вынуждается, что ежели кто ею недоволенъ, то на мѣсто недовольныхъ не трудно сыскать другихъ, довольныхъ...

Однажды, однако-жъ, Тимона (она начала звать его уменьшительнымъ именемъ), вопреки своей обычной деликатности, вдругъ совершенно неожиданно озадачилъ ее вопросомъ:

— А чѣдъ, тетенька, у васъ много денегъ?

Услышавши эти слова, она ужасно смущилась. Какъ будто что-то въ этомъ родѣ уже не разъ мелькало у нея въ головѣ, и она до смерти этого боялась. Не потому, чтобъ она жалѣла денегъ,—она даже чтѣсть на свѣтѣ разсчетливость позабыла,—а потому, что ей было стыдно. И вотъ, наконецъ, оно пришло. «Вотъ оно!» — подумалось

ей какъ-то само собою, и она почти со страхомъ его спросила:

— На чѣ тебѣ?

— Такъ. Вы, тетенька, женщина; съ деньгами обращались мало. Получаете проценты съ капитала, а тотъ ли это процентъ, и въ какомъ смыслѣ его слѣдуетъ понимать—это вамъ неизвѣстно. А процентъ-то—онъ разный. Одно дѣло—пять копеекъ съ рубля, другое—десять и двадцать, а наконецъ и капиталъ на капиталъ.

Въ голосѣ, которымъ онъ высказалъ эту финансовую теорію, не слышалось ни нетерпѣнія, ни особенной алчности, но при словѣ «процентъ» у Арины Михайловны словно голову туманомъ застлало. Она сидѣла, опершись подбородкомъ на одну руку, а пальцами другой руки перебирала по столу. И молчала, точно даже забыла, что нужно что-нибудь отвѣтить.

— Вы, тетенька, гиѣваетесь?—спросилъ онъ ее съ ласковымъ укоромъ.

— Ахъ, нѣтъ! чѣ ты! чѣ ты! Это я такъ... О чѣмъ, бишь, ты спрашивалъ? о деньгахъ?

— Такъ, глупость въ голову пришла... Оставимте этотъ разговоры! Забудьте, тетенька, прошу васъ, забудьте!

— Чѣ-жъ тутъ такого—отчего не поговорить? Поговоримъ! Ну, ну, хорошо, не сердись! Коли не хочешь говорить, такъ и не будемъ... Да отстань, безпутный... не стану! Богъ съ ними, съ деньгами—только грѣхъ отъ нихъ! Ты бы лучше къ товарищамъ пошелъ, повеселился бы... Хотется? а?

— Позвольте! тетенька!

— И прекрасно. Вотъ тебѣ красненькая, сдѣлай себѣ удовольствіе! Ахъ, сироточка ты мой, сироточка! Тетеньку свою пожалѣль? а? А подумалъ ли ты, мой другъ, что если бы всѣ-то капиталъ на капиталъ...

— Оставьте, тетенька! Прошу васъ, оставьте! Простите, не буду! Простили? Ну, вотъ и панинка! Можно ручку подѣловать?

Весь этотъ вечеръ Арина Михайловна была взволнована. Въ мысляхъ ея носился хаосъ, но она чутьемъ угадывала, что готовится что-то чрезвычайное. И вотъ опять, послѣ недавнихъ дней забвенія, передъ ней воскресло прошлое, а вмѣстѣ съ нимъ и та причина всѣхъ причинъ, которая разбила это прошлое. «Все оттуда, все оно, это злое, ужасное дѣло!» твердила она себѣ, ворочаясь съ боку

на бокъ въ тишины безсонной ночи. Кабы не оно, жила бы она теперь въ Присыпкинѣ, и Савося при ней, и всего было бы у нихъ вдоволь! И индюшечка своя, и курочка своя, и картофельцу, и морковки... Ужъ Савося денегъ не растранириль бы, онъ за десятирублевенькой-то сто разъ бы въ ящикъ сходилъ, прежде чѣмъ разстаться съ нею! А она—натко—каждый день, каждый день! То пятирублевеньку, то десятирублевеньку... вынь да положь! И куда только онъ, расностылый, деньги изводить... Не иначе какъ съ мамзелями проклажается! А къ ней придетъ: «тetenъка, позовите ручку пощловать»... Нѣ, мой другъ! А за обѣдомъ соуса да бламанжеи... А чѣмъ провизія-то, по нынѣшнему времени, стоять? И чѣмъ такое случилось? какимъ манеромъ, куда она, куда? Конецъ-то, конецъ-то будетъ ли? Ахъ, Савося!

Но Савося не приходилъ, а камень между тѣмъ былъ брошенъ, и Арина Михайловна убѣдилаась, что до тѣхъ поръ она не успокоится, покуда не вытащить его.

— Чѣмъ ты такое насчетъ процентовъ вчера говорилъ?— начала она на другой день уже сама.

— Забудьте, милая тetenъка, прошу васъ, забудьте!

— Зачѣмъ забывать, коли чѣмъ выгодное предвидится, такъ мнѣ и самой любо! Я вотъ теперь пять копеекъ со своихъ билетовъ получаю... мало, что ли, говори!

— Мало, тetenъка, такъ мало... даже обидно! Ужъ десять-то процентовъ — это вамъ всякий съ удовольствіемъ дастъ!

— А какъ же съ билетами-то съ моими... себѣ, что ли, онъ ихъ возьметъ, или такъ?

— Извините, тetenъка, я вѣсть не понимаю.

— То-то вотъ: не понимаешь, а судишь! Опричь, что ли, онъ мнѣ десять процентиковъ отсчитаетъ, а билеты само собой, или ужъ съ билетцами съ моими рас проститься придется... ау, голубчики!

— Онъ, тetenъка, билеты на деньги переведеть да деньгами, по окончаніи, и разсчитается. А кромѣ того проценты.

— А ежели онъ билеты-то возьметъ да съ ними и ухнетъ?

— Помилуйте, а обезспеченіе? Домъ, напримѣръ, или имѣніе... Да позовите, я къ вамъ Оому ѡомича приведу: онъ для васъ это дѣло кругомъ пальца обвертить.

Привели ѡому ѡомича. Передъ Ариной Михайловной

предсталъ съденъкій, но еще бодрый старичокъ, въ синемъ сюртукѣ старого фасона и въ чистой коленкоровой ма-нишкѣ. Въ этотъ день онъ выбрился, вымылъ лицо мыломъ, волоса помадой вымазаль, сапоги со скрипомъ на-дѣль, тоинъ къ причастію собрался. Брови у него были густыя и стояли дыбомъ; изъ продолговатыхъ ноздрей лѣзъ волосъ; на щекахъ и на носу запекся фioletовый румя-нецъ. Вель онъ себя солидно, и когда Арина Михайловна попросила его сѣсть, то сначала сказалъ: «постою-сь», а потомъ сѣль. Но когда, во время бесѣды, собесѣдница, хотя и невзначай, возвышала голосъ, то онъ, какъ бы подъ вліяніемъ страха, привставалъ. Говорилъ ровнымъ и пріят-нымъ теноркомъ; когда сморкался, то, въ знакъ почтенія, отвертывался въ сторону, а когда на колокольѣ раздавался звонъ — хотя бы это былъ бой часовъ — творилъ крестное знаменіе. Сначала онъ рассказалъ, что у жены его, двадцать лѣть тому назадъ, ноги отнялись — такъ и до сихъ поръ она на кровати безъ движенья лежитъ; что родители у него были дмитровскіе мѣщане, а онъ, съ тече-ніемъ времени, въ Москву переписался; что у него двое дѣтей: сынъ да дочь; сына онъ, за непочтеніе, проклялъ, а дочь за хорошимъ человѣкомъ замужемъ, и теперь они рыбную ловлю въ Хапиловскомъ прудѣ снимаютъ и, слава Богу, сыты. Затѣмъ повель рѣчъ о купцахъ и сдѣлалъ об-щее замѣчаніе, что у нихъ въ настоящее время отъ преж-няго благосостоянія остались только жены толстыя, семьи большія, свои лошади и злые собаки при домахъ, но де-негъ ужъ нѣть. Поэтому въ Москвѣ теперь ничѣмъ не за-нимаются, только ищутъ. Кому не очень нужно, тотъ во-семь копеекъ за рубль даетъ; ежели у кого нужда сред-ственная, тотъ даетъ десять и двѣнадцать копеекъ, а ежели у кого зарѣзъ — не прогнѣвайся, и всѣ тридцать заплатить. Но не иначе, какъ подъ вѣрное обезпеченіе. Такимъ ма-неромъ оно и идетъ. Который сыщетъ — тотъ какъ будто на время поправится, а который не сыщетъ — баланецъ подводить.

— Такъ что ежели у кого теперича свободный капиталъ есть, — говорилъ онъ: — тотъ хорошую пользу можетъ полу-чить. Только нужду надо разматривать, а по ней и про-центъ назначать. Вотъ у меня знакомый купецъ Трифо-новъ, въ Ножовой линіи торгуетъ, тому хоть и не нужно, а и онъ, для обороту теченія, восемь процентовъ съ ра-достью дасть. Опять же другой есть купецъ, Сыровъ Каргъ

Дементьевич,—тому средственно деньги нужны, онъ десять—дѣвънадцать копеекъ заплатить. А тутъ же, на углу, господинъ Фарафонтьевъ—этотъ и за двадцать пять копеекъ въ ножки поклонится. Вотъ какъ, сударыня.

— Ну, двадцать-то пять ужъ грѣхъ! — посовѣтилась Арина Михайловна.

— Много нынче грѣха, сударыня. Ежели всѣ-то сосчитать, такъ камня на камнѣ въ Москвѣ не останется. Бываютъ, доложу вамъ, и такія дѣла: взбѣсится купеческій сынъ и зачнетъ, при жизни родителей, капиталы объявлять—ну, этотъ и рубль на рубль съ удовольствіемъ послать. Только я вамъ, сударыня, на такія дѣла идти не совѣтую. По-моему, лучше десять копеекъ на рубль получить, только чтобы вѣрно!

Словомъ сказать, говорилъ резонно. Съ своей стороны и Арина Михайловна внимательно выслушала предложенія старишка и даже не оставила ихъ безъ возраженія.

— Боюсь я, — сказала она: — не твердо нынче у насъ. Законы хоть и есть, да сумнительные: ни-то слѣдуетъ ихъ исполнять, ни-то не слѣдуетъ; правители есть, да словно въ отлукѣ... Намеднись у сосѣдки двухъ курицъ со двора свели—она въ кварталь, а приказные надъ ней же смѣются. Не въ то, виши, мѣсто пришла. Ступай, говорять, къ Калужской заставѣ... Ближнее мѣсто!

— А у насъ обезпеченіе, сударыня, будетъ. Въ случаѣ чего мы и запрещеніе наложимъ. И насчетъ правителей вы напрасно беспокойтесь: у насъ ихъ даже въ излишествѣ-съ. Только вотъ въ центру никакъ не могутъ попасть—это такъ! Не беспокойтесь, сударыня. У насъ все будетъ по-благородному; какъ взялъ, такъ и отдай. А проценты—впередѣ-съ!

Однимъ словомъ, «лукавый» одержалъ полную побѣду. Только одну сдѣлку съ совѣстю допустила Арина Михайловна: объявила не весь свой капиталъ, а тысячу сорокъ утаила. Фома Фомичъ повернуль дѣло круто. На другой же день къ Аринѣ Михайловнѣ явился будущій залогодатель, купецъ Воротилинъ, молодой мужчина, плотный, точно изъ древесной накипи выточенный, веселый, румянный, съ русою бородой и съ сѣрыми глазами на выкатѣ. И онъ дѣвушкѣ знать, и дѣвушки его знаютъ—по всей Дербеновкѣ слава о немъ гремитъ. Онъ объявилъ, что хотя деньги занимаетъ единственно «для обороту теченія», но десять копеекъ заплатить съ удовольствіемъ; что домъ, который

будетъ служить обезпеченіемъ, чистъ какъ огурчикъ и, за всѣми расходами, даетъ сходу десять тысячъ; что еще на дніахъ Конь Конычъ подъ этотъ домъ сто тысячъ предлагалъ, да онъ не взять, потому что предпочитаетъ дѣло дѣлать по-благородному. Затѣмъ Арину Михайловну начали по Москвѣ возить и въ одинъ день окрутили. Сначала отслужили у Иверской молебенъ и поѣхали къ Тріумфальнымъ воротамъ домъ смотрѣть. Пріѣхали, встали всѣ вчетверомъ на тротуарѣ по другую сторону улицы — видѣть: дѣйствительно стоитъ домъ трехэтажный, каменный, бѣло краской выкрашенъ. Средній этажъ подъ трактирнымъ заведеніемъ, вверху — номера («ежели примѣрно у насть съ вами, мадамъ, рандеву — такъ вотъ сюда-съ», фамильярно пояснилъ Воротиловъ, и Арина Михайловна хотя поморчилась, но смолчала: разстроить «дѣло» побоялась); внизу, по одну сторону воротъ, «заведеньице», по другую — портерная; въ одномъ подвалѣ — прачки живутъ, въ другомъ — ночлежниковъ пускаютъ; во дворѣ — все помѣщеніе снимаются извозчики. Пошли и во дворъ; Арину Михайловну такъ и ошибло запахомъ навоза и трактирныхъ помоеvъ; но Воротилинъ и Ѹома Ѹомичъ съ наслажденіемъ вдыхали гнусные ароматы, которые такъ и валили изъ всѣхъ надворныхъ отверстій этого дома.

— Деньги-то и завсегда такъ пахнутъ, — хвалился Воротилинъ: — а клопа здѣсь сколько! Кажется, ежели весь сбратъ, такъ Москву-рѣку запрудить можно!

Мало этого: «для вѣрности» («чтобы вамъ, мадамъ, безъ сумленія было») дворника Антона кликнули, и дворникъ тоже удостовѣрилъ, что домъ настоящій, московскій, и квартирантъ въ немъ живеть тоже настоящій, что хозяинъ хоть сколько угодно плату на него набавляй — все равно этому квартиранту дѣваться некуда.

Осмотрѣвшіи домъ, поѣхали на Плющиху, въ переулокъ, къ нотаріусу. А тамъ ужъ и закладная готова, и надпись внизу: «Я, нотаріусъ Печенкинъ, въ своеимъ собственномъ присутствіи» и т. д. Словомъ сказать, все какъ слѣдуетъ.

— Теперь остается только вручить-съ, — сказалъ господинъ Печенкинъ торжественно: — вы, Арина Михайловна, Спиридону Прохорычу денежки пожалуете, а Спиридонъ Прохорычъ — закладную-съ. Такъ и обмѣняетесь. А расходы — на счетъ залогодателя.

И тутъ Воротилинъ выказалъ себя веселымъ и податли-

вымъ малымъ. Хотя Арина Михайловна привезла въ уплату не деньги, а банковые билеты, но онъ за разницей не погнался и принялъ билеты рубль за рубль, и проценты впредь полностью отдалъ.

— Убытку я тысячи двѣ, барыня, черезъ васъ потерпѣлъ,—сказалъ онъ:—ну, да ужъ что съ вами подѣлаешь! Видно, въ другомъ мѣстѣ наживать надо. Только вотъ что: вспрыснуть нашу сѣдлочку требуется,—это ужъ какъ угодно!

Но Арина Михайловна наотрѣзъ отказалась. Тогда Воротилинъ ужъ совсѣмъ нагло стала ее упрашивать—«хоть Тимоѳея Стиславича на сегодняшній день одолжить, а къ завтрему мы вамъ его опять въ полное удовольствіе во всей красотѣ предоставимъ?». Арина Михайловна совсѣмъ заалѣлась и поспѣшила уѣхать домой.

Дома она вдругъ почувствовала гнетущую пустоту. Какъ будто душу изъ нея вынули или такое надругательство сдѣлали, что она ничего настоящимъ манеромъ понять не можетъ, а только чувствуетъ, что ноги у нея подкашиваются. Нѣсколько разъ она запирала закладную въ дежнѣжный шкафчикъ и опять ее оттуда вынимала, и всякий разъ ее поражали слова. «Я, потаріусь Печенкинъ, въ собственномъ своемъ присутствіи...» Что-то какъ будто неладно; словно насыпшкой какой-то звучать эти странныя слова... И не съ кѣмъ ей посовѣтоваться, некому показать, не у кого спросить! А все оно, все это «злое, ужасное дѣло»! Кабы не «оно», сидѣла бы она теперь... Савося! ангель-хранитель, неужто ты такъ и попустиши! Охъ, грѣшная, прегрѣшила! охъ, прегрѣшила!

Никогда она не проводила такой мучительной ночи. Почти совсѣмъ глазъ не смыкала и все припоминала. Никакой у нея ни Даши, ни Маші не было. Была кузина Наташа Недотыкина, дяденьки Сатира Платоныча дочь, такъ и та умерла: мужъ искалѣчилъ. Вотъ о Мстиславѣ Удаломъ она точно что слышала... Когда, бишь? Помнится, что еще въ дѣвкахъ она въ то время была, а впрочемъ, можетъ, и отъ Севастьяна Игнатьича. Однако, можетъ, бишь, и Маша... Какая это Маша-кузина у нея была? Не смѣшаль ли Тимоѳея? Не въ Савосиной ли роднѣ была кузина Маша? Ахъ, это «злое, ужасное дѣло»! Понадѣли какихъ-то потаріусовъ да какія-то «собственныхъ свои присутствія»—ну, какъ тутъ не пропасть?! Какъ не погибнуть въ этомъ омутѣ оголтелаго, озлобленнаго хищничества, гдѣ

всякий думаетъ только о томъ, какъ бы ближняго своего заглотать?! Чѣд ему счастье человѣческое? чѣд ему человѣческая жизнь?—тьфу! Ахъ, это «злое, ужасное дѣло»—вотъ оно къ чему привело!

Полная этихъ разрозненныхъ мыслей, она въ невыразимой тоскѣ вскакивала съ постели и ходила взадъ и впередъ по комнатамъ. Ходила, ходила, пока утомленіе снова не загоняло ее въ постель. Но ежели ей и удавалось на короткое время забыться, то и во снѣ на нее нападалъ волкъ, впивался когтями въ ея грудь и начиналъ грызть.

Утро встало холодное, мглистое. Во многихъ домахъ еще съ огнями сидѣли, а двери у кабаковъ ужъ визжали. Арина Михайловна сѣла на обычномъ мѣстѣ у окна и сквозь занедѣвшія стекла автоматически смотрѣла на темные силуэты прохожихъ, стремившихся по направлению къ кабаку. Одинъ, другой, третій—вонь ихъ сколько! Безсознательно она выпила чай и сѣла цѣлую гривенную просвиру, потому что, не спавши ночь, была голодна. Затѣмъ, когда ужъ совсѣмъ разсвѣло, она начала ждать. Пробило девять, десять часовъ, а Удалого—нѣтъ какъ вѣтъ. Онъ, впрочемъ, и прежде никогда въ эту пору не приходилъ, но ей почему-то казалось, что *сегодня онъ облазанъ* былъ приди. Наконецъ пробило и двѣнадцать.

Арина Михайловна не вытерпѣла—захватила закладную и поѣхала. Реакція произошла въ ней такъ быстро, что она почти ужъ не сомнѣвалась. Пріѣхала къ Тріумфальнымъ воротамъ, вошла въ ворота «заложеннаго» дома и кликнула дворника Антона. Такого не оказалось.

— Какъ же этот? Вчера мы все вчетверомъ здѣсь были и съ Антономъ разговаривали?— добивалась она съ какой-то горькой настойчивостью.

— Можетъ, и разговаривали съ Антономъ, только дворника такого у насъ нѣтъ.

«Вотъ оно!»—мелькнуло у нея въ головѣ.

Въ переулкѣ, на Плющихѣ, она даже дома, въ которомъ вчера помышдалась нотаріальная контора, не могла признать. Всѣ дома были на одинъ манеръ, и ни на одномъ не было нотаріальной вывески. Ей почудилось, что она въ адъ попала, и бѣсы около нея кружатся. Вотъ юома Юмичъ, вотъ Воротилинъ-купецъ, а вотъ и онъ... самъ Тимона! Ишь, распостылый, глазища вытаращилъ, такъ петлю за петлей и закидываетъ!

«Какъ предсказала, такъ и сбылось!—подумалось ей.—Взять ты меня, поморенную курицу, ошишь и какъ захотѣль, такъ и скушасть!»

Съ Плющихи она побѣхала на Тверскую, уже къ настоящему нотаріусу, вынула закладную и показала:

— Вотъ я вчера совершила... взгляните!

Нотаріусъ чуть не прыснуль со смѣха, но взглянулъ на нее и воздержался.

— Надо къ прокурору-сь, — сказалъ онъ: — не медлите-сь!

Однако она жаловаться прокурору не пожелала, а побѣхала къ Иверской, вспомнивъ, какъ вчера о ечастливомъ «свершены» молилась. Тутъ она долгое время стояла какъ потерянная, вперивъ глаза въ образъ и не молясь; но когда раздались слова канона: «потицся! погибаемъ!»— она вышла впередъ и, вся дрожа, словно въ лихорадкѣ, произнесла:

— Владычица... видѣла?! Ты... Ты... Ты... видѣла?!

Наконецъ воротилась домой и съ крикомъ: «все оно! все это злое, ужасное дѣло!»—упала на постель и тѣль мучительно зарыдала, что всѣ домашніе сбѣжались въ соѣднюю комнату и, блѣдные и оѣпенѣлые, ждали окончанія кризиса.

Съ слѣдующаго же дня жизнь Арины Михайловны пошла по-новому. Она чувствовала, что весь воздухъ около нея пропитался срамомъ, что она сама вся съ ногъ до головы срамная, срамная, срамная! И ежели она не уѣхала изъ этого срамного дома, то потому только, чтоѣхать отсюда некуда. Но мысль о возможности жаловаться или хлопотать ни разу не представилась ея уму. Этакой срамъ, да еще нести его на судь—Боже избави! Надо его погребсти, надо совсѣмъ забыть этотъ срамной угаръ, въ которомъ она растеряла и умъ, и стыдъ, и память о прошлыхъ, когда-то счастливыхъ дняхъ!

Какъ женщина хозяйственная, она тотчасъ же сократила размѣры своей жизни, сообразно съ тѣми средствами, которыя давалъ ей уменьшенный на двѣ трети капиталъ. Однако штать прислуги рѣшилась не трогать. Попрежнему при ней остались и Платонидушка, и Евсичъ, и дворникъ Палладій, тоже изъ присыпкинскихъ дворовыхъ. Никому изъ нихъ она ничего не открыла, но всѣ видѣли ея недавнее возбужденіе и хлопоты, и понимали, что съ барыней случилось что-то чрезвычайное. И втайне радовались,

что Тимошкъ-пучеглазому въ ихъ тихій, старозавѣтный домъ навсегда дорога запала.

Устроивши свой домашній обиходъ, Арина Михайловна усѣлась въ кресло и замолчала. Даже отъ окна отодвинулась, потому что однажды ей показалось, будто бы онъ прокатилъ мимо на лихачѣ и сѣдалъ ей ручкой. Вязальныя спицы быстро шевелились въ ея рукахъ; шарфъ поспѣвалъ за шарфомъ. Думала ли она о чѣмъ-нибудь во время этой работы—трудно сказать; скорѣе всего, мысли мелькали въ ея головѣ урывками, не задерживаясь и пропадая безслѣдно вслѣдъ за своимъ зарожденіемъ. Но скоро и это времяпровожденіе пришлое оставилъ, потому что шарфы дарить было некому, а шерсть между тѣмъ денегъ стоила. Пасынковъ никакихъ она не знала, а въ ералашъ съ тремя болванами хотя и попробовала сыграть, но это занятіе слишкомъ живо напоминало *его*. Со всѣхъ сторонъ она чувствовала себя беспомощною. Ничего она не знала, ни къ чemu не чувствовала охоты. Однако жила же она прежде? И не какъ-нибудь жила, не сложа руки сидѣла, а цѣлый день устраивала и ухививала. Ахъ, это «злое, ужасное дѣло»! Но теперь даже и къ этой сердечной боли, къ этой причинѣ всѣхъ причинъ, она начала относиться какъ-то тупо. Извѣнѣ ничего до нея не доходило; даже того лакейскаго говора она не слышала, который по всѣ дни стономъ стоитъ надъ Москвою. Некому было разсказать ей ни о новыхъ проказахъ суда, ни о земскихъ «штукахъ», ни о желѣзнодорожныхъ крушеніяхъ. Ничто не шитало ея мысли, ничто не подавало повода восклицать: «вотъ погодите! ужъ еще не то будетъ!» Она знала, конечно, наивѣрное, что будетъ что-то ужасное; но такъ какъ подтверждительного факта подъ руками у нея не было, то прорицанія, даже въ ея собственныхъ глазахъ, приобрѣтали характеръ совершенно безцѣльной назойливости.

И вѣнѣ дома, и въ домѣ,—все умерло. Тишина водворилась такая, что каждое хлопанье наружными дверьми, сообщавшими барскіе покой съ кухней, гулко раздаваясь по всему дому, заставляло ее вздрогивать. Прислуга приходила въ комнаты только за тѣмъ, чтобы зажечь въ сумерки лампу въ залѣ, накрыть на столъ, принять, подать, и затѣмъ вновь скрывалась по своимъ угламъ. Арина Михайловна сидѣла одна въ своеемъ креслѣ и дремала.

1-го мая она отрѣзала у билетовъ купоны и лично поѣхала въ банкъ получать деньги. Теперь ужъ она никому,

кромъ банка, не довѣряла, хотя прежде обыкновенно размѣнивала купоны въ первой попавшей банкирской конторѣ. Еще скажутъ, что купоны не настоящіе, или фальшивыми деньгами наградить—почемъ она знаетъ! Съ тѣхъ поръ какъ это «злое, ужасное дѣло» сдѣлалось—всего можно ждать. Даже въ банкѣ объявленія стали вывѣшивать: просять неходить разиня ротъ, ежели у кого деньги въ карманѣ есть. Что «ему» деньги! ужъ ежели мѣсто, на которомъ стоять присыпкинскій домъ, Платонидушка не могла найти, такъ деньги ему... тыфу!

Выѣздали изъ этого на время ее оживилъ. Она и въ ряды сѣѣздила, шерсти купила, но во время разѣздовъ такъ крѣпко зажимала въ руку маленький кожаный сакъ съ деньгами, что развѣ ужъ жизнь у нея отнимутъ, только развѣ тогда... ну, да тогда и денегъ ей, пожалуй, не нужно! Пріѣхавши домой, она раздѣлила полученную сумму на шесть равныхъ кучекъ (съ мая до ноября), а затѣмъ сѣла въ кресло и опять на время разрѣшила себѣ шарфъ вязать. А, можетъ-быть, со временемъ она подберетъ всѣ связанные шарфы подъ тѣни, пришьетъ бокъ къ боку, и выйдетъ у нея прекраснѣйшее одѣяло.

Съ наступленіемъ красныхъ лѣтнихъ дней сдѣлалось веселѣе. Отворили окна, и изъ сосѣдняго сада полились весеніе запахи. Сначала цвѣтущей черемухой запахло, потомъ зацвѣла сирень, липа. Вмѣстѣ съ началомъ этого цвѣтенія начала мало-по-малу затягиваться и душевная рана Арины Михайловны.

Денегъ только мало. Всего двѣ тысячи въ годъ—и въ пиръ, и въ міръ.

Тутъ и поземельные отдай, и страховку заплати, и на ремонтъ по дому часточку отдай. На сладенькоѣ-то да на лакоменькоѣ и вѣтъ ничего. А она, признаться, избаловалась, привыкла. Еще Савося-покойникъ ее избаловалъ. Подадутъ, бывало, индюшку, и непремѣнно они изъ-за попова носа послорѣзть. Оба его любятъ; только онъ—ее заставляетъ взять, а она—его; возьмутъ, наконецъ, да и подѣлятъ. А теперь сколько времени она и въ глаза индюшечки не видала! Но въ особенности ее тяготилъ домъ. Тепло въ немъ, привольно, но зато онъ четверть дохода ея сѣѣдаетъ. Того гляди, зимой надо будетъ парадную половину заколотить, въ двухъ каморочкахъ пріютиться, чтобы лишнихъ дровъ не тратить. И все-таки ей казалось, что лучше она щи да кашу будетъ есть, нежели съ квартиры на квартиру переѣзжать.

— Иная, пожалуй, найметь квартиру-то да еще жильцовъ пустить,— говорила она:— около нихъ и питается. И идетъ у нихъ съ утра до вечера шумъ да гамъ, пѣсни да пляски, винице да табачище, а она сиди въ своей каморкѣ да помалчивай. Неужто-жъ и мнѣ такъ жить!

И вотъ судьба, какъ бы въ отвѣтъ на ея сѣтованія, улыбнулась ей. Однажды сидитъ она у окна и видитъ— мимо дома знакомый отецъ-дьяконъ идетъ. Въ рукѣ узелокъ плотно зажалъ, полы у ряски по вѣтру развѣваются, волосы въ беспорядкѣ, лицо радостно-озабоченное, на лбу капли пота дрожатъ. Очевидно, торопится.

— Куда больно экстренно, отецъ-дьяконъ?— окликнула его Арина Михайловна.

— Некогда, сударыня, спѣшу, — отвѣтилъ онъ: — въ «банку» бѣгу, какъ бы къ приему не опоздать. Вонь сколько денегъ набралъ! А изъ «банки», извольте. и къ вамъ забѣгу.

Дѣйствительно, управившись въ банкѣ, отецъ-дьяконъ сообщилъ Аринѣ Михайловнѣ нѣчто весьма серьезное. Оказалось, что народился благодѣтельный для Россіи финансистъ, который «залюбовь» всѣмъ по десяти копеекъ съ рубля платить. И живеть этотъ финансистъ во градѣ Скопинѣ-Рязанскомъ и оттолѣ на всю Россію благодѣянія изливается. Кто принесетъ ему тыщу—тому онъ сто рублей, кто двѣ тыщи—двѣсти. Живи какъ у Христа за пазушкой. Хочешь всѣ истратить—всѣ истратъ; хочешь прикопать—прикопливай; накопишь—опять къ нему неси. А онъ наберетъ денегъ, да изъ интереса желающимъ и раздастъ. Иному — подъ обезпеченіе, другому — который, значитъ, потрафить сумѣль, мнѣніе объ себѣ пріятное внушилъ — просто «залюбовь», подъ расписку. Садись и пиши: столько-то тыщъ сполна получиль, а когда будуть деньги—отдамъ. Только и всего. И такъ онъ этою выдумкою всѣхъ обрадовалъ, что теперича ежели у кого хоть гроша въ мошнѣ запутался—всѣ къ нему бѣгутъ. Потому дѣло чистое, у всѣхъ на виду. И «банка» такая при господинѣ Рыковѣ выстроена, которая у однихъ береть деньги, а другимъ выдаетъ, а Скопинъ-градъ за все про все отвѣчаетъ. Стало-быть, чуть какая заминочка — сейчасъ можно этотъ самый градъ, со всѣми потрохами, «сукціону» продать. А кромѣ того и объявление отъ господина Рыкова печатное ко всѣмъ разослано, а подъ нимъ подписано: «Пе-

чагать дозволяется. Цензоръ Бируковъ<sup>\*)</sup>). Стало-быть, и со стороны начальства одобрение вадится.

— Вотъ и нашъ причъ заблагоразсудить,—объяснился отецъ-дьяконъ: — какіе у кого рублишки сбереглись — всѣ въ градъ Скопинъ при просительномъ письмѣ къ господину Рыкову препроводить. А причетники такъ даже ложки у кого свѣтленъкія были, и тѣ продали, въ чаяніи, что господинъ Рыковъ впослѣдствіи угобзить. Для этого собственно я и въ государственный банкъ бѣгаль въ родѣ какъ довѣренный. Сдалъ наличность полностью — и правъ. А оттуда она по телеграфу — въ Скопинъ-градъ.

Отецъ-дьяконъ остановился и издалъ тубами звукъ, какъ деньги по телеграфу въ Скопинъ побѣгутъ.

— И вамъ, сударыня, совсѣмъ, — продолжалъ онъ. — Конечно, по нынѣшнему времени, и пятнадцать копеечекъ подъ вѣрный залогъ охотно дадутъ, да залоги-то нынѣ... ищи его потомъ да свищи! А тутъ, въ «банкѣ», разлюбезное дѣло: положилъ деньги, и уповай!

Рассказалъ отецъ-дьяконъ, точно на бобахъ развелъ, напился чаю и ушелъ. А Арина Михайловна задумалась. Какъ ни разсчитывай, какъ ни сокращай себя, а на двѣ тысячи рублей, имѣя на рукахъ цѣлый домъ, трудно прожить. А господинъ Рыковъ между тѣмъ на тотъ же самый капиталъ четыре тысячи выдастъ — вѣдь это разомъ удвоитъ ея доходъ. Ежели она даже не очень понравится господину Рыкову, такъ и тогда онъ восемь-то копеекъ навѣрное дастъ. Восемь копеекъ — это уже всѣмъ даютъ. И причтамъ церковнымъ, и раненымъ, а кто по интенданской части деньги нажилъ — тѣмъ больше. Чѣмъ, ежели и она, по примѣру прочихъ... положимъ, не весь капиталъ, а тысячу этакъ тридцать... вотъ девятьсотъ рубликовъ и въ карманъ!. Это ежели по восьми копеекъ, а коли по десяти... тутъ ужъ другой будетъ разговоръ! И расходы по дому, и отопленіе, и прислуга — все тутъ. А дьяконъ — онъ деньгамъ счетъ знаетъ; не полѣзеть онъ сбухта-барахты: извольте, господинъ Рыковъ, наши денежки получить! Нѣтъ, онъ почешетъ да и почешетъ затылокъ, прежде нежели мошну выворотить!

Въ принципѣ Арина Михайловна рѣшила вопросъ очень скоро. Тутъ не частный человѣкъ, въ родѣ Воротилина,

<sup>\*)</sup> Очевидно, что о. дьяконъ ошибся: цензора Бирукова въ это время не было въ цензурномъ вѣдомствѣ.

деньги береть, а банкъ — все равно что ломбардъ. Банка не спрячешь. И притомъ дѣло ведется чисто, у всѣхъ на знати: сколько однѣхъ провѣрокъ! Ужъ ежели тутъ невѣрно, стало-быть и вездѣ невѣрно: и билеты ся певѣрны, и домъ певѣренъ — ложись въ гробъ и умирай! Однако и за всѣмъ тѣмъ, какъ женщина, недавно еще выдержанная глубокое материальное и нравственное потрясеніе, она все-таки рѣшилась предварительно самолично удостовѣриться, въ какомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать городъ Скопинъ, и точно ли находится въ немъ банкъ, о которомъ съ такой выгодной стороны отозвался отецъ-дьяконъ. Слыхала она про Скопинъ, когда еще въ дѣвкахъ была, что это тотъ самый городъ, въ которомъ никому жить незачѣмъ,—ну, да вѣдь иногда и калѣку Богъ умудритъ. У насть и сплошь такъ бываетъ: лежитъ куча навоза, и вдругъ въ ней человѣкъ зародится и начнетъ вергѣть. Вертишь-вертишь — смотришь, началь-то онъ съ покупки для города новой пожарной трубы, а кончилъ банкомъ! Вотъ ты его и понимай!

Сѣла Арина Михайловна на машину и поѣхала. Видѣть: городъ не городъ, село не село. Воняетъ. Жителей — десять тысячъ. И въ томъ числѣ двѣ тысячи кредиторовъ. Со всѣхъ концовъ Россіи слѣпые да хромые собрались, поселились въ слободѣ, чтобы поближе къ процентамъ жить, и уповаютъ. Тутъ и попы заштатные, и увѣчные воины, и даже одинъ интенданть. Интенданть жениться собрался. Пошла она по городу банкъ искать, пришла на площадь, а онъ тутъ какъ тутъ: пожалуйте! Она-было прочь бѣжать: сгинь-пропади! — ань нѣтъ, бѣжать не приказано! Дѣлать нечего, пришлось къ директору съ повинной идти. Тотъ слова не сказалъ, сразу десять процентовъ опредѣлилъ и бумажку ей въ руки даль: идите къ бухгалтеру. Бухгалтеръ взялъ билеты, раскрылъ большущую книгу и сказалъ:

— У насть, сударыня, на итальянскій манеръ. Сначала вотъ въ этомъ мѣстѣ тридцать тысячъ запишемъ — это будетъ «*loro*»; значитъ: ваше. А потомъ ихъ же вотъ въ этомъ мѣстѣ запишемъ — это будетъ «*nostro*»; значитъ: наше. И нашимъ, и вашимъ. А затѣмъ вотъ вамъ, сударыня, фитанецъ — значитъ: адью!

Такъ и уѣхала она изъ Скопина, несолово хлѣбавши.

— Такъ у нихъ просто, такъ просто! — рассказывала она отцу-дьякону, прѣѣхавши въ Москву: — сначала нальво записали, потомъ — направо и, окрутивши такимъ манеромъ, выдали фитанецъ.

— Воть до чего люди дошли! — умилился отецъ-дьяконъ.

Прожила Арина Михайловна такимъ образомъ лѣтъ пять сряду и, нечего сказать, благородно прожила. Проценты получала своевременно и сполна, и не разъ подумывала о томъ, не свезти ли ей и остальныхъ десять тысячъ къ господину Рыкову, но откладывала да откладывала — такъ и просидѣла, не выполнивши своего намѣренія. И такъ какъ ничто столь не украшаетъ человѣка, какъ спокойное житѣе, то она мало-по-малу начала и обѣ «этотъ зломъ и ужаснѣомъ дѣлѣ» забывать. Напротивъ, стала находить, что «иѣ-которое» даже хорошо вышло. Благодѣтельный для Россіи финансистъ ужъ народился, а со временемъ, чего доброго, народится и благодѣтельный для Россіи публицистъ. То-то пойдутъ у насъ смѣхи да утѣхи! Присыпкино-то, думали, пропало, а оно вдругъ опять... тьфу! тьфу! тьфу! Какъ бы только не сглазить! Но ей и безъ Присыпкина настолько хорошо, что она даже дичиться людей перестала. Къ ней ходить и отецъ-дьяконъ, и отецъ-протопопъ, и супруги ихнія, а иногда зайтиѣ выкушать чашку чаю и самъ господинъ квартальный. Сидѣть они и разговариваютъ, какъ нынче всѣмъ хорошо и какая это для всѣхъ лѣгость, что г. Рыковъ въ Скопинѣ «банку» открылъ и оттуда на всю Россію благодѣяніе изливается. Однажды даже самъ Семенъ Семенычъ зашелъ къ ней, прочиталъ монологъ изъ «Гамлета», потомъ вскочилъ, за что-то ее обругалъ, крикнулъ: «ахъ, ничего-то вы, идолы, не понимаете!» — и уѣжалъ къ Сухаревой башнѣ.

Словомъ сказать, жилось хорошо, а ожидалось еще лучше.

И вотъ, однимъ утромъ, сидѣла она на своемъ любимомъ мѣстѣ и по обыкновенію взяла шарфъ. Вдругъ видѣть, что отецъ-дьяконъ, какъ и въ тотъ разъ, на всѣхъ рысѧхъ бѣжитъ. Но узелка у него въ рукахъ ужъ нѣть, и лицо блѣдное и растерянное.

— Что случилось, отецъ-дьяконъ? — крикнула она ему.

— «Банка» лопнула! бѣгу!

---

Недавно, проѣздомъ черезъ Москву въ деревню, я воспользовался промежуточнымъ между поїздами временемъ, чтобы поросенка купить. Сдѣлавши это, вспомнилъ объ Аринѣ Михайловнѣ и отыскалъ ее.

Домъ свой въ Четвертой Мѣщанскої она уже продала и живеть теперь у Сухаревой, въ какомъ-то неслыханномъ переулкѣ, въ крохотной квартиркѣ, по стѣнамъ которой зи-

мой потоки бѣгутъ. Живеть бѣдно: какъ говорится, съ хлѣба на квасъ. Состарѣлась, посѣдѣла, осунулась; блузъ висить на ней какъ на вѣшалкѣ. Изъ прислуги осталась при ней только Платонидушка, да и та еле бродитъ. Евсентъ опредѣлился въ какую-то газету вольнонаемнымъ редакторомъ (изумительно, только въ Москвѣ да въ Петербургѣ это и бываетъ!), а Палладій догадался и умеръ.

Въ то же время въ Арии Михайловнѣ совершилась и еще одна, довольно важная, перемѣна. Она выписываетъ «Куранты» и усердно читаетъ ихъ. И всякий разъ, какъ прочтеть какое-нибудь карканье, начинаетъ и въ свою очередь прорицать: «погодите! то ли еще ужо будетъ!» Платонидушка потихоньку пожаловалась мнѣ, что «барыню» обѣдають и опиваютъ какіе-то литераторы отъ Иверской (вместо прежнихъ приказныхъ, по случаю свободы книгоиздания, завелись), которые отъ времени до времени украшаютъ задніе столбцы «Куравтогъ» заявленіями, извѣщеніями и удивленіями. Соберутся, жрутъ водку, удивляются и судачатъ. А когда ужъ, что называется, до зѣла напьются, возьмутъ другъ дружку за руки и застонутъ: «погодите! то ли еще будетъ! вотъ увидите!»

Меня Арина Михайловна приняла довольно холодно, даже закусить не пригласила, хотя я видѣлъ, что въ сторонѣ, на столикѣ, стоитъ штофъ и тарелка съ ломтиками углицкой колбасы. Должно-быть, иверскихъ литераторовъ поджидала.

---

### Письмо пятое.

Вы, конечно, ужъ знаете, что господство хищенія кончилось. Что касается до меня, то я узналъ объ этомъ изъ газетъ и, признаюсь откровенно, сейчасъ же повѣрилъ. Еще такъ недавно, на нашихъ глазахъ происходилъ такой грандиозный обманъ хищеній, что многіе не безъ основанія отводили этому явленію ту же роль, какую играетъ обманъ веществъ въ жизни отдельного индивидуума. И вдругъ прилетаетъ вѣсть: обманъ веществъ прекратился! Какимъ образомъ? съ чего? Да такъ, ни съ того, ни съ сего. Прекратился, и будетъ съ васъ.

И радостно, и жутко. Что-то будетъ? какъ-то вынесетъ общество столь внезапную утрату? чтъ станется съ нашими

раутами, пикниками, катаниями на тройкахъ и другими увеселеніями? выдержить ли неизбѣжный кризисъ торговли модными, бакалейными и гастрономическими товарами? передъ кѣмъ и на какой предметъ будуть обнажать себя наши дамочки? отыщетъ ли общество новые основы для жизнедѣятельности или просто-нѣ-просто возьметъ да и захихрѣтъ?

Повторю: и радости, и жутко...

Откуда, однако-жъ, взялась эта добрая вѣсть? кто первый ее распубликовалъ? Оказалось, что первый пустилъ ее въ обращеніе Подхалимовъ, извѣстный отвѣтчикъ, корреспондентъ и публицистъ. Я—къ Подхалимову. Любезный другъ! неужто ты не соглашь? — «Вѣрою, говорить, вѣть и доказательство». Смотрю, и глазамъ не вѣрю: «Печатать дозволяется. Цензоръ Бируковъ».

О, коли такъ—стало-быть, и сомнѣнія не можетъ быти!

Бируковъ — онъ навѣрио все зараныше разсчиталъ и предусмотрѣлъ. Простофиль — около концессій пристроилъ, хищниковъ — по церковнымъ попечительствамъ раскассировалъ. Наживайтесь, простофили, а вы, хищники, кладите зубы на полку. *Sapienti sat.*

«Не обличать надо, а любить», — говоривалъ покойный Прутковъ, а я съ своей стороны присовокупляю: не сомнѣваться надо (сомнѣваться-то всякий умѣеть!), а радоваться. Да, кстати, и ближнихъ о приключившейся радости увѣдомлять. Поэтому я прежде всего сообщилъ о вычитанномъ мною извѣстіи нашему деревенскому старостѣ. «Знай, Денись, — писаль я ему: — что господство хищенія кончилось — это миѣ самъ Подхалимовъ подтвердиль. Стало-быть, деніги, которыя прежде на сей предметъ съ мужиковъ сходили, останутся у нихъ въ моиѣ. А потому, ежели впредъ потравы или порубки въ моихъ дачахъ окажутся, то я буду въ оба смотрѣть и никакихъ послабленій не допущу: теперь есть чѣмъ штрафы платить». А черезъ мѣсяцъ получилъ отъ старосты отвѣтъ. «И мы насчетъ хищеніевъ черезъ урядника обнадежено, и хищеніевъ теперь у насъ нѣть, а коли мужички допрѣжъ сего воровали, тѣ и сейчасъ другъ у дружки взаимно поворовываютъ; только надо полагать, что сіе въ скрости прекратится, потому что въ настоящемъ случаѣ у насъ въ деревнѣ только подковы остались, а лошади все до одной на уплату хищеніевъ пошли. И что вы насчетъ потравъ пишете — оное я объявлять, и мужички платить штрафы согласны, только про-

сять, не будетъ ли милости ради такого случая два ведра на общество выставить?»

Разумѣется, я не только разрѣшилъ, но на радостяхъ написалъ къ мужичкамъ цидулъ:

«Друзья!

«Называю васъ этимъ именемъ, потому что теперь вы уже не меньшіе братя, а самые достовѣрные друзья. Въ васъ, какъ нынче во всѣхъ газетахъ объявлено, здравый смыслъ проявился, а по слабому нашему времени это ахъ какъ дорого! Берегите оный, не пропивайте. А ежели кому хочется выпить, то поступайте такъ: одну рюмку — передъ завтракомъ, другую — передъ обѣдомъ, а третью — передъ ужиномъ. Подъ симъ условиемъ и я разрѣшилъ Денису просимыя два ведра выставить, и буду весьма огорченъ, ежели хотя вѣкоторые изъ васъ воспользуются симъ случаемъ, чтобы здраваго смысла лишиться. Только насчетъ штрафовъ — чтобы вѣрно было. Помните, друзья, что у нась, интеллигентовъ, съ тѣхъ поръ, какъ хищенія кончились, только на штрафы и надежда осталась, а здраваго смысла мы еще до хищеніевъ лишились. А еще будетъ лучше, ежели вы, съ помощью крестьянскаго банка, всю угоду у меня купите. Я лишняго немнога возьму, а вамъ это удовольствіе доставить. Вы знаете, что я и прежде хищникомъ не былъ, а теперь и радъ бы, да руки коротки: не приказано. А ежели приказано — значитъ, аминь. И вамъ не совѣтую. Будьте здоровы, друзья!»

«Отставной помѣщикъ Сицилистовъ».

Отославши это письмо, я, однако-жъ, задумался.

Какъ они должны быть счастливы, думалось мнѣ, что господство хищенія кончилось! Всѣ эти фасоны и фестоны, которые мы, правящіе классы, грани мостовыхъ, выдумываемъ, — все это въ концѣ концовъ вѣдь на нихъ обрушивается! Кузьма Прутковъ, отъ нечего-дѣлать, уфимскую землю задешево похитилъ, а у Васьки Чувашенина отъ этого фестона загривокъ болить. Столоначальникъ департамента преусѣяній и прогрессовъ кратчайший способъ безъ пороха палить изобрѣлъ, а у обывателей деревни Проплеванной мурашки по спинѣ ползутъ. Губошлеповъ концессію получилъ, а въ селѣ Ненаѣдовѣ бабы воемъ воютъ. Ёденъка Кротиковъ рядъ рѣзвыхъ циркуляровъ издалъ, а у дедюхиныхъ мужиковъ животы съ толокна подвело. Tout

s'enchaîne, tout se lie dans ce monde, какъ сказаль иѣ-  
когда Ламартингъ.

Самъ Подхалимовъ (теперь онъ, конечно, безъ слезъ вспомнить объ этомъ не можетъ) былъ въ свое время не прочь похинничать. Пойдетъ, бывало, по гостиному двору и крикнетъ кличъ: «а ну-те, брюханы! чтобы было по стольку-то рублей съ каждого купеческаго брюха, а не то я въ газетиѣ мораль на васъ пущать буду!» И какъ сказаль, такъ и сдѣлаетъ. А заугольниковскій мужикъ, бывало, дивится: съ чего, моль, это ситцевая рубашка вдругъ на полтину дороже стала? Анъ она воинъ куда, на подметки Подхалимову, полтина-то ушла!

Купецъ купца къ мировому поташиль—корела судебныя издержки плати! Кредитка подъ залогъ туляковскихъ домовъ зря деньги выдала — морда убытки возмѣщай! Посчитайте-ка, анъ денегъ-то и многоонъко выйдетъ.

И ни дедюхинскіе мужики, ни Васька Чувашенинъ, ни неизѣдовскія бабы никогда ничего и ни о чёмъ не знали. Думали, что это «такъ». Не знали, что губошлоповскую концессію надо гарантировать, прутковское хищеніе оформить, кротиковскіе циркуляры оплатить, выдумку счастливаго столонаачальника — осуществить. Да, признаться сказать, едва ли было и желательно, чтобы они понимали и знали.

Относительно деревни самое главное условіе — это чтобы она какъ можно дольше сохранила невинность. Въ противномъ случаѣ она захандритъ. Поэтому тѣ, которые, видя въ Губошлоповскихъ распутствахъ отчасти неизбѣжное зло, а отчасти свойственное цивилизованному обществу украшение, принимаютъ мѣры, чтобы слухи объ этихъ интеллигентныхъ распутствахъ не процикли въ деревню, — поступаютъ, по мѣнию моему, совершенно резонно. Пускай хоть дудѣбы, древлище, радимиши и пр. останутся въ районѣ интеллигентнаго растиянія; пускай хоть они спасутся. Деревня обязывается знать твердо свой окладной листъ — и ничего больше. Чтобъ пользы знать, что гужеѣдъ Губошлоповъ и проворный Мовиша Гудковъ впились въ эту окладную листъ и разъѣдаются его точно такъ же, какъ мирѣады мелкихъ, по жадныхъ паразитовъ разъѣдаются мощный организмъ кита? Такого рода знаніе не можетъ ни возвеселить, ни удовлетворить, а только наведеть на сердце суматоху. Сните, други, и почивайте!

Но ежели хорошо, чтобы деревня оставалась въ невѣ-

дѣніи, то, разумѣется, еще будетъ лучше, если и самаго материала, на основаніи котораго составляются несвойственныя деревни знанія, не окажется налицо. Или, говоря другими словами, вполнѣ резонно и предусмотрительно поступають и думаютъ только тѣ, которые ни въ Губошлеповыхъ, ни въ Кротиковыхъ не видятъ ни неизбѣжнаго зла, ни свойственнаго цивилизациіи украшенія. Право, Губошлеповы вовсе не такъ необходимы и не такъ изящны, какъ это кажется съ первого взгляда, и общество, будь оно хоть расцивилизованное, прожить безъ нихъ очень можетъ. Говорятъ, будто бы они настолько вѣдлись въ интимную жизнь общества, настолько овладѣли умами и волей интеллигенціи, что полное ихъ устраненіе представляеть трудности почти непреодолимыя. Но прежде всего—«почти» еще далеко не значить «совсѣмъ». Я согласенъ, что сладить съ Губошлеповымъ довольно трудно, но попробовать и постараться все-таки можно. Напримѣръ, ежели напустить на него анти-Губошлеповыхъ — и даже не «напустить», а только дать имъ возможность появиться, то Губошлеповъ самъ догадается, чѣмъ пахнетъ, и будетъ постепенно себя сокращать. То же самое и относительно Гудковыхъ, Кротиковыхъ и проч. Разомъ всѣхъ ихъ вытравить — нельзя, но понемножку—можно. Это хоть кого угодно спросите.

Но есть и еще одно вѣское соображеніе въ пользу огражденія обывательской невинности, не прибѣгая къ фортельямъ, а непосредственно воздействиуя на самое хищничество. А именно: какъ искусно ни оберегайте деревню отъ вторженія несвойственныхъ знаній, послѣдняя рано или поздно все-таки проникнутъ въ нее. Деревня ужъ давно не живеть тою изолированною жизнью, которая позволяла смотрѣть на нее, какъ на отрѣзанный ломоть. Рѣдокъ онъ теперь, толькъ пещерный мужичокъ, который родился, жилъ и умиралъ въ неѣдѣніи интеллигентныхъ затѣй. Нынѣшний мужичокъ многое видѣлъ лично, многое изъ видѣннаго на усть себѣ намоталь и многое другимъ, не видавшимъ, поразсказалъ. Онъ знаетъ, какъ Губошлеповъ съ Гудковымъ въ столицахъ помахиваются, и только еще не сообразилъ, какая существуетъ связь между этимъ помахиваньемъ и имъ, проплеванскимъ королемъ. А чтѣ ежели эту связь возьметъ на себя объяснить ему окладной листъ? Право, едва ли можно наѣврное поручиться, что это дѣло нестаточное. Но, сверхъ того, и сами интеллигенты нынѣшніе стали противъ прежняго куда легкомысленнѣе. Нѣтъ-

иѣть, да и откроютъ сами себя. Ноѣтъ, напримѣръ, интеллигентъ на тройкѣ за городъ—вотъ тебѣ десять рублей на водку! Пріѣтъ на звѣря охотиться—вали всей деревней въ загонщики,—вотъ вамъ сто, двѣсти рублей! Иѣтъ чтобы поприжаться: у меня, дескать, денежки трудовыя, ой-ой, какъ много я шевелить мозгами долженъ, чтобы ихъ добыть! «Плѣвъ сто рублѣвъ!» — только это неумное воскликаніе и перекатывается изъ края въ край. А гдѣ ты, по-зволь спросить, рубли-то взялъ? откуда они въ мошну-то къ тебѣ наползли?.. Ахъ, сдѣтай милость!

Вотъ почему я и говорю: ежели проницательно поступаютъ тѣ, кои оберегаютъ деревню отъ вторженія несвойственныхъ знаній, то еще болѣе проницательными являются себя тѣ, кои устраниютъ самый матеріаль, служащий для этихъ знаній основаніемъ.

Этихъ-то послѣднихъ дѣятелей, повидимому, и имѣть въ виду Подхалимовъ, возвѣща изумленному миру, что господство хищенія кончилось.

Да, дожили-таки мы — вотъ до чего мы дожили! Губошлеповъ съ тоски въ монахи постригся; Соломонъ Мерзавский все имѣніе нищимъ раздалъ и поступилъ кассиромъ въ общество доброхотной копейки; Мовша Гудковъ плачетъ, но есть акридъ... Ахъ, аспиды, аспиды! Это ли не результатъ? это ли не волшебное представлѣніе? Живіо! брависсимо! bis, bis!

Но не привралъ ли, однако, Подхалимовъ? Какъ будто черезътурь уже волшебно у него выходитъ... «Кончилось»... «постригся въ монахи»... «раздалъ нищимъ имѣніе»... Что-то какъ будто густо... Какія слова тутъ настоящія, какія — лишнія? Подхалимовъ — малый ловкій, но онъ не прочь повратъ, а еще больше любить порадоваться и другихъ обрадовать. Онъ, того гляди, и отъ себя сочинить, лишь бы имѣть случай поликоватъ въ своей газетинѣ. Спрось нынче на газетныя ликованія большой; и сверху, и снизу, и съ боковъ только и слышатся голоса: да ликуйте же, наконецъ! Вотъ Подхалимовъ и проникся этой потребностью. Во-первыхъ, онъ по природѣ къ ней всегда былъ предрасположенъ, а, во-вторыхъ, за ликованія-то нынче по десяти копеекъ со строчки платятъ, за сѣтованія — по пяти, а уныніе, пытъе и пристрастіе и совѣтъ прочь гонять. Такъ что если-бы явился, напримѣръ, съ того свѣта докторъ Фаустъ и объявилъ, что результатъ усилий человѣческой мысли и жизни исчерпывается словомъ *ничто*, то всѣ по-

росята навѣрное въ одинъ голосъ бы завопили: какъ «ни-  
что! а земскія учрежденія? а свобода книгопечатанія? а  
новые суды? а рѣшеніе кассационнаго департамента за №  
такимъ-то?..

Такъ вотъ не упустилъ ли, въ самомъ дѣлѣ, Подхали-  
мовъ чего-нибудь въ радостныхъ попыхахъ?

Сознаюсь откровенно: этотъ вопросъ предсталъ передо  
мной не совсѣмъ своевременно; но, разъ возникнувъ, онъ  
уже неотступно преслѣдовалъ мою возбужденную мысль. Я  
такъ давно живу на свѣтѣ, такъ много видѣлъ и, главное,  
такъ много помню, что, помимо убѣжденій разсудка, одинъ  
жизненный опытъ заставляетъ меня относиться къ газет-  
нымъ извѣстіямъ съ осторожностью. Я помню, что когда  
впервые появилось слово «хищеніе» и въ газетахъ разда-  
лись по его поводу стенанія, то меня озадачило стремленіе  
публицистовъ щеголнуть передъ читателемъ новою новин-  
кою. Совсѣмъ тутъ никакой новинки не было. Хищеніе,  
сирѣчь высыпаніе выморочныхъ соковъ, извѣстно было  
издревле и издревле же значилось во всѣхъ азбукахъ подъ  
всевозможными рубриками. Если же и воспослѣдовала, лѣтъ  
двадцать тому назадъ, въ этомъ отношеніи какая-нибудь  
реформа, то она коснулась только виѣшнихъ пріемовъ, раз-  
мѣрои и названія. Въ древности слова «хищеніе» не  
было, но зато было слово: «лафа», и вся до-реформенная  
Русь отлично понимала, что слово это означаетъ именно  
высыпаніе выморочныхъ соковъ. Но такъ какъ конструк-  
ція этого слова слишкомъ отзывалась провинціализмомъ и  
татарщиной, то понятіо, что съ поднятіемъ уровня образ-  
ованности почувствовалась потребность и въ поднятіи  
уровня терминологіи. Отсюда — замѣна слова: «лафа» —  
словомъ: «хищничество». То же поднятіе уровня образ-  
ованности не могло не повліять и на виѣшніе пріемы вы-  
сыпанія, устранивъ все рѣжущее и грубо-реальное и со-  
общивъ этому занятію характеръ порядочности и даже вѣ-  
которой щеголеватости. А дороговизна съѣстныхъ припа-  
совъ, увеличеніе таможеннаго тарифа на предметы роскоши  
и непомѣрное вздорожаніе кокотокъ довершили осталъное,  
расширивъ понятіе о выморочности до такихъ размѣровъ,  
о которыхъ, конечно, и во снѣ не снилось скромнымъ  
эксплоататорамъ «лафы».

Старая, до-реформенная Русь вовсе не была чужда про-  
цессу сосанія; она только понимала его безъ вывертокъ,  
вполнѣ конкретно. Объектъ сосанія представлялся ей въ

формъ сочашагося мяса, къ которому она припадала и зубами, и губами, и языкомъ, и отъ котораго отваливалась только тогда, когда вмѣсто лафы оставалось сухое, безвкусное волокно. Даже въ переносномъ смыслѣ она недалеко отступала отъ этого конкретнаго представлѣнія; даже и тутъ ее по преимуществу привлекаль непосредственный процессъ сосанія и тѣ результаты, которые были ясны и доступны для самаго неповрежденнаго ума.

Бывало, кто-нибудь изъ «тutoшнихъ» мѣсто исправника получить—про него говорили: «теперь ему будетъ не жить, а лафа». Или сутяга между «тutoшними» проявится и начнетъ «прочихъ жителей» разбоемъ, ябедою и волокитою донимать—про него говорили: «ему лафа; онъ такого страху на всѣхъ нагналъ, что передъ нимъ слова никто не пикнетъ!» Или «умница» подходящаго «дурака» на распутьѣ обрѣтеть и начнетъ его «чистить»—про него говорили: «этому человѣку лафа съ неба свалилась; теперь только не зѣтай!» Или, наконецъ, такъ человѣкъ устроится, чтобы ничего не дѣлать, а только спать да жрать—про него говорили: «такую онъ лафу обряшиль, что умирать не надо!» Даже красивую женщину (жену или любовницу) называли «лафою» и говорили: «ну, братъ, дорвался ты до лафы; теперь смотри на нее да стереги!»

Естественно, что для нашего образованнаго времени подобныя представлѣнія и слишкомъ грубы, и слишкомъ узки. Нынче исправницкими доходами никого не удивишь, да и «дуракомъ», ежели онъ въ единственномъ числѣ, съть не будешь, а надо, чтобы, по крайней мѣрѣ, хоть небольшое стадо дураковъ было въ резервѣ. Поэтому и придумали: воровать съ такимъ разсчетомъ, чтобы, во-первыхъ, нельзя было съ достовѣрностью указать, кто именно обворованъ, да и самъ обворованный не умѣль бы себѣ объяснить, действительно ли онъ обворованъ, или только сдѣлался естественною жертвою современнаго вѣянія; и, во-вторыхъ, чтобы воровство, оставаясь воровствомъ по существу, имѣло всѣ признаки занятія не только не предосудительнаго, но вполнѣ приличнаго, а въ некоторыхъ случаяхъ даже и полезнаго.

Разрѣшить эту задачу взялись «хищники». «Хищниками», одноко-жъ, ихъ называютъ только газеты, да и то не все (нѣкоторыя даже указываютъ на нихъ, какъ на сыновъ отечества); сами же себя, въ домашнемъ быту, они называютъ «дѣльцами», а въ шуточномъ тонѣ—воротилами.

Открываеть, напримѣръ, плутъ Архиканаки торговлю деньгами. Съ утра до вечера онъ твердитъ: «продать-купить, купить-продать»; обертывается, перевертывается, сперва въ одну книгу запишеть, потомъ въ другую; словомъ сказать, занимается «дѣломъ». А соки между тѣмъ капля-по-каплѣ такъ и текуть черезъ открытый кранъ въ заранѣе приготовленное сокохранилище... Или: издаеть Феденька Кротиковъ циркуляръ совершенно философического содержанія; не упоминаетъ ни о «барашиѣ въ бумажкѣ» (очень древнее выраженіе, нѣчто въ родѣ пещерной конституціи), ни даже о дивидендахъ (выраженіе позднѣйшее, стоящее на рубежѣ древней и новѣйшей исторіи, но нынче и его ужъ стремятся упорядочить), а только Цицеронову рѣчь «De officiis» на русскіе нравы перелагаетъ — смотришь, а незримое сокохранилище наполняется да наполняется... Или: выхлопатываетъ Губошленовъ концессію — сирѣчь, право за умѣренную плату возить обывателей взадъ и впередъ по желѣзной дорогѣ: польза-то какая! — и при семъ только одно слово прибавляется: «съ гарантіею» (пять процентовъ, не больше, да и то «въ томъ случаѣ, ежели») — и что-жъ! соки такъ и плывутъ въ поставленные на каждой станціи сокопріемники!

Таковы внутренніе и вѣнчаніе признаки явленія, прославившаго себя подъ именемъ «хищничества». Но не соблазняйтесь его показнымъ изяществомъ, а отыщите сокохранилище и постарайтесь угадать «простофилю», который наполнилъ это сокохранилище приличествующимъ содержаніемъ. Ежели вы это выполните, то навѣрное убѣдитесь, что между «хищничествомъ» и «лафою» существуетъ столь же несомнѣнная преемственность, какъ между черевикомъ деревенской молодухи и изящной ботинкой модной кокотки. Неуклюжъ и тяжель деревенскій черевикъ, но не подлежитъ спору, что онъ — отецъ легковѣсной кокоткиной ботинки.

Вотъ два факта, въ непрекаемости которыхъ мы даже ни на минуту усомниться не можемъ. Во-первыхъ, древнее преданіе и, во-вторыхъ, недавняя практика. Въ виду такой устойчивости и общепризнанности явленія, столь мало загадочнаго, — какъ надлежитъ поступить? Повѣрить ли на слово газетчикамъ, возвѣщающимъ его внезапное исчезновеніе, или же, напротивъ, отнести къ газетнымъ ликованиемъ съ благоразумною осмотрительностью?

По моему мнѣнію, въ такихъ случаяхъ всего правильнѣе поступать на-двоє: прежде всего обрадоваться, дабы

тъмъ засвидѣтельствовать; а потомъ, буде для продолжительной радости не представится надлежащаго питанія, то постараться привести дѣло въ ясность.

Именно такъ я и сдѣлалъ. Сначала и самъ обрадовался, и мужиковъ посыпшиль обрадовать (ништо имъ! за два ведра они и не такую радость на плечахъ вынесутъ!), а по прекращеніи радости — рѣшиль дѣло привести въ ясность.

Сидѣль-сидѣль, думаль-думаль — чтѣ за чудо, не могу концы съ концами свести, да и шабашъ! Начиешь строить силлогизмъ, первые два термина какъ-нибудь поймаешь, а третій хоть и не лови! Скользитъ какъ вьюнъ: вонъ онъ, вонъ онъ — аинъ нѣть его!

Нѣть, думаю, такъ нельзя. Пойду опять къ Подхалимову, объяснюсь. Пускай онъ докажетъ,—не на основаніи одной Бируковской подписи (помилуйте! развѣ это доказательство), а ясно и осознательно, — что хищничество во истину поражено ostrакизмомъ и не возвратится даже подъ скромнымъ наименованіемъ «лафы». И что въ будущемъ нась ожидаетъ тишь и гладь — хоть шаромъ покати!

---

Я засталъ Подхалимова въ самомъ пріятномъ душевномъ настроеніи. Наканунѣ онъ написалъ какое-то неслыханное число строчекъ, а на утро получилъ за каждую по гривеннику. Онъ только-что возвратился изъ утренняго обхода, во время котораго собиралъ матеріалъ для завтрашнихъ строчекъ, и въ ожиданіи адмиральского часа благодушествовалъ. А вечеромъ — опять въ обходъ и затѣмъ, на сонъ грядущій, часа четыре сряду — строчки, строчки, строчки. Сколько посидитъ, столько и напишетъ. Собачья это жизнь, господа!

Подхалимовъ былъ малый легкій и веселый, и никогда ни о чёмъ не думалъ. Матеріалъ для строчекъ онъ находилъ какъ-то внезапно: выйдетъ на улицу — тутъ и есть. Иногда онъ и по домамъ за матеріаломъ ходилъ — и тоже препятствій не видѣлъ. Осмотрѣть, воротится домой, а строчки такъ сами собой и лются изъ-подъ пера; на лѣстницахъ — коверь, въ гостиной — ковертъ, на входной двери — мѣдная доска, давно, вирочемъ, не чищенная; звонки — электрические, въ кабинетѣ — письменный столъ. Такова квартира, а коли есть квартира — стало-быть, есть и хозяинъ. Вотъ и онъ: на носу пенснѣ, причесанъ гладко, но волосы длинные, пиджакъ поддержаній, панталоны не пер-

вой молодости, подошвы на сапогахъ—налицо, сморкается часто и притомъ въ фуляровый платокъ. Запасшись этими данными, придетъ Подхалимовъ домой, посидить, а черезъ два часа уже шлетъ въ типографію «оригиналь», убѣжденный, что человѣка такъ живьемъ и сжевалъ.

Жадности въ памъ особенной не замѣчалось. Гонорарь онъ любилъ, но не до безумія. Есть деньги — онъ говорить:— «вотъ онѣ!»; нѣть денегъ — говоритъ:— «надо идти на улицу!» Пойдетъ, въ участкѣ побываетъ, въ камеру къ мировому судью заглянетъ, въ окружномъ судѣ справится, плутократовъ (такъ называлъ онъ содергателей ссудныхъ кассъ и мѣнялъ) обойдетъ—сколько тутъ строчекъ-то выйдетъ! А ежели по гравеннику за строчку — вотъ и жить можно. Но по временамъ его озаряла мысль: «едѣлаю дѣвицамъ удовольствіе!» — и такъ какъ осуществленіе этой мысли требовало болѣе или менѣе серьезныхъ издержекъ, то онъ отправлялся въ гостиный дворъ и облагаль тамошнихъ старожиловъ по стольку-то съ купеческаго брюха. А вечеромъ нанималъ нѣсколько троекъ, приглашалъ менѣе обласканныхъ фортуною публицистовъ, прихватывая соотвѣтственное количество дѣвичъ и бѣшеныхъ аллюромъ мчался всей компанией въ «Самаркандъ».

Несмотря на легкость, съ которой доставались ему деньги, лишнихъ у него никогда не было. Какъ человѣкъ одинокій, онъ могъ бы устроить себѣ порядочную домашнюю обстановку, но онъ предпочиталъ оставаться бездомнымъ, ютился въ меблированныхъ комнатахъ, одѣвался въ магазинѣ готовыхъ платьевъ, куриль вонючія папиросы (за то только, что онѣ назывались «Слава») и водился съ такими субъектами, одно приближеніе которыхъ позывало на тошноту. Вообще, онъ не чувствовалъ ни малѣйшей потребности въ жизненныхъ удобствахъ и только въ одномъ не могъ себѣ отказать: въ ежедневномъ посѣщеніи Палкина трактира. Здѣсь онъ проводилъ лучшіе часы своей жизни; но при этомъ не преслѣдовалъ никакихъ гастрономическихъ цѣлей, а просто любилъ па загаженномъ диванѣ посидѣть и полежать. Онъ зналъ поименно не только всѣхъ половыхъ, но поварять и кухонныхъ мужиковъ; разговаривалъ по душѣ съ швейцаромъ, буфетчику дѣлалъ shake hands, смотрѣлъ на плавающихъ въ сажалкѣ стерлядей и ежели замѣчалъ исчезновеніе какой-нибудь особенно-крупной рыбыны, то спрашивалъ, кто ее сѣль; безъ надобности ходилъ на кухню и въ ватерклозетъ, и вообще старался по-

казать, что онъ у Палкина, какъ дома. Обѣдалъ всегда по картѣ—два неизмѣнныхъ блюда: московскую селянку и жареную утицу—и расплачивался аккуратно каждый день. Пиль изрядно, но пьянь не напивался, а только жуировалъ. Замѣчательно, что онъ какъ будто даже принуждалъ себя, какъ будто изобрѣталъ, какимъ бы способомъ побольше денегъ издержать, чтобы купецъ Палкинъ остался доволенъ. Въ этомъ заключалось его самолюбіе. На водку сыпалъ направо и налево: Андрею—за то, что селянку ему подавалъ; Ивану—за то, что на машинѣ валь перемѣнилъ; Семену—за то, что воротился изъ деревни; Никанору—за то, что собрался въ деревню. И со всѣми былъ необыкновенно любезенъ: буфетчику сообщалъ новійшія внутреннія извѣстія, а метрдотелю (изъ тирольцевъ) такія штуки—фигуры руками показывалъ, что тотъ себя отъ восторга не помнилъ. Но передъ купцомъ Палкинымъ стѣснялся и ежели, во время разговора съ нимъ, замѣчалъ гдѣ-нибудь у себя въ одѣждѣ разстегнутую пуговицу, то немедленно ее застегивалъ.

Хозяевамъ газетины, при которой онъ состоялъ публицистомъ и корреспондентомъ, онъ былъ преданъ до самоизвѣснія, хотя обыкновенно называлъ ихъ «міроѣдами». Какой смыслъ имѣло въ его устахъ это слово, ругательный или ласкательный—разобрать было невозможно. Скорѣе всего—просто разнузданый. Не завидовалъ онъ имъ ни сколько, и даже тогда, когда ему однажды за вѣрное сообщили, что за истекшій годъ отъ однихъ объявлений «міроѣды» получили какую-то чудовищную сумму,—онъ только вымолвилъ: «хоть бы теперь самое время ихъ обокрасть!» Но, разумѣется, тутъ же и позабылъ. Никогда хозяева не приглашали его къ себѣ въ качествѣ гостя, но онъ и этимъ не обижался, а только говорилъ: «свинаи!» Порученія хозяйскія онъ выполнялъ быстро и буквально: нужно къ Покрову сѣять—сѣяетъ; оттуда въ Колтовскую улицу—и туда слѣгаетъ. «И никогда нѣдѣль, ироды, на извозчика не предложатъ!»—только и слышали его ропоту въ такихъ случаяхъ. Писалъ тоже всяко: и забористо, и благодушно, и хлѣстко, и съ «прохвалою»—какъ для хозяйстваго интереса пригодище. Умиленіе по обстоятельствамъ потребуется—онъ умилится; ликованіе—онъ возликуетъ; вѣра въ славное будущее—онъ и отъ вѣры не прочь. Только унывать не любилъ, а по части «прострацій» даже смѣшные каламбуры отпускалъ. Но ежели потребуется серьезно уронить

слезу—онъ слова не скажеть, уронить. «Нельзя, скажеть, безъ сердечной боли видѣть, какъ многие, вмѣсто того, чтобы уповать...» И пойдетъ, и пойдетъ. А потомъ утреть слезу—смотришь, и опять всѣмъ весело. Словомъ сказать, на всѣ руки парень: колесомъ вертится, на канатѣ пляшетъ; сядеть задомъ напередъ на лошадь и за хвостъ держится. Въ гостиномъ дворѣ брюханы такъ и покатываются: «ахъ, каторжный!»

Хозяйскихъ враговъ (разумѣя подъ этимъ именемъ всѣхъ прочихъ газетчиковъ и даже ихъ сотрудниковъ) онъ считалъ своими личными врагами и отъ всей души ненавидѣлъ. Но когда врагъ умиралъ или инымъ образомъ со сцены дѣятельности сходилъ, то отдавалъ ему должную справедливость: это, говорить, быть противнику, съ которымъ пріятно было дѣло имѣть. Такъ что и при жизни ругательски человѣка ругаетъ, и по смерти на могилу его напакостить. Но не отъ злобы, а отъ собачьей жизни.

О происхожденіи его никто ничего достовѣрнаго не зналъ. Самъ онъ говорилъ о родителяхъ своихъ неохотно; но когда его ужъ черезчуръ допекали вопросами объ этомъ предметѣ, то восклицалъ: «да, батюшка, родился я, могу сказать, прродился!» Всѣдѣствіе этого въ редакціи «нашей уважаемой газеты» мнѣнія объ его родопроисхожденіи раздѣлились на-двоє. Одни утверждали, что онъ родился въ Москвѣ на Дербеновкѣ, другіе—что тайну его появленія на свѣтѣ слѣдуетъ отыскивать въ известной пѣснѣ: «Бахаль принцъ Оранскій». И онъ ни первого, ни второго мнѣнія серьезно не опровергалъ.

Наружность у него была тоже не самостоятельная: сейчасъ брюнетъ, сейчасъ—блондинъ. Отсыѣчиваетъ. Голова—сквозная, звонкая: даже въ бурю слышно, какъ одна отмѣтка за другую цѣпляется. Въ глазахъ—ландшафтъ, изображающій Палкинъ трактиръ. Язычина—точно та безконечная лента, которую въ старину фокусники изъ горла у себя выматывали. Онъ составлялъ его гордость.

Но Подхалимовъ былъ несомнѣнно талантливъ и несомнѣнно воспріимчивъ—и это многихъ подкупало. Была въ немъ искорка добродушія. Все это, вмѣсто взятое, заставляло говорить: если-бы этого человѣка выдержать—золото, а не человѣкъ бы изъ него вышелъ! Но такъ какъ выдержать не откуда было взяться (у насть, въ литературномъ мірѣ, какъ и вездѣ, всякий только о томъ думаетъ, какъ бы особнякомъ устроиться), то талантливость послужила

лишь для прикрытия нравственной неустойчивости. Другой, более характерный субъектъ, при подобной силѣ восприимчивости, пришелъ бы къ озлобленію, а онъ даже не смирился, но прямо вошелъ во вкусъ.

Я лично не питалъ къ Подхалимову никакого враждебнаго чувства, а просто смотрѣлъ на него, какъ на жертву общественнаго темперамента. Случайно встрѣчаясь съ нимъ, я не испытывалъ особенной радости, но въ то же время и не безъ любопытства прислушивался къ его пестрой болтовнѣ. Какъ хотите, а вѣдь его статьи служили украшениемъ столбцовъ распространеннаго литературнаго органа, а совсѣмъ плохому писакѣ такая роль не подъ силу. Развязность его, нерѣдко переходившая въ прямую наглость, казалась мнѣ напосною, охватившею его согласно съ обстоятельствами времени и мѣста. А когда онъ, внезапно очнувшись отъ угары пестрыхъ словъ, говорилъ: «это я не отъ злобы, а отъ собачьей жизни!», то мнѣ сдавалось, что и моей вины тутъ капля есть. Да, виноватъ и я. Виноватъ тѣмъ, что я безсиленъ, что слова мои мимо идутъ и се не бѣ. Однако чьи же слова когда-нибудь шли не мимо, позвольте спросить?

Но есть и еще вопросъ, близко касающійся Подхалимова. Теперь онъ и ликуетъ, и умиляется, и иронизируетъ, и скорбитъ: что ему вѣдумается, тѣ и сдѣлаетъ. Но заглядываетъ ли онъ когда-нибудь въ будущее,—не въ то будущее, на которое намекаетъ шумно бѣгущій жизненный потокъ,—туда ему, Подхалимову, пожалуй, и резону нѣть заглядывать,—а въ свое собственное, личное будущее?

Бѣдны Подхалимовы!

Когда я пришелъ къ Подхалимову, онъ лежалъ съ ногами на кровати, а въ головахъ у него сидѣлъ субъектъ, отъ которого несло водами Екатерининскаго канала. Комната была свѣтла и довольно просторна, но табачнаго дыма скопилось столько, что непріятно было дышать.

— Кого я вижу! Отче (онъ называлъ меня такъ въ виду преклонности моихъ лѣтъ)!—воскликнулъ хозяинъ, вставая съ постели.—Ужъ не собрались ли открыть гласную кассу ссудъ? А мы только-что о нихъ бесѣдовали. Садитесь, пожалуйста! Рекомендую: бывшій казанской части дипломатъ по внутренней политикѣ, господинъ Очуковъ, а нынѣ отъ занятій освобожденъ и возымѣлъ намѣреніе открыть кассу ссудъ. Сначала кассу ссудъ откроеть, потомъ убийство совершить, а въ заключеніе попадѣть на каторгу. Вотъ и карьера.

— Чтò вы, Григорий Григорьевич! Кажется, вамъ мои правила довольно извѣстны!—не то обидѣлся, не то пошутилъ господинъ Ончуковъ.

— Оттого и говорю, что извѣстны. А слышали ли вы, отче, какъ онъ на-дняхъ одного юнца подсидѣлъ?.. Хочешь, расскажу?

— Ахъ, чтò вы, чтò вы-съ! Вѣдь это тайность-сь!—испугался господинъ Ончуковъ.

— Ежели тайность, такъ зачѣмъ ты ко мнѣ съ тайностью лѣзъ? Вотъ видите ли, сидѣть этотъ самый господинъ, отъ котораго не розами пахнетъ...

— Нѣтъ, ужъ позвольте, ничего я вамъ такого не говорилъ! Сдѣлайте ваше такое одолженіе, увольте! Прекратите-сь!—рѣшительно взмолился господинъ Ончуковъ.

— Не интересно вѣдь это, Подхалимовъ, оставьте!—при соединился и я съ своей стороны.

— Ну, ладно, все равно, потомъ расскажу. А теперь—брысь, Анчутка! Видишь, «чистые» гости пришли!

Ончуковъ помялся на мѣстѣ, глянувъ исподлобья какъ то подозрительно—и, къ удивленію, глянувъ не на Подхалимова, а на меня—и исчезъ.

— Погодите говорить, онъ у двери подслушиваетъ!—обязательно предупредилъ меня Подхалимовъ.—Береги ность, Анчутка, сейчасъ дверь отворю!

Послышались торопливо удаляющіеся шаги.

— Ну-съ, отче, чѣмъ потчивать прикажете? Чаю? кофею? мороженаго? селедочки?

— Я на минуту, только два слова спросить пришелъ. Скажите, Подхалимовъ, вы не соврали, возвѣщая въ «ва шей уважаемой газетѣ», что господство хищенія кончилось?

— Господи! никакъ вы ужъ во второй разъ по этому слушаю беспокоитесь! Да неужто я въ самомъ дѣлѣ такъ ужъ рѣшительно и намекалъ?

— Совершенно рѣшительно.

— Что хищенія прекратились... совсѣмъ? Странно. Дѣйствительно, что-то въ этомъ родѣ какъ будто было... Но чтобы такъ-таки прямо... съ тѣмъ, чтобы на службу ни по какимъ вѣдомствамъ впередъ не опредѣлять... Да вамъ-то, наконецъ, не все ли равно? Есть хищенія—такъ есть, нѣтъ ихъ—такъ нѣтъ! Эка бѣда!

— Ну, нѣтъ, это совсѣмъ не такъ безразлично, какъ вы полагаете! Поймите, Подхалимовъ, вѣдь это не реформа какая-нибудь, которую взялъ, похерила, и никто не замѣ

тить. Это цѣлая правдиво-обычная революція! Старые идолы въ прахъ повергнуты, старыя преданія нарушены, исторія прекратила теченіе свое... Вотъ вѣдь это чѣмъ пахнѣтъ!

— Скажите, сколько, однако-жъ, я накуралесиль! И это, такъ сказать, въ «минуту жизни трудную»... За «оригиналомъ» изъ типографіи пришли — я и черкнуль... но нѣть, впрочемъ, я лучше ужъ откровенно передъ вами сознаюсь. Призываютъ меня «міроѣды» и спрашиваютъ: «можете вы, Подхалимовъ, «стихотвореніе въ прозѣ» написать?» Ну, я... миѣ что-жъ!

— А я, по милости вашего легкомыслія, впросакъ попалъ. Къ мужичкамъ въ деревню написалъ: радуйтесь! Губишленова на цѣпь посадили! Кротикова — въ за-штатъ отчислили! Знаете, чѣмъ такія извѣстія пахнутъ?

— Ахъ, бѣда!

— Вотъ вы всегда такъ, Подхалимовъ; вы и теперь шутите. Удивительно, право, какъ васть земля за такія продѣлки не поглотить!

— А по-моему, такъ еще удивительнѣе, что вы столько лѣтъ живете, а до сихъ поръ всякое лыко въ строку пишете.

— Но какъ же васть читать? Неужто, взявши газету, нужно предварительно сказать себѣ: все, что тутъ написано, есть мистификація?

— Не мистификація, а «такъ». «Такъ» — и ничего больше. На вашемъ мѣстѣ я, главнымъ образомъ, обращалъ бы вниманіе не на сущность газетной статьи, а на то, какъ она написана, игриво или воинственно, забористо или благородно. А что касается до меня, то ежели моя статья подходитъ подъ одно изъ этихъ определеній, — я и доволень.

— Да вѣдь это же и есть мистификація!

— Мистификація — это ежели предвамбренно, а тутъ, повторяю, просто «стихотвореніе въ прозѣ» — я только. Это — «морсѣ», которое, въ случаѣ крайности, можно въ какую угодно хрестоматію помѣстить.

— Ахъ, Подхалимовъ, Подхалимовъ! Неужели вамъ не страшно жить?

— Перемогаю себя — оттого, должно-быть, и живу. Страшно сдѣлается — я пою: «страха не страшусь, смерти не боюсь!» — какъ рукой сниметъ! Глять ихъ, отче, надо, страхъ-то — вотъ и не страшно будетъ!

— Слѣдовательно однимъ иѣпіемъ спасаетесь, думать не желаете?

— Пишу—стало-быть, все-таки какъ-ни-на-есть думаю; безъ того нельзя. Но прямолинейнымъ быть не желаю и до чортиковъ додумываться не вижу надобности. Смотрю на міръ непредубѣжденными глазами и нахожу, что все идетъ своимъ чередомъ:

И прежде кровь лилась рѣкою,  
И прежде плакалъ человѣкъ...

Это вы во всѣхъ хрестоматіяхъ найдете; стало-быть, ежели вы «плакать» желаете, то къ этому источнику и обратитесь. Но и тутъ имѣйте въ виду, что хрестоматіи на то и издаются, чтобы метафоры и синекдохи въ нихъ подтверждение находили. Слѣдовательно... а впрочемъ, хотите, я къ завтрашму передовицу на манеръ ѡеофана Прокоповича напишу?

— Любопытно. О чёмъ, напримѣръ?

— Какъ вамъ сказать... ну, хоть о правосудії. Сегодня напишу, что правосудіе бодрствуетъ, завтра — что правосудіе на оба ока спитъ; сегодня — что въ голову гидрѣ удаreno и на хвостъ наступлено (слогъ-то какой!), завтра — что у гидры новая голова и новый хвостъ выросли.

— Отлично. Но не будемъ разбрасываться, Подхалимовъ, и возвратимся къ первоначальному предмету нашей бесѣды. Скажите, вѣдь были же какіе-нибудь факты, которые послужили вамъ отправнымъ пунктомъ для передовицы, о которой идетъ рѣчъ?

— Какъ фактамъ не быть! За фактами никогда дѣло не станетъ. Есть факты, которые свидѣтельствуютъ, что хищеніе прекратилось (таковы: предписанія, распоряженія, благія начинанія и т. п.), и есть факты, которые свидѣтельствуютъ, что хищенія продолжаютъ кругъ своего дѣйствія (таковы: отчеты общихъ собраний промышленного общества, банковъ и т. п.). Стало-быть, все зависитъ отъ того, какъ посмотрѣть. Ежели однімъ окомъ взглянуть — есть хищенія; ежели другимъ — пѣть хищеній. Но, кроме того, есть еще читающая публика. Огорчена наша публика, отче, такъ огорчена всевозможными лѣтописями и хрониками изъ области хищничества, что голосомъ волить начинаетъ: уѣшьте вы меня, скажите, что государство хищенія кончилось! Вотъ мои «міроѣды» и догадались, что теперь самый разъ «стихотвореніе въ прозѣ» пустить. Ну, и набрали же они въ это утро пятачковъ!

— Но вѣдь это явный обманъ! Можно подумать, что вы только одну цѣль и въ виду держите: какъ бы кого-нибудь

въ дуракахъ оставить! Остроумно, что ли, это вамъ кажется, или такъ ужъ само перо у васъ лжетъ?.. Ахъ, Подхалимовъ, Подхалимовъ!

— А вы позабыли, отче, что еще Пушкинъ сказалъ: «тѣмы низкихъ истинъ мнѣ дороже нась возвышающей обманъ!» — это во-первыхъ. А во-вторыхъ, вы хоть и читаете нашу газету, но многаго не доглядываете. Въ томъ же №, гдѣ возвѣщалось о прекращеніи хищниковъ, напечатана цѣлая хроника, явно свидѣтельствовавшая, что хищничество нимало не чувствуетъ себя обезкураженнымъ. Но, сверхъ того, неужто вы, кромѣ нашей, никакихъ другихъ газетъ не читаете? Напрасно. Читайте хоть «Пешехонскіе Куранты» — несомнѣнную пользу получите. Хроники хищеній вы тамъ, правда, не найдете, но зато «Куранты» свои задніе столбцы всевозможнымъ добровольцамъ въ полное распоряженіе предоставили. И тутъ вы не то что мелкіе факты, а цѣлые проекты громаднѣйшихъ хищеній обрѣтете. Тутъ и элеваторы предлагаютъ, и запретительныхъ пошлинь требуютъ (кто чѣмъ торгуетъ, тотъ и соотвѣтственное положеніе проектируетъ), и замѣну книгопечатанія билетопечатаніемъ проповѣдуютъ, а на-дняхъ одинъ неунывающій плутократъ проектъ обѣ отдать казны въ безсрочную аренду акціонерной компаніи сочинилъ... Да вотъ увидите: скоро такое столпотвореніе пойдетъ, что зги Божьей за тучей проектовъ не видно будетъ! Ситцевые фабриканты будуть домогаться, чтобы каждому изъ нихъ отъ казны известный доходъ гарантированъ быть; землевладѣльцы начнутъ воліять, чтобы казна гарантировала имъ вѣрный урожай и выгодный сбыть сельскихъ произведеній; торговцы благовонными товарами потребуютъ, чтобы для всѣхъ франтовъ было обязательно употребленіе такихъ-то и такихъ-то духовъ. Того гляди, мужички пожелають, чтобы имъ гарантировали исправную плату податей...

— Вотъ тутъ-то бы вамъ и ополчиться!

— Могу и это. Но, стало-быть, не ко двору. Впрочемъ, чѣмъ «міроѣды» мои отъ ополченья не прочно — они вѣдь у меня лихіе — да и у нихъ руки, видно, коротки. А можетъ-быть, и на розничную продажу не надѣются. Прытки мы, но не сильны.

— Однако какіе ужасные нравы!

— У нась нынче насчетъ правовъ даже очень просторно. Только размѣры «куша» и стѣсняютъ. Кому — знатный размѣръ приличествуетъ; кому — средній; кому — малый.

Но все-таки вездѣ на первомъ планѣ — «кушь». Недавно, доложу вамъ, у одного «репортера» маменька скончалась — ну, онъ и пошелъ съ похороннымъ счетомъ по коммерсантамъ, да черезъ три-четыре часа всѣ расходы покрылъ, а лишки къ Палкину снесъ.

— А чтѣ ежели коммерсантъ-то соберется съ духомъ, да въ шею попрошайку?

— Нельзя, стало-быть.

Подхалимовъ остановился на минуту, иронически взглянуль мнѣ въ глаза и съ разстановкой произнесь:

— Печать-то вѣдь — сила! Такъ ли, отче?

Признаюсь, у меня даже въ глазахъ зарябило отъ этого вопроса. Что-то далекое пронеслось передо мною, далекое, свѣтлое, бодрое. Ни одинъ изъ бывшихъ свидѣтелей этого далекаго — я не исключаю даже старшихъ изъ Подхалимовыхъ — не можетъ вспомнить о немъ безъ умиленія. Гдѣ-то, когда-то я слышалъ эти самыя слова, не въ этой обстановкѣ, не изъ этихъ устъ, но слышалъ, несомнѣнно слышалъ. Я помню, что они поднимали мой духъ и наполняли мое сердце сладостною тревогою. Эта тревога не обезкураживала меня, а какъ бы даже подстрекала: впередъ!

Вмѣстѣ съ другими я вѣрилъ, что печать есть сила, и что этой силѣ суждено развиваться и сдѣлаться несокрушимою. Быть-можеть, — говорилъ я себѣ, — процессъ этого развитія совершился тухо, не безъ горькихъ перипетій — пожалуй, даже не безъ утратъ... Все это я допускалъ, но и за всѣмъ тѣмъ ни на минуту не переставалъ утверждать, что печать есть сила и пребудетъ ею во вѣкъ. И никогда я не предполагалъ...

Нѣтъ, никогда, никогда, даже въ самые черные дни, я не могъ представить себѣ, чтобы сила печати могла осуществиться въ тѣхъ поразительныхъ формахъ, въ какихъ я узналъ ее здѣсь, въ эту минуту! Какимъ образомъ это случилось? Какое злое волшебство передало эту силу въ руки Подхалимовыхъ, сдѣлало ее орудіемъ для обложенія сборами «брюхановъ»? Когда это произошло, и какъ-таки никто этой перестановки не замѣтилъ?

Очевидно, процессъ перемѣщенія новоявленной силы изъ одного центра въ другой произошелъ постепенно и втихомолку. Первоначальная притязанія печати, должно-быть оказались черезчуръ цѣльными и разномастными, чтобы привести къ соглашенію. Это было, впрочемъ, совершенно естественно, покуда рѣчь шла о соглашеніи по существу.

Но дѣло въ томъ, что въ пылу споровъ по существу утрачено было изъ виду, что печать и сама по себѣ, въ качествѣ общественной силы, требуетъ огражденія, для всѣхъ мнѣній и партій одинаково обязательнаго. Даже въ этомъ индифферентномъ смыслѣ никакого соглашенія не состоялось. Напротивъ того, въ самомъ непродолжительномъ времени состоялись вѣроломства, предательства, отступничества въ сопровожденіи цѣлой свиты легкомыслій, свидѣтельствовавшихъ о полномъ отсутствіи дисциплины. Распры, постепенно переходя съ почвы принциповъ на почву уязвленныхъ самолюбій, приняла, наконецъ, такіе размѣры, что въ одно прекрасное утро па Фронтонѣ храма печати сами собой выступили слова: *образъ мысли*.

Принципы были побѣждены, и въ то же время всяка надежда, что слово: «печать» когда-нибудь получить объединяющей смыслъ, исчезла навсегда.

Вотъ этотъ-то моментъ и подстерегали Подхалимова. Они поняли сразу, что ни принципы, ни руководящіе идеалы—не ко двору; что свѣточъ мысли не освѣщаетъ и не убѣждаетъ, а производить раздраженіе и панику, полную грядущихъ отмщений; что, слѣдовательно, ежели печать хочетъ быть силою, то она должна отыскивать почву для этой силы въ той низменной сфере, которая не оставляла бы никакихъ сомнѣній насчетъ ея проницательнагоничтожества. А именно, въ сфере мелочей, проекторства и личнаго, такъ-сказать, наглядно-физического обличенія.

И вотъ снова выступили Подхалимовы *вчераши*, которые еще во дни возрожденія руку набили. Выступили и поразили всѣхъ юркостью и непринужденною остротою ума. Они первые наглядно доказали, что можно жить и безъ принциповъ. За ними появились Подхалимовы *нынѣши*, такіе, у которыхъ даже литературныхъ преданій не было, а были только недюжинныя способности по части изслѣдованія корней и нитей, шантажа и обезкураженія «брюхановъ». Первые говорили: «Пріятно этакой въ нѣкоторомъ родѣ арбузъ щелкнуть, чтобы онъ по всемъ швамъ треснулъ!» Вторые прибавляли: «и при семъ чтобы у него изъ всѣхъ щелей ассыгнаціи поползли».

— Нынче, я вамъ скажу, по умственной части тихо,—продолжалъ между тѣмъ Подхалимовъ: — зато бойко по части промышленной и коммерческой. Вотъ эту-то ноту мы и разрабатываемъ. Безъ содѣйствія печати нынче ни одно промышленное предпрѣятіе шагу ступить не можетъ. Вся

воздѣльзывающая, производящая, эксплоатирующая и спекулирующая Россия раздробилась на безчисленное множество клиентуръ, которые сами признали свою подсудность печати. Стало-быть, рѣчь идетъ только о качествѣ клиентуры. Кто покрупнѣе клиентуру захватить, тотъ и умница; но ужъ во всякомъ случаѣ тутъ не фунтомъ икры пахнетъ, какъ во времена Булгарина.

— Однако мнѣ кажется, что вѣдь и разработка промышленности и торговыхъ интересовъ, несмотря на свой специальный характеръ, не исключаетъ возможности честнаго отношения къ дѣлу?

— Гм!.. миллионами вѣдь тутъ, отче, пахнетъ, миллионами.

— Помилуйте, Подхалимовъ! сами же вы сейчасъ рассказывали о репортерѣ, который съ похороннымъ счетомъ по «брюханамъ» путешествовалъ,—надѣюсь, что ему и во сиѣ миллионы не снились!

— Ахъ, чтѣ вы, развѣ я о немъ! Вѣдь и въ нашемъ дѣлѣ есть табель о рангахъ, да еще престрогая! Одинъ — къ миллионамъ приставленъ, другой — къ сотнямъ тысячъ, третій — къ тысячамъ, а четвертый — около десятковъ съ удовольствіемъ руки погрѣеть.

— Но какъ вы не перегрызетесь другъ съ другомъ? Вѣдь досадно, я думаю, въ четвертомъ-то рангѣ состоять да зубами щелкать, особенно ежели сознаешь себя способнымъ и достойнымъ.

— Не скажу, чтобы особенно было досадно. Тутъ судьба, и какъ-то сразу это дѣлается понятнымъ. Возьму для примѣра себя: я себѣ цѣну знаю, но только и всего. Не прощевалъ, но и дорожиться не стану. Ежели дѣло не моей компетенціи, я за него не возьмусь, а направлю по адресу. Есть «дѣятели печати» гораздо вѣдь худшемъ противъ меня положеніи, но и тѣ, покуда здоровы, не ропщутъ. Вотъ ежели силы слабѣть начнутъ — тогда капутъ. Но я лично могу и кризисъ выдержать: я и помимо репортерства работу найду. У меня — перо, а въ наше просвѣщенное время это порядочная-таки рѣдкость!

— Вотъ вы на эту *другую* работу и употребляли бы ваше «перо».

— Нельзя. Для этого нужно, чтобы въ личномъ существованіи человѣка рѣшительный переворотъ произошелъ. Наша дѣятельность вѣдьчива; не результатами она заманивается — о результатахъ думать нѣть времени, — а самимъ процессомъ своимъ. Въ этотъ процессъ вошло такое

множество случайныхъ и другъ отъ друга независящихъ подробностей, что каждый день втягиваешьъ къ себѣ по-новому. Я не работаю, а увлекаюсь. Увлекаюсь каждый день по-новому, не такъ, какъ вчера. Пишу и думаю: ну, теперь нужно полагать, что «онъ» восчувствуетъ! «Онъ» — это мой *сегодняшний* избранникъ, котораго я *вчера* и къ умѣ не держаль. Я не помню моего вчерашняго дня и не загадываю о завтрашнемъ; но сегодняшняя моя мысль вполнѣ для меня ясна. Сегодня я создать себѣ такой-то пунктъ, и ежели я въ ударѣ, то одно за другимъ выведу изъ него всѣ послѣдствія. Весело, бойко, неутомимо. Мнѣ и работать весело... ежели я «въ ударѣ». Ничто другое не привлекаетъ, уйти отъ работы не хочется. Вотъ и судите теперь, легко ли при такихъ данныхъ на другую работу перейти?

— Но вѣдь это своего рода хроническое опьянѣніе, и я положительно не понимаю, какимъ образомъ оно можетъ не изнуриТЬ. А сверхъ того сдается мнѣ, что для литературнаго дѣятеля не мѣшаетъ подумать и о репутаціи порядочности, а такого рода работой ее не пріобрѣшешь.

— Да, относительно низшихъ классовъ ваше замѣчаніе справедливо. Мы, анонимная сила, дѣйствительно живемъ какъ въ чаду, и обѣ относительной цѣнности нашей знаютъ только въ редакціяхъ да въ нашемъ интимномъ кругу, да, пожалуй, еще въ трактирахъ, гдѣ мы засѣдательствуемъ. Анонимами мы родились и анонимами же большая часть изъ насъ сойдетъ въ могилу. Но о высшихъ рангахъ — не говорите такъ. Тѣ ужъ вышли изъ опьянѣнія, а репутація пришла къ нимъ сама собой, какъ приходитъ она ко вся кому хищнику, который рветъ крупные куски, а мелкими пренебрегаетъ. Вы скажете, можетъ-быть, что эта репутація непрочная, фиктивная, — ну, да вѣдь ежели кто къ потомству не апеллируетъ, такъ и фиктивная репутація за настоящую сойдетъ. Дѣйствія этихъ высшихъ дѣятелей розничной публицистики уже до такой степени говорятъ о выдержкѣ, что они сумѣли создать къ свою пользу особое право самопротиворѣчія, которое зараныше гарантируетъ имъ свободу отступничества. Посмотрите, какъ какой-нибудь Скомороховъ подступаетъ къ вопросу: точно кошка съ мышкой играетъ. Сначала пробный шаръ пустить, будто стороной что-то слышаль, и при этомъ сознается, что покуда еще не имѣть достаточныхъ данныхъ для сужденія. Затѣмъ слегка помолчить — и опять попробуетъ. Слѣва заглянетъ, справа пошушаетъ, предоставить какому-нибудь добровольцу на за-

дахъ нескладицу проурчать—и опять притворится спящимъ. И вдругъ у него сердце защемить! И любовь къ отечеству, и интересъ къ казнѣ, и нужды промышленности—что есть въ печи, все на столь мечи! Вопрошь растерть и съ каждымъ днемъ осложняется. Независимо отъ *pièce de résistance*, появляются публицистическая приправы: либерализмъ, нигилизмъ, упраздненіе властей и т. п. Это онъ пугаетъ и въ то же время товаръ лицомъ показываетъ. Наконецъ, когда приправа возымѣла дѣйствіе, начинается «апофеозъ»... Рыба клюнула; данайцы восчувствовали. Ибо ко всякому вопросу пригнана соотвѣтствующая рыбина, соотвѣтствующій данаецъ. Достигнувъ цѣли, газета временно успокаивается; репутація ея въ качествѣ узорѣшительницы установлена, а заправилы ея исподволь подыскиваютъ новый вопросъ и оттачиваютъ перья для новаго похода... Вотъ какъ идетъ дѣло въ высшихъ публицистическихъ сферахъ. Тутъ ужъ не о скачущемъ штандартѣ идетъ рѣчь, а о службѣ на чредѣ государственный, не статейками пахнетъ, а актами мудрости... чортъ побери!

— Прекрасно, но зачѣмъ же вы «чортъ побери» прибавили? Вѣдь вы и сами въ этомъ водоворотѣ кружитесь... Какъ хотите, а непріятно поражаетъ въ васъ эта двойственность!

— Привычка, отче; да, въ сущности, и сказать что-нибудь другое трудно. Впрочемъ, не въ томъ дѣло: надѣюсь, вы теперь понимаете, что печать есть дѣйствительно сила, которую игнорировать не полагается. Только не та печать, по которой вы, государь мой, периодически тоскуете.

— Ну, да, разумѣется, не та. Стало-быть, вы въ концѣ концовъ своимъ положеніемъ довольны?

— Не ропщу. У меня клиентъ по преимуществу мелкій. Одинъ домогается благосклоннаго отзыва, другой — благосклоннаго умолчанія, третій — и самъ не знаетъ, чего ему нужно. Вотъ Ончуковъ, напримѣръ, который ужъ разъ приходитъ,—все спрашивается: ловко ли будетъ, ежели онъ по пятнадцати процентовъ въ мѣсяцъ станетъ съ заемщиками братъ?

— Неужели вы, однако, и эту «идею» въ вашихъ передовицахъ проводить будете?

— Нѣтъ, онъ еще погодить; это онъ такъ, безкорыстнаго сочувствія ищетъ. Замѣтьте, отче, что даже самый темный жуликъ — и тотъ жаждетъ, чтобъ ему посочувствовали или, по крайней мѣрѣ, хоть пожалѣли о немъ. Одинъ ему скажетъ: «молодецъ!»; другой: «э, да ты еще не совсѣмъ та-

кой негодяй, какъ о тебѣ повѣствуютъ!»—онъ и доволенъ. Нѣть ничего тяжелѣе, какъ глотать втихомолку свои собственные мерзавства—съ этимъ ужъ только самые отпѣтые сживаются. Большинство ищетъ хоть частицу удручающаго его негодайства вынести на свѣтъ, чтобы облегчить себя.

— Но какимъ манеромъ вы сходитесь съ такими людьми?

— Вся моя жизнь на народѣ проходить—вотъ и схожусь. Въ трактирахъ, въ судахъ, въ участкахъ, на конкахъ — вездѣ люди. Вся улица человѣчествомъ полна! Нужно же привести эту массу въ извѣстность, расчленить, размѣтить по группамъ. Я сознаюсь, что до сихъ поръ совсѣмъ не это дѣло у меня на первомъ планѣ стояло, но увѣренъ, что работа ассимилированія человѣческаго материала все-таки своимъ порядкомъ идетъ. Можетъ-быть, этотъ материалъ соскользнетъ и безслѣдно, но, можетъ-быть, нѣчто и задержится. Провидѣнія не искушаю и кризиса, который сразу оборвалъ бы меня и заставилъ бы обратиться внутрь,—не призываю. Но ежели наступить критическая минута, я убѣжденъ, что найду свой материалъ налицо. И, быть-можеть, буду въ состояніи подлинную картину почтеннѣйшей публикѣ предоставить. Только вотъ таланта хватить ли? Или же тѣ, чѣмъ мы теперь называемъ талантъ, есть не болѣе какъ усовершенствованное тряпичинство?

Высказавши послѣднія слова, Подхалимовъ остановился, какъ бы сожалѣя, что черезтурь ужъ далеко зашелъ въ область самообличенія. И съ своей стороны тоже понялъ, что какъ ни затягивай бесѣды съ Подхалимовымъ—результатъ получится только одинъ: будешь двоиться въ глазахъ. Въ эту минуту онъ, пожалуй, и посентиментальнничать быть не прочно, а черезъ полчаса, блеснуть въ глаза подходящій сюжетъ,—и опять штандартъ поскакаль.

— Ну, прощайте,—сказалъ я.—желаю вамъ! Уѣхъ ежели вы сами специальную табель о рангахъ для себя облюбовали, то не задерживайтесь на низшихъ ступеняхъ, а держайте! Безплодно на судьбу не ропщите—это и смѣшино, и не интересно,—но и міроѣдамъ въ зубы не смотрите. И ежели увидите, что изъ ропота можетъ воспослѣдовать полезный для васъ плодъ, то средствомъ этимъ не пренебрегайте.

Возвращаясь отъ Подхалимова, я нѣкоторое время чувствовалъ себя какъ въ туманѣ. Я не только не разрѣшалъ

себѣ вопроса о хищничествѣ, но даже пересталъ имъ интересоваться, забыть о немъ. Совсѣмъ другая мысль назойливо билась въ головѣ: откуда пришла и зачѣмъ понадобилась эта беспощадная жестокость въ извращеніи внутренней сущности явленій, которыя, будучи взяты сами по себѣ, занимаютъ далеко не послѣднее мѣсто въ ряду отличительныхъ опредѣлений человѣческой природы?

Чтѣ такое Подхалимовъ? Безспорно, это воспріимчивый, отзывчивый и очень даровитый человѣкъ. Вотъ опредѣленіе, которое ближе всего подходитъ къ нему, ежели отрѣшиться отъ того гадливаго чувства, которое вызывается его практическою дѣятельностью.

Воспріимчивость и отзывчивость составляютъ едва ли не самое драгоценное достояніе человѣка. Безъ нихъ немыслима ни дѣятельная честность, ни постиженіе идеи общаго блага. Только воспріимчивый человѣкъ можетъ всего себя отдать на служеніе высшему идеалу; только въ немъ можетъ созрѣть идея о человѣчествѣ и ожидающихъ его перспективахъ; только онъ способенъ возвыситься до самоотверженія. Признать законность самоотверженія, какъ фактора человѣческой жизнедѣятельности,—это уже значить внести въ жизнь элементъ правды и человѣчности; но познать на дѣлѣ сладость самоотверженія—это значитъ дать такое доказательство превосходства человѣческой природы, противъ которой не можетъ быть и возраженія.

Вотъ какимъ поистинѣ поразительнымъ проявленіямъ можетъ дать начало человѣческая воспріимчивость; вотъ сколько свѣта, тепла, бодрости она можетъ внести въ существованіе человѣка! И что же: та же самая воспріимчивость помогаетъ Подхалимову разбираться въ сору постыднейшихъ отбросковъ, прильпать къ нимъ всѣмъ существомъ, перебѣгать отъ одного хищника къ другому, встрѣчивать рыночныхъ «брюхановъ», поднимать на смѣхъ «простофиль», тѣшить ихъ безплодными фикціями. Жарь, жарь, жарь...

Понимаетъ ли Подхалимовъ, что онъ лжетъ, или не понимаетъ? Участвуетъ ли хоть капля сознательности въ той фальши, которую онъ распространяетъ вокругъ себя, или эта фальшивь льется изъ него сама собой, какъ льется вода изъ незапертаго крана?

Но какой странный, почти неимовѣрный процессъ перерожденія долженъ быть произойти въ промежуткѣ двухъ полосовъ, чтобы вмѣсто служенія высшимъ идеаламъ полу-

чалось подавливанье подходящихъ сюжетцевъ, вмѣсто самоотверженія—выщучиванье «простофиль!»

Кто виноватъ въ этомъ превращеніи? Какъ оно создалось? Ссылаются обыкновенно (и, пожалуй, не безъ основанія) на общее паденіе нравственнаго уровня; но въ этомъ-то паденіи кто виноватъ?

Точно то же слѣдуетъ сказать и о даровитости. Даровитость племени дѣлаетъ его свѣточомъ міра; даровитость отдельнаго индивидуума дѣлаетъ его свѣточомъ страны. При низкомъ уровнѣ даровитости нѣть ни хорошаго управленія, ни умственной жизни, ни материальныхъ учрѣжденій, ни развитія. Нѣть цвѣтенія. Всѣ блага, которыми въ данную эпоху пользуется страна, приносятся ей даровитостью сыновъ ея; а жажда этихъ благъ такъ жива и естественна, вліяніе ихъ на расширение жизненныхъ горизонтовъ такъ безспорно, что это одно вполнѣ объясняетъ, почему даровитые люди занимаютъ исключительное положеніе въ средѣ своего народа и общества.

И вотъ передъ нами экземпляръ несомнѣнно даровитаго индивидуума—Подхалимовъ! Экземпляръ, который, кроме зольного обращенія, распутства и полнаго индифферентизма въ дѣлѣ убѣждений, ничего другого странѣ своей дать не можетъ! Не колдовство ли это?

Въ послѣднее время чаще и чаще приходится слышать жалобы на оскудѣніе русской литературы. Говорятъ: старые таланты допѣваютъ свои послѣднія пѣсни, новыхъ—не рождается. Тутъ и адвокатуру приплетаютъ, и педагогическую дѣятельность, и другія болѣе или менѣе доступныя профессіи: вотъ, дескать, куда ушла даровитость русского культурнаго человѣка. Но, по моему мнѣнію, во всѣхъ этихъ жалобахъ и ссылкахъ нѣть ничего, кроме недоразумѣнія. Прочитайте любое изъ Подхалимовскихъ упражнений, которая онъ съ такою легкостью изъ себя ежедневно выливается, точно у него въ запасѣ неистощимая бутылка,—и вы въ каждой строкѣ найдете больше таланта, больше жизненной образности, нежели во всѣхъ «послѣднихъ пѣсняхъ» потухающихъ стариковъ. Не обѣ отсутствіи даровитости идетъ рѣчь, а о томъ, что Подхалимовъ сумѣть дать своему таланту омерзительную, гнусную, бесчестную окраску. И не въ томъ бѣда, что онъ размѣнялъ себя на мелочи—онъ справедливо выразилъ въ разговорѣ со мною уверенность, что работа ассимилированія человѣческаго материала идетъ въ немъ своимъ чередомъ и дастъ въ свое

время плодъ,—а въ томъ, что эти мелочи до такой степени запакошены, до того провоняли, что подло къ нимъ близко подойти.

И такой же, ежели не горшій, плодъ дастъ и происходящій въ немъ процессъ ассимилированія человѣческаго материала. Очень возможно, что въ результатѣ этого процесса окажется картина очень широкая и написанная рукою мастера, но каждый штрихъ ея будетъ запечатлѣнъ подлостью и тѣмъ обязательнымъ присутствиемъ низменности, которую проводить за собой продолжительное и упорное общеніе съ постыднѣйшими проявленіями торжествующаго безстыдства.

И опять же вопросы: кто же виновать въ этомъ перерожденії? Какимъ образомъ оно создалось? Ежели же и тутъ непосредственнымъ виновникомъ окажется упадокъ общаго нравственного уровня, то кто въ этомъ упадкѣ виноватъ?

Публичность, которою мы пользуемся, черезчуръ скудна. Вся она сосредоточивается въ печати, а печать, по обстоятельствамъ, всецѣло эксплуатируется Скомороховыми и Подхалимовыми. Все, что мы знаемъ о нашей родной странѣ,—все выходить изъ этого источника. Скомороховъ—явно лжетъ и подтасовываетъ; Подхалимовъ—неизвѣстно чему веселится и скачетъ съ штандартомъ. Скомороховъ, подъ видомъ защиты принциповъ, порядка и устойчивости, безсовѣстно пользуется ими въ качествѣ полемического приема, чтобы зажать ротъ своимъ противникамъ; Подхалимовъ—отъ всякихъ принциповъ отшучивается и направки заявляетъ, что, кромѣ унынія и скучи, ничего они обществу дать не могутъ. Таковы установившіеся нравы, а послѣдніе, въ свою очередь, опредѣлили и отношеніе печати къ читателю. Читатель—это «простофилъ», который обязывается оставаться въ угарѣ недоумѣнія и невѣдѣнія.

И за всѣмъ тѣмъ Подхалимовъ сказалъ правду: никогда печать съ такою рѣзкостью не заявляла о своей силѣ. Но какая печать, и какого качества ея сила?—вотъ въ чёмъ вопросъ.

### Письмо шестое.

По вторникамъ у генерала Чернобровова устраивались интимные рауты. Генераль былъ отставной и старенький, лѣтъ подъ восемьдесятъ. Въ свое время и полкомъ коман-

доваль, и по инфантерии числился, и губернаторомъ былъ, а потомъ его обидѣли. А онъ—простиль. Получилъ пенсію да аренду, да «такъ» и поселился на Пескахъ. Семейства у него не было, кромѣ старушки-жены, которая, лѣтъ сорокъ тому назадъ, отъ совѣтниковъ губернскаго правленія амурныхъ письма на златообрѣзной бумагѣ получала и тоже давно всѣмъ простила. Жили они скромно, но безъ нужды, и по вторникамъ (черезъ два въ третій) устраивали вечеринки.

Собирались на эти вечеринки, по преимуществу, старые губернаторы. Генералы: Краснощековъ, Пучеглазовъ и Балаболкинъ. Тайные совѣтники: Гвоздиловъ и Покатиловъ. Изъ не-губернаторовъ рауты посѣщалъ инженеръ-полковникъ Купидоновъ, который въ древности первые мостки черезъ Неву построилъ, да статскій совѣтникъ Набрюшниковъ, который, съ писарскихъ чиновъ, вмѣстѣ съ Покатиловымъ, въ качествѣ наперсника, всю службу продѣлалъ. Купидоновъ обыкновенно привозилъ генеральшѣ сюрпризы: либо икры зернистой, либо семги, либо копченаго сига, и за эту галантѣйность игралъ въ компаніи роль молодого человѣка, чтѣ, впрочемъ, очень къ нему шло, потому что онъ обыкновенно приходилъ въ лосинахъ. Набрюшниковъ не приносилъ ничего, кромѣ преданнаго сердца и замѣтательно исправнаго аппетита. Всѣхъ ихъ въ свое время обидѣли, и всѣ они простили, кромѣ, впрочемъ, Набрюшникова, который за себя простиль, но за Чернобровова—никогда-сь!

Люди эти были и различнаго происхожденія, и различнаго воспитанія, но ихъ соединило, съ одной стороны, общее губернаторство, съ другой—общая обида. Чернобрововъ, Краснощековъ и Покатиловъ были настоящіе столбовые, имѣли приличныя и благосклонныя манеры, хранили преданія дворянской изг҃ѣженности и любили пофрондировать. Въ древности такихъ губернаторовъ цѣнили и называли «хозяевами». Въ частности, Чернобрововъ славился открытою физіономіей, съ помощью которой такъ искусно управлялъ вѣроятнымъ краемъ, что только черезъ двадцать лѣтъ понадобилось отправить туда сенаторскую ревизію. Краснощековъ славился пылкостью. Наскочить совсѣмъ не на того исправника, на котораго нужно, обругаетъ, но, какъ рыцарь, первый сознаетъ свою ошибку и скажетъ: «ну-ну, ничего! впередъ пригодится!» Покатиловъ—быть умница, и рапорты его приводили сенатъ въ

восхищениe (одинъ изъ мѣстныхъ садоводовъ даже одну разновидность георгины въ честь Покатилова назвалъ: «утѣшениe сената»). Такъ что когда ихъ въ ту пору разомъ, въ числѣ двадцати генераловъ, обидѣли, и онъ прѣѣхалъ въ Петербургъ объясняться: за чѣ?—то ему только одно слово и сказали въ отвѣтъ: «такъ». Съ этимъ онъ и отѣѣхалъ.

Всѣ трое были женаты на родныхъ сестрахъ: Прасковѣ Ивановнѣ, Лукерѣ Ивановнѣ и Людмилѣ Ивановнѣ, вслѣдствіе чего и губерніи, которыми управляли ихъ мужья, назывались ихъ именами: Парашина, Лушкина и Милочкина.

Гвоздиловъ бытъ происхожденія темнаго, характеръ имѣть угрюмый и вступалъ въ собесѣданіе урывками, какъ будто знать за собой какое-то необыкновенно постыдное дѣло и боялся проговориться. Быть слухъ, будто онъ съ откупщикомъ повздорилъ. Онъ утверждалъ, что откупщикъ ему фальшивую десятирублевую бумажку всучилъ, а откупщикъ говорилъ, что отдалъ все по чести какъ слѣдуетъ, а самъ-де губернаторъ свою собственную фальшивую бумажку всучить хочетъ. Тогда Гвоздиловъ нагрянулъ на откупщика въ подвалъ, а откупщикъ въ Петербургъ уѣхалъ, и черезъ мѣсяцъ—Гвоздилова обидѣли. Въ древности о такихъ губернаторахъ говорили: «у насть губернаторъ и на губернатора-то не похожъ». Пучеглазовъ и Фроль Терентьевичъ Балаболкинъ были выслужившіеся кантонисты аракчеевской школы, которые вмѣсто носковъ носили онучи, а деньги прятали за голенище; впрочемъ, подъ старость, изъ всего губернаторскаго прошлаго они помнили только одну фразу: «направляй кинку въ огонь, направляй!» Въ древности о такихъ губернаторахъ совсѣмъ ничего не говорили, а только ожидали, что еще немножко—и ось земная либо переломится, либо покривится. Что касается до Купидонова, то онъ въ 805-мъ году былъ найденъ принцемъ Оранскимъ въ корзинѣ на мосту и въ той же корзинѣ быть сданъ въ институтъ путей сообщенія съ тѣмъ, дабы, по пришествіи въ совершенные годы, употреблять его для постройки мостовъ.

Тѣмъ не менѣе, повторяю, несмотря на различіе воспитанія, происхожденія и характеровъ, всѣ эти люди соединялись подъ однимъ знаменемъ во имя общей обиды, которую они, впрочемъ, простили.

Отъ времени до времени на этихъ раутахъ появлялся еще кузенъ хозяйки, дѣйствительный тайный совѣтникъ Крокодиловъ, человѣкъ сравнительно не старый (тѣть подъ

шестидесять), но до того уже изслужившийся, что желудокъ у него ничего, кромѣ кашицы изъ свода закопотъ, не варилъ. Но онъ оставался не больше получаса. Посидить, выпить чашку жидаенькаго чая и спѣшить дальше, потому что ему надо карьеру дѣлать.

Итакъ, соберутся часамъ къ восьми вѣсъ генераловъ, сначала дѣсыта наиграются, потомъ сядутъ за ужинъ и начнутъ припомнить. Припоминаютъ прошлый дѣянія, приводятъ примѣры губернаторской осмотрительности, дипломатической тонкости, распорядительности и благоразумной экономіи; сами съ собой полемизируютъ, но не настойчиво, а больше затѣмъ, дабы въ полемикѣ еще вящее къ прославленію прошлаго основаніе почерпать; сравниваютъ прошедшее съ настоящимъ и, надо сказать правду, порядочные таки недочеты въ послѣднемъ усматриваются. Но не сквернословятъ прямо, а только правду говорятъ да отъ времени до времени вздыхаютъ: «людей иѣть!» Наговорятся, найдутся и разбредутся, часу въ первомъ, по Пескамъ.

Живя съ Чернобрововыми на одной лѣстницѣ, дверь противъ двери, я зналъ обѣ этихъ раутахъ и, разумѣется, горѣль желаніемъ попасть на нихъ.

Во-первыхъ, хотѣлось мнѣнія солидныхъ людей о современной политикѣ знать: какъ и чѣмъ; можно ли ожидать, или совсѣмъ нельзя. Я у кормила никогда не ставиль, а они цѣлую жизнь все по морю—ахъ, по морю, да по Хвалынскому, въ косной лодочки погуливали, да и причалили, наконецъ, благополучно къ Пескамъ. Понятно, что у нихъ сформировался взглядъ, а у меня не сформировалось ничего. Во-вторыхъ, мнѣ всего шестьдесятъ лѣтъ, а имъ каждому подъ восемьдесятъ катитъ—сколько ума въ этотъ двадцатилѣтній періодъ накопилось! А въ-третьихъ, и Купидоновской игры хотѣлось отвѣдать, а если Богъ поможетъ, то и обыграть стариковъ гривенъ этакъ на шесть. Словомъ сказать, я и спалъ и видѣль, какъ бы въ компаніи съ хорошими людьми посидѣть и заодно съ ними портить воздухъ сѣтованіями и воздыханіями.

А такъ какъ я каждодневно встречался съ генераломъ на лѣстницѣ, то, вѣроятно, и онъ, наконецъ, догадался, что у меня сердце не на мѣстѣ. По крайней мѣрѣ утромъ, въ одинъ изъ вторниковъ, кухарка моя предварила меня:— «Васъ нынче будуть къ генералу на вечеръ звать».

А черезъ часъ, когда я встрѣтился съ генераломъ на

подъездѣ, онъ, послѣ обыкновенныхъ привѣтствій, благосклонно протянулъ мнѣ руку и сказалъ:

— Чѣмъ бы вамъ, молодой человѣкъ, по-сосѣдски... вѣчеркомъ? Понграемъ, попьемъ, поѣдимъ, съ Прасковьей Ивановной познакомитесь. У васъ еще цѣлая жизнь впереди—можетъ-быть, и полезное что-нибудь отъ стариковъ услышите. Прошу.

Разумѣется, я не преминула. Въ восемь часовъ завсегдатай были уже налицо, а изъ женскаго пола, кромѣ хозяйки, присутствовали еще сестры ея: Людмила Ивановна Краснощекова и Лукерья Ивановна Покатилова. Какъ я уже сказаль выше, всѣ три были въ свое время губернаторшами и слѣдовательно всѣ три вкусили сладостей и отравъ власти.

Когда я появился, бесѣда была въ полномъ ходу. Лукерья Ивановна рассказывала, какъ она однажды въ Москву изъ «своей» губерніиѣздila. Сначала по своей губерніиѣхали—ну, натурально... «Тише, сумасшедше,тише! Куда вы сломя голову летите!...»—Не беспокойтесь, ваше превосходительство, мы въ отвѣтѣ!..—«Ну, коли такъ, Богъ съ вами, поѣзжайте!» Потомъ вѣхали въ губернію къ генералу Колпакову,—ну, и натерпѣлась же она тутъ! Ямщики закладывают—не закладывают, смотрители—ну, буквально, ходя спать, лошади бѣгут—не бѣгут... Исполать вамъ, ваше превосходительство, одолжили, нечего сказать, въ порядкѣ свою губернію содержите! И вдругъ... Милочкина губернія пошла! Полетѣли! Ну, такъ летѣли, такъ летѣли! Это... это... ну, просто какое-то волшебство! Но только если бы сломалась ось... ахъ!

— Да, были лошади, были! — отозвался генераль Краснощековъ. — И лошади были, и колокольчики были, и ъзда была, и ямщики были! Все было!

Онъ на мгновеніе поникъ головой и многозначительно, густой октавой, присовокупилъ:

— И страхъ былъ.

— А страхъ Божій есть начало премудрости,—вставилъ свое слово генераль Чернобрововъ.

— Божий страхъ—это само по себѣ,—возразилъ Краснощековъ:—это ежели кто къ обѣднѣ лѣнится ходить—ну, того, дѣйствительно, припугнуть не мѣшаетъ... Но страхъ вообще—вотъ что важно!

— Притомъ же — не знаю, какъ теперь, — а въ наше время страхъ Божій епархіальному начальству подвѣдомъ

быть; следовательно и вмѣшиваться въ предѣлы чужого вѣдомства губернатору не подобало,—присовокупилъ «умница» Покатиловъ.

— А помните, сестрица, какъ, бывало, флигель-адъютантъ къ рекрутскому набору приѣдетъ?—смѣнила Лукерью Ивановну Прасковья Ивановна.—Ахъ, что это за пріятный гость быть! Только при нихъ, бывало, и отдохнешь... особенно графъ Вьюшинъ-Стречковъ! Никогда обѣ этихъ противныхъ дѣлахъ—всегда около дамъ! «Mesdames! нынче въ Петербургѣ платья совсѣмъ въ обтяжку носятъ; mesdemoiselles! нынче шестую фигуру совсѣмъ не такъ танцуютъ! Les messieurs en avant! Chaîne des dames! balancé! messieurs, saluez vos dames... c'est ça!» Мужья, бывало, трепещутъ; Степанъ Михайловичъ мой подойдетъ ко мнѣ и шепчетъ: «помилуй, матушка, вѣдь это око царево»,—а я и въ усь себѣ не дую! «Графъ, извольте-ка распорядиться, чтобы пятую кадриль начинали!» — «Madame, je suis sur les dents!» — «Ну, что съ вами дѣлать, противный, садитесь... вотъ тутъ! Хотите—Сонечку Волшебнову позову?.. Признайтесь, вѣдь влюблены? Сонечка, mon enfant, садитесь вотъ тутъ, рядомъ съ графомъ, да постараитесь, чтобы ему не скучно было!» Усадишь ихъ, а сама пойдешь кавалеромъ своихъ побранить. «Ахъ, господа, господа! Дѣвицы одѣ ходятъ, а вы забрались въ уголь да анекдоты рассказываете... Хоть бы вы съ графа примѣръ брали! Музыканты, вальсы!»

— А помните катанье на маслиницѣ въ *trainea-monstre!*

— А пикники въ загородномъ саду! А балы во время выборовъ! И вдругъ, въ самый разгаръ бала—полицеймейстеръ: «ваше превосходительство! въ Раздорихинской слободѣ пожары!»

«— Это въ оврагѣ?

«— Точно такъ, ваше превосходительство!»

Подъ шумокъ этихъ разговоровъ Набрюшниковъ распечатывалъ карточныя колоды и усаживалъ игроковъ. Усадили и меня, какъ младшаго, съ дамами, по сотой. Но генераль былъ правъ, предваряя, что я вынесу изъ его раута много полезнаго для себя. Въ какихъ-нибудь полчаса я уже узналъ главныя основанія, на которыхъ зиждалась до-реформенная губернаторская власть. А именно: страхъ (впрочемъ, не Божій, а вообще), быстрая Ѣзда на почтовыхъ, поддержаніе въ обществѣ единодушія при соѣднѣстіи пикниковъ и пожары,—и все шло прекрасно,

Я не стану распространяться о томъ, какъ мы играли въ карты, и какие при этомъ происходили интересные (а иногда даже и странные) случаи. Въ десять часовъ старики начали ужъ зѣвать, и всѣ поспѣшили за ужинъ. Обыкновенно въ это время генералы ложились спать, но по вторникамъ дозволяли себѣ небольшую льготу, поочередно собираясь, для критики существующихъ установлений, то у Чернобрововыхъ, то у Краснощековыхъ, то у Покатиловыхъ, такъ какъ прочіе были люди безсемейные, а Кунидоновъ, кромѣ того, вель дома предосудительную жизнь.

За ужиномъ я позналь и еще одну руководящую истину, но она уже касалась не оснований до-реформенной губернаторской власти, а тѣхъ, на которыхъ зиждится отставное человѣческое существованіе вообще и губернаторское въ особенности. А именно: изъ всѣхъ присутствующихъ только бывшіе кантонисты Пучеглазовъ и Балаболкинъ рвали твердую пищу зубами, прочіе же сосали, такъ что когда, наконецъ, подали манную кашу, то у всѣхъ изъ груди вырвался крикъ восторга.

Когда первыя требованія аппетита были удовлетворены, началась критика существующихъ установлений. Было что-то трогательное въ этихъ старикахъ, которые могли бы еще послужить, если-бы не были такъ безвременно остановлены въ самомъ пылу своего административнаго бѣга. И что всего печальнѣе: судьба, лишившая ихъ возможности совершать славныя дѣянія, не лишила ихъ памяти. Они все помнили, все до послѣдней нитки, даже бумагу, на которой печатались губернскія вѣдомости,—и ту помнили. Только у кантонистовъ память, повидимому, совсѣмъ отшибло; но и они, разрывая зубами пищу, потихоньку бормотали: «направляй кишку! направляй, направляй, направляй!» Стало-быть, и они нѣчто представляли себѣ: пожаръ, драку, вообще что-нибудь такое, на чѣ по преимуществу было направлено ихъ административное остроуміе. Впрочемъ, нужно сказать правду: во время диспутовъ кантонисты болѣею частью дремали.

Разсмотрѣніе современныхъ установлений началось съ того, что Гвоздиловъ сообщилъ вычитанный имъ въ газетахъ слухъ о томъ, что дѣйствія комиссіи несведенія концовъ съ концами въ непродолжительномъ времени имѣютъ вступить въ новый фазисъ. Высказавши это, Гвоздиловъ, однако-же, вспомнилъ, что у него на душѣ лежитъ постыдное дѣло, и умолкъ. Но искра была уже брошена и,

разумеется, сейчас же произвела въ сердцахъ соотвѣтствующее воспламененіе.

— Вотъ они у меня, эти комиссіи, гдѣ!—первый воскликнулъ генералъ Краснощековъ, ударяя себя кулакомъ по затылку.

Но Краснощековъ былъ пылкій, и потому мнѣнія его авторитетомъ не пользовались. Чернобрововъ первый не согласился съ нимъ.

— Не въ комиссіяхъ сила,—возразилъ онъ резонно:—а въ томъ, какія комиссіи, въ какое время и на какой предметъ. Кто суть члены? Своевременно или преждевременно? Поставленъ ли вопросъ прямо: вотъ вамъ предметъ, разсуджайте!—или же о предметѣ умолчено? Ежели все сіе предусмотрѣно, взвѣшено и опредѣлено, то почему же комиссіямъ и не быть?

— Да ужъ дождемся мы когда-нибудь съ этими комиссіями...—продолжалъ кипѣть генералъ Краснощековъ; но Чернобрововъ вновь и столь же солидно остановилъ его.

— Позвольте, Капитонъ Федотычъ, такъ сгоряча нельзя. Критической взглѣдь необходимъ, но на какой предметъ и въ какое время? Сегодня мы будемъ говорить сгоряча, завтра сгоряча—когда-же-нибудь и опомниться надо! И въ наше время иерѣкъ бывали комиссіи—вспомните-ка! Но какія комиссіи?—въ этомъ-то и загвоздка. Скажу вамъ изъ собственной практики случай: я самъ въ одной комиссіи участникомъ былъ и очень хорошо помню. Собрали насъ въ ту пору сорокъ семь полковниковъ, положили передъ нами два пистолета; одинъ кремневый, другой ударный—который лучше, господа? Не вопросъ о пистолетахъ предложили, а прямо такъ-таки въ натуральномъ видѣ два пистолета: тотъ или другой? А при семъ особаго содержанія за присутствованіе не присвоили, чаемъ не поили, табакомъ не потчивали, а посадили старого генерала презусомъ и сказали: «сидите и дѣло дѣлайте». Такъ и тутъ одній молодой полковникъ выскакалъ, который чуть-было всѣхъ насъ не подкузьмилъ. «Позвольте, говорить, ваше превосходительство, взглѣдь на славное историческое прошлое бросить!»—Извольте, говорить презусъ.—«Извѣстный законодатель Ликургъ...»—Те-те-те! нѣтъ, это ужъ атанде-сы!.. вотъ вамъ пистолетъ...—«Ваше превосходительство! только на минуточку!»—Извольте, чтѣ съ вами дѣлать! Говорите, но не задерживайтѣ!—«Затѣмъ, когда несмѣтная полчища татарь...»—Позвольте, объ татарахъ мы съ вами надосугъ

побесѣдуетъ, а теперь извольте говорить по долгому присяги, не обинуясь: вотъ два пистолета—который лучше?—«Вотъ этотъ-съ».—Садитесь. Слѣдующій!—И всѣхъ такимъ образомъ въ одночасье окрутилъ.—Слѣдующій, слѣдующій, слѣдующій!.. Считайте, господинъ секретарь, голоса!—Стали считать—никакъ сосчитать не могутъ: все выходить поровну. А презусъ, между прочимъ, своего голоса не подаетъ.—Не хочу, говорить, грѣха на душу браты! А вотъ, говорить, мы что сдѣлаемъ: позвать фельдфебеля Охременко!—Охременко, какой пистолетъ лучше?—«Какъ же возможно, вашескородіе, сравнить!»—Господинъ секретарь, извольте записать въ журналъ: вотъ этотъ!—Написали журналъ, мы въ тотъ же день его подписали, на другой откланились—и по домамъ!

— Да, были комиссии, были!—согласился генераль Краснощековъ:— и комиссии были, и исправники были... все было! И страхъ быть.

Къ сожалѣнію, Чернобрововъ увлекся воспоминаніями и продолжалъ:

— И что же, сударь, потомъ случилось! Пошли мы съ этими пистолетами подъ Севастополь—смотримъ, а намъ комиссариатъ, вмѣсто кремней, чурки крашеные поставилъ! А должно вамъ сказать, что передъ этимъ всѣ адресы подавали, а между прочимъ и комиссариатскіе чиновники... «Станемъ грудью... докажемъ врагу... до послѣдней капли крови...» Ну, мы идемъ и думаемъ: неужто-жъ послѣ такого, можно сказать, всенароднаго заявленія съ нами подлость сдѣлаютъ? Начали палить—щелкаютъ наши курки, а пальбы пѣть! Тутъ-то вотъ и оказалось...

Только тутъ Чернобрововъ спохватился, что, кажется, черезъ край ужъ хватилъ. Съ минуту смотрѣль на всѣхъ удивленными глазами, какъ бы спрашивая самого себя: что такое я слышу? Однако помолчаль-помолчаль и поправился.

— Вотъ и выходить,—заключилъ онъ:—не въ томъ сила, что комиссія, а въ томъ, какая комиссія и на какой предметъ!

— То-то, что нынче комиссіи-то...—началь-было Гвоздиловъ, но вспомнилъ, что у него на душѣ постыдное дѣло, обробѣль и умолкъ.

— Знаю я это и не одобряю. Конечно, если-бъ и передъ нами не положили прямо вотъ этихъ двухъ пистолетовъ, а сказали: разсуждайте о пистолетахъ вообще, а

между прочимъ и о тесакахъ,—весьма возможно, что и мы бы изрядный отгородъ нагородили. Но именно этого-то и умѣли въ старые годы избѣгнуть. Ежели рѣчь о пистолетахъ шла, такъ именно вотъ обѣ *этихъ*; ежели обѣ административныхъ предметахъ—такъ вотъ обѣ *этихъ*. Вотъ какъ. Но, разумѣется, ежели каждый членъ комиссіи, пользуясь симъ случаемъ, будетъ о своихъ собственныхъ душевныхъ раинахъ говорить,—а именно симъ личнымъ характеромъ и отличаются нынѣшнія комиссіи,—то понятно, что конца-краю разговорамъ не будетъ!

— Я слышалъ,—сфискалилъ Набрюшникова:—что недавно въ этой самой комиссіи одинъ членъ говорилъ-говорилъ, а остановиться не можетъ. Наконецъ до того договорился, что даже Анна на шеѣ у него покраснѣла. Смотрать—ань съ нимъ истерика!

— Это дѣло возможное,—подтвердилъ Чернобрововъ:—а я обѣ чѣмъ же говорю? О томъ именно я и говорю, что ежели комиссія, то нужно прежде всего опредѣлить: для чего, по какому случаю и на какой предметъ. Вотъ вамъ два пистолета—и конченъ балъ. И чтобы безъ статистики. Вы только одно сообразите: нынче иной шутя слово кинеть, да возьметъ да статистикой его пригвоздить: свиней столько-то, бараповъ столько-то. Статистику-то эту онъ самъ, будучи дорогой, сочинитъ, а смотришь—и настоящую статистику потревожить нужно, чтобы слова-то эти къ настоящему знаменателю привести. Пріѣдетъ онъ изъ Чухломы—готовъ для него одну статистику. А тамъ, гляди, изъ Наровчата другой будеть—и для него опять готовъ статистику. А статистика-то вѣдь времени требуетъ, поди-ка надѣйней посиди! А ему чтѣ! Онъ кидаетъ себѣ да кидаетъ словами, и очень радъ.

— Я бы, съ своей стороны, со всѣми этими комиссіями строго поступиль,—отозвался умный Покатиловъ:—разсадилъ ихъ по комнатамъ, содержаніе прекратиль, заперь на ключъ да и ушелъ. Вотъ вамъ, сидите, покуда не кончате.

— И кончили бы!—сочувственно откликнулся Набрюшниковъ.

— Направляй кишку, направляй!—вдругъ безъ всякихъ резона крикнулъ Пучеглазовъ, такъ что всѣ вздрогнули.

— А я обѣ чѣмъ же говорю?—возобновилъ сѣбесѣданіе Чернобрововъ, когда первое впечатлѣніе испуга про-

шло.—Объясните предметъ, говорю я, и очертите кругъ (генераль очертилъ пальцемъ на скатерти кругъ); вотъ здѣсь, и чтобы за предѣлы этого круга—ни-ни! Или *тотъ* пистолеть, или *этотъ*, а не пистолеты вообще. И при семъ чтобы въ срокъ. Кончите въ срокъ—исполать! Не кончите—стыдно, сударь! Въ старину такъ оно и бывало. Скажутъ: стыдно—и понимаешь, что стыдно. А нынче слово-то это въ забвѣніе пришло; скажутъ ему, а онъ только кудрями встряхнетъ.

— И прежде—не всегда...—чуть-чуть не проговорился Гвоздиловъ, но вспомнилъ и замолчалъ.

— Многаго нынче не понимаютъ, многаго!—прогнѣвался Краснощековъ:—я помню, когда я губернаторомъ былъ, такъ за версту, бывало, становому погрозишь, а опь уже понимаетъ! Тридцать верстъ не кормя во всѣ лопатки улепетываетъ, и все не можетъ пальца этого позабыть!

— То было время, а теперь другое,—резонно пояснилъ умный Покатиловъ.

— Какое такое особенное время? И тогда было время, и теперь время—всѣ времена одинаковы!

— Ну, чтѣ ужъ тутъ, другъ мой!—вступилъ Чернобрововъ:—чтоѣ правда, то правда! Темпо... Темро... Набрюшниковъ! скажи, братецъ!

— *Tempora mutantur, vane превосходительство, et post mutantur in illis.*

— Слышишь, мой другъ! А по-русски это значить: капельмейстеръ другой темпъ взялъ, и мы по-другому воспѣвали... Чѣ дѣлать! Когда мы у кормила стояли, губернаторская-то власть...

Чернобрововъ вздохнулъ и умолкъ; но сдѣланное имъ напоминаніе уронило новую искру въ сердца и причинило новое воспламененіе. На арену выдвинулась новая неизбывная рана—въ формѣ вопроса о губернаторской власти.

Всѣ помнятъ, какъ волновалъ этотъ вопросъ русское общество въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ. Теперь онъ нѣсколько поутихъ; но тогда образовалась цѣлая публицистическая доктрина, которая называла себя послѣднимъ словомъ науки и которая безъ обиняковъ вопіяла: дадутъ губернаторамъ власть (почему-то вдругъ всѣмъ показалось, что это самыя беззащитныя существа)—и все процвѣтѣтъ; не дадутъ—и все завянетъ.

Если не дадут—произойдет бесплодная и изсушающая централизация; если дадут—произойдет умъренная, но плодотворная децентрализация. Чѣм лучше?

Взгляните на Соединенные Сѣверо-Американскіе Штаты—примѣръ наиболѣе для насъ подходящий. А съ другой стороны примите въ соображеніе пагубные результаты, которые произвѣло ограниченіе губернаторской власти во Франціи. Самъ Наполеонъ III понялъ это. А Токевиль подтвердилъ, Монталамберъ присовокупилъ и Гнейсть запечатлѣлъ. Что касается до губернаторовъ того времени, то о нихъ и говорить нечего: всѣ они въ одинъ голосъ утверждали, что Токевиль правъ. Не помню, чѣмъ именно я лично тогда обѣ этомъ вопросѣ думалъ—кажется, впрочемъ, на двое: и такъ хорошо, и этакъ недурно, смотря по тому, какъ лучше; но во всякомъ случаѣ внезапное возобновленіе забытыхъ дебатовъ на Пескахъ, въ ночную пору и въ此刻ь описанной обстановкѣ, до того живо воскресило въ моей памяти недавнее прошлое, что я въ одну минуту по-молодѣлъ и весь превратился въ слухъ. Какъ и слѣдовало ожидать, застѣльщикомъ въ данномъ случаѣ явился «умница» Покатиловъ.

— Въ наше время,—сказалъ онъ:—губернаторская власть стояла твердо, но въ то же время была свободна отъ нареканій, ибо находилась въ предѣлахъ и требовала осмотрительности.

Сказаль и умолкъ. И всѣ присутствующіе, не исключая даже кантонистовъ, утвердительно покачали головами, какъ будто для нихъ быть осмотрительными столь же легко, какъ для обыкновеннаго обывателя быть твердымъ въ бѣдствіяхъ.

Но на меня эта *profession de foi* произвѣла удручающее впечатлѣніе. Признаюсь откровенно, съ нѣкоторыхъ поръ я смотрю на твердость власти совсѣмъ другими глазами.

Во-первыхъ, я не только не смѣшиваю власти съ осмотрительностью, но, напротивъ, вижу въ послѣдней нѣкоторое преткновеніе; во-вторыхъ, о предѣлахъ я даже и не мыслю—до такой степени самое упоминаніе о нихъ представляется мнѣ несвойственнымъ. И всѣмъ этимъ я обязанъ «послѣднему слову науки», выработанному современною русскою публицистикой.

Ступить на горы—горы дрожать,  
Ложетъ на воды—воды кипятъ.

Вотъ въ какомъ видѣ понимаетъ власть «послѣднее слово науки», и въ какомъ не перестаетъ рекомендовать ее русская публицистическая доктрина, начиная съ шестидесятыхъ годовъ. Послѣдняя совѣтуетъ, отъ времени до времени, даже не безъ умысла допускать извѣстную дозу неосмотрительности, дабы съ ея помощью осуществить твердость власти въ принципіальной ея чистотѣ. И я не только раздѣлять это убѣженіе, но вмѣстѣ съ Токевилемъ воскликалъ: катать такъ катать! По-американски: all right!

Несомнѣнно, что до-реформенная власть была обставлена очень серьезными усложненіями; но несомнѣнно и то, что усложненія эти не способствовали ея развитію, но составляли болѣе мѣсто, противъ котораго и протестовало послѣднее слово науки. И что-жъ! Именно въ пользу этихъ усложненій и раздалось здѣсь прочувствованное слово! Гдѣ раздалось? — въ средѣ одряхлѣвшихъ и обиженныхъ старцевъ, которые, по самой природѣ своей, скорѣе должны быть склонны къ упрощенію, нежели къ усложненію!

— Позвольте, ваше превосходительство,— обратился я къ Покатилову: — съ одной стороны, твердость власти, съ другой — предѣлы... осмотрительность... что-то я не понимаю! Такъ ли это? Не говорить ли намъ послѣднее слово науки, что осмотрительность равносильна колебанию, и что для освѣженія власти, отъ времени до времени, не бесполезно даже съ умысломъ выходить изъ предѣловъ осмотрительности?

— Напримѣрь-съ?

— Допустимъ, напримѣрь, что исправникъ, въ видахъ испытанія, предприметъ мѣропріятіе...

— Зачѣмъ-съ?

— Положимъ, хоть бы для того, чтобы доказать, что распоряженіе, даже и не вполнѣ законное, должно быть выполнено...

— Всенепремѣнно-съ. Ежели распоряженіе послѣдовало, то оно должно быть выполнено. Но зачѣмъ же непремѣнно незаконное? Почему не начать прямо съ «законнаго-съ»?

— Зачѣмъ? Почему? Да просто вздумалось, захотѣлось. Взять да и сдѣлать!

— Направляй кишку! направляй! — гаркнулъ спросонья Балаболкинъ (точно онъ слышалъ мои слова и хотѣлъ выразить мнѣ сочувствіе), но такъ громко, что съ Людмилой Ивановной сдѣлалось дурно.

— Ты бы, Фроль Терентьевич, потише бреди! Вѣдь этакъ не трудно и навѣкъ человѣка уродомъ сдѣлать!— вскинулся Краснощековъ на оторопѣлого кантониста и затѣмъ, обращаясь ко мнѣ, прибавилъ:— Есть въ вашихъ сло-вахъ искоторое основаніе, молодой человѣкъ, есть!

— Твердость власти и осмотрительность!— продолжалъ я, поощренный сочувствіемъ Краснощекова:— но ежели я, облеченный властью, не обладаю осмотрительностью, скажи природа не надѣлила меня этимъ даромъ? Ежели, напротивъ, она надѣлила меня рыцарскою пылкостью и способностью следовать первымъ необдуманнымъ движеніямъ благороднаго сердца? Ужели я изъ-за этого навсегда долженъ быть лишенъ возможности осуществить власть?

— На это я могу вамъ, молодой человѣкъ, сказать слѣдующее: въ наше время даже лишенный осмотрительности человѣкъ силою вещей становился осмотрительнымъ, или, по крайней мѣрѣ, вынужденъ былъ неосмотрительности своей давать другое назначеніе. Да-съ.

И видя, что лицо мое продолжаетъ выражать недоумѣніе, умница поднялъ кверху указательный палецъ и продолжалъ:

— Обстановка была—только и всего.

И затѣмъ началъ по пальцамъ пересчитывать.

— Губернскій прокуроръ былъ—разъ-съ; губернскій штабъ-офицеръ былъ—два-съ. Вотъ вамъ, съ первого же аблуга, два лица, у которыхъ и обязанностей другихъ не было, кромѣ одной: неослабно имѣть въ виду начальственную неосмотрительность.

— Вспомните, однако, ваше превосходительство, что вѣдь, въ сущности, это былъ лишь источникъ пререканій, который и начальство не мало огорчалъ!

— Дѣйствительно-съ. Имѣнио такъ эти дѣйствія и назывались. Но въ наше время словъ не боялись, ибо всякому было вѣдомо, что за пререканіями скрывается власть, сама себя провѣряющая. Если-бъ не существовало пререканій, какое зрѣлище представилось бы глазамъ нашимъ? Не знаю, какъ вы на этотъ предметъ смотрите, но я весьма опасаюсь, что мы увидѣли бы пространство, отданное въ распоряженіе неосмотрительному человѣку, который ни самъ себя сдержать не въ силахъ, ни обстановки подъ руками не имѣть, которая благовременно его въ чувство привести бы могла!

— И сколько мы видимъ примѣровъ...— началъ-было На-

брюшниковъ, который, въ качествѣ доброго подчиненнаго, до сихъ порь преимущественно помахиваніями головы свидѣтельствовалъ о своемъ сочувствіи, но теперь, очевидно, не могъ уже сдерживать постигшаго его умиленія.

— Я не вижу даже надобности скрывать, что я и на самомъ себѣ эти примѣры испыталъ,—прерваль его Покатиловъ.—Расскажу вамъ, какой однажды со мной случай былъ. Задумала моя Лукерья Ивановна никникъ въ загородной рощѣ устроить. Прекрасно. Выдумали они тамъ дороги какія-то необыкновенные, чтобы полгорода на нихъ усадить: и натурально ко мнѣ: позволь да позволь въ эти дороги пожарныхъ лошадей запречь! Я—туда-сюда; однако переговорилъ съ полицеймейстеромъ; тотъ, съ своей стороны, обнадежилъ,—бери, матушка! А на другой день ко мнѣ штабъ-офицерь: «но ежели, говорить, пожаръ?» Я опять туда-сюда; и полицеймейстера за бока, и почему же, говорю, такъ-таки ужъ непремѣнно и пожаръ?—а онъ уперся на свое: «но ежели, говорятъ, пожаръ?» И что же-сть! подосадовалъ я, признаться, однако вижу: полковникъ-то вѣдь и правъ! Протянуль ему руку и говорю: благодарю, полковникъ! если-бы не вы, я, быть-можеть, противъ закона бы поступилъ! Позвольте васъ спросить: такъ ли мнѣ следовало, на основаніи «послѣдняго слова науки», поступить?

— По моему мнѣнію, на основаніи послѣдняго слова науки, полковнику никогда бы и въ голову не пришло настаивать въ такомъ дѣлѣ, которое самъ лучше извѣстно.

— И я полагаю, что по нынѣшнему времени онъ бы не настаивалъ. Но въ старые годы такъ не полагали; а если-бы полагали иначе, такъ управляемымъ и дѣваться, пожалуй, было бы некуда. А въ скоромъ времени послѣ того и другой казусъ со мной случился. Открывалась въ городѣ вакансія частнаго пристава, а меня кума давно ужъ о мѣстѣ для мужа просила. Вотъ я и говорю ей: съ Богомъ, кума! А на другой день ко мнѣ прокуроръ прикатиль. «Это, говорить, духовная симонія! Я, говорить, обязанъ буду до-пести!» Ну, и тутъ опять: подосадовалъ я подосадовалъ, да и долженъ быть согласиться, что прокуроръ правъ! Какъ объ этомъ новая наука-то ваша говоритъ?

Я хотѣлъ отвѣтить, что такія дѣйствія наука называетъ расхищеніемъ власти; но величие покатиловской души до того подавило меня, что я безмолвствовалъ.

— А я вамъ скажу, какъ она говорить,—продолжалъ

неумолимый старикъ:—она видить въ таковыхъ поступкахъ противодѣйствіе... А наша, стариная наука видѣла въ нихъ содѣйствіе и лицъ, на которыхъ это содѣйствіе было возложено, именовала «надзоромъ». Да-съ, было такое слово въ старину, которое нынѣ даже у старожиловъ изъ памяти исчезло. И начальство, съ своей стороны, ежели и огорчалось, какъ вы говорите, пререканіями, то огорчались больше столоначальники, коимъ приходилось таковыя разрѣшать; настоящее же начальство, напротивъ, радовалось, ибо знало, что ежели власть въ соотвѣтственномъ видѣ проявлять себя желаетъ, то надзоромъ за подчиненными ей органами она не подрывается, а укрѣпляетъ себя. Можетъ-быть, это укрѣпленіе устроено было на стариинный манеръ, но все-таки оно существовало, и никому въ голову не приходило сказать, что оно не укрѣпленіе, а потрясеніе. Позвольте спросить: что, ежели бы я, воспользовавшись послѣднимъ словомъ науки, побѣхъ на пожарныхъ лошадяхъ на пикникъ, а у меня бы въ это время полгорода огнемъ бы выдрало? Или если бы я, по слабости человѣческой, губернію кумѣ предоставилъ, а она, въ свою очередь, прочимъ кумовьямъ ее раздарила? Уѣшательный ли бы получился отъ сего для начальства результатъ?

Вопроſъ былъ поставленъ такъ рѣшительно, что даже кантонисты испугались и вытаращили глаза, а генераль Краснощековъ, который въ свое время, вѣроятно, не разъ отдавалъ губернію на поддержаніе кумѣ, смущился и молчалъ. Что касается до Набрюшникова, то онъ находился въ такомъ восхищеніи, что безъ словъ декламировалъ руками.

— Но вѣдь несомнѣнно, что подобныя дѣйствія, рано или поздно, и сами собой вышли бы наружу,—попытался я возразить.

— Сами собой-съ? или, говоря другими словами, при помощи скандала-съ? Черезъ посредство газетныхъ корреспондентовъ-съ? Покорѣйше благодарю-съ.

Умница привсталъ и поклонился; за нимъ, машинально, тотъ же жестъ повторилъ и Набрюшниковъ.

— Но разѣ неизѣнно необходимъ скандалъ? а кѣлько?

— Нельзя-съ. Коль скоро обстановка нарушена, и некому, въ законномъ порядкѣ, начальственную неосмотрительность ограничить, другого выхода, кроме скандала, неѣть-съ. Да въ наше время, признаться, келейностей-то и не признавали. Открыто дѣйствовали, не опасались. Въ со-

рокъ седьмомъ году, когда Фроль Терентьевичь Балаболкинъ, по неосмотрительности, три четверти города спалилъ, а остальную четверть, по строптивости характера, въ кандалы заковалъ, прислали за нимъ изъ Петербурга фельдъегеря, посадили въ телѣжку и увезли-сь.

Всѣ взоры на минуту устремились на Балаболкина, который, не подозрѣвая, что о немъ идетъ рѣчь, тяжело сопѣлъ и въ полуудрепотѣ бормоталъ:—Направляй кишку! направляй! направляй!

Лицо его было блѣдно, какъ бы измучено, и въ то же время выражало совсѣмъ нерезонную непреклонность. Съ первого взгляда по этому лицу нельзя было угадать, что именно этотъ человѣкъ въ состояніи предпринять, но ежели скажутъ—всему повѣрить можно. Что касается до меня, то въ свое время я слыхалъ разсказы объ этомъ путешествіи на телѣжкѣ, но, признаюсь, считалъ ихъ баснословіемъ. И вдругъ Богъ привѣлъ встрѣтиться лицомъ къ лицу съ самимъ виновникомъ торжества!

А «умница» между тѣмъ продолжалъ:

— А какъ вы о губернскихъ правленіяхъ полагаете? Легко было съ ними ладить? Развѣ тѣ они были, чтѣ теперь? Развѣ могъ я совсѣмъ помыкать: извольте, государь мой, подавать въ отставку; мы мнѣ не нравитесь, вы съ дамами обращаться не умѣете? Въ наше время, сударь, у совсѣмъ-то поясница желѣзная была, голось какъ у протодьякона; весь онъ, бывало, пропитанный сводомъ законовъ ходить, и у всѣхъ, на обѣдѣ ли, на вечеринкѣ ли,—вездѣ первый гость. И у преосвященнаго—свой человѣкъ. У меня одинъ такой-то былъ, такъ я каждый день съ нимъ до седьмого пота спорилъ. Я говорю свое, а онъ—свое; иногда я его, иногда — онъ меня. Непрѣятно оно — чтѣ и говорить! — но, съ другой стороны, и тутъ для начальствующаго лица провѣрка. Пробовалъ-было я, на первыхъ порахъ, начальству докучать: возьмите, говорю, отъ меня сего строптиваго чиновника,—а мнѣ въ отвѣтъ: «не угодно ли, предварительно, факты таковой строптивости представить!» Факты-сь! вотъ вѣдь какое слово было, а нынче и выговорить-то его порядкомъ не всякий сумѣетъ!

— Но вѣдь они взятки брали, совсѣмъ ваши! Кому же это, наконецъ, не известно!

— Не отрицаю, дѣло возможное-сь. Только скажу вамъ одно: если бы люди съ такимъ умомъ и съ такими познаніями жили въ нынѣшнее время, то, судя по нынѣшней

жадности, миллионерами бы они были — воть что-сь! А я между тѣмъ изъ современниковъ моихъ только одного совѣтника губернскаго правленія и зналъ, который настоящее состояніе себѣ составилъ. Да и тогъ впослѣдствіи въ монахи постригся, а капиталы свои на Аоонъ пожертвовалъ.

— И все-таки позволяю себѣ думать, что относительно фактовъ можно было бы и поснисходительнѣе взглянуть. Вѣдь губернское правленіе — это, такъ сказать, домашнее учрежденіе, въ которомъ и допустить разноголосицу неудобно. А притомъ же совѣтника — то вѣдь подчиненные вышибли...

— Да вы читали ли, молодой человѣкъ, «Учрежденіе губернскихъ правленій»? Прочтите-сь. Это не законъ, а музыка-сь. Никакихъ домашнихъ учрежденій въ государствѣ не полагается-сь. И учрежденія, и формы — все пригнано такъ, чтобы предѣлы обозначить. И совѣтники совсѣмъ не подчиненные были, а члены коллегіи-сь. Бывало, принесутъ журналы-то губернскаго правленія, такъ въ иномъ пальца три толщины, и всякий обѣ особенномъ дѣлѣ трактуется! И весь онъ задомъ напередъ написанъ, сперва конецъ, потомъ начало, а середину — самъ ищи! Читаешь — и постепенно тебя объемлетъ. А въ заключеніе: подтвердишь.

— И подтверждали-сь! — весь сіяя восторгомъ, воскликнулъ Набрюшиновъ.

— А затѣмъ и постороннія вѣдомства. Нынѣшняя наука въ нихъ препятствіе видѣть, а старая видѣла полезное раздѣленіе властей. И это, въ свою очередь, предѣлы полагало. Я полагаю воть такъ поступить, а, напримѣръ, вѣдомство государственныхъ имуществъ — воть этакъ. Мы и переписываемся.

— Воля ваша, а это положительно расхищеніе власти!

— По-нынѣшнему — такъ. Даже страннымъ кажется, ежели кто возражаетъ. А въ старину требовалось, чтобы власть сама себя оправдывала, а не ради того одного властѣю называлась, что ей мундиръ присвоенъ. Мундиръ давалъ виѣшнія преимущества — этого и достаточно. Бывало, у обѣдни въ соборѣ — я впереди всѣхъ стою; у головы на широкѣ — мнѣ первый кусокъ; на балѣ въ польскомъ — я съ предводительшей въ первой парѣ; въ засѣданіи комитета — я на предсѣдательскомъ мѣстѣ; по губерніи на ревизію побѣхаль — отъ границы до границы уѣзда впереди исправникъ скачетъ; въ уѣздный городъ прїхаль — купцы хлѣбъ-солъ подносятъ; уѣзжать собрался — прово-

жаютъ... Польщень, уваженъ, почтенъ, сыгъ—какихъ еще знаковъ больше!

При этомъ краткомъ перечинѣ почестей, которыми окружена была до-реформенная губернаторская власть, у всѣхъ стариковъ глаза разгорѣлись. Даже Гвоздиловъ позабылъ, что у него на душѣ постыдное дѣло лежало, и щелкнулъ языкомъ.

— А то, помилуйте, мундиръ во всей силѣ остался, а обстановка—упразднена!

— Ваше превосходительство! но развѣ можно такъ рѣшительно утверждать, что обстановка упразднена? А суды? а земство? Развѣ это...

— Знаю-сь; но вѣдь послѣднее слово науки и въ этихъ учрежденіяхъ расхищеніе власти усматривается. Я же, съ своей стороны, скажу вамъ: суды и прежде, и нынче — всегда судами были. Всегда они особнякомъ стояли, а ежели послѣднее слово науки и дразнится независимостью, такъ это, во-первыхъ, одно пустословіе, а во-вторыхъ, къ вопросу о прерогативахъ власти совсѣмъ не относится. И прежде выберутъ, бывало, отставного пропора въ предсѣдатели — смыслу въ немъ ни капельки, а попробуй-ка кто-нибудь коснуться къ нему! Что же касается земства, то развѣ наука ваша принимаетъ его въ суръезъ? И тутъ она только дразнится и малодушествуетъ. Ахъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ! нынче даже сенатъ—и тотъ предостерегающее значеніе утратилъ... Сенать-сь!

При упоминовеніи о сенатѣ въ комнатѣ водворилась такая тишина, что даже лакей, убиравшій со стола тарелки, и тотъ остановился какъ вкопанный. Первый нарушилъ очарованіе Набрюшниковъ, но и то шепотомъ, единственно по чувству преданности.

— Нынче даже радуются, ежели сенатъ огорченъ,—шепнуль онъ сосѣду своему, Купидонову.

— Все упразднено-сь, — заключилъ Покатиловъ слабѣющімъ голосомъ:—«надзоръ»—упраздненъ-сь; коллегія—упразднена-сь; а чтѣ вновь установлено, то въ смѣшномъ и вредномъ видѣ представляется...

«Умница» махнулъ рукою и умолкъ. На его мѣсто, въ роли обличителя, выступилъ генералъ Чернобрововъ.

— Сенатъ-сь, — сказалъ онъ: — а особенно московскіе онаго департаменты... Это я вамъ доложу, въ своеѣ родѣ, антикъ былъ! Указы-то, бывало, охапками съ почты таскаютъ, такъ что ежели посторонній человѣкъ при этомъ

случится, такъ только руками разведеть: неужели, моль, на всю эту охапку отвѣтить надо? А тамъ, спустя время, пойдуть и донесенія на охапку: «зачѣмъ, по присланному изъ сената указу, исполненія учинить невозможно». Принесутъ, бывало, изъ губернскаго правленія охапку рапортовъ — иной въ палецъ толщины — такъ только обѣ одномъ думаешь: все ли тутъ откровено написано? И ежели чутъ гдѣ замѣтишь: «къ сему необходимо присовокупить», или вообще умствованіе какое-нибудь, — «те-те-те, голубчикъ! прошу отъ умствованій уволить! сенатъ и самъ разбереть, чтѣ худо, чтѣ хорошо, — нечего его наводить!» Вотъ, мой другъ, какіе мы, старики, чувства къ сенату питали!

— Всякій, бывало, ябедникъ, и тотъ въ сенатъ, — заикнулся-было Гвоздиловъ, но вспомнилъ, что у него на душѣ постыдное дѣло лежитъ, и замолчалъ.

— И ябедники свою долю пользы приносили-сь! — ходило замѣтиль ему Покатиловъ.

— Ябедники! Но вѣдь это язва! — воскликнулъ я.

— И они предѣль полагали-сь.

Я быль побѣжденъ. Какой, однако-жъ, изумительный механизмъ! сколько гарантій! Губернаторскій прокуроръ — разъ, губернскій штабъ-офицеръ — два, губернское правленіе — три, постороннія вѣдомства (въ томъ числѣ и начальникъ земской конюшни) — четыре, почтмейстеръ — пять, ябедники — шесть. И въ облакахъ — сенатъ... московскіе онаго департаменты!

И никто не жаловался, что много, никто не кричалъ: ка-раулъ! власть расхищаются! Вотъ бы хоть чуточку пожить!

Правда, что передъ моими глазами сидѣли такіе два экземпляра минувшихъ дней, которые не весьма свидѣтельствовали въ пользу устойчивости гарантій, а именно: Балаболкинъ и Пучеглазовъ (а очень вѣроятно — и Гвоздиловъ съ Краснощековымъ); но вѣдь зато Балаболкинъ и проѣхался съ жандармомъ въ телѣжкѣ. Что же касается до Пучеглазова, то онъ и до сихъ поръ хорошенъко не знаетъ, какимъ образомъ онъ губернаторства лишился. Догадывается только, что, должно-быть, правитель канцеляріи подсунулъ ему прошеніе обѣ отставкѣ подписать, а его и уволили. Такъ вѣдь и это своего рода гарантія. Кабы дать Пучеглазову волю, какъ этого требуетъ послѣднее слово науки, такъ онъ, чего доброго, всю бы губернію сквозь строй про-гналь, а правитель канцеляріи понять это и предупредилъ.

Было двѣнадцать, но никому и въ голову не приходило,

что это часть привидѣній. Напротивъ, всѣ продолжали сидѣть за столомъ, совсѣмъ каѣтъ бы живые. Но если-бъ не крикнуль въ эту минуту на сосѣднемъ дворѣ пѣтухъ—конечно, нельзя поручиться, какое превращеніе могло бы произойти!

Однако все обошлось благополучно, и любезный хозяинъ первый ободрилъ наасъ, подновивъ потухающую бесѣду разсужденіями на тему распорядительности.

— Вотъ вы сейчасъ о предѣлахъ слышали, — сказалъ онъ: — но не думайте, что ежели кто предѣль исполнить, тотъ ужъ освобождался отъ распорядительности. Требовалось, чтобы губернаторъ и въ предѣлахъ оставался, и въ то же время хозяиномъ во всей губерніи быть, чтобы вездѣ самъ. Дорогу березками обсадить, пожарную трубу вычищать, новый шрифтъ для губернской типографіи пріобрѣсти, мостовыя въ городѣ исправить, бульваръ устроить, фонари на улицахъ завести—вотъ задачи, которыя въ старину каждый начальникъ губерніи обязанъ быть выполнить. А затѣмъ и все остальное. Условился я, напримѣръ, съ начальникомъ земской конюшни, чтобы по всей губерніи лошади у крестьянъ были саврасыя, — и выполнилъ. И не мѣрами строгости и понужденія я результатовъ достигъ, а единственno съ помощью распорядительности. И такъ эта масть у насъ прижилась, что послѣ того, сколько ни старались созданіе мое разрушить, а и теперь еще въ захолустьяхъ крѣпкая саврасая порода сердце поселянина радуетъ!

— Его превосходительство изволили московскій трактъ березками усадить,—присовокупилъ Набрюшниковъ, почти тепло указывая на Покатилова:—а послѣ нихъ приказали эти березки рубить. И что же-сь! даже посейчасъ въ иномъ мѣстѣ березка цѣлехонька стоитъ!

— Такъ вотъ что значить, мой другъ, распорядительность! — обратился ко мнѣ Чернобрововъ:—только разъ ее стоять проявить, такъ потомъ вѣка невѣжества пройдутъ, но и тѣ плоды ея вполнѣ истребить не могутъ! Хоть одна березка, а все-таки останется.

— И просвѣщеніе, и продовольствіе, и народная нравственность, и холера, и сибирская язва, и оспа — въ одной горсти было! — вторилъ Чернобровову Набрюшниковъ.

— И на все хватало времени. А нынче куда все это дѣвалось? Говорятъ: отошло... но куда?

— Да туда же, куда и все прочие: измбромъ изныло! —  
несколько раздраженно откликнулся Покатиловъ.

Вопреки всѣмъ глубокомъ скрбивомъ молчанію, до вратъ переполненное вздохами, Прасковья Ивановна потихоньку встала и отворила дверь гостиной комната фортепиано.

— Ваше превосходительство! ведь вы такую картину современности нарисовали, что трудно даже представить, какъ люди жить могутъ! — обратился я къ Покатилову.

— Развѣ жизнь отъ неѣ зависитъ-сь? Предоставлено искать жить — и живеть-сь.

Эти странныя слова еще больше усилили общее уныніе. А тутъ еще и Краснощекова подбила.

— Бывало, я ходу по губерніи — и понимаю! — воскликнула она, трояя очами: — и себя самото, и другихъ — все понимаю! Направо посмотрю и палько посмотрю — вижу-сь! Чуть скажу чѣмъ — стой! вылько изъ окна пажа и распоряжусь-сь! А мнѣ «вонь» чѣмъ? Погудъ отъ себя и чувствують, покуда изъ квартиръ до вокзала желѣзной дороги, облягомъ бѣянный, бѣдетъ! Пріѣхать, сѣть на вагонъ — чѣмъ «вонь» такой? — вѣдь-сь. Всегда то, какъ и всякую прошую глядѣ, и куда ведутъ — отъ не знаетъ! Силу вара остановить не можешь, рельсы съ дороги снять — не можешь привалъ! Задний ходъ дать — не умѣешь! А скажи на стоянкѣ шумѣть начнешь — сейчасъ протоколь. И пойдутъ передъ вѣмъ честинамъ народомъ разбирать, въ какой силѣ отъ шумъ производили «при исполненіи» или просто въ качестве разочаровщика. Срамъ-сь.

— Направляй вишку! — измыль во снѣ Балаболкинъ и въ то же время тѣкъ сильно покачнулся вбокъ, что едва не свалился со стула.

Это была послѣдняя вспышка; приближался процессъ старческаго разложения. У венчакта что-нибудь затосковало. У Чернобровова — нога, у Покатилова — лопатка, у Краснощекова — поясница. Всѣ чувствовали потребность натереться на ночь масличкомъ и надѣть на голову колпакъ. Даже дамы не безъ умѣла любопытствовали, какое сегодня число?

Увидѣ предо мною приподняться было лишь край таинственной завѣси, скрывавшей прошлое. Собственно говоря, я получилъ болѣе или менѣе ясное представление только о «предѣлахъ»; о творческой же дѣятельности до-реформенныхъ Губернаторовъ я зналъ только одно: что они могли распространить савраскую масть. Но какъ они относились

къ сокровищамъ, въ пѣдрахъ земли скрывающимся? Какъ понимали вопросъ о движениіи народонаселенія? Одобряли ли заведеніе фаланстеровъ, доставляли ли въ срокъ свѣдѣнія, необходимыя для изданія академическаго календаря, и въ какомъ смыслѣ: тенденціозныя или наивныя? Признавали ли пользу травосѣянія, вѣрили ли въ чудеса, или считали ония лишь полезнымъ мѣропріятіемъ въ видахъ обузданія простолюдиновъ? Находили ли достаточную существующую астрономическую систему, или полагали ону, для пользы службы, отмѣнить? Провидѣли ли гессенскую муху, сусликовъ, кузьку, скопинскій банкъ, саранчу? Какими идеалами руководились при опредѣленіяхъ, увольненіяхъ и перемѣщеніяхъ?—Вотъ сколько вопросовъ разомъ пронеслось передо мной, и всѣ они остались такою же загадкой, какъ и въ то утро, когда генераль Чернобрововъ благосклонно почтилъ меня приглашеніемъ.

По примѣру прочихъ, я уже собрался встать, какъ встрѣтилъ устремленный на меня взоръ Купидонова, который какъ бы говорилъ: такъ неужто же отъ меня и научиться ужъ нечemu?

— Можетъ-быть, и вы имѣете что-нибудь сказать, полковникъ?—обратился я къ нему.

— Немногое,—отвѣтилъ онъ:—но тоже въ своеемъ родѣ... Первые мостки черезъ Неву я еще при блаженной памяти Александрѣ I устраивалъ и затѣмъ ежегодно весною и осенью, въ теченіе тридцати лѣтъ, несъ на себѣ эту обязанность. И сошлюсь на всѣхъ: каковы были до-реформенные мостки и каковы пынѣшніе! Только и всего.

Онъ простеръ руку и щелкнулъ языкомъ. Но уже врядъ ли это изъ стариковъ порядкомъ слышалъ его слова. Только Прасковья Ивановна слегка плеснула руками, но и то, по правдѣ сказать, больше въ знакъ благодарности за проѣзженную бѣлорыбницу, которую Купидоновъ въ этотъ вечеръ для закуски доставилъ.

Черезъ пять минутъ я былъ уже дома. Въ душѣ у меня была музыка, такъ что когда кухарка, вся заспанная, отворила мнѣ дверь, то первыя мои слова, обращенные къ ней, были:

— Ахъ, Мавра, Мавра! ты спиши, а того и не подозрѣашь, что я весь вечеръ сегодня провелъ... съ утѣшѣемъ сената.

## Письмо седьмое.

И что же на другой день оказалось!

Что весь вчерашний вечеръ я провелъ среди членовъ тайного общества «Антиреформенныхъ Бунтарей»!

Покатилось—глава и основатель общества; Краснощековъ—человѣкъ судьбы, долженствующій, въ случаѣ надобности, выѣхать на бѣломъ конѣ; Пучеглазовъ—правая рука Балаболкинъ—левая; Набрюшниковъ—вѣстникъ; Гвоздиловъ—предатель. Словомъ сказать—вся обстановка, не исключая и дамъ, на которыхъ возложено щипаніе корпіи и приготовленіе бинтовъ.

Какъ однако-жъ обманчива наружность! До сихъ поръ представлялъ себѣ членъ тайного общества не иначе, какъ вида вѣроочищенаго человѣка, который питается сильнодействующими веществами и подходя изрыгаетъ изъ себѣ подпольную прокламацію, и вдругъ что же увидѣть?—Самыхъ обыкновенныхъ пѣшихъ стариковъ, которые даже твердой пищи разжевывать не въ силахъ, которые не то говорятъ, не то урчатъ и вообще ведутъ себя до того тлескаворно, что безъ хорошаго вентилятора съ ними невозможно быть! А между тѣмъ въ нихъ-то именно и засѣло потрясеніе основы! Поди, угадай!

Общество «Антиреформенныхъ Бунтарей» имѣетъ обширныя развѣтленія по всей Россіи, но существенныя распоряженія разрабатываются предварительно на Пескахъ и отсюда уже расходятся, въ видѣ лозунговъ, по всѣмъ захолустьямъ. Въ провинції главный контингентъ общества составляютъ отставные исправники, при благосклонномъ содѣйствіи господъ предводителей дворянства. Въ столицѣ отставные губернаторы, при благосклонномъ содѣйствіи любителей, не пожелавшихъ, чтобы имена ихъ были известны.

У общества имѣется свой уставъ и своя печать. Уставъ написанъ такъ, что можно читать и сверху, и снизу, и затѣмъ, вынувъ середку, опять читать. Печать изображаетъ птицу съ распостертыми крыльями, обращенную головою внизъ; подъ нею девизъ общества: «Поспѣшай обратно».

Цѣль общества: восстановленіе московскихъ департаментовъ сената. А сверхъ того—и все остальное.

Махинаціи общества долго оставались незамѣченными и въ послѣднее время за ними стали слѣдить, такъ какъ

дошло до свѣдѣнія, что для Краснощекова уже приторговываютъ бѣлаго коня. И ежели бы вчера вечеромъ околотный не позабыть подать свистокъ, то очень можетъ быть, что теперь...

— Мавра! Мавра! куда я попалъ!

Все это сообщилъ мнѣ Купидоновъ. Онъ тоже членъ общества, но притворный. Съ помощью икры, провѣсной бѣлорыбыцы и другихъ, не особенно цѣнныхъ подарковъ, онъ успѣлъ овладѣть довѣріемъ женщинъ и черезъ нихъ узнать корни и нити. Въ послѣднее время онъ пріобрѣлъ очень цѣнное свѣдѣніе: узналъ имя извозчика, у которого продаются бѣлый конь. На всякий случай Купидоновъ тоже вооруженъ свисткомъ, который онъ мнѣ и показывалъ. Видимъ своимъ этотъ свистокъ напоминаетъ трубу, которую мы въ свое время услышимъ на страшномъ судѣ.

Тѣмъ не менѣе Купидоновъ разсказывалъ все это такъ непослѣдовательно и противорѣчиво, что я долгое время не зналъ, слѣдуетъ ли мнѣ испугаться, или не слѣдуетъ. Такъ, напримѣръ, сначала онъ сказалъ, что свистокъ ему подарили «генераль», въ знакъ особливаго къ нему довѣрія. Но черезъ минуту хвалился, что онъ этотъ свистокъ пріобрѣлъ у отставного околоточнаго за шесть гривенъ. То же самое и насчетъ коня: никакъ нельзя было понять, скѣпой онъ или зрячай... Однако, разсудивъ зѣфло, я пришелъ къ убѣждѣнію, что испугаться во всякѣмъ случаѣ безопаснѣе. Можетъ-быть, Купидоновъ и пустяки нагородилъ, а все-таки недаромъ пословица говорить, что береженаго Богъ бережетъ.

На этомъ основаніи я сейчасъ же раскрылъ всѣ ящики моего письменнаго стола и, къ ужасу своему, нашелъ въ нихъ два глубоко компрометирующихъ письма. Въ одномъ меня увѣдомляли, что въ конспиративной квартирѣ три заговорщика уже собрались и съ нетерпѣніемъ ожидаютъ четвертаго, дабы «приступить». Въ другомъ—сообщали, что «рецептъ порошка возвращается съ благодарностью»... Лади, доказывай, что въ первомъ письмѣ говорится о «зинѣ», а не о революціи, а во второмъ—о зубномъ по-рошкѣ, а не о динамитѣ! Сейчасъ же, тайно отъ кухарки Мавры, я скѣгъ оба документа и пепель развѣялъ по вѣтру. Затѣмъ взялъ шапку и побѣжалъ къ Чернобровову, чтобы заявить ему о своемъ несочувствіи...

Но было уже поздно: вся наша лѣстница была запру-  
дена понятными. А черезъ часъ насть всѣхъ направили «въ

комиссію... Тайныхъ совѣтниковъ повезли въ извозичьихъ каретахъ, меня—повели иѣшкомъ.

Молчаніе.

Современники не должны знать о такого рода дѣлахъ, ибо они секретныя. Впослѣдствіи, когда тайности мрака временъ сами собой выступятъ на скрижали исторіи, потомки съ удивленіемъ узнаютъ, въ какихъ преступленіяхъ погрязли ихъ предки. А до тѣхъ поръ я могу открыть только слѣдующее: что лишь благодаря цѣлому ряду ловко обдуманныхъ alibi я успѣлъ выйти изъ дѣла неповрежденнымъ...

Черезъ два часа наше дѣло округлили и уже собирались отпустить насъ на всѣ четыре стороны, какъ вдругъ при провѣркѣ арестантовъ оказалось, что одного нѣтъ налицо. Гвоздиловъ бѣжалъ изъ-подъ стражи. Сію минуту разослали во всѣ стороны хожалыхъ, а черезъ короткое время одинъ изъ нихъ принесъ вицмундиръ Гвоздилова, найденный на берегу Невы, за Калашниковскою пристанью. Увы! почтенный старикъ предпочелъ добровольную смерть ожидавшему его позору разоблаченія...

Потужили, составили протоколь и, какъ водится, рассказали нѣсколько анекдотовъ изъ жизни покойнаго, не къ стыду его относящихся. И такъ какъ адмиральскій часъ уже наступилъ, то презусъ окружительной комиссіи велѣлъ подать водку и, наполнивъ рюмку, помянулъ безвременно погибшую жертву охранительного недоразумѣнія. При чемъ счель не лишнимъ выразить предположеніе, что съ самаго основанія Петербурга Гвоздиловъ явилъ собою едва ли не первый примѣръ тайного совѣтника, обрѣтшаго забвение своихъ винъ въ хладныхъ объятіяхъ Невы, но что, впрочемъ, нужно надѣяться, что сей первый примѣръ будетъ и послѣднимъ. Ибо даже въ самыя горькія минуты жизни человѣкъ не имѣтъ права распоряжаться симъ драгоценнымъ даромъ Творца, но обязанъ съ покорностью выскидать начальственныхъ по сему предмету распоряженій.

Наконецъ моментъ разставанія наступилъ. Объявляя намъ свободу, презусъ комиссіи нашелъ полезнымъ произнести напутственное слово, допустивъ въ немъ нѣкоторые, не лишенные язвительности, отѣнки.

— Господинъ тайный совѣтникъ Покатиловъ!—сказалъ онъ, обращаясь къ главѣ заговорщиковъ:—что преступление, въ которомъ обвиняетесь вы и ваши почтенные еди-

номышленники, было действительно вами совершено—это не подлежит для меня никакому сомнению. Вы собирались по ночам въ конспиративной квартирѣ; вы замышляли переворотъ въ пользу возстановленія московскихъ департаментовъ сената, а затѣмъ и всего остального; у васъ найдены значительные запасы корпіи и бинтовъ, что свидѣтельствуетъ, что замыслу вашему не чуждо было и предположеніе о кровопролитіи... Все это доказано достовѣрными свидѣтельскими показаніями, такъ что ежели бы къ дѣствіямъ вашимъ примѣнить общепринятые понятія о возмездіи, то я не ручаюсь, что вы вышли бы отсюда неповрежденными. Но комиссія наша разсудила иначе. Она нашла, что намѣренія ваши столь благовременны и столь тайны, что совѣтникамъ свойственны, что мнѣ ничего другого не остается, какъ сказать вамъ: идите съ миромъ и продолжайте вашу благонамѣренно-преступную дѣятельность! Объ одномъ прошу васъ: будьте осмотрительны въ выборѣ вашихъ соумышленниковъ! Не увлекайтесь мишурую популярности, не допускайте необдуманныхъ и опасныхъ сближеній! Помните, что коварство на каждомъ шагу подстерегаетъ васъ, и что, благодаря ему, *благовременное* можетъ сдѣлаться *неблаговременнымъ* и *благонамѣренное*—*неблагонамѣреннымъ*.

Затѣмъ, обратившись ко мнѣ, онъ продолжалъ:

— Вы свободны. Благодаря вашей ловкости, Немезида правосудія и на сей разъ остается неудовлетворенною. Но знайте, что ежели настоящее изслѣдованіе не дало вполнѣ непрекаемыхъ уликъ для опредѣленія характера и состава содѣяннаго вами преступленія, то намѣренія, которыя одушевляютъ вашу общую дѣятельность, ни для кого уже не составляютъ тайны. Довольно! безъ возраженій! Я не для того обращаю къ вамъ рѣчь, чтобы вступать съ вами въ пререканія, а для того, чтобы вы прониклись моими благими пожеланіями и приняли ихъ къ руководству. *Sapienti sat.*

Высказавши это, презусь щелкнулъ каблуками (хотя онъ былъ штатскій, но торжественность минуты до такой степени покорила его, что онъ безъ шпоръ не могъ себя мыслить) и вышелъ. На прощанье онъ послалъ воздушный поцѣлуй въ сторону тайныхъ совѣтниковъ, а въ мою сторону погрозилъ очами.

Я возвращался изъ комиссіи съ понурой головой и съ завистью смотрѣть на генерала Краснощекова, который

шель впереди, горделиво выгнувь шею и выдѣльвая ногами лансады. Къ тому же я чувствовалъ, что у меня что-то ползетъ по спинѣ: очевидно, это былъ клопъ, которымъ, въ отместку за отсутствіе уликъ, меня снабдили въ комиссіи. Нѣсколько разъ я порывался нанять извозчика, чтобы поскорѣе попасть домой, но извозчики пристально осматривали меня съ головы до ногъ и, ни слова не говоря, настегивали лошадей. Очевидно, печать преступленія, несмотря на короткое время, уже успѣла лечь неизгладимымъ клеймомъ на моемъ челѣ.

Тщетно изслѣдовалъ я свое житіе, чтобы уяснить себѣ, чѣмъ именно могло внушить почтеннѣйшему презесу округлителльной комиссіи столь невыгодное мнѣніе объ общемъ характерѣ моей дѣятельности,— я не припоминаль въ прошломъ ни одного факта, который подтверждалъ бы это мнѣніе. Правда, что я либераль — это такъ точно, ваше пре-восходительство! — но либераль до такой степени скромный и смиренный, что даже въ участкѣ, въ графѣ: «чѣмъ занимается» — прописанъ: «всего опасается». Живу я уединенно, бесѣдуя съ кухаркой Маврой и не только оружія, но даже простого тесака у себя въ квартирѣ не имѣю. Одинъ только и есть за мной грѣхъ: отъ времени до времени пописываю — ну, да вѣдь нельзя же совсѣмъ ужъ закоченѣть, потому только, что кругомъ дымъ коромысломъ стоитъ...

Но и въ писаніяхъ своихъ я въ высшей степени скроменъ. Я не препятствую такъ-называемымъ консерваторамъ быть консерваторами, не обвиняю ихъ ни въ измѣнѣ, ни въ революціонныхъ замыслахъ, и не удивляюсь, что изъ ихъ лагеря сыплются насыпи и обличенія на либерализмъ. Все это въ порядкѣ вещей, все такъ и слѣдуетъ. Но когда эти люди для защиты своихъ мнѣній прибѣгаютъ къ предательскимъ полемическимъ пріемамъ — признаюсь, это меня возмущаетъ. По моему мнѣнію, это — гнусность, въ которой нетъ надобности ни для оживленія столбцовъ, ни для розничной продажи.

Поэтому, когда я устно или печатно заявляю, что всякое уѣждение, какова бы ни была его окраска, можетъ и должно быть защищено безъ подвоховъ (а я, покуда, именно только этого я добиваюсь), то мнѣ положительно никогда не приходитъ на мысль (или, по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ не приходило), чтобы подобное заявленіе заключало въ себѣ попытку на потрясеніе основъ и непризнаніе автомо-

ритетовъ. Я просто-нѣ-просто призываю къ честности и опрятности—и ничего больше.

Но, къ сожалѣнію, приходится убѣдиться, что при извѣстныхъ обстоятельствахъ и потрясенія, и посигательства—все блѣдишь и стирается передъ вопросами о какихъ-то личныхъ привилегіяхъ самаго низменнаго свойства. Такъ что если-бы я завелъ въ своей квартирѣ цѣлый складъ тек-саковъ, то въ глазахъ очень многихъ людей это дѣйствіе представлялось бы менѣе вреднымъ, нежели, напримѣръ, выраженіе удивленія по поводу какого-нибудь безшабашнаго публициста, который, засѣвши подъ-уши въ грязь, брыж-жеть сю во всѣхъ, имѣющихъ дерзновеніе не признавать его мудрецомъ.

Такъ мало-по-малу мельчаетъ и вырождается старинная расприя между либералами и охранителями. Содержаніе спора все больше и больше тускнѣетъ, а на мѣсто его высту-паютъ микроскопическіе детали и подвохи, которымъ, ради декорума, присваивается наименование ловкихъ пріемовъ. И очень возможно, что не далеко время, когда, по волѣ всемогущихъ судебъ, либерализмъ совсѣмъ очутится въ боя, а охранители, почувствовавъ себя окончательно свободными отъ всякой узды, будуть на всей своей волѣ безъ пороху падить въ пустое пространство...

---

Я знаю, найдутся читатели, которые скажутъ, что все описанное выше не только преувеличено, но просто-нѣ-просто представляетъ сплошную небывальщину. Замѣчаніе это, вирочемъ, нимало меня не смутить, потому что я и самъ вполнѣ съ нимъ согласенъ. Я лучше, нежели кто-нибудь, знаю, что въ натурѣ не было ни умницы Покатилова, ни рыцаря Краснощекова, ни наперниковъ, ни конспира-тивной квартиры на Пескахъ, ни тайного общества анти-реформенныхъ бунтарей. Никогда ничего подобнаго я не видаль; о необходимости возстановленія московскихъ департаментовъ сената ни отъ кого не слыхалъ и за подоб-ные разговоры ни въ какую комиссию призываешь не быть. Но и за всѣмъ тѣмъ я утверждаю по совѣсти, что все написанное мною объ этомъ предметѣ съ подлиннымъ вѣро, и что ежели, напримѣръ, не существуетъ въ натурѣ общес-тва антиреформенныхъ бунтарей, то существуетъ духъ времени, который нельзя назвать иначе, какъ антирефор-менно-бунтарскимъ и который съ каждымъ днемъ приобрѣ-таетъ все большую и большую авторитетность.

Я утверждаю, что этим духомъ пропитана вся вліятельно-интеллигентная Россія, и что конспиративная сѣтеванія, раздающіяся на Пескахъ (зри выше), вѣ-стократъ менѣе карикатурны, нежели тѣ, которыя на каждомъ шагу приходится слышать и на улицахъ, и въ публичныхъ мѣстахъ, и — по преимуществу — въ салонахъ и кабинетахъ. Вездѣ мы встрѣчаемся съ несомнѣнными сирыми меринами, которые пропагандируютъ несомнѣнно полуумные фантазіи и бреды и, не обинуясь, присваиваютъ имъ наименование политическихъ и административныхъ программъ.

Поэтому, ежели читатель спрашивливъ и притомъ не ограничивается однимъ буквальнымъ пониманіемъ читаемаго, то онъ будетъ вынужденъ признать, что въ предыдущемъ моемъ письмѣ я не только ничего не преувеличилъ, но во многихъ отношеніяхъ стоялъ далеко ниже дѣйствительности. А сверхъ того у меня имѣется въ запасѣ и еще одна оправдательная оговорка: подождите! Почемъ вы знаете, чѣмъ чревато будущее? Вѣдь перспективы бредовъ до такой степени растяжимы, что никакая карикатура не въ силахъ намѣтить границу, гдѣ обязательно долженъ завершиться ихъ циклъ.

По моему мнѣнію, въ общемъ нестройномъ хорѣ антиреформенной разнозданности умника Покатиловъ выдѣляетсяъ несомнѣнно для себя выгодою. Сопоставленія, на которыхъ онъ основываетъ свои тяготѣнія къ до-реформенности, не лишены иѣкоторыхъ странностей, по въ то же время свидѣтельствуютъ о замѣчательномъ остроуміи и подлинной резонности. Логическій умъ старого практика не допускаетъ ни разброда, ни скачковъ, ни игры въ прятки, ни даже рыцарскихъ порываний невѣдомо куда (въ чёмъ достаточно изобличается, напримѣръ, благородный генераль Краснощековъ), но прямо укрывается подъ щінь законна и въ немъ отыскиваетъ все, что нужно для того, чтобы уѣшить сенагъ. Покатиловъ отнюдь не притворяется, являясь горячимъ защитникомъ гарантій; нѣть, онъ воистину понимаетъ, что безъ гарантій невозможно существовать ни правящимъ, ни управляемымъ. Конечно, обстановка, въ которой онъ представляетъ себѣ обезпеченнность, иѣсколько устарѣла и, въ сущности, сама не весьма обезпечена, но это ужъ вина не его, а его времени. Онъ воспитанъ въ идеалахъ самой простецкой обстановки и другихъ, болѣе утонченныхъ формъ легальности не знаетъ. Но такъ какъ онъ относится къ своимъ «простымъ» идеаламъ безъ малѣйшаго глумле-

нія и притомъ всякому недовольному его дѣйствіями охотно рекомендуется: идите, жалуйтесь! вонъ сколько гарантій начальствомъ для васъ наготовлено!—то, очевидно, въ немъ происходитъ въ это время процессъ довольно близкій къ представлению обѣ отвѣтственности. Ибо какъ ни простъ обыватель, но и ему, въ виду указанія гарантій, можетъ прийти въ голову: а что, въ самомъ дѣлѣ! пойду да и покажуюсь!

На чѣдѣ собственно Покатиловъ негодуетъ? Онъ негодуетъ на то, что мундиръ остается въ прежней силѣ, а обстановка упразднена. По его мнѣнію, мундиръ, лишенный обстановки, прикрываетъ себѣ самочинную пустоту, которая можетъ извлечь изъ себя только одинъ звукъ: фюнть!.. Но развѣ можно въ словѣ «фюнть» видѣть какую-нибудь гарантію?

Но чѣдѣ важнѣе всего: требуя гарантіи для жизни вообще, умница Покатиловъ понимаетъ, что гарантія эта прежде всего ограждаетъ его самого. Несмотря на свое властное положеніе, онъ никогда не причислялъ себѣ сонмищу боговъ, но положительно сознавалъ себѣ смертнымъ. Всѣ великия дѣла на землѣ были совершены «смертными»—отчего же и ему, обсадившему березками московскій трактъ, не признать себѣ таковыми? Ничего тутъ унизительнаго нѣтъ. А колѣ скоро онъ съ этимъ примирится, то и отношенія его къ прочимъ власти имѣющимъ лицамъ, и къ управляемымъ, и даже къ природѣ, приобрѣли болѣе человѣчный характеръ. Онъ не артачился, когда жандармскій штабъ-офицеръ предупредилъ его, что пожарныя лошади существуютъ не для никниковъ, и не фордыбачиль, когда прокуроръ являлся съ протестомъ противъ отдачи губерніи или части ея въ распоряженіе родственникамъ кумы. На-противъ, и въ томъ, и въ другомъ случаѣ онъ приклонялъ ухо и, выслушавши протестъ, подвергалъ его всестороннему и зрѣлому обсужденію. Согласитесь, что это съ его стороны было и мило, и вполнѣ согласно съ законами.

Точно то же и относительно управляемыхъ. Зная, что существуютъ особливо аккредитованныя лица, которымъ достовѣрно известно, что онъ, Покатиловъ, не для того призванъ, чтобы неистовствовать и сокрушать, а для того, чтобы приклонять ухо и, по мѣрѣ возможности, оказывать удовлетвореніе, онъ не бросался на управляемаго какъ озаренный, не огороживалъ его, а съ терпѣнiemъ выслушивалъ его рѣчи, хотя бы онѣ были и не вполнѣ внятны.

На первыхъ порахъ и онъ, по поводу этой невнятности, не мало скверныхъ словъ потратилъ; но когда однажды жандармскій штабъ-офицеръ ему доложилъ: «ахъ, ваше превосходительство! вѣдь и вы не всегда внятно изволите говорить!»—то онъ запомнилъ эти слова и разъ навсегда сказалъ себѣ, что задача умнаго администратора не въ томъ состоять, чтобы совмѣщать въ своеемъ лицѣ глубокомысленныхъ Платоновъ и быстрыхъ разумомъ Невтоновъ, а въ томъ, чтобы обладать снисходительностью и терпѣніемъ. Ибо нужды обывательскія такъ скромны, что не требуютъ ни быстроты разума, ни глубокомыслия, а только простой справки съ законами и бывшими примѣрами. На этомъ основаніи онъ даже и ябедниковъ не особенно преувеличивалъ. Говорить, будто бы онъ ихъ боялся; но я изволяю себѣ думать, что не одинъ страхъ заставлялъ его такъ поступать, но и убѣженіе, что сословіе ябедниковъ представляетъ собою убѣжище, въ которомъ находить себѣ защиту поруганная общественная совѣсть.

Что же касается до отношеній къ природѣ, то смягченіе ихъ является какъ естественное послѣдователіе общаго умиротворенія административныхъ правовъ. Администраторъ, который не состоитъ въ постоянной борьбѣ съ закономъ и не ставитъ себѣ задачей поврежденіе управляемыхъ, встрѣчаетъ солнечный восходъ съ несравненно большимъ умиленіемъ, нежели администраторъ, который наканунѣ растопталъ законъ и самочинно огорчилъ цѣлую уйму обывателей. И не по тому одному его умиляетъ солнышко, что онъ считаетъ его своимъ двоюроднымъ братцемъ, но и потому, что лучи его одинаково свѣтятъ и правящимъ, и управляемымъ, и вообще всю природу согрѣваютъ и оживляютъ. Пускай не онъ одинъ, а всѣ вообще радуются и согрѣваются—онъ не только этому не препятствуетъ, но готовъ даже содѣйствіе оказать.

Нынѣ все это измѣнилось. Увы! изъ нынѣшнихъ администраторовъ едва ли найдется такой, который можетъ свободно на солнце взглянуть... А почему?—потому что такое ужъ нынче вѣяніе: и въ звѣрѣ, и въ птицѣ, и въ землѣ, и въ водахъ, и даже въ свѣтилахъ небесныхъ—во всемъ видѣть посигательство и грубянство, которое необходимо усмирить.

Повторяю: формы, въ которыхъ облеклись идеалы Покатилова, были вѣсколько неуклюжи, но самое зерно этихъ идеаловъ несомнѣнно заслуживало сочувствія и похвалы.

Онъ прежде всего пламенѣль передъ закономъ и не только не позволялъ себѣ выражаться, что такой-то законъ изданъ впопыхахъ, а такой-то представляетъ собой плодъ бунтующей плоти, но даже къ известному афоризму: «по нуждѣ и закону премѣна бываетъ»—относился съ величайшою осмотрительностью. «Бываетъ премѣна,—говорилъ онъ:—но лишь тогда, когда таковая въ законодательномъ порядкѣ утверждена». Равнымъ образомъ онъ не мололъ сконнымъ языкомъ, что сенатъ есть учрежденіе крамольническое, во, пылая къ нему сыновнею любовью, всякое разъясненіе съ его стороны принималъ яко даръ, а порицаніе или похвалу—яко мзду и воздаяніе. Однимъ словомъ, сознавая себя лишь смицей въ колесницѣ, онъ вмѣстѣ съ другими спицами скромно вергѣлся въ подлежащемъ колесѣ, трепеща и ревнуя, такъ точно, какъ въ томъ передъ Богомъ, на страшномъ Его судѣ, отвѣтъ дать надлежитъ.

Вотъ каковъ былъ умница Покатиловъ. Конечно, это былъ въ своемъ родѣ антикъ, которому за его непреоборимое уваженіе къ закону не напрасно было присвоено наименованіе «Утѣшеніе сената»; однако-жъ я очень хорошо помню цѣлую школу администраторовъ, которые воспитаны были въ страхѣ сенатскомъ и нимало этимъ не тяготились. И хотя не всѣ послѣдователи этой школы были столь же непреоборимы, какъ Покатиловъ, однако ни одинъ изъ нихъ человѣческою своею слабостью хвалиться во все-слушаніе не дерзаль.

Очень возможно, что таковыя качества тайного советника Покатилова побудили и презуса окружительной комиссіи отнестиись къ злоумышленіямъ его съ благосклонною симпатіей. Но, по мнѣнію моему, это было съ его стороны недоразумѣніе. Презусъ, очевидно, не понялъ покатиловскихъ идеаловъ, или, лучше сказать, понялъ только ту ихъ часть, которая выражала стремленіе къ возстановленію московскихъ департаментовъ сената. Мысль о гарантіяхъ (а она-то именно и составляла главное зерно) положительно ускользнула отъ него, и я убѣждень, что если-бы онъ ее понялъ...

Но не будемъ увлекаться гаданіями, а лучше подивимся мудрости Покатилова, который и въ самомъ бунтарствѣ своемъ явилъ несомнѣнную проницательность.

Онъ понялъ, что съ гарантіями, по нынѣшнему времени соваться не приходится, и потому преднамѣренно утопилъ свою мысль въ цѣломъ морѣ белиберды. Белиберда—это,

такъ сказать, воздухъ, которымъ мы дышимъ, хлѣбъ, которымъ питаемся. Это не только существеннѣйший признакъ времени, но и отличнѣйшая во всѣхъ смыслахъ рекомендациѣ. Во всѣхъ видахъ она хороша: и какъ *pièce de résistance*, и въ видѣ гарнира. Безъ ея содѣстствія—всё будетъ труждаться зиждущій; съ ея помощью—даже восстановленіе московскихъ департаментовъ сената представляется лишь вопросомъ времени...

Но и за всѣмъ тѣмъ, сравните белиберду покатиловскую съ тою, которую источаетъ его дальний родственникъ, тайный совѣтникъ Крокодиловъ, и вы удивитесь, какое существуетъ разнообразіе белибердъ и какъ громадно можетъ быть разстояніе между ними.

Небо—и земля; солнце—и сальная свѣча; слонъ—и моська; мраморныя палаты—и скромный досчатый кіоскъ для проходящихъ...

Никогда антиреформенные бунтари не дѣйствовали такъ рѣшительно, никогда не расположились въ такомъ множествѣ, какъ въ наше время. Вся интеллигентствующая Россія охвачена сѣтью конспиративныхъ белибердъ, которыхъ не могутъ опредѣлить предмета своихъ вожделѣній и протестуютъ единственно подъ вліяніемъ взбудораженного темперамента. Въ глазахъ знаменосцевъ кутерьмы весь существующій порядокъ, поскольку въ немъ слышится стремление къ установленію принципа законности, есть не что иное, какъ плодъ нечаянного недоразумѣнія. Это не порядокъ, а міръ призраковъ, на который стоять лишь дунуть, чтобы птица съ письмомъ: «поспѣшай назадъ»—немедленно доставила его по адресу.

Но что всего замѣчательнѣе—нигдѣ это противоестественное, во имя белиберды протестующее, движение не распространено такъ сильно, какъ въ той средѣ, которая, по самой своей профессіи, обязывается стоять на стражѣ установленныхъ порядковъ.

Нѣть той мелкой сошки, которая не угрожала бы или не глумилась, смотря по темпераменту. Долго сдержанные инстинкты разнузданности нашли неожиданно свободный исходъ, а безтолочь, десятками лѣтъ накопливавшаяся въ умахъ, вышла изъ береговъ и, какъ въ половодье, гибко разлилась во всѣ стороны. Это уже не протестъ, исходъ котораго болѣе или менѣе гадателенъ, а цѣлая побѣда, сразу доведенная до безчинства. Надъ чѣмъ безчинство?

Надь порядкомъ, который на каждой страницѣ кодекса но-  
сить наименование «установленного», — надь порядкомъ,  
благодаря которому сыты, обуты и одѣты тѣ самые, кото-  
рые ежеминутно, и прямо, и косвенно, его подрываютъ.

Прислушайтесь къ безпутному гомону, перекатывающе-  
муся изъ края въ край и окончательно находящему убѣжище  
въ торжествующей части нашей такъ-называемой прессы, и  
убѣдитесь, что самъ баснословный пѣтухъ не отличить, чтѣ—  
въ этой неистовой околесицѣ жемчужное зерно, и чтѣ—  
навозъ. И не отличить по очень простой причинѣ: ни-  
чего, кромѣ навоза, тутъ нѣтъ. Одно вполнѣ ясно въ этой  
суголовкѣ: на каждомъ шагу продается отечество. Продается  
и при содѣйствіи элеваторовъ, и при содѣйствіи транзи-  
товъ, и даже при содѣйствіи джутовыхъ мѣшковъ. Все  
это, въ сущности, никако белибердоносцевъ не интересуетъ,  
а представляетъ лишь одинъ изъ современныхъ  
таинственныхъ лозунговъ (несмѣняемость, динамить, кон-  
ституція и т. п.), дающихъ вѣкій поводъ для надруга-  
тельства.

Живые притаились въ могилахъ; мертвые самочинно  
вставали изъ гробовъ и ходять по стогнамъ, стуча костями.  
Кладбищенское волшебство замѣнило здоровую, реальную  
жизнь. Такія слова вновь вошли въ обиходъ, которыхъ счи-  
тались давно упраздненными; такія мысли приобрѣли авто-  
ритетъ, отъ которыхъ недавно даже осель отказывался: что вы! никогда ничего подобнаго я не мыслилъ! На-дняхъ  
миѣ случилось въ одной изъ газетъ вычитать «правду», въ  
четырехъ строчекахъ нѣкоторымъ обывателемъ нацарапан-  
ную, — клянусь, я и не подозрѣвалъ, чтобы человѣческій  
языкъ быть способенъ выговорить тѣ звуковыя сочетанія,  
которыя въ этой «правдѣ» безъ малѣйшаго затрудненія въ  
обнаженномъ видѣ осуществлены.

Я не говорю, чтобы такое положеніе вещей могло счи-  
таться серьезно-угрожающимъ, но не скрываю отъ себя,  
что многое въ этомъ случаѣ зависитъ отъ того, глубоко ли  
укоренилась белиберда, или же корни ея расположились только  
по поверхности.

Въ первомъ случаѣ умственное оскудѣніе можетъ со вре-  
менемъ всѣ функции общественной жизни извратить и до-  
вести до негодности; во второмъ — это оскудѣніе настигнетъ  
лишь тѣ слои общества, которые, за свое дурное поведе-  
ніе, окажутся вполнѣ того заслуживающими.

Но даже въ этомъ послѣднемъ, смягченномъ видѣ ум-

ственная атрофія представляется далеко не безопасною. Ежели знаменосцы белиберды и не настолько сильны, чтобы пропитать безсмыслицей весь общественный организмъ, то все-таки у нихъ имѣется въ рукахъ цѣлая номенклатура мелкихъ уколовъ, съ помощью которыхъ представляется возможность сдѣлать массу частнаго зла. У насъ это частное зло какъ будто даже и въ счетъ не идетъ. Искезъ человѣкъ, наложилъ на себя руки, дошелъ до послѣдней степени отчаянія—велика важность! Намъ надо цѣлую уйму погибшихъ людей, чтобы встревожиться и признать въ этомъ фактѣ достойное явленіе...

Ахъ, господа, господа! согласитесь однако, что и единичный человѣкъ—все-таки человѣкъ! Въ мірѣ червей, конечно, не особенно существенно, если раздавленъ какой-то одинъ червякъ. На червика наступаютъ нечаянно, да и ему самому быть раздавленнымъ не такъ больно, потому что онъ ничего не предвидѣть и, слѣдовательно, никакъ чemu не готовится. Но человѣкъ сознаетъ и предусматриваетъ; онъ видитъ ногу, которая занесена надъ немъ, онъ знаетъ, зачѣмъ она занесена, и зрѣлище это, несомнѣнно, должно породить въ немъ соответствующія ощущенія. Какія?

Эта легкая возможность частнаго зла совершенно удовлетворительно объясняетъ тайну успѣховъ белиберды. Герои, которые въ состояніи дать отпоръ, составляютъ исключеніе, а средний человѣкъ, которымъ кишитъ вселенная, судорожно цѣпляется за свою неповрежденность. Онъ-то своими боками и демонстрируетъ властность белиберды. Онъ охотно сторонится передъ белибердой, поддакиваетъ ей, лишь бы она прошла, не замѣтивъ его. И нерѣдко, дѣйствительно, проскальзываетъ, хотя и не безъ мучительныхъ извортовъ. Ибо и белибердоносцы враждуютъ и препираются между собою, и они образуютъ партіи, между которыми приходится выбирать. Такъ, въ данную минуту человѣкъ зарекомендовываетъ *вотъ эта* белиберда, а не *та*; не покатиловская, напримѣрь, а крокодиловская... Слѣдовательно и поддакивать нужно *вотъ этой* белибердѣ, а не *той*. Какъ тутъ угадать?

Мало кликнуть кличъ: «поспѣшишай назадъ!»—надобно съ точностью указать, въ какой именно кюсѣкъ надлежитъ поспѣшать. Мало сказать: «намъ ничего не нужно, кроме помоеvъ»,—надобно съ достовѣрностью опредѣлить вкусъ, цвѣтъ и запахъ искомыхъ помоеvъ. Какъ разобраться въ

атомъ разнообразій, какъ угадать, какая белиберда на-  
дежнѣе, какой предстоитъ болѣе прочная будущность?

Белиберда, не только требующая безусловной сдачи на  
капитуляцію, но и доходящая въ этихъ требованіяхъ до  
прихотливости—кто скажетъ, что это реальность, а не по-  
стыднѣйшее сновидѣніе обезумѣвшаго отъ страха раба?

А еще говорять о преувеличеніяхъ, о карикатурѣ, о  
клеветѣ... О, маловѣры!

---

Однако какимъ же образомъ жить? Какимъ образомъ  
устроиться съ чувствомъ самосохраненія, которое все-таки  
нельзя не принимать въ разсчетъ? Герои, конечно, легко  
отыщутъ выходъ и изъ самыхъ мучительныхъ затруднений,  
но повторяю: не о герояхъ идетъ здѣсь рѣчь, а о тѣхъ  
среди нихъ людяхъ, которые совершаютъ средня, законами  
не возбраняемыя, дѣла и прежде всего желаютъ осуще-  
ствовать свое право на существование.

Какимъ образомъ имъ счастись, то-есть не одно брюхо  
счасти, но и хоть съ-эстолько души?

Къ счастію, у меня есть старинный другъ и товарищъ,  
Глумовъ, у которого всегда на всякие вопросы отвѣтъ го-  
товъ. Это—несомнѣнныи мудрецъ. Въ древности онъ на-  
звѣрное выдумалъ бы пивагоровы штаны, а въ наше время  
ограничивается тѣмъ, что знакомитъ друзей съ наилучшими  
приспособительными пріемами, при помощи которыхъ можно  
пріпѣвающи жизнь провести! Съ самыхъ раннихъ лѣтъ  
онъ только и дѣлаетъ, что приспособляется, и наконецъ  
до того вошелъ во вкусъ, что во всеуслышаніе заявляетъ,  
что если-бы отнять у жизни необходимость приспособленій,  
то она сдѣлалась бы столь же безвкусно, какъ каша безъ  
масла.

— Непремѣнно нужно, чтобы насть что-нибудь подергива-  
вало,—говорить онъ:—какое-нибудь чтобы мы мучитель-  
ство впереди видѣли, которое заставило бы насть при-  
способиться... Иначе мы и вовсе спустя рукава жить начнемъ.

Только разъ въ жизни блеснуло у него въ головѣ, что  
и безъ приспособленій прожить можно. Это было въ концѣ  
пятидесятыхъ годовъ, когда всѣмъ вообще приспособленія  
до того надобли, что даже звѣри радостнымъ рычаніемъ  
привѣтствовали эру освобожденія отъ нихъ.

— Теперь,—говорилъ мнѣ въ то время Глумовъ потирая  
руки:—только черезъ одно приспособленіе еще пройти надо.

а именно: приспособиться, какъ на будущее время безъ приспособленій прожить...

Но не успѣль онъ закончить процедуру этого самоприспособляющаго приспособленія, какъ уже вновь, потирая руки, возвѣщать:

— Вотъ и опять приспособленія пошли! А я-то, профанъ, разлеглся! Чуть-было и совсѣмъ не отвыкъ, да, къ счастію, остерегся. И вотъ теперь сразу на старый манеръ все детали наладилъ, и опять у меня житышико какъ по маслу пойдетъ.

Съ тѣхъ поръ, какія бы перемѣны въ температурѣ ни происходили, онъ какъ-сталъ на стражѣ, такъ и не сходитъ съ позиціи. Аккуратно каждый годъ подписывается на куранты—и слѣдить. Прочитаетъ обѣ элеваторахъ—ъ элеваторамъ готовиться начнетъ; прочитаетъ о транзитѣ—къ транзиту готовиться начнетъ; прочитаетъ о джутовомъ мѣшкѣ—не знаетъ, какъ быть. И всѣмъ объявляется: «теперь меня хоть на куски рѣжы!» А въ послѣднее время впалъ въ такое забвеніе чувствъ, что прямо на себя въ благопріятномъ свѣтѣ клевещетъ: «у меня, говори гь, ни чувства, ни ума—ничего не осталось! Весь я, и съ головой, и съ потрохами, насквозь приспособился!»

Само собою разумѣется, что усердіе это даромъ ему не прошло. Не успѣли мы оглянуться, какъ онъ ужъ и мѣстечко хорошенъкое ненарокомъ заполучилъ. Прежде, вотъ видите ли, это поодаль держали, опасались, какъ бы «онъ не отмочилъ», а теперь убѣдились, что въ немъ даже мочи—кромѣ необходимаго, для облегченія, количества—не осталось, и въ соотвѣтствіе сему отвели гдѣ-то въ провинціи преображенскій кюсѣкъ. Сидить онъ тамъ да приспособляется, а временемъ и въ Петербургъ наѣдетъ. Справится, какіе новые фасоны приспособленій вышли, и—опять домой, въ кюсѣкъ.

Въ одинъ изъ такихъ наѣздовъ онъ и обо мнѣ вспомнилъ. У курьера, по соѣдству, младенца отъ купели воспринималъ; да и надумался: «дай, думаетъ, зайду, я вѣдь теперь ужъ такъ приспособился, что и заподозрить меня нельзѧ!» Взялъ да и пришелъ. Разумѣется, у подъѣзда не сразу за ручку схватился, а потоптался-таки минуту-другую, но наконецъ съ шумомъ распахнулъ дверь, взлетѣлъ въ третій этажъ: съ нами крестная сила... уррра!

Радостнымъ изліяніямъ конца не было. — Какъ дѣла? все ли у тебя по кюску благополучно? — «Все, кажется,

слава Богу, благополучно!»— Ну, слава Богу лучше всего, и т. д. Словомъ сказать, обычный дружески-свѣтской разговоръ.

— Ну, а ты какъ?— обратился онъ ко мнѣ.

— Да чтоб... нехорошо, братъ, мнѣ!

— Чѣдъ такъ?

Да вотъ, моль, такъ и такъ. Началь я ему излагать, и что больше, то хуже выходитъ. Тайный, моль, совѣтникъ Крокодиловъ на новый судъ ударила; лѣвое крыло ужъ перебила пополамъ, а правымъ хоть судь еще и помахиваетъ, однако увѣренности на полное возстановленіе полета ужъ пѣть.

Не успѣть я докончить, какъ уже лицо Глумова потемнѣло.

— Ну?

А еще, моль, прибылъ сюда «свѣдущій» корнетъ Отле-таевъ и говорить, нимало не стѣсняясь: все, моль, надобно уничтожить: и земство, и суды, а отыскать, вмѣсто всего, благонадежнаго отставнаго прaporщика и ему препоручить: пускай всѣмъ помыкаетъ. А Крокодиловъ ему въ отвѣтъ: ахъ, какъ это хорошо!

— Ну?

— Помилуй, любезный другъ, чего же еще нужно?

— А тебѣ что за дѣло?

Я такъ и ахнуль: вотъ этого-то именно вопроса я и не ожидалъ. Удивительно это, право. Всю жизнь только и чувствуешь, какъ этотъ вопросъ долбить тебѣ голову, а вотъ, когда надо, чтобы онъ возымѣлъ практическое дѣйствіе,— тутъ-то именно его и нѣтъ какъ нѣтъ. Существуютъ, должно-быть, такие вопросы, относительно которыхъ и опытъ вѣковъ, и воспитательные афоризмы— все оказывается всуе и втунѣ. Никогда они не укладываются таѣтъ плотно въ сознаніи, чтобы не было совсѣмъ сразу ихъ формулировать.

— Послушай, голубчикъ, да вѣдь необходимо же, до извѣстной степени, принимать въ разсчетъ, что существуютъ разговоры, которые изнурительнымъ образомъ вліаютъ на мозги...

— Мозги? какіе мозги? по какому случаю? на какой предметъ? Взять его подъ сумленіе!

Глумовъ всталъ въ позу Любима Торцова и при послѣдней фразѣ вытянулъ правую руку съ устремленнымъ указательнымъ перстомъ, какъ дѣзывалъ актеръ Садовскій.

Глумовъ, сколько я помню, и прежде любить копировать Садовскаго въ роли Торцова; но теперь онъ, повидимому, сдѣлалъ изъ этого копированія приспособительный приемъ. Вотъ, моль, господа милостивцы, я каковъ! всякое колѣнце для вашего увеселенія отколоть готовы! Хотите—сцену изъ народной жизни сейчасъ разскажу!

— Глумовъ! да выслушай же меня! — взмолился я: — вѣдь Крокодиловъ проходу не даетъ! Поймаетъ, возьметъ за пуговицу и держитъ. И говоритъ... ахъ, что онъ говоритъ! А въ заключеніе: «надѣюсь, что вы вполнѣ съ моимъ мнѣніемъ согласны?»

— А ты чѣмъ на это?

— Я???

И этого вопроса я не ожидалъ. Я? чѣмъ, бишь, я такое дѣлалъ, покуда Крокодиловъ разглагольствовалъ? Кажется, я... Но позвольте однако-жъ... я! чѣмъ такое я?

— Но чѣмъ же такое я? — пробормоталъ я въ отвѣтъ: — чѣмъ я могу? Съ одной стороны—Крокодиловъ, съ другой... я!!! Согласись...

— Понимаю и соглашаюсь. Собесѣданія съ Крокодиловымъ, особливо ежели онъ держитъ тебя за пуговицу, дѣйствительно нельзя назвать безопасными. Это—вѣрно. Но затѣмъ возникаетъ вопросъ: можешь ли ты избѣжать этихъ собесѣданій, или не можешь?

— Какъ же ихъ избѣжишь? Вѣдь Крокодиловъ — имя собирательное: уйдешь отъ одного, попадешь къ другому...

— И это вѣрно. Дѣйствующая практика именно въ такомъ смыслѣ и разрѣшаетъ этотъ вопросъ. Я, братецъ, и самъ, какъ увидѣлъ себя въ пльни у Крокодиловыхъ, то воскликнулъ: экъ ихъ изъ всѣхъ щелей наползаю! ну, теперь ужъ не выкарабкаешься! Но тутъ же, впрочемъ, веселѣнко прибавилъ: ничего, ваше дѣло привычное: жили въ пльни у Покатиловыхъ, жили въ пльни у Гвоздиловыхъ: поживемъ и у Крокодиловыхъ!

— Зачѣмъ же, однако, ты это прибавилъ, да еще «веселѣнко»?

— Да такъ, любезный другъ, должно-быть, само собой, по старой привычкѣ, прибавилось. Чудно словно: столько пльновъ перетерпѣли и все-таки никакъ отъ пльновъ не отвертимся!

— И силу крокодиловскую одолѣть не можемъ; но объясни же, по крайней мѣрѣ, откуда эта сила взялась?

— Вотъ-вотъ-вотъ. Именно этотъ самый вопросъ я себѣ въ ту пору и предложилъ. Откуда, молъ? чѣд за причина? И по нѣкоторомъ размышилъ рѣшилъ такъ. Прежде всего съ того крокодиловская сила взялась, что мы, простецы, «сладкую привычку жить» никакъ въ себѣ ограничить не можемъ. Ругаемъ мы эту жизнь распостылую, а у самихъ только и есть одна мысль въ головѣ: ахъ, хоть бы чуточку намъ пожить позволили! Вотъ Крокодиловъ этимъ и пользуется. Возьметъ тебя за пуговицу, растибаравтъ, а ты передъ нимъ осклабляешься, подтанцовываешь. Это значитъ, что ты «живешь». Или увидеть тебя Крокодиловъ по другую сторону улицы — не успѣть пальцемъ поманить, а ты ужъ стремглавъ навстрѣчу его тайнымъ помышленіямъ летиши. И это значитъ, что ты «живешь». Ты могъ бы пройти мимо, могъ бы притвориться невидящимъ, могъ бы, наконецъ, въ проходныхъ ворота шмыгнуть, а ты вмѣсто того останавливаешься, нарочно въ глаза лѣзешь: позвольте въ присутствіи вашемъ пожить! Неужто же онъ не видить этого? Ахъ, голубчикъ, не только онъ *это* видить, но и тебя самого, со всѣми твоими потрохами, насквозь видить! — Эге, говорить онъ, такъ вотъ его на чѣмъ подловить можно! — И напираетъ, и напираетъ, до тѣхъ поръ, покуда не уtkнетъ носомъ въ самый оный кioskъ: живи!

— Глумовъ! но развѣ можно ставить людямъ въ вину, что «сладкая привычка жить», — въ существѣ своесть вполнѣ законная, — сопрягается для нихъ съ такими осложненіями?

— Я не обвиняю, а только объясняю. И говорю: Крокодиловъ только до нѣкоторой степени силу свою самолично создаетъ; въ значительной же мѣрѣ онъ отъ настъ, простецовъ, ее получаетъ. Все въ настъ наиболѣопріятнѣйшимъ образомъ для него сложилось. «Сладкая привычка жить» — это само по себѣ; но рядомъ съ нею, и какъ отличійшее къ ней дополненіе, еще другая особенность: необыкновенная готовность къ приспособленіямъ. Вспомнилось мнѣ на-дняхъ, случайно, какъ меня въ дѣствѣ у папаши прощенія просить заставляли, такъ повѣришь ли — такъ я и ахнула: вотъ они съ которыхъ поръ, приспособленія-то наши, начались! Огорчишь, бывало, папашу, а прощенія просить не хочется. Вотъ мамаша съ тетеньками и похаживають около тебя. «Развѣ тебя убудетъ отъ того, что ты скажешь папеньку: пардонъ, напа?» — уговариваетъ

мамаша. «Развѣ у тебя языкъ отвалится?» — убѣждаетъ одна тетенька. «Развѣ у тебя заболить головка?» — подбадриваетъ другая тетенька. Слушаешь-слушаешь эти предики, возьмешь да и выпалишь: «пardonъ, папа» И что-жъ, дѣйствительно, какъ по-писанному, такъ и сбывалось. Ни самого меня не убывало, ни языкъ не отваливался, ни голова не болѣла... Прошло дѣтство, настала настоящая жизнь, и что дальше, тѣ больше. Стоянъ кругомъ стоять: развѣ тебя убудеть? развѣ языкъ у тебя отвалится? Тутъ и литература, и наука, и нравственный кодексъ — все туть. А вдали, въ перспективѣ, дилемма: съ одной стороны — храмъ сдавы съ надписью: «Не убудеть»; съ другой — волчье существованіе среди наусъкнаній и шинѣй. Спрашивается: какъ съ этимъ быть? какъ безъ срама устроиться съ «сладкой привычкой жить», которая, какъ ты самъ сейчасъ сказасть, въ существѣ своемъ виолицъ закона? Тутъ-то вотъ Крокодиловы и подстерегаютъ тебя, цыпъ-цыпъ-цыпъ...

На этомъ наша бесѣда и кончилаась. Вызвана она была вопросомъ: какъ съ этимъ быть? — и разрѣшилась... тѣмъ же вопросомъ.

### ПИСЬМО ВОСЬМОЕ.

Если бы не одно дѣльце, да дядя Захарь Иванычъ вѣремя удержался, то быль бы онъ воротилою наравицъ съ прочими.

Дядя Захарь Иванычъ Стрѣловъ — старикъ старый. Родился онъ въ 1812 году, во время француза, и слѣдовательно теперь ему слишкомъ семьдесятъ лѣтъ. Однако онъ еще довольно проворно сменитъ ногами, да и руки у него еще цвѣкія, такъ что если бы попала въ нихъ взятка, то, мѣрѣ кажется, онъ могъ бы ее ухватить. Сверхъ того онъ сохранилъ вкусъ къ жизни, любитъ побѣстъ и выпить, но лицо у него начинаетъ уже походить на лицо младенца, который только-что началъ понимать зажженную свѣчу и радуется, когда ею передъ глазами машутъ. Этому сходству много способствуетъ лысина во всю голову, напоминающая голое колѣно. Новыхъ порядковъ онъ не любить, не исключая даже новаго обмундированія. Въ шапку у

нега виситъ старинный путейскій мундиръ, съ расходящимися сзади фалдачками, и онъ отъ времени до временъ надѣваетъ его, подходитъ къ зеркалу, поиграетъ фалдамъ и вздохнетъ.

Во время коронаціи императора Николая онъ былъ уже кадетомъ, а въ началѣ тридцатыхъ годовъ получилъ первый офицерскій чинъ и въ качествѣ инженера рѣкъ канавы въ Шлюшинѣ \*).

Хищникомъ, въ современномъ значеніи этого слова, онъ не былъ — въ то время люди были для этого слишкомъ безхитростны,—но взятки брали болѣе чѣмъ охотно и въ казнѣ черпали неупустительно. Уже въ Шлюшинѣ онъ изыскивалъ недурные въ этомъ смыслѣ случаи. Выроетъ, бывало, одинъ кубикъ, а напишетъ два: одинъ — кесарю, другой — себѣ. Скопивши такимъ образомъ сокровище, онъ не только самъ жилъ въ свое удовольствіе, но и доставлялъ удовольствіе другимъ. Сѣзжать на лодкѣ въ Петербургъ, накупить конфетъ, апельсиновъ и угощать шлюшинскихъ дамъ. Сверхъ того былъ мастеръ устраивать вечеринки, пикники; словомъ сказать, былъ душою общества. Поэтому дамы говорили о немъ: «точъ-къ-точъ кавалергардъ!» Онъ же, прия въ умиленіе отъ такой похвалы, сравнивалъ исправничихъ съ княгиней Шептаевой, а предводительшу — съ графиней Подстаканниковой, которая, по его словамъ, составляли цвѣтъ тогдашняго петербургскаго бомонда и принимали его въ своихъ салонахъ за то, что онъ имъ привозилъ презентъ кошченыхъ ладожскихъ сиговъ.

Въ сороковыхъ годахъ онъ былъ уже штабс-капитанъ и почувствовалъ у себя въ карманѣ такія деньги, что хоть подполковнику не стыдно. Сороковые годы вообще были странные годы. Съ одной стороны Грановскій, Бѣлинскій и ихъ кружокъ (обратившійся потомъ въ стадо свиней), съ другой стороны — Стрѣловъ, крѣпостный дѣла и цѣлая армія исправниковъ и становыхъ. Смѣщеніе человѣческаго образа съ звѣринымъ. Кстати, въ это время уже начали ходить слухи, что Петербургъ намѣревается соединить съ Москвой желѣзнымъ путемъ. Надѣялись, что въ Петербургѣ подешевѣтъ икра. Дядя Захарь инуюхнуль въ воздухѣ и ушихалъ, что тутъ уже не шлюшинскими кубиками нахнетъ. Причислился къ главному управлению и началъ

\* ) Народное название Шлиссельбурга.

ноаживать по коридорамъ, въ надеждѣ попасть на глаза власть имущему. Стрѣловъ бытъ подвижень, изворотливъ и юрокъ, имѣть хорошенькое брюшко и веселую турнюру, чѣмъ при тогдашней аммуниціи выходило очень мило. Станеть дяденька передомъ — у него пупочекъ играетъ; станеть задомъ — играютъ фалдачки; не удивительно, что зоркій глязъ начальника, при первой же встречѣ въ коридорѣ, замѣтилъ его.

— Кто этотъ расторопный офицеръ? — спросилъ генераль.

Назвали Стрѣлова

— Михъ такіе люди нужны!

Объяснились. Начальникъ возложилъ его на лоно, подчиненнай — такъ и прилипъ къ лону. Въ скромъ времени Стрѣловъ очутился въ самомъ сердцѣ железнодорожныхъ вожделений и какъ только почувствовалъ, что навстрѣчу ему ходить лафа, то стѣвались въ Муромскіе лѣса, набралъ тамъ шайку и держаль атаманамъ такую рѣчи:

— Вы будете у меня замѣсто подрядчиковъ и строителей. Если кто у васъ спроситъ: кто ты таковъ? — то не отвѣчайте: я муромскій разбойникъ, а говорите: десятиникъ, поставщикъ и т. п. Слушайте теперь. Вотъ, примѣро, пе-редъ вами рельсъ; стоять онъ, полоскимъ, хоть двадцать рублей, и мы запишемъ сорокъ. Если спросятъ: кто ставиль? — говорите: разбойникъ... то, бинъ, подрядчикъ Кудимычъ. Вотъ и все. А когда уйдутъ спрямиватели, мы возьмемъ да двадцать рублей отдадимъ кесарю, а изъ дру-гихъ двадцати десяти возьму я себѣ за выдумку, а осталь-ные десять — вамъ на вино. Люблю ли?

— Люблю! люблю! — крикнули въ отвѣтъ атаманы-молодцы.

— Или: вотъ вамъ глина, вотъ камень, шпалы, песокъ, рабочія силы, — продолжать дядя, припоминая строительные элементы. — И нездѣ одна половина — кесарева, другая — наша. Люблю ли?

— Люблю! люблю!

И дѣятельность по дорогѣ закипѣла. Дядя Захарьѣ бѣ-гать и бѣдить днемъ по работамъ, а ночью метасть раз-бойничкамъ банки. Денегъ появилась такая масса, что не знали, куда дѣвать. Выписывали изъ Петербурга прелест-ницъ и гдѣ-нибудь въ селѣ Едрово устраивали азиатскіе вечера. На одномъ такомъ вечерѣ цыганку Стѣпку испи-вали такъ, что для того, чтобы замять тѣло, потребовалось отдать табору не менѣе двадцати тысячъ рублей. Поли-

вали другъ друга шампанскимъ, поили шампанскимъ рѣку, загоняли на станція лошадей, чтобы побывать вечеромъ въ Александрикѣ, съ рискомъ попасть на гауптвахту, или чтобы какой-нибудь кралѣ, поселеной въ Едрѣ съ специальную цѣлью увеселять муромскихъ разбойниковъ, доставить букетъ. Словомъ сказать, груды денегъ извлекались изъ иѣдъ казначейскихъ кладовыхъ, распредѣлялись по карманамъ и исчезали невѣдомо куда.

Въ самый разгарь этого распутства Стрѣловъ женился. Онъ уже настолько имѣлъ въ ломбардѣ, что могъ безъ боязни глядѣть впередъ. Чартія ему представлялась прекраснѣйшая, даже знаменитая. Россіи, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, подчинился одинъ изъ касимовскихъ князей, Абдулка. Но искренности его подчиненія не сразу повѣрили, а посадили въ кибитку и приказали возить взадъ и впередъ по Касимовскому уѣзду, покуда онъ не познаетъ свѣта истинной вѣры. Разумѣется, онъ позналъ очень скоро, его окрестили, наименовали Михаиломъ и оставили за нимъ княжеский титулъ съ фамиліей Мамалыгина. Тогда же окрестили его дочь, назвавъ Надеждой и помѣстивъ въ Екатерининскій институтъ. Тамъ ее выipoили, но училась она плохо, чтѣ не помѣщало ей въ свое время прийти въ совершенный возрастъ и сдѣлаться невѣстой. Вотъ на нее-то и обратилъ взоры дядя Захарь Иванычъ. Съ мѣсяца времени кормилъ онъ Абдулку въ Палкинскомъ трактирѣ шаплыкомъ, а будущую невѣсту — шепталой, и наконецъ получилъ согласіе. Ему лестно было ъздить съ визитами съ женой, у которой на карточкахъ было напечатано: «Надежда Михайловна Стрѣлова, рожденная княжна Мамалыгина». При этомъ онъ намекалъ, что жена его проиходилъ по прямой линіи отъ Мехмеда-Кула, «сібирскихъ странъ богатыря», который первый воскликнулъ: «Нѣть, лучше смерть, чѣмъ жизнь поносна!» — а за нимъ этотъ всглѣсь стали повторять и прочие арміи и флоты.

Теперь бы майору Стрѣлову остыпелиться и начать бы жить да поживать съ капитальцемъ и молодой женой, но его лукавый попуталъ. Дорога велась по ровному мѣсту, а онъ рапортовалъ, что срыгъ гору, и потребовалъ сверхъ-смѣтиаго назначенія. На его несчастіе, мѣсто это было хорошо знакомо, и потому рапортъ его произвелъ изумленіе. Любостяжаніе его замѣтили гдѣ-то очень высоко и послали фельдъегера... Фельдъегерь, вмѣсто двадцати четырехъ часовъ, судилъ всего двадцать четыре минуты, поса-

диль Стрѣлова въ телѣжку и привезъ въ Петербургъ. Покуда онъ сидѣлъ въ кутузкѣ и мыкался по мытарствамъ, Надежда Михайловна отчаянно вопѣла:

— Неужто я буду солдаткой?

Но дѣло кончилось благополучиѣ, нежели можно было ожидать. Начальство вспомнило прежнія заслуги майора (онъ иѣсколько такихъ горъ прежде срыть) и велѣло ему подать въ отставку, вмѣсто того, чтобы забрить лобъ.

Стрѣловъ поселился безизѣздно въ деревнѣ и считалъ деньги. Очень рѣдко онъ заѣжалъ въ Петербургъ, и именно только въ тѣхъ случаяхъ, о которыхъ будетъ упомянуто ниже. Жена его, отъ скучи, народила груду дѣтей, которая вноса фѣдствій вѣвъ сѣвались инженерами. Наступило полное одиночество, которое еще болѣе отравлялось воспоминаніями о прошлыхъ блестящихъ дняхъ.

— И чортъ меня попуталъ,—жаловался майоръ, раскладывая пасынки:— въ другомъ мѣстѣ двѣ горы могъ бы срыть, а тутъ изъ-за одной горушки пропадаю!

Онъ видѣлъ окончаніе монументальной дороги и строилъ воздушные замѣки. Теперь онъ былъ бы уже полковникомъ и, навѣрно, завѣдалъ бы дистанціей. Нѣкоторое время онъ вѣль переписку съ прежними друзьями, послалъ имъ откормленныхъ индюковъ, просилъ похлопотать, но постоянно получалъ въ отвѣтѣ: «Ничего не подѣлаешь!» Наконецъ друзья совсѣмъ замолчали, и онъ мало-по-малу окунулся въ самое дно рѣки забвенія.

Но вотъ въ воздухѣ почуялись новые вѣянія. Сначала радовались, потомъ стали тужить. Наконецъ Подхалимовъ открылъ эпоху упраздненія хищничества и торжества покаянія...

Повторяю дядя Захаръ не былъ хищникомъ въ современномъ значеніи этого слова. Въ его время было въ модѣ казнокрадство и взяточничество, и дядя слѣдовалъ общей модѣ. Хищничество же народилось поздѣѣ, совершенно неожиданно, и не устранило ни воровства, ни взяточничества (на всякий случай), а только презирало ихъ. Да и нельзя было не презирать, потому что съ этими явленіями сопригались разныя постыдные поступки. Тутъ встрѣчались и мертвяя тѣла, и подчистки, и преднамѣренныя описки, и взломъ сундуковъ. Все это можно было на картинкѣ написать. Въ хищничествѣ, напротивъ того, все такъ тонко,

чисто и даже благородно, что о картинкахъ и рѣчи не можетъ быть.

Но и въ хищничествѣ имѣются подраздѣленія. Бываетъ хищничество простое и бываетъ сложное. Въ первомъ можно указать на дѣйствующихъ лицъ и на претерпѣвшихъ. Сверхъ того, оно до извѣстной степени наказуемо, и составъ его можно безъ труда опредѣлить. Разнствуетъ оно отъ воровства тѣмъ, что пошло далѣе сферы становыхъ приставовъ и обставило себя благородиѣ. Иногда оно надѣваетъ на себя даже личину государственного интереса: заселеніе отдаленнаго края, культура, обрусеніе и т. д. Въ сложномъ хищничествѣ дѣйствующихъ лицъ совсѣмъ нѣтъ, и только приходится удивляться, какимъ образомъ человѣкъ, котораго незадолго передъ симъ знали безъ штановъ, въ настоящую минуту ворочаетъ миллионами. Сложное хищничество есть порядокъ вещей—ничего больше.

Дядя съ грѣхомъ пополамъ могъ додуматься до простого хищничества; однако и тутъ онъ понималъ, что безъ связей ничего не подѣлаешь. Чтобъ захватить земли по гравенику за десятину, нужно имѣть «руку», умѣть угадывать моментъ, кланяться, просить, чтѣ требовало времени и изнурительныхъ хожденій. Что же касается до сложнаго хищничества, то онъ положительно его не постигалъ и только наравнилъ съ другими простецами ахаль:

— Безъ штановъ зналъ! безъ штановъ! — восклицалъ онъ:— а теперь въ соболяхъ ъздитъ! Лошади не лошади, экипажъ не экипажъ! Занимаешь цѣлый дворецъ, задаешь банкеты: во всѣхъ комнатахъ картины съ голыми женщинами! Жену—купишь, а потомъ предоставишь, а самъ двухъ француженокъ содержишь! Ну, скажите на милость, зачѣмъ ему понадобились двѣ? И какимъ образомъ все это случилось?

Онъ забывалъ при этомъ и свое прошлое, и свои теперешнія вождѣнія, и даже то, что онъ бытъ бы несказанно счастливъ, если-бъ очутился на мѣстѣ этого голопштанника, который теперь въ соболяхъ ходить.

Тѣмъ не менѣе жажда хоть что-нибудь урвать заставляла его довольно чутко прислушиваться къ новымъ вѣяніямъ и отъ времени до времени посыпать Петербургъ.

Чтѣ такое «вѣяніе»? Это — одно изъ выражений той паскучной терминологии, которая получила у насъ право гражданственности тридцать лѣтъ тому назадъ. Означаетъ

оно: вить что нужно дѣлать, чтобы бѣль можно было напакостить.

Вся эта терминология есть плодъ личной алчности и совершенного отсутствія представлений объ интересѣ общественномъ. Здѣсь быть рѣчи ни объ отечествѣ, ни о согражданахъ, ни объ общемъ благѣ. Одна обнаженная алчность—только и всего.

Такихъ вѣяній въ нашемъ обществѣ было много, но я намѣчу лишь главнѣйшія. Во-первыхъ, вѣяніе радостныхъ ожиданій; во-вторыхъ, вѣяніе горестныхъ утратъ; въ-третьихъ, вѣяніе хищничества; въ-четвертыхъ, вѣяніе сапоговъ въ смятку, и наконецъ...

---

Въ первый разъ, послѣ многихъ лѣтъ воздержанія, дядя Захаръ посѣтилъ Петербургъ въ эпоху радостныхъ ожиданій. Тогда говорили: земля наша обильна; и на поверхности, и въ недрахъ—всего у насъ довольно и для себя, и для Европы. Европа гнѣть и переживаетъ себя, а мы возрождаемся. До сихъ поръ мы жили какъ слѣпые, по милости крѣпостного права, а теперь вольный трудъ вѣши богатства откроетъ. Въ особенности отличался по части пророчествъ и предвидѣній публицистъ Кокоревъ, который даже въ кучахъ навоза открывалъ золотыя розыни.

Хорошее это было время, свѣтлое, хотя, какъ потомъ оказалось, не особенно умное. Но кто же могъ думать, что изъ всѣхъ этихъ чаяній ничего не выйдетъ пустяго, кроме переворачиванія давно истѣвшаго хлама? Многіе скрывающиеся въ завѣтныхъ кубышкахъ миллионы увидѣли тогда свѣтъ, побывали въ «Обществѣ жизненныхъ продуктовъ», въ «Сельскомъ хозяинѣ» и проч., и пропали невѣдомо куда. Гдѣ они теперь? Не можетъ же быть, чтобы не нашли себѣ пристанища и хоть кого-нибудь не оплодотворили. Не тогда ли было положено начало тому грандиозному финансому распутству, которое вноскѣдствіи дало такой пышный цветъ?

То было время сѣвооборотовъ, покупки машинъ, продажи выкупныхъ свидѣтельствъ и преимущественно трактирныхъ безобразій. Денегъ появилось множество; почти вся Россія была вымѣнена на выкупныхъ свидѣтельства. Явились ростовщики и кровопийцы, которые скупали эти свидѣтельства за гроши. Но кладѣльцы не обращали на это вниманія, и надеждѣ, что вольный трудъ вознаградить сторицю.

— Видите вы жнею, которую я купил у Бутенопа? Привезкайте, батюшка, посмотрите, какъ чисто работает! А моя сѣноворошилка? А мои плужки? Прелесть! — раздавалось изъ края въ край. — Теперь мнѣ рабочихъ на двѣ трети меньше надо будетъ.

А черезъ недѣлю жнея и сѣноворошилка лежали въ сараѣ поломанными, и баба по-старому копошилась въ морѣ ржи, которое горяча не по разуму насытила.

Крестьянинъ скоро раскусилъ помѣщика и втихомолку посмѣвался. Помѣщикъ, ни къ чему не приготовленный, лѣниный и беспечный, способенъ былъ только пытаться надеждами и зря бросать деньги. Онъ не понималъ, что для того, чтобы извлекать изъ сельского хозяйства двугривенные, нужно вставать съ зарею, пѣлые дни бродить по полю и, придя вечеромъ домой, учтывать себя.

Впрочемъ, некоторые (а въ томъ числѣ и дядя Захарь) спохватились и пустили въ ходъ «прижимку». Отрѣзывали хитроиспленные надѣлы, обрабатывали землю неполу, занимали крестьянъ штрафами и хожденіемъ по судамъ и, наконецъ, занялись ростовщичествомъ.

Но вообще, несмотря на чаянія и упованія, общій голосъ былъ: «всего у насъ довольно» — и несмѣтныя сокровища въ настоящемъ, и свѣтлныя перспективы въ будущемъ, — только людей имѣть. Нубацкій Кокоревъ говорилъ это громко, совѣтоваль пустить въ ходъ добрую чарку вина, и цензура ему въ томъ не препятствовала.

Дядя Захарь подслушалъ эти жѣлобы и явился на кличъ.

Разумѣется, онъ остановился у меня и не безъ увѣренности объявилъ:

— Теперь мое дѣло выигранное. Нужны люди, а я человѣкъ бывалый, опытный и не безъ царя въ головѣ, чего еще?

— Но вѣдь вы, дядя, не изъ сочувствующихъ? — возразилъ я.

— Чѣмъ ты, чѣмъ ты! Христосъ съ тобою! Я, братъ, всему сочувствую. Я и адресъ изъ первыхъ подписалъ. Привезть въ ту пору въ собраніе губернаторъ: «господа, говорить, надо доказать...» Ну, я и доказалъ: обмокнуль перо въ чернильницу — дай Богъ счастливо!

— Да, но съ мужичками-то вы все-таки не очень охотно разстались.

— Я-то? Да я мужичка даже очень люблю. Дай только мнѣ...

Онъ выспросилъ у меня, передъ кѣмъ и въ какихъ канцелярияхъ предстоять хожденія, и на другой же день начались поиски. Онъ ходатайствовалъ неутомимо, съ утра до ночи, возвращался домой измученный и часто разочарованный, но все-таки надѣющейся.

— Вотъ говорили, что людей нѣть! — воскликнулъ онъ: — а ихъ тутъ, куда ни придешь, труба нетолченая!

Счастіе, однако же, повидимому, улыбнулось ему. Прощедшее его, за общей суматохой, было забыто; люди у дѣла стояли совсѣмъ новые, и передъ ними предстала тоже новый человѣкъ, свѣжий деревенскій коренникъ, съ чувствомъ говорившій о меньшомъ братѣ. Его выслушивали съ видимымъ интересомъ, разспрашивали, сколько можетъ ужать въ день баба, сколько можетъ въ день скосить, вспахать и забороновать мужикъ, существуютъ ли у крестьянъ огороды, копоплянники, отхожіе промыслы, ремесла, самъ-сколько родится рожь, овесъ, ячмень, сколько требуется муки въ годъ на продовольствіе одного Ѣдока и т. д. Онъ отвѣчалъ на вопросы бойко, не спѣша. Докладывалъ, что если мужикъ чувствуетъ въ чемъ-нибудь недостатки, то этому всему виной крѣпостное право; что ежели нѣть травосѣянія, то этому виной тоже крѣпостное право; что ежели вообще сельское хозяйство въ упадкѣ, то и тутъ благодаря крѣпостному праву. При этомъ присовокуплялъ, что онъ уже въ то время мечталъ, когда мечтанія строго воспрещались... Словомъ сказать, отрекомендовалъ себя съ самой отрадной стороны.

Но тутъ онъ увидѣлъ вѣщій сонъ.

Я помню, онъ пришелъ къ чаю пасмурный и задумчивый. Едва дотронулся до калача и долгое время сидѣлъ молча и барабанилъ по столу пальцами. На вопросы мои отвѣчалъ односложно и неизящно.

— Чѣмъ съ вами, дядя? — наконецъ спросилъ я его.

— Сонъ видѣлъ, голубчикъ!

— Неужели сонъ можетъ такъ встревожить?

— Сонъ сиу розны; иной и можетъ встревожить. Представь себѣ: вижу я во сиѣ громадную стаю собакъ, и я будто бы между ними въ собачьемъ видѣ. Только прочія собаки всѣ о четырѣхъ ногахъ, а у меня будто бы только три, а четвертая оторвана. И будто бы я за стаей никакъ послѣдить не могу, а ковыляю сзади всѣхъ... Всѣгда!

— Такъ что же такое?

— А то и есть, что не добиться мнѣ ничего: что-нибудь да случится.

— Эхъ, дядя, никто какъ Богы! Можетъ-быть, и на трехъ ногахъ вы скорѣе добѣжите, нежели другіе на четырехъ.

— Дай Богъ, дай Богъ! Но сомнительно. Повѣрь, что такие сны не даромъ. Уѣхать, видно, мнѣ обратно въ Муромъ, несолоно хлебавши.

Прошло еще нѣсколько пѣдѣль, а дядя не только ничего не терялъ въ глазахъ начальства, а, напротивъ, все больше и больше правился. Онъ уже успѣлъ убѣдить, что какъ только наступить вольный трудъ, то мы однимъ овсомъ Европу побѣдимъ. Позабывть о вѣщемъ снѣ, онъ ходилъ веселый и радостный, фѣль съ аппетитомъ, пить въ мѣру, вечеромъ єздилъ на Минерашки и перемигивался съ мамзель Сузеттой. Наконецъ однажды пришелъ къ обѣду домой и съ торжествомъ объявилъ:

— Ну, теперь можешь меня поздравить! Сегодня я получилъ вѣрное слово...

И вдругъ онъ поперхнулся: на столѣ лежалъ адресованый на его имя пакетъ.

Въ пакетѣ было приглашеніе пожаловать для личныхъ объясненій.

— Это вы срыли гору на ровномъ мѣстѣ? — спросилъ его начальникъ.

Дядя стукнулъ каблуками и отретировался.

Кто-то шепнула...

Возвратившись домой, дядя выпилъ сраду нѣсколько рюмокъ водки и поскрипѣлъ зубами, а дня черезъ два выѣхалъ въ Муромъ.

Увы! онъ навѣрное воспрянулъ бы духомъ, если-бы зналъ, что въ ту же ночь я видѣлъ продолженіе его вѣщаго сна. Снилось мнѣ: добѣжала стая собакъ до пирога и въ колебаніи остановилась: однѣ предлагали сейчасъ же разнести пирогъ на части, другія пытались отстаивать и запицывать. Но защитники дѣлали свое дѣло такъ неувѣренно и неумѣло, что нападающіе безъ труда одолѣли. Пирогъ быть разорванъ мгновенно. Затѣмъ собаки смѣяли другъ друга глазами и стали грызться.

---

Польский мяtekъ дядя Захарь какъ-то пропустилъ и догадался только тогда, когда дѣло подошло къ концу, и началось обрусеніе. Въ это же время и въ Петербургѣ

что-то замутилось: начались пожары, покушения, допросы, судьища, высылки; явились корни и пити. Кликнули влечь. Обрушители, задешево получившие куски конфискованных земель, уже были готовы. Они отчасти продали земли, отчасти сдали ихъ въ аренду жицамъ, лѣса законтрактовали на срубъ и первые явились на влечь. Разумѣется, это были избранники. Всѣдѣ за ними явился и майоръ Стрѣловъ.

На этотъ разъ онъ остановился не у меня, а тѣ-то въ номерахъ на Мѣщанской. Должно-быть, онъ меня и заподозрилъ. Немедленно явился онъ къ генералу и имѣлъ съ нимъ непродолжительное объясненіе.

— Прежде чѣмъ удовлетворить вашей просьбѣ, я требую, чтобы вы были вполнѣ откровенны,— сказалъ генераль, проницательнымъ окомъ взглянувъ на просителя.

Дядя смущился и совѣтъ машинально отвѣтилъ:

— Срѣль гору...

— На ровномъ мѣстѣ?

— Точно такъ, вашество!— выпалилъ дядя.

Это нехорошо: казну слѣдуетъ беречь, она царская. Но я вамъ не судья, я надѣюсь, что съ тѣхъ поръ вы исправились. Миѣ люди нужны, и именно люди, готовые загладить... Василій Андреичъ!— обратился онъ къ секретарю:— запишите майора Стрѣлова. Вамъ скажутъ, майоръ, что нужно дѣлать. Кстати: отчего вы не явились въ Западный край?

— Въ деревнѣ жиль, вашество, не посыпъ, какъ, по вашему манію, все уже пришло въ настоящій видъ...

— Жаль-сь. Миѣ и тогда нужны были люди.

Стрѣловъ бросился впередъ съ очевиднымъ намѣреніемъ поцѣловать генерала въ плечико, но генераль уклонился.

Ахъ, какое это было время! Мрачное, наполненное пріѣздѣніями и какимъ-то удушливымъ безмолвіемъ. Улицы были почти пусты. Немногіе встрѣчавшіеся люди смотрѣли испуганно, ничего не понимая. Въ окнахъ домовъ не было видно по вечерамъ огней, точно все живущее куда-то спряталось. Пріѣзжавшіе съ дачъ спѣшили скорѣе окончить дѣла и уѣзжали обратно. По ночамъ слышались оклики дворниковъ и бряцаніе оружія по тротуарамъ. Ночными поѣзденіями производились наудачу, случайно, безъ малѣйшей системы. Больше всего пострадали либералы, такъ какъ предполагалось въ нихъ начало и корень всѣхъ послѣдующихъ бѣдъ. Кто могъ скрѣть старую переписку — скрѣть; до-

рогоя имени, дорогия речи—все приносилось въ жертву. Кто не успѣлъ сжечь, или жаль было разстаться съ дорогими собесѣдниками, тотъ впослѣдствіи горько раскаивался. Ужасно было, ужасно! Но необходимо...

— Нельзя-съ, — говорили оправдавшимся: — вы, положимъ, оказались жертвой ошибки, но, согласитесь, безъ этого нельзя. Такое теперь время, что нужно жертвовать собой.

И «жертвы ошибокъ» уходили домой утѣшеннныя.

Дядя дѣйствовалъ такъ усердно, что вскорѣ обратилъ на себя вниманіе; онъ дѣйствительно кого-то «поймалъ» и во всякомъ случаѣ каждый вечеръ таскалъ ворохъ бумагъ въ подлежащую канцелярію. Его переименовали въ штатскій чинъ и обѣщали подумать о немъ.

— Мне бы, вашество, хоть въ губернію,—умолялъ онъ: — жена, воспитаніе дѣтей...

— Да, но покамѣсть и здѣсь дѣла много; прежде надо главное кончить; надо зло вырвать съ корнемъ, начавши съ самого начала, съ заводчиковъ. Никого не жалѣйте, хотя бы... Главное зло—либералы; надо сорвать съ нихъ личину, потому что они заразили даже правящіе классы. Долгогривые—эти ужъ потомъ явились... это—жертвы, орудія! Отъ либераловъ все пошло; если-бъ не они, государство наше было бы сильно и грозно попрежнему, и все мы были бы благополучны...

— Точно такъ, вашество!

— Гм!.. да... но надѣюсь, что вы на будущее время торъ на ровныхъ мѣстахъ рыть не будете?—пошутилъ генераль съ ангельской улыбкой.

— Никакъ нѣтъ-съ, вашество!

— Ну-съ, до свиданія. Сегодня вамъ предстоитъ трудовая ночь. Надѣюсь!

Я числился тогда въ либералахъ и проводилъ время въ самомъ деморализующемъ страхѣ. Ночью за входною дверью и за стѣною соѣдней квартиры чудились шорохи. Еще минута—и звонокъ... пожалуйте! На дачу я не поѣхалъ. Такая тоска сосала сердце, что, казалось, никуда не убѣжишь. Чтобы заглушить ее, яѣздилъ по вечерамъ въ «Демидронъ» и, возвращаясь домой, подѣѣжалъ къ воротамъ въ гнетущемъ смущеніи. Даже дворники замѣтили это, и такъ какъ я совершенно ни съ того, ни съ сего увеличилъ имъ помѣсячную подачку, то они ободряли меня, говоря:

— Ничего, Богъ милостивъ!

«Какъ-то они меня аттестуютъ въ кварталѣ? — думалось мнѣ. — Дворникъ! шутка сказать!»

Однако для меня все обошлось благополучно; я подозрѣвалъ, что тутъ помогъ мнѣ дядя. Мало-по-малу и кругомъ стихло. Ни корней, ни нитей не было найдено, а обнаружился полный сумбуръ и совершиенная общественная несостоительность. Много оказалось вздорнаго хлама, а главное испуга, испуга — безъ конца. Наконецъ наступила осень, и всѣ вздохнули. Въ это же время, однимъ утромъ, появился у меня и дядя Захарь.

— Дядя! давно вы адѣсь? — воскликнулъ я въ умиленіи.

— Давно, мѣсяца съ три. У тебя не остановился, потому что... Ну, да ты самъ отлично понимаешь, почему...

— Понимаю... Ахъ, дядя, дядя! Что же вы дѣлали въ эти три мѣсяца?

— А поступалъ, какъ слѣдуетъ всякому сыну отечества поступать. Сколько, братецъ, я этихъ долгогривыхъ да стрижекъ перетаскалъ... Страсти! Но главное — либералы. Отъ нихъ все зло. Я, душа моя, помню, какъ они меня въ ту пору травили.

— Ну, ужъ и травили! Вѣдь у всѣхъ свои убѣжденія. Да и гдѣ же кого-нибудь травить — либераламъ! Даже въ лучшія времена ихъ травили, а не они.

— Нѣтъ, это аттѣндѣ. Я помню, какъ «онъ» меня на одну доску съ канальей-поваромъставилъ. И я стою, и поваръ стоитъ, а онъ... судить. Я, голубчикъ, тогда два дня со всей семьей безъ обѣда сидѣлъ, а потомъ вместо повара судомойку нашли.

— Да вѣдь это было сдѣлано по закону?

— Какой законъ? — книжка какая-то. Неужто законъ только въ пользу хамовъ? Нѣтъ, законъ — такъ законъ, а кромѣ того и Священное Писаніе: рабы да повинуются — вотъ это законъ!

Дядя помолчалъ съ минуту и потомъ съ азартомъ продолжалъ:

— А сколько твоя тетя въ то время вытерпѣла! Представь себѣ, никто не кланяется! Да этого мало: какъ ни придишь, въ лакейскую ли, въ дѣвичью ли — нѣть никого! «Гдѣ ты, шельма, была?» — Нужно же мнѣ погулять, человѣкъ тоже... Человѣкъ! Она — человѣкъ! мерзавка! А «онъ» щадить по своему участку и популярничаетъ. «Практоръ Ивановъ, здравствуйте!» — Это Пашкѣ-то! И вѣдь ни разу онъ ко мнѣ обѣдать не заѣхалъ: все на постоян-

лый дворъ, а тутъ, кетати, и распивочная продаажа... Пришельть мнѣ повѣстку—и я туда же бѣги! Наслыкашено, нагажено, въ сосѣдней комнатѣ мужичье чай и водку пить—срамъ! А онъ сидить и улыбается, и Прасковья Ивановна улыбается. Ахъ, что было, чтѣ было! Тяжело, мой другъ, и до сихъ порь тяжело!

Дядя снова смолкъ и скорбно склонилъ голову подъ гнетомъ горькихъ воспоминаний.

— А вы вѣщихъ сновь теперь не видите, дядя?—спросилъ я, чтобъ перемѣнить разговоръ.

— Нѣтъ, я нынче вообще сновь не вижу. Теперь мое дѣло вѣрное. И я поревновалъ, и за меня поревнуютъ. Не только обѣщали, но даже вѣрное слово дали. И знаешь, куда?—въ нашу губернію, въ самое что ни на есть гнѣзда!..

— Ну, дай вамъ Богъ!

Дядя позавтракалъ у меня и ушелъ. Недѣли двѣ я опять не видаль его, какъ вдругъ онъ приходитъ, разстроенный и смущенный.

— Опять этотъ сонъ!—вымолвилъ онъ глухимъ голосомъ.

— Дядя! вѣдь это несносно! Вы намѣренно разстраиваете себя!—разувѣрялъ я его.

— Вотъ увидишь!

Дѣйствительно, конкурентовъ на злачныя мѣста явилось такое множество, что всѣхъ «достойныхъ» было немыслимо удовлетворить. Пришлось принимать въ соображеніе стороннія ходатайства. За одного просила графиня Шассѣ-Круазѣ, за другого—баронесса Думкопфъ, за третьяго—самъ князь Сампантре, за четвертаго—желѣзнодорожникъ Губошлеповъ и т. д. Среди этой общей травли дядя быть незамѣтно оттергъ.

Онъ явился ко мнѣ и бросилъ на столъ бумагу.

— Нѣ, прочти!

Въ бумагѣ было изображено, что въ настоящую минуту для коллежскаго совѣтника Стрѣлова подходящаго мѣста въ виду не имѣется; но что заслуги его оцѣнены по достоинству, и, вѣроятно, въ неотдаленномъ будущемъ одна изъ первыхъ вакансій будетъ предоставлена ему.

— Да, держи карманъ! Нашли дурака!—воскликнулъ съ горечью дядя.—Что же, по-ихнему, я долженъ пропекаться въ Петербургѣ и ждать?.. Кукишъ съ масломъ! Жить цѣлый годъ на Мѣщанской, въ протухлыхъ номерахъ, и

каждый день шататься по канцеляріямъ... Мерси боку! И безъ того кучу денегъ прожиль, а теперь и еще. Нѣть, зло не въ либералахъ, а вотъ въ этихъ Сампантрѣ да Шассѣ-Круазѣ... Довольно съ меня. Я не ропшу, но... Видѣлъ къ себѣ милость генерала—ну, и будетъ! Надежду Михайловну жаль; она, бѣдняжка, думала хоть въ губерніи поселиться—и что-жь!

Дядя опять надолго исчезъ, сообщивъ, однако, канцеляріи свой адресъ. На всякий случай.

Къ сожалѣнію, на этотъ разъ я продолженія вѣщаго сна не видаль.

Въ третій разъ дядя пріѣхалъ въ самый разгаръ железнодорожной свалки.

Дѣятели того времени раздѣлялись на два разряда: на званыхъ, знатныхъ всѣ ходы и выходы, и на незваныхъ, явившихся внезапно, сбоку-припѣку. Послѣдніе принадлежали къ числу деревенскихъ жантильомовъ, прожившихъ выкупнныя свидѣтельства, продавшихъ «лишнія земли» и жаждавшихъ поправиться. Въ особенности выдѣлялись тѣ изъ нихъ, которые имѣли въ Петербургѣ такъ-называемую «руку»: старыхъ сослуживцевъ, родственниковъ и т. д.

— А чтѣ, не попытать ли отъ Углича до Попехонья дорожку провести?— мечтали они.— Миѳ тетя Аньота отхлопочетъ!

И жены принимали участіе въ этихъ мечтаніяхъ и усиленно поощряли ихъ.

— Конечно, поѣзжай,— говорили онѣ:— надо пользоваться; тетя Аньота теперь—сила!

Пускались въ ходъ послѣдніе гроши. Петербургское населеніе значительно увеличилось отъ наплыва искателей; гостиницы были полны. Жаждущіе наживы сидѣли по номерамъ, Ѳли шатобріаны и ожидали, предварительно иско-лесивъ весь городъ. Множество празднолюбцевъ ходило изъ дома въ домъ, изумляя тетенекъ и кузинъ неожиданностью проектовъ и повсюду суля участіе въ учредительскихъ паяхъ. Нѣкоторые даже успѣвали. Проекты ихъ, конечно, такъ и остались проектами, но тетя Аньота помогала пристегнуться къ какому-нибудь другому предпріятію, и, благодаря ея назойливости, празднолюбецъ уѣзжалъ домой не съ пустыми руками.

Многіе прожекторы изъ сосѣдей по деревнѣ и ко мнѣ тогда захаживали. Одни—съ готовыми проектами, другіе—

такъ, послушать, чтò умные люди говорять. Но изъ по-  
слѣднихъ рѣдкіе воздерживались. Посидѣть, поговорить,  
 выпить, закусить — и вдругъ:

— А что, ежели соединить Тверь съ Калугою желѣз-  
нымъ путемъ? Вѣдь препитательная вышла бы дорожка!

Присядутъ къ столу — и черезъ полчаса проектъ готовъ,  
благо разграфленная бумага для статистическихъ свѣдѣній  
продавалась въ изобиліи. Тотчасъ же всѣ графы наполня-  
лись словно волшебствомъ: сапоги, сапоги, сапоги! А изъ  
Корчевы — лапти.

Однажды, около одиннадцати часовъ утра, въ квартирѣ  
моей раздался звонокъ. Звонили громко, самоувѣренno, какъ  
звонятъ люди, у которыхъ въ карманѣ вѣрный проектъ.

Оказался дядя.

— Пріѣхали? — спросилъ я совсѣмъ некстати.

— Да, надоѣло хлопать глазами да облизываться. Вѣдь Губошлеповъ-то у меня десятникомъ на дорогѣ служилъ,  
а теперь, поди, какіе куски рветъ.

— Стало-быть, проекteцъ привезли?

— Такъ, лѣгонъкій. Но въ общей государственной сѣти  
необходимый. Отъ Нижнаго въ Харьковъ, а можетъ-быть,  
и дальше, коли Богъ поможетъ. Въ Бахмутъ, Кременчугъ —  
мало ли мѣсть найдется!

— Вотъ какъ!

— Да, это будетъ — дорога! Надо тебѣ сказать, что тѣ-  
перь главный торговый центръ не въ Москвѣ и не въ Пе-  
тербургѣ, а въ Нижнемъ. Тамъ сліяніе Оки съ Волгой,  
двухъ важнѣйшихъ водныхъ артерій; тамъ ярмарка, гдѣ  
встрѣчаются отдаленный Востокъ съ отдаленнымъ Запа-  
домъ, гдѣ можно найти все, чего только пожелаешь, отъ  
ювелирного украшенія, отъ точайшей кашемировой шали  
и изысканного наряда, которому позавидуетъ любая бле-  
стящая красавица, до лапти, котораго вожделѣть мужикъ.  
Оттуда, наконецъ, сибирскій трактъ. Скоро ли мы дождемся  
сибирской желѣзной дороги, а оттуда все везутъ да везутъ.  
Куда? — въ Москву, въ Петербургъ? — Но тамъ и безъ того  
своего довольно. Напротивъ того, Малороссія, съ Харько-  
вомъ въ центрѣ, даже въ гвоздѣ нуждается. Вотъ самый  
естественный истокъ. А въ Харьковѣ, въ свою очередь,  
хлѣбныя богатства, сало, шерсть — опять истокъ на сѣверъ,  
гдѣ въ этомъ нуждаются.

— Скажите на милость! — изумился я.

— А при этомъ дорога пройдетъ черезъ мое имѣніе;

стало-быть, и я останусь не безъ выгоды. Я, братъ, умненько все это подстроилъ. Сначала Горбатовъ, потомъ Муромъ (питательная вѣтвь въ Арзамасъ), Темниковъ, Шашъ, Спасскъ-Тамбовскій (питательная вѣтвь въ Ардатовъ), Моршанска... А оттуда сѣлаю въ Харьковъ. Кромѣ отправныхъ пунктовъ, сколько тутъ по дорогѣ добра найдется!.

— Да, пожалуй, и не увезете, ежели все...

— Увеземъ, не беспокойся! Пусть только разрѣшать. А не разрѣшить—нельзя: такъ все очевидно.

— Можно мнѣ полюбопытствовать?

— Съ удовольствіемъ, даже прошу. Я не дѣлаю изъ этого секрета, и ежели ты найдешь что-нибудь замѣтить, то говори прямо. Я буду даже благодаренъ. Ты прочтешь, другой прочтеть—смотришь, кто-нибудь и заинтересуется.

Черезъ часъ мы уже сидѣли за бумагами.

— Вотъ это объяснительная записка,— говорилъ дядя:— мы ее послѣ прочтѣмъ, а вотъ тебѣ карта дороги. Видишь: Горбатовъ, Муромъ, Темниковъ, Шацъ... Вотъ здѣсь Надежда Михайловна красный кружокъ поставила, а я его послѣ подчистилъ—это ваша Куриловка. Здѣсь предполагается устроить станцію съ буфетомъ и остановку въ 20 минутъ. Поѣзды будутъ такъ расписаны, что каждый будетъ у насъ или завѣракать, или обѣдать, или ужинать. А кому угодно чай или кофе пить—милости просимъ!.. Буфетъ будетъ содѣржать нашъ поваръ Акимъ, такъ что мы даже стола дома имѣть не будемъ, а все со станціи. Масло, молоко мы будемъ ставить на станцію свое; теляти, индюшекъ, гусей, поросятъ—все тащи на станцію. У насъ въ прудѣ крупные караси водятся, и ихъ, старики, туда же. А ягоды, овощи, фрукты,—всему найдется близкій и выгоднѣйший рынокъ. Кромѣ того: дрова, шпалы—все изъ собственныхъ лѣсовъ. А со станціи мы будемъ получать отмѣнѣйшее удобрение. Всякій поѣздъ что-нибудь унесетъ и что-нибудь оставитъ, не говоря уже о служащихъ. При станціи постоянный дворъ—опять сбыть, опять удобрение. Въ заключеніе, жетоны на даровой проѣздъ по желѣзнѣмъ дорогамъ цѣлаго міра—всему семейству. Я и тебѣ пришлю.

Я поблагодарилъ и невольно при этомъ облизнулся: такъ онъ отчетливо и вкусно все мнѣ объяснилъ.

— А теперь смотри: вотъ статистическія таблицы!—сказалъ онъ.

Онъ развернулъ листъ разграфленной бумаги, на которой я прочиталъ:

## НИЖЕГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА.

| Назв. мѣстностей.                       | Предметы перевозки.   | Пуд. | Фун. | Особ. при-<br>мѣчан. |
|---|---|------|------|----------------------|
| Nижній - Новгородъ<br>съ ярмаркой . . . | Рыбный товарь: осетри-<br>на, бѣлужина, севрюжина,<br>сельди, балыки, икра . . .  | 000  | 00   |                      |
|   | Щепной товарь . . . .   | 000  | 00   |                      |
|   | Кожевенный, сапожный<br>и шубный товарь . . . .   | 000  | 00   |                      |
|   | Дары Сибири и Урала:<br>пушной товарь, чай, зо-<br>лото, минералы, дичь и пр.   | 000  | 00   |                      |
|   | Произведенія Востока:<br>халаты, шали, термаламы,<br>ковры и проч. . . . .  | 000  | 00   |                      |
|   | Мануфактура: холсты,<br>полотна, ситцы, набойки<br>и проч. . . . .  | 000  | 00   |                      |
|   | Ювелирная и модная<br>издѣлія . . . . .   | 000  | 00   |                      |
|   | Монументы, памятники<br>старины и проч. . . . .   | 000  | 00   |                      |
|   | Пушные: медвѣжьи,<br>водочки и заячья шкуры . .   | 000  | 00   |                      |
|   | Рогожи, цыновки, моча-<br>ло, лыко, лапти . . . . .   | 000  | 00   |                      |
|   | Старопечатныя книги и<br>прочія принадлежности<br>раскола. . . . .  | 000  | 00   |                      |
| Семеновскій и Ма-<br>карьевскій уѣзда.  | Замки секретные и про-<br>стые, отмычки, ножи перо-<br>чинные, столовые и хлѣб-<br>ные, сошники, гвозди, сун-<br>дуки и проч. . . . . | 000  | 00   |                      |
| Горбатовскій уѣздъ.                     | Муромскіе огурцы . . .  | 000  | 00   |                      |
|   | Муромскіе разбойники .  | 000  | 00   |                      |
| Муромскій уѣздъ . .                     | Грибы всѣхъ сортовъ,<br>сушеные, соленые, маринованные и проч. . . . .  | 000  | 00   |                      |
| Арзамасскій уѣздъ.                      | Гуси . . . . .  | 000  | 00   |                      |
|   | Произведенія искусства. .   | 000  | 00   |                      |
| Темниковскій уѣздъ.                     | Телѣжные кузова, колеса,<br>деревянныя оси, мочало,<br>рогожи и проч. . . . .   | 000  | 00   |                      |
| Харьковъ и такъ<br>дале. . . . .        | Малороссійское сало,<br>хлѣбъ всѣхъ сортовъ,<br>скотъ . . . . .   | 000  | 00   |                      |
|   | Итого . . . . .   | 000  | 00   |                      |

Съ минуту стоялъ я очарованный. Не можетъ быть, чтобы такого проекта не разрѣшили,—думалось мнѣ. Мало-по-малу однако разсудокъ вступилъ въ свои права.

— Ноль-ноль-ноль! Какая же это статистика? — вымолвилъ я.

— Это, любезный другъ, не есть важно. У меня въ самой статистикѣ служить человѣкъ, который какія угодно цифры проставитъ, да и особыя примѣчанія напишетъ. Эти цифры, можетъ, хотя и противорѣчатъ официальнымъ даннымъ, но вѣдь всѣмъ известно, какъ у настѣ собирается официальная статистика; здѣсь же проставленыя цифры суть плодъ опытныхъ наблюденій, несомнѣнныхъ и вѣрныхъ... Вотъ онъ какъ напишетъ — и все будетъ прекрасно!

— О, коли такъ... Но почему же вы думаете, — Горбатовскій, напримѣръ, уѣздъ... почему вы предполагаете, что онъ *всѣ* свои замки повезетъ въ Харьковъ, а не въ Сибирь, не въ Алатырь, куда тоже, пожалуй, дорогу поведутъ?

— Непремѣнно въ Харьковъ. Торговля, душа моя, это такая вещь, что гдѣ вѣрнѣ и быстрѣ ожидается оборотъ, туда она и тянетъ. Вездѣ хоть гвоздь сдѣлать умѣютъ; вездѣ есть свои слесаря, а слѣдовательно и замки; въ Харьковѣ ничего и въ заводѣ нѣть. Есть только сало.

— Да, коли такъ, то дѣйствительно... Ну, а какъ насчетъ пассажирскаго движенія?

— Мужичья будетъѣздить пропасть. Вотъ первый и второй классы — эти будуть прихрамывать. Видишь, я не скрываю отъ тебя и слабыхъ сторонъ моей дороги.

— Но въ такомъ случаѣ нельзя ли устроить такъ?.. Просить — такъ просить. Объявить, напримѣръ, обязательнымъ, чтобы однажды въ годъ *всѣ* Харьковъ побывалъ въ Нижнемъ и *всѣ* Нижній — въ Харьковѣ. Ну, пикники, что ли, такие обѣ масляницѣ и Святой устроить...

— А въ имѣніи у меня полчаса остановки: блины, куличи, яйца... Да, это ид-де-я! Только трудненько будетъ ее провести съ нашимъ русскимъ сквалыжничествомъ. У меня, впрочемъ, тоже проектецъ про запасъ припасенъ, но ужъ не знаю...

— Въ чёмъ же онъ состоитъ?

— Да очень просто: обложить каждого пассажира обязательно по двугривенничку на предметъ вознагражденія заувѣчья и смерть. Необременительно, а для пассажировъ — прямая выгода: обеспеченіе въ будущемъ. Заувѣчья

будемъ платить по таксѣ; за смерть—смотря по человѣку. За крестьянскую бабу и ста рублей за глаза довольно.

— И выгодно это для васъ будетъ?

— Ничего, дѣтишкамъ на молочишко останется. Предположить, что по дорогѣ проѣдѣть—ну, мало триста тысячъ человѣкъ въ годъ. Съ каждого по двугривенному — это шестьдесятъ тысячъ рублей. А заплатимъ за увѣчья много-много пять тысячъ.

— Ахъ!

— Да, голубчикъ, на все требуется смѣтка, все нужно предвидѣть и взвѣсить зараныше — тогда и будетъ все ладно. А впрочемъ, соловья баснями не кормятъ. Пора и въ походъ.

Цѣлый мѣсяцъ послѣ того дядя прожилъ въ Петербургѣ, и я его видѣлъ только урывками. Вставалъ спозаранокъ, пилъ чай одинъ и исчезалъ на цѣлый день. Сначала онъ мнѣ кое-что рассказывалъ, но потомъ замолкъ. Стороной я слышалъ, что онъ былъ у Губошлепова, но тотъ отвѣчалъ, что у него своихъ дѣловъ по горло, а чужими заниматься недосугъ. Тогда дядя напомнилъ ему про былое.

— Чѣдѣ было, тѣ быльемъ поросло, — равнодушно отвѣтилъ ему Губошлеповъ: — вмѣстѣ горы рыли, и вы пользовались достаточно. А теперь я желаю.

Одинъ изъ бывшихъ сослуживцевъ, — теперь уже власть имущий, — къ которому онъ тоже явился, сказалъ:

— Проектъ твой превосходный, и я даже удивляюсь, какъ никому прежде не пришло на умъ... Харьковъ, Нижній — это именно... Къ сожалѣнію, ты опоздаешь. Наше казначейство такъ скучно средствами, что можетъ удѣлить намъ лишь нѣсколько миллионовъ въ годъ. Эти миллионы уже распределены на нѣсколько лѣтъ впередъ, и сѣть утверждена окончательно. Но послѣ, когда все предложенное будетъ выполнено, — милости просимъ!

— Но неужто-жъ нельзя... сверхъ того?

— Невозможно. Не вѣльно даже съ представленіями входить.

Дядя бросился къ евреямъ; но тамъ потребовали, чтобы онъ обрѣзался. Къ чести его я могу сказать, что онъ не согласился отступить отъ прародительскихъ вѣрованій.

Тогда онъ началъ искать, нельзя ли найти путь къ чьей-нибудь «любезненькой». «Любезненькую» нашелъ и даже порастрясь тамъ не мало денегъ. Надежды его оживились...

Но вдругъ онъ явился однажды утромъ къ чаю, махнувъ рукою и сказалъ:

— Сегодня уѣзжаю въ Муромъ!

— Чѣмъ такъ?

— Сонъ видѣлъ...

Наконецъ я видѣлся съ дядей на этихъ дняхъ. Онъ уже служить предводителемъ, извѣстенъ, какъ человѣкъ, который держитъ свое знамя твердо и грозно, и слухи о его благонамѣренномъ нахальствѣ доходили даже до Петербурга. Къ тому же, на этотъ разъ онъ поступилъ толковѣе: не побѣхалъ прямо мозолить глаза своимъ проектомъ, а послалъ его куда слѣдуетъ заблаговременно и успѣлъ заинтересовать. Послѣдовало приглашеніе прибыть въ Петербургъ.

— Тс... новость! — сказалъ онъ, явившись ко мнѣ на постой.

— Новости... изъ Мурома?

— А ты думалъ, откуда? Нынче и всѣ новости изъ Мурома да изъ Кирсанова. У насть — источникъ всего, а вы, петербургскіе, только пережевываете.

Затѣмъ онъ свезъ просвирку отъ муромскихъ чудотворцевъ и началъ свою пропаганду.

Проектъ его носилъ заглавіе:

## ВРЕМЯ НЕ ТЕРПИТЬ!!

Проектъ обновленія.

Въ сущности, это былъ проектъ всеобщаго упраздненія; но такъ какъ нынѣ всѣ уже согласны, что въ упраздненіи-то и заключается обновленіе, то терминология его была принята безъ особыхъ затруднений.

Онъ предлагалъ упразднить все: суды, земство, крестьянское самоуправлѣніе. Даже исправниковъ и становыхъ приставовъ. О кабакахъ говорилъ съ оговоркой: вредны, но на нихъ зиждится... Всѣ уѣзы онъ дѣлилъ на попечительства, по числу наличныхъ дворянъ-землевладѣльцевъ или ихъ довѣренныхъ, и съ подчиненіемъ всѣхъ попечителей предводителю. Въ рукахъ попечителей перепутана была власть судебнаго, административнаго и полицейскаго. Они завѣдывали народною нравственностью, образованіемъ, эрзацами, играми и забавами. Обязаны были устраниять вредные обычай и искоренять сквернословіе. Но преимущественно смотрѣть, чтобы мужикъ не лѣнился. Своевременно созывать сходки и объяснять крестьянамъ ихъ обязанности

и необходимость повиновенія. За хорошее поведеніе дарить мужикамъ кушаки, а бабамъ—платки.

Проектъ былъ простъ и ясенъ, какъ день, и потому не удивительно, что имѣль успѣхъ. Фамилія Стрѣлова повторялась въ салонахъ. Его приглашали, съ нимъ совѣщались. Дамочки называли его не иначе, какъ «le bourgeois bienfaisant». Но, сверхъ того, ему и пообѣщали. Замѣчательно, что и тутъ не обошлось безъ завистниковъ: кто-то шепнулся о срытой горѣ; но на этотъ разъ извѣстить не имѣль успѣха и даже былъ встрѣченъ съ нѣкоторымъ неудовольствіемъ.

— Всѣ въ свое время горы рыли!—отвѣчали извѣстчику. — То было время, а теперь — другое; господинъ Стрѣловъ понялъ это лучше, нежели кто-нибудь, и конечно...

Дядя ходилъ радостный и полный надеждъ. Проектъ его былъ пріобщенъ къ числу прочихъ, съ тѣмъ, что его примутъ въ соображеніе въ своемъ мѣстѣ и въ свое время. Пройдутъ десятки лѣтъ, народится новое поколѣніе, и какой-нибудь трудолюбивый собиратель старинныхъ курьезовъ прочтетъ его и напечатаетъ съ эпиграфомъ:

Вотъ какъ жили при Аскольдѣ

Наши дѣды и отцы...

Словомъ сказать, жизнь вновь улыбнулась дядѣ, какъ въ эпоху ранней молодости. Ни одного вечера не видалъ я его дома—все на раутахъ среди дамъ или въ мудрой бесѣдѣ со старцами.

Но здѣсь я долженъ оговориться и поспѣшить приведеніемъ этой исторіи къ концу. Исторія вообще (въ томъ числѣ и настоящая) обязана относиться къ современности сдержанно. Нѣть ничего раздражительнѣе, какъ современность, и историкъ напрасно будетъ усиливаться въ соблюденіи справедливости при оцѣнкѣ фактъ. Его всегда упрекнуть въ пристрастіи. Еще Гоголь сказалъ: напиши что-нибудь про одного титуллярного совѣтника—всѣ титуллярные совѣтники примутъ на свой счетъ. Точно такъ и тутъ: напишите какую угодно небылицу—всѣ современные небылицы въ лицахъ примутъ на свой счетъ.

Кончаю. Въ заключеніе скажу только, что дядя Захарьѣ теперь фигурируетъ въ губерніи, величается властѣвомъ, и солдаты на тюремной гауптвахтѣ выбѣгаютъ, когда онъ проѣзжаетъ мимо...

Вѣщихъ сновъ онъ не видѣтъ.

## Письмо девятое.

Въ пестрыхъ письмахъ было бы ненатурально не упомянуть о пестрыхъ людяхъ, заполонившихъ въ настоящее время вселенную. Исправляю въ этомъ письмѣ сдѣланный мною пропускъ.

Пестрое время, пестрые люди. Оттого и жить трудно стало; не на кого положиться, не во что вѣрить; вездѣ шатаніе, пустодушіе, пестрота. Чего не ждешь, тѣ именно и случится; отъ кого не чаешь — тотъ именно и стукнетъ тебѣ по темени. Дурное, спутанное время. Проворовались людишки, остатки совѣсти потеряли.

Общій признакъ, по которому можно отличать пестрыхъ людей, состоять въ томъ, что они совѣсть свою до дыръ износили. А взамѣнъ выросло у нихъ во рту по два языка, и оба лгутъ иногда по очереди, а иногда — это еще постыднѣе — оба заразъ. Жизнь ихъ представляеть перепутанную, безвязную и не согрѣтую внутреннимъ смысломъ театральную пьесу, содержаніе которой исключительно исчерпывается переодѣваніемъ. Всѣмъ они въ теченіе своей жизни были: и поборниками ежовой рукавицы, и либералами, и западниками, и народниками, даже «сицилистами», какъ теперь говорятъ. Но нигдѣ не оставили ни скрупула своей души, потому что оставить было нечего. Все ихъ искусство всегда состояло въ томъ, чтобы выждать потребный моментъ и какъ можно провориѣе переодѣться и затримироваться. Словомъ сказать, это вполнѣ оголтѣлые, въ нравственномъ отношеніи, люди, у которыхъ что ни слово, то обманъ, что ни шагъ, то вѣроломство, что ни поступокъ, то предательство и измѣна.

За всѣмъ тѣмъ необходимо различать три сорта пестрыхъ людей. Во-первыхъ, тѣ, которые сами себѣ выработали пестрое сердце и пестрый умъ и преднамѣренно освободили себя отъ всѣхъ стѣсненій совѣсти. Это коноводы и зачинщики. Они пишутъ передовыя статьи, шныряютъ по улицамъ, забираются въ публичныя мѣста, пишутъ доносы, проникаютъ въ переднія власть имѣющихъ лицъ — и вездѣ каркаютъ, вездѣ призываютъ кару. И въ либеральномъ смыслѣ каркаютъ, и въ ежово-рукавичномъ, хотя въ послѣднемъ уже по тому одному энергичнѣе, что самое представленіе объ ежовой рукавицѣ необходимо сплетается съ представленіемъ объ энергіи. По наружному виду ихъ можно

по временамъ принять за фанатиковъ убѣжденіе, но они просто фанатики казенного или общественного пирога. Злы они неимовѣрно, потому что хоть и въ формѣ робкаго шопота, а все-таки доходитъ до нихъ напоминаніе о предательствѣ. И вотъ, благодаря этимъ напоминаніямъ, рядомъ съ вожделѣніемъ къ пирогу, въ нихъ возникаетъ потребность отомстить за всѣ прежнія переодѣванія. А на комъ же слаше излить месть отравленной души, какъ не на бывшихъ случайныхъ единомышленникахъ, свидѣтеляхъ этихъ переодѣваній?

Во-вторыхъ, люди, которые пестрятъ ради шкурного спасенія. Собственно говоря, ихъ даже нельзя причислять къ категоріи пестрыхъ людей. Это не пестрота, а истязаніе, вымученный отвѣтъ на допросъ съ пристрастіемъ. Ужасно несчастные эти люди. Помните, я однажды разсказалъ, какъ свинья Правду чавкала, а Правда передъ свиньей запиналась, изворачивалась и бормотала. Такъ вотъ это самое и есть тотъ же процессъ. Изъ всѣхъ истязаній чавканье живого тѣла—самое ужасное, и потому люди, которые ему подвергаются, приобрѣтаютъ растерянный и испуганный видъ. По собственной иниціативѣ они не пестрятъ, а только поддакиваютъ. Но быть свидѣтелемъ этихъ поддакиваний—не дай Богъ никому.

Третій сортъ «пестрыхъ людей» представляютъ собой тѣ, которымъ фея жизни, при рождениі, пестрое ремесло, въ видѣ дара, въ колыбель положила. Таковы, напримѣръ, всѣ Молчалины. Всю жизнь они издерживаются на пестрыя дѣла, но что означаетъ эта пестрота, полезна она или вредна, и даже сопровождается ли какими-нибудь осознательными послѣдствіями и для кого именно—ничего не знаютъ. Большинство такъ и умираетъ, не догадавшись. Жалко этихъ людей, со стороны глядя, но сами они неудобства такого существованія не сознаютъ. Они обязательно принимаютъ пестроту къ исполненію и, исполнивъ, что по программѣ слѣдуетъ, обязательно же сдаютъ свою работу другимъ безсознательно-пестрымъ людямъ, а сами исчезаютъ въ могилѣ.

---

Первообразомъ пестрыхъ людей, разумѣется, служить индивидуумъ первой категоріи. Остальная двѣ категоріи составляютъ только естественный и неизбѣжный при-  
датокъ.

Первообразъ потому представляется наиболѣе мучитель-

нымъ и опаснымъ, что онъ былъ нѣкогда нашимъ сочувствователемъ и затѣмъ, совершивъ обрядъ переодѣванія, подкрался къ намъ внезапно и исподтишка впился своими когтями. Правда, мы и прежде замѣчали въ немъ наклонность къ переодѣваніямъ, но добродушно подсмѣшивались надъ нею, не придавая этому факту особенного значенія. Между тѣмъ эта наклонность росла и росла, и наконецъ выросла въ мѣру совершеннолѣтія. А я увѣренъ, что онъ и теперь, заглядывая по временамъ въ будущее, думаетъ: ежели «вѣяніе» и перемѣнится, то я всегда успѣю заново переодѣться и загримироваться.

И онъ загримируется, и опять все забудется, и опять мы отведемъ ему мѣсто среди «своихъ». Мы, люди убѣжденія, люди естественнаго и логического преуспѣянія, люди, беззавѣтно отдавшіе своей странѣ всѣ свои душевные помыслы и силы. Я не однажды ратовалъ противъ этой повадливости, но предостереженія мои не имѣли успѣха. Это, впрочемъ, и понятно. Честнымъ и убѣженнымъ сердцамъ столь же мало свойственны злопыхательство и мстительность, сколько они естественны въ людяхъ переодѣваній. Какъ я уже сказалъ выше, послѣдніе мстить не за обиды, которыхъ имъ никто не наносилъ, а за собственную душевную оголтѣость, за то, что есть живые свидѣтели этой оголтѣости.

Я живо помню время, когда впервые народилась идея хожденія въ народъ. Въ основѣ этой идеи лежала отнюдь не пропаганда «науки преступленій», какъ ябедничали тогда взбудораженные и еще полные жизненности крѣпостники (да не живы ли они и теперь?), а внесеніе луча свѣта въ омертвѣлую массы, подъемъ народного духа. Распространеніе грамотности и здравыхъ понятій о силахъ природы и отношеніяхъ къ нимъ человѣка — вотъ чѣмъ стояло на первомъ планѣ. Расскажите эпизоды этой печальной исторіи и подробности возбужденной ею паники любому культурному нѣмцу,— и вы увидите на его лицѣ только недоумѣніе. Онъ вспомнить свою добрую молодость, вспомнить, какъ онъ цѣльмъ обществомъ, съ посохомъ въ рукахъ, исходилъ пѣшкомъ всѣ уголки Германіи, посѣтилъ горы и долины, изучая родную страну и входя въ непосредственное общеніе съ ея народомъ. И непремѣнно скажетъ, что все это послужило къ пользѣ народной, къ поднятію общаго уровня народного самосознанія и къ освѣженію самой культурной среды.

Вѣроятно, изъ Германіи пришла и къ намъ идея хождѣнія въ народъ. И всѣ тогда сгруппировались вокругъ нея, всѣ горѣли нетерпѣніемъ и энтузіазомъ, и ежели не объявляли о своихъ намѣреніяхъ во всеуслышаніе, то единственно по привычкѣ опасаться, что всякое честное начинаніе искони является у насъ подозрительнымъ. Были въ числѣ энтузіастовъ и «переодѣватели», и наравнѣ съ прочими горѣли и плескали руками.

Я не принималъ въ этомъ движеніи непосредственного участія,—у меня было и есть свое собственное дѣло,—но всегда относился къ нему съ сочувствіемъ. Кромѣ прямой пользы для народа и для правящихъ классовъ, я не видѣлъ никакихъ угрозъ въ будущемъ. Находя по чистой совѣсти, что управлять народомъ, уже вступившимъ въ періодъ самосознанія, гораздо славнѣе и легче, нежели управлять полудикой толпой, гонимой страхомъ, я такъ, въ этомъ смыслѣ, и вель мою бесѣду съ читателемъ. Я никогда не претендовалъ на роль вожака; я уклонялся отъ разговоровъ о распределеніи богатствъ, предоставляемое рѣшеніе этого вопроса будущему; не говорилъ ни о нивелированіи, ни о крамольѣ, и даже не выражался, что мы танцуемъ на вулканѣ. Никакихъ вулкановъ я не замѣчалъ, да и теперь не вижу, хотя времени прошло съ тѣхъ поръ достаточно. Я призываю къ справедливости—только и всего.

Тѣмъ не менѣе известно, какъ встрѣчены были мои бѣсѣды и какихъ постыдныхъ издѣвокъ онѣ мнѣ стоили со стороны такъ-называемыхъ охранителей.

Но бодрые люди шли и шли. Въ числѣ ихъ внезапно, но, повидимому, вполнѣ искренно очутился и Семенъ Скорняковъ.

Скорняковъ былъ моимъ сверстникомъ по школьній скамьѣ. Въ школѣ онъ былъ скорѣе нелюбимъ, нежели любимъ, и нелюбимъ потому, что черезчуръ ужъ ласково глядѣлъ въ глаза начальству. Послѣднее благоволило къ нему и ставило въ примѣръ, исключая, впрочемъ, учителя латинскаго языка, который почему-то называлъ его крокодиломъ.

— Чѣмъ ты, крокодиль, все хнычешь (дѣйствительно, когда его обижали, то онъ не плакалъ, а хныкалъ)?—говаривалъ онъ.—Знаешь, какъ твои собратья изъ Нила купающихся ребятишь утаскиваютъ, гложутъ ихъ и при семъ хнычутъ? Такъ и ты со временемъ. Правду будешь глодать и хныкать.

И странное дѣло! когда учитель это говорилъ, то всѣмъ казалось, что Скорняковъ вотъ-вотъ сейчасъ захнычетъ. Но онъ въ отвѣтъ только застѣнчиво опускалъ глаза, точно просилъ у учителя прощенія, что огорчилъ его.

По выходѣ изъ школы, Скорняковъ, благодаря своимъ скучнымъ средствамъ, не послѣдовалъ примѣру товарищѣй, отдавшихъ себя въ жертву портнымъ и лихачамъ-извозчикамъ. По крайней мѣрѣ, этотъ угаръ ежели и былъ, то прошелъ въ пѣмъ очень скоро. Напротивъ, онъ выработалъ въ себѣ вкусъ къ книжкѣ, поступилъ вольнослушателемъ въ университетъ и черезъ два года сдалъ кандидатскій экзаменъ.

Вкусъ къ книжкѣ сблизилъ насъ, такъ что нѣкоторое время мы даже вмѣстѣ жили. Я тогда уже началъ писать, впрочемъ, только мелкія рецензіи. И Скорнякову доставалъ работу. То было время самаго разгара распри между западниками и славянофилами. Разумѣется, мы не были не только первостепенными, но даже третьестепенными дѣятелями въ этомъ движениіи, но все-таки слѣдовали за общимъ литературно-полемическимъ потокомъ. Я былъ горячій и искренній поклонникъ Бѣлинского и Грановскаго; Скорняковъ тоже выдавалъ себя за западника, но съ оговорками и какъ бы оставляя себѣ лазейку въ будущемъ.

— А община? — говорилъ онъ, многозначительно поднимая указательный перстъ.

Теперь все это до того стерлось, что самыя рубрики сдѣлались пустопорожними выраженіями. Теперь большинство славянофиловъ уѣдилось, что есть община и община; что община, на которой они созидали благополучіе и силу Россіи, не обезпечиваетъ ни отъ пролетаріата, ни отъ обидѣ, приходящихъ извѣй, что наконецъ будущая форма общежитія, наиболѣе удобная для народа, стоить еще для всѣхъ загадкою. Напротивъ, по странной случайности, бывшіе западники, ставши ближе къ кормилу, примирились съ общиной, потому что съ нею сопряжена круговая порука. Не нужно сложной мозговой работы, чтобы управлять.

Но тогда все кипѣло и рвалось сразиться...

Для Скорнякова однако-жъ западническое кипѣніе получило очень скорый, хотя и случайный конецъ. Умеръ его отецъ, и онъ вынужденъ былъ поселиться въ Москвѣ. Съ этихъ поръ для меня онъ надолго исчезъ. Повидимому, тутъ впервые у него зародилась мысль о карьерѣ. Въ Мо-

сквѣ онъ успѣлъ пріютиться подъ крыльшко одной изъ дамъ-патронессы, очень еще интересной старушки, и че-резъ нее пробился въ славянофильской кружокъ. И тутъ онъ выдающейся роли себѣ не нашелъ, а былъ только «вхожъ», — и за это спасибо. Славянофилы того времени были люди богатые, титулованные, имѣли въ Петербургѣ связи и родство и жили подъ прикрытиемъ митрополичьей рясы. Скорнякову не понравились, однако-жъ, ихъ напыщенность, чванство и семинарская надменность, но онъ рѣшился терпѣть во имя будущаго и вскорѣ сдѣлался ревностнымъ прозелитомъ. Писалъ въ «Москвитянинѣ» филиппики противъ западниковъ и громилъ послѣднихъ на чмъ свѣтъ стоитъ. Хомяковъ ему улыбался, Юрий Самаринъ подавалъ два пальца, Погодинъ показалъ свое книгохранилище (вмѣсто гонорара за статьи), Константинъ Аксаковъ цѣловалъ. Въ заключеніе патронесса опредѣлила его чиновникомъ особыхъ порученій къ важному лицу.

Здѣсь онъ чуть-было опять не сдѣлался западникомъ, потому что важное лицо не любило славянофиловъ и называло ихъ кутейниками. Но оно же не любило и западниковъ, подозрѣвая ихъ въ замыслахъ къ ниспрѣзарженію порядка. Поэтому Скорняковъ рѣшился сдѣлаться простымъ здоровымъ русскимъ человѣкомъ, такимъ же, какимъ былъ его начальникъ. Съ этой цѣлью онъ выработалъ себѣ особую русскую точку зрѣнія, въ основѣ которой лежало исполненіе предписаній начальства.

Въ это время судьба завела меня въ одинъ изъ отдаленныхъ уголковъ Россіи, где я пробылъ около восьми лѣтъ, забытый и оставленный. О Скорняковѣ, разумѣется, я никакихъ свѣдѣній не имѣлъ.

1856-й годъ опять насы столкнулъ. Пошли слухи обѣ эманципаціи, и оба мы ликовали, что наконецъ сравнялись съ Европой.

— Вотъ увидишь, какую роль будетъ играть наша община! — воскликнулъ онъ.

Мнѣ, впрочемъ, и самому начинало казаться, что община скажетъ что-то новое. «Упраздните крѣпостное право, и сейчасъ же на сцену выступить община!» — вотъ какъ тогда говорили всѣ и даже западники, которые стояли тогда во главѣ движенія и уже провидѣли удобство круговой поруки.

Когда все было кончено и новое «Положеніе» издано, Скорняковъ сталъ задумываться. Онъ уже высмотрѣлъ

исподволь людей, которые готовы были появиться на съезду для деятелям «Положения», и подъ рукой наводил справки.

— Знаешь ли что,— говорил онъ мнѣ:— не слишкомъ ли мы поспѣшили? То-есть, ты понимаешь, я совсѣмъ не въ томъ смыслѣ... Это дѣло святое, необходимое... но тѣмъ не менѣе годикъ-другой...

— Эй, Скорняковъ! Виляешь хвостомъ! — возражалъ я, вырочемъ, пимало не сердясь.

— Нѣтъ, совсѣмъ не то. Я только говорю, что бѣдные помѣщики... Вѣдь это все-таки представители нашей культуры...

Вдругъ онъ опять исчезъ изъ Петербурга. Одновременно съ этимъ исчезновеніемъ, на столбцахъ одной «уважаемой» московской газеты начали появляться размашистые статьи, въ которыхъ проливались слезы въ пользу бѣдныхъ помѣщиковъ, а о мужикѣ разказывались смѣшные, а отчасти и возмутительные анекдоты. Обвинялись по преимуществу мировые посредники, а за ними и всѣ вообще сочувствующіе новосозданному порядку вещей. Прямо говорилось, что они революціонеры, нивелляторы и подрыватели основъ. Прошли слухи, что въ составленіи этихъ статей, и не безъ косвенного поощренія, принимаетъ дѣятельное участіе Скорняковъ. Дѣйствительно, онъ былъ тамъ. Писалъ и спереди, и сзади; спереди—клеветать серьезно и убѣжденно, сзади—въ шутливомъ русскомъ тонѣ. Статьи эти были замѣчены.

— Вы имѣете перо,—прогудѣлъ ему нѣкоторый сановникъ:— держите его бодро на страхъ разрушителямъ и на пользу добрымъ порядкамъ. Это теперь нужно, нежели когда-нибудь.

Прошла читетайна реформа, но Скорняковъ не соблазнился ею. Онъ говорилъ, что дивидендъ—дѣло преходящее и немного даже зазорное, и что истинное его назначеніе—внутренняя политика, которая, конечно, вознаградить его превыше всякихъ дивидендовъ.

И онъ не ошибся. До тѣхъ поръ онъ былъ только многообѣщающимъ бутономъ, но невдолгъ этого бутонъ распустился въ пышный и далеко разливающій ароматъ цветокъ. Карьера его двинулась быстро и блестяще. Прежде всего онъ пошаль въ обруслители. Исполнялъ свято предначертанія, но въ то же время и самъ почтительно представлять соображенія. И дѣлалъ это такъ ловко, что предназначателю оставалось только сказать: «вотъ именно мой

мысль, вы именно угадали ее». За эту ловкость и скромность онъ получилъ, кромъ всего прочаго, хороший кусокъ пирога и увѣренность, что на будущее время онъ «необходимъ».

Вслѣдъ за тѣмъ онъ опять появился въ Петербургѣ и тутъ уже прогремѣлъ не на шутку. Имя его сдѣлалось страшно, и даже наружность измѣнилась. Лицо обрюзгло и получило коричневый тонъ, глаза горѣли плотоядно; голова сдѣлалася громкай и вылетѣла какъ изъ пустой бочки. Изъ крокодила благообразнаго выработалось настоящее чудовище. Онъ не перебѣгалъ съ одной стороны улицы на другую, какъ дѣлаютъ болѣе робкіе предатели, но шелъ прямо впередъ, выпячивая грудь, размахивая руками и изрыгая хулу. Однажды онъ встрѣтился со мной на Невскомъ, но даже не поздоровался, хотя мы много лѣтъ не видались, а только погрозилъ мнѣ пальцемъ. Стало-быть, даже относительно старого однокашника онъ уже не считалъ себя обязаннымъ стѣсняться. Любимою его поговоркою въ то время было: «насъ не обманешь, мы сами тамъ были», — и онъ повторялъ ее съ неизреченнымъ нахальствомъ человѣка, который вполнѣ убѣжденъ, что онъ до того негодяй, что можетъ сказать себѣ: ну, что-жъ, негодяй, такъ негодяй!

Какую массу злыхъ, постыдныхъ и, въ сущности, бесполезныхъ дѣлъ совершилъ онъ въ короткое время — это трудно перечислить. Плакали отцы, плакали матери, а онъ, сильный мѣднымъ лбомъ и съ камнемъ въ груди, шелъ дальше и дальше вглубь. Онъ достигъ того адскаго равновѣсія, что уже не мстилъ за свои прежнія переодѣванія, но указывалъ на нихъ какъ на подготовительный материалъ: вотъ, моль, черезъ какую школу я прошелъ! Сами товарищи по ремеслу дивились ему; нѣкоторые его сдергивали, но большинство благоговѣло передъ нимъ.

— Всякій изъ насъ, — говорили они: — имѣеть какую-нибудь личную исходную точку. Иной сводить счеты за прошлые обиды, другой — ради семьи хлопочетъ, третій — словесный интересъ стережетъ. У Скорнякова — ничего назади нѣтъ. Онъ одинъ какъ перстъ; въ прошломъ никто его не обидѣлъ, никто ничего у него не отнялъ; о сословномъ интересѣ онъ и не знаетъ... Это единственный, въ своемъ родѣ, образецъ опричника безпримѣснаго, надрывающаго себя ради цѣлей, имѣющихъ только абстрактное значеніе.

Судебная реформа тоже не обошлась безъ него; но, разумѣется, онъ предпочелъ стоячую магистратуру сидачей. Отмежевавши себѣ сферу внутренней политики, онъ обвинялъ безоговорочно, хотя болѣе бойко, нежели доказательно. Вместо доказательства и разбора побудительныхъ причинъ, у него были въ запасѣ завѣтныя слова, которыя заграждали уста защищать. И чѣмъ чаще пускаль онъ ихъ въ оборотъ, тѣмъ больше преусищѣвалъ.

— И ничего другого не нужно! — повторили хоромъ всѣ единомышленники: — коли любишь — прикажи, а не любишь — откажи. Безъ разговоровъ.

Только одинъ выжившій изъ ума членъ англійскаго клуба, кнізь Селищевъ, ничего не уразумѣлъ изъ рассказовъ про успѣхи Скорнякова, выразился:

— Нынче, куда ни посмотришь — вездѣ хамы да крашивое сѣма. Прежде были Кочубеи, Панины, Долгорукіе, Голицыны, а нынче — Скорняковы да Боголѣбовы. Хамъ онъ, вашъ Скорняковъ, оттого ему и везетъ! А скоро придется пора — и санкюлоты явятся. Са іра... Я ужъ десять летъ въ деревню поэтому неѣзжу и дѣтей за границей держу...

Конечно, Скорняковъ первый посмѣялся, услышавъ разсказъ обѣ этой кніжеской бутадѣ; однако, на всякий случай, помѣстилъ въ своей записной книжкѣ замѣтку: «кнізь Селищевъ — выжившій изъ ума старикъ, но дѣти его...»

Въ послѣднее время Скорняковъ, повидимому, угомонился. Приобрѣлъ прекрасійшее (хотя и не первенствующее) служебное положеніе и подаетъ мудрые совѣты. Но изъ всѣхъ его совѣтовъ самый ясный и отчетливый выражается въ двухъ словахъ: «искоренить и истребить». И ему внимаютъ, и, быть-можетъ, недалеко время, когда онъ...

Онъ помнилъ, что кнізь Селищевъ назвалъ его хамомъ, и крѣпко надѣется, что это званіе послужитъ ему рекомендательнымъ письмомъ. Но временамъ глаза его источаютъ блудящіе огни, и онъ безознательно бормочетъ: «буду — не буду, буду — не буду...»

Будетъ!

Вторая категорія пестрыхъ людей — это люди, замученные жизнью. Жизнь къnimъ пришла въ видѣ западни, изъ которой они не имѣютъ ни силъ, ни умѣнья выбраться. Попались и бются тамъ, не подавая голоса.

Въ послѣднее время такихъ людей развелось очень много. Всякій пестрый человѣкъ первой категоріи приводить за собой массу подневольныхъ. Живутъ они особнякомъ и при встрѣчѣ съ старыми знакомыми мгновенно исчезаютъ. Но что они переживаютъ, оставаясь одни сами съ собой... что переживаютъ! Каждый день приносить имъ къ исполненію новую измѣну, и каждый день они должны вынести эту измѣну на своихъ плечахъ, зная, что это измѣна, проклиная ее и все-таки прикованные къ ней несокрушимою цѣпью. Отбывъ дневную жизненную повинность и подводя ей итоги, они должны сознавать, что все ими сдѣланное чуждо ихъ убѣждению, что послѣднее затоптано въ грязь... какъ? почему?

А между тѣмъ это убѣженіе несомнѣнно существовало и даже нѣкогда составляло гордость и радованіе жизни. И какъ нарочно, въ тѣ скорбныя минуты, когда прошлое уже затмилось настоящимъ, когда оно поругано и побито, памятливая совѣсть всего охотнѣе возвращается къ этому прошлому. Припоминаются бывшія рѣчи, старые образы... все припоминается, все.

Ходить пестрый человѣкъ взадъ и впередъ по комнатѣ до усталости, до изнеможенія. Звонокъ. Пришелъ «посидѣть» знакомецъ изъ «новыхъ». Пришелъ, можетъ-быть, для того, чтобы испытать сердце человѣческое и потомъ сфикилить.

— Ну, вотъ, и вы съ нами,—говорить онъ:—не правда ли, такъ-то лучше?

— Да, да, и я... конечно, конечно... Надо же.

— А читали вы записку, которую подаль Л.?

— Да, да, читалъ... прекрасно, прекрасно.

— И какъ тонко дано почувствовать! И въ то же время горячо, съ огонькомъ!

— Да! тонко и въ то же время дѣйствительно... но, впрочемъ, намъ-то что-жъ!

— Какъ что-жъ? Мы вѣдь тоже въ этой колесницѣ зна-чимся! Дѣло, стало-быть, общее.

И такъ далѣе.

Посидитъ знакомецъ, выпить чашку чая и уйдетъ. А новообращенный сядетъ къ рабочему столу и начнетъ подготовлять работу къ завтрашнему дню. Изъ каждой строки этой работы явственно сочится одно слово: искоренить. Прежде онъ былъ сторонникъ и ревнителемъ женского образования, теперь — придумываетъ подвохи въ ущербъ

ему; прежде онъ видѣлъ въ свободѣ величайшее благо человѣческихъ обществъ, теперь — онъ называетъ ее не иначе какъ разнуданностью; прежде онъ признавалъ судь общественной совѣсти, какъ изилучшее мѣрило для оценки человѣческихъ дѣяній, теперь — онъ утверждаетъ, что въ основѣ этого суда лежитъ одна анархія. И онъ излагаетъ это отчетлисто, ясно, спѣша поспѣть къ сроку, ибо знаетъ, что завтра же всѣ эти новыя измышленія должны быть пущены въ ходъ. Одно только умѣряетъ его стыдъ — это нелѣпость написанного и надежда, что сама жизнь отвернется отъ нея.

Какимъ путемъ люди приходятъ къ такой раздвоенности мысли и чувства — все въ этомъ вопросѣ смутно и спутанно. Едва ли, впрочемъ, тутъ не играетъ значительной роли недостатокъ материальныхъ средствъ и происходящая отъ того зависимость. Многіе не придаютъ этому факту никакого значенія и даже не безъ презрѣнія отзываются о немъ. И въ большинствѣ случаевъ это презрѣніе идетъ отъ тѣхъ, которые исподлобья пускаютъ жадные взоры на видѣющійся вдали пирогъ. Но не нужно забывать, что бѣдность и недовольство выброшенныхъ судбою кускомъ есть фактъ до того безспорный, что ради него возникаютъ не только частныя преступленія, но общественная рознь, междуусобія и всевозможныя неурядицы. А еще менѣе надо забывать, что большинство людей состоять не изъ героеvъ, а изъ простыхъ смертныхъ. Тамъ, гдѣ герой возвышается до самоотверженія, простой смертный ограничивается однимъ сочувствіемъ, далѣе котораго его экспансивная сила не идетъ. Простой смертный есть зрителъ по преимуществу, и надо ужъ и то ставить ему въ заслугу, ежели зрешише самопожертвованія умилять и согрѣвать его сердце любовью къ ближнему.

Затѣмъ въ дѣлѣ подневольной апостазіи имѣютъ громадное значеніе жизненные ошибки. Служеніе убѣжденію не терпить суеты. Оно строго до неумолимости и въ своей логичности не пугается частныхъ крайнихъ выводовъ. Разъ допущенное уклоненіе уводить человѣка все дальше и дальше отъ предначертанной линіи, и возвратъ къ исходному пункту дѣлается не только труднымъ, но и немыслимымъ.

Всѣ, которые вышли вмѣстѣ, уже далеко, да и возвратный путь исковерканъ и заваленъ наноснымъ хламомъ до того, что нужны нечеловѣческія усилия, чтобы пробраться

сквозь трущобу. Приходится или оставаться на томъ мѣстѣ, гдѣ застало самосознаніе, и горько сѣтовать на свое легко-мыслѣ, или идти далѣе, все уклоняясь и уклоняясь, и совсѣмъ отдаваться въ жертву мамонѣ.

Наконецъ есть и третья причина: это внезапно охватившая общество со всѣхъ сторонъ паника. Законы, порождающіе панику и управляющіе ею, до сихъ поръ неизвѣстны. Она представляется намъ въ формѣ обезумѣвшаго пса, случайно сорвавшагося съ цѣпи. Она бѣжитъ впередъ, брыжжа бѣшеной слюною и изъязвляя всѣхъ, кто стоитъ на ея пути. Происходитъ общій переполохъ; со дна общества подымаются чудовища. Пареніе мысли, идеалы будущаго, чистота души—все погибаетъ въ этомъ адскомъ водоворотѣ, уступая мѣсто бѣшеному лаю и наглому смѣху остерьвившихся чудовищъ. И нужно громадную силу воли, чтобы устоять среди этой торжествующей душевной оголтелости и не сдѣлаться хотя невольнымъ ея сообщникомъ. Цѣлая масса сложившихъ оружіе идетъ за колесницей побѣдителей, осужденная на рабство. И если бы исторія не указывала на просвѣтъ изъ этой кромѣшной тьмы, то міръ давно быль бы отданъ въ жертву безнадежности и отчаянію.

Разумѣется, я указалъ здѣсь лишь на самыя характеристическія черты процесса превращенія. Существуетъ множество другихъ, второстепенныхъ и третьестепенныхъ, которыя присущи каждому отдѣльному индивидууму. Но главнымъ двигателемъ все-таки является отсутствіе героизма.

Спрашивается: что такое героизмъ?

Позволяю себѣ думать, что героизмъ представляетъ собой явленіе вполнѣ бесспорное лишь въ примѣненіи къ открытиямъ и изобрѣтеніямъ, которыя обнажаютъ тайны природы и дѣлаютъ ихъ доступными для человѣчества. Люди, совершающіе полярныя экспедиціи, проникающіе въ неизвѣданныя страны, люди, проливающіе свѣтъ и благосостояніе въ темныя народныя массы,—вотъ герои, которые, такъ сказать, пишутъ исторію человѣчества и производятъ въ его судьбахъ дѣйствительные повороты. Что же касается до героизма политического, то это — явленіе преходящее, вызываемое данной минутой. И, быть-можетъ, недалеко время, когда въ немъ не будетъ больше надобности. Исчезнуть истязанія, умолкнуть вопли—и тогда поистинѣ наступить «время, всѣхъ освѣщающее».

Третья категорія—это *plebs*, или, какъ говорять въ сельскомъ хозяйствѣ, живой рабочій инвентарь. Это—материалъ, который всякое новое вѣяніе находить готовымъ. Люди эти всѣмъ восхищаются, особенно стилемъ бумагъ и острою пера. «Вотъ такъ загнулы!» восклицаютъ они въ восторгѣ: «поди, расхлебай!» Сплошной массой наполняютъ канцеляріи, они до того сродняются съ атмосферой «своего мѣста», что перестаютъ даже различать, чѣмъ пахнетъ.

Грибоѣдовъ воспроизвелъ этотъ типъ въ своемъ бессмертномъ Молчалинѣ. Это человѣкъ, въ пеленкахъ познавшій натискъ судьбы и потому готовый отдать себя въ рабство кому угодно и куда угодно, готовый поклониться и истинному Богу, и пустому идолу, не имѣя ни способности, ни навыка проникать въ сущность вещей. Одно качество, которое до извѣстной степени смягчаетъ его суевѣю готовность—это отсутствіе злости. Все въ дѣятельности этихъ людей запечатлѣно неразумѣніемъ и твердой рѣшимостью удержать за собой тотъ нищенскій кусокъ, который имъ выбросила судьба. Это неразумѣніе, эта прирожденная, несознанная приниженність спасаетъ ихъ отъ проклятій.

Тѣмъ не менѣе виѣшніе признаки, въ которыхъ выражается то или другое вѣяніе, они отличаются прекрасно. Знаютъ, что Петръ Иванычъ—не то, чтѣ Федоръ Семенычъ, что каждый изъ нихъ «загибаетъ» по-своему, и что за каждымъ слѣдуетъ своя свита. Понимаютъ, что когда Петръ Иванычъ въ ходу, то Федора Семеныча съ его свитой слѣдуетъ избѣгать—и наоборотъ. Умѣютъ опускать очи при встрѣчѣ, дѣлать видъ, что не узнаютъ или не замѣ чаютъ, охотно прислушиваются къ слухамъ и въ особенности выказываютъ тревожное расположеніе духа передъ праздничками, когда Петры Иванычи смиряютъ Федоровъ Семенычей, а Федоры Семенычи—Петровъ Иванычей. Не то чтобы они видѣли впереди какую-нибудь угрозу—«безъ настѣ не обойдутся!»—говорятъ они съ гордостью,—но все-таки надо хотя накацуиѣ почиститься и перемѣнить бѣлье, чтобы хоть по наружности предстать въ новомъ образѣ.

Дѣятельной роли они не играютъ. Встаютъ съ мѣста, когда входитъ начальство, и садятся, когда оно уходитъ. Ежели начальникъ—бель-омъ, то они радуются; ежели начальникъ маленький и мозглый, то и тутъ не печалятся, а говорятъ: «птичка невеличка, да ноготокъ вострѣй». Всѣ начальники хороши, и все идѣть прекрасно въ наилучшемъ

изъ міровъ. Нерѣдко имъ приходится совершать дѣла прямо вредныя; но такъ какъ сущность вещей закрыта для нихъ, то они всю свою дѣятельность вообще прикрываютъ словомъ: «мѣропріятіе» и затѣмъ никакихъ душевныхъ тревогъ уже не ощущаютъ.

Ни въ обществѣ, ни въ публичныхъ мѣстахъ ихъ не встрѣтишь, кромѣ извѣстныхъ улицъ, которыя въ опредѣленные часы бываютъ запружены ими. Издали видно, какъ въ толпѣ людей всякаго наименованія спѣшишь маленький пестрый человѣкъ въ «свое мѣсто», чтобы за утро пустить нѣсколько стрѣль въ невѣдомое пространство. Куда летять эти стрѣлы, кого онѣ уязвляютъ—это тайна, въ которую онъ никогда не проникаетъ.

Дома онъ счастливъ. Рассказываетъ ходячіе канцелярскіе анекдоты и восхищается начальствомъ.

— Какая сегодня записка насчетъ либераловъ къ намъ отъ NN поступила—просто романъ!—сообщаетъ онъ женѣ.

— Расчухали наконецъ!—радуется и жена.

— Да, пора-таки, а не то... Вѣдь отъ нихъ все зло прошло!

И такъ далѣе.

По праздникамъ онъ рѣжетъ пирогъ той самой рукой, которая невѣдомо кому разбила существованіе. Ежели у него есть дѣти, то онъ радуется на нихъ и спрашиваетъ, хорошо ли учили уроки и довольны ли ими начальники. Этимъ людямъ никогда не приходитъ въ голову, что дѣти могутъ со временемъ ужаснуться той обстановки и тѣхъ разговоровъ, среди которыхъ они выросли. Вообще никакого представленія о той грызущей семейной боли, которая сторожитъ ихъ впереди, они не имѣютъ. Идутъ безъ ясно опредѣленной цѣли до тѣхъ поръ, пока боль сама не подкрадется и не заставитъ изойти кровью сердца ихъ. Вмѣстѣ съ этой болью подкрадутся и старческія немощи, и они будутъ изнемогать подъ этимъ двойнымъ бременемъ... опять-таки безъ разумѣнія.

И благо имъ, ибо разумѣніе не устраниеть и не утишаетъ болѣй, а только мучительнѣе и мучительнѣе растравляетъ сердечныя раны.

Въ сущности, это прирожденныя жертвы общественного темперамента. Общество искони воспитало въ себѣ особую среду и заранѣе обрекло ее. Выходъ изъ нея представляеть рѣдкую случайность, область которой нѣсколько расширилась лишь въ послѣднее время, благодаря большей доступ-

ности публичнаго образованія. Но въ то же время расширилась и область больныхъ мѣсть.

Повторяю: всѣ три категоріи пестрыхъ людей одинаково вредны, каждая въ своей сферѣ; но люди двухъ послѣднихъ не могутъ не возбуждать сожалѣнія, хотя бы съ той точки зреенія, что, въ качествѣ рабовъ, они несутъ только иго апостазіи, не пользуясь ея осязаемыми благами. Въ награду за эту отрицательную заслугу судь исторіи пройдетъ о нихъ молчаніемъ.

На этомъ я заканчиваю «Пестрыя письма».

# НЕДОКОНЧЕННЫЯ БЕСѢДЫ.

(1873—1884 гг.).

НЕДОРОГИЕ ПРИБОРЫ

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

## ГЛАВА I.

Пріятель мой Глумовъ—человѣкъ очень добрый, но въ то же время до крайности мрачный. Ни одной веселой мысли у него никогда не бываетъ, ни одного такъ-называемаго упованія. Еще будучи въ школѣ, онъ не питалъ ни малѣйшаго довѣрія ни къ профессорамъ, ни къ воспитателямъ. По выходѣ изъ школы, онъ перенесъ тогъ же безнадежный взглядъ и на болѣе обширную сферу жизни. Самое отрадное явленіе жизни, отъ котораго всѣ публицисты приходятъ въ умиленіе, онъ умѣетъ оципать и сократить до такихъ размѣровъ, что въ результатѣ оказывается или выѣденное яйцо, или пакость. На самыя свѣтлыя чаянія онъ въ одно мгновеніе ока набрасываетъ такой сермяжный мундиръ, что просто хоть не уповай! Это до такой степени тяжело, что когда онъ приходитъ ко мнѣ, человѣку «упованій» по преимуществу, то мнѣ положительно становится не по себѣ.

И не то, чтобы Глумовъ былъ обойденъ судбою, былъ бѣденъ или по службѣ терпѣль неудачи — нѣтъ, въ этомъ отношеніи онъ устроился очень удовлетворительно. А просто ропщеть — и все тутъ. Придетъ, сядетъ, задумается, обопрется головой объ руку и начнетъ черезъ часъ по ложкѣ задавать самые неожиданные, можно сказать, даже щекотливые вопросы.—Куда дѣвалось наше молодое поколѣніе? Отчего въ настоящее время люди такъ охотно лишаютъ себя жизни? Отчего у насъ нѣтъ критики? Правда ли, что на-дняхъ должно послѣдовать, въ административномъ порядкѣ, окончательное решеніе женскаго вопроса? Правда ли, что въ газетѣ «Чего изволите?» готовится рядъ статей объ учрежденіи единой и нераздѣльной желѣзнодорожной станціи? и т. д. По всѣмъ этимъ вопросамъ онъ разсуждаетъ пространно и озлобленно, и хотя я не разъ пытался поворотить его на путь упованій, но долженъ сознаться, что всѣ мои усилия въ этомъ смыслѣ остались тщетными.

Теперь я большею частью выслушиваю его молча и только въ случаѣ крайней необходимости играю роль актера, по-дающаго реплику.

Но, несмотря на постоянно придиричное настроение духа моего пріятеля, я считаю его человѣкомъ въ высшей степени для меня полезнымъ. Мы оба воспитывались въ одномъ и томъ же заведеніи, оба принадлежимъ къ школѣ сороковыхъ годовъ, но онъ пошелъ по пути озабоченія, а я—по пути упованій. Что-жъ! если намъ такъ нравится, то въ этомъ еще большой бѣды нѣтъ. Для меня даже удобно, что мы идемъ разными дорогами, потому что, при моемъ беспечномъ характерѣ, Глумовъ играетъ въ моей жизни роль *pmento mori*, возвращающаго меня къ чувству дѣйствительности. Повидимому, мое существованіе идетъ вполнѣ благополучно, ибо я постоянно живу въ сферѣ сладкой увѣренности, что со временемъ все разъяснится. Вчера я былъ въ Михайловскомъ театрѣ—видѣлъ «La fille de m-me Angot»; сегодня иду въ театръ Буффъ—увижу «La fille de m-me Angot»; завтра отправляюсь въ Мариинскій театръ—и опять возобновлю въ своей памяти «La fille de m-me Angot». Чѣмъ можетъ быть благополучнѣе этого не разнообразнаго, но зато совершенно вѣрного благополучія! Нѣть у меня ни митинговъ, ни парламентовъ, зато есть «La fille de m-me Angot» въ трехъ интерпретаціяхъ; а быть можетъ—на милость образца нѣтъ!—будетъ и «Tumbale d'argent». Хожу я безопасно по солнечной сторонѣ Невскаго проспекта и напѣваю:

*Pour qu'on admire tes appas,*

*Il faut que les tiens ne se montrent pas!*

—и вдругъ, несмотря на вполнѣ благополучіе, чувствую, что мнѣ чего-то хочется. Чего именно хочется—этого, по беспечности характера, я и самъ съ достовѣрностью опредѣлить не могу. Можетъ-быть, хочется парламента (съ жири какія фантазіи не забредутъ въ голову?); можетъ-быть, сѣсть чего-нибудь; можетъ-быть, опять послушать «La fille de m-me Angot» въ четвертой интерпретаціи; можетъ-быть, забраться въ какую-нибудь канцелярскую комиссию и тамъ заснуть... Но заснуть...

...не тѣмъ холоднымъ сномъ могилы,

а такъ, чтобы и день, и ночь надо мною заливались канцелярскіе соловьи...

И вотъ, въ эту-то тяжкую минуту недоумѣній, когда я отъ нечего-дѣлать готовъ освѣдомиться у первого встрѣч-

наго, на какой улицѣ помѣщается нашъ парламентъ, со мною равняется мой озлобленный другъ и озадачиваетъ меня вопросомъ:

— Да скоро ли же наконецъ начнется печатаніе ряда статей о единой и нераздѣльной желѣзнодорожной станці? Чѣм они мямлять!

Услышавши этотъ вопросъ, я вдругъ возвращаюсь къ чувству дѣйствительности и начинаю понимать, чего мнѣ хочется. Да, говорю я себѣ, не нужно для моего благополучія ни парламентовъ, ни митинговъ, ни земскихъ собраний! А нужно только, чтобы газета «Чего изволите?» каждый день неупустительно твердила мнѣ, что Россія тогда только будетъ счастлива, когда вполнѣ исчерпается вопросъ о необходимости учрежденія единой и нераздѣльной желѣзнодорожной станці.

«Господи!—думаю я;—сколько разнообразнѣйшихъ эпизодовъ заключаетъ въ себѣ этотъ, повидимому, бросовый вопросъ! У сколькихъ читателей можно будетъ вымотать душу, если умненько развивать его и не торопясь доводить до предѣловъ послѣдней ясности!»

Такъ вотъ обѣ этомъ-то пріятелѣ я и намѣреваюсь отъ времени до времени бесѣдоватъ, или, лучше сказать, не столько о немъ самомъ, сколько о тѣхъ мрачныхъ вопросахъ, которыми онъ имѣеть обыкновеніе возвращать меня къ чувству дѣйствительности. Если обстоятельства позволяютъ, я постепенно переберу большую часть занимавшихъ насъ вопросовъ, а чтобы не откладывать дѣла въ долгій ящикъ, начинаю теперь же съ одного изъ капитальнѣйшихъ: куда дѣвалось наше молодое поколѣніе?

На-дняхъ приходитъ ко мнѣ Глумовъ, какъ-то особенно мрачно настроенный. Садится, подпираетъ рукой голову, закуриваетъ сигару и начинаетъ исподволь рычать.

— Чортъ знаетъ чтѣ дѣлается! Отвратительно становится жить!—разражается онъ наконецъ.

Я сижу какъ на иголкахъ, въ ожиданіи, что вотъ-вотъ онъ сейчасъ огорошитъ меня.

— Правда ли,—говорить онъ наконецъ, съ трудомъ сдерживая свой гнѣвъ:—правда ли, что газета «Чего изволите?» предполагаетъ въ будущемъ году украшать столбцы полнымъ переводомъ заграничныхъ путеводителей Бедекера?

— Послушай, мой другъ! Отчего у тебя всегда такія унылые мысли?

— Гм!.. унылъя! почему же ты называешь ихъ унылыми?

— Потому что это наконецъ Богъ знаетъ какой отчаянnyй скептицизмъ! Кто же когда-нибудь сомнѣвался, что подъ тою или другой формой, а «Чего изволите?» *непремѣнно* напечатаетъ полный переводъ *всѣхъ* «путеводителей» Бедекера!

— Такъ, стало-быть, правда?

— Столъ же истинно, какъ и то, что вслѣдъ за Бедекеромъ предполагается перепечатать географію Ободовскаго со всѣми выпусками, сдѣланными цензурою въ первомъ ея изданіи!

Наступило нѣсколько минутъ таинственнаго молчанія, въ продолженіе котораго лицо моего друга дѣлалось все мрачнѣе и мрачнѣе. Ясно было, что эффектъ, произведенnyй на меня вопросомъ о Бедекерѣ, не удовлетворилъ его, и что онъ обдумываетъ средства такъ меня огорчить, чтобы я, какъ говорится, не усидѣть, не устоять. Наконецъ идея созрѣла. Онъ поднялся съ кресла и почти угрожающимъ тономъ обратился ко мнѣ:

— Ну, чортъ съ нимъ, съ Бедекеромъ! Нѣтъ, ты мнѣ вотъ чѣмъ скажи: куда дѣвалось наше молодое поколѣніе?

Переходъ былъ такъ неожиданъ, что по началу я не вдругъ собрался съ мыслями. Мнѣ показалось, что я не въ первый разъ слышу этотъ вопросъ, что и въ моей головѣ когда-то мелькало нѣчто подобное. Но отчего же вопросъ этотъ только мелькалъ и ни разу не нашелъ для себя ясной формулы? Оттого ли, что мысль моя слишкомъ робка и лѣнива для разработки подобныхъ сюжетовъ, или оттого, что самыи вопросъ неоснователенъ и не имѣеть никакихъ корней въ современной дѣйствительности?

Вскорѣ однако-жъ я оправился отъ смущенія. Обратившись къ своей памяти, я нашелъ въ ней такую безконечную вереницу молодыхъ адвокатовъ, молодыхъ земскихъ дѣятелей, молодыхъ бюрократовъ, молодыхъ фельетонистовъ (они же, по нуждѣ, и публицисты), что подозрительность моего друга-мизантрона показалась мнѣ просто смѣшнымъ парадоксомъ.

— А наши адвокаты?—началъ я.—Надѣюсь, что ты не будешь отрицать...

— Адвокаты, ты говоришь? Но развѣ ихъ можно называть представителями, а тѣмъ болѣе руководителями интеллигентіи? Люди, которые занимаются отниманіемъ чужой

собственности! Развѣ это свойственное «молодому поколѣнію» занятіе? Развѣ это занятіе вообще?

— Позволь! Ты сказалъ: люди, занимающіеся отниманіемъ чужой собственности! По-моему, это не совсѣмъ вѣрно. Есть, конечно, адвокаты, которые свою дѣятельность посвящаютъ преимущественно отниманію; но я увѣренъ, что есть многіе, которые занимаются не отниманіемъ, а только возвращеніемъ собственности отъ незаконнаго владѣльца къ законному!

— Во-первыхъ, разграничить это очень трудно, если не невозможно. Адвокатъ не исповѣдникъ, и самый честный изъ нихъ не можетъ поручиться, что ему известна интимная сторона дѣла, а между тѣмъ она-то, собственно говоря, и составляетъ настоящую суть. Поэтому ни ты, ни онъ не въ состояніи опредѣлить, гдѣ кончается «отнятіе» и гдѣ начинается «возвращеніе». А во-вторыхъ, это даже и не существенно для меня. Отнимаетъ ли адвокатъ собственность, или возвращаетъ ее,—все-таки онъ занимается ремесломъ, къ которому молодое поколѣніе, взятое въ смыслѣдвигающей интелигенціи, должно относиться совершенно безразлично.

— Но вѣдь если гражданскій судъ существуетъ, нельзя же его игнорировать, душа моя! Есть истцы, есть ответчики—не можетъ же общество...

— Обойтись безъ адвокатовъ? Совершенно вѣрно. Общество нуждается въ самыхъ разнообразныхъ профессіяхъ, я это понимаю. Но вѣдь есть безчисленное множество молодыхъ сапожниковъ, молодыхъ слесарей, молодыхъ золотарей,—и никому однako-жъ не приходитъ въ голову сопричислять ихъ къ «молодому поколѣнію»! А ежели говорить по совѣсти, такъ, пожалуй, эти почтенные ремесленники имѣютъ даже больше правъ на это название, нежели адвокаты. Ихъ мысль не изувѣчена, въ ихъ дѣйствіяхъ нѣть злости. Если сапожникъ шьетъ тебѣ сапоги, то онъ дѣлаетъ это безъ предвзятаго намѣренія устроить у тебя на ногахъ мозоли, между тѣмъ какъ большинство адвокатовъ именно одну мозоль и имѣть въ виду.

— Какъ хочешь, но это парадоксъ, шон cher!

— Очень возможно; но я того мнѣнія, что слово: «парадоксъ» глупые люди выдумали. Тѣ люди, которымъ не понутру истина и которые въ то же время не знаютъ, что возразить противъ нея. А, впрочемъ, парадоксъ такъ парадоксъ: меня, братъ, жалкими словами не огоршишь! По-

стараемся быть еще парадоксальнѣе. Хочешь ли ты, напримѣръ, знать, какое стариинное ремесло напоминаетъ мнѣ ремесло современныхъ русскихъ адвокатовъ?

— Любопытно...

— Ремесло непомнящихъ родства бродягъ. Эти люди никогда не могли определить себѣ заранѣе, гдѣ они проведутъ слѣдующій часъ или, по крайней мѣрѣ, слѣдующую ночь. Такъ точно и современный русскій адвокатъ: онъ никогда не можетъ сказать, въ какомъ вертепѣ проведеть слѣдующій часъ своей жизни, въ вертепѣ ли «возвращенія», или въ вертепѣ «отниманія».

— И опять-таки парадоксъ! Блестящій... но парадоксъ!

Мой другъ взглянулъ на меня удивленными глазами и потянулся за шляпой.

— Блестящій... но парадоксъ! — передразнилъ онъ меня: — и откуда ты выражаться такъ выучился? Ему дѣло говорить, а онъ: «блестящій... но парадоксъ!» И кто даль тебѣ право думать, что я желаю блестать передъ тобой? Прощай.

— Постой! Зачѣмъ уходить! Поговоримъ. Ты знаешь, du choc des opinions...

— Оставь!

— Ну, хорошо, хорошо! Не буду! Но согласись, что и между адвокатами... вѣдь не всѣ же чужую собственность... возвращаютъ! Я знаю очень многихъ, которые даже къ мысли о вознагражденіи относятся безъ особенной страсти, а просто увлекаются тонкостями ремесла. Юридическая практика, душа моя, представляетъ такой разнообразный міръ, который самъ по себѣ можетъ увлечь... право, даже независимо отъ вознагражденія!

— Ну?!

— Есть, братецъ, такие юридические вопросы, разрешение которыхъ даже въ общечеловѣческомъ смыслѣ далеко не бесполезно. Напримѣръ, представь себѣ, что я обѣщаю тебѣ подарить что-нибудь — что означаетъ это дѣйствіе? Представляетъ ли оно обязательство, или только обольщеніе? Въ законахъ-то, братъ, на этотъ счетъ бабушка на двое сказала, а между тѣмъ для человѣчества... Какъ же тутъ не увлечься... даже помимо мысли о предстоящемъ вознагражденіи?

— А я, стало-быть, долженъ разыгрывать роль апіата vilis, на которой ты будешь упражнять свою юридическую любознательность? Прощай.

— Да постой же. Ну, пожалуй, уступлю тебе адвокатовъ. Коли хочешь, уступлю еще бюрократовъ...

— Слава Богу, еще на двугривенный уступил!

— Ну, да, уступаю тебе и адвокатовъ, и бюрократовъ! Que diable! Въ самомъ дѣлѣ, какое же это «молодое поколѣніе»! Какую двигающую мысль они собой представляютъ! Одни исполняютъ предначертанія начальства, другіе находятъ болѣе выгоднымъ исполнять предначертанія своихъ клиентовъ! Да, я согласенъ: тутъ даже интеллигенціи нѣтъ никакой! Но что ты скажешь, напримѣръ, о нашихъ земскихъ дѣятеляхъ?

— Это о тѣхъ, что ли, что въ земскихъ-то собраніяхъ гудятъ?

— Гудять? — опять-таки рѣзкое выраженіе, и ничего больше. Гудять или не гудять — это вѣдь безразлично, мой другъ! Для насть важно одно: сила это или не сила?

— Сила... комариная!

— Комариная... позволь! Но вѣдь и комаръ иногда можетъ... вспомни-ка басню о комарѣ и львѣ!

— Такъ вѣдь тотъ комаръ умный былъ, онъ въ самую мякоть зальѣзъ, а наши земскіе комары и мѣстѣ-то такія излюбили, откуда ихъ всего удобнѣе смахнуть можно! Смахнуль — и нѣтъ его! Да и какое это «молодое поколѣніе»! Я, братъ, прошлымъ лѣтомъ въ «своихъ мѣстахъ» былъ, такъ на земское собраніе взглянуть полюбопытствовалъ: все подъ рядъ свое мериныѣ сидить.

— Ну, вотъ видишь, какъ же тебѣ не сказать, что ты парадоксы говоришь! Сивое мериныѣ!.. Но развѣ у стариковъ не могутъ быть молодыя мысли?

Но Глумовъ даже не отвѣтилъ на мой вопросъ. Онъ ходилъ взадъ и впередъ по кабинету, хмурия брови и что-то вполголоса напѣвая. По временамъ онъ останавливался противъ меня, вперялъ въ меня мутно-сосредоточенный взглядъ и какъ бы машинально произносилъ:

— Душка!

Однако я далеко не сознавалъ себя побѣженнымъ. Минѣ даже показалось нѣсколько обиднымъ, что онъ такъ легко относится къ моимъ мнѣніямъ. Душка! что это за слово! развѣ это опроверженіе! И я пустилъ ему въ упоръ:

— Такъ и земскіе дѣятели не угодили тебѣ! Отлично! Люди, которые такъ охотно сами себя облагаются сборами... которые такъ смѣло выразились по вопросу о всеобщей воинской повинности... Это не интеллигенція! И не забудь,

что независимо оть сейчасъ названныхъ вопросовъ у нихъ на плечахъ всѣ мосты и перевозы! И это не интелигенція... прекрасно! Чѣдже ты послѣ этого скажешь о нашей новой литературѣ? Надѣюсь...

— Надѣйся!

— Душа моя, это не отвѣтъ! Если ты хочешь диспутировать, то диспутируй серьезно! Прежде всего надо уважать мнѣнія своего противника!

— Хорошо. Хоть я и не согласенъ насчетъ «уваженія» (вѣдь уваженіе достается само собой, а не предписывается), но пусть на этотъ разъ будетъ по-твоему. Давай диспутировать. Хочешь ли ты знать, что такое твоя новая литература?

— Желаю знать.

— Изволь. Это средней руки кокотка, которая утратила даже сознаніе, что женщина легкаго поведенія больше, нежели всякой другой, необходимо соблюдать опрятность.

— Ого-го!

— Ты не думай однако-жъ, что я говорю это въ видахъ защиты старой литературы нашей. Я знаю, что литература у насъ во всѣ времена занималась гимнастикою недомолвокъ и изнурительнымъ переливаніемъ изъ пустого въ пурожнее. Но у старой литературы была известная опрятность, безъ которой податливая женщина дѣлается просто отвратительною. Она умѣла вѣремя остановиться, умѣла видѣть въ читатель честнаго человѣка. А нынче даже руководящій принципъ опрятности утратилъ свою обязательность.

— И опять-таки пара...—закинулся-было я, но, вспомнивъ, что употребленіе слова «парадоксъ» строжайше воспрещено, продолжалъ: — подумай однако-жъ, мой другъ, не отзыается ли такой взглядъ на нашу новую литературу слишкомъ исключительнымъ ригоризмомъ? Воля твоя, а это ригоризмъ!

— И «парадоксъ», и «ригоризмъ»—два родные братца. Впрочемъ, это я только къ слову, и если ты окончательно не можешь безъ того обойтись, то сдѣтай милость, уснащай свою рѣчь ригоризмами, парадоксами и вообще всѣми пустопорожними выраженіями, которыми такъ богатъ пѣнко-снимательный лексиконъ. Затѣмъ прошу тебя понять мою мысль. Я самъ не щепетиленъ, и ежели мнѣ приходится выбирать между славословіемъ и сквернословіемъ—я всегда предпочту послѣднее. Чѣдже дѣлать, таковъ, братецъ, духъ

русского языка! Сквернословие образяще, а образность— слабость моя. Поэтому я не о внешней опрятности говорю, которая может нравиться и не нравиться, но которая ни въ какомъ случаѣ не задѣваетъ внутренняго человѣка. Я говорю о той внутренней опрятности, которая заставляетъ человѣка если не бороться съ нечистоплотными мыслями, то, по крайней мѣрѣ, не такъ свободно выбалтываться!

— Примѣровъ, душа моя, примѣровъ!

— Примѣровъ? А какой афоризмъ выработала новѣйшая русская литература, въ качествѣ руководящаго жизненнаго принципа? Эта афоризмъ: «наше время—не время широкихъ задачъ». Развѣ это не довольно погано? Съ какимъ словомъ обращалась литература къ нашему «молодому поколѣнію»?..

— Вотъ видишь, ты, стало-быть, самъ признаешь, что у насъ есть молодое поколѣніе?—перебилъ я.

— Было, да сплыло... но не перебивай; обѣ этомъ рѣчь еще впереди... Итакъ: съ какимъ словомъ обращалась литература къ «молодому поколѣнію»? Съ словомъ глумленія и много-много съ словомъ дряблого соболѣзвованія! Укажи мнѣ на то увлеченіе, которое не было бы въ нашей литературѣ забрызгано грязью и не возведено въ квадратъ! Скажи, когда въ другое время литература, сколько-нибудь опрятная, позволила бы себѣ остановиться на мысли, что жизнь есть непрерывная игра въ бирюльки, и кто больше бирюлекъ вытащить, тотъ больше и заслужить передъ любезнымъ отечествомъ. «Наше время—не время широкихъ задачъ»! И это говорится въ такую минуту, когда ни широкимъ, ни какимъ задачамъ доступа въ литературу нѣтъ! Растолкуй, чтѣ это такое: отупѣлость, подвиливаніе или просто глупость?

— Но вѣдь нельзя же, чортъ побери, запрещать людямъ высказывать свои убѣжденія! Если мое убѣжденіе таково, что наше время—не время широкихъ задачъ, то почему же я, изъ-за какихъ-то ложныхъ опасеній, стану воздерживаться и насиовать себя?

— Да по тому же закону приличія, по которому ты воздерживаешься отъ нѣкоторыхъ естественныхъ отправлений въ публичныхъ мѣстахъ. Но если таково твое *убѣжденіе*...

— Постой. Я совсѣмъ не говорю, что это мое убѣжденіе. Напротивъ, я самъ всегда говорилъ, что приведенная тобой фраза черезчуръ уже рѣшительна. Я сознаюсь, что можно бы и другую форму употребить... а пожалуй даже

и никакой формы не употреблять... Но вѣдь ежели отбросить форму, ежели взглянуть только на сущность... согласитесь, qu'au fond il y a du vrai dans tout ceci!

Но онъ опять оставилъ мое возраженіе безъ отвѣта и молча ходилъ по кабинету, такъ что я имѣлъ нелѣпый видъ человѣка, говорящаго «мысли вслухъ», адресуемыя въ пространство. Можетъ-быть, его разсердила моя заключительная французская фраза. Онъ всегда говорилъ мнѣ, что я съ своими французскими фразами, пересыпанными «парadoxами», «ригоризмами» и проч., представляю счастливое сочетаніе кокодеса и пѣнкоснимателя. Какъ бы то ни было, но черезъ минуту послѣ того онъ вновь остановился противъ меня, вперилъ въ меня не то безпредметный, не то лукавый взглядъ и, ушищивъ меня за обѣ щеки (что дѣлать! ради старого товарищества, я даже эту фамильярность прощаю ему), произнесъ:

— Душка!

Потомъ, проскакавъ на одной ножкѣ изъ одного конца въ другой (что было въ немъ признакомъ рѣдкаго прилива веселости), подгѣвалъ:

Ахъ! не могу я не сознаться!  
Но и признаться не могу!

— Въ этихъ словахъ — вся суть современной русской литературы! — сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ. — Тутъ есть все: и малодушіе, исправленное малоуміемъ, и малоуміе, ищущее для себя смягчающихъ обстоятельствъ въ малодушіи!

— Но развѣ ты не знаешь условій нашей литературы. Развѣ не ужаснѣйшее это положеніе: надоѣно говорить, а говорить нельзя!

— Или, другими словами: хоть тресни, а говори! Прекрасно. Но въ такомъ случаѣ будь же опрятенъ. Не забѣтай, не заискивай! Не гаркай во все горло афоризмовъ, которые ничего, даже состраданія въ литературныхъ мечтатахъ, возбудить не могутъ!

— Согласись однако-жъ, что при необходимости говорить ежедневно не мудрено и прорваться!

— У кого есть въ головѣ царь, кто выработалъ себѣ известный взглядъ на общность жизненныхъ явлений, тотъ такимъ капитальнымъ образомъ не пропрется. Но довольно обѣ литературѣ. Резюмируемъ нашъ споръ. Изъ трехъ образчиковъ современного молодого поколѣнія, на которые ты указалъ, одни занимаются отниманіемъ чужой собствен-

ности; другіе представляють собой принципъ безсодержательнаго гудѣнія и комариной силы; третыи, наконецъ, провозглашаютъ: не торопитесь! ждите разъясненій! наше время—не время широкихъ задачъ! Гдѣ же молодое-то поколѣніе?

На этотъ разъ задумался и я. Во мнѣ происходила борьба. Съ одной стороны, слова этого лишеннаго упованій человѣка дѣйствовали на меня заразительно; съ другой—я никакъ не могъ побѣдить въ себѣ мысли: какъ же это такъ, каждый день я гуляю по Невскому и вижу прощать молодыхъ людей всевозможныхъ оружий,—и вдругъ вопросъ: куда дѣвалось наше молодое поколѣніе?

— Душа моя,—сказалъ я тоскливо:—да сообрази же ты, сдѣлай милость! Вѣдь если бы не существовало молодого поколѣнія, не прекратился ли бы человѣческій родъ?

— Чудакъ, развѣ я въ жеребачьемъ смыслѣ съ тобой говорю!—отвѣтилъ онъ мнѣ съ нетерпѣніемъ.—Я вѣдь знаю, что въ *производителяхъ* нигдѣ никогда недостатка не было!

Опять горькое сомнѣніе! Ужели вся эта молодежь, гремящая саблями о тротуары, наполняющая всплями наши суды, изливающая на всю Россію потокъ циркуляровъ, увлекающаяся вопросами о дареніи, обѣ одноутробіи, обѣ истинныхъ признакахъ излома, произносящая въ земскихъ собранияхъ угнетающія рѣчи о неизбѣжности мостовъ и переправъ, добросовѣстно переживающая въ литературѣ вопросы о необходимости ожидать дальнѣйшихъ разъясненій—ужели все это только производители, способные лишь на то, чтобы производить другихъ такихъ же производителей?

Если это такъ, если Глумовъ говорить правду, то чѣмъ же ожидаетъ насъ впереди? Не должна ли, при подобныхъ условіяхъ, самая исторія прекратить теченіе? Положимъ, что наше, то-есть нынѣ дѣйствующее молодое поколѣніе—отѣштое; допустимъ, что за него, въ смыслѣ двигающей силы, нельзя дать полъ-гроша, но въ такомъ случаѣ какъ же мы живемъ? Вопросы о неизбѣжности мостовъ и перевозовъ, о необходимости ожидать разъясненій—все это вопросы безспорно полезные, но развѣ ими человѣчество живеть и движется, развѣ они составляютъ содержаніе исторіи? Должна же быть гдѣ-нибудь эта необходимая двигающая сила! Быть-можеть, она скрывается въ школахъ; быть-можеть, разъединенная, но умудренная опытомъ, она продолжаетъ дѣло движенія, измѣнивъ лишь обстановку его и

набросивъ на него, до поры до времени, пелену непроницаемости?

— Есть у насть наконецъ цѣлый міръ учащихся! — рискнуль замѣтить я.

— Да, есть; есть учащие, должны быть и учащиеся.

— Неужели же ты и ихъ не причисляешь къ молодому поколѣнію?

— Вотъ видишъ ли, любезный другъ, я имѣю привычку говорить только о томъ, что доподлинно знаю, а развѣ можно что-нибудь знать объ учащихся! Учащееся поколѣніе находится въ аренѣ исторической жизни; въ массѣ это — материа́ль, на которомъ такъ или иначе можетъ отразиться духъ современности, но не агентъ этого духа. Взгляни на каплуновъ-пѣнкоснимателей современной литературы, вѣдь и они были когда-то учащимся поколѣніемъ и даже, пожалуй, горѣли антузіазмомъ къ Грановскому, — а что изъ нихъ вышло?

— Но если я не ошибаюсь, наша литература именно въ учащихся и видѣла «молодое поколѣніе», когда указывала на нѣкоторыя особенности современной русской жизни?

— Да вѣдь это, братецъ, дѣжалось для того, чтобы смѣшишь вышло. Въ послѣднее время наша литература поставила себѣ новую задачу: изобразить въ смѣшномъ видѣ всѣ цѣли, къ которымъ стремилась передовая мысль. Какимъ образомъ достичь этого? Заставить начальника отдѣленія разсуждать «о пищѣ» по Молешотту и «происходеніи видовъ» по Дарвину — пожалуй, выйдетъ и смѣшино, но смѣхъ надъ такими «особами» нежелателенъ. Заставить дѣйствительного представителя молодого поколѣнія о тѣхъ же предметахъ бесѣдоватъ — того гляди, не будетъ смѣшино. Стало-быть, лучше всего взять подростка и предоставить ему изъяснять своимъ родителямъ, что они отъ обезьяны происходятъ. И произительно, и смѣшино. Вѣдь я же говорилъ тебѣ, что новѣйшая русская литература есть средней руки кокотка, которая позабыла, что для нея прежде всего обязателенъ законъ чистоплотности!

— Однако нельзя же предполагать, чтобы литература такъ нагло лгала. Вѣроятно, было же нѣчто подобное, если даже наша нечуткая литература о томъ засвидѣтельствовала?

— Еще бы не было! Дѣло дѣтское. Но вѣдь подобные факты доказываются только одно: что въ обществѣ въ данный моментъ господствуетъ извѣстное направление. Если

въ обществѣ царствуетъ вкусы къ военнымъ упражненіямъ—дѣти маршируютъ, играютъ въ солдатики и бьются въ барабаны; если общество озабочено только огражденіемъ общественной безопасности—дѣти фискалья, науничиваются и т. п.; если въ общество проникаетъ стремленіе проверить авторитеты, дотолѣ руководившіе имъ,—дѣти начинаютъ объяснять родителямъ, что они происходятъ отъ обезьянь. Это вопросъ педагогический, а не политический; а потому тотъ, кто хочетъ рисовать общество, а не карикатуру на него, долженъ брать предметомъ для своихъ изслѣдований взрослыхъ, а не дѣтей.

Такимъ образомъ и эта попытка отстоять существованіе «молодого поколѣнія», въ качествѣ дѣйствующей, двигающей силы, рушилась. Нѣть молодого поколѣнія. Есть адвокаты, есть земскіе дѣятели, есть литераторы, сапожники, золотари, производители—все, что угодно, исключая «молодого поколѣнія»!

— Да вѣдь ты сейчасъ же самъ обмолвился, что оно было, это искомое «молодое поколѣніе»?—обратился я къ Глумову.

— Не «обмолвился», а говорилъ утвердительно, и теперь утвердительно повторяю: было!

— Гдѣ же оно?

— Это, братъ, исторія длинная и горестная. Можетъ быть, разскажу ее тебѣ—но въ другой разъ...

---

## ГЛАВА II.

Первый часъ утра; вслѣдъ за сильнымъ звонкомъ вѣзгаетъ въ мой кабинетъ Глумовъ, на лицѣ котораго я читаю, что онъ намѣренъ въ чемъ-то поймать или уличить меня.

Наканунѣ мы съ нимъ таки-поспорили. По обыкновенію, онъ предложилъ загадку: отчего умственный уровень упалъ вездѣ, во всѣхъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности, исключая желѣзнодорожной?—и по обыкновенію же я отвѣчалъ, что прежде надобно еще доказать пониженіе умственнаго уровня, а потомъ ужъ искать причину, такъ какъ, по мнѣнію моему, умственный уровень не только не понизился, но съ Божьею помощью идетъ все въ гору и въ гору. Въ подтвержденіе я сослался на музыку и ука-

заль на блестящую плеяду молодыхъ русскихъ композиторовъ, на ея стремлениѣ осмыслить міръ звуковъ, приспособить его къ точному выражению разнообразнѣйшихъ жизненныхъ функций, начиная отъ самыхъ простѣйшихъ и кончая самыми сложными.

— Прежде, — говорилъ я: — музыка выражала только неясныя ощущенія печали и радости, да и тутъ все зависѣло не столько отъ содержанія звуковыхъ сочетаній, сколько отъ замедленія или ускоренія темпа. Теперь же найдены такія звуковыя сочетанія, въ которыхъ можно уложить даже полемику между Сѣченовымъ и Кавелинымъ. И ты ни разу не ошибешься опредѣлить: когда полемизируетъ Сѣченовъ и когда — Кавелинъ.

— То-есть, тебѣ скажетъ Неуважай-Корыто: вотъ это поетъ Сѣченовъ, а это — Кавелинъ, — и ты долженъ вѣрить.

— Нѣтъ, не Неуважай-Корыто, а ты самъ поймешь, что Сѣченовъ — *basso profondo*, а Кавелинъ — *tenore di grazia*.

— Да вѣдь и Катковъ, братецъ, *basso profondo*!

— Ну, нѣтъ, Катковъ — это симфонія особаго рода!

Тѣмъ бы, можетъ-быть, разговоръ нашъ и кончился, но Глумовъ вдругъ запѣлъ. Сначала онъ прогремѣлъ коронаціонный маршъ изъ Мейерберова «Пророка», а вслѣдъ за тѣмъ проурчалъ нѣсколько тактовъ изъ *Vorspiel*'я къ «Каменному гостю». Продѣлавши это, онъ какъ-то злорадно взглянулъ на меня.

Признаюсь: при всемъ несовершенствѣ голосовыхъ средствъ Глумова, разница была такъ ощутительна, что мнѣ сдѣлалось неловко. Дѣйствительно, думалось мнѣ, есть въ этомъ *Vorspiel*'ѣ что-то такое, что скорѣе говорить о «посѣщеніи города Чебоксаръ холерою», нежели о сказочной Севильѣ и о той теплой, благоухающей ночи, среди которой такъ загадочно и случайно подкашивается жизненная мощь Донъ-Жуана.

— Да ты Неуважай-Корыто знаешь? — вдругъ спросилъ меня Глумовъ.

— Немногого знаю, а что?

— Ладно. Завтра скажу.

Онъ ушелъ, не произнеся больше ни слова. Теперь онъ явился.

— Идемъ! — сказалъ онъ, злорадно потирая руки,

— Куда? зачѣмъ?

— Говорю: идем!

Через четверть часа мы были въ квартирѣ Неуважай-Корыта. Я съ любопытствомъ осматривался кругомъ, ибо здѣсь, въ этихъ стѣнахъ, разрабатывался типъ той новой музыки, которой предстояло изобразить полемику Сѣченова съ Кавелинымъ. Лично Неуважай-Корто не былъ композиторомъ (онъ, впрочемъ, сочинилъ музыкальную теорему, подъ названіемъ: «Похвала равнобедренному треугольнику»), но былъ подстрекателемъ и укрывателемъ. Онъ осуществлялъ собой критика-реформатора, котораго день и ночь преследовала мысль объ упраздненіи слова и о замѣнѣ его инструментальною и вокальною музыкой. Мы застали его въ халатѣ, пробующимъ какой-то невиданный инструментъ, купленный съ аукціона въ частномъ ломбардѣ (впослѣдствіи это оказалась балалайка, на которой нѣкогда игралъ Микула Селяниновичъ). Это былъ длинный человѣкъ, съ длиннымъ лицомъ, длиннымъ носомъ, длинными волосами, прямыми прядями падавшими на длинную шею, длинными руками, длинными пальцами и длинными ногами. Халатъ у него былъ длинный, охваченный кругомъ длиннымъ поясомъ съ длинными кистями. Это до такой степени было поразительно, что самъ кабинетъ его и все, что въ немъ было, казалось необыкновенно длиннымъ.

— Вотъ тебѣ, Никифоръ Гаврилычъ, новый адептъ!— представилъ меня Глумовъ.

— Очень радъ! очень радъ! Мы немного знакомы, но на почвѣ музыки покуда еще не встрѣчались... позвольте привѣтствовать!

Онъ протянулъ мнѣ обѣ свои длинные руки и такъ сжалъ мои въ своихъ костлявыхъ пальцахъ, что мнѣ показалось, словно я попалъ въ передѣль къ самому «Каменному гостю».

— И скажу вамъ,—продолжалъ онъ:—что вы пожаловали очень кстати, потому что Василій Иванычъ здѣсь.

— Василій Иванычъ? кто же такой этотъ Василій Иванычъ?—легкомысленно спросилъ я.

Неуважай-Корто сначала удивился и даже откинулся корпусомъ назадъ, но потомъ вспомнилъ нѣчто, ударилъ себя по лбу и снисходительно улыбнулся.

— Да! что-жъ я!—воскликнулъ онъ:—я и забылъ, что вы новичокъ! Вы знаете Мусоргскаго, Римскаго-Корсакова, Кюи—и думаете, что съ васъ этого будетъ! Но мы, ба-

тенька,—совсѣмъ другое дѣло! Мы такъ легко не удовлетворяемся! Мы не отдыхаемъ-сы! Мы ищемъ—и находимъ-сы! И находимъ—Василья Иваныча-сы!

Сказавши это, онъ троекратно вздрогнулъ отъ наслажденія и началъ длинными ногами шагать по длинному кабинету, ежеминутно длинными руками отбрасывая назадъ длинные волосы.

— Да-сы,—продолжалъ онъ:—Василий Иванычъ—это, доложу вамъ, своего рода аэролитъ-сы! Бываетъ это! Бываетъ, что вокругъ царствуетъ полношее и гнуснѣшее затишье—и вдругъ словно камнемъ по лбу хватить! Это—Василий Иванычъ!

— Да что за Василий Иванычъ такой? откуда ты его выкопаъ?—заинтересовался Глумовъ.

— Ну, нѣть! Это покуда еще секретъ! Онъ у насъ еще подъ спудомъ! Вотъ мы его сначала выдержимъ, вышибли-фуемъ, а потомъ и отдадимъ Ларошамъ на поруганіе!

— По крайней мѣрѣ покажешь ты его намъ?

— Нѣть, и не покажу. Услышать вы его услышите, а видѣть—ни-ни. Вотъ онъ у меня здѣсь, въ этой комнатѣ, рядомъ. Съ полчаса тому назадъ онъ позавтракалъ и теперь спить. Вообще онъ ведеть удивительно правильную жизнь: половину дня ёсть и спить, другую половину на фортепьяно играеть. Представьте себѣ, онъ никогда никакой книги не читаль, кромѣ моихъ критическихъ статей да еще полнаго собранія либретто, изданного книгопродавцемъ Вольфомъ!

— Но ежели онъ ничего не читаль, то вѣдь умственный его кругозоръ...

— Долженъ быть ограниченъ, хочешь ты сказать? Я совершенно съ тобою согласенъ. Но мы нашли его такъ недавно, что ничего еще не успѣли сдѣлать для умственнаго его развитія; это придетъ со временемъ. Впрочемъ, дѣло не въ томъ, откуда онъ почёрнаетъ содержаніе для своего творчества, а въ томъ, что у него есть это содержаніе, и онъ относится къ нему вполнѣ правильно. Жизнь цѣлой вселенной есть не чтò иное, какъ безконечный контрапунктъ—вотъ исходная точка. До сихъ поръ онъ поднялъ только одинъ край завѣсы, онъ наблюль только простыя и несложныя явленія, но надобно видѣть, съ какою изумительною осязаемостью онъ ихъ воспроизвелъ! Засимъ, когда онъ отъ простыхъ задачъ постепенно будетъ переходить къ болѣе и болѣе сложнымъ, то самъ собою придется

и къ воспроизведеню безконечнаго: это ужъ наша забота, какъ направить его!

При этихъ словахъ онъ инстинктивно оттопырилъ губы и испустилъ звукъ въ родѣ трубного. Вѣроятно, подъ вліяніемъ идей безконечнаго онъ вспомнилъ о страшномъ судѣ.

— Онъ скоро проснеться! Вы услышите его!—продолжалъ онъ послѣ кратковременной остановки, подойдя къ спущенной портьерѣ и заглядывая въ соседнюю комнату.— Вѣдь онъ уже плюнуль—вѣрный знакъ, что скоро проснеться!

И дѣйствительно, не прошло минуты, какъ мы услышали такое чудовищное зѣваніе, что я разомъ перенесся воображеніемъ въ зало Маріинскаго театра въ одно изъ представленій «Псковитянки».

— Каковъ подшибъ зѣвоты!—воскликнулъ Неуважай-Корыто и вдругъ ударилъ себя по лбу:—ба! идея!

Онъ подбѣжалъ къ письменному столу и что-то нѣсколько написалъ на листѣ бумаги. Потомъ онъ взялъ этотъ листъ и поднесъ его къ моимъ глазамъ. Я прочиталъ: «Симфоническая рапсодія (A-dur): чиновникъ департамента разныхъ податей и сборовъ, зѣвающій надъ чтеніемъ музыкального обозрѣнія г. Лароша».

— Департаментъ разныхъ податей и сборовъ уже не существуетъ,—сказалъ я:—онъ распался на-двоє: на департаментъ окладныхъ сборовъ и департаментъ неокладныхъ сборовъ.

— Благодарю васъ, ваше замѣчаніе важнѣе, нежели вы полагаете! Мы обязаны изображать въ звуковыхъ сочетаніяхъ не только мысли и ощущенія, но и самую обстановку, среди которой они происходятъ, не исключая даже цвѣта и формы вицмундировъ. Все должно быть слажено такъ, чтобы никто не могъ уличить насъ въ клеветѣ.

Въ это мгновеніе изъ соседней комнаты донесся новый звукъ: Василій Иванычъ отдувался.

— Опять идея!—воскликнулъ Неуважай-Корыто, снова подбѣгая къ письменному столу.

Я прочиталъ: «Симфоническая идилія (F-moll): Ної, послѣ извѣстнаго злоупотребленія винограднымъ сокомъ, просыпается и не понимаетъ, что вокругъ него происходитъ».

— Это для Василія Ивановича?

— Да, для него. Разумѣется, постепенно. Сначала онъ обработаетъ тему о чиновникѣ департамента окладныхъ

сборовъ, а потомъ и къ Ною приступить. Кстати, не забыть бы, надо купить для Василія Ивановича Священную Исторію...

— Ты, братъ, съ картинками!—посовѣтовалъ Глумовъ.

— Господи! прости наши прегрѣшнія!—вдругъ раздалось въ сосѣдней комнатѣ.

— Слышите! слышите! кажется, онъ говоритъ!—какъ-то испуганно засуетился Неуважай-Корыто.

— Да; а что?

— Онъ никогда... никогда не говоритъ! Это новость! Василій Иванычъ! батюшка! чѣмъ съ вами?

— Му-у-у!

— Вотъ это—такъ! Онъ всегда выражаетъ свои ощущенія простыми звуками! Иногда это очень оригинально выходитъ. Однажды онъ вдругъ крикнулъ: «ЫЫ!»—и что бы вы думали: сейчасъ же послѣ этого сѣль за фортепіано и импровизировалъ свою бессмертную буффонаду: «Извозчикъ, въ темную ночь отыскивающій потерянный кнутъ!»

— И ты такъ-таки и не покажешь намъ автора этой бессмертной буффонады? — упрекнула Глумовъ.—Господи! хоть бы глазкомъ на него взглянуть!

— Нельзя, душа моя! Я тебѣ говорю: онъ подъ спудомъ у насъ! Пускай онъ тамъ, въ той комнатѣ, для насъ поиграетъ, а мы его отсюда послушаемъ! Василій Иванычъ!—крикнулъ онъ:—пришли господа, которые желаютъ вѣсть послушать! Сыграйте, голубчикъ! И знаете ли что: сыграйте-ка сначала «Пленьку»!

— Го-го-го!—откликнулся Василій Иванычъ.

Мы сѣли всѣ трое на диванъ: Неуважай-Корыто по серединѣ, мы съ Глумовымъ—по бокамъ. Раздался аккордъ.

— Слушайте! слушайте! дишканты! замѣтьте работу дишкантовъ!—шепнула намъ Неуважай-Корыто, сдерживая дыханіе.

Дѣйствительно, дишканты работали сильно; Василій Иванычъ необыкновенно быстро перебиралъ пальцами по клавишамъ верхняго регистра, перебиралъ—перебиралъ—и вдругъ простукаль нѣсколько нотъ въ басу.

— Это—няня Пафиутьевна!—шопотомъ объяснилъ Неуважай-Корыто.

Опять дишканты; щебечутъ, взвизгиваютъ и все словно на одномъ мѣстѣ толкуются, и вдругъ—бумъ!—опять няня Пафиутьевна! Бумъ-бумъ-бумъ!—и снова дишканты! Защебетали, застrekотали—бумъ!—и затѣмъ хаось... Руки за-

бѣгали по всей клавіатурѣ, отъ верхняго конца до нижняго—и наоборотъ...

— Поленька поссорилась съ Пафнутьевной...

Пауза. Неуважай-Корыто, не сводя глазъ съ портьеры, хватаетъ насъ обѣими руками за рукава сюртуковъ, какъ бы желаетъ воспрепятствовать, чтобы мы не ушли. Глумовъ открываетъ ротъ, чтобы сказать, но Неуважай-Корыто мгновенно закрываетъ ему ротъ рукою и дѣлаетъ головою жестъ не то умоляющій, не то приказательный. Пауза длится пять минутъ, послѣ чего игра возобновляется. Въ дѣлѣ принимаютъ участіе уже только двѣ самыя верхнія октавы, на пространствѣ которыхъ пальцы Василія Ивановича безъ устали переливаются изъ пустого въ порожнее; темпъ постепенно замедляется и впадаетъ въ арпеджіо.

— Поленька просить прощенія!—чуть дыша, произносить Неуважай-Корыто.

Бумъ!—Пафнутьевна не прощаетъ! Звуки сливаются: дишканты, басы, средній регистръ—все смѣшалось. Руки Василія Ивановича аккордами забѣгали по клавишамъ... бацъ!—кто-то всѣмъ тѣломъ сѣлъ на клавіатуру и извлекъ...

— Это примиреніе!—воскликнулъ Неуважай-Корыто и поднялъ такой громъ ладонями, что можно было подумать, что онъ у него костяниы.

— Каково?—обратился онъ къ намъ, когда въ сосѣдней комнатѣ водворилась тишина.

— Хорошо, братець!—отвѣтилъ Глумовъ:—только вотъ чего я не понимаю: почему это «Поленька», а не «Наденька»?

— Глумовъ! ты ничего не смыслишь! ты не понимаешь даже, что у Наденьки совсѣмъ другой музыкальный образъ, нежели у Поленьки! Наденька мечтательна и сентиментальна, Поленька—бойка и итрива. Наденька никогда не ссорится съ Пафнутьевной, Поленька—на каждомъ шагу! Наденька—F-moll, Поленька—C-dur. Неужели наконецъ это не ясно?

— Ясно-то ясно, а все-таки...

— Глумовъ! ты профанъ! Василій Иванычъ! душенька! Слышите, Глумовъ утверждаетъ, что это «Наденька», а не «Поленька»!

— Цыркъ!

— Вотъ видишь—онъ разсердился! И онъ не будетъ больше играть! Нельзя такъ, душа моя! Вѣдь онъ художникъ, онъ очень на эти вещи чувствителенъ!

— Цыркъ, цыркъ, цыркъ!—раздавалось за портьерой.

— Теперь—конечно, теперь—онъ ни за что не станет играть! А кто виноватъ? Нельзя такъ, мой другъ! Ежели ты ничего не смыслишь въ музыкѣ, то это тѣмъ меньше даетъ тебѣ право оскорблять человѣка... художника!

— Господи! да развѣ я памѣренъ? развѣ я знаю ваши обычай? Ты бы сказалъ, что сомнѣній не допускается! Хочешь, я у него прощенія попрошу?

— Хорошо, только это еще вопросъ! Онъ—художникъ, а для художника раскаяніе—еще не все! Не въ томъ дѣло, что ты просишь забыть о своей опрометчивости, а въ томъ, что тутъ есть прискорбный фактъ, котораго уничтожить нельзя! Это не какой-нибудь Мендельсонъ-Бартольди, у котораго (*«Гебриды»*) нельзя понять, море ли плещеть, или пьяные матросы покачиваются (однако и у него есть уже представлѣніе о *«качѣ»*!—прибавилъ онъ, приложивъ длинный палецъ къ длинному лбу): это Василій Иванычъ... понимаешь? Тотъ Василій Иванычъ, у котораго всякий звукъ такъ типиченъ, такъ ясенъ и реаленъ, что онъ имѣть полное право требовать, чтобы слушатель, безъ всякаго предувѣдомленія, прямо сказалъ: да! это она! это *«Поленька»*! И ежели нашелся слушатель, который этого не сказалъ, ежели...

— Постой, я все-таки попробую! Можетъ-быть, онъ и проститъ!.. Василій Ивановичъ, батюшка!—обратился Глумовъ по направленію къ сосѣдней комнатѣ:—по глупости вѣдь я! Ну, какая же это *«Наденька»*, ежели вы говорите, что это *«Поленька»*? Простите же, голубчикъ, да сыграйте еще что-нибудь!

Но Василій Ивановичъ ни однимъ звукомъ не отвѣтилъ на мольбу Глумова. Мы приняли бы это молчаніе въ неблагопріятную сторону, если-бы Неуважай-Корыто не успокоилъ насъ.

— Не цыркаетъ—значитъ, смягчается!—шепнуль онъ.— Самолюбивъ онъ у насъ—страшно! У всѣхъ этихъ художниковъ раны какія-то—точно подъ Севастополемъ они изувѣчены! Прикоснись только—бѣда! Просите, просите еще!

— Ты-то что-жъ стоишь! проси!—толкнулъ меня Глумовъ.

— Василій Иванычъ!—началь я:—за что же я-то наказанъ! Я-то собственно вѣдь ни на минуту даже не усомнился, что это *«Поленька»*!

— Му-у-у!—слабо раздалось по ту сторону портьеры.

— Ну, вотъ, слава Богу! отлегло!—болѣе знаками, чѣмъ

словами, объяснил намъ Неуважай-Корыто и, обратившись къ портьерѣ, громко прибавилъ:—Василій Иваныч! милейший! и въ самомъ дѣлѣ! сыграйте-ка... ну, что бы такое? Ну, вотъ хоть вашъ «симфонический tableau de genre»: «Торжество начальника отдѣленія департамента полиціи исполнительной по поводу получения чина статского совѣтника»... Сыграете?

— Го-го-го!

Мы опять въ томъ же порядкѣ усѣлись на диванъ; но Неуважай-Корыто выпятился нѣсколько впередъ и простеръ передъ нами руки.

— Начинается!—шепнулъ онъ.

Tremolo въ нижнемъ регистрѣ, потомъ tremolo въ среднемъ регистрѣ, наконецъ tremolo въ верхнемъ регистрѣ. Pianissimo, piano, sforzando, forte, fortissimo, потомъ diminuendo, piano, pianissimo—разъ десять одно и то же.

— Это онъ мечтаетъ. Что лучше,—спрашивать онъ себя:—чинъ статского совѣтника или орденъ святой Анны второй степени?.. Замѣтьте эту фразу: святы-ы-ы-ыя Анны-и! Замѣтьте, какъ онъ вдругъ обрубилъ: Анны-и!

Василій Иванычъ пальцемъ ударяетъ въ нѣсколькоихъ мѣстахъ по клавишамъ—это «переходъ». Затѣмъ слѣдуетъ трель, которая поперемѣнно продѣлывается во всѣхъ регистрахъ и изъ-за которой смутно выступаетъ какой-то мотивъ. Не то «Во лузахъ», не то «По улицѣ мостовой», не то «Шли наши ребята»...

— Онъ охоранивается передъ зеркаломъ... слышите: азз?—это щетка по головѣ ходить... А вотъ и пѣсни... слышите, русская пѣсня раздается?—это онъ дѣтство вспоминаетъ... Онъ—сынъ попа... слышите эту трель въ дишканту—это вица, вища свистить!

Минутная пауза («онъ идетъ въ департаментъ!»). Нѣсколько разъ сряду повторяется звукъ, образуемый двумя соединенными клавишами, ударяемыми одновременно («онъ пришелъ въ департаментъ и снимаетъ калоши... слышите, шлепаютъ!»), потомъ rrppr... («это сторожъ Михеичъ харкаетъ!») и вдругъ—бумъ! буми-бумъ! бумъ-бумъ!

— Директоръ звонить:—въ ужаѣ шепчетъ Неуважай-Корыто.

Coda; отдаленные звуки альпійскаго рожка и тирольской пѣсни... чокъ-чокъ-чокъ!

— Директоръ цѣлуется *etio*.

Sforzando, forte, fortissimo... Дишканты звенятъ, средній

регистръ подзваниваеть, басы рокочутъ... Общій торжественный гимнъ—во вся. Раздаются иѣсколько аккордовъ «Славяся!»—и утопаютъ въ невыразимой трескотѣ.

— Слышите: какофонія—это поздравляютъ его разомъ всѣ прочіе начальники отдѣленія, а также сослуживцы и подчиненные. Слышите: оттолчка въ басу?—это экзекуторъ! Но такъ какъ всѣ они не имѣютъ ни малѣйшаго понятія о правильной постройкѣ звуковыхъ сочетаній, то понятное дѣло, что хоръ выходитъ, какъ говорится, кто въ лѣсь, кто по дрова...

Первая часть кончена. Послѣ пятиминутнаго антракта начинается вторая часть. Я не буду, впрочемъ, слѣдить за игрой Василія Иваныча, а подѣлюсь съ читателемъ только объясненіями Неуважай-Корыта.

— Онъ возвращается домой и передаетъ женѣ о случившемся. Allegro energico, въ которомъ выражается *его* признательность начальству. Слышите? слышите? дишканты! дишканты! Это дѣти веселой гурьбой врываются въ комнату и поздравляютъ отца. Но вотъ и дѣти, и жена уходятъ; онъ остается одинъ. Чу! звуки пастушьей свирѣли Lentamente con tranquillenza. Опять отзывается прошлое. Воспоминанія плывутъ, плывутъ... Сѣрий домъ, нетопленная печь, отецъ—попъ, мать—попадья, на столѣ—полштофъ сивухи... Слышите: буль-буль—это они наливаютъ вино... А на дворѣ—онъ! Онъ засучилъ рубашонку и шлепаетъ по грязи... шлепы! шлепы! шлепы! Трахъ! полетѣли брызги—онъ упалъ въ лужу... слышите: въ дишкантахъ!—это брызги! Вотъ онъ барахтается, а въ это время издали доносится удалая пѣснь дѣячка, возвращающагося изъ кабака... Ближе, ближе—и вотъ...

Цѣлый громъ льется на насть изъ-за портьеры. Я прислушиваюсь и узнаю «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ»... Но подъ пальцами Василія Иваныча она скорѣе похожа на «херувимскую» Львова, нежели на разгульную бурлацкую пѣсню.

— Чи-рикъ! чи-рикъ!—продолжаетъ объяснять Неуважай-Корыто: — allegro giocoso... Это поздравляютъ департаментскіе сторожа. Слышите, какъ отбиваются нижнее do—это Михеичъ; а тамъ вверху, словно брызгами, вторить ему si-bemol—это разливается директорскій курьеръ Семенчукъ... Пятирублевая бумажка—замѣтьте, какъ мимоходомъ удивительно обрисованъ Дмитрій Донской!—полагаетъ предѣль этимъ восторгамъ. Общій гимнъ, на манеръ «Тебе Бога хвалимъ»...

Вторая часть кончена.

Часть третья. Содержаніе ея: пиршка по случаю получения чина статского советника. Подаютъ пирогъ («съ сгомъ и съ капустой! слышите! слышите, какъ заахло! слышите, какъ звякаютъ ножи и вилки, какъ сыплются на тарелки крошки сига, какъ чавкаетъ экзекуторъ Иванъ Михайлычъ?»). Чи-рикъ! чи-рикъ! Agitato. Входитъ отставной, похожій на старинной формы подсвѣтникъ, губернаторъ, находящійся двадцать лѣтъ подъ судомъ и пользующійся лишь половинной пенсіей. Выпивъ предварительно рюмку очищенной, онъ начинаетъ «рассказъ» о претерпѣнныхъ имъ бѣдствіяхъ.—Двадцать лѣтъ, говорить онъ, я былъ губернаторомъ и двадцать же (tremolo) лѣтъ нахожусь подъ судомъ! Самое дѣло о моихъ гнусныхъ преступленіяхъ прошло въ сенатъ, а меня все не рѣша-а-а-а-ють, и я все нахожусь на половинной пенсіи! И вотъ теперь, вмѣстѣ съ многими другими генералами, я состою въ качествѣ загонщика при Самуилѣ Соломонычѣ Поляковѣ («Замѣтьте этотъ разсказъ! онъ весь держится на одной нотѣ, то замедляемой, то ускоряемой!»)!—Милости просимъ, ваше прево-о-о-о-сходительство!—говорить виновникъ торжества:—хоть я и забылъ васъ пригласить, однако въ такой день и для незванныхъ кусокъ пирога найдется («Замѣтьте эту фразу: «Х’ть я и забы-ы-ылъ ва-асть притг’сить»... а какова язвительность этого sol-di ze! замѣтьте, какъ отодвигаются стулья, чтобы дать мѣсто новому гостю... тррр... трр... изумительно!»). Опять ъда; ножи звякаютъ, крошки пирога сыплются. Подаютъ шампанское. Василій Иванычъ по ту сторону, а Неуважай-Корыто по сю сторону портьеры подражаютъ губами хлонанью пробокъ. Входить еврей. «Насе вамъ поцтеніе!—подгѣваетъ Неуважай-Корыто:—кольцы, броски хороши и помада, и духи!» («Понимаете? это, собственно говоря, полемическій приемъ! Это Мендельсонъ-Бартольди и Мейерберъ... жиды!»). Жида обступаютъ, торгаются съ нимъ и въ заключеніе показываютъ свиное ухо. Жидъ убѣгаеть. Общий хоръ (alla capella), оканчивающійся приглашеніемъ на преферансъ.

Четвертая часть. Иванъ Михайлычъ объявляетъ семь въ червяхъ. Отставной губернаторъ подсматриваетъ въ карты и, видя, что Иванъ Михайлычъ принялъ туза пикъ за туза червей, провозглашаетъ: «вистую и приглашаю—въ темную!» Мгновенно обнаруживается роковая ошибка. Тріо: «онъ (я) безъ трехъ?»—къ которому незамѣтно присоеди-

няются голоса прочихъ.—Тррахъ!—раздается раздирающей уши звукъ...

— Конецъ еще не додѣланъ,—объясняетъ Неуважай-Корыто:—мы даже не знаемъ, слѣдуетъ ли остановиться на четвертой части, или написать еще съ десятокъ частей. Нѣкоторые изъ «нашихъ» говорятъ, что надо ограничиться четвертой частью, но Василій Иванычъ, а вмѣстѣ съ нимъ и я, полагаемъ, что необходимо продолжать. Не забудьте, что вслѣдъ за праздникомъ у виновника торжества должно послѣдовать приглашеніе отъ Ивана Михайлыча, у которого кстати жена родила, потомъ приглашеніе (на сѣледку) отъ находящагося подъ судомъ губернатора, гдѣ гости уличаются хозяина въ нечистой игрѣ въ карты; потомъ нашъ геройѣдетъ благодарить директора (который знакомить его съ своею женою), потомъ—министра, и наконецъ, поблагодаривъ всѣхъ, убѣждается, что ему ничего больше не остается, какъ благодарить Создателя. Ежели ограничиться только четырьмя частями, то придется все это оставить. Не правда ли, жалко?

— Да еще какъ жалко-то! Не оставляй! Слушай, у него поясница... надежная?

— Поясница у него—удивительная!

— Пусть продолжаетъ! пускай пишетъ всѣ десять частей!

— Василій Иванычъ, голубчикъ! вотъ и Глумовъ на нашей сторонѣ, онъ тоже говорить, что надо продолжать!

— Му-у-у!

— Итакъ, будемъ продолжать! — говоритъ Неуважай-Корыто, весело потирая руки.—А теперь, господа, не хотите ли чего-нибудь легонькаго, буфонаду какую-нибудь... напримѣръ: «Извозчикъ, отыскивающій въ темную ночь потерянный кнутъ»?

Но мы уже ничего не слушали. Мы нѣскоро простились съ гостепріимнымъ хозяиномъ, нѣскоро накинули шубы на плечи и выбѣжали на улицу.

Нѣкоторое время мы шли подавленные, ошеломленные.

— И ты не хочешь понять, отчего нынче такъ много самоубийствъ!—вдругъ обратился ко мнѣ Глумовъ.—Вотъ хоть бы этотъ самый Василій Иванычъ... Кѣкъ освободится онъ отъ этихъ звуковъ, которые со всѣхъ сторонъ осаждаютъ его, которые, какъ онъ ни бѣги отъ нихъ, все-таки настигнутъ его. Одно средство... прорубь!

### ГЛАВА III.

На этот разъ Глумовъ пришелъ въ настроеніе самообличенія.

— Да, братъ,—сказалъ онъ:—всѣ мы только по наружности обѣ какихъ-то новыхъ порядкахъ разглагольствуемъ, а разбери-ка хорошенько: вѣдь мы только и дышимъ тѣмъ, что въ нась отъ старой закваски осталось, да еще тѣми лазейками, которая эта закваска отыскиваетъ для себя въ такъ-называемыхъ новыхъ порядкахъ.

— Не черезъ край ли ты, однако-жъ, хватилъ?—возразилъ я:—вѣдь жить тѣмъ, что мы прячемъ, въ чёмъ не можемъ открыто сознаться—право, дѣло довольно трудное. Какъ бы ни сильно говорила въ нась старая закваска, мы все-таки чувствуемъ, что обнаруживать ее не совсѣмъ для нась удобно: какъ же жить, опираясь на такой сомнительный материалъ? Да и сама формальная обстановка современной жизни такъ ужъ сложилась, что волей-неволей приходится оставить старую закваску.

— Чѣмъ касается до того, что мы не имѣемъ смѣlosti открыто обнаруживать живущую въ нась старую закваску, то это обязываетъ нась совсѣмъ не къ тому, чтобы разстаться съ нею, а только къ тому, чтобы дѣйствовать исподтишка. Поэтому для своего прикрытия мы выдумали цѣлую безодержательную фразеологію; мы изобрѣтаемъ каждый день новыя обстановки, въ которыхъ новое представляютъ собственно только формы; однимъ словомъ, по-тихоньку блудимъ и пакостимъ въ руку старинѣ. И ежели все это, взятое вмѣстѣ, дѣйствительно представляетъ очень сомнительный жизненный материалъ, то усилія, которыя мы употребляемъ для огражденія его отъ погибели, все-таки доказываютъ, что онъ намъ дорогъ, несмотря на свою негодность. А что касается до вліянія формальной обстановки современной жизни, то само собой разумѣется, что я не полѣзу въ уѣздный судъ съ просьбой, коль скоро знаю, что уѣздные суды упразднены. Это такъ, это вліяніе я признаю.

— Послушай, вѣдь это у тебя ужъ привычка такая—все въ странномъ свѣтѣ представлять. Не одни уѣздные суды, а кой-что и другое. И даже не кой-что, а очень многое. Разумѣется, старики, вотъ какъ мы съ тобой...

— Да я обѣ старикахъ-то собственно и говорю, потому

что покуда они одни и стоять на виду. Чѣдъ будеть съ подрастающимъ поколѣніемъ, какъ будеть оно дѣйствовать и какія чувства проявлять—этого я не знаю, хотя приблизительно и могу догадываться, что оно будетъ лучше, да и ему будетъ лучше. Я говорю о дѣятеляхъ минуты—кто это дѣятели? Вѣдь это, братъ, мы съ тобой, мы, пропитанные насквозь преданіями крѣпостного права, мы, для которыхъ упраздненіе старыхъ судовъ, напримѣръ, означаетъ только, что отнынѣ до такой-то суммы человѣкъ мировому судью подсуденъ, а свыше этой суммы—окружному суду.

— Нѣтъ, съ этимъ я положительно согласиться не могу. Не говоря уже о томъ, что, кромѣ нась и нашихъ сверстниковъ, въ числѣ современныхъ дѣятелей найдется достаточно молодыхъ людей, почти чуждыхъ преданіямъ крѣпостного права, я утверждаю, что даже мы, старики,—да, и мы измѣнились къ лучшему. Скажу, напримѣръ, про себя. Конечно, отмѣна крѣпостного права встрѣчена была мною съ сочувствіемъ преимущественно съ точки зренія идеальной, какъ величайшая и либеральнѣйшая мѣра нашего времени; конечно, личные материальные мои интересы были настолько задѣты ею, что я... ну, да, я сознаюсь въ этомъ... я не могъ не почувствовать послѣдствій ея... Но вѣдь въ человѣкѣ есть умъ, душа моя, умъ, который доказываетъ, что въ известныхъ случаяхъ возврата не можетъ быть. Я понялъ, что личное чувство мое должно подчиниться... я убѣдилъ себя, я дѣлалъ въ этомъ смыслѣ усиленія.

— И успѣль въ этихъ усиленіяхъ?

— Да, успѣль.

— И никогда тебя не подымало дать подножку новымъ поридкамъ? Никогда, даже инстинктивно, ты не старался утянуть что-нибудь, устроить какую-нибудь возможность... ну, хоть возможность тыкать впередъ руками?

— Никогда!

Глумовъ посмотрѣль на меня не то проницательно, не то съ укоромъ, какъ смотрять на человѣка, отъ котораго не ждали, чтобъ онъ солгалъ.

— Ну, исполать тебѣ,—произнесъ онъ:—а вотъ я, постепенно обѣ себѣ размышляющи, знаешь ли, на какое открытие я набрель?

— На какое?

— А на такое, что и до сихъ поръ, несмотря ни на

какие новые порядки, нѣть для меня удовольствія выше, какъ на травлю смотрѣть.

— Какъ такъ?

— Да такъ вотъ. Люблю, братецъ, видѣть, какъ свя-  
занного человѣка бьють. Нѣть для моего нутра улади-  
тельнѣе этого зрелица! Искаженія человѣческаго лица,  
корчи, подавленные вздохи... прелестъ!

— Да гдѣ же ты ухитряешься нынче отыскивать по-  
добныя зрелица?

— Вездѣ, голубчикъ, на каждомъ шагу; а чтобы не за-  
хватывать слишкомъ широко, ограничимся хоть камeroю  
суда.

— Помилуй! отправленіе правосудія...

— Отправленіе правосудія—само собой, а травля—сама  
собой. Въ томъ-то и вещь, душа моя, что отправленіе-то  
правосудія интересуетъ меня на золотникъ, а отъ травли—  
у меня дыханіе въ зобу спирается. И я тоже думалъ, какъ  
крѣпостное-то право рухнуло: ну, думаю, пропали мы тѣ-  
перь! Теперь и досуговъ нашихъ дѣвать намъ некуда, по-  
тому что отнынѣ все на тонкой деликатности пойдетъ. И  
вдругъ меня словно озарило: сѣмъ-ка на уголовное судо-  
говореніе схожу. Пришелъ—и духомъ обновился: такъ на меня  
изъ старой кладовой и пахнуло. Боже ты мой, какъ они  
его били! Сперва вышелъ одинъ молодой человѣкъ—и  
смаху по щекѣ удариль; потомъ разбѣжался другой моло-  
дой человѣкъ—и вырвалъ клокъ волосъ; потомъ выступилъ  
развязнымъ шагомъ третій молодой человѣкъ—и запустилъ  
живого ежа въ глотку; четвертый молодой человѣкъ, ради  
шутки, всталъ сбоку—и облилъ помоями. Бойко, весело,  
остроумно, съ полной увѣренностью въ безнаказанности...  
ахъ, молодые люди!

Я молча выслушалъ эту діатрибу и нѣкоторое время  
раздумывалъ, что бы такое возразить. Мысль Глумова по-  
ражала странностью, почти неожиданностью. Я зналъ очень  
хорошо, что въ современномъ уголовномъ судопроизводствѣ  
дѣйствуютъ представители такъ-называемыхъ «сторонъ»,  
которые и устраиваютъ промежъ себя обвинительно-защи-  
тительный турниръ, но чтобы можно было по этому случаю  
набрести на мысль о «травлѣ»—это и въ голову мнѣ не  
приходило. Поэтому разоблаченіе Глумова произвело на  
меня отупляющее впечатлѣніе. Проявляя это впечатлѣніе,  
я не могъ, впрочемъ, не сознаться сейчасъ же, что и во мнѣ  
таится какое-то словно бы болѣзненное пристрастіе къ со-

временному русскому уголовному процессу. Тѣмъ не менѣе до сихъ поръ я старался объяснить себѣ это явленіе нѣ-которыми сочувственными мнѣ формами, въ которыхъ этотъ процессъ облечень: публичностью, скоростью, равноправностью обвиненія и защиты, наконецъ присутствіемъ присяжныхъ засѣдателей, выражавшихъ живую общественную совѣсть. И вотъ является человѣкъ, который говорить мнѣ: не то, совсѣмъ не отправлѣніе правосудія тебя занимаетъ, а травля! Конечно, Глумовъ преувеличиваетъ, но почему же однако, когда я прочитывалъ стенографические отчеты, напримѣръ, процессовъ супруговъ Непениныхъ или игумены Митрофаніи, у меня то и дѣло вырывались восклицанія: «молодецъ!» «хорошенько его!» «такъ его, такъ... катай!» Какое отношеніе имѣли эти восклицанія къ «отправлѣнію правосудія»? Не говорило ли во мнѣ въ этомъ случаѣ, наоборотъ, то животное чувство травли, которое заставляетъ человѣка сосредоточивать вниманіе исключительно на защитительно - обвинительномъ турнирѣ, совершающемся по поводу процесса, а не на содержаніи самого процесса или на предполагаемомъ исходѣ его?

— Да, братъ, люблю видѣть, какъ связанного человѣка бывать! — продолжалъ между тѣмъ Глумовъ, какъ бы отвѣчая на мои тайныя размышленія: — да вѣдь и вообще вся наша публика это любить и только іезуитствуетъ, ссылаясь на какой-то либерализмъ. Почему, изъ всѣхъ новшествъ современной жизни, она вполнѣ примирилась только съ преобразованнымъ уголовнымъ судопроизводствомъ? Почему ко всему прочему она отнеслась съ тревогой и даже съ желаніемъ подставлять ножку, а къ публичной уголовщинѣ стремится съ ненасытной жадностью, и ежели по временамъ и поворачиваетъ, то потому только, что суды-де воровъ и убийцъ слишкомъ часто оправдываютъ: нужно бы ихъ, канальевъ, въ три кнута! А потому, мой другъ, что только уголовная реформа не произвела въ русскомъ человѣкѣ внутренней ломки, что она одна не нарушила его инстинктовъ, одна дозволила ему остаться самимъ собою, то-есть тѣмъ же любителемъ травли, какимъ онъ всегда былъ.

— Душа моя! — собрался я наконецъ съ духомъ: — очевидно, ты смѣшиваешь травлю съ судоговореніемъ и въ тѣхъ спасительныхъ обвинительно-защитительныхъ пререканіяхъ, безъ которыхъ немыслимо произнесеніе правильнаго приговора, видишь...

Но онъ только махнулъ рукой, словно бы отогналъ докучливую муху, и продолжалъ:

— Знаешь ли ты, что я не пропускаю ни одного застѣнія, въ которомъ есть надежда услышать, какъ связанному человѣку кинуть публично въ глаза, что онъ воръ и злодѣй; что онъ былъ таковыи въ утробѣ матери и пребудетъ таковыи до могилы; что онъ попралъ законы Божескіе и человѣческіе; что онъ святотатственной рукой подорвалъ основы, на которыхъ зиждится общественность; что онъ оскорбилъ человѣческую совѣсть; что украденный имъ рубль вошѣть къ небу; что нужно немедля, сейчасъ же, сю минуту отсѣчь этотъ омерзительный, гангренозный членъ, дабы оградить общественный организмъ отъ ежечасно угрожающаго ему разложенія. Знаешь ли, что, слыша эти горячія слова, я чувствую, что кровь бѣТЬ въ голову, что еще одна минута, еще одно обвинительное усиленіе — и я зарычу, какъ скотина? Знаешь ли ты, что мнѣ даже этого мало, что я всѣ газеты перечитываю, чтобы быть, такъ сказать, очевидцемъ всякаго удара, наносимаго связанному человѣку по всему лицу нашего обширнаго отечества?

— Воля твоя, а ты на себя клеплешь,—прерваль я:—ты вообще человѣкъ неумѣренный въ выраженіяхъ, и вотъ...

Но онъ, опять-таки не слушая, продолжалъ:

— И никогда,—говорилъ онъ:—зрѣлище травли не было сопряжено съ такими удобствами, какъ теперь. И прежде русскій человѣкъ любилъ взглянуть, какъ бывать связаннаго человѣка, но онъ дѣлалъ это келейно, гдѣ-нибудь на конномъ дворѣ, а подъ конецъ, когда уже стали показываться признаки освобожденія, то началь понимать, что такого рода зрѣлища даже не безопасны. И прежде почтеннѣйшая публика охотно смотрѣла на развязку уголовной драмы, въ видѣ торговой казни на площади, но при этомъ она вынуждалась вытерпѣть множество неудобствъ: спозаранку встать, стоять и ждать на открытомъ воздухѣ, подвергаясь неблагопріятнымъ атмосферическимъ вліяніямъ, видѣть обнаженную спину осужденнаго, наблюдать, какъ плеть, свистя въ воздухѣ, симметрически укладывается одинъ рубецъ подъ другого, пока не образуется сплошной кровавый полумѣсяцъ, и проч., и проч. Все это воздерживало отъ зрѣлищъ, налагало на охотниковъ узду. Теперь это дѣло обставлено удивительнѣйшимъ комфортомъ. Утромъ ты встаешь въ свое время, не торопясь пьешь чай, прочиты-

ваешь газету и въ урочный часъ отправляешься въ судъ. Тамъ ты въ теплой комнатѣ, сидишь на скамьѣ, даешь своему тѣлу то положеніе, какое находишь для себя удобнѣйшимъ, ищешь въ толпѣ знакомыхъ, разсуждаешь, споришь, шутишь. Тссс... вдругъ все замерло! Это онъ... Это «связанный человѣкъ»! Онъ еще не осужденъ, онъ предполагается еще невиннымъ, но по унынію, разлитому въ его лицѣ, ты замѣчаешь, что онъ смутно о чёмъ-то догадывается, нѣчто предчувствуетъ. И точно: подожди часъ другой, и по тому, какъ онъ замечается и скорчится на скамьѣ своей, ты убѣдишься, что самыя горькія его тревоги были ничто въ сравненіи съ огоршившею его дѣятельностью. А! ты еще не осужденъ! ты еще предполагаешься невиннымъ! Такъ вотъ же тебѣ, вотъ! вотъ! вотъ!

— Но надобно же, чтобы общество въ лицѣ...

— Постой! знаю я и «общество», и «въ лицѣ» — все знаю. Дай кончить. Корчится «связанный человѣкъ», а между тѣмъ ты не видишь ничего рѣжущаго, ничего бьющаго въ глаза, ничего такого, чтѣ могло бы видимымъ, осознательнымъ образомъ быть причиной этихъ корчей. Передъ глазами твоими нѣть ни обнаженной спины, ни кроваваго полумѣсяца, ничего такого, чтѣ нѣкогда заставляло «даму пріятную во всѣхъ отношеніяхъ» опускать стыдливо глаза. Теперь она можетъ дать волю и зрѣнію, и слуху, потому что дѣйствующимъ лицомъ въ новѣйшей травлѣ является не плеть, а психологія. Подъ дѣйствіемъ ея, обвиняемый (не обвиненный, а обвиняемый!) обливается потомъ, блѣднѣеть, краснѣеть, бросаетъ то умоляющіе, то дурацки-угрожающіе взгляды... «Чтѣ, если этой психологіи повѣрять? — мерещится ему: — чтѣ, если мой защитникъ въ отвѣтъ на эту обвинительную психологію не выдумаетъ такой же защитительной психології?» А ты, едва сдерживая дыханіе, не пропускаешь ни одного моментального подергиванья мускуловъ лица, которое обличаетъ разнообразныя нравственныя судороги, *ею* обуревающія, — и тебѣ не стыдно, и ты не опасаешься, что тебя уличать въ звѣрскихъ инстинктахъ, какъ уличали (хоть изрѣдка, да уличали!) нашихъ отцовъ, когда они злоупотребляли помѣщичьей властью. Вотъ видишь: прежде все-таки хоть особенный видъ преступленія былъ, называвшійся «злоупотребленіемъ помѣщичьей власти» и именно означавшій неумѣренную страсть къ травлѣ, а вынѣ даже и этого нѣть. Да и кому же, въ самомъ дѣлѣ, придется на умъ вы-

думать такой видъ преступлія, который назывался бы «злоупотребленіемъ хожденія въ суды для присутствованія при уголовныхъ судоговореніяхъ»?

Онъ остановился наконецъ, чтобы перевести духъ.

— Ну, вотъ видишь ли,—поспѣшилъ я воспользоваться этой паузой: — самъ же ты говоришь, что нѣтъ ни обнаженной спины, ни крови, и хоть, по словамъ твоимъ, все это съ избыткомъ возмѣщается психологіей, но я убѣжденъ, что внутренно ты все-таки согласишься, что тутъ есть разница...

— Разница, разумѣется. Во-первыхъ, психологія казнить обвиняемаго, не вынуждая его осужденія, а во-вторыхъ, она принимаетъ въ расчетъ брезгливость «дамы пріятной во всѣхъ отношеніяхъ» и освобождаетъ ее отъ обязанности выказывать хотя внѣшніе признаки стыда. Разница капитальная.

— Любезный другъ! я не обѣ дамъ пріятной во всѣхъ отношеніяхъ говорю: и ей, и тебѣ вольно присутствовать или не присутствовать при уголовномъ судоговореніи. Но я утверждаю, что психологія, какъ средство разобраться въ многоразличіи признаковъ, сопровождающихъ преступленіе, есть все-таки прогрессъ сравнительно съ тѣмъ дѣйствіемъ дикаго самовластія или уединенной канцелярской казуистики, которая еще такъ недавно творили судъ и расправу по всему лицу земли русской.

— И которые... впрочемъ, не будемъ вдаваться въ полемику съ «временами возрожденія»... Ты ошибаешься, мой другъ! Психологія въ смыслѣ орудія травли—не только не прогрессъ, но шагъ назадъ. Она менѣе убѣждаетъ, нежели плесть и пощечина, и больнѣе уязвляетъ, ибо захватываетъ не только тѣло человѣка, но и его внутреннее существо. Даже предки наши, вообще не большие психологи, понимали это и охотно допускали вмѣшательство психологіи въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно было совершить что-нибудь дѣйствительно звѣрское, поражающее.

— Надѣюсь, что ты не докажешь этого!

— Не надѣйся. Разумѣется, я не обѣ тѣхъ временахъ говорю, когда наши предки были чистыми дикарями, когда они, вмѣстѣ съ татарами, печенѣгами, самозванцами и прочими охочими людьми — ихъ же имена Ты, Господи, вѣси! — предавали огню и мечу Россію. Тогда психологіи дѣйствительно не существовало. Подвиги этихъ людей были грубы, составляли, такъ сказать, *modus vivendi* тѣхъ врем-

мень и свидѣтельствовали не о преднамѣренной жестокости, а о молодечествѣ и благородной жаждѣ славы. Но какъ только нравы начали смягчаться, такъ тотчасъ же отцы наши догадались, что безъ психологіи обойтись нельзя, и отъ огня и меча перешли къ «застѣнку» и «дыбѣ». Вѣдь допросъ-то съ пристрастиемъ немыслимъ безъ участія психологіи!

— Гм!.. хожденіе по спицамъ, вздержанка на дыбу... хороша психологія!

— Не одна вздержанка, а съ аккомпанементомъ... — съ аккомпанементомъ психологіи, милый другъ! «Давно ли ты скверный свой замыселъ задумалъ? и кто тебѣ таковое противное дѣло внушилъ? и кому ты оныя скверные слова говорилъ? и во время тѣхъ разговоровъ не было ли кого еще?» — чтѣ это, какъ не психологія? Люди, чуждые психологіи, не допрашиваются, они просто бываютъ — и дѣло съ концомъ. Что психологія застѣнка была недостаточно упорная и недостаточно *блѣла* — съ этимъ я, пожалуй, соглашусь; но причина ея слабости заключалась не въ ней самой, а въ тѣснотѣ арены и въ недостаткѣ публичности. Отцы наши сознавали себя слишкомъ властными господами, чтобы доводить истязаніе внутренняго человѣка до конца, при помощи одной, безкровной, блѣлой психологіи. Ихъ раздражало всякое препятствіе, имъ хотѣлось *поскорѣе*... Отсюда — внезапные переходы отъ психологіи къ дыбѣ и спицамъ. «А! психологія-то, видно, не пронимаетъ тебя, тамъ по-пробуй-ка по спицамъ пройтись!» — вотъ какъ разсуждали они. Но это никако не устранило идеи объ умѣстности психологическихъ пріемовъ, которые и призывались на помощь во всѣхъ случаяхъ, когда простое наказаніе по тѣлу оказывалось блѣднымъ и сознавалась необходимость болѣе утонченаго уголовнаго фестиваля.

Итакъ, вотъ оно, вотъ откуда ведеть начало психологія! — думалось мнѣ, покуда Глаумовъ разъяснялъ свою теорію родства психологіи съ пыткой. Прекрасно, но почему же однако вмѣшательство психологического разслѣдованія въ сферу тѣлесныхъ истязаній все-таки повсюду принимается, какъ признакъ смягченія нравовъ? Почему даже этотъ слабый проблескъ дѣятельности человѣческой жизни представляеть уже успѣхъ сравнительно съ той темнотой, которая облекаетъ простыя, безсознательныя заущенія? Не потому ли, что мысль имѣть такія разлагающія свойства, передъ которыми все неустойчивое, дрянное обязывается

непремѣнно сойти со сцены и пропасть? Вотъ она какъ будто на первыхъ порахъ и скрасила пытку, но, въ сущности, уничтожила ее. А затѣмъ, конечно, поведеть свою разлагающую работу и дальше. Ужъ и теперь она изобрѣла чистую, безкровную, *блѣдую* психологію и, можетъ-быть, со временемъ, она же эту самую блѣдую психологію... ну, впрочемъ, тамъ еще что Богъ дастъ! Правда, Глумовъ говорить, что эта *блѣдая* психологія и есть самая язвительная... ну, нѣть, это онъ вретъ! Конечно, она уязвляетъ не тѣло, а внутреннее существо человѣка, — да какъ же иначе поступить? Вѣдь надо же какъ-нибудь выяснить, выйти изъ лабиринта противорѣчий, которыя, какъ облако, окутываютъ преступленіе? Да и притомъ, ежели существуетъ психологія обвинительная, то рядомъ съ нею существуетъ и психологія защитительная, а слѣдовательно *du choc des opinions* (знаю я, что Глумовъ недолюбливаетъ этихъ афоризмовъ, да и безъ нихъ, однако, нельзя!)... Съ одной стороны — психологія обвинительная, съ другой — защитительная... нашла коса на камень! чья-то еще возьметъ! А между тѣмъ у меня рубль украли — надо удовлетворить и меня. Конечно, ущербъ не Богъ знаетъ какой, но для меня, какъ для человѣка развитого, важно не рубль отыскать, а то, чтобы идея правды и справедливости была отомщена. Ни я, ни другіе не знаютъ, кто укралъ мой рубль, а между тѣмъ открыть и обличить укравшаго — необходимо, потому что иначе почва ускользнетъ у насъ изъ-подъ ногъ, и никто не будетъ знать, гдѣ кончается пріобрѣтеніе и гдѣ начинается воровство. А какъ же обличить безъ психологіи, какъ доказать подозрѣваемому, что никто другой не можетъ быть воромъ, кроме его, не покопавшись въ его внутренностяхъ, не выяснивъ, передъ лицомъ почтенѣйшей публики, его всегдашнее нравственное тяготѣніе къ воровству? Не спорю: въ этомъ случаѣ могутъ быть недоразумѣнія очень прискорбныя. Можетъ случиться такъ, что сперва обругаютъ человѣка, припомнить, что онъ, еще въ николѣ будучи, колбасу у товарища укралъ, а потомъ окажется, что въ данномъ случаѣ онъ совсѣмъ не виноватъ. Но, во-первыхъ, *ettago humanum est*, а во-вторыхъ, «ошибка въ фальши не ставится». Это не мы выдумали, это сама мудрость вѣковъ говорить. А главное все-таки: какъ иначе поступить? И увѣреять, что Глумовъ не отвѣтить на этотъ вопросъ. Вотъ то-то и есть! Всѣ эти желчные люди, страдающіе недутомъ самообличенія, недовольные ни собой, ни

другими—всѣ они таковы! И тѣ имъ не нравится, и другое не понутру, а спроси-ка: какимъ образомъ въ сѣмъ случаѣ поступить?—они сейчасъ и въ кусты!

— Ужъ на чѣ, кажется, было аляповато, грубо и пёшило наше крѣпостничество, разбросавшееся по деревенскимъ захолустьямъ и медвѣжьимъ угламъ,— продолжалъ умствовывать Глумовъ:— а и оно было не чуждо психологіи, какъ средства поставить травлю на извѣстную высоту. Не говоря уже о помѣщикахъ, даже между дворовыми встрѣчались психологи очень искусные. У насть были, напримѣръ, поваръ Кузьма, который собаку Полкану избралъ предметомъ своихъ психологическихъ изслѣдованій. Онъ не бросадъ въ него мимоходомъ осколками кирпича, не ошпаривалъ зря кипяткомъ, какъ обыкновенно дворовые — не-психологи, но создаль цѣлый мартирологъ, въ основаніи которого лежала эксплоатациѣ наклонностей и инстинктовъ Полкашки, или, говоря высокимъ слогомъ, истязаніе его внутренняго пса. Задача, впрочемъ, была не трудная, потому что у Полкашки, чтѣ у малаго ребенка, всѣ инстинкты спали, кромѣ непреодолимаго стремленія къ ъѣ. И Кузьма воспользовался этимъ инстинктомъ широкой рукой. Каждый день, во время поварской работы, онъ по цѣлымъ часамъ бесѣдовалъ съ Полкашкой, ласкалъ его, обольщалъ зрѣлищемъ всевозможныхъ мясныхъ обрѣзковъ, заставлялъ умиляться, взвизгивать, вилить хвостомъ, и вотъ въ тотъ моментъ, когда кушанье было уже отпущенено, когда Полкашка уже съ увѣренностью взиралъ на кучу костей, красовавшуюся на столѣ, — Кузьма мгновенно его ошпаривалъ, а кости и обрѣзки выбрасывалъ другимъ собакамъ. И что всего замѣчательнѣе — несмотря на ежедневное повтореніе этой продѣлки, Полкашку такъ и тянуло къ Кузьмѣ. Каждое утро, въ одинъ и тотъ же часъ, онъ являлся на кухню, садился на заднія лапы, присутствовалъ при вареніи и жареніи, облизывался, вилъ хвостомъ, и каждый же день, безъ перемѣны, въ одинъ и тотъ же часъ, получалъ свою порцію кипятку. Надѣюсь, что это была психологія!

— Но надѣюсь также, что ты возмущался... этою психологіей!

— Не помню: я былъ въ то время слишкомъ маль, чтобы отдавать себѣ отчетъ въ получаемыхъ впечатлѣніяхъ. Но я знаю навѣрное, что подобная психологія имѣла въ наше время громадное воспитательное влияніе. Кузьма былъ воистину праотцемъ нынѣшней уголовной психологіи, хотя

совершил свою воспитательную задачу въ безвѣстности и исчезъ со сцены никѣмъ неоплаканный. Но я-то вѣдь помню его, и потому каждый разъ, какъ мнѣ приходится присутствовать при современномъ обвинительно-защитительномъ турнирѣ — всякий разъ мнѣ словно живой представляется поваръ Кузьма, ведущій неустанную психологическую игру съ Полканомъ.

— Зачѣмъ же ты ходишь смотрѣть на эти турниры, коль скоро они для тѣя омерзительны?

— То-то и есть, что не омерзительны. Разумомъ-то я, пожалуй, и смекаю, что зрѣлище травли не есть человѣка достойно, да нутро вотъ унять не могу. Вѣдь ни домашнее воспитаніе, ни публичная школа просто-нѣ-просто не дали намъ никакихъ идеаловъ, — чѣмъ же тутъ жить? Съ дѣтскихъ лѣтъ нами управляло лишь представленіе о дозволенномъ и недозволенномъ, и такъ какъ понять, почему одно называлось дозволеннымъ, а другое недозволеннымъ, было очень трудно, то весьма естественно, что дисциплина являлась единственнымъ средствомъ, съ помощью котораго можно было регулировать поведеніе молодыхъ людей. Дисциплину эту мы ненавидѣли и употребляли всѣ усиія, чтобы освободиться отъ нея. Къ чему же привели нась эти усиія? — съ одной стороны, къ лицемѣрію, съ другой — къ подсматриванью и наматыванью на усь. Мы рано подсмотрѣли, что въ дѣйствительной жизни первое мѣсто занимала травля. И она нравилась намъ, потому что представляла нечто положительное, широкое, возбуждающее, тогда какъ дисциплина вся состояла изъ недомолвокъ. Вспомни, душа моя, что даже наименѣе испорченные изъ нашихъ сверстниковъ — и тѣ только теоретически тяготились видомъ «связанного человѣка». На практикѣ же «связанный человѣкъ» до того вошелъ въ обиходъ, что не внушалъ ничего, кроме инстинктивныхъ проявленій, свойственныхъ тому или другому темпераменту.

— Замѣть однако, что именно эти-то проявленія и сдѣлялись невозможными въ настоящее время.

— Уступаю. Дѣйствительно нынче сфера заушеній материальныхъ значительно сузилась. Но, повторяю, все это отлично замѣнено психологіей. Послѣдняя до такой степени усовершенствовалась, что человѣкъ уже не чувствуетъ нужды ни въ материальной пыткѣ, ни въ заушеніяхъ. Она сама по себѣ представляетъ высшую пытку, и я увѣренъ, что человѣкъ умственно развитой охотнѣе предпочтетъ даже

пезаслуженное наказаніе, лишь бы не заставляли его проходить черезъ психологію, составляющую обязательное преддверіе къ краткому: «да, виновенъ», или, «нѣтъ, невиновенъ», изрекаемому старшиной присяжныхъ засѣдателей.

— Воля твоя, а тутъ есть что-то недоказанное. Положимъ, что та психологія, о которой ты говоришь, имѣть свои непріятныя стороны; по ежели это единствено-доступное средство обличить, доказать...

— Въ томъ-то и дѣло, что психологія только дѣлаетъ видъ, что доказывается, а въ дѣйствительности ничуть ничего не доказывается. Она только для формы признаетъ своимъ исходнымъ пунктомъ суровый фактъ, называемый поличнымъ, но на дѣлѣ сейчасъ же оставляетъ его и сочиняетъ по поводу его романъ,—романъ косвенныхъ уликъ, который по очереди принимаетъ то обвинительный, то защищительный характеръ. Призываютъ, напримѣръ, въ свидѣтели прошлое обвиняемаго и говорятъ: на основаніи такихъ-то и такихъ-то данныхъ, подтвержденныхъ достовѣрными свидѣтельскими показаніями, письмами, журналомъ подсудимаго, его отрывочными, невольно вырвавшимися признаніями,—вы должны считать это прошлое не просто косвенною уликою, но уликой, имѣющей почти характеръ поличнаго. Съ помощью психологическихъ пріемовъ это сдѣлать очень удобно. Психологія или искусно скрываетъ тѣ первоначальныя положенія, изъ которыхъ она выходитъ, или же предлагаетъ ихъ, какъ нѣчто непогрѣшيمое и обязательное. Затѣмъ она начинаетъ группировать факты: одни оставлять въ тѣни, другіе подводить ближе къ свѣту. Въ результатѣ получается очень тонкая, почти кружевная работа, которая можетъ нравиться, но въ которой никакъ нельзя отличить, что правда и что налагано. Но, должно быть, налагано достаточно, потому что слѣдомъ приходить другой психологъ и начинаетъ именно съ того пункта, какъ и его предшественникъ. Этотъ новый психологъ тоже имѣть въ запасѣ цѣлый романъ, темою котораго служить нравственное перерожденіе. «Я, говоритъ онъ, нимало не отрицаю того интереса, который могутъ имѣть экскурсіи въ прошлое обвиняемаго, и съ наслажденiemъ слѣдилъ за пре-восходнымъ изслѣдованиемъ моего почтеннаго сопсихолога. Но въ данномъ случаѣ превосходная работа его оказывается сдѣланною втунѣ. Дѣло въ томъ, что незадолго до того момента, когда произошла кража со взломомъ рубля, составляющая предметъ настоящаго судоговоренія, въ под-

судимомъ совершился полный нравственный переломъ, который дѣлаетъ немыслимымъ всякое предположеніе о вліяніи на него его порочного прошлаго. Онъ тосковалъ, пилъ. а многие даже слышали, какъ онъ проклиналъ часть своего рожденія. Мой сопсихологъ коснулся этого факта лишь слегка и для того только, чтобы видѣть въ немъ признакъ нераскаянности. Я же не только не вижу здѣсь нераскаянности, но, напротивъ того, усматриваю несомнѣнныи признаки той сердечной боли, которой не можетъ не ощущать человѣкъ, рѣшившійся окончательно разсчитаться съ заблужденіями прошлаго и идти по новой стезѣ». Затѣмъ опять начинается группированіе, опять одни факты освѣщаются, другіе оставляются въ тѣни, словомъ сказать, развивается цѣлый романъ... Или вотъ тебѣ еще одинъ примѣръ: человѣкъ совершилъ убийство. Онъ самъ ужъ призналъ себя убийцей, но для психологіи важно опредѣлить — и Христосъ ее знаетъ, зачѣмъ это такъ важно для нея! — съ обдуманнымъ ли намѣреніемъ, или безъ обдуманнаго намѣренія совершено преступленіе. Прежде всего она обращается къ орудію преступленія, которымъ оказывается тяжелая трость съ налитымъ свинцомъ набалдашникомъ. Этю тростью преступникъ прямо угодилъ въ темя своей жертвы. Вопросъ: мѣтиль ли обвиняемый въ темя, или это сдѣлалось случайно, помимо его воли? Подсудимый говорить на это: «нѣтъ, я не цѣлился, я очень хорошо помню, что бѣль его какъ попало, срывая свой гаубицъ и не имѣя никакой мысли о нанесеніи смертельного удара». Но передъ этимъ тотъ же подсудимый, относительно множества обстоятельствъ, сопровождавшихъ совершеніе преступленія, показалъ, что совершилъ ничего не помнить. Отсюда поводъ для психологической игры. Одинъ психологъ говоритъ: «какъ! вы это помните? Вы забыли вотъ это, вотъ это, вотъ это, вы утеряли изъ памяти всѣ несущественные факты и помните только одинъ фактъ, тотъ, который помогаетъ вамъ выпутаться изъ бѣды!» На это другой психологъ возражаетъ: «тѣ, что кажется страннымъ моему сопсихологу, въ сущности представляется явленіемъ очень обыденнымъ въ области психологіи. Душевный міръ есть міръ пробѣловъ по преимуществу, и хотя существование ассоціацій ідей не подлежитъ сомнѣнію, но я думаю, что величайший изъ психологовъ, Шекспиръ, — и тотъ отказался бы сослѣдить ее въ такомъ сложномъ, необычайномъ случаѣ. Онъ сказалъ бы: «да, подсудимый все забылъ; онъ только

это помнилъ!» Представь себѣ теперь положеніе присяжныхъ при такомъ судоговореніи! Чѣмъ могутъ они вынести изъ этого разговора, кромѣ мысли, что подсудимый съ обѣихъ сторонъ оболганъ: и въ видахъ обвиненія, и въ видахъ защиты. А еще лучше,—представь себѣ, что и со стороны обвиненія, и со стороны защиты стоятъ лицомъ къ лицу два равносильныхъ Шекспира: каково должно быть положеніе подсудимаго, слышащаго, что его съ двухъ сторонъ возводятъ въ перъ созданія и дѣлаютъ героемъ двухъ взаимно другъ друга уничтожающихъ романовъ, которые вдобавокъ не имѣютъ ничего общаго съ дѣйствительнымъ романомъ его жизни?

— Гм!.. а хорошо бы Шекспира послушать—вотъ хоть бы на мѣсть г. Шайкевича. Какъ ты думаешь, обѣлилъ ли бы Шекспиръ мать Митрофанію, или не обѣлилъ бы?

— Полагаю, что обѣлилъ бы. Онь сумѣлъ бы нарисовать и поставить фигуры. Но и за всѣмъ тѣмъ это было бы только произведеніе его личнаго художественнаго генія, которое, несмотря на свой оправдательный тонъ, быть-можетъ, гораздо сильнѣе подавило бы мать Митрофанію, нежели даже восхожденіе на Синай, предпринятое г-жы Плевако. Да знаешь ли, впрочемъ, я думаю, что Шекспиръ одинаково отказался бы и отъ роли защитника, и отъ роли обвинителя. Вѣдь его психологія чувствовала себя гораздо свободнѣе и независимѣе, имѣя подъ руками Гамлета и Ричарда III, нежели тотъ уголовный матеріальть, который украшаетъ скамью подсудимыхъ въ современныхъ судахъ.

— Стало-быть, по-твоему, окончательный-то исходъ дѣла зависить отъ того, кто кого пересрѣтъ?

— Понимай, какъ знаешь.

— Такъ что ежели я, напримѣръ, совершилъ преступленіе, имѣю возможность разсчитывать на психологическую помощь Спасовича, то я рискую меныше, нежели другой, которому угрожаетъ психологическая помощь адвоката, назначаемаго отъ казны?

— Стало-быть.

— Однако, братъ, очень печально!

— Печалься; не возбраняется.

— Ну, хорошо; оставимъ печаль въ сторонѣ и резюмируемъ нашъ разговоръ. Изъ сказаннаго тобой выходитъ: во-первыхъ, что мы не только не воспользовались благами возрожденія, но и до сихъ поръ продолжаемъ жить остатками старинной дикости; во-вторыхъ, что характеристической вы-

разитель этой дикости — травля не упразднилась, но при помощи психологіи получила характеръ болѣе утонченной жестокости и притомъ сдѣлалась, такъ сказать, à la portée de tout le monde. Такъ, кажется?

— Вѣро.

— Теперь, спрашиваю тебя, отвѣтъ мнѣ по совѣсти: какъ же, по твоему мнѣнію, въ этомъ случаѣ поступить? что нужно сдѣлать, чтобы избѣжать этого?

Я формулировалъ этотъ вопросъ не безъ торжественности. По моему мнѣнію, всѣ человѣческія стремленія, негодованія, анализы, утопіи — все это приводится къ вопросу: прекрасно, но какъ въ семь случаѣ поступить? Поэтому я надѣялся настигнуть Глумова въ послѣднемъ его убѣжищѣ, заставить его перенести дѣло на практическую почву и затѣмъ ужъ поговорить по душѣ о перемѣщеніяхъ и увольненіяхъ, о разъясненіи такой-то статьи и дополненіи такой-то.. Но, къ удивленію, Глумовъ не только не тронулся мою торжественностью, но даже отнесся къ ней какъ бы ironически.

— Прежде всего, — сказалъ онъ: — я не вижу никакой надобности «поступать». А потому, вѣдь подъ словомъ «поступать» нельзя же разумѣть исключительно: совершилъ мѣропріятіе, предписать, воспретить, дозволить. Констатировать фактъ — тоже значить «поступать». Вотъ я и «поступаю», то-есть констатирую фактъ.

---

#### ГЛАВА IV.

Я — русскій литераторъ и потому имѣю двѣ рабскія привычки: во-первыхъ, писать иносказательно и, во-вторыхъ, трепетать.

Привычѣ писать иносказательно я обязана до-реформенному цензурному вѣдомству. Оно до такой степени терзало русскую литературу, какъ будто поклялось стереть ее съ лица земли. Но литература упорствовала въ желаніи жить и потому прибѣгала къ обманнымъ средствамъ. Она и сама преисполнилась рабынѣ духомъ, и заразила тѣмъ же духомъ читателей. Съ одной стороны, появились аллегоріи, съ другой — искусство понимать эти аллегоріи, искусство читать между строками. Создалась особенная, рабская машина писать, которая можетъ быть названа эзоповскою, —

мандера, обнаруживавшая замечательную изворотливость въ изобрѣтеніи оговорокъ, недомолвокъ, иносказаний и прочихъ обманнныхъ средствъ. Цензурное вѣдомство скрежетало зубами, но, въ виду всеобщей мистификаціи, чувствовало себя безсильнымъ и дѣлало безпрерывныя по службѣ упущенія. Публика рабски-восторженно хохотала, хохотала даже тогда, когда цензоровъ сажали на гауптвахту и когда ихъ смѣяли. На мѣсто смысненныхъ цензоровъ являлись другие, которыхъ также смыяли и сажали на гауптвахту. А публика вновь принималась хохотать и зачитывалась статьями, въ родѣ: «Китайскія ассигнаціи», или «Австрійскій министръ финансовъ Брукъ» (см. «Русский Вѣстникъ», издатель-редакторъ М. Катковъ). И существовала эта ма-пера долго-долго, существуетъ и донынѣ, такъ что объявление въ 1866 году воли книгопечатанію почти совсѣмъ не повлияло на нее. Аллегорический, рабій языкъ продолжаетъ пользоваться правомъ гражданственности, хотя справедливость требуетъ сказать, что современные молодые писатели стараются избѣгать его. Я не берусь опредѣлить, хорошо или дурно они поступаютъ, но думаю, что въ виду общей рабьей складки умовъ аллегорія все еще имѣеть шансы быть болѣе попятной и убѣдительной и, главное, привлекательной, нежели самая покаянная и убѣдительная рѣчь. Ясная рѣчь умѣстна тамъ, где уже изродился читатель, котораго страшными словами не удивишь; во тамъ, где читатель съ повода и безъ повода привыкъ разбѣрать рѣчь, тамъ простая и безфигурная рѣчь можетъ только свидѣтельствовать о рабѣмъ самомнѣніи и наложить еще новый балластъ на плечи писателя, то-есть ко всѣмъ прочимъ не легкимъ обязанностямъ прибавить еще новую и тягчайшую: обязанность ежеминутно трепетать.

Привыкъ трепетать я обязанъ послѣ-реформенному цензурному вѣдомству. Я не стану распространяться о томъ, что именно сдѣлало это послѣднее, чтобы заставить меня трепетать — похвала живымъ можетъ быть принята за лесть — я только констатирую фактъ. Я знаю, что съ тѣхъ поръ, какъ мы получили свободу прессы, — я трепещу. Понадѣялся я на то, что я не боюсь. Иногда я даже дѣлаюсь храбръ; возьму да и напишу: напрасно, моль, думаютъ нѣкоторые, что благожелательное и ничѣмъ, кроме почтительности, не стѣсняемое обсужденіе дѣйствій (замѣтите аллегорію: я даже умалчиваю, чьихъ и какихъ дѣйствій) равносильно нападенію съ оружиемъ въ рукахъ... Но какъ только процессъ

писанія кончился, какъ только статья поступила въ наборъ, боязнь чего-то неопределеннаго немедленно вступаетъ въ свои права. И она усиливается и усиливается по мѣрѣ того, какъ исправляется корректура и наступаетъ часъ, съ котораго долженъ считаться четырехдневный для журналовъ и семидневный для книгъ срокъ нахожденія произведеній человѣческаго слова въ чревѣ китовомъ. Чудятся провинности, преступленія, чуть не уголовщина.

И въ то же время ласкаетъ рабская надежда: а можетъ быть и пройдетъ! Я знаю, что это надежда гнусная, неопрятная, что она есть не чтѣ иное, какъ особое видоизмѣненіе трепета, но я знаю также, что она не только лично для меня, но и вообще представляеть единственную руководящую нить въ современномъ литературномъ ремеслѣ. Избавиться отъ нея, правда, очень легко; уйтъ только забросить перо, распуститься съ корректурой и какъ чумы обѣгать типографіи — но вотъ подите же... Сдается, что не будь этой надежды — пожалуй, не было бы и русской литературы, а были бы однѣ «Московскія Вѣдомости»...

Само собой однако-жъ разумѣется, что я всячески стараюсь скрывать и мой рабій трепетъ, и мои рабы надежды. Я — либераль и потому прежде всего стараюсь выказать, что очень хорошо понимаю свои права. «Нѣть! теперь уже шалишь! — твержу я и устно, и письменно: — теперь цензору до меня какъ до звѣзды небесной далеко!» И начинаю горячиться, начинаю рассказывать анекдоты изъ до-реформенной цензурной практики и доказывать, что сравнительно мое нынѣшнее положеніе... «Помилуйте! да теперь я сознаю себя господиномъ своего слова; хочу — скажу, хочу — не скажу; вспомните, что мы были прежде и чѣмъ сдѣлались теперь! Теперь ежели что, такъ вѣдь я и тово... Я вѣдь и самъ ногти покажу... нѣть, теперь не такъ-то ловко меня обездолить!» Говорю я все это, даже кричу, чтобы пуще себя ободрить, и — о, ужась! — въ это же время чувствую, какъ невидимый трепетъ ползетъ по всему моему организму, ползетъ, ползетъ и незамѣтно разбрѣшается сладкой надеждой, что, «можетъ-быть, и пронесеть»...

Но пріятели мои понимаютъ, что все это съ моей стороны не больше какъ напускное хвастовство, напоминающее тѣ «невидимыя міру слезы сквозь видимый міру смѣхъ», о которыхъ упоминалъ еще Гоголь. И такъ какъ они — люди русскіе, веселые, то нерѣдко я служу для нихъ предметомъ довольно жестокихъ шутокъ, канвою которымъ служать:

слухи о преднаречияхъ и предначертаніяхъ, свѣдѣнія, почерпнутыя изъ достовѣрныхъ источниковъ, канцелярскія тайны и проч. Иногда рассказываютъ даже цѣлые сцены, рассказываютъ въ лицахъ, такъ жизненно и съ такими характеристическими подробностями, не поверить которымъ неѣть никакой возможности. Какъ тутъ не вдаться въ обманъ, какъ не счасть себя погибшимъ, когда и самъ ужь заранѣе, такъ сказать, признаешь, что погибель есть только сплошнѣально-отсроченное возмездіе за тѣ исключимости, которыхъ съ помощью пера содѣяла правая рука твоя?

Но особенную озорливость въ этомъ смыслѣ является пріятель мой Глумовъ. Онъ отлично знаетъ мою наклонность увлекаться трепетомъ и надеждами, и потому каждый разъ, какъ я попадаю въ чрево кита (а это случается почти ежемѣсячно), является ко мнѣ съ специальюю цѣлью наблюдѣнія, въ какой степени я боюсь. Изрѣдка онъ бываетъ и въ добромъ расположениіи духа, и тогда мы вмѣстѣ твердимъ: «небось! ничего! можетъ-быть, и пропесеть!» Но чаще всего онъ приходитъ преисполненный глумливаго подстрекательства, въ которомъ я никогда не могу отличить искренности отъ неискренности и которое поэтому еще болѣе увеличиваетъ мой страхъ.

Именно въ такомъ озорливомъ настроеніи явился опять ко мнѣ на-дняхъ. Уже три дни лежалъ я въ чревѣ; оставалось еще двадцать четыре мучительныхъ часа... Пропесеть или не пропесеть?

— Да, братъ, видно, быть бычку на веревочки! — сразу огоршился онъ меня, войдя въ кабинетъ.

— Чѣмъ? чѣмъ такое? развѣ что-нибудь слышно? — встрепенулся я.

— Какъ не слыхать! слухомъ земля полнится! Да, братъ, нельзя! Нельзя, мой другъ, такимъ образомъ... невозможно!

— Чѣмъ такое случилось? Говори, сдѣлай милость, не мямли!

— Покуда еще ничего не случилось, но признаки есть, и признаки серьезные... Сей часъ иду я къ тебѣ, и вдругъ навстрѣчу мнѣ человѣкъ одинъ... Понимаешь? Идетъ этотъ человѣкъ къ мѣсту служенія, и на ч埃尔ѣ у него: нельзя!

— Господи!

— «Нельзя» — только одно это слово! Но ты понимаешь: завтра тебѣ срокъ, а сегодня... Понимаешь?

— Какъ не понимать! Но какъ же это однако... нельзя! И чтò это за слово «нельзя»? Нельзя! вѣдь это даже понять трудно!

— Нельзя—и все тутъ.

— Да ты, можетъ-быть, ошибся! Можетъ-быть...

— Неужто-жъ мнѣ въ первый разъ на лбахъ-то читать! Да и напоказничали же вы, должно-быть! Идетъ «онъ» и словно обдумываетъ: какую бы пытку на васъ изобрѣсти.

Зачѣмъ мы начали горевать. Я, какъ истинный либеральъ, оглашалъ стѣны кабинета возгласами: «за что же, Господи! за что?» Глумовъ подавалъ мнѣ реплику, большою частью пословицами. Наконецъ, когда я достаточно высказалъ, что всѣ мои обычныя разглагольствованія о какихъ-то якобы правахъ разлетаются какъ дымъ отъ прикосновенія одного слова: «нельзя», тогда Глумовъ сознался, что никого, «идущаго къ мѣсту служенія», онъ не видалъ, ни на какихъ лбахъ ничего не читалъ, и что вообще вся эта исторія была имъ выдумана въ видахъ испытанія, въ надлежащей ли степени я боюсь. И вновь сладкая надежда озарила мою душу, и вновь я сталъ предаваться работѣ проникновенія въ мракъ будущаго: пронесетъ или не пронесеть?

— Нѣтъ, ты ужъ эти глупости-то оставь, — прерваль меня Глумовъ: — это, братъ, дѣло изслѣдовать нужно!

— Какое дѣло?

— А вотъ хоть то, что вы, русскіе писатели, обязываетесь не только услаждать досуги публики вашими писаніями, но и періодически подвергаться унизительному трепету.

Но я, разувѣренный насчетъ предстоящей опасности, уже настолько ободрился, что взглянулъ на друга моего не только самоувѣренно, но почти нахально.

— Я не знаю, — сказалъ я: — о какомъ ты трепетъ говоришь! Я думаю, что въ настоящее время положеніе мое, какъ русскаго писателя...

— Пхе! вотъ твое положеніе! Дунуть на тебя — ты и погасъ!

— Ну, нѣтъ, любезный другъ, это не совсѣмъ такъ! Я свои права...

— А кто сейчасъ восклицалъ: за что, моль, о, судьба прежестокая!.. Кто восклицалъ?

— Еще бы! ты бы побольше выдумывалъ!

— Да какъ же иначе съ тобой поступать? Какъ иначе осложнить твое малодушie? Взгляни ты на себя, сдѣлай милость! Вѣдь даже понять нельзя, какимъ образомъ ты эту пытку выдерживаешь! Двадцать шесть дней въ мѣсяцъ ты приготовляешься къ трепету, а четыре дня трепещешь! Гдѣ, скажи, въ какой сферѣ дѣятельности возможно такое существование!

— Ну, хорошо! Положимъ, что въ настоящую минуту мое положеніе... ну, да, допустимъ это. Но дѣло вѣдь не въ одной той минутѣ, которую мы переживаемъ, а въ тѣхъ залогахъ, которые представляютъ намъ будущее...

— А ты про эти залоги слыхалъ?

— Не только слыхалъ, но даже изъ достовѣрныхъ источниковъ знаю...

— Срамникъ ты—вотъ что!

Сказавши это, Глумовъ такъ строго взглянуль на меня, что я совершенно явственно почувствовалъ, какъ краска разлилась по моему лицу.

— Такъ ты до того доволенъ своимъ положеніемъ,—продолжалъ онъ: — что даже не хочешь подумать о томъ, почему ты всегда долженъ чего-то бояться, хотя, въ сущности, никакой вины за тобой нѣть?

— Ну, какъ никакой вины? Винъ-то, любезный другъ, у насъ—слава Богу!

— И опять-таки срамники! Самъ на себя клеплетъ, да еще ломается! Никакихъ, понимаешь ты, никакихъ за тобой винъ нѣть, и ты на себя небылицъ не выдумывай! До такой степени нѣть никакихъ винъ, что тебѣ даже и въ голову не приходило разобрать, дурно или хорошо твое положеніе, и отчего опо такъ устроилось, а не иначе. Вѣдь если-бъ что-нибудь за тобой было—ужъ навѣрное ты хоть бы понять постарался, чѣмъ тутъ такое есть!

— Да; дѣйствительно я какъ-то мало объ этомъ думалъ; корректура, знаешь, спешная работа...

— И это говорить человѣкъ, который весь по уши погрязъ въ литературное ремесло! Человѣкъ, у которого не только умственные, но и материальные интересы, словомъ, вся жизнь до такой степени связана съ литературой, что завтра отними у него возможность писать, и онъ исчезъ—безъ сѣда! И тебѣ по совѣстю сознаваться, что ты никакъ странно поставлено, что, занимаясь имъ, почти трудно оставаться порядочнымъ человѣкомъ! Вѣчно холопствовать,

вѣчно думать о какихъ-то «обстановочкахъ»!—помилуй, да самый послѣдний мастеровой, и тотъ не выдержитъ этого, и тотъ прежде всего позаботится о томъ, чтобы сдѣлать свое положеніе по возможности независимымъ отъ случайностей! А вы, литераторы, вы, люди, называющіе себя выражителями умственнаго уровня страны,— вы только и дѣлаете, что бѣгаете какъ угорѣлые, обдумывая, какъ бы такъ склониться, чтобы и найти васъ никто не могъ!

— И прибавь еще, что какъ ни хоронимся, а все-таки настъ умѣютъ найти!

— Да ужъ не думаешь ли, что васъ оттого находятъ, что видятъ въ васъ что-нибудь опасное? Какъ бы не такъ! Просто видятъ въ васъ, во всей русской литературѣ (даже исключенія, и тѣ допускаются нѣхотя, скрѣпя сердце), что-то омерзительное, какую-то пресмыкающуюся гадину, при видѣ которой безъ всякаго повода приходить на мысль: а дай-ка я ее раздавлю! Кто васъ читаетъ? Скажи по совѣсти: кто читаетъ васъ?

— Ну, братъ, что касается до читателей, то это—фактъ несомнѣнныи, что число покупающихъ книги и подписывающихся на журналы съ каждымъ годомъ все увеличивается и увеличивается.

— Да, это—явленіе дѣйствительно загадочное. Число читателей какъ будто и въ самомъ дѣлѣ увеличивается, если судить по расходу книгъ и журналовъ. Но скажи по совѣсти: знаешь ли ты своего читателя? Можешь ли ты указать, къ кому именно ты обращаешь свою рѣчь? Кого ты хочешь воспитывать? Нѣть, ты не отвѣтишь на эти вопросы, потому что современный русскій читатель до того разбросанъ, что дѣлается неуловимъ. Во всякомъ случаѣ, что касается до вліятельныхъ классовъ, до такъ-называемыхъ представителей культурнаго слоя, то они—честью тебя завѣряю—до такой степени игнорируютъ васъ, писателей, что единственное твердое свѣдѣніе, которое они имѣютъ о русской литературѣ, заключается въ томъ, что она омерзительна.

— Но какая же надобность литературѣ до этого! Что се игнорируетъ, а пожалуй и презираетъ небольшая кучка выродившихся людей, размыкающихъ свои досуги по Баденъ-Баденамъ, Висбаденамъ и Вильбаденамъ, разорвавшихъ всякую связь съ Россіей, за исключеніемъ получки доходовъ, и составляющихъ себѣ библіотеки изъ Монтепе-

новь, Февалей и Самаровыхъ—такъ вѣдь это еще небольшая потеря!

— Постой! Покуда я называлъ только одинъ изъ числа игнорирующихъ вѣсъ классовъ—классъ людей, именующихъ себя культурными,—но можно вѣдь идти и дальше. Вообще, я думаю, гораздо легче отвѣтить на вопросъ, кто не читаетъ русскихъ книгъ, нежели на вопросъ, кто ихъ читаетъ. Знаеть ли вѣсъ народъ? Нѣтъ, оно даже не подозрѣваетъ о существованіи русской литературы. Знаеть ли вѣсъ молодое поколѣніе? Нѣтъ, оно хуже нежели не знать: оно относится къ современной русской литературѣ какъ къ чему-то недомысленному, лишенному какихъ бы то ни было правъ на воспитательный авторитетъ. Знаеть ли вѣсъ такъ-называемое ученое сословіе? Нѣтъ, и оно смотрѣть на литературу, какъ на проявленіе легкомыслія, которое въ благопріятномъ случаѣ можно считать безполезно-невиннымъ, а въ большей части случаевъ имѣть характеръ раздражающій и, стало-быть, вредный. Кто же, спрашивается, читаетъ вѣсъ? Отъ кого вы ждете оценки для себя? На кого думаете вліять?

— Согласись однако, что если бы насть не читали, если-бы вліяніе русской литературы не существовало, то и вниманія никто бы на нее не обращалъ, и писателю не для чего было бы ни лукавить, ни бояться.

— И съ этимъ не соглашусь. Повторю тебѣ: современный русскій читатель неуловимъ и разсѣянъ по лицу земли какъ гуден. Онь читаетъ въ-одиночку; онь ничего не ищетъ въ литературѣ и ни съ кѣмъ не дѣлится прочитаннымъ. Печатное русское слово не зажигаетъ сердце и не рождаетъ подвиговъ. Нигдѣ и ни на чёмъ не увидишь ты слѣдовъ вліянія действующей русской литературы. И благонамѣренность, и неблагонамѣренность одинаково зрячатъ и развиваются виѣ ея воздействиія. И ежели за всѣмъ тѣмъ на литературу обращаютъ вниманіе и заставляютъ вѣсъ трепетать, то это отчасти по старой укоренившейся привыкѣ, а отчасти по недоразумѣнію...

— Однако-жъ...

— Да, именно по недоразумѣнію, потому только, что культурный-то слой нашъ очень ужъ плохъ—и плохъ, и пугливъ. Вотъ ты сейчасъ сказалъ, что для литературы еще небольшая потеря, что ее презираетъ шайка людей, которая шляется по Баденамъ да Висбаденамъ; но встань на практическую почву, да и отвѣттай мнѣ: отчего трепетъ-то твой происходитъ?

— Да оттого, полагаю, что строго нынче ужъ очень. Руководствъ надлежащихъ не издано, которымъ содержали бы отчетливую и для всѣхъ внятную классификацію предметовъ, которыми можетъ или не можетъ заниматься литература,—вотъ и путаются словно въ тенѣтахъ.

— Ты не остри, а вникнуть старайся. Строго, ты говоришь? да отчего строго-то? то-есть даже и не строго, а просто-нѣ-просто презрительно? А оттого, любезный другъ, что эти самые культурные люди, которые размыкаютъ за границей свое отвращеніе къ Россіи, вотъ они-то ужъ слишкомъ большую силу взяли! Шинягъ они, душа моя, клевещутъ, сплетничаютъ, смуту сбываютъ! А ты вотъ тутъ сидишь да обдумываешь: какъ бы мнѣ такъ мою мысль выразить, чтобы никто не поймалъ!

— Ну, это ужъ ты преувеличиваешь! Конечно, когда происходит процессъ печатанія и выхода книжки — я не изъять отъ всѣхъ беспокойствъ; по пишу я всегда...

— Стой! сейчасъ же тебя поймаю! Вотъ хоть бы теперь: ты пишешь и хочешь выразить самую простую и отнюдь не зажигательную мысль. Ты желаешь сказать: безсиліе русской литературы зависитъ, во-первыхъ, оттого, что у нея нѣть достовѣрного читателя, на котораго она могла бы опереться; и, во-вторыхъ, оттого, что въ составленії ея репутаціи слишкомъ большое участіе принимаютъ такъ-называемые культурные люди, то-есть бродяги, оторванные отъ всѣхъ интересовъ Россіи. Такова ли твоя мысль?

Я долженъ былъ сознаться, что такова.

— Ну, такъ смотри же, сколько ты обходовъ долженъ былъ сдѣлать, чтобы пустить въ ходъ эту совершенно простую мысль, на которую пигдѣ въ другомъ мѣстѣ не обратили бы вниманія; да, пожалуй, въ другомъ-то мѣстѣ она и у самого себя, за неимѣніемъ повода, зародиться бы не могла... Во-первыхъ, ты долженъ былъ заглянуть въ печатный листъ, тогда какъ все дѣло ясно изъ пяти-шести строкъ; во-вторыхъ, ты долженъ былъ выдумать, что у тебя есть какой-то пріятель Глумовъ, который періодически съ тобой бесѣдуешь, и пр. Сознайся, что ты этого Глумова выдумалъ только для рецплики, чтобы объективности припустить, на тотъ случай, что ежели чтѣ, такъ имѣть бы готовую отговорку: я, моль, самъ по себѣ ничего, это все Глумовъ напуталъ!

И съ этимъ я долженъ былъ согласиться.

— Что касается до меня,—продолжалъ Глумовъ:—то я тебѣ извиняю. Потревожилъ ты меня, другъ любезный, ну, да это—еще небольшая бѣда! Но зачѣмъ ты все это дѣлалъ? зачѣмъ ты мозги свои беспокойлъ? Вѣдь все-таки никто изъ культурныхъ людей мыслей твоихъ не узнаетъ и съ объективностью твоей не познакомится!

— Да, по вѣдь ты самъ же сейчасъ сказалъ, что ежели человѣкъ чувствуетъ себя нехорошо, то прежде всего онъ долженъ уяснить себѣ, отчего это нехорошее ощущеніе происходитъ. Ну, я и выбралъ для достижениія этого способъ, который мнѣ показался наиболѣе подходящимъ.

— И прекрасно. Стало-быть, я послужилъ къ тому, что заставилъ тебя высказаться,—и то барышъ. Теперь ты знаешь источникъ твоего трепета; слѣдовательно остается только разработать эту тему, и буде возможно, то идти и дальше. А такъ какъ безъ объективности ты все-таки не обойдешься, то я, съ своей стороны, всегда къ твоимъ услугамъ готовъ!

Итакъ, причина сказалаась, хотя, быть-можеть, и не единственная, но, во всякомъ случаѣ, одна изъ причинъ. Глумовъ правъ: достовѣрнаго, вѣскаго читателя современная русская литература не имѣеть, а между тѣмъ культурные Бобчинскіе и Добчинскіе до того ужъ расщебетались, что даже, повидимому, совсѣмъ забыли, что еще очень недавно Сквозникъ-Дмухановскій безъ церемоніи называлъ ихъ «сороками короткохвостыми». Не будь короткохвостыхъ сорокъ, сплетничающихъ, стрекочущихъ, праздно порхающихъ—много безмыслиемъ кутерьмы умерло бы въ самомъ зародышѣ, не опутывая своими тенѣгами добродѣйныхъ людей. Но спрашивается: что же тутъ дѣлать? какъ унять сорочье племя? какъ, по крайней мѣрѣ, сдѣлать безвреднымъ его стрекотаніе? Убѣждать ихъ? Но развѣ можно имѣть дѣло съ сплетничающимъ племенемъ, которое прежде всего не знаетъ даже предмета своихъ сплетенъ? Сдѣлать ихъ сплетни безвредными? Но вѣдь для этого нужно еще доказать, что сорока—ни больше, ни меньше, какъ дрянная и не заслуживающая довѣрія птица; а какая же возможность достигнуть этого, когда весь міръ склоненъ видѣть въ Бобчинскихъ представителей культуры и ужъ по малой мѣрѣ носителей благонадежныхъ элементовъ? Сколько разъ были дѣлаемы попытки въ этомъ родѣ! Сколько разъ я самъ и убѣждалъ, и удостовѣряль, и даже до начальства доходилъ!

— Ваше превосходительство,—говорил я:—вѣдь это—  
птица!

— Ну-съ, дальше-съ.

— Вѣдь птица, ваше превосходительство, глупа и робка.  
Ей, съ глупости да со страху, Богъ вѣсть что привидѣться  
можетъ... Птицы—это, ваше превосходительство, птицы!

— Птицы да птицы—затвердили одно! Знаю, что—не  
люди, но есть случаи, когда птица... Птицы, милостивый  
государь, не волнуютъ общественнаго мнѣнія, не смущаютъ  
умовъ, а люди, а вы-съ...

Это—единственный результатъ, котораго я добился цѣною  
многолѣтнихъ усилий. Неужели же мнѣ предстоитъ опять  
приниматься за ту же работу убѣженія, т.-е. возобновлять  
сейчасъ приведенный разговоръ? Но если бы я и дѣйстви-  
тельно могъ убѣдить, что не я волну и смушаю, а именно  
Бобчинскіе и Добчинскіе, которые своими безсмысленными  
сплетнями сбютъ повсюду не менѣе безсмысленную панику,  
то развѣ его превосходительство поцеремонится отвѣтить мнѣ:

— Ну, что же-съ! пусть будетъ и такъ-съ! Они и сму-  
щаютъ, и волнуютъ—я съ вами согласенъ-съ! Но Бобчин-  
скіе намъ мили, въ Добчинскихъ мыувѣрены, а въ васъ-съ...

И дѣло съ концомъ. Ужели я и тутъ еще не умолкну?  
«Они намъ мили», «мы въ нихъ увѣрены»—развѣ этого  
мало? Кого же наконецъ и баловать, какъ не людей, отно-  
сительно которыхъ существуетъ увѣренность, что ужъ они-  
то никакихъ затруднений представить для насы не могутъ?

Ставши на эту почву, мнительное воображеніе уже не  
останавливалось въ созиданіи перспективъ, исполненныхъ  
всякаго рода препятствий. Мнѣ чудилось, что я стою среди  
безчисленной стаи сорокъ и держу имъ такую рѣчь: «Со-  
роки короткохвосты! понимаете ли вы, что такое литера-  
тура и что такое, въ сравненіи съ нею, ваше сорочье стре-  
котанье? НЛитература—о, легкомысленійшія изъ птицъ!—  
есть воплощеніе человѣческой мысли, воплощеніе вѣчное и  
непрѣходящее! Литература есть нечто такое, что, проходя  
черезъ вѣка и тысячелѣтія, заносить на скрижали свои и  
великія дѣянія, и безобразія, и подвиги самоотверженности,  
и гнусныя подстрекательства трусости и легкомыслія. И  
все однажды занесенное ею не пропадаетъ, но передается  
отъ потомковъ къ потомкамъ, вызывая благословенія на  
головы однихъ и глумленія на головы другихъ.>Понимаете  
ли вы все безсиліе ваше въ виду этого неподкупнаго и  
непоколебимаго величія? Ежели вы этого не понимаете, то

подумайте хоть то, что есть судь вѣковъ, и что у васъ есть дѣти; что если вы лично и равнодушны къ суду исторіи, то ваши дѣти могутъ, ради вашего всуе звенищаго срамословія, изнемочь подъ его тяжестью! Остановись же, Бобчинскій, и не извергай яда легкомыслія на то, что недоступно твоему скучному пониманію! Ибо сынъ твой, который будетъ несомнѣнно лучше и прозорливѣе тебя, угадаетъ твои дѣянія—и, можетъ-быть, устыдится признать въ тебѣ отца своего!»

Однимъ словомъ, я спускаюсь на почву чисто-практическую, хватаюсь за самую живую струну—за дѣтей, хочу растолковать, что ради нихъ, этихъ многолюбимыхъ дѣтей, не безполезно держать языкъ за зубами, даже въ томъ случаѣ, ежели имѣется въ перспективѣ медаль за спасеніе погибающаго культурнаго общества. И что—жъ! сороки сначала смотрѣть на меня и другъ на друга недоумѣвающими глазами, но потомъ мало-по-малу осмысливаются, щеголевато подскакиваютъ къ самымъ моимъ ногамъ, расправляютъ крылья, чистятъ носы и, какъ ни въ чёмъ не бывало, продолжаютъ прерванное стрекотаніе... «А наплевать памъ на исторію! наплевать на дѣтей! И мы—навозъ, и исторія—навозъ, и дѣти наши—навозъ!»—слышится мнѣ среди безнадежнаго хаоса звуковъ...

Ахъ! никогда я не зналъ ничего болѣе унизительнаго и до боли гнетущаго, какъ это праздное сорочье стрекотанье! Есть въ немъ что-то посрамляющее слухъ человѣческій и въ то же время дразнящее, подусыкающее. Бобчинскіе не вызываютъ гиѣва, а именно только дразнятъ, нахально опираясь при этомъ на свою сорочью невмѣнляемость. Дляя пакости, иногда равносильныя злодѣяніямъ, они вовсе не сознаютъ пеключимости своего творчества, по лишь выполняютъ провиденціальное свое назначеніе. И вотъ къ этому-то подневольному, невмѣнляемому и, вдѣвакъ, неопрятному виду человѣка я долженъ обращаться, долженъ думать о немъ, объяснять его и обличать сорочье его щебетанье! Гдѣ, въ какой странѣ возможенъ подобный подвигъ, исключая тѣхъ постылыхъ сорочихъ угловъ, гдѣ Бобчинскіе и Добчинскіе даютъ тонъ жизни, гдѣ, быть-можетъ, даже совсѣмъ погасла бы жизнь, если-бы не будило ее ихъ назойливое стрекотаніе!

Да и съ какимъ правомъ я обращаю свою проповѣдь къ Бобчинскимъ? гдѣ тутъ противовѣсь, на который я могъ бы опереться при этомъ? гдѣ онъ, гдѣ тутъ загадочный

русский читатель, отъ котораго я имѣлъ бы право ожидать оцѣнки и одобренія?

Покуда я такимъ образомъ размышлялъ, Глумовъ молча ходилъ по комнатѣ и, повидимому, тоже что-то обдумывалъ. Наконецъ онъ остановился противъ меня и сказалъ:

— Знаешь ли что, вѣдь я на-дняхъ Петью Износкова встрѣтилъ!

— Ну, и Богъ съ нимъ!

— Да ты слушай. Идетъ онъ по Морской, а въ глазахъ у него такъ и свѣтится культурность. Словомъ сказать, производитель во всѣхъ статяхъ. Встрѣтились—ничего. Другихъ культурныхъ людей поблизости не случилось—стало быть, и мнѣ втихомолку руку подать можно. Постояли, поглядѣли другъ на друга, школьную жизнь вспомнили. Выправился онъ, раздобрѣлъ—страсть! Въ плечахъ—косая сажень, грудь колесомъ, тѣло крупичатое, румянецъ такъ и хлещеть во всю щеку. Такъ вотъ весь, всѣмъ нутромъ словно говорить: а хочешь, я сейчасъ тебѣ цѣлую десятину унавожу! А картавить какъ—заслушаешься!

— И охота тебѣ говорить обѣ немъ!

— Вотъ видишь, любезный, ты обѣ немъ и говорить не хочешь, а онъ обѣ тебѣ вспоминалъ! «Гдѣ, говорить, онъ? я, говорить, слышалъ, что онъ съ мерзавцами связался?»

— И ты, разумѣется, подтвердилъ?

— Еще бы! Да, говорю, жаль малаго, скружился!

Затѣмъ Глумовъ, по своему обыкновенію, засыпалъ меня анекдотами изъ жизнеописанія русскаго культурнаго человѣка, такъ что мало-по-малу и меня самого увлекъ въ область воспоминаній о нашей совмѣстной школьнай жизни.

— А помнишь ли,—сказалъ я:—какъ мы въ школѣ родословную Износкову сочинили: отецъ—Бычокъ, мать—Свѣтлана, бабка—Рѣзвая, отъ Громобоя и Гориславы, пра-пращуръ—самъ Синеусъ?

— А дядя, который въ то время полковникомъ въ гу-сарахъ служилъ,—сѣрый въ яблокахъ Борисеенъ? А помнишь, какъ онъ разсказывалъ: «у меня таташа такая слабенькая, что даже родить меня сама не рѣшилась, а тетенька поручила»?

— Да, да, да! какъ давно однако все это было, и сколько воды съ тѣхъ поръ утекло!

— Такъ много утекло, что онъ даже поумнѣть успѣлъ. Серьезно говорю. Прежде, бывало, только зубы показывалъ, бѣлые-разбѣлые, а нынче и говорить началъ. «Пальто, го-

ворить, у меня отъ Шагмега, панталоны—отъ Тедески, жакетка—отъ Жогжé!» И обь заграницомъ житьъ тоже: «въ Германіи, говорить, горы зеленые, въ Швейцаріи—горы голыя, въ Италии—небо синее, а въ Римѣ—римскій папа сидитъ!» Словомъ сказать, ведеть свѣтскій разговоръ да и шабашъ!

— Въ администраторы, чай, мѣтить?

— Нѣть, эта въ немъ благородная черта есть: безъ дѣла слоняться предпочитается. А то какъ бы не попасть: вѣдь ему графиня Нахлесткина тѣккой родной приходится! Да ему и не зачѣмъ: и безъ того его положеніе завидное. Пынче, брагъ, такой особенный чинъ народился: всякий, кому голову приклонить некуда, представителемъ культурнаго слоя себя называетъ. Вотъ онъ приписался къ этому чину, да и щеголяеть въ немъ по-бѣлу-свѣту. Лѣтомъ—на водахъ и въ Швейцаріи, осенью и весной—въ Парижѣ, на зиму—въ Петербургѣ: есть и пить онъ отлично, спить въ мѣру, желудокъ у него варигъ на-славу, огорченій никакихъ—чего еще, какихъ еще почестей нужно!

— Да, братъ, хорошо бы хоть годокъ такъ пожить! А то маешься-маешься, словно бы и дѣло дѣлаешь, а результатъ одинъ: воочію видишь, какъ подтасчивается и засыхаетъ твоя жизнь!

— А я тебѣ знаешь ли, что хотѣть предложить? Сходимъ-ка вмѣстѣ къ Износкову!

— Это зачѣмъ?

— Во-первыхъ, для разогнанія хандры. По моему мнѣнію, что съ Износковымъ повидаться, что на хороший пирогъ съ начинкой посмотрѣть—одинаково сердцемъ расцѣшешь. А во-вторыхъ, хотѣлось бы и предполагаемаго читателя твоего тебѣ показать—вѣдь ты говоришь, что у васъ ихъ много,—чтобы ты самъ убѣдился, какъ онъ на тебя смотрить и о тебѣ разговариваетъ.

— Да вѣдь Износковъ, пожалуй, сдѣлаетъ видъ, что не узнаетъ меня! Или и узнаетъ, да какую-нибудь глупость брякнетъ!

— А мы, для предосторожности, такой часъ выберемъ, когда у него культурныхъ людей не бываетъ. Часовъ, этакъ, около половины двѣнадцатаго утра. Въ это время онъ всегда отлично себя чувствуетъ. Выспался превосходно, пищевареніе совершилось благополучно... добръ онъ тогда! Много-много что легонькій репримандецъ сдѣлаетъ... Ну, да вѣдь ты насчетъ репримандовъ-то—травленый волкъ!

По обыкновенію, я нѣкоторое время слегка противорѣчилъ и по обыкновенію же въ концѣ концовъ сдался.

Мы застали Износкова за занятіемъ, которому онъ, по-видимому, придавалъ большую важность. Онъ сидѣлъ за туалетнымъ столомъ передъ зеркаломъ, въ брюкахъ безъ жилета, въ тончайшей и блой какъ снѣгъ рубашкѣ, и повязывалъ на шею галстукъ. Подтяжки такъ и врѣзывались въ его пухлыхъ плечи. Я ужъ лѣтъ двадцать пять не встречался съ Износковымъ, и мнѣ вдругъ почудилось, что я вновь очутился въ школѣ, и что Петъка Износкова показываетъ мнѣ свои осѣпшительно-блѣлые зубы. Высокий, широкогрудый, румяный и блѣлый, онъ подавлялъ своимъ могучимъ здоровьемъ, которое такъ и лучилось изъ всѣхъ его поръ. На лицѣ его ни единой морщинки; глаза съ какимъ-то сизо-металлическимъ блескомъ, словно сейчасъ отчеканиенные пятиалтынны сорокъ второй пробы; губы пухлые, алые, осѣпленные топенѣкими усиками, вытянутыми въ нитку; щеки чистыя, румяные; тѣло, правда, нѣсколько тучное, но крѣпкое; грудь высокая, почти женская. Однимъ словомъ, время скользнуло по немъ, не оставивъ ни на одной части его организма никакого слѣда.

— Ба! литераторъ! — воскликнулъ онъ, протягивая руки съ тѣмъ порывистымъ жестомъ, который употребляютъ актеры Михайловскаго театра, когда хотятъ выразить радушіе: — какими судьбами?

— Да вотъ, какъ видиши!

— Постой! встань-ка ближе къ свѣту, вотъ такъ! Постарѣль, душа моя! Все стихи пишешь?

— Какіе же онъ стихи пишеть! — вступилъ Глумовъ: — отродясь, я чай, ни одного стиха не сочинилъ!

— Ну, все равно — прозой пишеть! Я, признаюсь откровенно, съ русской литературой незнакомъ. C'est à dire, я, конечно, знаю... Derjavinе, Karamzine, Poushkin, le comte Sollogoub... Но тебя, мой другъ, — каюсь! — не читать! Но какъ ты однако-жъ непозволительно постарѣль! Эта сѣда борода, этотъ землистый тонъ лица, эти морщины... Я пари готовъ держать, что все это у тебя отъ стиховъ!

— Ну, а ты такъ совсѣмъ не измѣнился: какъ въ школѣ красавцемъ былъ, такъ и теперь молодцомъ глядиши!

— Да, но вѣдь это — цѣлая наука, mon cher! Конечно, не столь трудная, какъ, напримѣръ, стихи писать!

Онъ сѣлъ и усадилъ меня противъ себя, держа за руки и смотря мнѣ прямо въ глаза. При этомъ лицо его озарилось не то глупою, не то лукавою улыбкой, какъ будто онъ хотѣлъ сказать: хоть я стиховъ и не пишу, по тебѣ вижу и даже насквозь тебя, голубчикъ, понимаю!

Я помню, эта улыбка еще въ школѣ меня ужасно смущала, хотя я никогда не могъ хорошенько опредѣлить, въ чёмъ собственно состоитъ ся смущающее свойство. Сидѣть передъ вами человѣкъ, смотрѣть вамъ прямо въ глаза и улыбается. Хочеть ли онъ этимъ сказать: «я глупъ несомнѣнно, но мнѣ нимало этого не совсѣмъ», или же лаетъ выразить мысль болѣе сложную: «посмотри, какъ я чистъ сердцемъ (у насъ сердечная чистота очень часто считается непремѣннымъ спутникомъ глупости); а ты?» И начинаетъ вдругъ казаться, что этотъ улыбающійся человѣкъ, при всей его глупости, все-таки себѣ на умѣ; что онъ знаетъ нечто больше, нежели можно ожидать отъ его простодушнаго, и знать именно тѣ, что пуще всего хотѣлось бы скрыть... А иу какъ онъ «ляшишь»! Умный человѣкъ—тотъ посовѣтится и не «ляшишь», а дуракъ—вѣдь не даромъ же говорятъ, что дураку море по колѣна—ляшись онъ, непремѣнно ляшись!

— Постой, о стихахъ говорить не затѣй, — сказаъ между тѣмъ Глумовъ:—а вотъ мы лучше о чёмъ поговоримъ. Сейчасъ ты промолвишь, что есть какая-то наука, благодаря которой ты до сорока пяти лѣтъ прожилъ, а все еще тридцатилѣтнимъ мужчиной смотришь. Такъ объясни ты намъ, сдѣлай милость, что это за наука такая?

— Mon cher! Главный секретъ этой науки состоять въ томъ, чтобы начертить себѣ извѣстный *esprit de conduite* и загѣмъ все дѣлать въ свое время и не упускать ни одной подробности изъ того режима, который ты однажды придалъ для себя полезныи,—отвѣчалъ Извинской.— Если ты твердо рѣшился слѣдовать этой линіи—твое дѣло выиграно; если же ты хоть однажды что-нибудь пропустилъ или сдѣлалъ не въ время—все пропало!

— Да, но вѣдь ты понимаешь, что съ однѣмъ хорошимъ поведенiemъ...

— О! что касается до средствъ, то съ этой стороны мы совершенно обезпечены. Намъ остается только протянуть руку и черпать. Это даже невѣроятно, какие громадные успѣхи сдѣлала въ послѣднее время туалетная химія, туалетная механика и туалетная гигіена! Нѣть самой ни-

чтожной бездѣлицы, которая не была бы предусмотрѣна; нѣть того cosmétique, дѣйствіе котораго не было бы опредѣлено съ величайшею точностью! Конечно, ошибки могутъ быть и здѣсь... Такъ, напримѣръ, въ газетахъ сплошь и рядомъ мы читаемъ объявленія о разныхъ dentifrices, eaux de Vénus и такъ далѣе — ну, разумѣется, къ этимъ средствамъ необходимо относиться съ нѣкоторою предусмотрительностью...

— Какъ же тутъ быть предусмотрительнымъ,—какъ бы недоумѣвалъ Глумовъ:—ну, прочиталъ, напримѣръ, въ газетахъ: мазь для рощенія волосъ... взять, намазался ею на ночь — а нь на утро у тебя вмѣсто головы голое колѣно!

— Да, ежели ты только эмпирикъ — оно непремѣнно такъ и случится. Я самъ, когда вышелъ изъ школы, тоже стояча прибѣгнулъ къ одной crème d'odalisque, которая, судя по объявлению, должна была сообщить моей кожѣ «une velouté jusqu'ici inconnue», но на повѣрку вышло, что я цѣлую ночь проспалъ со щеками, вымазанными какою-то мерзостью, а на утро у меня по всему лицу выступили прыщи. Ошибки, мой другъ, неизбѣжны; но онѣ-то и должны намъ указывать, до какой степени необходимо во всякомъ дѣлѣ быть осмотрительнымъ. Нужно пользоваться этими ошибками, но не для того, чтобы вновь впадать въ нихъ, а для того, чтобы ихъ не повторять.

— Это ты правду сказалъ насчетъ ошибокъ-то. Но легко вѣдь говорить: будь осмотрителенъ, а какъ ты будешь осмотрителенъ, когда передъ тобой все неизвѣстность и мракъ?

— Откровенно скажу тебѣ, что я въ этомъ случаѣ — консерваторъ! Литераторъ! — обратился онъ ко мнѣ: — можетъ-быть, тебя это слово покиругаетъ, но ужъ извини меня, душа моя: я вѣдь вездѣ и во всемъ — консерваторъ! Во всемъ, ты понимаешь?.. Я революцій не терплю... пикающихъ.. А впрочемъ, обѣ этомъ послѣ. Итакъ, я — консерваторъ и потому въ большей части случаевъ прибегаю къ такимъ средствамъ, надежность которыхъ уже испытана. Конечно, я допускаю и новые пути; я не до такой степени упоренъ, чтобы не понимать, qu'il y a quelque chose à faire; но на этотъ конецъ я имѣю такихъ субъектовъ, которыхъ я плачу и которые на себѣ испытываютъ дѣйствія средствъ, кажущихся мнѣ интересными. Сверхъ того, вездѣ существуютъ такие шинисты и ижіенисты, которыхъ специальность составляютъ туалетная химія и туалетная ижіена.

Я, напримѣръ, имѣю на этотъ предметъ въ Петербургѣ годового доктора, котораго совѣты были всегда для меня драгоценны. Но, кажется, разговоръ нашъ не занимаетъ тебя? — опять обратился онъ ко мнѣ съ тою же глуполукавою улыбкой: — вѣдь ты привыкъ говорить о предметахъ возвышенныхъ... о революціяхъ, напримѣръ?

— Помилуй, любезный другъ! — испугался я: — да я и самъ...

— Оставь его! — вступилъ за меня Глумовъ: — нравится или не нравится ему нашъ разговоръ — какое намъ до этого дѣло! Главное, чтобы намъ нравился. Ну-съ, такъ продолжаемъ. И много у тебя времени береть эта туалетная гигиена?

— Да какъ тебѣ сказать? — почти что весь день! Нынче раздѣленіе труда доведено до такой степени, что каждая часть тѣла служить предметомъ особеннаго ухода, особыхъ порученій. Вотъ хоть бы сегодня. Я всталъ въ восемь съ половиной часовъ и до сихъ поръ — теперь половина двѣнадцатаго — не успѣлъ еще окончить моего туалета. Разумѣется, главное уже кончено, а все-таки необходимо дать послѣдній *coup de main*. Съ вашего позволенія, господа!

— Сдѣтай одолженіе, мы и во время туалета можемъ вести разговоры!

Износковъ позвонилъ француза-лакея и опять отправился къ туалетному столу. Посаѣдовавъ обрядъ надѣванія жилета и жакетки, во время котораго Износковъ повертывался передъ зеркаломъ на собственной оси, подергивалъ плечами, слегка постукивалъ пальцами по груди, какъ бы взбивая ее, а французы-лакей не ходилъ, а какъ-то беззвучно плавалъ вокругъ него, слѣдя за всѣми его движеніями и стараясь уловить на лету всякую его мысль. Наконецъ все было слажено, все сидѣло какъ вылитое, хотя ничто не обличало мучительной работы, предшествовавшей послѣднему *coup de main*. Мы отправились въ столовую, гдѣ ужъ былъ сервированъ завтракъ на три персоны.

— Ну, а насчетъ пищи и питія какъ? — поинтересовался Глумовъ.

— Увы! ты затронулъ самое болѣе мѣсто моего существованія! — отвѣтилъ Износковъ. — Да, хромаетъ у меня эта часть, сильно хромаетъ! Хотя, конечно, и въ этомъ отношеніи я дѣлаю все, что можно, *tout ce qui est humainement possible!*

— А напримѣр?

— Быть видишь ли, чтобы ты могъ понять меня вполнѣ, я расскажу тебѣ весь свой петербургскій день. Литераторъ! это не обезпокоить тебя?

— Да нѣтъ же! Я даже не понимаю, почему ты предполагаешь! — поспѣшилъ я разувѣрить его и при этомъ улыбнулся такъ глупо, такъ глупо, что, право, кажется, глупѣе самого Износкова.

— Ну, такъ слушайте же меня! — серьезно началъ Износковъ, предварительно наливъ намъ по стакану превосходнаго лафита.— Я пробуждаюсь утромъ всегда въ восемь съ половиной часовъ. Почему въ восемь съ половиной, а не въ восемь и не въ девять—это я вамъ сейчасъ объясню. Во-первыхъ, раньше восьми съ половиной въ Петербургѣ, зимой, рѣдко бываетъ достаточно свѣтло; во-вторыхъ, если-бы я всталъ раньше, мой французъ быль бы не готовъ, а безъ него я не могу сдѣлать шага; если бы же я всталъ позднѣе, то самъ непремѣнно бы вездѣ опоздалъ; въ-третьихъ, это—именно тотъ часъ, когда пищевареніе у меня уже совершилось, а въ-четвертыхъ, съ восьми съ половиной часовъ передо мной, по крайней мѣрѣ, два съ половиной часа, въ продолженіе которыхъ никто—вы понимаете: *никто!*— не можетъ мнѣ помѣшать. Затѣмъ, сесі posé, continuons. Вставши съ постели, я сейчасъ же сажусь въ ванну. Въ ванну въ двадцать два градуса, ни больше, ни меньше, и съ двумя фунтами *savon dulcifiant*, предварительно распущенаго въ водѣ. Въ ваннѣ я сижу ровно двадцать двѣ минуты, и въ девять часовъ я уже тамъ, въ той комнатѣ, въ которой вы меня застали. Я начинаю свою работу съ того, что мдю губкой лицо, руки, чишу ногти, проополаскиваю себѣ ротъ, чишу зубы, языкъ и ироч. и, вытеревши себя досуха особаго рода впитывающимъ влажность полотенцемъ, прихожу на свой постъ, къ моему туалетному столу. Здѣсь я прежде всего начинаю съ изслѣдований: внимательно разматриваю свое лицо, и ежели замѣчаю гдѣ-нибудь прыщи или красноту, то стараюсь припомнить проведенный мною наканунѣ день, чтобы вполнѣ точно опредѣлить причину накожнаго раздраженія. Кончивши изслѣдованія, сообразивши тѣ средства, которыя мнѣ могутъ потребоваться, и расположивши склянки такъ, чтобы онѣ были какъ можно ближе подъ рукою, я начинаю работу практическихъ примѣненій, то-есть дѣлаю все, чтд нужно, чтобы получить въ результатѣ лицо вполнѣ приличное. Ма-

foi messieurs! если-бы вы пришли ко мнѣ часомъ раньше, то не ручаюсь, что вы не увидѣли бы меня съ лицомъ, засыпанымъ пудрою и покрытымъ различными *onguents!* Затѣмъ, покуда все это сохнетъ, я начинаю отдѣлку ногтей. Ногти, messieurs, то-есть ногти порядочнаго человѣка— вещь очень важная и вполнѣ зависящая отъ насть самихъ. Ни носа, ни глазъ, ни даже зубовъ мы ни удлинить, ни укоротить не можемъ; съ ногтями же мы можемъ сдѣлать все, чтѣ только въ состояніи придумать изящный вкусъ, согласованный съ требованіями современности. Ногти порядочнаго человѣка должны быть ни очень коротки, ни очень длинны (при этомъ изреченіи Износкова я невольно взглянула на свои ногти: они были обгрызены!). Слишкомъ длинный ноготь съ трудомъ поддается обдѣлкѣ и скоро принимаетъ неряшливый роговой цветъ; слишкомъ короткий ноготь придаетъ пальцу неприличный мясистый тонъ. *Et puis un ongle doit etre effilé и имѣть розовый цветъ*— вотъ (опять показаю памъ *свои ногти!*) Отдѣлка ногтей береть у меня около двадцати минутъ и требуетъ въ практическомъ смыслѣ большой опыта. Я употребляю при этомъ до двадцати названий разныхъ ножницъ, ножичковъ, подпилковъ, щеточекъ—по этому одному вы можете судить о томъ, до какой степени въ этомъ дѣлѣ доведено раздѣление труда! Покончивши съ ногтями, я пью свой кофе и терпѣливо ожидаю дѣйствія тѣхъ средствъ, къ которымъ счель нужнымъ прибѣгнуть передъ отдѣлкой ногтей. Въ одиннадцать часовъ я умываюсь вновь, обтираюсь съ особенною тщательностью и пепреѣнно передъ зеркаломъ. Потому что если-бы я вытирался не передъ зеркаломъ, то изъ этого могли бы выйти слѣдующія послѣдствія: во-первыхъ, не всѣ части моего лица и рукъ были бы вытерты равномѣрно и досуха, а во-вторыхъ, я могъ бы допустить недосмотры, которые потомъ было бы гораздо труднѣе поправить, пожели теперь, по горячимъ слѣдамъ. Справивши окончательно съ лицомъ и руками, я начинаю причесываться, приступаю къ одѣванію и завязыванію галстука. Здѣсь— опять цѣлая наука. Вотъ эти панталоны— посмотрите, какъ онѣ охватываютъ ляжку и какъ потомъ незамѣтно, почти нечувствительно, спускаются, спускаются и наконецъ... ложатся на сапоги! Они— отъ Тедески. Въ Петербургѣ есть довольно хорошихъ портныхъ, но что касается панталонъ— это Тедески! Тедески— это ваятель, который создастъ ногу почти неожиданно, точно такъ же,

какъ Мишенинъ совсѣмъ неожиданно создать памятникъ тысячелѣтию Россіи. Затѣмъ жилетъ и фракъ должны быть отъ Жоржѣ. Но этого еще мало — одѣться! Нужно еще знать, во чѣо одѣться, нужно понимать толкъ въ прѣтахъ. Во всемъ необходима гармонія, и ежели, напримѣръ, при панталонахъ gris perle ты надѣлъ зеленый жилетъ, то какъ бы отлично все это ни сидѣло на тебѣ, ты никогда не будешь порядочнымъ человѣкомъ. Все это необходимо взвѣсить и сообразить, и вы поймете, почему я только теперь, въ двѣнадцать съ половиной часовъ, то-есть чѣрезъ четыре часа послѣ пробужденія, могу принять васъ за завтракомъ. Не забудьте, что я опустилъ еще множество интересныхъ подробностей, которая также требуютъ времени. Такъ, напримѣръ, я утромъ *nепремѣнно* осматриваю весь гардеробъ и распредѣляю мои костюмы на цѣлый день; утромъ же я регулирую мои счеты и т. д. Такъ что, говоря по совѣсти, если-бъ я захотѣлъ исполнить все какъ слѣдуетъ — мнѣ мало было бы и двадцати четырехъ часовъ въ сутки. Но чѣо же дѣлать! а Гімроузъ *nul n'est rien!* Я — человѣкъ, и имѣю обязанности относительно общества, и потому...

— Ты покоряешься, понятіос дѣло, душа моя! — прерваль Глумовъ. — Ахъ, голубчики! вѣдь то-то въ тебѣ и дорого, что отдѣлка наружности у тебя сама по себѣ, а обязанности относительно общества сами по себѣ!

— Благодарю, ты понялъ меня. Есть люди, господа (Износковъ взглянуль строго, но ни на кого въ особенности), которые думаютъ сами и внушаютъ другимъ, что мы исключительно заняты различными *mesquineries*; но это доказываетъ только, что настъ совсѣмъ не знаютъ. Но оставимъ это. Итакъ, мы остановились на томъ, что въ половинѣ первого я завтракаю и принимаю друзей. Въ часъ мой завтракъ уже конченъ, и я выхожу дѣлать мою первую прогулку, при чѣомъ стараюсь какъ можно больше себя утомить. Въ это время въ гостиныхъ не принимаютъ, слѣдовательно нѣть еще большой бѣды, если мое тѣло дастъ и испарину. Въ эти же часы я позволяю себѣ сдѣлать одинъ короткій дѣловoy визитъ — одинъ за разъ, никакъ не больше — и въ два съ половиной часа я снова дома.

— Ты говоришь: одинъ визитъ, но отчего не два, напримѣръ? — заинтересовался Глумовъ.

— А потому, мой другъ, что два или большие дѣловыхъ визитовъ утомили бы меня. Вообще это — правило, которое

почти не терпить исключений: дѣловой элементъ долженъ входить въ жизнь лишь настолько, насколько этого требуютъ самыя-самыя нетерпящія обстоятельства.

— Помилуй, душа моя! Какъ же ты-то можешьъ это говорить, когда ты самъ — можно сказать — мученикъ дѣла, когда ты съ утра до вечера...

— Да, но это — совсѣмъ другое. То дѣло — моя специальность; тутъ я вполнѣ въ своей сферѣ. Тогда какъ подъ «дѣловыми визитами» я разумѣю собственно тѣ, къ которымъ обязываютъ меня общественные отношенія. Я — человѣкъ партіи, другъ мой! я — консерваторъ, и притомъ одинъ изъ представителей великаго культурнаго слоя Россіи. Одно это званіе уже налагаетъ на меня тьму обязанностей. Лично для себя я не ищу ничего — я не честолюбивъ, я вполнѣ обеспеченъ и люблю свободу; но во мнѣ имѣютъ нужду люди моей партіи, и тутъ — *il faut que je m'exécute!*

— Чѣдъ и говорить! Тому мѣстечко, другому крестикъ или чинъ — культурные люди должны поддерживать другъ друга, благо обстоятельства сложились благопріятно для нихъ.

— Вотъ это и есть моя мысль. Но ты понимаешь, что всѣ эти ходатайства, просыбы и рекомендаций не могутъ же быть особенно интересны. Тѣмъ больше, что нерѣдко насть осаждаются такія шалопаи, которые впослѣдствіи ставятъ въ большое затрудненіе само правительство...

— А ты бы за такихъ не ходатайствовалъ!

— Нельзя, mon cher. Во-первыхъ, я, къ сожалѣнію, — не сердцевѣдѣцъ, а во-вторыхъ, намъ нужны люди. Необходимо, чтобы ряды наши были наполнены, чтобы мы всегда были въ состояніи противостоять. Но во всякомъ случаѣ эти ходатайства составляютъ одно изъ больныхъ мѣсть моего существованія, и потому очень понятно, что относительно дѣловыхъ визитовъ я не могу допустить болѣе одного въ день.

— Однако, братъ, и у тебя... шипы-то, вѣрно, у всякаго есть!

— И какіе еще шипы! На-дняхъ Коля Персіановъ, папъ общи товарищъ и человѣкъ, котораго мнѣніемъ я больше всего на свѣтѣ дорожу, прямо въ глаза мнѣ сказалъ: «Душа моя! ты всегда рекомендуешь или глупцовъ, или негодяевъ! Одинъ изъ твоихъ protégés на-дняхъ у Доминика пирогъ укралъ!» Каково мнѣ было слышать это!

Правда, онъ тутъ же поспѣшилъ прибавить: «а впрочемъ, всѣ эти прекрасные незнакомцы, которые являются къ намъ подъ личиной консерваторовъ, — всѣ они большой руки шалопаи...» но все-таки мнѣ было очень и очень не- приятно!

— Еще бы! вѣдь мнѣніе Коли Персіянова...

— Ахъ, мой другъ! это — такой человѣкъ, такой человѣкъ! Нашъ ровесникъ — и ужъ правая рука! Ma tante, la comtesse Nakhliostkine, называетъ его «государственнымъ юношемъ». Et avec ça, d'une bonté, d'une prévenance... ни одинъ проситель не уходитъ отъ него не очарованнымъ! Добръ и то въ же время твердъ, особыво если дѣло касается принциповъ. Ужъ онъ по шерсткѣ не погладить... ни-ни!

— Ну, о Персіяновѣ послѣ. Ты такъ интересно рассказываешь свой день, что я, право, заслушался. Продолжай, пожалуйста.

— Къ половинѣ третьяго я возвращаюсь домой. Тутъ я опять освѣжаю себѣ лицо и руки; но, понятно, уже не съ тѣмъ вниманіемъ, какъ утромъ. Истинное достоинство моей системы въ томъ и состоять, что утромъ вся главная работа уже сдѣлана, и затѣмъ въ продолженіе дня я отдаюсь одиѣмъ поправкамъ. Освѣжившись, я надѣваю костюмъ, предназначенный для визитовъ, и въ три часа, если погода благопріятствуетъ, выхожу на Невскій — это вторая моя прогулка, которую я дѣлаю, уже не утомляя себя. Тутъ я встрѣчаюсь съ знакомыми, узнаю новости дня и около четырехъ часовъ сажусь въ карету и отправляюсь съ визитами. И такъ какъ главная новости дня мнѣ известны, то понятно дѣло, что недостатка въ *sujets de conversation* не можетъ быть. Но ежели новости скучны, то у меня всегда есть въ запасѣ различныя *impressions de voyage*, которыхъ очень легко припоминаются и всегда какъ-то новы. Время проходить быстро, такъ что и не увидишь, какъ наступить половина шестого, моментъ, когда я долженъ быть вновь на своемъ посту, т.-е. дома, за туалетнымъ столомъ. Здѣсь я опять освѣжаю лицо и руки и надѣваю фракъ или сюртукъ, смотря по тому, куда отправляюсь обѣдать. Все это дѣлается быстро, очень быстро, потому что въ шесть часовъ я долженъ быть на мѣстѣ. Вотъ тутъ-то именно и начинаются тѣ затрудненія, о которыхъ я уже говорилъ.

— Насчетъ пиши и пятія, что ли?

— Именно. До сихъ поръ я былъ самъ себѣ господи-  
номъ; я распоряжался и своимъ временемъ, и своими дѣй-  
ствіями по плану, мною самимъ составленному и обдуман-  
ному. Лично — я очень умбрень. Мой каждодневный  
завтракъ вы видите: это — добрый кусокъ мяса, блюдо слад-  
каго и полбутылки, много бутылка лафита. Этого, конечно,  
достаточно, чтобы насытить, но пресыщенія тутъ быть не  
можетъ. Между тѣмъ вѣдь дома я уже не завишу отъ себя.  
Я не пользуюсь достаточной суммой свободы, которая не-  
обходима, чтобы благоразуміе и строгое разсчитанная си-  
стема дѣйствій не переставали служить руководящо пятью  
моихъ жизненныхъ отправлений.

Износковъ задумался на минуту, потомъ взгрустнуль и  
вдругъ впаль въ сентиментальность.

— Да, господа, — сказалъ онъ: — иногда я завидую вамъ! Я завидую той умбренности, которая такъ просто вамъ достается, завидую тѣмъ скромнымъ обѣдамъ, послѣ которыхъ чувствуется такъ легко на душѣ! Чѣдъ вамъ! Вы зай-  
дете въ какой-нибудь маленький рестораникъ, спросите себѣ обѣдъ въ полтинникъ — и довольны. Вы счастливы, веселы, вы возвращаетесь домой, ни въ какомъ смыслѣ не чувствуя обремененія. Однажды въ Парижѣ я именно такимъ образомъ провелъ мой день. Насъ было трое, и мы условились отобѣдать самымъ простымъ и дешевымъ образомъ. Отправились въ одинъ изъ *établissements de bouil-  
lon*, заказали обѣдъ въ два съ половиной франца съ человѣка, и повѣрите ли — никогда я не чувствовалъ себя такъ хорошо, такъ свободно, какъ въ это памятное послѣ-обѣда! Потомъ мы отправились въ какую-то третью галлерею театра *Gaité* и оттуда въ *Jardin Bullier*, гдѣ до такой степени развеселились, что незамѣтно кончили ночь *au violon*. И вотъ тогда-то я сказалъ себѣ: если обстоятельства мои измѣняются, если я сдѣлаюсь бѣденъ, *somme Job*, — я всегда буду жить такимъ образомъ. Да, господа, я вамъ завидую!

— Чѣдъ и говорить! съ этой стороны мы дѣйствительно обезпечены, — сказалъ Глумовъ: — разумѣется, лучше имѣть спокойную совѣсть, нежели переполненное брюхо. А все-таки и еще было бы лучше, если-бы совѣсть съ брюхомъ-то какъ-нибудь примирить!

— Да, но міръ такъ устроенъ... *Entre nous soit dit*, я вѣдь и самъ — немножко соціалистъ; я самъ не разъ задумывался объ этой «курицѣ въ супѣ», которую такъ желаю Генрихъ IV для своихъ вѣноподданныхъ. Но я убѣ-

дился, что пути Провидѣнія ведутъ человѣчество иначе— и вотъ въ чёмъ собственно заключается то громадное различіе, которое существуетъ между мною и распространителями превратныхъ идей. Мы, русскіе, всѣ болѣе или менѣе соціалисты, но я—я борюсь со страстями, а другіе—безпрекословно отдаютъ себѣ имъ въ пленъ. Вотъ и все.

— И хорошо дѣлаешь, что борешься. Потому что если каждый день всякому по курицѣ—сколько бы курицѣ надо было! А потомъ, пожалуй, и курицами перестали бы удовлетворяться—захотѣли бы бифштексу!

— C'est ce que je me suis toujours dit. Мы, консерваторы, понимаемъ это ясно. Но вотъ... Литераторъ! ты какъ обѣй этомъ думаешь?

— Помилуй! Совершенно такъ же, какъ и ты!

— Là! la main sur la conscience?

— Ну, ей-Богу!—поклялся я.

— Я тебѣ вѣрю. Итакъ, будемъ продолжать. Повторяю: самъ по себѣ я умѣренъ; но, къ сожалѣнію, обѣй безъ общества для меня немыслимъ. Я охотно обѣдалъ бы въ семействахъ, но—увы!—направлѣніе нашего вѣка таково, что о семейныхъ обѣдахъ никто нынче не помышляетъ, и даже сами семейные люди находятъ, что эти обѣды годны только для воспитанниковъ военно-учебныхъ заведеній, отпускаемыхъ по праздникамъ домой. Тонкій обѣй въ ресторанѣ, обѣй съ немногими друзьями, оживленный не-принужденнымъ и живымъ разговоромъ—вотъ идеаль на-шего времени. Но понятно, что въ смыслѣ тещи такой обѣй долженъ быть совершенствомъ, а это—уже слиш-комъ серьезное дѣло, чтобы можно было положиться един-ственno изъ самого себя. Маги обѣда должно быть дебати-ровано и резонировано, ибо только тогда получится дѣ-ствительный гастрономическій результатъ. Къ сожалѣнію, такого рода результатъ не всегда согласуется съ результа-томъ гигіеническимъ, и вотъ чтѣ, по мнѣнію моему, обра-зуетъ ту страшную пропасть, которая раздѣляетъ l'homme de la nature et l'homme civilis ! L'homme de la nature se pourrit de mati res premi res! Его кухня—всѧ вселенная. Онъ ловитъ рыбъ, птицъ и звѣрей—и съѣдаетъ ихъ по-чи живыми. En fait de l gumes—у него подъ руками безчисленные корни и злаки. И при этомъ онъ ёсть и пить,—и замѣтѣте, пить только воду!—именно столько, сколько ему надо, чтобы утолить голодъ и жажду. Но по мѣрѣ того, какъ цивилизациѣ прикасается къ человѣку,

таинственная книга природы мало-по-малу закрывается для него. Уже нашъ мелкій петербургскій чиновникъ съ прѣзрѣніемъ отворачивается отъ внутренностей какого-нибудь олена и, какъ подспорье къ водѣ, изобрѣтаетъ квасъ. Но питаніе чиновника все-таки еще довольно близко подходить къ питанію человѣка природы, потому что главный характеръ его составляютъ умѣренность порцій и преобладаніе воды, хотя бы и замаскированной подъ фирмой кваса. Затѣмъ, чѣмъ ближе человѣкъ подходитъ къ состоянію культурности, тѣмъ больше онъ удаляется отъ первообраза питанія, предлагаемаго природой, и тѣмъ неудержимѣе стремится къ переполненію желудка. Извлекаются комбинаціи, вслѣдствіе которыхъ *matière première* до того измѣняетъ свой интимный характеръ, что дѣлается почти неузнаваемо. Сначала говядина сортируется, при чѣмъ сорты жесткіе и трудно проглатываемые достаются въ удѣль людямъ,итающимся въ греческихъ кухмистерскихъ, а сорты мягкие и легко проглатываемые—культурному человѣку. Но этого мало: вмѣсто говядины просто вареной или жареной, выступаетъ на сцену бифштексъ, ростбифъ, *languettes de boeuf*, т.-е. говядина идеализированная,—говядина, которая однимъ наружнымъ видомъ свидѣтельствуетъ объ усиліяхъ человѣческаго разума, работавшаго надъ ея просвѣтленіемъ. Но и этого недостаточно: наступаетъ эпоха соуса. Соусъ—это высшее выраженіе современного кулинарного гenія; соусъ—это преобразователь по преимуществу. И что всего важнѣе—заслуги его состоять не въ прошедшемъ, не въ томъ, чтѣ уже имъ совершено, а въ тѣхъ безчисленныхъ перспективахъ, которымъ онъ позволяетъ предвидѣть въ кулинарномъ будущемъ. Ахъ, *messieurs!* вы не можете имѣть даже приблизительной идеи о томъ, что совершило кулинарное искусство въ послѣднее время! Карэмъ былъ великъ и, вѣроятно, не повторится больше, но идея его жива и будетъ жить вѣчно. Ученики его разрабатываютъ эту идею такъ неутомимо и добросовѣстно, что каждый изъ нихъ въ своей специальности непремѣнно представилъ какое-нибудь изобрѣтеніе или пролилъ новый свѣтъ на какое-нибудь блюдо! Впрочемъ, у насъ, въ Петербургѣ, еще нельзя имѣть полнаго представленія той неизмѣримой высоты, на которой стоитъ современное искусство хорошо Ѵсть. Наши рестораны недурны—и только; но надоѣло быть въ Парижѣ, въ этой благословенной Франціи, которая со всѣхъ концовъ шлетъ что-ни-

будь съедомое, чтобы убѣдиться, до какой степени развитія можетъ дойти кулинарный геній. Каждый французъ—природный поваръ, каждая француженка—природная повариха, въ самомъ возвышенномъ, благородномъ значеніи этихъ словъ. Ни одинъ французскій король не умеръ, не оставилъ потомкамъ какого-нибудь кулинарного изобрѣтенія, и весь народъ стремился подражать ему. Замѣтите, что даже революціи имѣютъ у нихъ кулинарный характеръ, потому что всѣмъ хочется попробовать той «курицы въ супѣ», которую такъ великодушно пообѣщалъ Henri IV! Каждый разъ, какъ я прѣѣзжаю въ Парижъ, я не вѣрю глазамъ своимъ. Казалось, что уже найдены были геркулесовы столбы, что зданіе и увѣничано, и переувѣничано—ничуть не бывало! Oh! il y a encore immensément à faire! скажетъ вамъ всякий французъ, и скажетъ святую истину, потому что, напримѣръ, то, что вы въ прошломъ году ёдли подъ именемъ *rognaux sautés*,—уже совсѣмъ не то, что вы ёдите теперь подъ тѣмъ же именемъ. Въ прошломъ году вы должны были размальывать мясо почки зубами; теперь вы только присасываетесь къ почкѣ языкомъ—и она растаяла. А Бисмаркъ думалъ своими пятью мильярдами раздавить эту страну! Да она одними трюфелями уплатить это такихъ контрибуцій, одними poulets de Mans подорвать всю его жалкую политику! Правда, опять отѣзжалъ у Франціи Страсбургъ... Strasbourg!

Опять поникъ головой, какъ бы оплакивая участіе Страсбурга.

— Да, братъ, Страсбургъ... не видать теперь французы страсбургскихъ нироговъ какъ своихъ ушей!—сказалъ Глумовъ:—но вотъ чѣ, душа моя! Слушаю я тебя и удивляюсь: сколько ты долженъ быть и поработать, и подумать, чтобы представить себѣ всю эту картину въ такой поразительной ясности! Прогрессъ человѣчества въ связи съ кулинарнымъ искусствомъ! — какая грандиозная идея! Эти дикие, которые ёдятъ животныхъ сырьемъ, эти чиповники, которые пытаются въ греческихъ кухнистическихъ произведеніяхъ кухни, такъ сказать, свайнаго типа, и налонецъ этотъ вѣнецъ созданій божіихъ—культурный человѣкъ, который уже употребляетъ бифштексы и постепенно возвышается до соуса... Изумительно! Повѣришь ли, я даже сотовой части того не подозреваю, чтѣ теперь, послѣ твоего изложенія, такъ ясно мнѣ представляется!

— Да, мой другъ, и поработать я, и подумать, а все-

таки въ концѣ концовъ могу сказать только одно: я знаю, что я ничего не знаю. Или еще точнѣе: я знаю, что, благодаря развитію кулинарного искусства, у меня иногда въ одинъ вечеръ пропадаютъ цѣлые недѣли упорныхъ гигиеническихъ усилий. Трудно быть осмотрительнымъ, когда все вокругъ приглашаетъ къ неосмотрительности, и хотя я никогда не позволяю себѣ крайностей, но все-таки каждый разъ съ наступленiemъ лѣта чувствую потребность ремонтировать себя въ Карлсбадѣ! Но пора ужъ и кончить. Въ изложеній остального я буду кратокъ, потому что приближается время моей первой прогулки. Вечеръ я обыкновенно провожу въ балетѣ или у французовъ и оканчиваю свой день на раутѣ или на балѣ. Я никогда не ужинаю—это принципъ, отъ котораго я не позволяю себѣ отступить ни на юту. Домой я возвращаюсь отнюдь не позднѣе двухъ часовъ почти. Ночной туалетъ бергть у меня не меньше получаса, потому что это—время, когда я примѣняю тѣ средства, которыхъ дѣйствіе продолжительно. Но разъ въ постели—я засыпаю, какъ убитый. Въ этомъ отношеніи я сумѣть такъ дисциплинировать себя, что угромъ всѣ повязки на головѣ и лицѣ оказываются всегда на тѣхъ съмыхъ мѣстахъ, на которыхъ они были съ вечера. Затѣмъ опять начинается утро, и такимъ образомъ идутъ дни за днями, почти не измѣняясь даже въ подробностяхъ. Зная мой одинъ день, вы знаете всю мою жизнь. Чѣмъ сказать вамъ еще? Я здоровъ, я мало состарился, мнѣ никогда не бываетъ скучно, и я способенъ даже теперь совершать иѣкоторые exploits, которые винору человѣку лишь самой цвѣтущей молодости. Но повторю: все это достается мнѣдалеко не легко.

— Еще бы!—воскликнула Глаумовъ:—каждый шагъ разсчитанъ, каждое притирание обдумано,—какая тутъ легкость! Но вотъ чѣмъ: ты сказалъ сейчасъ, что тебѣ никогда не бываетъ скучно,—дѣйствительно ли это такъ?

— Никогда. L'ennui est l'ennemi de l'utile. Я гоню скучу, потому что она приводить за собой дурныя фантазіи. Вотъ вы, господа... Литераторы! яувѣрею, напримѣръ, что ты даже теперь не знаешь, куда дѣваться отъ скучи?

— Теперь яѣть; но вообще не могу сказать, чтобъ жизнь была весела.

— Недоволенъ? революцій хочется? Да, а propos! скажи, пожалуйста, правда ли, что ты требовалъ cent mille têtes à couper?

— Опомнись! Христосъ съ тобой!

— Да, да, да; мнѣ сказывали. Я лично по-русски давно ничего не читаю,—я считаю нашу литературу помойной ямой, въ которую сваливаются всѣ общественные нечистоты,—но знаю изъ достовѣрныхъ источниковъ... Ахъ, голубчики! голубчики! зачѣмъ ты это дѣлаешь?

— Да что дѣлаю-то? говори!

— Постой! твоя рѣчь впереди. Неужели ты можешь думать, что *nasъ* это меныше заботить, нежели тебя?

— Чѣмъ заботить? Ничто меня не заботить!

— Неужто ты можешь думать, что мы не видимъ *qu'il y a encore immensément à faire?* Что мы сами отъ души не желали бы, чтобы все шло къ общему удовольствію, чтобы эти широкія идеи, *toutes ces idées g  n  reuses enfin...*

— Да чтѣ-жъ это наконецъ! Глумовъ! объясни ему, сдѣлай милости!

Но Износковъ уже ничего не слышалъ.

— Другъ мой!—продолжалъ онъ, бера меня за руки и сильно сжимая ихъ:—я, конечно, не имѣю никакого права... но ради бывшаго нашего товарищества убѣждаю тебя: оставь! *Laisse, mon cher!* Оставь другому заботу волновать общественное мнѣніе, а ты—будь съ нами! Право, Россія не такъ безобразна, какъ это кажется съ первого взгляда! А ежели бы она и въ самомъ дѣлѣ была такъ непозволительно дурна, то, право, мы, русскіе, мы, люди культуры, должны показать обѣйней!

Онъ говорилъ это такимъ дурацкимъ-убѣжденнымъ тономъ, что я стоялъ какъ ошеломленный и, ничего не понимая, глядѣлъ ему въ лицо. Но тамъ было все загадочно. Ясно было только то, что въ эту минуту онъ и любилъ меня, и жалѣлъ; любилъ, не зная за что, и жалѣлъ, не зная за что. Наконецъ онъ спохватился и взглянуль на часы.

— Ба! пять минутъ второго!—воскликнулъ онъ торопливо:—ну, господа, прошу извинить! Надѣюсь, что мы видимся не въ послѣдній разъ! Литераторы! вѣдь ты не сердишься на меня? Ты понимаешь, что я отъ души... Оставь, мой другъ! Право, жизнь не такъ дурна, какъ это кажется господамъ революціонерамъ, которые по природѣ своей склонны все видѣть въ черномъ свѣтѣ! До свиданія, господа!

Выходя, я готовъ былъ взять Глумова за горло: до такой степени изумила меня послѣдняя сцена.

— Это—все ты!—упрекать я его:—ты привель меня къ этому шалопаю! по твоей милости я наслушался его наста-

вленій! Ты говорилъ мнѣ: пойдемъ на культурнаго человѣка посмотретьъ, а этотъ культурный человѣкъ, того и гляди...

— Не горячись!—прервалъ меня Глумовъ:—во-первыхъ, бѣды отъ Износова не можетъ быть никакой. Онъ ужъ и въ настоящую минуту, вѣроятно, забыть не только о своихъ наставленихъ, но и объ тебѣ самомъ. Во-вторыхъ, ты все-таки въ выигрышѣ, потому что видѣлъ лицомъ къ лицу подлиннаго русскаго культурнаго человѣка и знаешь, какъ онъ относится къ твоему ремеслу.

## ГЛАВА V.

1-й золотарь. Давеча мнѣ дядя Николай говорилъ: «не попимаю я, дядя Павелъ, какъ вмъ, золотари, это дѣлаетъ? и должностъ свою спрашиваете, и хѣбъ єдите». А я ему: не твоего разума эта задача, дядя Николай! зато мы въ день цѣлковый получаемъ, а тебѣ и вся цѣна гропъ.

2-й золотарь. Ну, а ойтъ что на это?

1-й золотарь. Ничего. «Отчаянны», говорить. «Ипъ и въ правду обѣ васъ забыть нужно».

*Изъ неизданной книги: «Житейскіе разговоры въ отходной ямѣ».*

Отъ времени до времени наша печать оживляется, и по-водомъ для этого оживленія служатъ уголовные скандалы. Много и безбоязненно было писано о матери Митрофани; еще болѣе обильную пищу для литературныхъ излѣній далъ купецъ Овсянниковъ; наконецъ выступилъ на сцену уголовный процессъ г. Кронеберга...

Процессъ этотъ немногосложенъ: г. Кронебергъ съѣхъ свою дочь и давалъ ей пощечины. О существованіи этой дочери онъ узналъ уже спустя значительное время послѣ ея рожденія, и потому первоначально ея воспитаніе было болѣе чѣмъ небрежное. Немедленно по появлѣніи на свѣтъ, она была отдана своею матерью въ одно крестьянское семейство въ Швейцаріи, гдѣ и нашелъ ее г. Кронебергъ. Затѣмъ онъ отдалъ ее въ семью настора въ Женевѣ, но и тутъ удовлетворительныхъ результатовъ не получилъ. Осталось поселить ребенка вмѣстѣ съ собою и лично заняться его воспитаніемъ, чтò г. Кронебергъ и исполнилъ. Но, задавшись мыслю сдѣлать изъ своей дочери «женщину не блестящую, но полезную», молодой отецъ съ огорченiemъ замѣтилъ, что въ ребенкѣ уже укоренились нѣкоторыя дурныя привычки, при существованіи которыхъ женщина хотя и можетъ быть блестящею (въ благонамѣрен-

номъ мірѣ кокотокъ), но ни въ какомъ случаѣ не имѣть права на название полезной. Надлежало воздѣйствовать на эти привычки, устроить такъ, чтобы ребенокъ забыть о нихъ. Намѣреніе отличное, но, къ сожалѣнію, г. Кронебергъ педагогъ-самоучка, и притомъ человѣкъ раздражительный, пылкій и самонадѣянный. Онъ сказалъ себѣ: не нужно мнѣ никакихъ совѣтовъ, ничьей помощи, я сдѣлаю все самъ. Но такъ какъ человѣкъ, не приготовленный къ извѣстнаго рода дѣятельности, можетъ только производить путаницу, то весьма естественно, что самонадѣянный педагогъ на первыхъ же порахъ долженъ быть сознаться въ своей несостоятельности и, за недостаткомъ времени для изученія новѣйшихъ педагогическихъ системъ, прибѣгнуть къ тѣмъ воспитательнымъ премамъ, которые въ ходу въ той средѣ, где онъ живеть. А въ средѣ этой педагогика одна: плюхи, ежели дѣло не терпить отлагательства, и розги, ежели можно вести дѣло искорененія пороковъ съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой. И дѣйствительно, розги, пополняемыя плохами, поступили на сцену.

Но система тѣлесныхъ воздѣйствий имѣть троекуру не выгоду. Во-первыхъ, она дѣйствуетъ медленно, ибо относится къ злой волѣ ребенка не непосредственно, а при участіи нѣкоторыхъ посредствующихъ членовъ, которыми являются: со стороны воспитывающаго—розги и кулакъ, а со стороны воспитываемаго—брейная оболочка безсмертной души, и преимущественно заднія ея части. Понятно, что черезъ спину, и притомъ при помощи розги, не имѣющей въ себѣ ничего духовнаго, гораздо труднѣе проникнуть до души, нежели при помощи убѣжденія, которое, какъ начало тонкое, имѣть свойство дѣйствовать на душу непосредственно. Во-вторыхъ, тѣлесныя наказанія, не удовлетворяя условіямъ быстроты дѣйствія,—что собственно и ожидается отъ нихъ педагогами-самоучками,—раздражаютъ послѣднихъ и заставляютъ ихъ тѣмъ сильнѣе упорствовать въ избранной системѣ, чѣмъ сомнительнѣе получаемые отъ нихъ результаты. Въ-третьихъ, они вынуждаютъ наказываемыхъ свидѣтельствовать обѣ испытываемой ими боли болѣе или менѣе громкими криками, которые послѣдствіи могутъ служить не совсѣмъ пріятнымъ для педагоговъ поводомъ для начатія противъ нихъ судебнаго преслѣдованія.

Это послѣднее обстоятельство въ особенности важно; оноказалось и въ дѣлѣ г. Кронеберга. Марія Кронебергъ

такъ сильно и часто кричала, что возбудила состраданіе въ двухъ сердобольныхъ женщинахъ (дворничихъ и кухаркѣ), которымъ и заявили въ участкѣ обь истязаніяхъ. Педагогические эксперименты были прерваны: на сцену явился участковый приставъ, затѣмъ прокуратура, вратъ, судебный слѣдователь, судебная палата и проч. А г. Кронебергъ поспѣшилъ обратиться къ помощи г. Спасовича, о которомъ даже стѣны судебнаго зданія волють: *ut bonus, dicendi peritus.*

Судебное слѣдствіе состоялось и, какъ слѣдовало ожидать, было направлено къ разыясненію слѣдующихъ трехъ капитальныхъ пунктовъ: 1) Не было ли какихъ постороннихъ причинъ, заставившихъ упомянутыхъ выше двухъ сердобольныхъ женщинъ довести до участка дѣло обь истязаніяхъ, или, другими словами: заявили ли они обь этомъ дѣлѣ безкорыстно, или же руководились какими-либо личными непоквальными побужденіями? 2) Заслуживала ли Марія Кронебергъ, чтобы на порочную волю ей воздѣйствовали при посредствѣ розогъ и оплеухъ, то-есть обладала ли она такими наклонностями, которыхъ могли ей впослѣдствіи воспрепятствовать сдѣлаться полезною женщиной? 3) Выходили ли употребленныя г. Кронебергомъ мѣры и исправленія изъ предѣловъ, очерченныхъ закономъ, настолько, чтобы потребовать вмѣшательства въ формѣ судебнаго преслѣдованія?

По первому вопросу на возбудительницу была накинута сильная тѣѧ. Дворничиха была замѣшана въ исторію о пропавшемъ цыпленкѣ, за что подвергнута г. Кронебергомъ вычету изъ жалованья въ количествѣ 80-ти копеекъ. Кухарка тоже состояла съ дѣвочкой въ какихъ-то преступныхъ отношеніяхъ, которая, однако-же, на судоговоренія разыясненія не получили. Вообще этотъ вопросъ былъ поставленъ довольно ребячески, и защита поняла, что опираться на него неѣть надобности; но сомнѣніе все-таки было возбуждено, и чистый образъ сердобольной дворничихи значительно потемнѣлъ въ глазахъ людей, которые изъ всѣхъ побужденій, двигающихъ человѣкомъ, вѣрять только въ побужденіе, заставляющее ради 80-ти копеекъ предавать своего близкаго.

По второму вопросу свидѣтельница, докторъ Суслова, показала, что дѣвушка занималась онанизмомъ и не умѣла управлять своими естественными нуждами. Да, именно такъ, въ этихъ словахъ и показалъ докторъ, четко и ясно,

какъ будто боялся что-нибудь упустить изъ вида. Другіе показывали о «порокахъ» Марії Кронбергъ уклончиво, какъ бы не желая компрометировать ребенка, и безъ того уже самымъ возмутительнымъ образомъ обвинившаго себя въ воровствѣ и лганьѣ, но докторъ Суслова показывала именно такъ, какъ «передъ Богомъ и страшныемъ Его судомъ показывать о семъ надлежитъ». Тамъ, гдѣ другіе останавливались передъ мыслью, что дѣвочкѣ предстоитъ еще долгое поприще жизни, докторъ Суслова, съ солдатскою, можно сказать, откровенностью, не усомнилась выдать ей аттестать на всю жизнь. Затѣмъ, изъ другихъ показаній, хотя и не столь вѣскихъ, какъ ссыльское (ихъ давали: подсудимый Кронбергъ, г-жа Жезингъ и пасторъ Комбі, который уже выказалъ свою несостоятельность въ дѣлѣ воспитанія), можно замѣтить, что Марія Кронбергъ позволяла себѣ лгать и однажды даже подала поводъ заподозрить ее въ намѣреніи присвоить себѣ изъ запертаго помыщенія (кража со взломомъ) принадлежащей г-жѣ Жезингъ черносливъ.

И такимъ образомъ передъ присяжными невольно возникла слѣдующая дилемма: ежели уже до начала судебнаго преслѣдованія Марія Кронбергъ не умѣла управлять своими естественными надобностями, то не будетъ ли вынесенный подсудимому обвинительный приговоръ косвеннымъ для нея поощреніемъ и впредь упорствовать въ томъ же ложномъ направленіи?

По третьему пункту свидѣтели-неученые отчасти показывали, что наказанія были житейскія, отчасти отзывались невѣдѣніемъ. Свидѣтели ученые, т.-е. эксперты-врачи, пугались. Врачъ Лансбергъ сначала высказывался не въ пользу г. Кронберга, но потомъ началь мало-по-малу отступать и кончилъ тѣмъ, что, собственно говоря, провести границу между легкими и тяжелыми поврежденіями «мы не можемъ», и что иногда и отъ легкихъ поврежденій люди умираютъ, а другіе и отъ тяжкихъ выздоравливаютъ. Такъ что когда г. Спасовичъ обратился къ нему съ вопросомъ, нашель ли онъ на тѣлѣ прорѣзы кожи, или только пятна и полосы (этотъ вопросъ слѣдовало бы выразить золотыми буквами на мраморной доскѣ и повѣсить послѣднюю въ залѣ засѣданій совѣта присяжныхъ побѣренныхъ), то г. Лансбергъ отвѣтилъ уже совсѣмъ темно, что «поврежденія относятся къ тяжкимъ по отношенію наказанія, а не по отношенію нанесенныхъ ударовъ», желая этимъ, вѣроятно, вы-

разить, что солдатъ могъ бы вынести такія поврежденія безъ особеннаго вреда, но для ребенка они могли составить и вредъ. Врачъ Чернишевичъ свидѣтельствовалъ по части рубцовъ и выразилъ то мнѣніе, что поврежденія особеннаго вліянія на здоровье ребенка не имѣли, но рубцы остались на всю жизнь и, судя по формѣ ихъ, произошли не отъ ушибовъ, а отъ ударовъ прутьями. Давность же происхожденія рубцовъ г. Чернишевичъ опредѣлилъ такъ: можетъ-быть, за нѣсколько лѣтъ, а можетъ-быть, и за три недѣли. Экспертъ Флоринскій тоже отнесъ наказанія не къ тяжкимъ, при чмъ присовокупилъ, что Марія Кронебергъ принадлежитъ къ числу такихъ субъектовъ, у которыхъ раздраженіе кожи бываетъ рѣзче, чмъ у другихъ. Наконецъ, экспертъ докторъ Корженевскій выразился, что девочка принадлежитъ къ субъектамъ, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу которыхъ производить синяки. Словомъ сказать, экспертиза не только не внесла никакой ясности въ дѣло, но еще болѣе запутала въ лабиринтѣ противорѣчій и оговорокъ. Никто ничего не сказалъ прямо, по-сусловски, такъ что для слушателей этого бесплоднаго разговора защиты экспертизами могъ даже возникнуть совсѣмъ особаго рода вопросъ: да ужъ не Марія ли Кронебергъ виновата тѣмъ, что принадлежитъ къ числу такихъ субъектовъ, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу которыхъ производить синяки! Хотя, съ другой стороны, слушателямъ, болѣе сообразительнымъ, могъ представиться и такой вопросъ: для чего же однако г. Кронебергъ предметомъ своихъ педагогическихъ воздействиій избралъ дочь, а не солдата, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу которого навѣрное синяковъ не произведетъ?

Г. Спасовичъ безпредѣльно воспользовался неопредѣленіемъ характеромъ матеріала, добытаго на судебнѣмъ слѣдствії. Вообще, независимо отъ талантливости, это самый солидный и дѣланный изъ нынѣ дѣйствующихъ адвокатовъ. Онъ всегда стоитъ на почвѣ фактovъ и прежде всего интересуется не тѣмъ, дѣйствительно ли преступленіе имѣло мѣсто, а тѣмъ, не имѣется ли для него оправданій въ законѣ, и могутъ ли быть опровергнуты представляющіяся въ дѣлѣ улики. Онъ не допускаетъ чувствительности и беззлодныхъ набѣговъ въ область либерального бормотанья. Онъ помнить, что онъ адвокатъ, только адвокатъ, а не философъ и не публицистъ, и приглашаетъ присяжныхъ засѣдателей помнить объ этомъ. Въ его глазахъ преступленіе не имѣть въ себѣ

ничего чудовищного, изумляющего, и онъ мало ожидаетъ, чтобы суды перестали дѣйствовать, за прекращеніемъ уголовныхъ преступлений. Онъ знаетъ законы со всѣми продолженіями и дополненіями, умѣть толковать ихъ и всегда хранить про запасъ кассационный поводъ. Свидѣтеля онъ изучилъ до тонкости и потому не учить его и не надобдается назойливыми вопросами, а только слегка направляеть, ибо знаетъ, что свидѣтель, предоставленный самому себѣ, гораздо скорѣе приподнесетъ ему сущій медъ, нежели свидѣтель, котораго адвокатъ береть подъ опеку. Присяжныхъ засѣдателей онъ тоже проникъ и нерѣдко упрощаетъ ихъ обязанности, объясня (обыкновенно въ заключеніи), что о преступлениѣ уже по тому одному не можетъ быть рѣчи, что и самое судебнное преслѣдованіе возбуждено несогласно съ такими-то и такими-то требованіями закона. Сверхъ того, судя по репутаціи, г. Спасовичъ принадлежитъ къ числу адвокатовъ, не обуреваемыхъ жаждой легкаго и быстрого стижанія, чтѣ еще больше влечеть къ нему сердца подсудимыхъ.

Таковъ адвокатъ, выступившій въ роли защитника г. Кронеберга на судоговореніи 23 января.

Сдѣлавши довольно краткий, хотя, нужно сознаться, не особенно замѣчательный очеркъ жизни и семейныхъ отношеній подсудимаго, г. Спасовичъ прежде всего приступаетъ къ вопросу: имѣютъ ли право родители наказывать своихъ дѣтей? — и разрѣшаеть его не на основаніи какихъ-либо произвольныхъ умозаключеній, но ссылкою на статью закона, которая гласить прямо, что родители, недовольные поведеніемъ дѣтей, могутъ наказывать ихъ способами, не вредящими ихъ здоровью и не препятствующими успѣхамъ въ наукахъ. Отсюда выводъ: да, г. Кронебергъ наказывалъ свою дочь и имѣть на это право, гарантированное ему закономъ. Но, можетъ-быть, онъ злоупотреблялъ этимъ правомъ и пускалъ въ ходъ такие способы наказанія, которые могли вредить ея здоровью? Чтобы разрѣшить этотъ вопросъ, г. Спасовичъ входитъ въ подробное, хотя и утомительное разсмотрѣніе качества побоевъ, слѣды которыхъ найдены на тѣлѣ ребенка. Знаки отъ побоевъ раздѣляются на три категоріи. Прежде всего представляются *знаки на лицо*, которыхъ такъ много, что, по признанію самой защиты, «если пристально взглядѣться въ лицо ребенка, то лицо точно исписано по всѣмъ направленіямъ тонкими линиями». Но это ничего не значитъ, ибо показанія экспер-

тось такъ неопределены, что защитѣ вѣть никакого труда вывести заключеніе, что «нѣть ни одного знака, о которомъ можно было бы сказать, что онъ произошелъ отъ удара, нанесенного отцомъ». Жаль, что подсудимый самъ сознался въ пощечинахъ, а не будь этого сознанія, не было бы и пощечинъ, такъ какъ нѣть на лицѣ синихъ и синебагровыхъ пятенъ. Но ежели и были синяки, то развѣ присяжнымъ не памятно показаніе доктора Корженевскаго, который удостовѣрилъ, что существуютъ субъекты, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу которыхъ производить синяки? Ребенокъ золотушный, изобилующій лимфой — чтѣ же тутъ мудренаго, что тѣло его покрыто синяками! Итакъ, знаки на лицѣ есть, но нѣть увѣренности, нѣть уликъ и доказательствъ, что они произошли отъ побоевъ, нанесенныхъ отцомъ. И притомъ эти знаки мелкіе, ничтожные, знаки, которыхъ не замѣтила даже докторъ Суслова, замѣтившая, что Марія Кронбергъ не умѣеть справляться съ естественными надобностями. Затѣмъ слѣдуютъ знаки *на рукахъ и ногахъ*. Что касается до нихъ, то они произошли очень просто: дѣвочку держали за руки и за ноги во время сѣченія. Сѣченіе — было; этого никто не отрицаєтъ; самъ подсудимый сознался въ этомъ, и на этотъ разъ сознался кстати, потому что иначе нельзя было бы объяснить происхожденіе знаковъ на рукахъ и на ногахъ. *Tout se lie, tout s'enchaîne dans ce monde*, сказалъ нѣкогда Ламартинъ и прибавилъ: *alea jacta est!* т.-е. когда собираешься сѣчь, то имѣй въ виду, что сколькоаго нужно будетъ держать за руки и за ноги, вслѣдствіе чего у него несомнѣнно образуются синяки. Далѣе, переходъ отъ знаковъ на рукахъ и на ногахъ къ знакамъ *на заднихъ частяхъ тула* — самый естественный. Эти знаки тоже есть; но прежде всего самъ экспертъ Лансбергъ засвидѣтельствовалъ, что «прорѣзть кожи» не было, а были только синебагровыя пятна и полосы; а коль скоро «прорѣзть кожи» не было, то стѣтъ ли о подобныхъ знакахъ и толковать! Хотя же, сверхъ полосъ и пятенъ, найдены были на ягодицахъ слѣды струньевъ, то струнья эти, по объясненію эксперта Корженевскаго, суть не чтѣ иное, какъ мѣстное омертвленіе кожи, которая сходила и замѣнялась новой. Да и самъ вопросъ этотъ не медицинскій, а педагогическій, ибо медикъ не можетъ опредѣлить ли предѣловъ власти отца, ни силы неправильнаго наказанія (?), — все это могутъ опредѣлить только инспекторы и учителя гимназій. Но на столѣ, въ числѣ вещественныхъ

доказательствъ, тѣмъ не менѣе лежитъ путь розогъ, которыя экспертъ Флоринскій называлъ шпицрутенами, и несомнѣнно бывшій въ употребленіи и именно въ рукахъ г. Кронеберга — этого, конечно, отрицать нельзя! Нельзя однако-жъ отрицать и того, что г. Кронебергъ пользовался этимъ педагогическимъ орудіемъ *только одинъ разъ*. Онъ сорвалъ эти рабиновыя прутья за нѣсколько дней до наказанія, а срывая ихъ, *быть-можетъ*, не зналъ, что придется употреблять ихъ въ дѣло. Правда, что случай не заставилъ себя ждать, но до тѣхъ поръ г. Кронебергъ наказывалъ свою дочь только «маленькими вѣтками», да и то раза три, въ промежуткахъ времени довольно значительныхъ. Хотя же вѣкоторые и показываютъ, что дѣвочка кричала сильно и часто, но она вообще «кричать горазда, кричитъ и тогда, когда ее ставятъ въ уголь или на колѣни».

Итакъ, о происхожденіи знаковъ на лицѣ нельзя сказать ничего вѣрнаго; что же касается до сѣченія, то хотя оно и производилось, но при посредствѣ совсѣмъ «маленькихъ вѣтокъ», за исключеніемъ лишь *одного раза*, когда употреблены были въ дѣло шпицрутены, срѣзанные за нѣсколько дней до наказанія, но безъ ясно-сознанного намѣренія употребить ихъ въ дѣло. Можно ли назвать тяжкимъ это *единократное* наказаніе, не сопровождавшееся даже прорѣзами кожи? — Отвѣтъ на это даетъ кассационная судебная практика, изъ которой до очевидности ясно, что въ настоящемъ случаѣ самое возбужденіе подобнаго вопроса представляется немыслимымъ.

Совсѣмъ иное дѣло вопросъ: была ли достаточная причина для употребленія мѣры домашняго исправленія въ тѣхъ увеличенныхъ размѣрахъ, которые допущены были при томъ единократномъ наказаніи, когда г. Кронебергъ употребилъ шпицрутены? Само собою разумѣется, что была. Нужно отдать справедливость чистоплотности г. Спасовича: онъ ни на минуту не остановился на солдатски-откровѣнномъ показаніи доктора Сусловой. Но въ этомъ не было и надобности, потому что дѣвочка имѣть много другихъ пороковъ, которые требуютъ педагогического воздействиія: она — лгунья и воровка... Пропадаетъ сахаръ, черносливъ, и наконецъ является пополненіе (следствіемъ, впрочемъ, не подтвержденное) добратся и до денегъ. Равнодушно къ такимъ поступкамъ относиться нельзя. «Я полагаю,—сказалъ г. Спасовичъ: — что отъ чернослива до сахара, отъ сахара до денегъ, до банковыхъ билетовъ — путь прямой,—

открытая дорога». Слова сильные, но неосновательные, свойственные тѣмъ остервенѣльнымъ педагогамъ, которымъ до того опостылѣло воспитательное ремесло, что они въ каждомъ воспитываемомъ готовы усматривать будущаго злодѣя. Едва ли также можно согласиться съ мнѣніемъ г. Спасовича, что отецъ, наказывая своего сына (какъ?), избавляетъ его отъ каторжныхъ работъ и поселенія, а наказывая дочь — избавляетъ ее отъ того, чтобы она не сдѣлалась распутною женщиной; ибо можно указать на множество лицъ, которыхъ, никогда не бывъ сѣчены ни съ разсѣченіемъ кожи, ни безъ разсѣченія оной, не только не угодили на каторгу, но занимаютъ болѣе или менѣе значительныя общественные должности. Тѣмъ не менѣе, несмотря на парадоксальность и ребяческую несостоятельность подобныхъ мнѣній, высказывать ихъ въ защитительной рѣчи, обращенной къ присяжнымъ засѣдателямъ, все-таки недурно. Хорошо поразить воображеніе присяжного, сказать: вотъ дѣвочка, которая была на пути къ банкнотамъ билетамъ, но г. Кронебергъ ее остановилъ! И еще: сѣки твоего сына, ибо это избавляетъ его отъ каторги; сѣки свою дочь, ибо это воспрепятствуетъ ей сдѣлаться жертвой распутства! Нужды неѣть, что все это вздоръ и галиматъя, и что подобныя мнѣнія отзываются не то старческимъ безсиліемъ, не то ребяческими пеленками,—г. Спасовичъ очень хорошо знаетъ, что существуютъ аудиторіи, иъ средѣ которыхъ подобныя перспективы пользуются силою почти неогразимою, и покуда эти аудиторіи будутъ существовать, до тѣхъ поръ и онъ будетъ рисовать свои перспективы въ интересахъ подсудимыхъ, которые прибѣгнутъ къ его адвокатской помощи.

Изъ всего изложенного выше оказывается, что г. Кронебергъ отнюдь не истязатель, а только плохой педагогъ. Наказывая дѣвочку сильно, больно, такъ что остались слѣды наказаній (вотъ кабы найти такой способъ, чтобы можно было наказывать сильно и больно, а слѣдовъ бы не оставалось!), онъ «сдѣлалъ двѣ логическія ошибки: во-первыхъ, поступилъ слишкомъ рьяно, предположивъ, что можно однимъ ударомъ искоренить все зло, которое годами посѣяно въ душу ребенка и годами же взращено, и, во-вторыхъ, онъ дѣйствовалъ не какъ осторожный судья и не вошелъ въ изслѣдованіе обстоятельствъ, которыхъ склоняли дѣвочку къ кражѣ».

Плохой педагогъ, неосторожный судья — и больше ничего.

Вотъ если-бы его за это предали суду, тогда бытъ бы другой разговоръ! Тогда его можно было бы даже присудить къ высшей мѣрѣ наказанія, то-есть къ отдачѣ на покаяніе въ педагогическое общество (но тогда можно было бы также доказать, что сужденіе о достоинствѣ той или другой педагогической системы до присяжныхъ не относится), а то—помилуйте!—предаютъ человѣка суду за истизаніе! Да гдѣ же оно? гдѣ его признаки? Вотъ вамъ сводъ законовъ, вотъ кассационная судебная практика и вотъ, наконецъ, показанія экспертовъ-врачей! Истизаніе! тяжкія поврежденія! И это говорится въ виду показаній, совершенно опредѣльно установившихъ, что не было даже просвѣченія кожи!

Однимъ словомъ, какъ адвокатъ, г. Спасовичъ исполнилъ свое дѣло вполнѣ исправно. Съ знаніемъ законовъ и кассационной судебной практики, съ тонкимъ пониманіемъ свидѣтелей и присяжныхъ засѣдателей. Съ своей стороны, и присяжные отнеслись къ его усилиямъ съ полнымъ довѣріемъ и вынесли г. Кронебергу оправдательный вердиктъ.

Собственно говоря, здѣсь бы и слѣдовало кончить настоящую статью. Всѣ сдѣлали свое дѣло. Г. Кронебергъ сѣкъ свою дочь, но безъ просвѣченія кожи; а ежели она кричала, то потому только, что вообще «кричать горазда». Г. Спасовичъ исполнилъ свое провиденціальное назначеніе безподобно, то-есть доказалъ, что клиентъ его наказывалъ не произвольнымъ аллюромъ, но на точномъ основаніи указаній, представляемыхъ кассационною судебною практикой. Присяжные засѣдатели вынесли оправдательный вердиктъ. Во всемъ этомъ нѣть ничего ни необычайного, ни удивительного. Не удивительно даже и то, что въ такомъ дѣлѣ фигурировалъ г. Спасовичъ, а не адвокатъ чувствительной школы, г. Языковъ. Вѣдь г. Спасовичъ, помнится, уже заявлялъ однажды, что адвокатская дѣятельность должна не посторонними какими-либо соображеніями руководствоваться, но преслѣдовать лишь тѣ чисто-художественно-юридическія цѣли, которыхъ непосредственно вытекаютъ изъ свода законовъ и кассационной судебной практики...

Но есть въ защитительной рѣчи г. Спасовича одна сторона, которая какъ-то не kleится съ идеаломъ чисто-художественно-юридическихъ цѣлей, рекомендуемымъ имъ адвокатскому сословію. Въ началѣ этой рѣчи существуетъ небольшое вступленіе, въ которомъ знаменитый адвокатъ желаетъ какъ бы выгородить свою личную солидарность съ

розгами и пощечинами и внушить слушателямъ, что его личные понятія насчетъ способовъ педагогического воздействиа далеко не сходны съ тѣми, которыя исповѣдуетъ г. Кронебергъ. Въ виду такого заявленія, конечно, всего естественнѣе было бы обратиться къ г. Спасовичу съ вопросомъ: если вы не одобряете ни пощечинъ, ни розогъ, то зачѣмъ же ввязываетесь въ такое дѣло, которое сплошь состоять изъ пощечинъ и розогъ? Но, повидимому, это нравственное и умственное двоегласіе имѣеть особенную и вполнѣ уважительную причину, а именно: г. Спасовичъ, не будучи лично сторонникомъ пощечинъ и розогъ (и онъ родился въ Аркадіи, и онъ не чуждъ *постороннихъ соображений!*), видѣть въ нихъ, тѣмъ не менѣе, своего рода воспитательный пантеонъ, къ которому надо приближаться съ осторожностью, а всего лучше ожидать съ терпѣніемъ, пока онъ самъ собой рухнетъ. — А не рухнетъ онъ никогда,— невольно проговаривается при этомъ уважаемый ораторъ и адвокатъ.

Вотъ объ этой-то сторонѣ защитительной рѣчи и предстоитъ теперь сказать нѣсколько словъ, тѣмъ болѣе, что она значительно подрываетъ солидно-дѣловую, изъятую отъ всякихъ мечтательностей, дѣятельность г. Спасовича, какъ адвоката.

Существуетъ въ Европѣ—и, вѣроятно, въ цѣломъ мірѣ—политическое и философское ученіе, извѣстное подъ именемъ ученія о компромиссахъ и сдѣлкахъ. Сущность этого ученія заключается въ томъ, что человѣчество должно двигаться впередъ отступая. Нѣкоторые адепты этого ученія еще сохранили память о кое-какихъ идеалахъ и собственно ради ихъ достиженія рекомендуютъ уступки и компромиссы; но другіе до того завертѣлись въ бѣльчесмъ колесѣ компромисса, что уже ничего впереди не видятъ и ничего назади не помнятъ, а смотрятъ на жизнь какъ на исторически-организованную игру, въ которой никакой цѣли никогда не достигается, хотя всѣ формы неуклоннаго поступательного движенія имѣются налицо. Игра эта бываетъ болѣе или менѣе сложная, смотря по большей или менѣйшей сложности замысла и большему или менѣему количеству силъ, которыхъ въ нее введены, но во всякомъ случаѣ она съ избыткомъ нацелияетъ досуги людей.

Въ настоящее время въ Европѣ существуетъ какъ бы повторѣ на компромиссы и сдѣлки. Всюду чувствуется смутная боязнь, и потому всюду раздаются клики: «Остор-

рожи! Не спѣшите! Отступайтѣ! Заманивайтѣ! Не раздражайте!» На этой наклонности компромисса основанъ союзъ германскихъ национальныхъ либераловъ съ Бисмаркомъ, и этимъ же явлѣніемъ объясняется и то, что происходитъ теперь во Франціи.

Практика компромиссовъ до такой степени втягиваетъ, что заставляетъ забывать прежнія связи и прежнихъ друзей. Люди дѣлаются придирчивыми, подозрительными, приходить въ одичавіе и въ концѣ концовъ до такой степени погрязаютъ въ мелочахъ, что начинаютъ все прикидывать на золотники и вершки и отъ этихъ вершковъ ставить въ зависимость успѣхъ и тунательного движения и въ бѣльческъ колесѣ. Каждый открытый шагъ друзей-единомышленниковъ кажется компрометирующимъ; каждое слово, разоблачающее действительныя цѣли стремленій партіи, представляется рискованнымъ, преждевременнымъ. Хотѣлось бы достигнуть этихъ цѣлей «потихоньку», не въ смыслѣ большей или меньшей медленности процесса достижениія, а такъ, чтобы никто не замѣтилъ. Всѣ бы на минуту задремали, а мы бы взяли да и воспользовались. И такъ какъ при такомъ беспокойномъ состояніи ума послѣдній всѣ усилия направлять лишь къ устройству вѣшнихъ формъ движения, т.-е. къ дисциплинѣ и субординаціи, то нерѣдко слукается, что первоначальная цѣль мало-по-малу стираются и отходить очень далеко назадъ. Такъ что не безъ удивленія можно видѣть, что человѣкъ, который первоначально ни о чёмъ не хотѣлъ слышать, кромѣ таиншт'а, пресколько сбѣжаетъ себѣ на топішши и упорно сидитъ въ новосозданной имъ раковинѣ умѣренности до тѣхъ поръ, пока новая горячая волна жизни не вымоетъ его оттуда.

Вѣніе времени, носящееся въ воздухѣ, склоняетъся до того рѣшительно, что подчиняетъ себѣ, напримѣръ, даже Луи-Блан, который до сихъ поръ гораздо сочувственнѣе относился къ требованіямъ «мечтателей», нежели къ «политикѣ разсудка» и «политикѣ результатовъ». Въ письмѣ, обращенномъ въ 1875 г. къ избирателямъ XIII округа города Парижа, онъ уже прямо выражается, что уступки необходимы, и что однимъ скачкомъ очутиться у цѣли невозможно...

То же явленіе встрѣчается и въ современной Россіи, хотя и въ иныхъ примѣненіяхъ. У насъ нѣть широкихъ интересовъ, волнующихъ Францію и Германію; у насъ человѣческая мысль можетъ отъ времени до времени выска-

зываться лишь по поводу частныхъ случаевъ, проявляющихся преимущественно на судоговореніяхъ. Поэтому и въ дѣятеляхъ чувствуется нѣкоторая разница: во Франціи проводителями ученія о компромиссахъ являются Гамбетта и Луи-Бланъ, у насъ — г. Спасовичъ. Съ этой оговоркой письмо Луи-Блана безъ всякой натяжки можетъ стоять рядомъ съ рѣчью г. Спасовича, и читателю, при сравненіи ихъ, остается только уменьшить размѣры въ той степени, въ какой онъ самъ благоразсудить.

Изложивъ свою избирательную программу и установивъ тѣ политические общественные идеалы, торжеству которыхъ была всецѣло посвящена его жизнь и въ пользу коихъ онъ и впредь обязывается нелѣнно ратовать, Луи-Бланъ вдругъ дѣлаетъ переходъ, въ сущности ничѣмъ не мотивированный, кромѣ смутного представленія: а что ежели честный солдатъ Макъ-Магонъ, за такія мои слова объ республиканскихъ идеалахъ, республику прихлопнетъ, а намъ всѣмъ «фельдфебеля въ Вольтеры дастъ»? Вотъ этотъ переходъ: «Мнѣ, конечно, не безызвѣстно, любезные сограждане, что въ трудномъ шествіи человѣчества къ царству правды необходимы извѣстныя станціи; что побѣды прогресса не совершаются въ одинъ день; что нужно терпѣніе, нужна осторожность, нуженъ практическій смыслъ вещей; что, идя впередъ съ излишней быстротой, человѣчество рискуетъ быть поставленнымъ въ необходимость отступить». То-есть, другими словами: ваше превосходительство! господинъ маршаль Макъ-Магонъ! Вы слышали, что я сейчасъ говорилъ о рабочемъ вопросѣ, о церкви, о народномъ образованіи, но вѣдь это *Улитка падетъ — когда-то будетъ*. Желая всѣмъ сердцемъ реформъ въ моемъ отечествѣ, я однако-жѣ понимаю, что на хотѣніе есть терпѣніе, и что въ настоящее время мы уже и тѣмъ совершенно счастливы, что имѣемъ такого синхронитального начальника, какъ ваше превосходительство. Успокойтесь же насчетъ нашей благонамѣренности и имѣйте въ виду, что ежели въ 1880 году потребуется устроить для васъ новый сентябрь, мы хотя, быть-можеть, ради приличія, не будемъ дѣятельно участвовать въ этомъ торжествѣ, но и препятствовать оному не станемъ, такъ какъ идеалы наши трудные, и въ 1880 году пословица: «скорость потребна только блохѣ ловить» будетъ существовать въ той же силѣ, какъ и въ настоящую минуту.

То же говорить и г. Спасовичъ въ той скромной сферѣ

съченія, въ которой онъ, въ качествѣ адвоката, вынужденъ вращаться. «Я, гг. присяжные,—объясняетъ онъ:—не сторонникъ розги; я вполнѣ понимаю, что можетъ быть проведена система воспитанія, изъ которой розга будетъ исключена, по... нормальныя мѣры употребляются въ нормальному порядке вещей». Или, другими словами: хорошо воспитаніе безъ розги, но нужно запастись терпѣніемъ, осторожностью и практическимъ смысломъ вещей, и съ этимъ ждать нормального порядка вещей. А до тѣхъ поръ слѣдуетъ довольствоваться необходимыми станціями, въ числѣ коихъ г. Кронебергъ составляетъ такую, на которой поѣздъ, стремящійся въ царство правды, останавливается для съченія до тѣхъ поръ, покуда обѣ этомъ не будетъ заявлено въ участкѣ.

Далѣе Луи-Бланъ продолжаетъ: «Было бы несомнѣнно неблагоразумно думать, что можно однимъ прыжкомъ очутиться у цѣли путешествія, для совершенія котораго потребно продолжительное время». А г. Спасовичъ, изъ скромной сферы розогъ вступая въ еще болѣе скромную сферу пощечинъ, объясняется такъ: «Остается открытымъ вопросъ о пощечинахъ и о тѣхъ синякахъ, которые были, можетъ-быть (г. Спасовичъ твердо держится показанія доктора Корженевскаго о принадлежности Маріи Кронебергъ къ такимъ субъектамъ, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу которыхъ производить синяки, и только по страсти къ компромиссамъ допускаеть, что синяки, можетъ-быть, произошли отъ пощечинъ), послѣдованиемъ пощечинъ. Кронебергъ даваль пощечины ребенку—это вѣрно: онъ самъ признается, что ударилъ дѣвочку по лицу раза три или четыре. Я признаю, что пощечина не можетъ считаться достойнымъ одобрения способомъ отношенія отца къ дитяти. Но я знаю также, что есть весьма уважаемые педагоги, которые считаютъ ударъ рукой по щекѣ нисколько не тяжелѣе, а можетъ-быть, и предпочтительнѣе, въ некоторыхъ отношеніяхъ, съченія розгами. Причины, почему пощечина считается особенно обиднымъ ударомъ, кроются въ нравахъ, въ прошедшемъ. Слѣдя въ исторіи за возникновеніемъ этого понятія, мы отыщемъ его въ рыцарскія времена, когда рыцари ходили въ племахъ съ забраломъ, когда ударять ихъ по лицу въ обыкновенномъ ихъ нарядѣ было невозможно, а подобные удары сыпались только на смердовъ, на виллановъ. Разбирая же власть родительскую, трудно сказать, чтобы она не доходила ни

въ какомъ случаѣ до пощечинъ; отъ посторонняго человѣка ударъ по лицу можетъ сдѣлаться кровной обидой, но не отъ отца». Иными словами, то же самое, чтѣ говорить и Луи-Бланъ, только переведенное на языкъ пощечинъ. Шествуйте впередъ къ царству, изъятому отъ пощечины, но знайте, что вѣсъ ждетъ путь долгий и трудный, у цѣли котораго нельзѧ очутиться однимъ прыжкомъ, и что путь этотъ весь усыпанъ пощечинами. Конечно, Луи-Бланъ былъ бы очень изумленъ, узнавъ, что существуетъ «открытый вопросъ» о пощечинахъ, но по нашему мѣсту и это сойдется съ рукъ.

Сходство, впрочемъ, на этомъ и оканчивается. Выскажавъ изложенные выше мысли насчетъ уступокъ, Луи-Бланъ прибавляеть: «Но необходимо имѣть идеаль и никогда не терять его изъ вида, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда допускаются жертвы въ пользу дѣйствительности. Неразумно думать, что одинъ прыжокъ достаточенъ для того, чтобы достигнуть цѣли долгаго пути, но еще неразумиѣ пускаться въ путь, не зная, куда онъ ведетъ, и выбирать окольныя дороги, не будучи увѣреннымъ, что онъ ведутъ именно къ тому пункту, котораго предполагаешь достигнуть». Г. Спасовичъ, напротивъ того, давъ сначала понять, что для него вполнѣ понятна система воспитанія безъ розогъ и безъ пощечинъ, и что, слѣдовательно, нельзѧ отрицать возможности и дѣйствительныхъ, вполнѣ безпощечинныхъ отношений родителей къ дѣтямъ, тѣмъ не менѣе относится къ этому идеалу безпощечинности мрачно, почти безнадежно. «Я, — говорить онъ: — такъ же мало ожидаю совершенного и безусловного искорененія тѣлеснаго наказанія, какъ мало ожидаю, чтобъ вы (присяжные засѣдатели) перестали въ судѣ дѣйствовать, за прекращеніемъ узловыхъ преступлений и нарушений той правды, которая должна существовать, какъ дома, въ семье, такъ и въ государствѣ».

Люди придерчивые могутъ сказать, что послѣднія, подчеркнутыя сейчасъ, фразы или затѣмъ только пущены въ ходъ, чтобы сдѣлать гг. судьямъ и присяжнымъ засѣдателямъ комплиментъ, внушивъ имъ, что царствію ихъ не будетъ конца, или же представляютъ собой наборъ пустыхъ и бесодержательныхъ словъ, высказанныхъ безъ всякаго соображенія съ исторіей тѣхъ усилій,—исторіей далеко не безплодною,—которая дѣлаются въ видахъ ежели не окончательнаго и немедленнаго упраздненія преступлений, то,

по крайней мѣрѣ, значительного сокращенія числа ихъ. Есть выраженія готовыя, къ которымъ уже изстари пріучено человѣческое ухо и къ которымъ, въ случаѣ отсутствія мысли, можно прибѣгать точно такъ же, какъ прибѣгаютъ къ магазину готовыхъ платьевъ, чтобы выйти оттуда франтомъ. Но пусть будетъ тѣкъ, какъ утверждается г. Спасовичъ: пусть розги не прекратятся; пусть пощечины господствуютъ вѣчно; пусть преступленія умножаются и процвѣтаютъ на угашеніе адвокатамъ, *in secula seculorum*; спрашивается: зачѣмъ же было заводить разговоръ о педагогическихъ идеалахъ? Зачѣмъ было говорить: «Я вполнѣ понимаю, что можетъ быть проведена система воспитанія, изъ которой розга будетъ исключена»? Странное дѣло! объявлять себя «не сторонникомъ» розги — и въ то же время вступаться въ дѣло, въ основаніи которого лежитъ исключительно розга; намекать на возможность какихъ-то безпощечинныхъ педагогическихъ идеаловъ — и вслѣдъ затѣмъ объявлять, что идеалы эти слѣдуетъ положить въ шкаль и навсегда запереть на ключь!

Ежели слова о возможности существованія безпощечинной педагогики были высказаны не ради щегольства (чего даже нельзя предположить со стороны г. Спасовича, зная его всегдашнюю трезвость въ этомъ смыслѣ), то ихъ не слѣдовало говорить совсѣмъ, особенно въ виду того, что вся остальная рѣчь представляетъ лишь категорическое опроверженіе этого опрометчиво выраженнаго афоризма. Правда, жалкія слова имѣютъ еще очень большое значеніе въ современномъ обществѣ, но все-таки туманъ, ими напускаемый, начинаетъ мало-по-малу разсѣиваться. Ясно, что г. Спасовичъ вышелъ изъ своей роли и сдѣлалъ ошибку. Его умъ, по преимуществу дѣловой, паклонный къ политикѣ результатовъ, долженъ тщательно отметать отъ себя чувствительныя примѣси, которыя составляютъ удѣль тѣхъ, которые за прогоны готовы посѣтить какую угодно область теоретическихъ общностей. И навѣрное рѣчь г. Спасовича не утратила бы своей цѣнности и не сдѣлалась бы менѣе убѣдительной, если-бъ онъ, не выгораживая своей личности отъ подозрѣній въ солидарности съ пощечинами, выразилъ прямо и просто, чего онъ требуетъ отъ присяжныхъ засѣдателей. Скомпанованная такимъ образомъ рѣчь могла бы имѣть приблизительно слѣдующій видъ: «Гг. суды! гг. присяжные засѣдатели! передъ вами на скамье подсудимыхъ находится г. Кронбергъ, который обвиняется въ истязаніи

своей дочери. Для того, чтобы вы могли судить правильно, действительно ли г. Кронебергъ виноватъ въ томъ преступлениі, за которое онъ преслѣдуется (всякій опытный адвокатъ долженъ подчеркнуть эти послѣднія слова, чтобы присяжные не смѣшивали: подсудимый можетъ быть и виноватъ, но *не въ томъ* преступлениі, за которое судится), необходимо разрѣшить три вопроса: 1) имѣть ли г. Кронебергъ право подвергать свою дочь тѣлесному наказанію? — отвѣтомъ на этотъ вопросъ служить такая-то статья свода законовъ, которая вполнѣ это право за нимъ подтверждаетъ; 2) подавала ли Марія Кронебергъ поводъ для педагогическихъ воздействиій на тѣлѣ? — на это служить отвѣтомъ энергическое показаніе доктора Сусловой, и 3) можно ли назвать употребленные г. Кронебергомъ педагогические приемы истязаніемъ? — на это дастъ вамъ отвѣтъ, во-первыхъ, кассационная судебная практика и, во-вторыхъ, достаточно удовлетворительный видъ, который представляли ягодицы Маріи Кронебергъ при освидѣтельствованіи. Я кончилъ».

И только.

Можно быть увѣреннымъ, что эта простая и бѣзыскусственная рѣчь оказала бы на присяжныхъ засѣдателей по малой мѣрѣ такое же вліяніе, какъ и тѣ темные намеки, которые допустилъ г. Спасовичъ, чтобы установить свою личную непричастность къ педагогической практикѣ г. Кронеберга.

Кажется, не будетъ ошибки, ежели сказать, что всѣ указанныя выше оговорки и недомолвки суть плодъ неясныхъ отношеній, въ которыхъ стала русская адвокатура къ органамъ націей печати, носящимъ название «либеральныхъ». Адвокатура наша по началу довольно горячо заявила о своей солидарности съ вопросами жизни и потому весьма естественно встрѣтила со стороны либеральной прессы самое горячее сочувствіе. Но, симпатизируя защитнику вдовы и сироты, литература, какъ старшая сестра въ либерализмѣ, до того простерла свое усердіе, что, подвергая дѣйствія адвокатовъ неусыпному контролю, заявила претензію держать это сословіе въ постоянной опекѣ. Начались обличенія, взысканія, выговоры, почти угрозы, и долгое время сходило это съ рукъ, потому что въ самой средѣ адвокатовъ не установилось еще совершенно определенныхъ понятій о тѣхъ цѣляхъ, которымъ она призвана служить.

Такое отношение литературы едва ли может быть названо правильнымъ. Франція—классическая страна адвокатуры, представители которой со времени первой революціи играли въ ея исторіи очень значительную политическую роль, но и тамъ обѣ адвокатахъ, какъ обѣ адвокатахъ, въ литературѣ несть и рѣчи. Адвокать, за очень єздкими случаями, никого не занимаетъ, покуда изъ него не образуется политический дѣятель, а разъ сдѣлавшись министромъ, сенаторомъ, депутатомъ—онъ уже и самъ забываетъ о первородномъ грѣхѣ, въ которомъ валялся до того времени. Въ послѣднее время, какъ политические дѣтели, адвокаты утратили много изъ прежняго обаянія. Перенося на политическую и административную арену изнурительные привычки своего ремесла, они никогда не приходили къ дѣйствительно плодотворнымъ результатамъ, а только вергались въ бѣличьемъ колесѣ, вслѣдствіе чего въ настоящее время Франція, послѣ четырехъ революцій, и находится подъ начальствомъ у Макъ-Магона. Поэтому на избирательныхъ сходкахъ въ Парижѣ уже слышатся голоса, что адвокатовъ довольно. Но во всякомъ случаѣ, какъ слугителей своего ремесла, и литература, и даже публика кроме нуждающихся въ ихъ услугахъ) ихъ игнорируетъ, т, право, едва ли можно указать на примѣръ, чтобы въ послѣднее время въ какомъ бы то ни было французскомъ органѣ печати было заявлено кому-либо изъ адвокатовъ, что онъ поступаетъ недостойно, защищая французскихъ Овсянниковыхъ и Мясниковыхъ. Единственное исключение оставляетъ защита Базена адвокатомъ Лапю, но это статья особенная.

У насъ ремесленное значеніе адвокатуры, по-настоящему, должно бы высказаться еще рѣзче, потому что наши адвокаты уже окончательно не имѣютъ никакого отношенія къ политической жизни государства. Не вопросы жизни стоять для нихъ на первомъ планѣ, а вопросы, истекающіе изъ вода законовъ и изъ кассационной судебной практики. Товкое обращеніе съ статьями законовъ—вотъ что имѣется прежде всего въ виду, точно такъ же, какъ въ нѣкоторыхъ ремеслахъ главную роль играетъ ловкое обращеніе съ иглою, шиломъ, заступомъ и т. д. Спрашивается: почему никому не приходило въ голову обвинять въ недостоинствахъ башмачника, который шить матері Митрофания башмаки, или портного, который одѣваетъ Овсянникова, и напротивъ того, отовсюду сыплются обвиненія на адвоката,

который, видя Овсянникова покрытымъ сажею пожарица, взялся омыть его банею пакибытія?

Наша печать долгое время не рѣшалась принять этого взгляда, но въ послѣднее время сама адвокатура рѣшилась заявить, что онъ представляеть единственное правильное мѣрило, съ которымъ можно относиться къ ней. Опекунскія замашки печати произвели неизбѣжную реакцію въ той самой средѣ, которая еще такъ недавно увлекалась желаніемъ доказать, что ничто человѣческое ей не чуждо, хотя на самомъ дѣлѣ всегда имѣла въ виду только то, какъ бы «слопать боженьку», чтобы никто этого не замѣтилъ. Возникъ бунтъ; долгое время онъ тлѣлъ, такъ что нельзя было разобрать, откуда гремитъ громъ, изъ тучи или изъ навозной кучи, но наконецъ въ адвокатскую похлѣбку попалъ такой жирный кусъ, что долго сдерживаемыя страсти не устояли. Поводомъ къ разрыву съ литературой послужило знаменитое Овсянниковское дѣло, и, помнится, г. Синсовичъ (конечно, какъ добрый товарищъ, ибо лично онъ игралъ въ этомъ дѣлѣ роль противо-овсянниковскую) первый поднялъ знамя бунта, сказавши на какомъ-то обѣдѣ, что адвокатура должна шествовать *своимъ* путемъ, независимо отъ внушений и контроля печати. Заnimъ послѣдовалъ и г. Потѣхинъ, который безъ церемоніи обвинилъ русскую литературу въ идіотствѣ.

Вѣроятно, эти случаи измѣнили взглядъ нашей печати на русскую адвокатуру и указутъ, какой долженъ быть характеръ ихъ взаимныхъ отношеній. Во всякомъ случаѣ это не могутъ быть отношенія товарищества, ибо общей почвы для этого здѣсь найти нельзя, кромѣ развѣ того, что и литераторъ, и адвокатъ обладаютъ однимъ и тѣмъ же орудіемъ для достижения своихъ цѣлей — словомъ. Затѣмъ, и объектъ дѣйствія, и характеръ его — все разное. Литература служить обществу, адвокатура — клиенту; честность литературы состоить въ разработкѣ идеаловъ и перспективъ будущаго, честность адвокатуры — въ строгомъ согласіи съ дѣйствительностью и подчиненіи идеаламъ, выработаннымъ въ прошедшемъ и вѣреннымъ охранѣ положительного закона. А что касается до общаго орудія — слова, то вѣдь оно раздается и на Синной.

Коль скоро адвокатура выказала намѣреніе отмежеваться отъ области общихъ умственныхъ и нравственныхъ интересовъ, ладо воспользоваться этими ея пополновеніями, не навязывать ей общенія и отвести то мѣсто, которое она

должна действительно занимать въ кругу разнообразныхъ ремесль. Что адвокатура ничего не выиграет отъ этой эмансираціи—это несомнѣнно. Тяготъ все больше и больше къ независимости отъ общихъ интересовъ жизни, она скоро очутится въ томъ же незавидномъ положеніи, въ какомъ еще недавно находились ябедники и строчители проосьбъ. То-есть настоящей независимости не достигнетъ, а только перемѣнить господина и, вмѣсто литературы, приобрѣтеть себѣ такового въ лицѣ клиента, который до сихъ поръ сдерживалъ свои инстинкты именно благодаря тому, что думалъ, будто адвокатура и печать солидарны другъ съ другомъ. Что же касается печати, то, освободившись отъ кошмара кляузы, она несомнѣнно выиграетъ. Кляуза въ послѣднее время отнимала отъ ея глазъ другіе интересы, гораздо болѣе важные. Это не соотвѣтствуетъ ея дѣйствительному значенію въ общей экономіи жизни общества, и, къ счастію для человѣчества, у него на очереди стоять вопросы, гораздо болѣе животрепещущіе, нежели вопросъ объ отношеніяхъ адвокатовъ къ клиентамъ и къ суду.

---

## ГЛАВА VI.

На дворѣ знайно; Петербургъ опустѣлъ и наполнился смрадомъ. Съ «вопросами» тихо; даже еврейскій вопросъ, надѣлавшій-было изряднаго переполоху,— и тотъ словно изнылъ. Но кой-гдѣ еще скребутъ перьями; вѣроятно, это какая-нибудь, невзначай упѣлѣвшая, комиссія доскребываетъ свою послѣднюю пѣсню... Ну, чтѣ бы стояло окончательно сказать: обогрите перья, спрячьте въ ящикъ бумаги, заприте на ключь и бѣгите, куда глаза глядятъ—какой бы миръ во всѣ души эти простыя слова пролили! Такъ нѣть, обѣ этомъ еще не слыхать: не присѣло, знать, время. А тутъ, вдобавокъ, еще дернуло околоточного на Петербургской сторонѣ двѣ души загубить! Думаешь: нѣть ли тутъ внутренней политики, и не отразится ли это происшествіе на литературѣ, яко попустительницѣ и укрывательницѣ...

И всѣ эти сомнѣнія рождаются въ такую пору, когда неслыханный знай такъ и прожигаетъ насквозь, когда не только возиться въ вопросами, но и фривольныя мысли въ головѣ содержать тажело. Говорять, будто въ такой знай хорошо сѣно убирать и хлѣбъ жать, но насколько это спра-

ведливо—сказать не умью. Не съяль, не жаль, а только въ ёдѣ себѣ не отказывалъ. На-дняхъ, впрочемъ, видя, какъ дворникъ Иванъ ловко машетъ косой, обкашивая лужайку передъ дачей, я рискнулъ-таки полюбопытствовать:

— А что, брагъ Иванъ, я думаю, что въ такое благоприятное для уборки время и душа радуется косить-то?

Но онъ, вмѣсто того, чтобы по душѣ покалывать, прощѣдилъ сквозь зубы:

— Попробуйте!

Такъ я и не узналь, радуется или не радуется у человѣка душа, когда онъ машетъ косой при тридцати градусахъ по Реомюру.

Нынѣшнимъ лѣтомъ я не побѣжалъ за границу, а устроился на дачѣ подъ Петербургомъ. Въ сущности, пора бы свой собственный уголъ гдѣ-нибудь принасти, но столько нынче во всѣхъ мѣстахъ «вопросовъ» развелось, что поневолѣ береть оторопь. На югъ забереніться—тамъ еврейскій вопросъ у всѣхъ изъ свѣжей памяти, на сѣверъ—тамъ о какихъ-то аграрныхъ вопросахъ поговариваютъ. Даже въ Петербургѣ нынче своимъ домѣмъ завестись жутко: а ну какъ столица-то?.. Катковъ съ Аксаковымъ въ Москву зовутъ, Булюбашъ—въ Полтаву, а потомъ, глядишь, и въ Саратовѣ свой собственный патріотъ объявится: пожалуйте въ Саратовъ!

Главнымъ образомъ я потому не побѣжалъ за границу, что вѣстей туда изъ Россіи доходитъ мало, а знать хочется. Думалъ, поселюсь-ка въ сорока верстахъ отъ Петербурга—всего наслушаюсь. И что же! въ сорока-то верстахъ еще меньше извѣстий изъ Россіи, нежели за границей! Точно она сквозь землю провалилась, голубушка. Тѣ же газетные листы, чтѣ и за границей, и тѣ же въ нихъ голые факты. А какія загадки скрываются за этими фактами и какія загноядки готовить они въ будущемъ—молчокъ.

Довольно поболтали. Налгали съ три короба, насутились—и будетъ. Теперь попробуемъ, не лучше ли будетъ, если сядемъ и будемъ сидѣть, уставивъ брады. Но какой переходъ!

Какъ опознаться въ этомъ Concertstük, гдѣ мажорные тоны внезапно смѣняются минорными, а минорные—мольными, и наконецъ наступаетъ отсутствіе всякихъ тоновъ?..

Паровозы между тѣмъ чуть не ежечасно выбрасываютъ на дачную платформу цѣлую массу людей, съ портфелями и безъ портфелей, людей, которые ежедневно, въ уроцій

часть, уезжают отъ насъ въ Петербургъ и, настряпавши тамъ цѣлые вороха внутренней политики, въ урочный же часъ пріѣзжаютъ обратно—глотнуть дачнаго воздуха. Вяло вылезаютъ эти люди изъ вагоновъ и, лѣниво перебирая по платформѣ ногами, направляются къ извозчикамъ. Глаза померкли, губы запеклись, въ носу залегло, голова пуста... Послѣ, въ портфелѣ, опять все безъ труда отыщется, и опять голова наполнится внутренней политикой, но покуда утренняя соняня взяла всѣ силы, какія только могла взять. А тутъ, какъ на грѣхъ, зной, словно изъ ушата, такъ и лѣть на опустѣлую голову...

— Что новенькаго?—слышится гдѣ-то сонный вопросъ.

— А? что?—тоже словно сквозь сонъ раздается изъ чьей-то утробы.

Однимъ словомъ, предложенная цѣль: остататься въ Россіи, чтобы жить въ оной,—оказывается недостигнутую. Живешь невѣдомо гдѣ, слышишь загадочные звуки, видишь протянутыя веревки, на которыхъ качается масса юбокъ и кальсоновъ (вотъ фуфайка главы семейства, а вотъ кальсоны матери семейства!), и отъ времени до времени освѣжаешься мыслью, что, того гляди, явятся прекрасные незнакомцы и потребуютъ: пожалуйте паспорты! Паспорты, паспорты, паспорты—вотъ въ чёмъ состоить прелесть нынѣшней дачной жизни...

— Кто вы, прекрасные незнакомцы? Дворникъ, слѣдуетъ ли отдавать имъ паспорты?

— Помилуйте, вашескородіе, стало-быть, слѣдуетъ, коли требуютъ!

А впрочемъ, въ послѣднее время наша жизнь уразно-образилась еще слухами о воровствахъ. Здѣшніе воры довольно синиходительны. Придутъ и попробуютъ, подается ли окно, или не подается: ежели подается, то влѣзутъ; если же не подается, то, не настаивая, идуть дальше. На ихъ счастіе, дачи ремонтируются рѣдко, и оконные переплеты почти всегда ветхи. Но и въ такомъ случаѣ здѣшніе воры не задерживаются, а возьмутъ первое, чтѣ попадется подъ руки, и уйдутъ. Очевидно, что главнымъ мотивомъ тутъ является не ненависть къ людямъ и не протестъ противъ неравномѣрнаго распределенія богатствъ, а выпивка. Хочется выпить, а денегъ нѣть—вотъ они и пробуютъ, прочны ли оконныя рамы. При этомъ всего чаще достается ложкамъ, которыя вездѣ, въ ягодный сезонъ, валяются неприбранныя. Иногда попадается нѣсколько настоящихъ сере-

бряныхъ ложекъ—тогда воръ радуется и называеть обворованного «хорошимъ господиномъ»; но иногда ложки попадаются мельхиоровыя—тогда воръ ропщеть, называеть обворованного обманщикомъ и сравниваетъ его поступокъ съ тою мельхиоровою внутреннею политикой, которая существует и сулитъ, но, кромъ мельхиоровыхъ дѣлъ, ничего послѣ себя не оставляетъ.

Однако покуда не было опубликовано происшествіе на Петербургской сторонѣ, мы не очень тревожились. Но звѣрски-безсмысленный поступокъ околоточнаго Иванова заставилъ и насъ встрепенуться. Сейчасъ же у всѣхъ оконъ появились наружные ставни, сквозь которые просовываются желѣзные болты, и теперь, съ десяти часовъ вечера, мы сидимъ запершись и ничего не боимся. Сверхъ того, я лично, ложась спать, на каждое окно кладу по ложкѣ и по двѣ, въ разсчетѣ, что воръ прямо возьметъ, чтѣ слѣдуетъ, и затѣмъ ему уже не будетъ надобности убивать. А такъ какъ у насъ околоточнаго нѣть, а есть урядникъ, то я и съ нимъ на всякий случай имѣть разговоръ.

— Уже вы, Семенъ Пареенычъ, ежели вамъ нужно, лучше спросите.

— Я, вашескородіе, завсегда лучше спрошу!

— Пожалуйста. Я тоже лучше десять, двадцать пять рублей отдамъ, нежели жизни!

Устроившись такимъ образомъ, я сплю тѣмъ спокойнѣе, что на-дняхъ намъ сдѣланъ сюрпризъ: нанять ночной сторожъ. Сторожъ этотъ сѣщенъкій, на оба уха не слышить, на одну ногу хромаетъ, а другую волочить; однако еще дышитъ. А это все, что нужно, потому что на здѣшняго простодушнаго вора одинъ видъ человѣка движущагося дѣйствуетъ спасительно. Иногда, въ-просонкахъ, я слышу, какъ нашъ сторожъ зѣвааетъ, а по временамъ—нѣть-нѣть, да и потрещитъ въ трещотку: спите, моль, я тутъ! А я ему въ отвѣтъ:—бди, калѣка, за восемь цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, бди!

Ахъ, этотъ Ивановъ! Мало того, что двѣ души загубилъ, по чтѣ еще хуже—цѣлое вѣдомство своимъ поступкомъ скомпрометировалъ. Вместо того, чтобы держать знамя полиціи высоко, а онъ, смотрите, что выдумали! И какъ парочно сряду два такихъ случая. Одинъ съ Ивановымъ, другой съ господиномъ—не помню ужъ фамиліи,—который въ магазинѣ пять байковыхъ платковъ стянуль. Поймали, привели къ мировому.

— Кто таковъ?

— Чиновникъ департамента государственной полиції.

Ахъ!

Къ счастію, оказалось, что онъ совралъ. Никогда онъ въ департаментѣ государственной поліції не служилъ, а только въ времени до времени исполнялъ отдельныя порученія, сполнитъ порученіе, а вслѣдъ затѣмъ воровать пойдетъ; отомъ опять порученіе исполнить—и опять воровать. Дѣло въ земя, а потѣхѣ часъ. А въ департаментѣ, по разсмотрѣніи его порученій, распоряженія идутъ: штандартъ скачеть, здѣны вѣдуть, паровозъ свистить...

Кто-жъ ему однако-жъ въ душу влѣзеть! Думали, что онъ зосто курицынъ сынъ, а онъ оказался... орелъ!

Какъ бы то ни было, но въ обоихъ приведенныхъ случаяхъ внутренней политики нѣть и слѣда, и тѣ, которые предлагаютъ, что здѣсь примѣшанъ вопросъ о расширеніи полицейской компетенціи, очень грубо ошибаются. Равнымъ образомъ заблуждаются и тѣ, которые утверждаютъ, что ничего подобнаго не могло бы произойти при «правомъ порядкѣ» (псевдонимъ). Ибо псевдонимъ этотъ давно у насъ существуетъ, только мы, по недоразумѣнію, ругими псевдонимами его называемъ. Ничего намъ не нужно: ни реформъ, ни упорядоченій, ни правовыхъ подѣковъ. Все у насъ есть. А ежели есть, сверхъ того, иного лишняго, то стѣтъ только построже предписать: чтобы этого было—и не будетъ.

Вѣдь справляются же съ литературой. Не писать о сопрахъ, ни обѣ Успенскомъ, ни обѣ Архангельскомъ, ни бѣ Исаакіевскомъ—и не пишутъ. Вотъ о колокольняхъ (псевдонимъ) писать—это можно, но я о колокольняхъ писать не желаю. Богъ съ ними, съ псевдонимами вообще.

Встарину опытные губернаторы именно такъ и поступали. послышитъ, бывало, генераль, что въ вѣренномъ ему раѣ неблагополучно—сейчасъ циркуляръ: «Дошло до моего свѣдѣнія... чтобъ не было!» И разомъ всѣ воровства, забежи, убийства—все какъ рукой сниметъ. А отчего? потому, что встарину администраторы знали, чего хотятъ, и согласность съ симъ требовали; о журавляхъ не разваривали, а прямо указывали на синицу. Зато ужъ если отребовалъ генераль синицу, то хоть тресни, а подай; а еже подадъ—умри!

А нынче, съ комитетами да съ комиссіями, совсѣмъ мы путались. Понадѣвали комиссій думали, что польза вый-

деть, а вышли псевдонимы. Реформа—псевдонимъ, упорядочение—псевдонимъ, правовой порядок—псевдонимъ. Понятно, что никакая комиссія такого множества псевдонимовъ не выдержить, и вотъ онѣ нарождаются и умираютъ, умираютъ и опять нарождаются. А мы ходимъ между ними словно по полю, усыпаному мертвыми тѣлами. Идешь и думаешь: почили, несправимые празднословы! Смотришь, ань между ними ужъ кудрявые купидоны рѣзвятся и тоже о чёмъ-то празднокартавятъ... Ахъ, дѣти, дѣти!

Жалко смотрѣть на этихъ дѣтей. Едва изъ колыбели, а ужъ не знаютъ иныхъ игрушекъ, кроме труповъ! И какихъ труповъ! такихъ, которые завѣдомо сдѣлались оними отъ руки псевдонимовъ! Вѣдь псевдонимный-то ядъ силенъ; живые трупы давно стали мертвыми трупами, а ядъ и теперь витаетъ надъ полемъ смерти! И молодыя легкія вдыхаютъ испаренія его и постепенно заражаются ими. Не успѣть купидонъ подрасти—глядь, ужъ новое мертвое тѣло присо-вокупляется къ числу прежнихъ таковыхъ... Бѣдныя, не-расцвѣвшія дѣти!

Въ томъ-то и бѣда наша, что часто мы сами не знаемъ, чего хотимъ. По крайней мѣрѣ въ Москвѣ давно ужъ твердѣть, что только тогда мы будемъ благополучны, когда на фронтиспісѣ нашей жизни будетъ написано: А=А. Вотъ это вѣрно. Все равно какъ въ старые годы кресты на дверяхъ мѣломъ писали, чтобы холера въ домъ не входила. Но ежели и затѣмъ холера входила, то умирали.

Однако довольно о псевдонимахъ—еще бѣды съ ними наживешь. Поговоримъ лучше объ евреяхъ. Ибо хотя нынче съ этимъ вопросомъ и тихо, но, право, даже теперь, какъ вспомнишь, чтѣ происходило мѣсяца три-четыре тому на-задъ, морозъ по кожѣ подираетъ.

Не такъ давно и въ печати, и въ обществѣ въ боль-шомъ ходу были толки «о народной политикѣ» и о необ-ходимости практическаго ея примѣненія. Но, къ удивленію, эти толки болѣе смущали, нежели радовали.

Не потому смущали, чтобы выраженіе: «народная поли-тика» представляло для кого бы то ни было загадку: у всѣхъ народовъ оно имѣть одно и то же значеніе и на всѣхъ языкахъ имѣть соотвѣтствующій терминъ. Означаетъ оно такую правительственную систему, въ резуль-татѣ которой является здоровый ростъ народа, какъ физи-ческій, такъ и духовный. Процвѣтаніе наукъ, промышлен-ности, искусствъ, литературы, общее довольство, обезпече-

ченность и довѣріе—вотъ въ нѣсколькихъ словахъ программа «народной политики». Ясно, что такого рода явление, въ глазахъ всякаго здравомыслящаго человѣка, можетъ быть только желательнымъ.

Но у насъ, вслѣдствіе укоренившейся привычки говорить псевдонимами, понятія самыя простыя и вразумительныя получаютъ загадочный смыслъ. У насъ выраженіе: «народная политика» означаетъ совсѣмъ не общее довольство и преуспѣяніе, а, во-первыхъ, «жизнь духа», во-вторыхъ — «духъ жизни» и въ-третьихъ — «оздоровленіе корней». Или, говоря другими словами: мели, Емеля, твоя недѣля.

Вотъ эта-то «народная политика» и взялась покончить съ еврейскимъ вопросомъ. Она всегда и за все бралась съ легкостью изумительной. И «ключей» требовала, и Босфору грозила, и въ Константинополѣ единство кассъ устроить сбиралась, и на кратчайшій путь въ Индію указывала. Но нельзя сказать, чтобы съ успѣхомъ. Если-бы она меныше хвасталась, не такъ громко кричала, сбираясь на рать, поменьше говорила стихами и потрезвѣе смотрѣла на свою задачу—быть-можетъ, она чего-нибудь и достигла бы. Но она всегда продавала шкуру медвѣдя, не убивши его—понятно, что ни «ключи», ни «проливы» не давались ей какъ кладъ. И вотъ, послѣ цѣлаго ряда проказъ по части оздоровленія корней, ей подвертывается пресловутый еврейский вопросъ.

Читатель,помните ли вы сказку о «Дикомъ помѣщикѣ»? Содержаніе ея очень незамысловатое. Не весьма умный помѣщикъ, огорченный крестьянской реформой и начитавшійся розсказней о бѣлой кости и алої крови, взмолился къ Богу, прося, чтобы Онъ освободилъ его отъ мужика. «Одной только милости прошу,—вопіялъ онъ:—чтобы мужичымъ духомъ у меня во владѣніяхъ не пахло!» И Богъ внялъ мольбѣ неразумнаго (конечно, съ тѣмъ, чтобы онъ впослѣдствіи самъ созналъ свое неразуміе): въ одно прекрасное утро поднялся вихрь и, въ глазахъ помѣщика, унесъ изъ его владѣній весь мякинно-мужичий рой...

Какіе плоды вкусиль помѣщикъ отъ мужичьяго исчезновенія—это сюда не относится. Но очевидно, что легенда о легкомъ исполненіи помѣщичьей прихоти увлекла нашихъ народныхъ политиковъ. Стѣсняясь еврейскою назойливостью и видя, что тутъ ничего не подѣлаешь ни «жизнью духа», ни «духомъ жизни», ни даже «оздоровленіемъ корней», они

избрали легчайший путь: попробовали примѣнить къ постылымъ евреямъ тотъ же летательный процессъ, какой былъ примѣненъ «дикимъ помѣщиковъ» къ постылымъ мужикамъ. И точно, поднялся вихрь, но при этомъ случилось нечто неожиданное: улетѣли народные политики, а евреи остались. До такой степени остались, что даже на-дняхъ я видѣлъ:ходить евреи у насъ по лачамъ, какъ будто полотно продаешь, а самъ подслушиваешь, не наклѣвывается ли гдѣ-нибудь революція — точь-въ-точь какъ полноправный русский гражданинъ.

Итакъ, евреи остались, но вмѣстѣ съ тѣмъ остался не-тронутымъ и еврейской вопросъ.

Исторія никогда не начертывала на своихъ страницахъ вопроса болѣе тяжелаго, болѣе чуждаго человѣчности, болѣе мучительнаго, нежели вопросъ еврейскій. Исторія человѣчества вообще есть безконечный мартирологъ, но въ то же время она есть и безконечное просвѣтленіе. Въ сферѣ мартиролога еврейское племя занимаетъ первое мѣсто; въ сферѣ просвѣтленія оно стоитъ въ сторонѣ, какъ будто лучезарныя перспективы исторіи совсѣмъ до него не относятся. Нѣть болѣе надрывающей сердце повѣсти, какъ повѣсть этого безконечнаго истязанія человѣка надъ человѣкомъ. Даже исторія, которая для самыхъ загадочныхъ уклоненій отъ свѣта къ тѣмъ находитъ соотвѣтствующую поправку въ дальнѣйшемъ ходѣ событий, — и та, излагая эту скорбную повѣсть, останавливается въ безсиліи и недоумѣнії.

Очевидно, что въ ненормальномъ положеніи еврейскаго вопроса играютъ фатальную роль такого рода запутанности, которая съ теченіемъ времени не только не смигчаются, но даже больше и больше обостряются. Въ ряду этихъ запутанностей главное мѣсто, несомнѣнно, занимаетъ преданіе, давно уже утратившее смыслъ, но доселѣ сохранившее свою живость. Затѣмъ къ числу причинъ, содѣйствующихъ незыблемости преданія, слѣдуетъ отнести, во-первыхъ, несознанные капризы расового темперамента и, во-вторыхъ, совершенно произвольное представление объ еврейскомъ типѣ на основаніи образцовъ, взятыхъ не въ трудающихся массахъ еврейского племени, а въ сферахъ болѣе или менѣе досужихъ и эксплоатирующихъ.

Нѣть ничего безчеловѣчнѣе и безумнѣе преданія, выходящаго изъ темныхъ ущелій далекаго прошлаго и съ жестокостью, доходящей до идіотскаго самодовольства, изъ вѣка въ вѣкъ переносящаго клеймо позора, отчужденія и

енависти. Не говоря уже о непосредственныхъ жертвахъ редакція, замученныхъ и обезглавленныхъ, оно извращаетъ цѣлый циклъ общественныхъ отношеній и на самую исторію налагаетъ печать изувѣрской одичалости. Но безчеловѣчіе явится еще болѣе осязательнымъ, если припомнить, что нѣть ющихъ болѣе общедоступной, какъ преданіе, и что, слѣдовательно, послѣднее прежде всего становится достояніемъ головы, и безъ того обезумѣвшей подъ игомъ собственнаго блаженства. Именно этою-то общедоступностью и обладаетъ преданіе, поразившее отчужденіемъ еврейское племя. Когда я думаю о положеніи, созданномъ образами и стонами исконной легенды, преслѣдующей еврея изъ вѣка въ вѣкъ на всякому мѣстѣ, — право, мнѣ представляется, что я съ ума схожу. Кажется, что за этой легендой зіяетъ бездонная пропасть, наполненная кипящей смолой, и въ этой пропасти безнадежно агонизируетъ цѣлая масса людей, у которыхъ отнято все, даже право на смерть.

Ни одинъ человѣкъ въ цѣломъ мірѣ не найдетъ въ себѣ столько творческой силы, чтобы вообразить себя въ положеніи этой неумирающей агоніи, а еврей рождается въ ней и для нея. Стигматизированный онъ является на свѣтъ, стигматизированный агонизируетъ въ жизни и стигматизированный же умираетъ. Или, лучше сказать, не умираетъ, а видѣть себя и по смерти бѣзсрочно-стигматизированнымъ въ лицѣ дѣтей и присныхъ. Нѣть выхода изъ кипящей смолы, нѣть иныхъ перспективъ, кромѣ зубовнаго скрежета. Чѣмъ бы еврей ни предпринялъ, онъ всегда остается стигматизированнымъ. Дѣлается онъ христіаниномъ — онъ выкроется; остается при іудействѣ — онъ пѣсь смердящій. Можно ли представить себѣ мучительство болѣе безумное, болѣе безсовѣстное?

Мнѣ скажутъ, быть-можетъ: однако-жъ мы видимъ, что промышленные центры переполнены евреями, которые никако не стѣсняются своимъ еврействомъ. Биржи, театры, рестораны, будуары самыхъ дорогихъ кокотокъ — все это кипитъ веселонравными семитами, которые удивляютъ вселенную наглою расточительностью и нелѣпою привередливостью прихотей и вкусовъ. Да, такихъ субъектовъ существуетъ достаточно (ихъ-то однихъ мы и знаемъ), но вѣдь въ нихъ еврейство играетъ уже далеко не существенную роль. Это обыкновенные гулящіе люди (многіе называютъ ихъ «татями», но я не вижу надобности слѣдовать этой терминологіи), члены той международной аффиліаціи гу-

лящихъ людей, въ которую каждая національность вносить свой посильный вкладъ. Объ еврействѣ въ этихъ людяхъ говорятьъ только иѣкоторыя ухватки, но вѣдь ухватки самыя рѣзкія легко стушевываются въ пучинѣ всевозможныхъ интернациональныхъ утонченостей. Тѣмъ не менѣе можно сказать съ увѣренностью, что даже подобная личности по временамъ переживаютъ нестерпимо-горькія минуты. Ибо и во снѣ увидѣть себя евреемъ достаточно, чтобы самаго неунывающаго субъекта заставить метаться въ ужасѣ и посыпать бессильныя проклятия судьбы.

Несмотря однако-жъ на это организованное мучительство, евреи живутъ. Какая загадка таится за этимъ фактамъ—это вопросъ трудный. Одни объясняютъ еврейскую живучесть надеждой на отмщеніе, другіе—мудростью, трети—просто привычкой. Но кажется, что главную роль тутъ играетъ тотъ общечеловѣческій законъ самосохраненія, въ силу которого племя, однажды сознавшее себя племенемъ, никогда добровольно не налагаетъ на себя руку.

Какъ бы то ни было, но уничтожить силу преданія или даже ослабить ее—задача настолько сложная, что даже люди очень убѣжденные отступаютъ передъ нею. Преданіе наслоялось вѣками, и каждое новое наслоеніе прибавляло къ нему новую жестокую черту. Да и кто всего упорнѣе хранитъ эти преданія? Ихъ хранитъ толпа, которая сама насквозь пропитана злосчастіемъ и въ отношеніи которой всякий укоръ былъ бы несправедливостью и всякое рѣшительное воздействиѣ—дѣломъ въ высшей степени щекотливымъ. Даже поднятіе общаго уровня образованности, какъ это показывается современное антисемитское движение въ Германіи, не приносить въ этомъ вопросѣ осознательныхъ улучшений, потому что до сихъ поръ мы были свидѣтелями только относительного поднятія этого уровня, которое не обладаетъ достаточной силой для водворенія принципа абсолютного равноправія. Слѣдовательно, чтобы упразднить преданіе, необходимо, чтобы человѣчество окончательно очеловѣчилось. А когда это произойдетъ?

Перспектива бессрочная и тѣмъ болѣе безнадежная, что въ союзѣ съ преданіемъ противъ еврейского племени дѣйствуютъ и несознанные капризы расовыхъ темпераментовъ. Эти капризы, переходя отъ поколѣнія къ поколѣнію, въ свою очередь образуютъ преданіе, столь же компактное и не менѣе преисполненное всякаго рода баснословій, какъ и изукрашенная вѣками легенда о несмыслимомъ еврейскомъ клеймѣ.

И образъ жизни еврея, и виѣшняя его складка, его ма-  
тра говорить, ходить, одѣваться—все даетъ пищу для не-  
мысленной досады, которая проявляеть себя тѣмъ без-  
зепятственнѣе, что выраженіе ея почти всегда сопрово-  
ддается безнаказанностью. Никто такъ мастерски не боится,  
какъ еврей; никто не создалъ для себя такого странного  
тѣшнаго облика. Еврей самый солидный напоминаетъ  
тѣшнимъ своимъ видомъ подростка, путающагося въ от-  
цовскихъ штанахъ. Для темной массы этого вполнѣ доста-  
очно, чтобы видѣть въ евреѣ всегда готовый источникъ  
отѣхъ и издѣвокъ. Никому нѣтъ дѣла до причинъ, поро-  
шившихъ «странности», ибо въ глазахъ черезчуръ ужъ  
иво мечется грубый фактъ, который заслоняетъ и про-  
лятое прошлое, и презрѣнную обстановку настоящаго.  
мѣшной ламбсердакъ, нелѣные пейсы, заячья торопли-  
вость, ни на минуту не дающая еврею усидѣть на мѣстѣ,—  
это еще нужно? Еврей и ходить не такъ, какъ люди, и  
оворить не такъ, какъ люди, и смотрѣть не такъ, какъ  
оди. Отъ еврея—пахнетъ; еврей не смотрѣть, а глаза у  
его бѣгаютъ; онъ не живеть, а блудить. А какъ смѣшио  
даже гнусно онъ шепелявить!

— Чѣдѣло, еврей, губами мнешь?

— Дурака шашу!

То ли дѣло Деруновъ съ Колупаевымъ! Никогда они не  
зажутъ: «шашу», а прямо отчеканятъ: «сосу дурака»—и  
забаштъ. И правильно, и для потѣхи резоновъ нѣтъ: слу-  
жай и трепещи!

Давно ли власть имѣющія лица стригли у евреевъ пейсы  
снимали съ нихъ ламбсердаки? Давно ли какъ лакомства  
слушались разсказы о веселонравныхъ военныхъ лю-  
дяхъ, Ѣзившихъ на евреяхъ и верхомъ, и въ экипажахъ,  
анимавшихся травлей ихъ и не знавшихъ болѣе высокаго  
аслажденія, какъ подстеречь еврея съ какимъ-нибудь чл-  
овредительнымъ сюрпризомъ и потомъ покатываться отъ  
моры при видѣ смѣшио ужаса, который являлся есте-  
ственнымъ послѣдствиемъ сюрприза. И что же, развѣ это  
прошлое такъ и кануло въ вѣчность? Нѣтъ, оно только  
издѣвѣнило формы, а сущность передало неприкосно-  
енною, такъ что въ настоящее время пропаганда еврей-  
кой травли едва ли не идетъ шире и глубже, нежели  
огда-либо.

Говорять, будто выраженіе: «дурака шашу» предста-  
ляетъ девизъ, которымъ опредѣляются отношенія всяко-

еврея къ окружающей средѣ. Но въ такомъ случаѣ отчего же не допустить подобнаго же толкованія и для выраженія: «сосу дурака», которое на практикѣ имѣть отнюдь не менѣе обширное примѣненіе. По существу, они оба одинаково омерзительны, да и на практикѣ имѣютъ одинаковое примѣненіе. Но и въ томъ, и въ другомъ видѣ доступны совсѣмъ не всякому встрѣчному, а только могущему вмѣстить.

Сосать простеца или «дурака» (онъ же рохля, ротозѣй, мужикъ и проч.) очень лестно, но для этого надо имѣть случай, споровку и талантъ. Деруновъ и Колупаевъ — сосутъ, а Малявкинъ и Казявкинъ хоть и живутъ съ ними по сосѣдству — не сосутъ. Первые обладаютъ всѣми нужными для сосанія приспособленіями; вторые — тѣми же приспособленіями обладаютъ наоборотъ. Тотъ же самый законъ имѣть силу и въ еврейской средѣ. И между евреями правомъ лакомиться «дуракомъ» пользуются лишь сильные организмы, а Малявкинъ и Казявкинъ не только не лакомятся, а, напротивъ, представляютъ собой матеріаль для лакомства.

Вся разница въ томъ, что коренной Деруновъ, присасываясь къ Малявкину, называетъ его «крестникомъ» и не туждается прибаутокъ, въ родѣ: «по-милу да по-божецки, ты за меня, я за тебя, а Богъ за всѣхъ!» А Деруновъ-евреи сосетъ безъ прибаутокъ, серьезно. Возьметъ дурака двумя пальцами, пососеть и скорлупу выплюнетъ; потомъ возьметъ другого дурака и онѣтъ скорлупу выплюнетъ. Ужасно видѣть это серьезное выплевываніе скорлупокъ, но, право, и прибаутки слушать не слаже.

Кому же однако приходило въ голову указывать на Разуваева, какъ на опредѣляющій типъ русскаго человѣка? А Разуваева — евреи непремѣнно навязнутъ всему еврейскому племени и будутъ при этомъ на все племя кричать: ату!

Но для Дерунова-еврея есть даже смягчающее обстоятельство: онъ чаще всего сосеть вовсе. Ибо какъ только онъ начинаетъ насасываться досыта, такъ тотчасъ на него налетаетъ ревизія: показывай, жидъ, чтѣ у тебя въ потрохахъ? И всякий, кому не лѣнь, беретъ оттуда часть. Какъ все-то разберуть — много ли останется? И какую надобно имѣть силу воли, какую удачливость, чтобы, претерпѣвъ всѣ ревизіи, благополучно вынырнуть въ міръ концессій и банкирскихъ гешефтовъ и тамъ, сбросивши съ себя узы

еврейства, кормить обѣдами тайныхъ совѣтниковъ, а нѣкоторыхъ изъ нихъ имѣть даже въ услугеніи...

Почему же однако мы съ такою легкостью отожествляемъ еврея сосущаго съ евреемъ *не-сосущимъ*, почему мы такъ охотно вымѣщаемъ на послѣднемъ досаду, которую пробуждается въ насъ первый? Не потому ли, что сосущій евреи есть сила, за которую скрывается еще сила, и даже не одна, а цѣлый легіонъ? Весьма вѣроятно, что въ этомъ предположеніи есть очень значительная доля правды, хотя это и не приносить особенной чести нападающей стороны. Но во всякомъ случаѣ, въ безчеловѣчной путаницѣ, которая на нашихъ глазахъ такъ трагически разыгралась, имѣть громадное значеніе то, что нападающая сторона, относительно еврейского вопроса, ходить въ совершенныхъ потемкахъ, не имѣя никакихъ твердыхъ фактovъ, кромѣ преданія (нельзя же въ самомъ дѣлѣ серьезно преслѣдовывать людей за то, что они носятъ пейсы и неправильно произносятъ русскую рѣчь!).

Въ самомъ дѣлѣ, что мы знаемъ объ еврействѣ, кромѣ концессіонерскихъ безобразій и продѣлокъ евреевъ-арендаторовъ и евреевъ-шинкарей? Имѣемъ ли мы хотя приблизительное понятіе о той безчисленной массѣ евреевъ-мастеровыхъ и евреевъ-мелкихъ-торговцевъ, которая кишитъ въ грязи жидовскихъ мѣстечекъ и неистово плодится, несмотря на печать проклятія и на вѣчно присущую угрозу голодной смерти? Испуганныя, доведшія свои потребности до минимума, эти злосчастныя существа молять только забвенія и безвѣстности — и получаютъ въ отвѣтъ поруганіе...

Даже въ литературу нашу только съ недавняго времени начали проникать лучи, освѣщающіе этотъ агонизирующій міръ. Да и теперь едва ли можно указать на что-нибудь подходящее, исключая прелестнаго разсказа г-жи Оржешко: «Могучій Самсонъ». Поэтому тѣ, которые хотятъ знать, сколько симпатичнаго таитъ въ себѣ замученное еврейство и какая неистовая трагедія тяготѣеть надъ его существованіемъ,—пусть обратятся къ этому разсказу, каждое слово котораго дышитъ мучительной правдою. Навѣрно это чтеніе пробудить въ нихъ добрая, здоровыя мысли и заставить ихъ задуматься въ лучшемъ, человѣчномъ значеніи этого слова.

Знать — вотъ что нужно прежде всего, а знаніе несомнѣнно приведетъ за собой и чувство человѣчности. Въ

этомъ чувствѣ, какъ въ гармоническомъ цѣломъ, сливаются тѣ качества, благодаря которымъ отношенія между людьми являются прочными и доброкачественными. А именно: справедливость, сознаніе братства и любовь.

## ГЛАВА VII.

Пришелъ и новый годъ. Пришелъ и, по обыкновенію, новое счастіе принесъ. Счастіе пока еще не опредѣлилось, но надеждъ и увѣреностей — болѣе чѣмъ достаточно. Не было, я полагаю, того угла въ цѣломъ Петербургѣ, гдѣ бы въ ночь съ 31-го декабря на 1-е января не ободряли себя пріятными перспективами. Конечно, и въ прошломъ году въ этотъ моментъ точно такъ же всѣ поздравляли себя съ новымъ счастіемъ и листили себя новыми надеждами (какъ встарину доброя дѣти родителямъ писали: «льщу себя, милый папенька, надеждою, что новый годъ припесеть новое счастіе, которое поможетъ намъ многія лѣта въ сей печальной юдоли благополучно провести»), но нынче пожеланія выражались какъ-то настойчивѣе и убѣждениїе, такъ что можно было догадываться, что поздравляющіе понимаютъ, съ чѣмъ поздравляютъ другъ друга.

Съ первого же дня газеты предприняли ревизію старого года. Разсматриваются его во всѣхъ смыслахъ и очень хвалятъ. Многое уже выполнено, а осталъное — не замедлить. Во всякомъ случаѣ и того, что сдѣлано, уже достаточно, чтобы считать почву будущаго подготовленію. Все процвѣло и преуспѣло, кромѣ литературы, которой прошлый годъ принесъ однѣ утраты. И таковы эти утраты, что даже недавній юбилей россійской академіи \*) не заставилъ о нихъ позабыть.

Надо сказать правду: тонъ общественнаго мнѣнія за послѣдніе годы измѣнился къ лучшему. Вместо прежнихъ колебаний — солидность, вместо витанія въ эмпиреяхъ — стремленіе къ «настѣнщему» дѣлу и увѣренность обрѣсти его. Встрѣчаются множества людей, которые еще недавно легкомысленно восклицали: «*surgsum corda!*» и которые теперь видимо озабочены чѣмъ, чтобы ихъ недавніе возгласы были преданы забвенію. И надо думать, что усиливъ ихъ

\*) Замѣчательно, что редакціи русскихъ журналовъ не были на это торжество приглашены.

увѣнчаются успѣхомъ, потому что у насть насчетъ возгла-  
совъ просто: сотрясеніе воздуха—и больше ничего. Имѣю-  
щій уши—ихъ слышить и сейчасъ же забываетъ, а не  
имѣющему ушей хоть всю літургію вѣрныхъ пропой—онъ  
все равно ничего не услышитъ.

Резонность и солидность—вотъ лозунгъ настоящаго. Это,  
вѣроятно, и при поздравленіяхъ съ новымъ годомъ имѣ-  
лось въ виду. *Sursum corda!* чѣдъ это такое? зачѣмъ? по  
какому слушаю? развѣ гдѣ-нибудь горить? То ли дѣло: по-  
спѣшишь—людей насыпишь! тутъ по крайней мѣрѣ реаль-  
ный пріемъ слышится. Не воздухоплаваніе, а достовѣрная  
поѣздка вокругъ свѣта на сдаточныхъ. Давно ужъ мы эти  
*sursum corda*-то слышимъ, да путного мало изъ нихъ вы-  
шло. Стало-быть, пора и образумиться; пора понять, что  
при извѣстныхъ условіяхъ прежде всего о томъ памятовать  
надлежитъ, что маленькая рыбка лучше, нежели большой  
тараканъ.

Это нынче всѣ говорятъ. И прежде говоривали, по ма-  
шинально, по привычкѣ, а нынче—съ толкомъ, съ чув-  
ствомъ, съ разстановкой. Точно порохъ выдумали. Иные  
при этомъ слегка краснѣютъ (но все-таки отчетливо всѣ  
слова выговариваются), но большинство говорить прямо, не  
краснѣючи. Совѣтуя, впрочемъ, и первымъ какъ можно скорѣ  
побѣдить пагубную привычку краснѣть, такъ какъ,  
чего доброго, ихъ, въ противномъ случаѣ, въ сонмище  
укрываемелей эмпирейныхъ витаний зачислять. Потому что  
какъ ни искренне ихъ обращеніе, но все-таки на нихъ,  
какъ на новообращенныхъ, смотрѣть еще съ иѣкоторою  
подозрительностью. Все равно какъ съ вотяками бываетъ:  
есть вотяки «старокрѣщены» и есть «новокрѣщены». Въ  
«старокрѣщенахъ» никто не сомнѣвается, но относительно  
«новокрѣщен», хоть онъ всякий праздникъ чѣдъ слѣдуетъ  
попу отдастъ, а все-таки кажется: вотъ-вотъ онъ сей-  
часъ въ кереметь убѣжитъ. И согласно съ симъ прини-  
маются мѣры.

Итакъ, надо «дѣло» дѣлать—вся задача въ этомъ со-  
стоитъ. Только «дѣло» можетъ поднять нашъ духъ и воз-  
становить насть и въ собственномъ мнѣніи, и въ мнѣніи  
нашихъ согражданъ. Объ этомъ и не спорить никто. Спросите въ любой мелочной лавкѣ: чѣдъ лучше, дѣло или  
бездѣлье?—навѣрное вы получите въ отвѣтѣ: какъ же  
можно, бездѣлье или дѣло! И сейчасъ же вамъ назовутъ  
безчисленное множество дѣлъ, которыхъ тутъ же, въ стѣ-

нахъ мелочной лавки, и совершаются. Отвѣшивать, отмѣривать, упаковывать, принимать, отпускать, слѣдить за выручкой, наполовину гнилой лимонъ показать здоровою половиною и пр. Голова кругомъ идетъ. То же самое происходитъ въ кабакѣ, въ портерной и наконецъ въ каждой Богомъ хранимой хижинѣ. Вездѣ дѣла прямыя, ясныя, осознательныя. То же самое и намъ, людямъ интеллигентіи, для себя придумать предстоитъ.

Но на бѣду, чѣмъ выше сфера человѣческихъ отношеній, тѣмъ меньше замѣчается точности въ опредѣленіи признаковъ «дѣла». Вместо прямыхъ указаний, въ родѣ: отмѣривать, отрѣзывать (а въ иныхъ случаяхъ даже прямо «производить»), мы встрѣчаемся съ такими же отвлеченностями, какъ *sursum corda*, только низменнаго и даже глупаго свойства. Между тѣмъ именно для этой-то высшей сферы и требуется отыскать подходящее дѣло. Именно она, а не сфера хижинъ богохранимыхъ, страдала обиліемъ эмпиреевъ, и она же въ послѣднее время заговорила, что виѣ дѣла для насть нѣтъ спасенія. И тутъ-то вотъ, несмотря на всѣми чувствуемую потребность, мы не находимъ ни малѣйшихъ указаний ни насчетъ мѣста нахожденія «дѣла», ни насчетъ подлиннаго его названія. Конечно, и здѣсь вы услышите отвѣтъ: «какъ можно сравнить, бездѣлье или дѣло!»—но вслушайтесь въ интонацію голоса, которымъ произносятся эти слова, и вы убѣдитесь, что въ ней звучить: «бездѣлье-то, пожалуй, лучше»...

Все затрудненіе оттого происходитъ, что интеллигентный человѣкъ думаетъ, что онъ въ иѣкоторомъ родѣ «правящій классъ», и потому для себя какого-то особеннаго дѣла требуетъ. Даже самые неинтеллигентные изъ интеллигентныхъ такъ о себѣ полагаютъ. Скажу болѣе: чѣмъ глупѣе интеллигентный человѣкъ, тѣмъ онъ сильнѣе за титулъ «правящаго класса» цѣпляется. Слышаль, что гдѣ-то на теплыхъ водахъ правящіе классы въ свое удовольствіе живутъ, и себѣ того же желаетъ. Но какимъ образомъ попасть въ такие «правящіе классы», которые въ свое удовольствіе живутъ,—не знаетъ. Ежели въ эмпиреяхъ витать, такъ опытъ практически доказать, сколь сіе вредно; ежели «дѣло» дѣлать—такъ укажите, сдѣлайте милость, въ чёмъ оное заключается. Вотъ кабы входъ въ крѣпостное право какимъ-нибудь чудомъ опять открылся—сейчасъ бы мы всѣ правящими классами сдѣлались! И «дѣло» тогда само бы собой выскочило, а ты только знай жезломъ помахивай!

Вообщѣ, съ тѣхъ порь, какъ начались толки о «дѣлѣ», отиворѣчій не оберешься. Съ одной стороны несомнѣнно, витанія и паренія приводятъ къ самообольщенію, но другой стороны, какъ только раздумаешься о «дѣлѣ»—ругъ, словно самъ собою, начнешь парить и витать. Не цѣ носомъ у себя «дѣла» ищешь, а въ сторону заглядываешь, и все какъ-то въ сторону «теплыхъ водъ». Эта привычка у насъ еще отъ крѣпостныхъ временъ осталась; тогда мы были убѣждены, что въ Россіи можно оброки дани получать, а жить въ свое удовольствіе только на теплыхъ водахъ можно. Но нынче оказывается, что въ добныхъ заглядываніяхъ спасенія не обрѣтешь. Почему называется—объ этомъ опять-таки никто не сказываетъ казывать-то, должно-быть, нечего)... Оказывается—только всѣго. Какъ бы то ни было, но для того, чтобы спастись, жно не «чужое», не «иностранные», а «своё собственное» и притомъ «настоящее» дѣло найти... Чѣмъ бы такое? , напримѣръ?

Такой это интересный вопросъ, что нѣтъ той минуты, обѣ я не думалъ о немъ. И все, чѣмъ отъ меня зависѣло, видѣло его правильнаго разрѣшенія—все я предпринималъ. И къ говору трактирныхъ завсегдатаевъ прислушивался (vox populi), и въ участкѣ справлялся, и съ свѣщими людьми совѣщался—ничего не поймешь! Заладили же: «дѣло дѣлать!» Господа! да вѣдь это то же, что «surgit corda!» только, наоборотъ...

Говорятъ, будто славянофиламъ что-то обѣ этомъ «состоятельномъ» дѣлѣ было известно, но они свой секретъ могилы унесли. Теперь, на смѣну славянофиламъ, пошли какіе-то выморочные бонапартисты, которые могутъ только въ трубы трубить, но секрета не знаютъ.

Говорятъ еще, будто въ газетахъ каждый день о «дѣлѣ» разговариваютъ—ну, да какая ужъ это «дѣла»!

Наконецъ я обратился съ вопросомъ къ моему другу Тумову:

— Не знаешь ли, другъ любезный, какимъ бы самостоятельнымъ «дѣломъ» наши «правящіе классы» угодить?

И что-жъ! онъ въ ту же минуту всѣ мои сомнѣнія разшиль.

— Какъ «какими»! да вотъ въ однѣхъ со мной меблированныхъ комнатахъ отставной статской советникъ Куль-

тапка живеть, такъ онъ съ утра до вечера дѣло дѣлаеть. Утромъ—проекты нравственнаго и умственнаго оздоровленія (да съ картинками, братець!) сочиняетъ; среди дня—извѣщенія пишеть, а вечеромъ—по коридору ходить и къ дверямъ уши прикладываетъ. Однажды ему даже лобъ нечаянно дверью раскроили. Надѣюсь, что это достаточно «свое собственное» дѣло.

И не успѣль я настоящимъ манеромъ его отвѣтъ обдумать, какъ онъ продолжалъ:

— А то еще молодой человѣкъ у насъ живеть. Утромъ—коричневый галстукъ передъ зеркаломъ повязывается; передъ обѣдомъ—черный галстукъ; вечеромъ—блѣлый. Или возьметъ въ руки шляпу и самъ съ собой передъ зеркаломъ раскланивается. Чѣмъ не дѣло?

А въ заключеніе повѣствовалъ слѣдующее:

— Что же касается до особъ дамскаго сословія, то о нихъ и заботиться нечего. Ихъ существованіе не только наполнено, но даже, можно сказать, биткомъ набито. Утромъ «она» встаетъ—утренний костюмъ надѣвается; въ три часа по магазинамъ или гулять ёдетъ или идетъ—гуляльный костюмъ надѣвается; передъ обѣдомъ—надѣть обѣденнымъ костюмомъ думу думаетъ; вечеромъ, ежели въ театръ ёдетъ—театральный костюмъ, ежели на баль—бальный. И всякий разъ передъ зеркаломъ цѣлая драма происходитъ. То подойдетъ, то отойдетъ, то сядетъ, то какъ ужаленная вскочитъ. Иная, коли на баль ёхать собралась и нужно опредѣлить мѣру декольтѣ, то даже особенную систему зеркаль устраиваетъ и на колѣнки становится. И сверху, и съ боковъ, и сзади, и спереди—отовсюду разомъ видно. Сверху—это «les messieurs» смотрятъ, съ боковъ—члены общества распространенія грамотности, братчики, отставные дипломаты и проч. А издали, совсѣмъ въ перспективѣ—мужъ. И ему взглянуть хочется. Тутъ, братъ, коли все-то въ точности исполнить, такъ и на баль, пожалуй, къ шапочному разбору попадешь.

---

То-то я смотрю: давно ли всѣ на скучу жаловались, а нынче ея и въ поминѣ нѣть. Ань оно вонъ чтѣ: «дѣло» найдено.

Слухами о сезонныхъ увеселеніяхъ всѣ стогны петербургскіе полны. Извозчики только о томъ и говорятъ, что господа опять веселиться начали. Въ газетахъ пишутъ: у одной дамы на балу, независимо отъ глубокаго декольтѣ,

брильянтовую подкову на спинѣ видѣли. Теперь эта подкова нашихъ статскихъ совѣтницъ съ ума сведетъ. Будутъ — каждая къ своему статскому совѣтнику—до тѣхъ приставать, покуда цѣлыхъ созвѣздій на спины не учатъ...

Придется-таки статскимъ совѣтникамъ изворачиваться; придется «дѣла» изобрѣтать, евреямъ-гешефтмахерамъ душу давать. И когда наконецъ ювелиръ влѣпить въ поясцу статской совѣтницы цѣлое брильянтовое солнце, то лучахъ его будутъ играть кавалеры всѣхъ сортовъ оружия и пера, а соответствующей статской совѣтнице будетъ это время гешефтмахера обучать, какъ наилучшимъ образомъ любезное отечество подкузьмить...

А какая новая эра занятій и дѣлъ для статскихъ совѣтницъ откроется! Ежели вечеромъ на балъ ъхать, такъ съ утра присѣдать передъ зеркаломъ придется! Солнце—вѣдь не шутка, умьючи надо его показать! Супъ на дѣлѣ, дѣти ѿстъ просять, статской совѣтнице то вскочь, то опять присидеть. «Да скоро ли, матушка?»—кричать разъяренный мужъ, стучась въ запертую на ключь дверь.—«Ахъ, да обѣдайте безъ меня... несносный! я побѣ... одна!» И дѣйствительно, между присѣданій чего-нибудь перехватить, по зато къ одинацдати часамъ—такъ!

Фактъ, повидимому, самъ по себѣ ничтожный, а между мѣсяцами по милости его процвѣтаетъ промышленность. Мудрено къ будто это согласовать, а между тѣмъ оно такъ. Въ Петербургѣ на балу у барона Гинсбурга, напримѣръ, статская совѣтница Коромыслова на брильянтовомъ солнцѣ дѣла, а у крестьянина деревни Комаринской, Павла Антипьева, отъ этого ея дѣйствія въ мопинѣ два съ полтиной ибыло. И прибыло совершенно резонно. Еще докторъ Енѣ, глава физіократовъ и другъ Тюргѣ, говоривальщика, которая покупаетъ шаль, подаетъ милостыню бѣднику». Вотъ эту-то истину и зарубили статская совѣтница себя на носу. Подумайте, въ самомъ дѣлѣ: солнце-то, которое статская совѣтница Коромыслова сѣла—гдѣ оно сѣлано? Оно сѣлано въ мастерской, въ которой сынъ авла Антипьева, комаринский мужикъ Иванъ Павловъ, работалъ. На свой пай онъ половину луча этого сѣжалъ за это получилъ пять рублей, а изъ нихъ два съ полтиной домой въ село Комаринское послалъ. Такъ вотъ.

Но этого мало. Получивъ два съ полтиной, Павель Антипьевъ распорядился съ ними такъ: на рубль купилъ у другого комаринскаго мужика сѣна, на рубль—у третьаго комаринскаго мужика—муки, да на полтину у четвертаго комаринскаго мужика—соли. Въ результатѣ оказалось: прислано было два съ полтиной, а процвѣли на нихъ: во-первыхъ, Павель Антипьевъ—полностью на всѣ два съ полтиной и, во-вторыхъ, трое его односельцевъ—всѣ вмѣстѣ тоже на два съ полтиной. Итого—на пять рублей. То же и съ остальными двумя съ полтиной случилось: во-первыхъ, Иванъ Павловъ полностью на всѣ процвѣлъ (пропиль), да кабатчикъ, у котораго онъ вино пилъ—тоже на два съ полтиной. Опять на пять рублей. Вотъ она, экономистическая арифметика-то какова! пущено въ оборотъ пять рублей, а въ процвѣтавіи оказалось десять. Это относительно только половины луча, а сколько у солнца полныхъ лучей—сочтите! Да фабриканть извѣрное вдесятеро, чѣмъ всѣ комаринскіе мужики въ совокупности, процвѣль. И все это статская совѣтница Коромыслова однимъ движеніемъ поясницы произвела!

Не знаю, шепнуло ли ей обѣ этомъ солнце, покуда она на немъ сидѣла, но знаю, что къ началу шестой фигуры г-жа Коромыслова была вполнѣ убѣждена въ цѣлесообразности своихъ поступковъ и дѣйствій.

— Вы не подумайте,—сказала она мѣвшему подлѣ нея кавалеру:—что я легкомысленница, садясь на брильянтовое солнце. Я этимъ дѣйствіемъ на цѣлое комаринское село благоденствіе изливаю!

Очень возможно, что нечто въ родѣ этихъ соображеній приходило въ голову Нерону, когда передъ его глазами пылали Римъ. Или купцу Овсянникову, когда горѣла его фабрика. И они, каждый по своему, подавали милостыню бѣдному.

Вотъ почему, когда я вижу, какъ дамочка изнуряетъ себя передъ зеркаломъ, то никогда не осуждаю ее, но говорю: это она промысленность оживляетъ, цѣнность кредитнаго рубля поднимаетъ, милостыню бѣднику подаетъ. Однимъ словомъ, по мѣрѣ своего дамскаго разумѣнія, «дѣло» дѣлаетъ.

---

Вотъ и адвокатура наша собралась дѣлать. Правда, что она и прежде себя преимущественно съ этой стороны уже зарекомендовала, но лѣтъ пять-шесть сряду о ней

какъ-то совсѣмъ не было смысна, точно она сквозь землю провалилась. А теперь опять всплыла.

Я помню, что когда адвокатское сословіе впервые выступило на арену общественного служенія, я быть очень этимъ обрадованъ. Какъ хотите, а чрезвычайно пріятно живое слово слышать, хотя бы оно раздавалось по поводу подтопа принадлежащихъ корнету Отлетаеву луговъ мельницей купца Подзатыльникова. Это слово казалось тогда какъ бы естественнымъ продолженіемъ другого слова, которое, при помощи печатнаго станка, посвящало себя пробужденію въ сердцахъ добрыхъ чувствъ. Подобно печатному тогдашнему слову, и адвокатское устное слово на первыхъ порахъ звучало такою убѣжденностью и страстью, что Отлетаевъ и Подзатыльниковъ ничего не понимали, а только чувствовали, что слезы градомъ лютятся изъ ихъ глазъ; судъ же, по выслушаніи стороны, въ величайшемъ смущеніи удалялся въ совѣтательную камеру, не зная, кому присудить проры и убытки. И большую частью постановлялъ такія решения, которыхъ приводили за собой сначала апелляцію, потомъ кассацію, потомъ новое решение и такъ далѣе, до тѣхъ поръ, пока кто-нибудь изъ тяжущихся не пропуститъ срока. Тогда, дѣлать нечего: подтопляй, купецъ Подзатыльниковъ, отлетаевскіе луга! А ты, Отлетаевъ, впередъ не зѣвай!

Но, озаряя новые суды блескомъ своего краснорѣчія, адвокаты, кромѣ того, были осмотрительны какъ въ выборѣ дѣла, такъ и въ исходатайствованіи исполнительныхъ листовъ и во взысканіяхъ по онамъ. Этого тогда не было, чтобы адвокатъ говорилъ клиенту: «вашего дѣла ни по какой статьѣ выиграть нельзя, но попробуемъ: можетъ быть, кривая вывезетъ!» Напротивъ того, одинъ адвокатъ своему клиенту (истцу) говорилъ: «ваше дѣло вотъ по такой-то статьѣ выиграть можно!» а другой адвокатъ—своему клиенту (ответчику): «ваше дѣло вотъ по какой статьѣ выиграть можно!» И каждый шелъ въ судъ, убѣженный, что его статья побѣдить. Да и того тоже не было, чтобы деньги по исполнительному листу получить и въ свою пользу употребить; напротивъ того, всѣ силы-мѣры употреблялись, чтобы все до копеечки клиенту предоставить,—разумѣется, за исключеніемъ процентовъ, заранѣе выговоренныхъ за беспокойство.

А беспокойство въ то время не мало набиралось, потому что большихъ баръ въ то время между адвокатами почти

не было, и всякой свою работу самъ дѣлалъ: и имущество должника сослѣживалъ, и при описяхъ присутствовалъ; словомъ сказать, въ пользу клиента себя въ струнку вытѣтивалъ.

Помню я, какъ на моихъ глазахъ одинъ молодой адвокатъ карьеру свою обстроилъ. Взыскивалъ онъ съ меня въ то время должокъ, и взыскивалъ, надо сказать правду, чрезвычайно благородно, и до суда не доводилъ, и не тѣснилъ насчетъ уплаты. Есть деньги—возьметъ и расписку дастъ; нѣть денегъ—завтра придется. Частенько онъ ко мнѣ такимъ образомъ хаживалъ, и когда я совѣстился, что такъ много ему беспокойствъ доставляю, то говорилъ: «ничего! это наша обязанность!» Даже отъ моихъ папиросъ отказывался, а выпить изъ серебряного портсигара («это мнѣ клиентъ подарилъ!») собственную папироску и съ удовольствиемъ выкурить. Такъ вотъ, бывало, придется онъ ко мнѣ, полный рвения, но блѣдный и утомленный.

— Что вы какъ будто нынче устали?—спросишь его.

— Да вотъ имущество отвѣтчика одного наконецъ слѣдили!—отвѣтить опять и по порядку расскажешь, какую ему Богъ радость послалъ. Совсѣмъ-было на чужую квартиру должникъ имущество-то переправилъ, а онъ, адвокатъ, и на чужую квартиру проникъ. Пришелъ, а его тамъ дама встрѣчаетъ: «Какъ вы смѣете, говорить, въ чужой квартирѣ распоряжаться! Это мое имущество!» Однако нѣть, извините-сь! Вѣдь онъ, адвокатъ, не нахаломъ въ чужую квартиру пришелъ, а на законномъ основаніи. И даже привель съ собою свидѣтелей, которые тутъ же и удостовѣрили: «Помилуйте, сударыня! Мы не разъ у Моисея Исаича (имя должника) на этомъ диванѣ сиживали!»

И такимъ образомъ онъ искать своего довѣрителя обеспечилъ, а объ укрывательницѣ-дамѣ составилъ, при содѣствіи полиціи, протоколъ.

А на другой день послѣ этой удачи опять придется, еще болѣе утомленный.

— Неужто вы и сегодня какого-нибудь должника слѣдили?—спросишь его.

— Нѣть, сегодня я при описи и оцѣнкѣ имущества присутствовалъ. Представьте себѣ, девятьсотъ шесть предметовъ, и между прочимъ тридцать склянокъ изъ-подъ одеколона. А нельзя! Каждую вещь надо особенно въ реестръ занести.

Такъ вотъ каковы были первые христіане... то бишь,

адвокаты! Чувствительные, скромные и притомъ непьющіе. Тако-жъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и тогда ужъ пали, что они основы потрясаютъ; а о томъ, что они въ зиреяхъ витають и куда-то далеко уду закидываютъ,— этомъ походя во всѣхъ харчевняхъ рассказывали.

То эта идилія была непродолжительна. Пришлось мнѣ на полтора за границу уѣхать; возвращаюсь — и вое, что слышу: такія нынче адвокаты дѣлаютъ, іе куши рвутъ, что даже евреи-желѣзнодорожники зу-и скрипятъ. А чтобы клиенту помочь, какъ прежде было, имущество должника сослѣдить—объ этомъ нынче и заикайся! Самъ ищи!

Цѣльше—хуже. Подошло Овсянниковское дѣло; разыгра-и нѣсколько крупныхъ банковскихъ кражъ. Куши такъ злились. И тоже торговля процвѣла, но не столько су-и скимъ, сколько бакалейнымъ товаромъ. По фунту икры разъ съѣдали опытные адвокаты, а неопытные — по ику сардинокъ. А ужины у Бореля съ кокотками—само себѣ. Однимъ словомъ, ни одинъ до-реформенный от-ицикъ въ пѣную неделю столько не проѣдалъ, сколько єїдалъ въ одинъ вечеръ какой-нибудь Балалайкинъ.

Ужасно это меня огорчило. Я надѣялся, что, по возвра-и ніи въ отчество, храмъ славы увижу, а увидѣлъ — по-ииную яму. Вся литература того времени гремѣла адв-иоками безобразіями, но гремѣла безсильно. И безсиліе совершенно естественно объяснялось тѣмъ, что адв-иокатура сознавала себя стоящею прочно на почвѣ «дѣла». Июгіе адвокаты такъ-таки прямо и заявляли: у насъ свое ло есть, а чтѣ думаетъ объ насъ литература и обще-зенное мнѣніе—это для насъ безразлично.

Однако же, разъ адвокатура освободила себя отъ контроля тературы и общественного мнѣнія, разъ она признала я себя обязательнымъ только тотъ контроль, который проводить за собою болѣшій или меньшій размѣръ гонора,—понятно, что она сдѣлалась съ нравственной сто-ины неуязвимою. Но въ то же время она утратила спо-бность къ самосовершенствованію въ какой бы то ни лло сфере, кромѣ процессуальной кляузы.

Затѣмъ слухи о подвигахъ адвокатуры какъ-то вдругъ молкли. И сами адвокаты попртихли, перестали бака-ииную торговлю оживлять, да и безмѣрно они всѣмъ зоими апелляціями и кассаціями надоѣли. Но, главное, остоятельства такія пристигли, что не до адвокатовъ было.

Но нынче для адвокатовъ опять золотое время пришло. На сцену выступили толки о «дѣлѣ», а у нихъ оно ужъ давно готово. Теперь они, вмѣстѣ съ банкирами (купить-продать, продать-купить) и всѣхъ сортовъ оздоровителями, покажутъ намъ, какіе размѣры можетъ принять процвѣтаніе страны, ежели всѣ ея обитатели настоящимъ, трезвеннымъ дѣломъ заняты. Въ эмпиреяхъ они не витаются, широкихъ задачъ не преслѣдуютъ, а долбятъ скромненько съ утра до вечера: апелляція-кассация, кассація-апелляція...

И для начала выбрали дѣло о травлѣ городскихъ обывателей въ пользу общества водопроводовъ. Контрактъ, говорятъ, будто бы дозволяетъ обывателей негодной водой отравлять. Что-жъ, коли контрактъ, такъ, разумѣется, приходится пить воду по точному онаго пониманію. Видишь: § такой-то, пунктъ такой-то... читай! И пей отравленную воду, и молчи! Такъ это ясно, точно и даже свято (въ контрактѣ—святость прежде всего), что сказываютъ, будто цѣлое скопище адвокатовъ за общество водопроводовъ горой стоитъ, и что ради этого дѣла забыты связи дружества и даже узы родства! Еще бы!

Но неужели и теперь еще будутъ говорить, что адвокаты основы потрясаютъ и въ эмпиреяхъ витаютъ?!

---

Такимъ образомъ всѣ «правящіе классы» постепенно присасываются къ дѣламъ. Адвокаты, дамочки, банкиры, земцы, оздоровители и проч. Одна литература продолжаетъ ни при чемъ состоять. Дѣла для нея рѣшительно не отыскивается, а въ эмпиреяхъ витать—и не ко двору, и не ко времени.

Да и читающая публика нынче равнодушна къ эмпиреямъ стала. Ничего не хочетъ знать, кромѣ газетъ. Прочтеть кое-какіе столбцы, а остальное время твердить: купить-продать, кассація-апелляція...

Впрочемъ, это я о той части литературы говорю, дѣятели которой называются «разбойниками печати» и мошенниками пера» (клички эти непремѣнно надо сохранить въ назиданіе потомству, какъ исторический документъ). Что же касается до остальной литературы (преимущественно газетной), то она, наравнѣ съ прочими оздоровителями, нашла для себя «настоящее» дѣло и, повидимому, ведеть его съ полнымъ успѣхомъ.

## ГЛАВА VIII.

А вотъ и еще «дѣло» нашлось.

«Мой собственный корреспондентъ» прислалъ мнѣ изъ Одессы очень любопытное объявленіе. Къ сожалѣнію, онъ не сопроводилъ свою присыпку никакимъ объяснительнымъ письмомъ, такъ что я не знаю ни личности самого корреспондента, ни его фамиліи, ни того, когда былъ изданъ доставленный имъ документъ. Изъ помѣтокъ, имѣющихся въ концѣ объявленія, видно, что оно разрѣшено къ печатанію поліцеймейстеромъ Буниномъ и тиснуто въ Одессѣ, въ типографіи «Трудъ» В. Семенова. Ни года, ни мѣсяца, ни числа—не значится.

Во всякомъ случаѣ, документъ этотъ въ педагогическомъ отношеніи настолько поучителенъ, что я рѣшаюсь привести его здѣсь досточно, не измѣняй и нѣсколько произвольной его орѳографіи. Вотъ онъ:

### ШКОЛЬНЫЕ ГИГІЕНИЧЕСКИЕ СТОЛЫ СИСТЕМЫ КУНЦА И КУШЕТКИ ПО НОВОЙ СИСТЕМѢ.

Эти кушетки имѣютъ преимущество предъ скамьей старинныхъ школъ и въ гигіеническомъ, и экономическомъ отношеніяхъ. Кушетка гигіеническая состоитъ изъ скамьи въ аршинъ шириной. На одной ея сторонѣ находится подвижной на шарнерахъ деревянный футляръ въ видѣ четырехугольной коробки дномъ кверху. Длина ея 6 четвертей и 4 ширина съ высотою въ 5 четвертей. Три боковыхъ наружныхъ стороны, а также и верхняя состоять изъ толстой проволочной решетки съ крупными до 3 кв. в. промежутками. Со стороны, обращенной къ скамье, вмѣсто решетки вставляется подвижная сверху винтъ доска съ дугообразнымъ вырезомъ. Съ другой стороны скамьи такой же подвижной ящичкѣ въ 5 вер. вышины и до 17 длины. Когда подвигается 1-ї ящичкѣ, то онъ закрываетъ голову, грудь и большую часть спины. Опускающая доска съ вырезкой охватываетъ спину и не допускаетъ движений наказываемаго ни впередь, ни назадъ. Точно также 2-ї футляръ прикрываетъ ноги и не допускаетъ свернуться въ сторону. Такимъ образомъ избѣгается вреднаго держанія наказываемаго, когда училищная прислуга притискиваетъ обыкно-

венно голову наказываемаго мучительнымъ образомъ, такъ что онъ одной щекой и искривленной шеей плотно прижать къ скамьѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, лакей давить всей силой мускуловъ на нѣжную грудь мальчика. Шея, наискось прижатая въ искривленномъ положеніи, производитъ полуздешеніе. Всѣ жилы головы наливаются кровью. Лицо и бѣлки глазъ краснѣютъ, начинается головокруженіе, а иногда и обморокъ. Этотъ приливъ крови къ мозгу надолго оставляетъ головные боли и неспособность къ умственнымъ занятіямъ. Держащій сторожъ, конечно, въ это не вникаетъ и, раздосадованный обыкновенно конвульсивными движеніями наказываемаго въ припадкахъ жгучей боли въ оконечности позвоночного столба, начинаетъ какъ попало надавливать на голову и плечи, сжимая, какъ въ клемцахъ, верхнюю часть туловища. Гигиеническая кушетка, оставляя свободными шею, грудь и голову, мѣшаетъ въ то же время движеніямъ средней части тѣла, которую оставляетъ въ полное распоряженіе экзекутора почти неподвижною. Въ экономическомъ отношеніи она избавляетъ заведенія и пансіоны отъ содержанія лишнихъ двухъ человѣкъ прислуги для держанія. Имѣя эту скамью-кушетку, сторожъ каждого училища можетъ служить дѣлу.

Удобства также заключаются и въ томъ, что голова наказываемаго закрыта, а то иногда страдальческое и умоляющее выраженіе лица мальчика подкупаетъ сѣкущаго и онъ невольно облегчаетъ удары и боль, что со стороны правдивой педагогики совсѣмъ нежелательно — напротивъ, наказаніе должно быть соединено съ болѣзняеннымъ и продолжительнымъ страданіемъ безъ малѣшаго послабленія и вниманія къ стонамъ и крикамъ, какъ единственная педагогическая.

#### Цѣны гигиеническихъ кушетокъ:

|  |            |
|--|------------|
| Ясеневаго дерева, раздвижная, годящаяся<br>для всякаго возраста съ шалнерами и вин-<br>тами изъ никеля и всѣхъ металлическихъ<br>частей работы Фрелиха . . . . . | 50 р. — к. |
| Нераздвижная для младшаго возраста . . . . .   | 30 » — »   |
| » » старшаго » . . . . .   | 40 » — »   |
| Для употребленія въ семействахъ, смотря<br>по отдѣлкѣ, въ ненужное время могутъ за-<br>мѣнить шкапы и столы отъ . . . . .  | 25 » — »   |
| Простая для народныхъ училищъ и т. п. . . . .  | 20 » — »   |

Вотъ сколь несправедливы тѣ, которые ропщутъ, что у насъ «дѣла» нѣтъ. Помилуйте! Однѣ гигіеническія кушетки захватываютъ цѣлую массу заинтересованныхъ личностей. Родители, опекуны, попечители, всѣхъ сортовъ воспитатели и воспитательницы, члены общества губернантокъ, педагоги и педагогички, директора, инспекторы, ревизоры и наконецъ сами сѣкуторы, или экзекуторы, какъ ихъ вѣжливо величаетъ объявленіе. Ежели всѣ-то какъ слѣдуетъ поймутъ святость лежащихъ на нихъ обязанностей, тутъ такая уйма «дѣла» найдется, что даже червь неусыпающій — и тотъ придетъ въ отчаяніе. Одни — укладываютъ пациента на кушетку и прилаживаютъ ящики; другіе — воздѣйствуютъ на «среднюю часть тѣла»; третыи — присутствуютъ при воздѣйствіи и приговариваются: «шибче!»; четвертые инспектируютъ самое орудіе гигіиены, все ли въ исправности и не представляется ли возможности для поблажки. Словомъ сказать, хлопотъ полонъ ротъ.

Вѣдь если у насъ идетъ плохо воспитаніе дѣтей, то именно потому, что не серьезно сложены относящіяся къ тому орудія. Иной родитель или воспитатель и радъ бы сѣть, да, кромѣ розогъ, всѣ прочія приспособленія находятся въ такомъ младенческомъ состояніи, что смотрѣть болѣво. Начать хоть бы съ того: какъ приступить къ дѣлу? Ежели ущемить ребенка между колѣнами, то онъ будетъ биться, не предоставить родителю «въ полное распоряженіе средней части тѣла». Ежели позвать на помощь служителей, то, во-первыхъ, не у каждого родителя таковые обрѣтаются, а во-вторыхъ, служители имѣютъ обычай «мучительнымъ образомъ притискивать голову наказываемаго». А многихъ, кромѣ того, «подкупаетъ страдальческое и умоляющее выраженіе лица наказываемаго». Повозится-повозится родитель, два-три раза хлеснетъ лозой наудачу (ахъ, да и рубашонку-то Богъ знаетъ какъ подняли) и бросить: пускай родное дѣтище погибаетъ!

Тогда какъ, съ введеніемъ гигіеническихъ кушетокъ, все разомъ явится къ услугамъ, слаженное, соображенное, очищенное отъ всякихъ случайностей и даже отъ страдальческаго выраженія лица: бери въ руки розги и сѣки. Сѣкишибче, сѣки не смущаясь, ибо все то добро, все то на пользу. Смѣло пиши всяко лыко въ строку, ибо корни сѣченія горьки, но плоды его сладки. И знай, что, прибѣгая къ гигіенической кушеткѣ, ты не токмо дѣтищу своему счастіе въ будущемъ уготоваешь, но и для самого себя

создаешь «дѣло», вполнѣ по обстоятельствамъ достаточное.

Объявленіе украшено картинками. Изображена очень красавая кушетка, и ящики нарисованы въ такомъ видѣ, какъ въ моментъ сѣченія ихъ подобаетъ приладить. Только «средней части тѣла» не изображено,—ну, да вѣдь и воображенію почтеннѣйшей публики что-нибудь надо оставить. И дешево. Обыкновенная, «для употребленія въ семействахъ», кушетка стѣть всего 25 рублей, да притомъ еще можетъ «въ ненужное время» замѣнять шкапы и столы—обѣдать можно. А для народныхъ училищъ и всего-то двадцать рублей за штуку. То-то народное образованіе процвѣтѣтъ!

Допустите, что населеніе Россіи простирается до 101.442.242 души («Русскій Календарь» за 1884 г.); предположите, что на это населеніе въ настоящее время, при совершенствѣ современныхъ сѣкуторскихъ средствъ, производится въ день по 500.000 сѣкуцій (по одному человѣку на каждыхъ 200 обывателей—право, немногого!), и что каждая сѣкуція (съ раздѣваніями, укладываніями и прочею церемоніей) длится не больше четверти часа,—окажется, что 500 тысячъ сѣкуцій ежедневно требуютъ 125 тысячъ рабочихъ часовъ. Принимая же въ разсчетъ, что рабочій день состоитъ изъ десяти часовъ, мы придемъ къ тому выводу, что двѣнадцать тысячъ пятьсотъ человѣкъ имѣютъ определенное «дѣло», которое не даетъ имъ досуга парить въ эмпиреяхъ и тѣмъ навлекать на себя подозрѣніе въ вольномысліи. Это теперь, при отсутствіи гигіеническихъ кушетокъ—что же будетъ, когда, съ введеніемъ кушетокъ, сѣченіе сдѣлается почти общедоступнымъ? Очевидно, что сообразно съ нимъ возрастѣтъ и охота къ сѣченію, а въ то же время утроится, учетверится—отчего не удесятерится?—и масса людей, занятыхъ определеннымъ дѣломъ, свободныхъ отъ пареній и ко всему равнодушныхъ, кроме той «средней части тѣла», которая оставляется «въ полное распоряженіе экзекутора почти неподвижно». Почему же однако «почти» неподвижно? почему не «вполнѣ»? Совершенствовать такъ совершенствовать. Или, быть—можетъ, въ дѣлѣ сѣченія вредны только впечатлѣнія, производимыя умоляющими выраженіемъ лица, а не тѣ, которымъ производятся непроизвольными движеніями «средней части тѣла»?

Но, право, я все-таки очень радъ, что кушетки эти изобрѣлъ Кунцъ, а не Ивановъ. Почему радъ—я и самъ

иснить не могу; но мнѣ кажется, что если-бъ это изъясненіе принадлежало Иванову, то каторги за него ему бѣ бы мало. А Кунцу—какъ разъ впору. Даже пріятно бѣ бы познакомиться. Herr Кунцъ! не угодно ли позаракать на той самой кушеткѣ (обращенной въ столъ), на которой только сейчасъ Иванова, за неплатежъ недоимокъ, дѣкли?

До еще больше я радъ тому, что изобрѣтеніе Кунца,мотря на осознательную пользу, какъ будто у насъ не явилось. По крайней мѣрѣ я лично ничего о кушеткахъ слыхалъ. Должно-быть, думалъ насъ удивить иѣмецъ, а взяли да еще больше его удивили: деремъ черезъ пень одну, какъ въ древности драли, и горюшка намъ мало, кое выраженіе имѣть лицо наказуемаго и въ какомъ правленіи движется «представляемая въ распоряженіе есть тѣла».

Замѣчательно, но въ то же время и совершенно естественно, что всякий разъ, какъ идетъ рѣчь о розгѣ, воспоминанія дѣтства такъ и встаютъ передъ глазами, словно живыя. Счастливое дѣтство!

Впрочемъ, я не припомню, чтобы лично я много страдалъ отъ розги; но свидѣтелемъ того, какъ терпѣла «средня часть тѣла» за дѣйствія и поступки, совсѣмъ не по иниціативѣ содѣянные, бывалъ неоднократно. Публичное воспитаніе я началъ въ Москвѣ, въ спеціально-двинскомъ заведеніи, задача которого состояла преимущественно въ подготовлении «питомцевъ славы». Заведеніе, прочемъ, имѣло хорошія традиціи и пользовалось отличной репутацией. Во главѣ его почти всегда стояли ежели не тличнѣйшіе педагоги, то люди, обладавшіе здравымъ смысломъ и человѣчностью. Въ первый годъ моего пребыванія въ заведеніи директоромъ его былъ старый морякъ, С. Я. У., которому, я увѣренъ, ни одинъ изъ бывшихъ воспитанниковъ не вспомнить иначе, какъ съ уваженіемъ и любовью. О сѣченіи у насъ не было слышно, хотя оно несомнѣнно практиковалось, какъ и вездѣ въ то время. Но, во-первыхъ, практиковалось только въ крайнихъ случаяхъ и, во-вторыхъ, келейно, не задаваясь при этомъ ни теоріей устрашенія, ни теоріей правды и справедливости, якобы виновѣщей объ отмщенніи именно на той части тѣла, которую г. Кунцъ именуетъ «среднею». Присутствовалъ ли при этихъ экзекуціяхъ лично самъ директоръ — не знаю; но

увѣренъ, что ежели и присутствовалъ, то не для того, чтобы кричать: «шибче-сь!» а для того, чтобы своевременно скомандовать: «довольно-сь!»

Черезъ годъ старый директоръ, однако, вынужденъ быть удалиться. На его мѣсто быть назначенъ бывшій инспекторъ, добрый человѣкъ, но не самостоятельный, а въ качествѣ инспектора явился молодой человѣкъ, до тонкости изучившій вопросъ о роли, которую должна играть «средняя часть тѣла» въ дѣлѣ воспитанія юношества. Этотъ молодой человѣкъ почему-то вообразилъ себѣ, что заведеніе, отданное ему въ жертву, представляетъ собой авгіевы ко-юношни, которыхъ ему предстоитъ вычистить, и, разъ задались этой мыслью, начерталъ для ея выполненія соответствующую программу.

Программа эта немногимъ отличалась отъ всѣхъ вообще воспитательныхъ программъ того времени и резюмировалась въ одномъ словѣ: сѣчь. Но у нея была язвительная особенность, заключавшаяся въ томъ, что она выводила сѣченіе изъ его изолированности и дѣлала его нагляднымъ (*à la portée de tout le monde*). Каждую субботу, *по выходѣ отъ всенощной*, воспитанники выстраивались по обѣ стороны рекреационной залы и въ глубокомъ молчаніи ожидали появленія инспектора. Многіе припоминали совершенные за недѣлю грѣхи, шептали молитвы и крестились; напротивъ того, воспитанники «травленые» (въ заведеніи образовался особый контингентъ, какъ бы сословіе, для котораго «субботники» вошли почти въ обычай) держали себя довольно развязно и интересовались только тѣмъ, которому изъ двоихъ урядниковъ въ данномъ случаѣ будеть поручена экзекуція. Ежели дежурнымъ оказывался урядникъ Кочуринъ, то смотрѣли въ глаза будущему съ довѣріемъ; ежели же дежурнымъ былъ урядникъ Купцовъ, то даже самые храбрые задумывались. Кочуринъ былъ солдатъ добрый и сѣкъ болѣно, но безъ вычуръ; Купцовъ сѣкъ и въ то же время какъ бы метиль сѣкомому. По срединѣ залы между тѣмъ стояла простая, совершенно не гигиеническая скамейка, около которой ожидали: дежурный сѣкторъ и двое дядекъ, обязанныхъ держать наказываемаго за плечи и за ноги.

Наконецъ онъ появлялся въ глубинѣ залы. Прямой, какъ аршинъ, съ нестибающимися колѣнами и съ заложенными за спину руками, онъ медленнымъ шагомъ подходилъ къ скамьѣ и безстрѣстнымъ голосомъ выкрикивалъ по списку

чена жертвъ (списокъ хранился въ секретѣ до самаго са экзекуціи), приговаривая: «за лѣнность, за дерзость, буйство, за воровство!» Вызывалось обыкновенно отъ 8—10 человѣкъ, но почти каждую субботу слышались однѣ тѣ же фамиліи, и «постороннихъ» бывало немного. Число зозогъ опредѣлялось отъ пяти до шестидесяти (за самыя лжкія вины, въ родѣ искалеченія, воровства, повтореннаго пьянства и т. д.). «Травленные» выступали твердо, ами спускали съ себя штаны и сами ложились, при чёмъ некоторые доводили ухарство до того, что просили: «разбѣшите, господинъ инспекторъ, чтобы меня не держали!» Но все-таки, ложась на скамью, инстинктивно крестились. Напротивъ, «посторонніе» стонали и упирались, такъ что инспекторъ вынуждался напомнить: «хуже будетъ, господинъ такой-то, ежели я прикажу привести васъ силой!» Затѣмъ дядьки овладѣвали плечами и ногами пациента, сѣкторъ прицѣливался, и розги выполняли свое воспитательное назначение. Раздавались пронзительные крики, но выискивались и такие воспитанники, которые, закусивъ нижнюю губу до крови, не испускали ни звука. Послѣднихъ называли «молодцами».

Такъ длился цѣлый годъ, послѣ чего я оставилъ заведеніе и свѣдѣній о дальнѣйшей судьбѣ субботниковъ уже не имѣю.

Не знаю также, что стало съ изобрѣтателемъ субботниковъ; но увѣренъ, что ежели онъ еще не пересталъ быть дѣятельнымъ членомъ общества, то навѣрно принадлежитъ къ контингенту тѣхъ, которые настойчиво требуютъ перехода отъ фразы къ дѣлу. Оно, впрочемъ, и естественно: кто съ младыхъ ногтей вращался въ сфере «дѣла», тому сфера «фразы» должна быть тяжела и противна.

Но вотъ вопросъ: не присутствовалъ ли, хоть невидимкою, педагогъ Кунцъ при нашихъ «субботникахъ»? И не тогда ли созрѣла въ немъ идея гигіеническихъ кушетокъ? Ибо, въ сущности, и субботники, и кушетки имѣли одну общую цѣль: сдѣлать сѣченіе общедоступнымъ (*à la portée de tout le monde*).

Съ окончаніемъ масленицы, прекратился и сезонъ зимнихъ угѣхъ. Многіе опасались, что промышленность опять упадеть, но опасенія оказались преувеличенными. Торговцы шелковыми и галантерейными товарами дѣйствительно пріуныли, но барыши истекшаго сезона помогутъ

имъ бодро перенести печальные дни великаго поста. Больше всѣхъ, впрочемъ, пострадаетъ Вортъ изъ Парижа (см. газетныя описанія баловъ) да берлинскіе псевдо-Ворты; но съ точки зрѣнія народной гордости это, пожалуй, и не дурно! Пускай иностранные зазнайки почувствуютъ, что вся ихъ торговля находится въ рукахъ русскихъ женъ и девъ! Но зато несомнѣнно процвѣла торговля грибами и моченою морошкой. Радуйся, Кола! ликуй, Судиславъ! А на Пасху грибамъ и морошкѣ скажемъ шабашъ, а на ихъ мѣстѣ процвѣтѣть торговля яйцами, куличами, молочнымъ товаромъ, ветчиной. И такимъ порядкомъ пойдетъ круглый годъ.

Вотъ какъ у насъ просто дѣлается. Тайный совсѣтникъ щи со свѣтками єсть—смотришь, кто-нибудь и процвѣль; супруга его съ кузеномъ на тройкѣ на Острова поѣхала—опять кто-нибудь процвѣль; лакей его барскіе сапоги ваксой чиститъ—и еще кто-нибудь процвѣль! И непремѣнно процвѣль меныши братъ, а старшій братъ только жуетъ да на тройкахъ катается.

При крѣпостномъ правѣ русская интеллигентія строго соблюдала посты, въ особенности великий и успенскій. Многіе даже раковъ и устрицъ не єли, не зная, какъ ихъ счастье, скромными или постными. Соблюдали посты, пра-вящіе классы и сами очищали души отъ грѣховныхъ по-мысловъ, и подавали примѣръ воздержанія менышей бра-тий. Дни поста бывали днями тишины и успокенія, и контрастъ между послѣднимъ, безумнымъ днемъ масленицы и чистымъ понедѣльникомъ даже въ столицахъ былъ пора-зителенъ. Сильные міра смирялись и изобрѣтали грибные соусы; меньшая братія довольствовалась толокномъ, но въ то же время, подъ вліяніемъ общаго молитвеннаго настро-енія, чувствовала приливъ какихъ-то надеждъ.

Съ упраздненіемъ крѣпостного права, соблюденіе постовъ—да и то самыхъ кратковременныхъ—стало удѣломъ преимущественно женскаго пола; что же касается до интеллигент-ныхъ мужчинъ, то они предпочитали отдѣльваться по этому поводу парадоксами. Примѣръ подавать стало некому, а вопросъ о спасеніи души былъ до того затмненъ и запу-таинъ безпрерывными реформами, что даже изъ числа дѣй-ствительныхъ статскихъ совсѣтниковъ многіе сомнѣвались, есть ли у нихъ душа или нѣтъ. При такомъ настроеніи общества постъ сдѣлался какъ бы продолженіемъ масле-ницы, съ тою лишь разницей, что блины замѣнялись ро-

этомъ на устарѣлость предразсудковъ, мѣшающихъ пользоваться жизнью «по-человѣчески». Грибы осиротѣли; мороженка плѣсневѣла и выкидывалась; бѣлозерскіе снѣтки совсѣмъ исчезли съ рынка. Цѣлыя мѣстности, которыхъ процвѣтаніе было тѣсно связано съ процвѣтаніемъ постовъ, видали себя обездоленными.

Теперь смута устранина. Посты воспріяли прежнее до-реформенное дѣйствіе, и тѣ же самые дѣйствительные статские совѣтники, которые не могли утвердительно отвѣтить за вопросъ, есть ли у нихъ душа, — нынѣ положительно, гвердо и ясно восклицаютъ:

Ты правъ, Плутонъ, ты правъ! нашъ духъ не умираетъ!  
Самъ Богъ, живущій въ насъ, въ сей правдѣ увѣряетъ!

Я лично знаю тайного совѣтника, который въ теченіе всей первой недѣли поста говорилъ по-славянски, какъ бы опасаясь оскоромиться русскимъ языкомъ. А другой тайный совѣтникъ даже совсѣмъ отъ дара слова отказался и проводилъ время въ томъ, что молча созерцалъ свой пупокъ. Но это, по-моему, ужъ ригоризмъ.

Въ согласность съ этимъ новымъ вѣяніемъ и движение на улицахъ въ чистый понедѣльникъ значительно сократилось сравнительно съ реформеннымъ временемъ. Оживленіе замѣчалось только около бань и вблизи большихъ чиновническихъ центровъ. Давно такъ бойко не торговали банщики, и никогда такъ исправно не посѣщали чиновники своихъ департаментовъ, никогда такъ свято не хранили канцелярской тайны. Придутъ ранѣхонько, возьмутся за перья, сдѣлаютъ свое дѣло, и затѣмъ — молчокъ. Слышино только, что плодомъ этой великопостной ретивости ожидается великое множество отрезвительныхъ проектовъ. Проекты эти къ будущему великому посту будутъ переписаны на-бѣло, а постомъ 1886 года ихъ положать подъ сукно. *Suum спіце*, или: вѣть худа безъ добра. Но, какъ подспорье къ грибамъ, эти проекты неоцѣнимы; они оживляютъ умъ и утверждаютъ въ публикѣ убѣжденіе, что страна, въ которой съ такою легкостью принимаются всевозможныя оздоровленія, не оскудѣтъ.

Не только о раутахъ, но даже о простыхъ вечеринкахъ не было слышно въ теченіе цѣлыхъ шести дней, такъ что и измѣцы отпраздновали свою масленицу келейно, безъ публичныхъ озательствъ. Рѣдко-рѣдко въ какомъ окнѣ мелькнетъ огонь, да и то скромный, трепещущій, при свѣтѣ котораго ничего другого и дѣлать нельзя, какъ сосредо-

точенно смотрѣть себѣ на пупокъ. Сквернословіе, столь обычное на улицахъ въ скромные дни, уступило мѣсто скромнымъ и солиднымъ афоризмамъ, въ родѣ: «всякъ сверчокъ знай свой шестокъ» и т. д. Московскіе куранты цѣлыхъ два дня сряду появлялись въ Петербургѣ безъ передовой диффамаціи.

Однако со второй недѣли уже ощущается довольно замѣтное оживленіе. Освѣщенныя окна попадаются столь же часто, какъ въ сезонные дни, бани пустѣютъ, портерный наполняются; выраженія: катанье на тройкахъ, раутъ, декольтѣ—слышатся чаще и чаще. Сквернословіе вступаетъ въ свои права; куранты свирѣпѣютъ.

Раутъ—это самая скучная изъ всѣхъ формъ общежитія, участники которой думаютъ только о томъ, какъ бы отъ нея улизнуть. Люди собираются пестрые и подозрительные; разговоры ведутся шаблонные, неискренніе; пересказываются новости дня, которые всѣми выслушиваются съ удовольствіемъ или негодованіемъ (смотря по содержанію новости), но никто ни въ это удовольствіе, ни въ это негодованіе не вѣрить; старики изрекаютъ приличные обстоятельствамъ афоризмы и стараются проникнуть въ намѣренія Бисмарка; младшіе почтительно съ ними соглашаются, но внутренно думаютъ: да, братъ, порядкомъ-таки ты отъ старости ошалѣлъ! Разносятъ чай, прохладительныя; устроено нѣсколько буфетовъ; тамъ и сямъ разложены карточные столы; но никто ни къ чему не прикасается, точно боятся, что это можетъ задержать лишнюю минуту. Рѣдко кто даже садится, потому что всякому думается, что на ходу ловчѣ можно улетучиться. А хозяева стѣснены больше всѣхъ. Они стоя принимаютъ безпрерывно появляющихся гостей и съ тоскою взглядываютъ на входную дверь, откуда долженъ показаться тотъ «полезный человѣкъ», ради котораго затѣяна вся эта исторія. Но «онъ» не появляется, ибо знаетъ себѣ цѣну, а вмѣсто него дефилируютъ сотни неполезныхъ и неинтересныхъ людей. Словомъ сказать, всюду царствуетъ дѣланное оживленіе, дѣланый говоръ, дѣланыя поученія, дѣланое гостепріимство, дѣланая почтительность... И вдругъ среди этой щемящей скуки и безцѣльной сутолоки появляется... декольтѣ! Но такое блестящее, ослѣпительное, съ такимъ изумительнымъ вырѣзомъ на спинѣ, что у тайныхъ совсѣмъ мгновенно спирается въ зобу дыханіе. Смотрите: вотъ еле дышащий старецъ, который за минуту передъ тѣмъ мечталъ, какъ было

ы хорошо намазаться на ночь оподельдокомъ, надѣть на голову бѣлый колпакъ и залечь съ Матреной Ивановной пать. Онъ уже заносить ногу, чтобы привести этотъ проектъ въ исполненіе, онъ уже приближается къ лѣстницѣ

мысленно видитъ себя въ шубѣ и тепломъ каргузѣ—акъ вдругъ останавливается, какъ вкопанный, и начинаетъ ихать. А ослѣпительное декольтѣ торжествующе смотрить на это сонмище тщетно усиливающихся проникнуть намѣренія Бисмарка мудрецовъ и всѣми своими вырѣзами бросаетъ имъ въ лицо: ага! вы думали, что наступилъ великій постъ?—такъ вотъ же вамъ... масленица!

Но повторю: рауты сами по себѣ такъ безмѣрно скучны, что даже наиболѣе возбуждающія декольтѣ могутъ сообщить имъ лишь скоропреходящее оживленіе. Посѣщаются ихъ по преимуществу старцы, которые уже наяву сны видятъ, да подростки лѣтъ этакъ пятидесяти, изъ которыхъ одни уже овладѣли «дѣломъ», а другіе сгораютъ нетерпѣніемъ засвидѣтельствовать о готовности перейти отъ фразы къ дѣлу. Для подобныхъ засвидѣтельствованій раутъ самая подходящая арена; но и тутъ все зависитъ отъ того, успѣеть ли жаждущій подростокъ попасть въ районъ зрѣнія подростка полезного, или не успѣеть. И никакое искусство, никакіе подходы не принесутъ пользы, если не придется на помощь удача. Иной и очень старается, а его или другіе чающіе ототрутъ, или же самъ полезный подростокъ такъ помѣстится, что не видить своего обожателя да и шабашъ. Другой, напротивъ, не успѣль войти, какъ уже сорвалъ банкъ. Смотришь, черезъ четверть часа онъ уже ходить съ полезнымъ подросткомъ подъ руку, а прочие передъ ними разступаются и фдятъ ихъ глазами. Это интимное хожденіе служить поводомъ для безконечныхъ комментаріевъ. Стараются угадать его смыслъ и опредѣлить результаты въ будущемъ. А наиболѣе прозорливые прямо прорицаютъ: «теперь только держись!» Ежели у счастливца-подростка имѣется, кромѣ того, въ запасѣ программа, то комментаторы заранѣе пріискиваютъ компромиссы и соглашенія. Ежели нѣть программы или есть маленькая—чего изволите?—то комментаторы говорятъ: «во всякомъ случаѣ, хуже не будетъ». И вдругъ, подъ шумокъ этого переполоха, оба подростка дѣлаются внезапное фланговое движение, врѣзываются въ толпу и исчезаютъ въ ней. Туда-сюда—растаяли! Куда они направили бѣгъ свой? чѣдѣ знаменуетъ это внезапное исчезновеніе? какими новыми

загадками разрѣшится завтрашній день? Опять комментаріи, комментаріи безъ конца...

Какъ бы то ни было, но положеніе чающихъ подростковъ совсѣмъ незавидное. Удача достается въ удѣль немногимъ, а большинство толчется на одномъ мѣстѣ, ведеть пустонорожніе разговоры и агонизируетъ. Поэтому некоторые мудрецы предпочитаютъ дѣйствовать посредствомъ своихъ женъ, ежели послѣднія обладаютъ исправнымъ дѣкольтѣ. Такого рода мудрецовъ называютъ дипломатами, и усилия ихъ нерѣдко даютъ хорошіе плоды. Но, по моему мнѣнію, это ужъ подлость.

Гораздо интереснѣе и веселѣе проводится время на простыхъ интимныхъ вечеринкахъ, которыхъ въ нынѣшнемъ посту особенно много. Здѣсь на первомъ планѣ фигурируетъ молодежь, та особыливая нынѣшняя молодежь, которая не страстью рѣчей и тѣлодвиженій, а солиднымъ образомъ мыслей и скромнымъ поведеніемъ имѣетъ заслужить и довѣріе дѣвъ, и мимолетную ласку женъ, и покровительство мужей и отцовъ. Въ этой молодой средѣ стремленіе къ «дѣлу» и забота объ его осуществленіи являются нынѣ преобладающимъ элементомъ. Чаще всего подъ словомъ «дѣло» здѣсь разумѣется карьера, но карьера, приобрѣтаемая не въ видахъ удовлетворенія эфемернаго честолюбія, а въ видахъ достижениія опредѣленныхъ общественныхъ идеаловъ. Нынче рѣдко можно встрѣтить людей, подобныхъ Кротикову и Козелкову, которые еще такъ недавно мечтали о губернаторскихъ и иныхъ мѣстахъ единственно ради цѣлей любонаchalія, осложненного любострастиемъ. Нынѣшніе молодые люди на первомъ планѣ ставятъ общую пользу, а потомъ уже—если время позволяетъ—преслѣдуютъ и любовныя подспорья, помогающія неизнемочь подъ бременемъ служебнаго подвига. Подвигъ этотъ не легкій, хотя и не имѣющій реальнаго, обязательнаго содержанія. Дѣло, предстоящее этимъ людямъ, не въ томъ заключается, чтобы самимъ дѣло дѣлать, а въ томъ, чтобы заставить дѣлать дѣло другихъ и, въ случаѣ нужды, облегчить переходъ отъ фразы къ дѣлу. А средства для выполненія этой программы общеизвѣстны. Это съ одной стороны неуклонность, а съ другой — строгость. И наоборотъ.

— У меня, дяденька, не зазѣваются! — говорилъ мнѣ на-дняхъ одинъ изъ моихъ племянниковъ, молодой человѣкъ, на котораго можно вполиѣ положиться. И, говоря это,

» отлично понималъ, что, имѣя въ запасѣ такое испытанное средство, какъ строгость, можно всего достигнуть: изобилія, и оживленія промышленности, и хорошаго денежаго рынка, и элеваторовъ, и транзитовъ, словомъ, его, чтѣ смущаетъ воображеніе современныхъ отошавшихъ азнослововъ.

Самую излюбленную принадлежность такихъ интимныхъ черовъ представляютъ такъ-называемые спиритические ансы. Наше интеллигентное общество всегда было склонно волшебствамъ, но нынѣшнія спиритическая радѣнія имѣютъ совсѣмъ отличный характеръ отъ прежнихъ. Прежде молодые люди по преимуществу вызывали усопшихъ дамъ изъ древнихъ — Семирамиду, Клеопатру, Агриппину, Месалину; изъ позднѣйшихъ — Монтеспаншу, Ментеноншу, Бомпадуршу и др. Разумѣется, происходилъ и граваго свойства союзіи, отъ котораго молодыя адептки спиритизма лѣли, но не гнѣвались, и который адепты сопровождали болѣе игривыми комментаріями. Нынче усопшихъ дамъ представляютъ въ покой, а вместо нихъ вызываютъ лицъ, оказавшихъ услуги благоустройству и благочинію. Напримеръ: Шешковскаго, фонъ-Фока, Булгарина. Но должно сознаться, что отъ времени до времени тутъ не обходится безъ печальныхъ недоразумѣній.

Вызываютъ, напримѣръ, однажды Шешковскаго и предлагають ему вопросы. Старикъ, конечно, очень радъ посодѣйствовать, хотя, изъ кокетства, и жалуется на ревматизмъ.

— Всего больше,—говорить онъ:—надо избѣгать путаницы. Затѣявши предпріятіе, необходимо зрею обдумать оное, не обращая вниманія на подстрекательства темперамента и въ особенности не дозволяя себѣ несвоевременной болтовни. Языкъ мой — врагъ мой, говорилъ я себѣ всякий разъ, когда собирался въ походъ, и никогда не раскаивался въ томъ, что содержалъ эту пословицу въ памяти. То же самое нужно сказать и относительно самого выполненія предпріятій. Никогда не слѣдуетъ спѣшить и суетиться, ибо, спѣша и волнуясь, мы девяносто девять разъ изъ ста рискуемъ попасть пальцемъ въ небо. Конечно, юридическая ошибка сама по себѣ не представляетъ важности, но часто она увлекаетъ насъ совсѣмъ не въ ту сторону, куда надо. Многое даже не безполезно предоставить времени. Ибо ежели мы дѣйствуемъ благоразумно и притомъ воспитательно, то и время, или, лучше сказать,

духъ онаго постепенно принимаетъ споспѣшствующій характеръ. По крайней мѣрѣ я всегда такъ поступалъ. Всякій разъ, какъ предпріятіе ставило меня втупикъ, я говорилъ себѣ: пускай лучше дѣло полежитъ! И никогда не раскаивался.

Высказавши это, Шешковскій вновь повторяетъ жалобы на ревматизмъ и улетаетъ.

— Какой у этого старика замѣчательный дѣловой смыслъ!—дивятся молодые люди.

— Да, былъ въ старые годы смыслъ, былъ смыслъ!—вздыхаетъ тайный совѣтникъ (изъ ропщущихъ), который, за простоту, допущенъ въ среду молодой компаніи.

— Какая отчетливость! какое глубокое знаніе споспѣшствующихъ свойствъ времени!

Но въ другой разъ съ тѣмъ же Шешковскимъ случилась цѣлая исторія. Зовутъ его, стучать—не идетъ, да и полно. «Ужъ не позвалъ ли его на партію въ ламушъ графъ Ушаковъ?»—догадываются нѣкоторые, какъ вдругъ появляется урядникъ Купцовъ (не тотъ, который въ тридцатыхъ годахъ стегаль «питомцевъ славы», а предокъ его, современникъ и сотрудникъ Шешковскаго) и докладываетъ, что Шешковскаго безплодно ждать, потому что душа у него была смертная и вмѣстѣ съ тѣломъ безъ остатка истлѣла...

Поднимается суматоха; дебатируется вопросъ: кто же являлся подъ именемъ Шешковскаго въ прошлый сеансъ? И что же открывается?—что въ прошлый сеансъ разговаривалъ чревовѣщатель, котораго любезный хозяинъ посадилъ въсосѣднюю комнату.

Въ сей крайности рѣшаются вызвать фонъ-Фока. Послѣдній является и отсырѣльнымъ голосомъ объявляетъ, что хотя душа у него и не вполнѣ смертная, но частица ея порядкомъ-таки попорчена...

— Однако какая жестокая будущность!—проводглашаетъ одинъ изъ присутствующихъ.

— Ежели, впрочемъ, и тутъ опять не замѣшался ван-трилокъ,—прибавляетъ другой.

Смотрѣть одновременно и подъ столомъ, и въсосѣднихъ комнатахъ—нѣть никого. Очевидно, на сей разъ являлся подлинный Купцовъ и подлинный фонъ-Фокъ. Остается послѣднее средство: послать за Булгариномъ. И точно: Булгаринъ является на первый же стукъ и сразу начинаетъ хрюкать:

— Призываетъ меня однажды Леонтий Васильичъ. Приижу — рветъ и мечеть. Увидѣлъ меня, вскочилъ, подбѣаль, забрызгалъ.—Бездѣльникъ!—«Слушаю, отецъ-командиръ!»—Ренегатъ!—«Рады стараться, отецъ-командиръ!»—жъ и на меня ябеды сочинять началъ?—«Виновать, гецъ-командиръ!»—Пошелъ вонъ, сатана!—«Кубаремъ, гецъ-командиръ!»

Водворяется молчаніе, во время которого однако слышится легкій шелестъ. То рѣтъ надъ собравшимися Буларинская душа.

- Продолжайте!—предлагаетъ одинъ изъ участниковъ.
- Только и всего.
- Ничего другого вы сказать не имѣете?
- Все въ этомъ родѣ.
- Но было же что-нибудь...
- Вся жизнь—въ этомъ родѣ.
- Однако!

— Ахъ, господа, господа! Посмотрю я на васъ: слышите вы звонъ и не знаете, откуда онъ! Да вѣдь это-то самое и нужно!

Съ этими словами душа Буларина улетаетъ во-свои, а въ комнатѣ распространяется легкій смрадъ. Большинство въ недоумѣніи оглядывается по сторонамъ, но у нѣкоторыхъ уже спадаетъ съ глазъ пелена.

— «Это-то самое и нужно»,—задумчиво повторяетъ одинъ изъ присутствующихъ (изъ молодыхъ да ранній) и прибавляетъ:—*le vieux cochon a raison... peut être!*

Возвѣщаютъ, что сервированъ ужинъ. Общество поднимается и въ сладкомъ сознаніи, что вечеръ проведенъ «дѣльно», слѣдуетъ въ столовую.

---

А въ заключеніе и петербургская городская дума нашла себѣ дѣло. Чествуетъ пріѣздъ въ «эдѣшнюю столицу» нѣмецкаго романиста Шпильгагена, а когда получатся окончательныя подробности насчетъ взятія французами Бак-Нина, то, конечно, будетъ чествовать и взятіе Бак-Нина. Вина въ погребахъ много; «уры» накопилось въ сердцахъ видимо-невидимо—надо же какъ-нибудь распорядиться и тѣмъ, и другимъ.

Что Шпильгагенъ очень талантливый писатель и въ шестидесятыхъ годахъ имѣлъ значительное вліяніе и на русскую литературу, и на русское общество—это безспорно; но дума-то петербургская тутъ при чемъ?

Шпильгагена чествуютъ, а вотъ про то, что въ Петербургѣ существуетъ общество для пособія русскимъ литераторамъ и ученымъ, которое на-дняхъ втихомолку праздновало свое двадцатипятилѣтіе, — никто знать не хочетъ. А, право, вѣдь это учрежденіе сотни Шпильгагеновъ стѣгть. Подумайте! оно одно поддерживаетъ (насколько можетъ) интересы пишущаго пролетаріата, одно, которое безъ ужимокъ признаетъ свою солидарность съ русскою литературой! Какихъ еще больше правъ на вниманіе общества!

Бѣдный русский литературный фондъ! Онъ всецѣло раздѣляетъ судьбы русской литературы. Подобно ей, онъ находится въ забвениі; подобно ей, влечитъ унылое и скучное существованіе. Коли хотите, это логично; но какъ-то горько мириться съ этой логикою. Все думается: куда было бы лучше, если-бъ благоденствовала литература и вмѣстѣ съ нею благоденствовалъ бы и литературный фондъ!

Въ русской литературѣ встрѣчаются имена, принадлежащія лицамъ вполнѣ обеспеченнымъ. Литература дала имъ все: и деньги, и славу, а вспомнили ли они о ней! Удѣлили ли они литературному русскому фонду что-нибудь, кромѣ жалкихъ крупицы? Многіе изъ нихъ такъ и сошли въ могилы, не вспомнивъ о своихъ бѣдствующихъ собратіяхъ по литературѣ.

А книгопродавцы? а тѣ, которые на костяхъ литературы создали свои болѣе или менѣе значительныя состоянія? Знаютъ ли они даже, что существуетъ русский литературный фондъ, который, приходя на помощь къ бѣдствующему литературному дѣятелю, косвенно содѣствуетъ созданію той самой «книжки», которая легла въ основаніе всѣхъ этихъ капиталовъ въ видѣ многоэтажныхъ домовъ, акцій и облигаций.

Право, лучше бросить (вѣдь у насъ иначе жертва и не понимается, какъ въ формѣ *бросанья*) деньги на поддержаніе русского литературного фонда, нежели на чествование Шпильгагена, какъ бы ни почтена была литературная дѣятельность послѣдняго. Подумайте объ этомъ, милостивые государи, и ежели вы полагаете, что встрѣча, устраиваемая вами Шпильгагену, есть въ своемъ родѣ оказательство въ смыслѣ сочувствія къ просвѣщенію, то поймите, что оказательство это выразится гораздо рѣшительнѣе, ежели оно явится въ формѣ сочувствія къ русскому литературному фонду.

## ГЛАВА IX.

Я съ величайшимъ любопытствомъ слѣжу за тою частью шей публистики, которая сама себѣ присвоила название «охранительной». Я знаю, что многіе ее не любятъ за продѣлки, и даже самъ вполнѣ раздѣляю эту нелюбовь. на недобросовѣстна, назойлива, недальновидна, всегда находится подъ гнетомъ темперамента и любить, въ угоду ту, солгать, подсидѣть, подтасовать, извратить самый еній фактъ. И при этомъ какъ-то безпardonно нагла, акъ что ни одной своей срамоты не скрываетъ: на, смотри! итать гадко. И все-таки надо читать, потому что это и юбопытно, и отчасти даже утѣшительно. Любопытно по-ому, что извины лукавой мысли, которая суетливо пѣится въ пустомъ пространствѣ, сами по себѣ представляютъ очень замѣчательное психологическое явленіе; утѣшительно потому, что всѣ усиливъ этой мысли настолько троникнуты легкомысліемъ, что, въ сущности, и обмануть никого не могутъ. Не умѣеть русская охранительная пресса пить свои диффамаціи иначе какъ бѣлыми нитками; не умѣеть прятать концы въ воду. Сегодня она пустить въ ходъ агитацию по какому-нибудь небезинтересному для нея дѣлу, будетъ ссылаться на ходатайства, постановленія, подписи и т. п., а завтра, натолкнувшись на другую, встрѣчную агитацию (тоже съ постановленіями, ходатайствами и подписями), станетъ утверждать, что агитациіи вообще ничего не доказываютъ, что онѣ скорѣе вредны, нежели полезны для дѣла. Даже лазейки для себя не будетъ пріискивать, а просто отопрется, солжетъ. И такъ какъ она каждый день повторяетъ эту исторію, каждый день только что не говорить: читатель! все, чтѣ я ни предполагаю, можно видѣть только во снѣ! — то понятно, что и самому простодушному профану наконецъ надоѣсть принимать сновидѣнія за дѣйствительность.

Я понимаю, что можетъ такой казусъ случиться, что, не имѣя за душой ничего, кромѣ праха, и оневолѣ приходится имъ однимъ торговаться; но вѣдь и съ прахомъ слѣдуетъ обходитья бережно. Прахъ такъ прахъ; но пускай же онъ будетъ одинъ и тотъ же всегда и вездѣ, ибо только тогда онъ сдѣлается владыкой міра. Отрицайте разумъ, прогрессъ, правду, человѣческое право на счастье — прекрасно. Называйте все это опасной утопіей, источни-

комъ заблужденій и потрясеній — еще того лучше. Утверждайте, что завтрашняго дня нѣтъ, что перспективъ не полагается, а есть только тѣ, что торчить подъ носомъ — и это хорошо. Но держитесь этихъ отрицаній твердо и не призывайте разума, человѣчности и проч. ни на помощь, ни въ свидѣтельство. Совсѣмъ не произносите этихъ словъ, такъ какъ вы выходите изъ принципа, который признаетъ ихъ праздными. Не пишите въ смыслѣ порицанія: такое-то дѣйствіе противно разуму; ибо, согласно вашей программѣ, это-то и есть дѣйствіе, достойное похвалы. Не угрожайте завтрашимъ днемъ, потому что вы разъ навсегда установили, что завтрашняго дня нѣтъ, а вместо него зіаетъ черная дыра, о которой вы и будете калъкать тогда, когда въ ней очутитесь. Проводите вашъ прахъ логично, а не пестрите его поправками, не перескакивайте легкомысленно отъ одного праха къ другому. Ибо ничто такъ не вредить возведенію праха въ принципъ, какъ его пестрота.

Вспомните, читатель, чтѣ вошлила охранительная публицистика года три тому назадъ по адресу такъ-называемой интеллигенціи. Всѣ кривды и беззаконія, какія только можно совмѣстить въ наиболѣе извращенной человѣческой личности, она, нимало не стѣсняясь, пріурочивала къ интеллигенціи. Пріурочивала, надрываясь, волнуясь и кипятясь, не считая даже нужнымъ прискывать какіе-нибудь аргументы. И не къ той интеллигенціи пріурочивала, которая умѣеть въ винть играть, которая устраиваетъ катанье на тройкахъ и пикники и въ этомъ усматриваетъ свое провиденціальное назначеніе, а именно къ той, которая руководится какими-либо умственными и нравственными интересами. Именно на эти-то интересы и указывалось, какъ на источникъ всякаго рода пагубы. Этого мало: она не ограничивалась платоническими воплями, но инсинуировала и практическое воздействиѣ. Столбцы охранительныхъ газетъ пріятно пестрились корреспонденціями простецовъ-обывателей, которые простодушио предлагали топить интеллигентовъ, дѣлать имъ встряски. И все это говорилось и предлагалось во имя здраваго смысла народа, во имя «исконныхъ русскихъ началъ». Любопытно бы знать: пуская въ обращеніе эти наивныя подстрекательства и ссылаясь на онъя какъ на документъ, спросилъ ли себя кто-либо изъ охранителей-публицистовъ: что же такое онъ самъ? Что онъ причисляетъ себя къ сонмищу интеллигентовъ — въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія; что онъ понимаетъ

Дво «интеллигентъ» не въ смыслѣ умѣнія играть въ нтъ—это тоже не требуетъ доказательствъ. Ибо какимъ прахомъ ни было наполнено его существо, какъ бы сло-интеллигентно ни вель онъ свое дѣло, все-таки это сло и по формѣ, и по существу свойственно только интеллигенціи. А слѣдовательно...

Вотъ до этого-то «слѣдовательно» никогда и не договариваются люди, которые называютъ себя охранителями, а бь сущности охраняютъ только прахъ. Многіе думаютъ, то они *не хотятъ* договориться, но я рѣшительно склоняюсь въ пользу выраженія: *не могутъ*. Въ минуты паники ни теряютъ и память, и способность дѣлать обобщенія; часто ли бывають такія минуты, когда бы они не находились подъ гнетомъ паники? Все пробуждается въ нихъ панику, все приводить ихъ въ изступленіе. Не только политическая смута, но и спокойное отправленіе правосудія, и дѣйствія акцізныхъ чиновниковъ, и дѣло Зографа, и дѣло Мельницкаго, и злеваторы, и направление желѣзныхъ дорогъ, и транзитъ. Бездѣ они видятъ не сущность дѣла и даже не обстановку его, а какой-то блуждающій огонь, за которымъ скрывается измѣна. И ради этого огня забываютъ все. И себя, и предметъ, на защиту котораго вышли, и примѣненія, и выводы, къ которымъ подаются подвѣдѣ ихъ вопли.

И все-таки повторяю: это фаталистическое свойство, въ силу котораго прахъ на каждомъ шагу изобличаетъ и побѣждаетъ самого себя, есть своего рода благо, которое необходимо принимать въ разсчетъ. Я знаю, что бойкія слова подкупаютъ, но знаю также, что, пущенные на вѣтеръ, утопленныя въ массѣ противорѣчій, они могутъ имѣть успѣхъ лишь минутный. Нельзя вѣрить публицисту, который никогда ни къ какому логическому выводу не приходитъ, который слоняется изъ угла въ уголъ, сегодня говорить *за*, а завтра *противъ*, не сознавая даже, что и въ томъ и въ другомъ случаѣ дѣло идетъ о предметахъ вполнѣ однородныхъ, хотя бы и обозначенныхъ различными рубриками. И дѣйствительно, ему рѣдко кто довѣряетъ, хотя, къ сожалѣнію, еще слишкомъ часто говорятъ: «вотъ вѣдь какое перо!»

По моему мнѣнію, это результатъ далеко не безнадежный. Потому что если-бъ прахъ проводилъ себя вполнѣ логично, какъ въ былыя времена, напримѣръ, въ Китаѣ, тогда нельзя было бы дышать. А теперь все-таки еще

можно, хотя проворство, съ которымъ глаголемые охранители отыскиваютъ прахи и играютъ ими, во всякомъ случаѣ дѣлаетъ роль очевидца и современника этихъ игръ довольно тяжелою.

Но продолжимъ наши воспоминанія. Посылая прямая и косвенные укоризны въ догонку интеллигентіи, которая и безъ того въ авантажѣ никогда не обрѣталась, охранители указывали на «здравый смыслъ» народа и въ немъ одномъ находили надежное убѣжище противъ подвоховъ растѣвающей цивилизациі. Въ народѣ, говорили они, сохранились во всей неприкосновенности исконныя русскія начала, которыхъ и помогутъ побѣдить умственную и нравственную смуту, угрожающую намъ окончательнымъ разложеніемъ. И такова, дескать, живоносная сила этихъ началь, что, разъ довѣрившись имъ, уже не представится надобности ни въ сложныхъ мѣронріятіяхъ, ни въ обременительныхъ затратахъ, которыхъ такія мѣронріятія неизбѣжно за собою ведутъ. Здравый смыслъ народа восторжествуетъ безъ всякой посторонней помощи. Все устроится само собой, мирно, но грозно, безъ притязаній на блескъ, но достаточно внушительно.

Казалось бы, чего лучше? Власть, довѣряющая здравому смыслу народа, и народъ, естественно, безъ предвзятой мысли, идущій навстрѣчу этому довѣрію! Отъ осуществленія такой перспективы, полагать нужно, и либералы не прочь. Никто не видитъ идеала въ антагонизмѣ для антагонизма; никто... кроме, быть-можетъ, охранителей, которые никогда не смотрѣли на народъ иначе, какъ на помѣху въ дѣлѣ благоустройства и благочинія. Но на этотъ разъ даже они говорятъ намъ: «да, въ довѣріи къ народнымъ массамъ—единственное наше спасеніе!» Стало-быть, и дѣйствительно уже неоткуда больше ждать помощи.

Но скѣто допускаетъ известную цѣль, тотъ, конечно, долженъ допустить и соответствующія этой цѣли средства. Кто возлагаетъ на народъ всѣ упованія, тотъ, хотя бы и притворно, обязывается рисовать его образъ чертами не только вполнѣ сочувственными, но даже съ примѣсью нѣкоторой идилліи. Народъ, моль, — это не какіе-нибудь рядские сорванцы, которые способны лишь на то, чтобы по сигналу: взы-взы! — набрасываться на всякаго встрѣчнаго, потому только, что онъ одѣтъ въ кургузку. Нѣтъ, это собраніе благомысленныхъ мужичковъ (чтѣ ни мужичокъ, то хоть сейчасъ въ бурмистры... если-бѣ крѣпостное право опять

родилось!), которые за десятымъ самоваромъ истово канкаютъ о мірской крестьянской правдѣ да о поровѣнкѣ, о томъ, какимъ образомъ съ мошной поступить—помалываютъ. Вотъ это какой народъ!

Нужды, моль, нѣтъ, что «благомысленные», между проимъ, и о поровѣнкѣ разговариваютъ — вѣдь это только здали страшило. Сегодня у нихъ поровѣнка въ ходу, а автра, «глядя по времю», и другіе разговоры найдутся. На то щука въ морѣ, чтобы карась не дремаль!»—чѣмъ то не разговоръ? Или: «не плачь, казавка, только сокъ выжму!» — хоть какому благомысленному не стыдно! Снатала поровѣнку въ ходъ пустить, потомъ «сокъ выжмемъ», а потомъ и опять, пожалуй, за поровѣнку примемся! А самовары между тѣмъ со стола не сходятъ. Пытъ себѣ благомысленные чашку за чашкой, въ усь не дуютъ, да мошну поглаживаютъ! Мы, моль, не горланы; не рядскіе сорванцы, не кулаки, не міроѣды, не захребетники — мы «благомысленные»! А ежели, моль, карась къ щукѣ въ хайло попадъ, такъ онъ самъ же и виновать: не зѣвай!

О, достолюбезныи дѣти природы! Какъ не довѣриться вамъ, коль скоро вы не только здравый смыслъ и русскія начала въ неприкосновенности сохранили, но при семъ и мошну изъ вида не упустили!

Вотъ въ какомъ видѣ слѣдовало бы консерваторамъ-публицистамъ живописать русскій народъ, если бы они могли вести свое дѣло послѣдовательно. Положимъ, что это вышелъ бы не заправскій народъ, а харчевня, наполненная идеическими міроѣдами; но вѣдь русская публика на этотъ счетъ невзыскательна: идеїлія, въ соединеніи съ поровѣнкой да съ мошною, и до сихъ поръ на нее безъ промаху дѣйствуетъ.

Да; это было бы съ ихъ стороны «очень ловкимъ шагомъ» (специальное выраженіе охранителей-публицистовъ, когда они хотятъ охарактеризовать какой-нибудь подвохъ) и сразу отбило бы у либераловъ хлѣбъ, на который они разсчитываютъ. Ротозѣи! они воображаютъ, что они одни секретомъ «разказовъ изъ народнаго быта» обладаютъ... Милости просимъ! Да мы, охранители, такую по этой части ахинею за пазухой держимъ, что въ носъ бросится... да! Мужички, милые! что вы такъ заробѣли-спрятались! Вы-зѣзайте, не бойтесь! Покажите, какія-такія въ вѣсъ русскія начала сидятъ? Какой-такой здравый смыслъ? Ахъ, хорошъ здравый смыслъ!

Истинно говорю, что либералы не только остались бы ни при чёмъ, но, можетъ-быть, и въ поминъ о нихъ ужъ давнымъ-давно не было бы!

Но охранители наши не могутъ быть послѣдовательны. Малодушные, всесфло угнетенные темпераментомъ, то не-обузданно-ликующіе, то съюзіе безсознательный страхъ, они бросаются на вѣтеръ слово и сейчасъ же забываютъ о немъ. Забываютъ, потому что въ данную минуту не видать въ немъ надобности; но ежели встрѣтить таковую, то и опять вспомнятъ. Увы! не понимаютъ они, что подогрѣтому слову цѣна уже грошъ...

Въ самомъ дѣлѣ, тотъ же самый темпераментъ, который только-что продиктовалъ имъ теорію обарщенія къ здравому смыслу народа, тутъ же, кряду, подсказываетъ и картины самаго несомнѣнаго отсутствія этого смысла. Тотъ народъ, который, за нѣсколько столбцовъ передъ тѣмъ, явился вмѣстилищемъ исконныхъ русскихъ началь, представляется теперь лишеннымъ всякаго нравственнаго инстинкта, почти безумнымъ. Прислушайтесь, напримѣръ, хоть къ такого рода фактамъ \*).

«Лѣса рубятся безнаказанно, на лугахъ — перекосы и потравы; съ полей воруютъ снопы съ каждымъ годомъ все сильнѣе и сильнѣе; поджигаютъ другъ друга; доходитъ дѣло до того, что начинаютъ отравлять скотину другъ у друга...»

Такъ повѣствуетъ охранитель-корреспондентъ изъ нижегородской деревни. Кто же все это дѣлаетъ? не интелигенты ли? Нѣтъ, это дѣлаетъ тотъ самый народъ, о здравомъ смыслѣ котораго, чуть ли не въ томъ же нумерѣ, охранитель-публицистъ начерталъ пространную и убѣдительную передовицу. Таковы понятія *этого* народа о собственности; а вотъ его понятія о справедливости:

«Ничего не подѣлаешь, некуда обратиться за помощью. Въ крестьянское общество? Но въ немъ чинить судь и расправу прошившаяся голь деревенская, которая и производить всѣ эти безобразія; степенный мужикъ давно уже потерялъ вѣсъ... хлопочеть только о томъ, чтобъ его оставили въ сторонѣ... Въ волостной судь? Но и тамъ сопьются съ виноватаго и пустятъ на всѣ четыре стороны... Къ мировому? Но выйдетъ еще хуже, оштрафуютъ на полтину, а конфузу тебѣ на рубль... Слѣдователь отвѣтить на твою

\* ) Факты эти или, лучше сказать, разсказъ о нихъ не вымышленъ мною, а заимствованъ въ подлинныхъ выраженіяхъ изъ одной охранительной газеты, которую, впрочемъ, я неижу надобности называть.

алобу, что ясныхъ уликъ нѣтъ... И деревенская вольница прекрасно понимаетъ силу своей безнаказанности и ееязвимости... Она такъ набаловалась тѣмъ, что все сходить ей съ рукъ, что, не стѣсняясь, говорить старшинѣ а сходѣ: развѣ ты не понимаешь, что ионѣ вся сила въ асы! дѣлай намъ въ угоду: насъ, братъ, много! Вдумай-есь въ эти слова: вольница, объединяемая, поддерживающая и просвѣщаемая кабакомъ, поняла, что съ нею за-игрываютъ, за нею ухаживаютъ, и подняла голову».

Таковы понятія «народа» о справедливости. Вотъ такъ подоплѣка! Но отношенія его къ собственному самоуправлѣнію едва ли еще не любопытнѣ.

«Вотъ, напримѣръ, деревня выбираетъ старосту. Выборъ падаетъ на мужичонка-воришку, который, къ тому же, и деревенскій живодеръ, и пастухъ крестьянскаго стада, словомъ, послѣдній человѣкъ... Черезъ полгода—начетъ въ 60 рублей, удаленіе отъ должности и новый выборъ—на этотъ разъ горькаго пьяницы. Чѣмъ же объясняются эти изумительные выборы? А вотъ чѣмъ. «Ионѣ страху стало мало. Въ начальство идти путному человѣку—только казниться; ты съ него подать собирать, а онъ посмѣвается: ничего, говорить, за міръ посидишь. Правовъ не стало».

Такъ самоуправляются эти представители здраваго смысла. И замѣтьте объясненіе: «страху нѣть»! Страхъ—это альфа и омега нашихъ охранителей-публицистовъ. Будь страхъ—и все пойдетъ хорошо. Но вотъ, въ заключеніе, и самый здравый смыслъ налицо. Слушайте. «Лѣтомъ, среди горячей дѣловой поры, міръ постановляетъ: праздновать три-четыре дня подъ-рядъ. Въ первый день сходить въ церковь, а потомъ начинаютъ гулять. Вѣтеръ выхлестываетъ спѣлую рожь, и заботливый хозяинъ съ грустью смотрить на свою трудовую ниву, но взять серпъ въ руки не смѣеть: за нимъ зорко слѣдятъ десятки глазъ и только ждутъ, чтобы содрать четверть водки за нарушеніе мірского приговора. Вотъ другое дѣло «помочь»—тамъ за вино работать можно. Кулакъ, разумѣется, и пользуется этимъ; весело потираетъ руки и другъ его, кабатчикъ...»

Итакъ, вотъ каковъ этотъ народъ, который, въ случаѣ нужды, прославляютъ, какъ носителя русскаго смысла и исконныхъ русскихъ началь, и который, по минованіи надобности, топчутъ въ грязь! Съ одной стороны—единственное убѣжище, оплотъ, купель силоамская, съ другой—

обезумѣвшая отъ водки толпа, сборище воровъ, поджигателей, отравителей, не могущихъ управлять своими дѣствіями, не имѣющихъ ни малѣшаго понятія о правдѣ, не понимающихъ даже той простой истины, что безъ пищи нельзя существовать. И все это рядомъ, черезъ нѣсколько столбцовъ, въ одной и той же охранительной газетѣ. Правда, въ послѣднемъ случаѣ народъ не называется народомъ, а говорится о какой-то вольницѣ; но вѣдь это только шутливая кличка, которая позволяетъ подойти къ предмету вольнымъ аллюромъ. Въ сущности эта вольница и есть именно «народъ»; это та самая масса, которая знаетъ, что «нонѣ вся сила въ нась», за которую ухаживаются, съ которою заигрываютъ...

Кто ухаживаетъ? кто заигрываетъ?—положительно не кто иной, какъ тѣ самые, которые и вкрадь, и вкось имѣютъ себѣ охранителями. Ибо невозможно себѣ представить, чтобы, надѣляя народъ «здравымъ смысломъ», они разумѣли только «степенныхъ» да «путныхъ». Во-первыхъ, потому, что если даже прибавить къ этимъ «путнымъ» кулаковъ и кабатчиковъ, то и тогда ихъ будетъ черезчуръ мало, чтобы фигурировать въ качествѣ народа; а во-вторыхъ, и потому, что эти «степенные», по наивному сознанію самихъ охранителей, хлопочутъ только о томъ, чтобы ихъ оставили въ покой. Какая же корысть обращаться къ здравому смыслу такихъ людей? Вѣдь онъ давно уже превратился у нихъ въ трусливое вожделѣніе покоя, которое, впрочемъ, никако не препятствуетъ имъ разыгрывать въ своемъ мѣстѣ роль благомысленныхъ сельчанъ.

Нѣтъ, какъ хотите, а все это именно бредъ, ничего кромѣ бреда. И здравый смыслъ, и анти-здравый смыслъ, и «народъ», и вольница—все это сказалось внезапно, невзначай, въ угоду темпераменту, безъ разумѣнія. Богъ справедливъ: онъ поражаетъ наглыхъ людей глухотою, слѣпотою, безуміемъ. Если-бъ не это, они несомнѣнно не только близкихъ своихъ, но и самого Господа Бога давно бы слопали.

Повторю и повторяю: хотя противорѣчія, въ которыхъ путается блудливая мысль псевдо-охранительной прессы, въ высшей степени постыдны, но въ данномъ случаѣ они весьма знаменательны, ибо поселяютъ увѣренность, что существуютъ извѣстные предѣлы, за которыми и бойкія слова оказываются просто-нѣ-просто глупостью.

Въ послѣднее время особеннымъ вниманіемъ охранильно-публицистического лагеря пользовался вопросъ о расхищении власти. До свѣдѣнія публики доводилось, что рѣмъ съ законнымъ самодержавіемъ возникло нѣсколько амочинныхъ самодержавій, которыхъ открыто отрицаютъ зоритетъ власти, нахально провозглашаютъ себя независимыми отъ нея и противодѣйствие ея распоряженіямъ вмѣняютъ себѣ въ обязанность и въ заслугу. Стѣть заправому властителю думъ засадить Ивана Непомнящаго въ утузку, какъ самочинный властитель думъ въ ту же минуту вырастаетъ изъ-подъ земли и освобождается Ивана азъ кутузки; и наоборотъ—не успѣть заправскій властитель поощрить Ивана Благонамѣренаго, какъ самозванецъ уже тащитъ его на скамью подсудимыхъ. И все—гарочно.

Что всякий, кто хоть сколько-нибудь знакомъ съ обычнымъ церемоніаломъ русской жизни (въ особенности провинциальной), имѣть вполнѣ достаточная свѣдѣнія о явленіи, именуемомъ расхищениемъ власти,—это не подлежитъ никакому сомнѣнію. Лѣтописи наши изобилуютъ и преизобилуютъ подобными фактами. Кто непомнить цѣлой организованной шайки, благодаря которой произошло уфимско-оренбургское земельное расхищеніе? Кому не известны лукавые рабы, которые, подъ прикрытиемъ обаянія власти, обѣѣзываютъ свои личные дѣлишки? Кто наконецъ еще въ дѣствѣ не слыхалъ о цѣлой массѣ мелкихъ самоупраѣцевъ, по милости которыхъ существованіе въ провинціи становится годъ отъ году болѣе и болѣе загадочнымъ? Всѣ эти люди, безъ всякаго сомнѣнія, имѣютъ полное право на кличку расхитителей власти. Они посѣгаютъ вокругъ себя скудость материальную, умственную и нравственную; они вносятъ озлобленіе и смуту въ умы; они умерщвляютъ народную силу въ самомъ источнике и, совершая все это, въ качествѣ органовъ власти и ея именемъ, неизбѣжно подрываютъ довѣріе къ ней. Они хуже чѣмъ расхищаютъ власть—они безчестятъ ее. Указывать на подобныя расхищенія власти, предлагать способы къ ихъ устраниенію—вотъ задача публицистики, сознающей себя дѣйствительно охранительной. Вотъ въ сторону какихъ расхитителей должны быть направлены ея самыя бойкія фразы, если ужъ безъ бойкости нельзя обойтись.

На дѣлѣ однако же видится совершенно противное. О подлинныхъ расхитителяхъ охранительная публицистика въ

большинствъ случаевъ проходитъ молчаниемъ, а нѣкоторыхъ изъ нихъ—напримѣръ, самоуправцевъ—даже похваляется. Название же расхитителей власти присвоивается ею тѣмъ учрежденіямъ и лицамъ, которыя, по самому свойству своихъ обязанностей, не могутъ имѣть никакой прикосненности ни къ расхищеніямъ при помощи воровства, ни къ расхищеніямъ при помощи самоуправства...

Въ особенности часто прилагается нынѣ это клеймо къ новымъ судебнымъ учрежденіямъ. И слѣпая ярость, и клевета, и раскатистый хохотъ—все по ихъ поводу считается пригоднымъ, дозволительнымъ и умѣстнымъ. Не странно ли видѣть, что въ сферѣ охранительной можетъ существовать пресса, которая слово: «легальность» произносить не иначе, какъ съ прибавленіемъ паскуднаго *risum teneatis, amici?* А между тѣмъ это не фантазія, а дѣйствительность. Надрываютъ охранители жизни со смѣху да и полно. Судей такъ-таки прямо въ лицо и называютъ «несмѣнимыми» и «независимыми», а для присяжныхъ засѣдателей даже сугубо-уморительную кличку придумали: «непогрѣшимые!» И все вѣдь въ насмѣшку...

Я не къ тому заговорилъ о судахъ, чтобы произносить въ ихъ пользу защитительную рѣчь. Прежде всего я не сознаю себя достаточно компетентнымъ въ этомъ дѣлѣ, а затѣмъ лично нахожу, что какъ бы ни были хороши суды, все-таки лучше совсѣмъ не имѣть въ нихъ хожденія, нежели состоять съ ними въ непрестанномъ общеніи. Такъ что ежели бы ко мнѣ явился адвокатъ Балалайкинъ и сталъ убѣждать, что я безъ всякихъ правъ могу навѣрняка оттягать у сосѣда каменный домъ (какой-нибудь охранительный Гудушка навѣрняка сказалъ бы по этому случаю: Богъ послалъ!), то я и тогда навѣрное отказался бы отъ предъявленія иска. Ибо и за всѣмъ тѣмъ, наравнѣ со всѣми недержимыми «колеромъ» членами русской семьи, я убѣженъ: во-первыхъ, что судебная реформа исходить отъ той самой власти, на защиту которой выходятъ самозванные охранители; во-вторыхъ, что «легальность» не только не подрываетъ власти, но, напротивъ, укрѣпляетъ ее, и что, слѣдовательно, если оба эти выраженія употребляются рядомъ, то смѣшного въ этомъ ничего нѣть; и въ-третьихъ, что въ практикѣ новыхъ судебныхъ учрежденій, со времени ихъ преобразованія, рѣшительно ничего такого не произошло, что угрожало бы опасностью государству или вызывало бы хохотъ. Такъ что даже кличка «непогрѣшимости»,

оисвоенная суду присяжныхъ, есть, въ сущности, только  
ясничество, ибо нигдѣ и никогда судъ присяжныхъ не  
ознавался символомъ непогрѣшности, а считался только  
празителемъ извѣстнаго уровня общественнаго и народ-  
наго самосознанія.

Вотъ если-бъ охранительная публицистика хлопотала о  
однѣтіи этого уровня—это было бы съ ея стороны заслу-  
ой. Но въ томъ-то и дѣло, что интересы ея заключаются  
овсѣмъ не въ этомъ (пожалуй, чѣмъ ниже уровень, тѣмъ  
аже лучше, покойнѣе, благочиннѣе), а въ томъ, чтобы учить  
подтасовку, которая помогла бы подлинныхъ расхити-  
телей власти подмѣнить расхитителями мнимыми.

Подтасовка эта совершенно въ нравахъ нашей охрани-  
тельной публицистики и могла бы представлять серьезную  
 опасность, если-бъ послѣдняя не умѣрялась значительной  
 примѣсью недомыслія и безтолковости. Благодаря этому  
 обстоятельству, читатель наиболѣе наивный и терпѣливый  
 начинаетъ уже видѣть въ подтасовкахъ только дурную при-  
 вычку и больше ничего.

Въ сущности, по поводу вопроса о расхищеніи власти  
 происходитъ такое же столпотвореніе, какъ и по поводу  
 обращенія къ исконнымъ русскимъ началамъ. И въ томъ,  
 и въ другомъ случаѣ извергаются только бойкія слова, ни-  
 мало не влажущія съ предметомъ, о которомъ заведена  
 рѣчь. О выводахъ или о пожеланіяхъ нѣтъ и въ поминѣ.  
 Людимъ болѣе или менѣе подозрительнымъ можетъ пока-  
 заться, что вотъ-вотъ сорвется съ языка что-нибудь рѣши-  
 тельное, въ родѣ «закрытий» или возстановленія ста-  
 рой судебной волокиты—отнюдь не бывало! Даже этихъ  
 немудрыхъ словъ нѣтъ. Вообще никакихъ словъ, кроме  
 бойкихъ, да и бойкія-то слова вырываются какъ-то вни-  
 запно, исключительно подъ вліяніемъ всполошившагося тем-  
 перамента. И въ результатѣ—ни шествія впередь, ни воз-  
 врата назадъ, ничего, кроме безодержательной пропаганды  
 паники.

Если-бъ охранительная публицистика была способна фор-  
 мулировать свои вожделѣнія, если-бъ она ясно и отчетливо  
 произнесла тѣ слова, вокругъ которыхъ она нынѣ только  
 безсмысленно мечется,—она навѣрное выполнила бы свое  
 назначеніе съ успѣхомъ. У нея нашлись бы adeptы—не  
 особенно много, но кучка порядочная (вѣдь и до сихъ поръ  
 встрѣчаются старички, которые облизываются при воспо-  
 минаніи о старыхъ порядкахъ),—съ помощью которыхъ она,

чего доброго, провела бы въ жизнь и закрѣпощеніе, и судебную волокиту. Словомъ сказать, она могла бы принести вредъ дѣйствительный, грандіозный, могла бы уязвить не того или другого изъ своихъ противниковъ, а всѣхъ, всѣхъ вообще... Всѣхъ, кто носить человѣческій образъ, или, по крайней мѣрѣ, мыслить и чувствовать, какъ человѣку мыслить и чувствовать надлежитъ.

Къ счастію, этого нѣтъ. Какъ ни безпредѣльно злопытательство охранительной прессы, но бессиліе ея мысли таково, что послѣднее непремѣнно положить конецъ и бойкимъ словамъ, и распространенному ими ошеломленію. Не передъ разумомъ сложить оружіе злопытательство, а передъ собственною безмыслицей. Это настолько вѣрио, что тѣ изъ адентовъ, которые лучше другихъ понимаютъ, чье мясо коника сѣла, начишаютъ уже недоумѣвать и сердиться.

— Топчется на одномъ мѣстѣ златоустъ-то нашъ—ни взадъ, ни впередъ!—жаловался мнѣ на-дняхъ одинъ старичокъ, который съ 1862 года все ждетъ, что Богъ его простить: мы было-надѣялись, что онъ «возвѣстить», а онъ только знай захлебывается.

Кстати о публицистикѣ. Въ одной изъ газетъ я вычиталъ, что въ одномъ изъ «Пошевонскихъ разсказовъ» изображена «довольно темная аллегорія, въ которой, между прочимъ, дѣйствуетъ «газетчикъ», отыскивающій революціонеровъ для представлѣнія по начальству».

Это положительно невѣрно. Аллегорія разсказа, о которомъ идетъ рѣчь (если тутъ есть аллегорія), заключается въ томъ, что пошевонцы, застигнутые затрудненіями, не находятъ другого выхода, кроме личныхъ репрессалій, распри и взаимныхъ пререканій заднимъ числомъ. Вѣроятно, они предполагаютъ, что если достаточно другъ друга перекалѣчать, то у нихъ, по щучьему велѣнию, явится и *panis*, и *circenses*. Однако же ничего, кроме исконныхъ пустыхъ щей (*panis*) и синяковъ на тѣлѣ (*circenses*), не получаются, и не получаютъ по той простой причинѣ, что ни изъ разгромленія, ни изъ опустошенія, ни изъ калѣченія (сихъ излюбленныхъ пошевонскихъ панацей) никакого приварка не извлечешь, а извлечешь только безлюдье и всеобщую одичалость.

Эта особенность пошевонскихъ оздоровительныхъ премоў и пошевонского міроезерція извѣстна не со вчера: вѣтъ лѣтописные разсказы наполнены примѣ-

ми усобицъ и пререканій. Искони пошехонцы любили заниматься разслѣдованіемъ корней и нитей, то-есть пересоркой отдельныхъ персонъ, и искони же уклонялись отъ ясненія самимъ себѣ дѣйствительныхъ, а не персональныхъ причинъ постигшаго затрудненія. И потому-то, быть можетъ, какъ они ни надсаживаются, подсаживая другъ руга, а пустыя щи и до сегодня не сходяты у нихъ со стола.

Безспорно, что отыскать для жизни новые, болѣе плодовитыя основанія гораздо труднѣе, нежели дать ближнему оплеуху; но вѣдь, съ другой стороны, оплеуха, съ какой стороны на нее ни взгляни, все-таки не больше, какъ оплеуха. А дальше чѣ?

Говорить, будто пошехонцы недостаточно подготовлены для того, чтобы думать о новыхъ основаніяхъ для жизни, такъ надо же, дескать, въ ожиданіи лучшаго, хоть что-нибудь предпринимать... Помилуйте! да вѣдь есть же на конецъ честность, есть здравый смыслъ! Допустимъ, что безъ серьезной подготовки на прочное строительство надѣяться нельзя, но, право, и одной честности достаточно, чтобы произвести что-нибудь болѣе прочное, нежели этотъ паскудный обмынь оплеухъ, который и заушающихъ, и заушаемыхъ одинаково доводить до полнаго нравственнаго растиѣнія:

Вотъ мысль, которая положена въ основаніе разсказа о фантастическомъ пошехонскомъ отрезвленіи. Ежели это аллегорія, то необходимо допустить, что и вся вообще пошехонская жизнь есть не чѣ иное, какъ аллегорія.

Что же касается до «газетчика», то онъ привлеченъ къ разсказу вовсе не въ качествѣ «отыскивателя революціонеровъ для представлениія по начальству», а въ качествѣ подстрекателя въ томъ бесплодно-самоѣдскомъ направленіи, благодаря которому пошехонцы мечутся, изнуряются и все-таки живутъ впроголодь. Хотя типъ такого газетчика и не встрѣчается въ пошехонскихъ лѣтописахъ, однако-жъ и онъ не представляетъ животрепещущей новости. Развелось этихъ газетчиковъ очень достаточно и муть отъ нихъ большая идетъ.

Право, небезполезно напоминать литературѣ (особливо въ виду неравномѣрной растяжимости правила: «audiatur et altera pars»), что сдержанность для нея обязательна, что существуютъ задачи болѣе ей приличествующія, нежели злая и притомъ явно-безплодная травля однихъ посред-

ствомъ другихъ. Кругомъ то и дѣло раздаются вопли: «довольно фразъ! за дѣло пора, за дѣло!»—а вслушайтесь-ка попристальнѣе въ смыслъ этихъ воплей, и вы убѣдитесь, что, въ сущности, кромѣ травли, никакого дѣла и не предвидится. Стало-быть, что-нибудь одно предстоитъ: или до-знаться, въ чёмъ же именно состоитъ это пресловутое, безпрерывно возвѣщаемое «дѣло», или же положить предѣль лицемѣрному галдѣнью.

Я знаю, впрочемъ, что ни «рассказами», ни вообще литературнымъ воздействиемъ ни того, ни другого добиться нельзя. Газетчики того типа, о которомъ идетъ рѣчь, никогда ничего не скажутъ о сущности «дѣла», потому что они сами этой сущности не знаютъ, и никогда не перестанутъ галдѣть, потому что галдѣніе составляетъ ихъ ремесло. Но вѣдь рѣчь писателя имѣть значеніе скорѣе воспитательное, нежели непосредственно-практическое. Онъ обращается къ обществу не за тѣмъ, чтобы пристегнуть такое-то лицо или такое-то дѣйствіе, а съ цѣлью воздѣствовать на общественную совѣсть, на общественное самосознаніе.

---

Чтение газетъ наводить иногда на мысли совершенно неожиданныя, но въ то же время и не бесполезныя. Въ жизни встрѣчается великое множество явлений, которыхъ пропускаются безъ вниманія единственно потому, что ужъ очень всѣмъ примелькались. И вдругъ о чёмъ-нибудь въ этомъ родѣ начинаетъ разговаривать газета. Разговариваетъ строго, съ паѳосомъ, съ примѣсью такъ-называемой аттической соли (нынѣ, благодаря безакцизности, она дешева) и даже какъ бы съ затаеннымъ опасеніемъ. Съ первого взгляда никакъ не поймешь, что именно случилось, и, только пристально вдумавшись, догадаешься: ба! да вѣдь это оно самое и есть!

Возьмемъ для примѣра хоть такой фактъ: какимъ образомъ зачинались наши Пошехонья? какъ и по какой причинѣ возникли въ нихъ каланчи? Много ли найдется любознательныхъ людей, которыхъ интересовали бы подобные вопросы? Я по крайней мѣрѣ никогда, до послѣдняго времени, не думалъ о нихъ. Проѣзжая мимо того или другого Пошехонья, я освѣдомлялся у ямщика, какъ оно называется, и, получивъ удовлетворительный отвѣтъ, мѣнялъ на станціи лошадей и слѣдовалъ дальше, по направленію къ слѣдующему Пошехонью. Проѣзжая мимо каланчи, я

нинально восклица́ль: вотъ она, каланча - матушка! — не давалъ этому восклица́нию ни особыхъ зна-  
ния, ни дальнѣйшаго развитія. И такимъ образомъ,  
о мудренаго, я и въ могилу сошелъ бы, не давши  
бѣ отчета въ собственныхъ впечатлѣніяхъ и восклица-  
ихъ...

По необъяснимой случайности, вопросъ о происхожденіи  
сихъ Пошехоній и о постройкѣ въ нихъ каланчей съ  
ѣбеною настоятельностью предсталъ передо мной послѣ  
очтения газетныхъ статей о дѣлѣ волчанскаго исправника  
графа. Читаль-читаль — и вдругъ мысль: да кто же кому  
предшествовалъ, Зографъ ли Волчанску, или Волчанска  
графу? Вопросъ былъ поставленъ мною неправильно и  
же неподлежательно (следовало бы спросить такъ: Вол-  
чанска ли для Зографа существуетъ, или Зографъ для Вол-  
чанска? — тогда навѣрное было бы ясно: конечно, съ одной  
стороны, Волчанска... но, съ другой стороны, несомнѣнно,  
го и Зографъ...), и потому весьма естественно, что въ  
здѣственномъ состояніи я отвѣта на него дать не могъ.  
огда, поневолѣ, пришлось прибегнуть къ сновидѣнію, и  
добавокъ аллегорическому.

Прилегъ, и такъ какъ дѣло было къ спѣху, то сейчасъ  
се увидѣлъ сонъ. И вотъ какую аллегорію развернуло  
передо мной сновидѣніе.

Вначалѣ, будто бы, появился исправникъ (точнѣе было  
бы, по-старинному, сказать: городничий, но во снѣ за исто-  
рическою точностью не угоняешься) и, памятая, что ему  
предстоитъ, съ одной стороны, пожары тушить, а съ дру-  
гой — бунты, съ помощью пожарной трубы, усмирять, вы-  
бралъ мѣстечко на берегу рѣки. Который исправникъ въ  
рубашкѣ родился — выбралъ рѣку многоводную, съ стер-  
ляжьей ухой, съ нагруженными хлѣбомъ расшивами, съ  
раскольниками; который безъ рубашки, въ одномъ виц-  
мундирѣ родился — удовольствовался рѣчкой Гнилушкой, въ  
надеждѣ, что малая рѣка, при усердіи, большой процентъ  
дастъ. Не успѣлъ онъ умомъ-разумомъ раскинуть — смо-  
треть, ань у него ужъ, по шучьему велѣнью, помощникъ  
родился. А немнога погодя — частный приставъ, а еще не-  
многа спустя — пара квартальныхъ. Створили совѣтъ и на  
вопросъ: какъ въ семъ случаѣ поступить? — въ одинъ го-  
лосъ отвѣтили: выстроить каланчу! И только-что они это  
слово вымолвили — глядь, ань каланча ужъ готова! Стоить,  
сердечная, и сама собой пожарные сигналы выкидываетъ.

Обрадовался исправникъ, взбѣжалъ на вышку и, вспомнивъ Пушкина, произнесъ:

Отсель грозить мы будемъ Шведу...  
И погрозиль...

И что-жъ, какъ только онъ погрозилъ, такъ со всѣхъ сторонъ налетѣли полицейскіе и пожарные нижніе чины и зачали кругомъ каланчи городъ завивать. А исправникъ засѣль въ каланчѣ, сидѣть да, подобно древнему Девка-ліону, изъ окошка камешками попыхриваетъ. Побольше камень броситъ — вскочить купчина и начнетъ торговатъ; поменьше — вскочить мѣщанинъ и начнетъ воровать. Наконецъ цѣлую глыбу выкатилъ — народился «вѣнецъ созданій Божіихъ», откупщикъ. И тутъ же поздравилъ исправника съ окладомъ: тысяча рублей въ годъ — само собой, а четыре ведра водки въ мѣсяцъ — само собой.

Словомъ сказать, не прошло безъ году недѣли, а городъ ужъ во всѣхъ статьяхъ такъ и играетъ на солнышкѣ. И казначейство, и суды, и всякия управлениа, и кабаки, и гостиный дворъ, и кутузка — чего хочешь, того просинь. И вдругъ исправникъ спохватился.

— А у кого же мы по праздникамъ пироги будемъ есть? — обратился онъ къ сослуживцамъ.

— То-то что традского голову приходится сдѣлать...

Сказано — сдѣлано. Взялъ исправникъ глины комъ, замѣсилъ съ соломенной рѣзкой, дунулъ, плонулъ — вышелъ голова! «Чтѣ, братъ, не чаялъ? — ласково молвилъ ему исправникъ: — то-то! смотри у меня! Я тебя изъ праха возвзваль, я же тебя и обратно въ оный погружу!»

Сдѣлавши все какъ слѣдуетъ, попечь исправникъ съ помощникомъ своимъ по городу гулять. Гуляетъ и не нарадуется. Взойдетъ въ бакалейную лавку, зачерпнетъ въ пригоршню изюму и есть: взойдетъ въ суконную лавку — себѣ на мундиръ сукна отрѣжетъ, а женѣ на пальто драпу; зайдетъ къ откупщику — спроситъ: «скоро ли же на баль звать будете? Надо, сударь, общество веселить!»

Долго ли, коротко ли такъ дѣло шло, только началь исправникъ мечтать.

— А знаете ли, Иванъ Иванычъ, — сказалъ онъ однажды помощнику: — какую я штуку придумалъ?

— Не могу знать, вашескородіе!

— Угадайте!

— И угадать не могу; вашескородіе!

— И не угадаете. А я между тѣмъ самую простую

уку придумалъ. Доселъ я *ихъ* — создавалъ, а отнынѣ *и* *ихъ*... уничтожать!

Шомошникъ весь превратился въ слухъ. Стоить и не лохнется. Зналь онъ, что у исправника ума палата, но кои премудрости, признаться сказать, даже отъ него не яль.

— На какой же собственно... предметъ? — очнулся онъ конецъ.

— Какъ на какой предметъ! — разсердился исправникъ: — службѣ вы, милостивый государь, состоите, а самыхъ лементарныхъ вещей не понимаете; *sic volo, sic jubeo* — отъ на какой предметъ! Исправникъ я или нѣть?

И затѣмъ, призывавъ градскаго голову, сказалъ ему такія слова:

— Я сей градъ, ради никакой надобности, воздвигнуль; же его, ради той же надобности, и разрушить хочу.

Но голова хотя и долженъ былъ исправнику жизнью, двако-жъ на сей разъ не понять.

— На какой же собственно... предметъ? — осмѣлился онъ аикнуться.

— Не для того я тебя призвалъ, чтобы твои смѣха дотойные слова слушать! — разсердился на него исправникъ: — ступай и выполнни! Съ завтрашняго же дня обязываются обыватели сами себя постепенно расточать, и когда всѣхъ расточатъ до единаго, тогда я и о тебѣ промыслю.

Дѣйствительно, на другой же день городъ ожидался, точно во время дворянскихъ выборовъ. Насилу успѣвали секретарь думской приговоры о расточеніи сочинять, насили успѣвали полицеистские тѣ приговоры по домамъ да по кабакамъ, для подписи, разносить! Обыватели подниевали ходко, не отиѣквались.

— Мы люди привычные, — говорили они: — насть хоть со щами хлѣбай, хоть съ кашей Ѣши!

Даже откупщикъ на первыхъ порахъ обрадовался, потому что расточаемыхъ провожали родные, и каждые проводы сопровождались немалою выпивкой. «Пунцай расточаютъ другъ дружку, — говорилъ себѣ откупщикъ: — исправникъ изъ щебёнки опять мнѣ цѣлуу уйму пьяницъ надѣлаетъ!» Но когда городъ замѣтно опустѣлъ, и когда притомъ оказалось, что Девкаліоновъ секретарь исправникомъ былъ уже при закладкѣ города безъ остатка истраченъ, тогда и откупщикъ встрепенулся: ежели всѣхъ пьяницъ расточить — что же въ кабакахъ водку пить будеть? И шепнуль онъ

стяпчему: *caveant consules!* какъ бы-де для казны ущербу отъ исправницкой затѣи не произошло? А у стяпчаго два бка были, изъ коихъ одно—недреманное. До сихъ поръ онъ въ недреманномъ окѣ надобности не видѣлъ, а теперь вдругъ вздумалъ: дай-ка, посмотрю! И посмотрѣлъ.

И вотъ, когда ужъ обывателей осталась самая малая горсточка, и городской голова съ грустью подумывалъ о томъ, что въ недолгомъ времени ему придется расточить самого себя, вдругъ, по доносу стяпчаго, раздался трубный звукъ:

— Подъ судъ исправника.

И прослѣдоваль исправникъ изъ города имъ созданного и имъ же расточеннаго прямо подъ судъ; прослѣдоваль тихо, смирино, благородно. И кто ни встрѣчалъ его на пути къ суду—всякій говорилъ:

— Неужто сей человѣкъ прегрѣшилъ?

И начали его судить...

Но тутъ я, конечно, проснулся и дальнѣйшаго развитія этой исторіи не знаю. Равнымъ образомъ не знаю и того, что стало съ расточеннымъ городомъ. Явился ли туда новый Девкаліонъ и населилъ его новыми пьяницами, или такъ до-днесъ и остается онъ въ родѣ древней Ниневіи. Тамъ и сямъ встрѣчаются изящные портики, великолѣпныя колоннады, памятники и проч., а между тѣмъ базарная площадь, какъ была въ послѣдній базарный день, такъ и посейчасъ невыметенная стоитъ.

Мартъ мѣсяцъ ознаменовался тѣмъ, что адвокатское словіе получило неожиданный репримандъ. Печальную эту обязанность принялъ на себя известный юристъ и въ то же время членъ прокурорской семьи, Н. А. Неклюдовъ. Частые оправдательные вердикты, благодаря которымъ преступленія, несомнѣнно содѣянныя, остаются ненаказанными, обратили на себя его просвѣщенное вниманіе. Но въ особенности, повидимому, повлѣли на его рѣшимость вопли охранительной печати, направленные противъ судебной реформы. По разсмотрѣніи оказалось, что во всемъ виноваты адвокаты. Они вводятъ въ заблужденіе присяжныхъ засѣдателей; они сознательно извращаютъ факты; они—распи-наютъ законъ...

Г. прокуроръ говорилъ горячо и убѣжденno, и притомъ при открытыхъ дверяхъ, въ присутствіи уголовнаго касса-

иного департамента правительствуемого сената. Жаль, онъ не упомянулъ при этомъ, не распинали ли, при чай, закона и прокуроры. Вѣдь и на нихъ въ этомъ быль киваеть наша охранительная печать.

Вопросъ о лганиѣ на судѣ очень существенный. Но что сасется до меня, то я далеко не убѣждена, можно ли зарѣшить его «съ пылу, съ жару, по пятаку за пару». Можно подумать, что исходъ дѣла, съ которыми неразрывно связываются честь и добroe имя обвиняемыхъ, зависитъ отъ того, кто кого перелжетъ, но въ данномъ случаѣ самые крупные слова едва ли могутъ что-нибудь разъяснить. Гораздо было бы полезнѣе отнести къ дѣлу золинѣ серьезно и обстоятельно. Но тутъ опять бѣда: неѣть настѣ живого мѣста, къ которому мы могли бы приснуться безъ ощущенія боли. Непремѣнно какой-нибудь неокрѣпшій молодой институтъ задѣнешь. И пойдугутъ отомъ аханья: «ахъ, что вы!» да «неужели же вы не понимаете?» Вотъ почему такъ много встрѣчается людей, которые на все машинали рукой и говорятъ: «а коли такъ, прощайте, какъ знаете, сами собой... институты!»

Адвокаты возражали г. Неклюдову печатно. Возраженіе вышло небезосновательное, хотя черезчур растянутое. Любопытно однако-жъ, могли ли бы адвокаты сдѣлать возраженіе на судѣ столь же горячо и откровенно, какъ это сдѣлала г. Неклюдова?

#### ГЛАВА X<sup>\*)</sup>.

Пасхальные праздники на время заслонили внутреннюю политику. Но такъ какъ общій складъ жизни за послѣдніе годы приобрѣлъ характеръ серьезный, то и праздники вышли серьезные. Пили и ъли, быть-можетъ, даже больше, нежели когда-либо, но не ради угожденія мамонѣ (объ этомъ нынѣ и не помышляеть никто!), а ради оживленія промышленности и поддержки курсовъ. Многіе безшабашные совѣтники насилино заставляли себя съѣдать по нѣсколько десятковъ крутыхъ яицъ въ день, лишь быпустить въ народное обращеніе нѣсколько лишнихъ рублей. У всѣхъ на умѣ были: отечество, деревня и мужичокъ. «Деревню поддержать надо, мужичка!»—раздавалось везде, гдѣ зрееть солидная мысль и ведутся солидные разговоры

<sup>\*)</sup> Эта глава осталась недоконченной.

о переходѣ отъ фразы къ дѣлу. Даже неисправимые пьяницы — и тѣ нынѣ какъ бы сознаютъ, что на нихъ лежитъ какая-то серьезная обязанность, а потому пьють не для того, чтобы весело было, а чтобы поскорѣе оостолбенѣть и тѣмъ принести пользу винокуреню. Я иѣсколько лѣтъ сряду живу противъ портерной и, слѣдовательно, имѣю полную возможность наблюдать за проявленіями алкоголизма. Прежде, бывало, выйдетъ пьяница изъ портерной и сейчасъ же начнетъ пѣсни пѣть, къ прохожимъ приставать, писать мыслете; нынѣ, смотрю, въ самый первый день праздника, вышелъ пьяница изъ дверей — и сейчасъ же лѣгъ на тротуаръ. Съ четверть часа онъ лежалъ на плитахъ, какъ на пуховикѣ, не возбуждая ни комъ удивленія, пока не появилась въ воротахъ дома дворникова кума и не всѣлеснула руками. Тогда принесъ дворникъ, поднялъ пьяницу и, прислонивъ его къ стѣнѣ — точно это былъ не человѣкъ, а деревянный шесть — не торопясь, отправился за городовымъ. А городовой въ это время съ подчаскомъ христосовался, и когда кончилъ, то оказалось, что пьяница ему не подсуденъ, а подсуденъ вонъ тому кавалеру... вонъ, который подъ козырѣкъ дѣлаетъ... Покуда городовые разрѣшали вопросъ о подсудности, откуда-то прибѣжалъ прокурорскій надзоръ, а слѣдомъ за нимъ — адвокатъ, и еще больше дѣло запутали. А пьяница все стоялъ у стѣны, стоялъ солидно и трезвенно, не сгибая колѣнъ и какъ бы сознавая, что ежели начальство прислонило его къ стѣнѣ, то онъ всѣмъ трезвымъ долженъ подавать примѣръ.

Но ежели пьяницы вели себя съ такимъ достоинствомъ, то безшабашные совсѣмъ тѣмъ больше должны были сознавать себя обязанными служить образцомъ для своихъ гражданъ. Я знаю цѣлыхъ троихъ, которые заранѣе согласились приятно провести праздники, и дѣйствительно, провели ихъ такъ благородно, какъ дай Богъ всякому. Первые два дня, разумѣется, посвятили поздравленіямъ, а остальные — тихимъ удовольствіямъ. Вставши утромъ, бесѣдовали за кофеемъ каждый со своею кухаркой, объясняя имъ, въ чёмъ заключается различіе пасхальныхъ яицъ отъ обыкновенныхъ, а также почему въ теченіе пасхальной недѣли ёдятъ куличи и пасхи, — а кому дозволять средства, то и ветчину, — а съ Фоминой недѣли начинается ёда обычновенная. Наговорившись до-сыта, навѣшивали на шеи новые орденскіе знаки и отправлялись на Николаевскій

сть смотрѣть, какъ ломаетъ на Невѣ ледъ. Тамъ всѣ сходились и, объяснивъ другъ другу, что теперь есть ледъ невскій, а недѣли черезъ двѣ пойдетъ ладожскій, шли на балаганы, гдѣ смотрѣли пьесу: «Ермакъ Тимоѳеевичъ или покореніе Сибири», и ощущали подъемъ вѣтвъ. Выйдя изъ балагана на площадь, обсуждали винное и слышанное примѣнительно къ современнымъ обстоятельствамъ.

— Какъ вы думаете, вашество, если-бъ Ермакъ Тимоѳеевичъ да въ теперешнее время эту самую Сибирь поколить, сдѣлать бы ему? — спрашивалъ безшабашный совсѣтникъ, отличавшійся болѣею противъ другихъ пытливостью ума.

— Чтѣ ужъ ее покорять, и безъ того чуть жива! — уклончиво отвѣтствовалъ другой безшабашный совсѣтникъ.

— Однако если бы?!

— Полагаю, что предварилки бы не миновать, — отозвался третій. — А можетъ-быть, впрочемъ, подъ манифестъ мы подвели!

— То-то вотъ и оно. Съ одной стороны, конечно... отъ Петербурга до Верхнекамчатска въ два мѣсяца на курьерскихъ не доѣдешь — лестно этакой перль заполучить!. Но съ другой стороны — строптивость... А впрочемъ, государи мои, такъ какъ съ третьей стороны Ермакъ Тимоѳеевичъ волею Божией помре, то я полагаль бы о поступкѣ его сужденія не имѣть, Сибирь же пріобщить къ числу прочихъ Россійской короны недвижимыхъ имуществъ... И затѣмъ шествовать въ Палкинъ трактиръ, гдѣ и совершиТЬ приличное сему случаю возліяніе. Такъ ли я говорю?

Неожиданность этого заключенія всѣхъ приводила въ восхищеніе. Безшабашные приходили къ Палкину, выпивали по рюмкѣ апісовки и заѣдали килькою. При чемъ пытливый безшабашный совсѣтникъ объяснялъ буфетчику, съ которыхъ поръ и по какой причинѣ возникъ обычай красить яйца въ красную краску. Закусивши и полюбовавшись плавающими въ сажалкѣ стерлядями, друзья отправлялись на Невскій и молча дѣлали два-три конца взадъ и впередъ, отъ Аничкина моста до Адмиралтейской площади. На всѣхъ троихъ были новенькия ватные пальто и новая шляпа отъ Чуркина (безъ наушниковъ); у всѣхъ въ рукахъ было по тросточки. Шли они и всему дивились: и серебрянымъ рублямъ, выставленнымъ въ витринахъ мѣниль, и выставкѣ модныхъ и ювелирныхъ товаровъ, но

всего больше—книжнымъ магазинамъ. Слышали они, якобы книгопечатаніе прекратилось, а между тѣмъ...

— Вотъ, говорять, что у насъ свободы нѣть!—припоминаль по этому случаю пытливый тайный совѣтникъ:— вотъ онѣ, книги-то... копии-ка въ нихъ какъ слѣдуетъ!

Въ заключеніе заходили къ Елисееву, покупали по апельсину и возвращались съ гостинцемъ каждый къ своей кухаркѣ домой, гдѣ ихъ ожидалъ готовый обѣдъ. Выспавшись послѣ обѣда, вспоминали происшествія дня, перебирали лицъ, получившихъ къ праздникамъ чины и ордена, напѣвали приличныя случаю пѣсни и терзались сомнѣніями, ежели къ кухаркамъ приходили въ гости земляки. А въ одиннадцать часовъ—спать.

Такъ провели праздники всѣ благонамѣренные и благородные люди. Такъ что ежели и въ будни дѣло пойдетъ столь же солидно, то можно сказать павѣрное, что мирное развитіе наше вскорѣ будетъ вполнѣ обеспечено. Пусть всякий выполняетъ свой долгъ по силѣ-возможности, дѣлясь своимъ избыткомъ съ меньшимъ братомъ, не объѣдаясь, но и не отказывая себѣ въ лакомомъ кускѣ. Недостаточные цускай съѣдаютъ по одному куличу въ день, средняго состоянія люди—по два, богатые—по три и соотвѣтственно этому яицъ, пасхи и ветчины,—и увидите, что рубль самъ собой взыграетъ, и никакихъ виѣшнихъ займовъ не потребуется.

Я тоже всѣми мѣрами старался выполнить эту программу и, кажется, успѣль въ этомъ. Правда, что съ поздравленіями я не ходилъ, но не потому, чтобы восхищеніе мое сердце не ощущало въ томъ потребности, а потому единственно, чтоѣздить не къ кому. Въ послѣднее время одиночество—пожалуй, даже заброшенность—до такой степени охватило меня, что я почти исключительно разговариваю съ одними читателями. Ихъ я и поздравляю:—Христосъ воскресъ! поѣдуемтесь!

Когда-то это былъ удивительно пріятный для меня праздникъ. Я говорю не про дѣтство, когда весь смыслъ праздника заключался въ томъ, что я каталъ съ лунки яйца, качался на качеляхъ и скакалъ съ доски, а про позднѣйшее время, когда на первомъ планѣ стояли уже не яйца и куличи, а вся эта веселая, ликующая ночь. Я, крѣпостной до мозга костей, я, рабъ отъ верхняго конца до нижняго, въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ чувствовалъ себя свободнымъ отъ узъ... И могу засвидѣтельствовать, что чув-

ю это столь прекрасно, что можетъ сравняться только тѣмъ, которое испытываетъ человѣкъ, сознающій себя свободнымъ, кромѣ Свѣтлого Христова Воскресенія, и въ очіе дни. И замѣтьте, что я ощущалъ это сладкое чувство, имѣя на плечахъ мундиръ, сбоку—шпагу и подъ мышкой—трехуголку.

Лучшую пору моей жизни я размыкаль по губернскимъ родамъ и съ особеною живостью припоминаю пасхальную церемоніаль. Нигдѣ такъ весело и такъ торжественно служится великая утреня; нигдѣ такъ охотно не хриплются, такъ безкорыстно не радуются празднику. Празднице классы радуются предстоящему недѣльному отдыху; правляемые — тому, что въ теченіе восьми дней о нихъ е будутъ имѣть сужденія. Въ церкви читается слово Златоуста, всѣхъ призывающее къ жизни, всѣмъ предлагающее кусить «тельца упитанна». Въ позднѣйшее время власти тали какъ будто побаиваться этихъ призывовъ — какъ бы дескать, не вышло превратныхъ толкованій; но до-ремѣнныи власти не ощущали еще двоегласія въ своемъ просозерцавіи и потому относились къ церковнымъ поученіямъ гораздо проще. Я помню, какъ при упоминаніи о «тельцахъ упитанномъ» у губернатора Набрюшникова ротъ самъ собой раскрывался до ушей, и онъ торжествующе взирался, въ увѣренности, что рѣчь идетъ именно о той телятинѣ, которую весь офиціальный губернскій міръ будетъ ёсть у него послѣ ранией обѣдни. И не видѣть онъ ничего зазорнаго въ томъ, что въ такой великий день всѣ преисполняются ликованіемъ, всѣ будуть вкушать (разумѣется, ежели предшествующій годъ былъ урожайный). На-противъ, онъ и городничимъ, и исправникамъ внушалъ: «не препятствуйте! показывайте примѣры!» И всѣ начальники отдѣльныхъ частей оказывали ему содѣйствіе, почтильно соревнуя и даже соперничая. Ежели у губернатора ъли изумительную телятину, то управляющаго палатою государственныхъ имуществъ подавали двѣнадцать сортовъ сосисокъ и диковинное малороссійское сало, у предсѣдателя казенной палаты — фаршированныхъ каплуновъ, а начальникъ внутренней стражи откармливали къ празднику на батальонномъ дворѣ цѣлое стадо свиней. Однимъ словомъ, всѣ чины дѣйствовали въ предѣлахъ предоставленной имъ власти, и сами ъли достаточно, и другихъ потчивали, не предвидя никакихъ превратныхъ толкованій.

Къ счастію, нынче начинается вновь поворотъ въ этомъ

смыслъ. Продолжительное ожиданіе превратныхъ толкованій оказалось настолько бесплоднымъ и до того всѣмъ опостылѣло, что даже безшабашные совѣтники начинаютъ понимать, что сътость не только въ праздники, но и въ будни ничего угрожающаго не представляеть. «Только тѣ народы счастливыми почитаться могутъ, кои тучны», сказалъ, не помню, какой-то законодатель, — Соломонъ или Драконъ,— и сказалъ такую истину, которая у всѣхъ на глазахъ входитъ въ міровой административный обиходъ. А ежели прибавить къ этому изречению, что всякий съѣденный окорокъ ветчины есть косвенная милостыня, подаваемая богатымъ бѣдному, то вотъ вамъ и цѣлая административная система готова. Хоть какому угодно директору департамента не стыдно.

\* \* \*

# УБЪЖИЩЕ МОНРЕПО.

(1878—1879 гг.).



## I.—Общій обзоръ.

— Вы, конечно, на зѣто уединитеся въ свое Монрепо?

— Разумѣется! надо же отдохнуть!

*Санктскіе діалоги.*

Отъ чего отдохнуть, это—вопросъ особый; но уѣхать на зѣто во всякомъ случаѣ надо. Лѣтомъ города населяются дулебами, радимичами, вятычами и проч., въ образѣ каменщиковъ, штукатуровъ, мостовщиковыхъ, совмѣстное жительство съ которыми для культурнаго человѣка по многимъ причинамъ неудобно.

Удовлетворяя этой потребности, я довольно долгое времяѣздила по зѣтамъ въ подмосковную. Имѣніе это я приобрѣла тотчасъ вслѣдъ за уничтоженіемъ крѣпостного права и купила, надо сказать правду, довольно безобразно. Во-первыхъ, осматривалъ имѣніе зимой, чего никто въ мірѣ никогда не дѣлаетъ; во-вторыхъ, напалъ на продавца-старичка, который въ церкви, во время литургіи вѣрныхъ, приходилъ въ восторженное состояніе, и я повѣрила этой восторженности. Старичокъ служилъ когда-то по провіантскому вѣдомству и потому былъ благодушенъ и гостепрійменъ. Зазвалъ меня обѣдать, накормилъ настоящимъ малороссийскимъ борщомъ и угостила кіевской наливкой. Потомъ самъ поѣхалъ со мной осматривать усадьбу, гдѣ велѣлъ сварить супъ изъ курицы и зажарить карасей въ сметанѣ, при чёмъ говорилъ: «курица эта здѣшняя, караси тоже изъ здѣшняго пруда, а въ рѣкѣ, кромѣ того, водятся язи, окуни и вотъ этакіе лини!» Затѣмъ начался осмотръ. Выйдя на крыльцо господскаго дома, онъ показалъ пальцемъ на синѣю южную вдали лѣсъ и сказалъ: «вотъ какой лѣсъ продаю! сколько тутъ дровъ однихъ... а?» Повелъ меня въ сѣнной сарай, дергалъ и мялъ въ рукахъ сѣно.

словно желая убѣдить меня въ его добротѣ, и говорилъ при этомъ: «этого сѣна хватить до новаго, съ излишкомъ, а сѣно-то какое—овса не нужно!» Повель на мельницу, которая, словно нарочно, была на этотъ разъ въ полномъ ходу, дѣйствуя всѣми тремя поставами, и говорилъ: «здѣсь сторона хлѣбная—никогда мельница не стоитъ, а ежели еще маслобойку да крупорушку устронте, такъ у васъ такая толпа завсегда будетъ, что и не продержишься!» Сдѣлалъ, вмѣстѣ со мной, по сугробамъ, небольшое путешествіе вдоль по рѣкѣ и говорилъ: «а рѣка здѣсь какая—ве-се-ла-я!» И все съ молитвой. Скажетъ и перекрестится, и зрачками вверхъ поведеть, и губами пошевелить, словно на вся и на всѣхъ призываетъ благословеніе Божіе. Только въ заключеніе разсердился. Погрозился кулакомъ на крестьянскій поселокъ, населенный новоиспеченными временно-обязанными, и присовокупилъ: «Все изъ-за нихъ, канальевъ! Кабы не они, подлецы, кажется, ни въ жизнь бы изъ этого рая не выѣхали!»

Словомъ сказать, очаровалъ меня искренностью и—что еще больше мнѣ понравилось—слабыхъ сторонъ имѣнія не скрылъ. «Вотъ службы—лѣгоныкія! это—такъ! и озимое, по милости подлецовъ, незасѣянное осталось, это—тоже скрыть не могу!» Но при воспоминаніи о «подлецахъ»—опять разсердился и присовокупилъ: «Впрочемъ, дѣло о нихъ уже въ уголовной палатѣ рѣшено; вотъ какъ шестьдесятъ человѣкъ березовой кашей вспрыснутъ, такъ до новыхъ вѣнчиковъ не забудутъ!» \*).

При каковомъ осмотрѣ присутствовалъ и мѣстный сельскій батюшка, который скромно пощипывалъ бородку, не подтверждалъ, но и не отрицая.

Я былъ тогда помоложе и ни къ какимъ хозяйственнымъ дѣламъ прикосновеннымъ не состоялъ. Случились въ карманѣ довольно большія деньги (впрочемъ, данныхы взаймы), но я какъ-то и денегъ не понималъ: все думалъ, что конца имѣ не будетъ. Словомъ сказать, произошло нечто въ родѣ сновиденій. Только одно, повидимому, я зналъ твердо: что положено начало свободному труду, и земля, слѣдовательно, должна будетъ давать вдесятеро. Потому что въ то время даже печатно въ этомъ родѣ разсчеты дѣлались.

\*.) Всего въ имѣніи числилось 160 ревизскихъ душъ (ревизія была въ 1859 году), въ томъ числѣ, разумѣется, наполовину подростковъ и малолѣтнихъ. Рѣшеніе московской уголовной палаты, дѣйствительно, состоялось въ этомъ родѣ, но сенатъ его отмѣнилъ, и дѣло, кажется, кончилось ничѣмъ.

Замѣчательно, что я родился и выросъ въ деревнѣ. До сихъ лѣтъ я жилъ въ деревнѣ безвыѣздно; потомъ, когда начались странствованія по казеннымъ заведеніямъ, еженощно на лѣтнія вакаціи пріѣзжалъ въ побывку домой. Я зналъ, что такое лѣсъ, и множество разъ даже хаживалъ да за грибами и ягодами; я умѣлъ отличить ячмень отъ ки, рожь отъ овса; я видѣлъ, какъ возять навозъ на мя, какъ пашутъ, боронятъ, сѣютъ, жнутъ, молотятъ, коптъ. И за всѣмъ тѣмъ—рѣшительно ничего не понималъ. Оистину это была не дѣйствительность, а сновидѣніе, отъ втораго задержались въ сознаніи только лишенные всякой связи обрывки...

Родители мои слыли въ своей сторонѣ за очень опытныхъ и рачительныхъ хозяевъ. Они «сами во все входили», чего въ то время было совершенно достаточно, чтобы аслюжить репутацію «хозяина». Каждый вечеръ староста приходилъ въ барекій домъ съ отчетомъ объ успѣхѣ произведеній въ теченіе дня работы; каждый вечеръ шли безконечные разговоры, предположенія и сѣтованія, отдавались приказанія на слѣдующій день, слышались тоскливые догадки насчетъ вѣдра или дождя, раздавались выраженія: «поголовно», «брать на брата» и другіе сельскохозяйственные термины въ крѣпостномъ вкусѣ. Я очень часто присутствовалъ при этихъ переговорахъ и, помнится, даже интересовался ими, тѣмъ болѣе, что рядомъ съ ними или распоряженія и насчетъ домашніхъ запасовъ, которые, въ видѣ варенья, соленья, сушенья и квашенья, производились во множествѣ. Передъ моими глазами не только ежедневно, но ежечасно, ежеминутно происходилъ тотъ кропотливый процессъ, при помощи котораго соиздается такъ называемая полная чаша. Я видѣлъ эту полную чашу во всѣхъ проявленіяхъ: въ амбарахъ, наполненныхъ всякаго рода хлѣбомъ, въ погребахъ и въ кладовыхъ, на скотномъ дворѣ, въ плодовыхъ садахъ и проч. Бездѣлъ, по всей усадьбѣ, словно въ муравейникѣ, съ утра до ночи копошились люди и все припасали. А ночью около полной чаши похаживалъ сторожъ и билъ въ чугунную доску. Все это я видѣлъ, зналъ наизусть и могъ даже своими словами все разсказать; однако и за всѣмъ тѣмъ ничего не понималъ. Очевидно, тутъ былъ какой-то изъянъ. Я зналъ формы, въ которыхъ проявлялось соизданіе полной чаши, но не понималъ внутренняго содержанія этихъ формъ. Для меня оставалась скрытой та страшная масса усилий, физического

труда, изнеможеній, пота, рохота и отчаяній, которым сопровождалось устроеніе полной чаши. Кажется, что я думалъ такъ: «стонть папеньку съ маменькой только приказать старостѣ Лукьянчу—и у насъ будеть и рожь, зовесь, и сѣно...»

Поэтому, когда я кончилъ съ вопросомъ о подмосковной, то-есть совершилъ купчую крѣпость и вступилъ во владѣніе, то сонное видѣніе еще некоторое время продолжалось, несмотря на то, что сейчасъ же обнаружились факты, которые должны были бы самаго заспавшаго человѣка заставить прийти въ себя. А именно: дустой и высокій лѣсь, на который мнѣ указывалъ пальцемъ старичокъ-продавецъ, оказался чужой, а мой лѣсь былъ низенький и рѣдкій; вместо полныхъ сѣнныхъ сараевъ оказались искусно выведенныя изъ сѣна стѣники, за которыми скрывалась пустота; на мельницѣ помолу обнаружилось мало, да и воды не всегда достаточно; сѣно на лугахъ «временемъ—родится», а «временемъ—иѣть», да и сѣно—«съ осочкой». Одно вышло справедливо: службы были лѣгоныкія, то-есть совсѣмъ ветхія, а рѣчка дѣйствительно веселая, излучистая, сверкающая и вся въ зеленыхъ берегахъ.

Тѣмъ не менѣе я не впалъ въ уныніе и началъ дѣятельно приспособляться въ свое мѣсто новомъ гнѣздѣ. Сонныя видѣнія дѣствы, отрочства и юности, несмотря на свою призрачность, оставили по себѣ и нечто такое, чтѣ залегло во мнѣ довольно прочно. А именно: они положили основаніе убѣжденію, что всякий человѣкъ имѣеть какъ бы естественную потребность въ своемъ собственномъ углѣ. Тамъ онъ сосредоточитъ все занѣтное, пригрѣтос, приголубленное, туда онъ придется послѣ изнурительныхъ скитаний по болу-свѣту, чтобы успокоиться отъ жизненныхъ обидъ; тамъ онъ ваделѣтъ своихъ дѣлъ и дастъ имъ возможность проникнуться впечатлѣніями настоящей, ненасурмленной дѣйствительности; тамъ онъ почувствуетъ себя свободнымъ отъ всяческой подлой зависимости, отъ заискиваній, отъ унизительной борьбы за право дышать, говорить, мыслить... Словомъ сказать, представлениѳ обѣ этомъ собственномъ углѣ было всегда до того присуще мнѣ, что когда жить за родительскимъ хребтомъ сдѣлалось уже невѣко, а старое, нависшее гнѣздо, по волѣ случая, не дошло до рукъ, то мысль обѣ обрѣтеній новаго гнѣзда начала преслѣдоватъ меня, такъ сказать, по пятамъ...

И, какъ сказано выше, я это гнѣздо обрѣлъ.

Я не буду рассказывать здесь историю моихъ хозяйственныхъ похождений. Это было что-то фантастическое. Неудача всемъ. Хлѣбъ по виду, казалось, хорошъ родился, а въ мѣбарѣ его дошло мало («стало-быть, при молотѣ не доядѣли», объяснили мнѣ «умные мужички»); клеверъ и имоевеевка выскочили по полю маҳрами («стало-быть, невѣно сѣли: вотъ здѣсь посѣли, а вотъ здѣсь пролѣшили»). Два года, однако-жъ, я упорствовалъ, то-есть сѣяль-жалъ, но на третій—смирился. Или, говоря другими словами, началъ смотрѣть на свое имѣніе, какъ на дачу для двухъ-трехъ-мѣсячнаго лѣтняго пребыванія. Нарушить весь хозяйственный затѣи, а такъ-называемую «угоду», за исключениемъ усадьбы, сдалъ крестьянамъ за такую годовую плату, которой недоставало даже для удовлетворенія скромныхъ издержекъ по управлению и сторожѣ, и самъ удраль зъ Петербургъ.

При такомъ упрощенномъ взгляде дѣло шло кое-какъ ровно пятиадцать лѣтъ. Я ъездила по лѣтамъ въ свое собственное Морепѣд и не безъ удовольствія взирала на «веселую» рѣчуку, которая сверкала передъ самыми окнами господского дома. По временамъ на островокъ, образуемый мельничною запрудой, налеталъ соловей и грохоталъ и залывался всю ночь. Это тоже доставляло удовольствіе, хотя и кратковременное, потому что къ утру соловей уже былъ непремѣнно подкарауленъ и изловленъ фабричными изъ соѣдняго села. Во всякомъ случаѣ, я жила безъ мучительныхъ помысловъ о дождѣ или вѣдрѣ, безъ легкомысленныхъ догадокъ о томъ, что въ данную минуту происходитъ въ полѣ: произрастаетъ или не произрастаетъ. Ничего «своего» у меня не было, такъ что за каждой бездѣлицей я посыпала въ Москву, и, къ удивленію, все выходило и лучше, и дешевле, нежели изъ хозяйственной заготовки. Быть у меня, правда, небольшой огородъ, каждую весну засаживаемый неумѣлыми руками; но и онъ не заставлялъ моего сердца сжиматься, такъ какъ я съ первого же года поняла, что овощи въ этомъ огородѣ будуть поспѣвать какъ разъ ко дню моего выѣзда изъ деревни въ городъ.

Напослѣдокъ, однако-жъ, обнаружилось, что и съ упрощеннымъ взглядомъ безконечно жить невозможно. Появилась цѣлая серія фактovъ довольно странного свойства. Лѣсь (хоть и не тотъ высокій, который мнѣ рекомендовалъ старичокъ-продавецъ, но все-таки былъ лѣсь) пересталъ произрастать. Березовая роща, которую я засталь

въ качествѣ «опушечки», такъ и осталась опушечкой че-  
резъ пятнадцать лѣтъ. Осиновая роща, которую я самъ  
срубилъ, въ чайни, что осина идеть ходко, представляла,  
чезъ пятнадцать лѣтъ, голое мѣсто, усыпанное пеньками  
(«стало-быть, коровъ по ємъ наступъ», объясняли «умные»  
мужички, они же и арендаторы). Поля загрубѣли; луга, да-  
вавшіе когда-то мягкое сѣно, начали давать почти исключи-  
тельно острецъ. Таковы были послѣдствія крестьянской  
аренды и моего упрощеннаго взгляда на имѣніе. Въ са-  
момъ домѣ оказывались изьяны, которые предвещали въ  
ближайшемъ будущемъ очень серьезный расходъ. Въ паркѣ  
дорожки до того заросли, что для расчистки ихъ тоже тре-  
бовалась цѣлая уйма денегъ. Къ довершению всего, такъ  
какъ усадьба отстояла отъ крестьянского поселка не близ-  
ко, и какъ, съ нарушеніемъ хозяйства, прислуги при-  
усадѣбъ содержалось мало, то ночью брала невольно ото-  
ронь. Правда, что въ нашей сторонѣ обѣ «лихихъ» лю-  
дяхъ слуховъ еще не было, но верстъ за десять, за двѣ-  
надцать, около станціи желѣзной дороги, уже «пошливали».  
Припоминая стародавнія русскія поговорки, въ родѣ «не-  
ровенъ часть», «береженаго Богъ бережетъ», «плохо не  
клади» и проч., и видя, что дачная жизнь, первоначально  
сосредоточенная около станціи желѣзной дороги, начинаетъ  
подходить къ намъ все ближе и ближе (одинъ грекъ при-  
ведетъ за собой десять грековъ, одинъ еврей—сотню ев-  
реевъ), я непримѣтно стала впадать въ задумчивость.

И не на меня одного нападала задумчивость. Въ корот-  
кій пятнадцатилѣтній періодъ моего владѣнія подмосковной  
почти весь землевладѣльческій составъ кругомъ меня измѣнил-  
ся. Въ ближайшей ко мнѣ старииной княжеской усадѣбѣ,  
съ вѣковыми лѣсами, съ знаменитыми оранжереями и съ  
прекрасно устроеннымъ господскимъ домомъ, въ теченіе  
двухъ лѣтъ перемѣнилось два владѣльца, изъ коихъ одинъ—еврей. То же самое повторилось и по всей окрестности.  
Пришли люди, прикосновенные къ постройкѣ храма Христа  
Спасителя; пришелъ адвокатъ, выигравшій какое-то вол-  
шебное дѣло и сейчасъ же поспѣшившій сдѣлаться «бари-  
номъ»; наконецъ появился грекъ, который, поселившись  
въ верстѣ отъ меня, влѣзъ въ нашу скромную сельскую  
церковь и выстроилъ себѣ что-то въ родѣ горячаго мѣста,  
дабы всѣ видѣли, какъ онъ, Самсонъ Дюбековичъ, своего  
Бога почитаетъ. Остались незыблѣмыми только два стариин-  
ныхъ и замѣчательно крупныхъ землевладѣльца, изъ тѣхъ,

орыхъ ужъ никакіе изъяны застать врасплохъ не мочь.

Задумчивость моя усугублялась съ каждымъ годомъ. Прильцы-сосѣди устраивались по-новому и проявляли по-новое жить шумно и весело. Среди этой вдругъ кипавшей жизни, каждое движение которой говорить о зельной деньгѣ, мой бѣдный, заброшенный пустырь былъ кѣ-то совсѣмъ не у мѣста. Ветшая и упадая, онъ какъ я говорить мнѣ: бѣги сихъ мѣсть, унылый человѣкъ!

И я внялъ этому голосу, хотя и не безъ внутренняго сомненія. Въ окна, главное, дуло, да и о кухнѣ шли тухи, что скоро совсѣмъ тамъ готовить кушанье будетъ селья. Приходилось или злѣ погибнуть, или уйти.

Я выбралъ послѣднее и лышу себя надеждой, что въ амую пору.

Но въ ту минуту, какъ я уходилъ, старинное стремление къ гнѣзу вдругъ опять закопошилось во мнѣ. «Какимъ же это образомъ?—думалось мнѣ:—ужели я такъ-таки и останусь безъ собственнаго Монрепо?»

---

Оставимъ Энгельгардтамъ доказывать, что полевое хозяйство можетъ приносить барыши,—сами же займемся разрешеніемъ вопроса: чтѣ такое культурный человѣкъ и чего, собственно, онъ можетъ ожидать отъ деревни?

Культурный человѣкъ вообще есть личность, въ значительной степени пользующаяся досугомъ, имѣющая болѣе или менѣе отчетливыя представленія о комфорѣ и жизненныхъ удобствахъ, охотно дѣлающая экскурсіи въ область эстетики и спекулятивнаго мышленія, но очень рѣдко обладающая прикладными знаніями, то-есть тѣмъ именно орудіемъ, которое болѣе всего необходимо, чтобы быть дѣятелемъ-землемѣдѣльцемъ. Не даромъ генералъ Шантарнѣе, приглашая однажды французское национальное собраніе разойтись, по случаю каникулярнаго времени, рисовалъ картины успокоенія на лонѣ природы, съ эклогами Вирgilія въ рукахъ. Хотя рѣчь почтеннаго генерала возбудила въ извѣстной части собранія смѣхъ, но въ сущности онъ вполнѣ правильно охарактеризовалъ отношенія культурнаго человѣка къ сельской природѣ. Не полеводство нужно культурному человѣку, а только общій видъ полей. Ему нужны: прогулка, отдыхъ, много воздуха, отсутствие волнений, беззаботность, по временамъ дружеская бесѣда съ единомышленными людьми, по временамъ — одиночество, пожалуй,

хоть съ Виргиліемъ въ рукахъ. Не труда ищеть онъ въ сельскомъ убѣжищѣ, а безмятежнаго растительного существованія, которое служило бы поправкой прынностямъ, изнутившимъ его въ городѣ.

Нашъ русскій культурный человѣкъ носить на себѣ тѣ же родныя черты, какъ и западно-европейскій. Разница только въ томъ, что у него еще больше досуга, а интеллектуальнаго запаса значительно меньше. Сверхъ того, какъ мы ни стараемся о насажденіи классицизма; но русскій культурный человѣкъ, въ дѣлѣ знакомства съ древними классиками, и нынѣ едва ли идетъ дальше басенъ Федра, имѣть которыхъ въ качествѣ настольной книги иѣсколько, впрочемъ, совѣтно. Поэтому онъ Виргилія замѣняетъ какою-нибудь другою умственнюю пищею, смотря по степени личнаго развитія каждого, отъ Дарвина и Молешотта до Золя и Ксавье де-Монтепена включительно.

Я вполнѣ понимаю потребность, ощущаемую русскимъ культурнымъ человѣкомъ — воспользоваться двумя-тремя лѣтними мѣсяцами, чтобы возстановить себя на лонѣ природы, и не нахожу ее ни незаконною, ни достойною осмѣянія.

Зима, проводимая большею частью въ городѣ, дѣйствуетъ изнурительно. Я не говорю уже о спѣртомъ воздухѣ въ помѣщеніяхъ, снабженныхъ двойными рамами и нагреваемыхъ усиленной топкой печей — этого одного достаточно, чтобы при первомъ удобномъ слутаѣ бѣжать на просторъ; но, кромѣ того, у каждого культурнаго человѣка есть особливое занятіе, специальная задача, которую онъ преодолѣуетъ во время зимняго сезона и выполненіе которой иногда значительно подкашиваетъ силы его. Какого рода эти задачи и есть ли отъ нихъ какой-нибудь прокъ? — это другой вопросъ; но такъ какъ онъ не считаются противозаконными, то для большинства этого совершенно достаточно. У насъ есть прежде всего цѣлая армія чиновниковъ, которые съ утра до вечера скребутъ перьями, посылаютъ въ пространство всякаго рода отношенія и донесенія и вообще не разгибаютъ спины — очевидно, имъ отдыхъ нуженъ, хотя бы для того, чтобы очнуться отъ тѣхъ «милостивыхъ государей», съ которыми они девять мѣсяцевъ сряду безъ устали ведутъ отписку и переписку. Затѣмъ есть масса дѣльцовъ: адвокатовъ, биржевиковъ, сводчиковъ, концессіонеровъ, журналистовъ и т. п., которые тоже шестнадцать часовъ въ сутки мелькаютъ и мечутся — очевидно,

ыхъ нуженъ и имъ. Наконецъ существуетъ много людей, юные утромъ занимаются дѣланьемъ визитовъ, а вечеръ посѣщають театры, цирки, балы, шпицбалы, игорные ла, рестораны—и имъ тоже необходимъ отдыхъ, потому иной однимъ культивированьемъ кокотокъ такъ себя зиму ухлопаетъ, что поневолѣ запросится вонъ изъ дома.

Я знаю, что всѣ эти кипѣнія и мельканія—грошовыя, а тогда даже и вредныя; но такъ какъ люди, находящіеся въ стражѣ, ничего противъ нихъ не имѣютъ, то тѣмъ менѣе ту имѣть противъ нихъ что-нибудь я, которому вообще ничего и ни отъ кого оберегать не предоставлено. Я могу только констатировать фактъ изнуренія—и дѣлаю это.

Само собою разумѣется, что большинство культурныхъ юдей, изъ тщеславія, а также и ради того, чтобы не позвать совсѣмъ съ зимними пакостями, стремятся по преимуществу въ Павловскъ, въ Петергофъ, въ Озерки и т. д. тѣ они тамъ обрѣтаютъ, какую природу, какой возстановляющій воздухъ, какое питаніе—я этого не знаю. Я отъ оду не живаль въ этихъ мѣстахъ и, надѣюсь, никогда сить не буду, какъ ни соблазнительны описанія озерковскихъ шпицбаловъ, съ оркестромъ Главача и кухней Ломача. Съ счастію, не всѣ Заманиловки подверглись разрушенію, потому есть еще достаточно большая масса культурныхъ юдей, которые, не заглядывая въ Озерки, устремляются тѣ стариннымъ «собственнымъ» пешелищамъ. Одни єдутъ ионеволѣ, потому что хоть и распостылая эта Заманиловка, въ все-таки *своя*, и надо за ней присмотрѣть, чтобы окончательно ее не расхитили; другіе — потому, что и въ самомъ дѣлѣ не понимаютъ лѣтнаго житія иначе, какъ въ настоящей деревнѣ, съ настоящими полями и настоящимъ лѣсомъ.

Надо, впрочемъ, сказать правду, что для того, чтобъ прожить въ современной Заманиловкѣ три-четыре мѣсяца кряду, требуется иѣкоторая храбрость. Очень ужъ нынче тамъ глухо и непривольно. Во-первыхъ, пусто, потому что домашній персональ имѣется только самый необходимый; во-вторыхъ, неудовлетворительно по части питья и єды, потому что полезныя домашнія животныя упразднены, дикія, вслѣдствіе истребленія лѣсовъ, эмигрировали, караси въ прудѣ выловлены, да и хорошаго печенаго хлѣба, пожалуй, нельзя достать; въ-третьихъ, плохо и по части газетной гиши, ежели Заманиловка, по очень счастливому случаю,

не расположена вблизи станции железной дороги (это было въ особенности чувствительно во время послѣдней войны); въ-четвертыхъ, не особенно весело и по части сосѣдей, ибо скажи таковые и есть, то разносоловъ у нихъ не полагается, да и ъздить по сосѣдямъ, признаться, не въ чёмъ, такъ какъ каретные сараи опустѣли, а бывшіе заводскіе жеребцы перевелись; въ-пятыхъ, наконецъ, въ каждой Заманиловкѣ культурный человѣкъ непремѣнно встрѣчается съ вопросомъ о бѣшепыхъ собакахъ. Какъ ни исключительнымъ представляется этотъ послѣдній вопросъ, но онъ очень существенъ. Каждое лѣто непремѣнно откуда-то (откуда—никто даже опредѣлить не можетъ) забѣжитъ желтенькая, сивенькая и черненькая собачка, худая, съ помутившимися глазами и опущеннымъ хвостомъ, перекусаетъ на деревнѣ цѣлую уйму собакъ, а затѣмъ подниметь переполохъ и на городской усадьбѣ. И долго потомъ эта сивенькая собачка живеть въ воображеніи дѣтей и женщинъ, заставляя ихъ озираться во время прогулокъ и мѣшаю рискнуть забраться куда-нибудь подальше отъ жилья—въ луга, въ лѣсъ.

Я уже не говорю о развлеченияхъ амурныхъ, хотя и не безъ вдоха вспоминаю Тургенева, этого правдивѣйшаго и художественнѣйшаго описателя нашихъ бывшихъ «дворянскихъ гнѣздъ», у которого на каждого помѣщика (молодого и образованного) непремѣнно приходилась соответствующая помѣщица.

Но люди, для которыхъ деревня почему-либо составляетъ необходимость (хотя бы ради связи съ прошлымъ или ради приобрѣтенія яснаго представленія о рваномъ русскомъ мужикѣ), охотно примиряются со всѣми псевдобствами за тѣ воистину возстановляющія (физически и умственно) блага, которыми она изобилуетъ. Но для того, чтобы воспользоваться этими благами и извлечь изъ нихъ ту сумму обновленныхъ силъ, которая нужна для бодрого перенесенія предстоящихъ въ зимній сезонъ задачъ (въ чёмъ бы онъ ни состояли), необходима такая обстановка, которая представляла бы собой картину полного и невозмутимаго безмятежія. А отсюда—первая и главная обязанность: немедленно, всѣцѣло и навсегда удалить отъ себя всякихъ сельскохозяйственныхъ распоряженій и предпріятій. Эти послѣднія волнуютъ и изнуряютъ пуще всѣхъ огорченій, который испытываетъ культурный человѣкъ во время длиннаго зимняго сезона, потому что они не даютъ ни отдыха,

срока, преслѣдуютъ ежеминутно и производятъ тѣмъ льшую досаду, что въ сущности цѣна каждой изъ нихъ, якой въ отдѣльности,—гропть. Въ эту самую минуту, гдѣ я пишу эти строки, въ окна моей комнаты барабаитъ дождь, а между тѣмъ теперь самое горячее время я уборки сѣна, котораго вездѣ подкошено множество. лаго тому культурному человѣку, у котораго нѣтъ ни сѣна на лугахъ, ни хлѣба въ поляхъ, потому что будь все со—онъ непремѣнно бы мучился. Онъ думалъ бы: «ахъ, бно сгнѣтъ! ахъ, рожь прорастетъ!» и, несмотря на морогодину, выбѣжалъ бы на улицу. Зачѣмъ бы онъ выбѣжалъ? чтѣ могъ бы сказать или присовѣтовать?—онъ и амъ павѣрное не отвѣтилъ бы на эти вопросы, но выбѣжалъ бы несомнѣнно, потому что его подстrekнуль бы къ нему демонъ собственности. И въ результатѣ оказались бы потеря времени и простуда. Тогда какъ, свободный отъ сѣна, ржи и овса, онъ можетъ спокойно, «въ надеждѣ славы и добра», посматривать въ окно и думать: «а вотъ сейчасъ разгуляется, и я, какъ обсохнутъ дорожки (лѣтомъ земля сохнетъ изумительно быстро), пойду въ паркъ...»

Что сельскохозяйственные заботы тиранять ежеминутно—это аксиома, которая, я полагаю, не требуетъ доказательствъ. Природа дѣйствуетъ отнюдь не по писанному и почти всегда всѣ людскія предположенія переворачиваетъ вверхъ дномъ. Но все-таки скажу, что культурнаго досужаго человѣка эти заботы тиранять не въ примѣръ сильнѣе, нежели заправскаго землевладѣльца. Для культурнаго человѣка—все новость, все сюрпризъ; и при этомъ, ежели у него, съ одной стороны, есть много досуга, чтобы наслаждаться, то, съ другой стороны, ровно столько же досуга онъ имѣеть и для того, чтобы тиранить себя. Для настоящаго землевладѣльца нѣтъ времени мучить себя; для него нѣтъ сюрпризовъ, онъ ко всему привыкъ и всего ожидаетъ. Онъ знаетъ, что какъ бы ни велико было количество сюрпризовъ, онъ, землевладѣльецъ, въ концѣ концовъ все-таки «управится», то-есть одолѣть личнымъ трудомъ все, чтѣ въ данную минуту одолѣть можно. А культурный человѣкъ—чтѣ онъ знаетъ? Онъ глядитъ на непросвѣтное небо и думаетъ: «ахъ, все погибло!» Сверхъ того, онъ видитъ, что «хамово отродье», нанятое для собиранія плодовъ земныхъ въ житницы, сидѣть, мокре, подъ навѣсомъ и бѣть баекушки, и это опять волнуетъ его...

Культурный человѣкъ безконечно легковѣренъ и притомъ

въ высшей степени одаренъ художественными инстинктами. Вотъ почему для него выгоднѣе совсѣмъ не родиться на свѣтъ, нежели возгорѣть страстью къ полеводству. Будучи по воспитанію совершенно чуждъ прикладныхъ знаний, онъ обыкновенно приступаетъ къ сельскохозяйственному дѣлу съ печатной книжкой въ рукахъ. Но онъ читаетъ эту книжку не глазами обыкновенного смертного, а глазами воображенія, забывая, что ничто такъ легко не поддается подкупу, какъ воображеніе, подстрекаемое жаждой барыша. Это воображеніе рисуетъ ему урожай самъ-десять и самъ-двѣнадцать (въ «книжкѣ» они доходятъ и до самъ-двѣнадцать); оно рисуетъ ему коровъ, не тѣхъ тонкихъ фараоновыхъ, которые въ дѣйствительности пытаются мягкими ухвостемъ на господскомъ скотномъ дворѣ, а тѣхъ альгаускихъ и девонширскихъ, для которыхъ существуетъ урочное положеніе: полтора ведра молока въ день; оно рисуетъ молотилки, вѣялки, жатвенные машины, сѣноворощилки, плуги и пр.—и все непремѣнно самое прочное и достигающее именно тѣхъ самыхъ результатовъ, которые значатся въ сельскохозяйственныхъ руководствахъ, а иногда и просто въ объявленіяхъ братьевъ Бутенопъ. Въ результатахъ происходитъ радостный сельскохозяйственный апогеозъ. Культурный человѣкъ не принимаетъ въ разсчетъ ни вѣдра, ни дождя, ни вѣтровъ, ни червя, ни земляной блохи, ни мошки, ни того, что въ одинъ прекрасный день у привода молотилки вдругъ не окажется ремня, а у самой молотилки—двухъ-трехъ пальцевъ (вчера еще все было цѣло и вдругъ за ночь пропало!). Много-много, ежели при вычисленіяхъ самъ-десять и самъ-двѣнадцать онъ снизойдетъ до принятія въ соображеніе заработной платы сѣному человѣку, приводящему въ движеніе всѣ эти молотилки и плуги, каковую плату тоже вычислить аккуратно, какъ написано въ книжкѣ: десятину луга скосить—косцовъ столько-то, сѣно сушить—бабъ столько-то. Короче сказать, онъ видитъ барыши и не предполагаетъ ущербовъ. Сѣнокосъ у него всегда сопровождается вѣдромъ съ легкимъ попрыскиваньемъ дождичка по утрамъ (надо же и природѣ что-нибудь уступить, да и коса влажную траву бойчѣе береть); сѣвъ никогда не обходится безъ благопріятнаго дождя; машины дѣйствуютъ безостановочно и безъ ремонта, ремни никогда не прошадаютъ и т. д.

Вѣрить «книжкѣ» культурный человѣкъ безусловно. Не потому вѣритъ, чтобы понимать сущность изложеннаго въ

тей, а потому, что она, такъ сказать, предупреждаетъ его желания. Онъ читаетъ «книжку», какъ романъ или, вѣрнѣе, какъ поваренную книгу, въ которой описываются самыя лакомыя блюда. Читаетъ и, останавливаясь на процессѣ производства лишь настолько, чтобы не утратилось впечатлѣніе общей сельскохозяйственной картины, съ радостнымъ нетерпѣніемъ перескакиваетъ къ конечному результату (собирание плодовъ въ житницы), который, разумѣется, всегда оказывается благопріятнымъ. Онъ не хочетъ знать, что книжку писалъ человѣкъ, обладающій подлинными знаніями (иногда, впрочемъ, и просто рутинеръ-шарлатанъ), который можетъ и неудачу предусмотрѣть, и даже свою собственную (опубликованную) ошибку исправить. А ты, культурный человѣкъ, ты, воспитаникъ Федра, что ты можешьъ? Вѣдь ежели ты, на свою бѣду, вычитаешьъ книгу «ошибку», то ты не только не исправишь ея, а, напротивъ, еще больше будешьъ на ней настаивать, проведешь ее до конца, потому что эта ошибка обѣщаетъ тебѣ съмѣнѣніе, которое создало твое разлакомившееся на барышъ воображеніе?

Понятно, что при такой степени возбужденія художественныхъ инстинктовъ всякое вмѣшательство силъ природы, мало-мальски не соотвѣтствующее заранѣе облюбованнымъ результатамъ, кажется посягательствомъ и служить поводомъ для мученій и проклятій. Зачѣмъ вѣдро? зачѣмъ дождь?—вотъ тѣ несомнѣнно глупые вопросы, которые съ утра до вечера раздаются въ тѣхъ изъ помѣщичьихъ гнѣзда, где еще не созрѣло убѣженіе, что надо все оставить,бросить. Вопросы эти тѣмъ глупѣе, что культурному человѣку заранѣе известно, что они навѣрное останутся безъ отвѣта, такъ какъ онъ не имѣеть даже средствъ извернуться или приспособиться къ тому, что онъ называетъ неожиданностями и подвохами. Сѣрий человѣкъ—тотъ во всякое время, при всякихъ условіяхъ найдетъ для себя подходящее дѣло, которое прямо или косвенно тому же полеводству принесетъ пользу. Но культурный человѣкъ, при всякомъ сюрпризѣ, измѣняющемъ его планъ, становится втушникъ, не зная, где и какъ ему возмѣстить затрату, сдѣланную именно на тотъ, а не на иной предметъ. И велико бываетъ его изумленіе, когда онъ, утѣшившій себя мыслью (да, онъ до того озлобленъ, что даже можетъ себя утѣшать неудачами другихъ), что и у дру-

гихъ съюно почерило и сгнило, вдругъ видѣть цѣлую массы совершенно зеленаго сѣна, приготовленного заботливыми руками менышеаго брата, который не пралъ противъ рожна въ дождь, но нашелъ другое приличествующее занятіе: родилъ городьбу, починаль клѣть или наконецъ и просто отыхахъ.

Я живо помню первые годы, послѣдовавшиe за эмансипаціей крестьянъ. Въ то время, какъ разъ кстати, г. Бажановъ издалъ книгу о плодоперемѣнномъ хозяйствѣ вообще, а г. Совѣтовъ—книгу о разведеніи кормовыхъ травъ. Обѣ читались всласть, какъ романъ, и находилось много людей, которые серьезно думали, что теперь ступить только дѣйствовать по-писанному, чтобы на землевладѣльцевъ поглился золотой дождь. Закипѣла дѣятельность. Во-первыхъ, въ помѣщичьихъ усадьбахъ появились люди, которые прежде никогда въ деревняхъ не живали, люди преимущественно молодые (старики благоразумно устранились или продолжали доскрипывать вѣкъ съ урочнымъ барщиннымъ положеніемъ), оставившіе службу и другія занятія и полные вѣры въ вольный трудъ. Во-вторыхъ, накуплено было множество орудій, о которыхъ до тѣхъ поръ имѣлись только смутныя представленія, какъ о чѣмъ-то рѣдкомъ и недоступномъ. Въ-третьихъ, начался обмынъ мыслей о томъ, что пристойнѣе: самъ-десять или самъ-двѣнадцать. Въ-четвертыхъ, наконецъ, приступлено было и къ дѣйствительному распоряженію по Бажанову и Совѣтову. Богатые люди жертвовали при этомъ своими избытками, а люди недостаточные отказывали себѣ въ привычномъ комфорѣ и смотрѣли сквозь пальцы на упадокъ своихъ жилищъ, ради того, чтобы купить лучшихъ сѣмянъ, лучшихъ плуговъ, плужковъ, скоропашекъ и проч. (у Бажанова были и рисунки всего этого приложения). Но съ первыхъ же шаговъ (увы!—рѣшительность этихъ шаговъ была такова, что, сдѣлавши одинъ, т.-е. накупивъ сѣмянъ, орудій, скота, переломавши поля и т. д., уже трудно было воротиться назадъ, испивши своеи чашцѣ съвооборота до дна) хозяйственная практика выставила такие вопросы, разрѣшенія на которые не давалъ ни Бажановъ, ни Совѣтовъ.

Помнится, у Бажанова говорится, что двое рабочихъ, при двухъ исправныхъ плугахъ, легко могутъ вспахать въ день казенную десятину. Но ежели они не вспашутъ, какъ съ этимъ быть? Доказывать ли, съ Бажановымъ въ рукахъ, что священный долгъ каждого рабочаго — вспахать

нѣе полудесятины? — но они отвѣтятъ на это: «и таکъ яли». Броситься ли на тунеядца съ распостертыми сими и сквернымъ словомъ на устахъ? — но онъ, какъ гѣкъ, сознающій себя героемъ *вольного труда*, пожалуй, дастъ сдачи. Судиться ли? — но передъ какимъ судомъ и гдѣ взять критеріумъ для судебнай оцѣнки? Разсудить ли наконецъ неисправнаго или небойкаго работника? — но завтра же другой герой вольнаго труда не доесть ровно столько же, а быть-можеть, и больше. Пригнется смириться и сообразно съ симъ дѣлать поправки въ разсчетахъ. А такъ какъ это поправки безконечныя, тѣлько концъ концовъ изъ нихъ образуется цѣлая паутина, которой человѣкъ будетъ биться, покуда не опостылѣеть и выкладки, и затѣи, и поля, и луга, и люди, которыхъ пашутъ и не донахиваютъ, косить и не докашиваютъ. сколько было когда-то обмѣна мыслей по поводу словъ: «*како вснашутъ полудесятины*». Легко? То-есть, вѣроятно, ашуть и больше? Но положимъ, что только полудесятины: доказательство... А кончилось тѣмъ, что хоть бы и не смѣть, какъ онъ тамъ на одномъ мѣстѣ топчется! Надоѣло, тоѣло, надоѣло.

«Надоѣло» — это слово очень вѣское и рѣшительное въ ювѣльской жизни вообще и въ особенности въ жизни пѣтуриаго русскаго человѣка, изумительная художественность воспріимчивость котораго требуетъ пищи безпрестанной и разнообразной. Но еще рѣшительнѣе звучить оно, тѣа человѣкъ начинаетъ прозрѣвать (все съ помощью хъ же художественныхъ инстинктовъ), что не столько ту все надоѣло, сколько онъ самъ всѣмъ надоѣль. Тотъ Бажановъ, напримѣръ, говорить, что землевладѣльческія орудія слѣдуетъ держать въ нарочито выстроенному араѣ и что по окончаніи дневной работы необходимо ихъ сберечь, потому что иначе желѣзо ржавѣеть, и инструментъ не прослужить и половины урочнаго срока. Ничего не можетъ быть справедливѣе этого совѣта и закона иѣже снованиаго на немъ требованія. Но бѣда въ томъ, что у золынонаемнаго рабочаго правила о содержаніи инструментовъ въ опрятности и до сихъ поръ еще не вымѣжены на скрижаляхъ сердца огненными буквами. Во-первыхъ, у него совсѣмъ не болитъ сердце по хозяйскому добрѣ; во-вторыхъ, дома у него такія рабочія орудія, съ которыми онъ никогда не имѣлъ надобности церемониться, а слѣдовательно и вытиратъ ихъ до-суха привычки не пріобрѣль.

Онъ просто не думаетъ о рабочихъ инструментахъ и потому не считаетъ ухода за ними входящимъ въ кругъ его обязанностей. Сверхъ того, хотя онъ, быть-можеть, и не досяхъ противъ урока, но все-таки время свое выстоять и порядкомъ-таки усталъ. Онъ спѣшить выпрячь лошадь, чтобы скорѣе отужинать и лечь спать,— досугъ ли ему съ инструментомъ вожжаться? Слѣдовательно предстоитъ нарочито напоминать ему о священной обязанности содержать хозяйствія орудія во всегдашней исправности. Напомните одинъ разъ—онъ, конечно, выполнить съ грѣхомъ пополамъ вашу *прихоть*. Напомните въ другой разъ— услышите отвѣтъ: «не что ему (или ей) сдѣляется за ночь!» Напомните въ третій разъ—отвѣта не послѣдуешь, но на лицѣ прочтете явственно: «ахъ, распостылый ты человѣкъ!» Напомните въ четвертый разъ... но въ четвертый разъ врядъ ли вы и сами рѣшились напомнить. Вы уже чувствуете, что вы надобли, намозолили глаза и вамъ совсѣмъ.

Вотъ чего не предусмотрѣли ни Бажановъ, ни Совѣтовъ, а между тѣмъ такого рода недоумѣнія встрѣчаются чуть не на каждомъ шагу. Вездѣ культурный человѣкъ видѣтъ себя лишнимъ, вездѣ онъ чувствуетъ себя въ положеніи того мужа, у котораго жена мучилась въ потугахъ рожденія, а онъ сидѣлъ у ея изголовья и покряхтывалъ. Вездѣ, во всѣхъ лицахъ, во всѣхъ отвѣтахъ, онъ читаетъ и слышитъ одно слово: *надобль!* *надобль!* *надобль!*

И вотъ, когда онъ убѣждается, что бажановскаго урочнаго положенія ему поддержать нечѣмъ, что инструментъ рабочій, на приобрѣтеніе котораго онъ пожертвовалъ своимъ личнымъ комфортомъ, воочію приходитъ въ негодность, что скотъ содержится неопрятно, смердить («не кадило!»—ворчить скотница на сдѣланное по этому поводу напоминаніе) и обѣщаєтъ въ ближайшемъ будущемъ совсѣмъ выродиться, что самъ онъ наконецъ совсѣмъ надобль, потому что вездѣ «суется», а «настоящаго» ничего сказать не можетъ, — тогда на него вдругъ нападаетъ то храбре малодушіе, которое даетъ человѣку рѣшимость въ одну минуту плюнуть на всѣ плоды многолѣтняго долготерпѣнія. И онъ, сломя голову, бѣжитъ въ объятія земскихъ учрежденій, мирового института, полиціи и проч., которыхъ, по крайней мѣрѣ, дадутъ ему средства хоть окончнія рамы новыя сдѣлать въ распнатавшейся съ верху до низу Заманиловкѣ.

Говорять, что у культурныхъ людей нѣтъ достаточныхъ капиталовъ, которые давали бы имъ возможность съ терпѣniемъ выжидатъ результатовъ ихъ сельскохозяйственныхъ предпріятій. Капиталовъ нынче, дѣйствительно, въ гой средѣ немного, но едва ли умѣстно ссылаться на это бстоятельство. Во-первыхъ, вскорѣ послѣ крестьянской реформы, капиталовъ, благодаря выкупнымъ свидѣтельствамъ, было болѣе, нежели достаточно, а куда они дѣвались? Положимъ, что хорошая доля ихъ застрила въ тракирахъ Новотроицкомъ и Московскому, но, клянусь, цѣлая масса была ухлопана и въ землю, для исполненія приходѣй Бажанова и Собѣтова. И что же изъ этого вышло? Во-вторыхъ, хотя капиталъ и дѣйствительно полезная вещь для сельскому хозяйствѣ, но все-таки надо знать, куда и какъ его употребить. Вотъ Энгельгардтъ и безъ капитала достичь хорошихъ результатовъ (я никако въ этомъ не сомнѣваюсь), а у культурнаго человѣка хоть и цѣлая има денегъ на рукахъ, да онъ не знаетъ, куда ее швырнуть. Ежели онъ бросить ее въ отходную яму—вырастутъ и на днѣ ея розы?

Поэтому-то я и повторяю: оставимъ Энгельгардтамъ доказывать, что полеводство можетъ приносить барыши; мы же, люди культурной массы, мы, представители бюрократіи, адвокатуры, юпицболовъ и проч., будемъ отдыхать вѣждо подъ смоковницей своей, съ баснями Федра въ рукахъ (все какъ будто классицизмъ пришахиваетъ). Я самъ съ величайшимъ наслажденіемъ читаю Энгельгардта (особенно лѣтомъ въ деревнѣ), потому что никто такъ отчетливо не воспроизводить картину деревни, какъ онъ; но я увлекаюсь его писаніемъ съ чисто художественной точки зрѣнія и воздерживаюсь отъ всякой практической дѣятельности въ подражаніе ему. Онъ расчищаетъ «лядѣ», онъ сѣть ленъ и мечтаѣтъ о травосѣяніи, объ альгаускомъ бычкѣ—все это, конечно, будетъ ему на пользу. Я же не стану ни «лядѣ» расчищать, ни льна сѣять, потому что въ самомъ благопріятномъ случаѣ эти занятія явятся лишь пустымъ препровожденіемъ времени; въ неблагопріятномъ же случаѣ...

Паче всего культурный человѣкъ долженъ избѣгать волнистий и огорченій. Деревня нужна ему не ради перспективы копеечныхъ избытокъ, но ради возстановленія подточеннѣй зимнимъ сезономъ бодрости. Онъ долженъ помнить, что ежели возможны сельскохозяйственные прибытки,

то они возможны, во-первыхъ, для человѣка, обладающаго знаніемъ, и, во-вторыхъ, для человѣка хотя и рутинѣра, но постоянно живущаго въ деревнѣ и не видящаго изъ нея выхода даже въ земскія учрежденія. Въ большинствѣ случаевъ, культурный русский человѣкъ не подходитъ ни подъ одно изъ этихъ условій. Знаній у него нѣтъ, а въ деревнѣ онъ хочетъ жить лишь тогда, когда садъ его цвѣтеть и благоухаетъ, и когда въ сосѣдней рощѣ гремитъ соловей. Стойти ли при такой постановкѣ дѣла гнаться за какимъ-нибудь двугривеннымъ, котораго, вдбавокъ, еще и не поймаешь? Стойти ли, ради этого двугривенного, испытывать волненія и разочарованія, которыя, повторяю, никогда не кончаются, а только видоизменяются, переходя въ новыя формы волненій и разочарованій?

Нѣть спора, что и въ городахъ бываютъ огорченія: обойдуть человѣка чиномъ; проиграетъ онъ, въ качествѣ адвоката, процессъ или получить въ танцклассѣ затрецину. Но огорченія эти, въ большинствѣ случаевъ, имѣютъ свой коррективъ. Обойдуть чиномъ—стойти только потрафить, пониже поклониться, чинъ придется своимъ чередомъ; проиграетъ адвокатъ процессъ—можно взять другой и выиграть; получить затрецину... но что такое затрецина для человѣка, который, быть-можетъ, понятіе о танцклассѣ смѣшиваетъ съ понятіемъ обѣ отечествѣ? Словомъ сказать, изъ всякаго городского огорченія можно выйти безъ особыно чувствительного ущерба. Тогда какъ для огорченій сельскохозяйственныхъ рѣшительно нѣть выхода. Они сначала мелькаютъ передъ глазами въ видѣ неосуществившихся двугривенныхъ, но чуть только человѣкъ не осторожеется, то непремѣнно выразится въ крупномъ кушѣ, брошенномъ въ отходную яму, на днѣ которой не выражается розь.

Но — скажутъ мнѣ — всѣ эти Заманиловки не созданы нами, а дошли до насъ въ томъ самомъ составѣ и въ тѣхъ же размѣрахъ, въ какихъ онѣ представляются и нынѣ, то есть со всѣми Тараканихами, Летесихами и другими пустошами, въ которыхъ растетъ бѣлоусъ. Какъ же поступить съ ними? Ужели ограничиться только уплатою за нихъ земскихъ сборовъ, не попытавши даже, хорошъ ли тамъ вырастетъ ленъ?

Отвѣтъ на это, несмотря на свою кажущуюся парадоксальность, очень простъ. Ежели уже существуетъ убѣждение

ніе (а у человѣка хладнокровнаго, осторожнаго не можетъ оно не существовать), что раскинутость Заманиловокъ служить лишь источникомъ огорченій, то, разумѣется, необходимо принять самыя быстрыя мѣры, чтобы Тараканихи и Летесихи не обременяли памяти пустою номенклатурой. Надо отѣлаться отъ нихъ непремѣнно и безотложно, хотя бы задаромъ. Придетъ сѣрий человѣкъ въ эту самую Тараканиху, гдѣ нынѣ растеть бѣлоусъ, и прольетъ тамъ свой потъ. И, можетъ-быть, бѣлоусъ дастъ мѣсто болѣе доброкачественнымъ злакамъ... А кульнурный человѣкъ ощутить отъ этого перемѣщенія ту несомнѣнную выгоду, что освободится отъ платежа земскихъ сборовъ за вмѣстилища бѣлоуса.

Я убѣжденъ, что первое, что необходимо для культурнаго человѣка—это сокращать и суживать границы своихъ земельныхъ владѣній. Дача, какъ вмѣстилище возстановляющаго воздуха полей—вотъ все, что нужно. И при томъ дача не съ ветхими оконными рамами и колеблющимися полами, а со всѣми удобствами, которыя легко могутъ быть созданы на деньги, предназначенные для отходной ямы. Ежели есть при дачѣ «смѣющиця» лугъ—это хорошо; ежели есть роща, въ которой весной поетъ соловей—еще того лучше. Излучистая рѣка, тѣнистый аллеи, пѣніе соловья—вотъ идеалы культурнаго человѣка, но отнюдь не пажити, не лѣса и не такъ-называемыя угодья. Для истребленія лѣсовъ существуютъ лѣсники; для пахоты, боронѣбы и косьбы существуетъ пѣлый классъ людей, имѣннумыхъ земледѣльцами. *Suum cpique*, какъ говорить Горацій, а можетъ-быть, Федръ или даже самъ Кошанскій. Культурный человѣкъ долженъ помнить, что онъ—произведеніе города! тамъ онъ сѣть и жнетъ, что ему сѣять и жать надлежитъ. Оклады жалованья, пенсіи, аренды, концессіи, гонорары за свидничество, полистыня и построчныя платы—все тамъ. А на лѣто онъ наѣзжаетъ въ деревню совсѣмъ не для того, чтобы страдать ради двугривенныхъ, а для того, чтобы на досугѣ обдуматъ, какія предстоитъ принять зимой мѣры, чтобы упомянутые оклады и гонорары не утратить, но пріумножить и сохранить. И пусть обдумывается. Пускай знаетъ свой домъ, свой садъ, свой смѣющиця лугъ, свою рощу. А ради сохраненія сельскаго колорита онъ можетъ завести трехъ-четырехъ коровъ и успокоиться на этомъ. Въ результатѣ онъ будетъ свободенъ отъ огорченій и никому не надобѣсть. И сѣрий человѣкъ,

глядя на него, скажетъ: «вотъ и видно, что настоящій баринъ—живеть и ничего не дѣлаєтъ!»

Тѣмъ не менѣе я не могу не сознаться, что жить въ деревнѣ и не дѣлать деревенскаго дѣла, а только вдыхать ароматы полей, слѣдить за полетомъ ласточекъ, читать братьевъ Гонкуровъ и упиваться себѣ для предстоящихъ зимнихъ подвоховъ—ужасно совсѣмъ. Сѣрый человѣкъ хоть и выражается о такомъ субъектѣ: «вотъ настоящій баринъ!» но онъ говорить это только до поры до времени. Сѣрый человѣкъ покуда еще ужасно задавленъ, и вслѣдствіе этого обѣданіе «на водку» дѣйствуетъ на него магически. А «настоящій баринъ» даетъ на водку часто и щедро. Онъ охотно собирается въ господской усадьбѣ по праздникамъ соѣдніхъ мужиковъ и бабъ, предоставляя имъ пѣсть, плясать и величать себя, «настоящаго барина», и угощаетъ за это пивомъ, водкой и ломтями чернаго хлѣба, а иногда, подъ веселую руку, даже бросаетъ въ толпу развязанныхъ бабъ пригоршни гривенниковъ. Я положительно не знаю ничего паскудище этого развлечения (имъ по преимуществу злоупотребляютъ разноплеменные хищники, отдыхающіе лѣтомъ въ своихъ виллахъ), но сѣрый человѣкъ еще охотно фигурируетъ въ немъ въ качествѣ увеселителя. Къ чести человѣчества надо думать, что наступитъ же наконецъ моментъ, когда онъ очнется и пойметъ, какой омерзительный смыслъ заключается въ паскудномъ выраженіи: «на водку», въ которомъ теперь онъ видить нѣчто въ родѣ подспорья.

Повторяю: жить въ деревнѣ только въ качествѣ «хорошаго барина» все-таки совсѣмъ, и потому я былъ очень обрадованъ, когда узналъ, что у культурнаго русскаго человѣка и помимо сельскохозяйственныхъ зятей можетъ существовать вполнѣ деревенское дѣло, а именно: дѣло совѣта, разясненія, просвѣщенія и посильной помощи. Сѣрый человѣкъ изнываетъ въ тенетахъ круговой поруки — надо объяснить ему, что задача круговой поруки совсѣмъ не въ томъ заключается, чтобы изнурять, а въ томъ, чтобы представлять очень существенные гарантіи. Сѣрый человѣкъ погибаетъ подъ игомъ неизѣственности — надо пролить свѣтъ знанія въ эту погибающую среду, надо стараться о разсѣяніи предразсудковъ, страховъ и предубѣждений. Сѣрый человѣкъ изнемогаетъ отъ нищеты, поборовъ, недостатка питанія, тѣсноты жилищъ — надо сдѣлать для него

ступнымъ дешевый кредитъ и при этомъ дать послѣднему  
сое направлениe, чтобы помошь его была чувствительна  
для однихъ волостныхъ старшинъ, кабатчиковъ и міровъ-  
въ, но и для массы дѣйствительно нуждающихся.

Я называлъ здѣсь очень немнога задачъ, но заранѣе со-  
глашаюсь, что ихъ наберутся цѣлыя массы, и притомъ го-  
здо болѣе существенныхъ. Сказать человѣку толкомъ, что  
человѣкъ—на одномъ этомъ предпріятіи можетъ изойти  
овью сердце. Дать человѣку возможность различить спра-  
дливое отъ несправедливаго—для достижениe этого одно-  
жно душу свою погубить. Задачи разъясненія громадны  
почти неприступны, но зато какіе изумительные гори-  
зиты! Какое восторженное, полное непрерывнаго горѣнія  
существованіе!

Позвольте однако-жъ. Я говорю здѣсь совсѣмъ не о спо-  
вѣничествѣ, а о другомъ. Я говорю о самыхъ обыкно-  
венныхъ представителяхъ культурной массы, о тѣхъ исчез-  
ающихъ городской суеты, для которыхъ деревня составляетъ,  
равнѣ съ экипажемъ, хорошимъ поваромъ и проч., одну  
изъ принадлежностей комфорта или общепризнанныхъ усло-  
вий приличія—и ничего больше.

Я говорю исключительно объ этихъ людяхъ, потому что  
окамѣнье это—единственный разрядъ культурныхъ дѣ-  
лей, состоящий «въ законѣ», и, стало-быть, единственный,  
отораго дѣйствія и помыслы могутъ быть свободно изслѣ-  
дены. Все остальное закрыто для насъ завѣсою, за кото-  
рую заглядывать положительно неудобно, ибо, того гляди,  
или кого-нибудь введешь въ соблазнъ, или нѣчто потрясешь.

Поэтому останемся же и мы «въ законѣ» и будемъ бе-  
здѣдовать лишь о томъ, что доступно нашимъ изслѣдованіямъ.

Я охотно допускаю, что и въ заурядныхъ представите-  
ляхъ культурной массы можетъ зародиться жажды просвѣ-  
тительного деревенского дѣла. Добрыхъ, страдающихъ и  
вообще порядочныхъ людей и въ этой массѣ найдется до-  
статочно. Но дѣло въ томъ, что, по самымъ условіямъ  
своихъ жизненныхъ преданій, обстановки, воспитанія, куль-  
турный человѣкъ на этомъ поприщѣ прежде всего встрѣ-  
чается съ вопросомъ: что скажетъ о моей просвѣтительной  
дѣятельности становой (само собой разумѣется, что здѣсь  
выраженіе «становой» употреблено не въ буквальномъ смы-  
слѣ)? Я знаю, что вопросъ этотъ смѣшилъ, и что даже до-  
вольно близкіе наши потомки будутъ удивляться самой воз-  
можности его постановки, но тѣмъ не менѣе онъ несо-

инѣнно существуетъ, и человѣкъ, «въ законѣ состоящій» отнюдь не можетъ его миновать. Его постоянно тревожитъ мысль: своевременно или преждевременно? и потому ежеда онъ и приступить на дѣлѣ къ выполненію своихъ просвѣтительныхъ поползновеній, то, или проведеть ихъ не особѣнио далеко (по губамъ помажетъ), или же будетъ приспособлять свои дѣйствія ко вкусамъ и идеаламъ становового. И вотъ, вмѣсто того, чтобы узнать, откуда идутъ на него тѣ бичи, которые отъ колыбели до могилы подѣлаютъ его существованіе, въ видѣ міроѣдовъ, кабатчиковъ, засухъ, градобитій, моровыхъ повѣтрій и проч., сѣрый человѣкъ услышитъ изъ устъ культурнаго человѣка не особенно мудре и не чуждое сквернословія поученіе о томъ, что первая и главная обязанность есть исполненіе приказаній, а все остальное приложится. Но вѣдь онъ и безъ того слышитъ эти проповѣди ежечасно, ежеминутно и отъ волостного старшины, и отъ сотскаго, и даже отъ кабатчика. И однако до сихъ поръ они не накормили его до-сыта, не дали ему человѣческаго жилища и ни на одинъ волосъ не увеличилъ его материальнаго и духовнаго благосостоянія.

Положимъ однако, что культурный человѣкъ настолько самолюбивъ, что не будетъ справляться со взглядами становового и захочетъ дѣйствовать самостоительно, даже независимо отъ соображенія, своевременно или преждевременно; но развѣ это отреченіе отъ идеаловъ становового не будетъ съ его стороны только пустою формальностью? Увы!—онъ и самъ весь начиненъ азбучными истинами, онъ и самъ ничего не знаетъ, кроме произвольныхъ, на нескѣ построенныхъ афоризмовъ прописной морали. Стало-быть, ежели слова его и будутъ иными, то дѣло все-таки окажется то же.

Сверхъ того, не надо упускать изъ вида, что культурному человѣку, взлѣянному на лонѣ эстетическихъ преданій, всегда присуща иѣкоторая гадливость. Понять нужду, объяснить себѣ происхожденіе лохмотьевъ и безкормицы не особенно трудно, но очень трудно возвыситься до той сердечной боли, которая заставляетъ отожествиться съ мірской нуждой и нести на себѣ грѣхи міра сего. Тутъ и художественные инстинкты, столь могущественные въ другихъ случаяхъ, не помогаютъ. Или, вѣриѣ сказать, помогаютъ наоборотъ, то-есть вселяютъ инстинктивный страхъ и непреодолимое желаніе изѣѣвать зрылица нищеты. Обыкновенно это послѣднее желаніе формулируется болѣе или менѣе прилично: всѣмъ, дескать, не поможешь и всей массы

бѣдности не устранишь! Но понятно, что это—только отговорка, на которую возможенъ одинъ отвѣтъ: «пробуй, дѣлай, что можешь, или уди, не блазинь, не подавай камня тамъ, гдѣ нуженъ хлѣбъ».

Можетъ, впрочемъ, случиться и такъ, что культурный человѣкъ какимъ-нибудь чудомъ все эти препятствія устранишь, то-есть сумѣть одновременно упразднить и идеалы сокскихъ, и эстетику. Однако и за всѣмъ тѣмъ останется обстоятельство, которое ни подъ какимъ видомъ обойти нельзя. Обстоятельство это заключается въ томъ, что главная задача его жизни совсѣмъ не въ деревнѣ, а въ городѣ. Говоря такимъ образомъ, я вовсе не имѣю въ виду послѣдователей шпицбаловъ, но и людей дѣйствительно воодушевленныхъ наилучшими намѣреніями и преслѣдующихъ самыя почтенные интеллектуальные цѣли. И для нихъ деревня представляетъ только временную арену дѣятельности, къ которой, вдобавокъ, они, въ большинствѣ случаевъ, не имѣютъ никакой практической подготовки. Атмосфера, которою они дышать, совсѣмъ не та, которою дышитъ деревня; языки, которыми они говорятъ, не тотъ, которымъ говорить деревня; мысли, которыхъ они мыслятъ, не тѣ, которыхъ мыслить деревня. Поэтому, прежде нежели приступить къ подлинному деревенскому дѣлу, сколько нужно труда, чтобы опознаться въ условіяхъ дѣятельности, очистить почву, приспособиться, найти отправной пунктъ! Но вотъ наконецъ точка опоры отыскана, а тутъ, какъ на грѣхъ, подкралась осень, и культурный человѣкъ волей-неволей обязывается оставить случайныя задачи, чтобы всецѣло отданыся задачамъ кореннымъ, а деревня остается въ положеніи той помпадурши, которая, при извѣстіи о низложеніи своего краткосрочного помпадура, воскликнула: «глупушка! нашалилъ и уѣхалъ!»

Нѣть, просвѣтительная дорога—не наша дорога. Это—дорога трудная, тернистая, о которой древле сказано: *блудите да опасно ходите*. Чтобы вступить на эту стезю, надо взять въ руки посохъ, препоясать чресла и, подобно раскольникамъ—«бѣгунамъ», иди впередъ, *вышиню града азыкуя...*

---

Два лѣта кряду я живу въ своемъ новомъ углу, на берегу Финского залива, почти въ виду кронштадтскихъ твердынь. Живу, руководствуясь сейчасъ вышесказанными соображеніями, то-есть не зная ни сельскохозяйственныхъ

затѣй, ни просвѣтительныхъ задачъ. Въ первомъ отношеніи я вполнѣ разсчитываю на сѣраго человѣка, который самъ не дѣсть, а насть не оставить безъ прованта; во-второмъ—полагаюсь на земскія управы, которая, по соглашенію съ начальствомъ, полегоньку да потихоньку, навѣрное, когда-нибудь устроить судьбу сѣраго человѣка къ безопасному концу. Я же, засѣвъ въ своеемъ углу, наслаждаюсь пальбою съ кронштадтскихъ твердынь, которая потрясаетъ окна моего Монрепо и которая, собственно говоря, составляетъ единственное здѣсь развлечениe.

Жизнь моя здѣсь течетъ въ уединеніи и полномъ безмятежіи. Сѣна — мало, жита — и того меньше; зато есть благоустроенный паркъ, въ которомъ родится множество бѣлыхъ грибовъ и въ которомъ можно гулять даже немедленно послѣ дождя. Сверхъ того, есть порядочный сосновый лѣсъ и рѣка, на которой устроена мельница, а слѣдовательно существуетъ и запруда. Однимъ словомъ, было бы даже очень хорошо, если-бы капельку побольше краснаго солнышка и поменьше вѣтра со стороны «хладныхъ финскихъ скаль». Помилуйте: въ цѣломъ нынѣшнее лѣто я не видаль стрѣлку флюгера обращенною на югъ, а все на сѣверъ, или еще того хуже—на западъ, потому что ежели сѣверный вѣтеръ приноситъ намъ больше, чѣмъ нужно, прохлады, то западный гонитъ намъ тучи, которымъ иногда по цѣлымъ недѣлямъ конца не видать.

Мѣстность, въ которой расположено сказанное Монрепо—обыкновенная мѣстность ближайшихъ окрестностей Петербурга. Нельзя сказать, чтобы живописная, чтобы веселая, но зато несомнѣнно веселонравная. Справа у меня—деревенскій поселокъ, при вѣзда въ который стоять столбъ и на немъ значится: душъ 24, дворовъ 10. На это не особенно громадное населеніе существуетъ два кабака, которые очень рѣдко пустуютъ. Сверхъ того, съ небольшимъ въ полуверстѣ отъ меня, налево, рядомъ съ моей границей, воздвигнутъ третій кабакъ. Вообще кабакамъ въ этой мѣстности посчастливилось. Когда я бѣду на станцію желѣзной дороги, то на пространствѣ четырнадцати верстъ до шоссе (на которомъ уже начинаются высокопоставленныя дачи, и, стало-быть, кабаковъ нѣть) встрѣчаю еще четыре кабака. А между тѣмъ мѣстность эта вполнѣ пустынная, и только въ одномъ мѣстѣ, въ сторонѣ, виднѣется довольно большое село, которое, конечно, обладаетъ своими собственными кабаками.

Население здесь смешанное. Большинство — чухны, меньшинство — не скажу, чтобы совсѣмъ русскіе, а скорѣе какая-то помесь. Чухны пьють довольно, русскіе — много. Сверхъ того, здѣсь пролегаетъ зимній трактъ въ Кронштадтъ, который тоже не мало способствуетъ процвѣтанію кабаковъ.

Кабакъ — это что-то въ родѣ установлѣнія, омерзительнѣе котораго трудно что-нибудь себѣ вообразить. Вокругъ кабака растетъ одичалое племя, которое отдаетъ кабатчику всю свою душу и которому положительно ни до чего нѣтъ дѣла. А у насъ цѣлыхъ три кабака. Конечно, мужику жить не весело, но какой ужасный коррективъ! Да и пьянство здѣсь какое-то необыкновенное: не шумное, не экспансивное, а сосредоточенное и унылое. Какъ будто исполняется горькая задача, отъ которой никакъ нельзя отбиться. Идетъ человѣкъ по дорогѣ и вертить зрачками: это значитъ, что онъ еще бодрится. Прошелъ нѣсколько шаговъ, споткнулся и ужъ хранилъ. Былъ у меня въ прошломъ году мельникъ изъ чухонъ, поистинѣ честный и добropорядочный человѣкъ. Видя, что онъ отъ времени до времени вертить зрачками, я пробовалъ его уговорить и, повидимому, даже успѣхъ. Цѣлыхъ два мѣсяца я видѣлъ его постоянно трезвымы, но вотъ пришла осень, и малый не вытерпѣлъ. Осень здѣсь ужасная, темная, слезливая, завывающая: точно надъ кладбищемъ стонъ стоитъ. Однимъ вечеромъ мельникъ урвался кратчайшимъ путемъ, по лавамъ, брошеннымъ черезъ рѣчу, въ кабакъ и тамъ выполнилъ свою задачу серьезно и безшумно. Возвращаясь тѣмъ же путемъ на мельницу, онъ уже не попалъ на лавы, а шагнулъ прямо въ рѣчу и утонулъ. Мѣсто это отстоитъ отъ мельницы въ нѣсколькихъ шагахъ, но никто не слыхалъ криковъ о помощи. Вѣроятно, несчастный даже не понималъ, что тонеть, а думалъ, что ложится спать.

Повторяю: кабакъ, возведенный въ принципъ, омерзителенъ, но при этомъ оговариваюсь: можетъ-быть, оно такъ надобно. Нужно, быть-можетъ, чтобы люди вертѣли зрачками и не понимали, куда они ложатся — въ постель или въ рѣчу. Почему такъ нужно — этого, конечно, мы не можемъ знать: не наше дѣло.

Благо невѣдущимъ. Знаніе, говорятъ, старить, а мы каждочасно молодѣмъ. «Изба моя съ краю, ничего не знаю» — успокоительнѣе этого девиза выдумать нельзя. Особливо ежели жить съ умомъ, то можно даже деньги при

помощи этого девиза пожить. Вотъ, напримѣръ, владѣлецъ двухъ кабаковъ, которые держать меня въ осадѣ спраша и слѣва,—тотъ только и говоритъ: «не нашего, сударь, это ума дѣло». Говорить — и стелеть да стелеть кругомъ патину...

Подражая этому истинному столпу, и я сижу, запершись въ усадьбѣ; зажимаю носъ и уши, зажмуриваю глаза и твержу: не наше дѣло! не наше дѣло! Это — слова могущественные и отлично разбиваются не только сердечную скорбь, но и всякую мысль. Натвердившись вдоволь, можно и на улицу выйти, и уже безъ малѣйшаго волненія смотрѣть, какъ взадъ и впередъ снуютъ подводы, нагруженныя бочками, боченками, бутылями и бутылочками. О чемъ тутъ скорбѣть? На что негодовать? Гораздо пристойнѣе видѣть въ этомъ малютномъ движениѣ боченковъ и бутылей только виды внутренней торговли и накопленія богатствъ: хоть сейчасъ садись и пиши статистику. И статистика выйдетъ не безплодная, по полная поучительныхъ выводовъ, изъ которыхъ можно усмотреть вполнѣ ясно, гдѣ таятся истинные источники нашего народнаго веселья, нашей силы и моці: все тамъ, все въ этихъ боченкахъ и бутыляхъ. Не даромъ, во время сербской войны, одинъ кабатчикъ-столпъ потчивалъ «гостей» водкой подъ названіемъ «попреотическая», а другой кабатчикъ-столпъ, соревнуя первому, утвердилъ на «выставкѣ» бутыль съ надписью: «на страхъ врагамъ». И всѣ, которые пили обѣ эти водки, дѣйствительно чувствовали, что имъ море по колѣна...

Да, эти «столпы» знаютъ тайну, какъ содѣлывать людей твердыми въ бѣдствіяхъ, а потому имъ и книги въ руки. Поймите, вѣдь это — тоже своего рода культурные люди, и притомъ не безъ нахальства говорящіе о себѣ: «мы сами оттуда, изъ Назарета, мы знаемъ!» И дѣйствительно, они знаютъ, потому что у нихъ первы крѣпкіе, взглядъ острый и умъ ясный, не расшатанный вольнодумными софизмами. Это даетъ имъ возможность отлично понимать, что по настоящему самое подходящее дѣло — это перервать горло.

Одного только не вѣдають: можетъ ли срастись разъ перерванное горло, и ежели не можетъ, то какъ съ этимъ быть?

Не наше дѣло.

Продолжаю начатую матерію о Монрепо. Имѣніе это служить нагляднымъ примѣромъ производительности культурнаго труда и тѣхъ выгодъ, которыя можно изъ него извлечь.

огда оно принадлежало такъ-называемому «хозяину» и, бывокъ, еще инженеру, стало-быть, человѣку, не лишену хотя нѣкоторыхъ прикладныхъ знаний. Владѣлецъ, очевидно, имѣлъ намѣреніе сдѣлать изъ своего имѣнія «золотое дно». Онъ положилъ основаніе господской избѣ, выстроилъ не особенно изящный, но крѣпкій и постітельный домъ, снабдилъ его службами и скотнымъ промѣромъ, развѣтъ паркъ, плодовый садъ, затѣялъ обширный огородъ (вѣроятно, хотѣлъ изумить мірь капустой и рѣками), устроилъ мельницу, прорѣзаль всю дачу безскелетными канавами, вслѣдствіе чего она получила видъ шахматной доски, и заключающіеся между канавами участки или поднять и застѣять травой. Хлѣба у него высѣвалось тоже достаточно, ежели судить по каменному фундаменту остраний риги, остатки которой уцѣлѣли и понынѣ, а особенности по чугуннымъ трубамъ, съ помощью которыхъ нагревалась сушильня и которая валяются и покорчевались. Получалъ ли какіе-нибудь доходы съ этого имѣнія? Бѣглый хозяинъ-землевладѣлецъ — это неизвѣстно; но зреѧтнѣе всего, что не получалъ, а все устраивался и траивался. Но что несомнѣнно извѣстно — это то, что онътратилъ на имѣніе «многія тысячи». И не крѣпостнымъ рудомъ истратилъ, а чистоганомъ, потому что крѣпостной рудъ какихъ-нибудь 24-хъ душъ даже замѣтнымъ подпорьемъ не могъ служить въ такомъ значительномъ предпріятіи. Затѣмъ основатель усадьбы умеръ, и имѣніе начало переходить изъ рукъ въ руки, при чемъ никто продолжительно имъ не владѣлъ. Послѣдній владѣлецъ, отъ которого мыза, наконецъ, дошла ко мнѣ, тоже, какъ говорятъ, потратился: усовершенствовалъ паркъ, меблировалъ домъ, пытался расчистить нѣкоторыя канавы и проч. Вѣроятно, и тутъ дѣло не обошлось безъ «многихъ тысячъ». А сколько одновременно съ этими «многими тысячами» было потрачено легкомыслія, сколько видѣла эта бѣдная мыза претерпѣнія и ропота, сколько слышала она хульныхъ словъ!..

Мнѣ она досталась, съ расходами по купчей крѣпости и съ издержками по водвореню, въ суммѣ приблизительно до пятнадцати тысячъ рублей. Вотъ чѣмъ разрѣшились и «многія тысячи», и многолѣтнія претерпѣнія. Кажется, краснорѣчівѣе этого факта нельзѧ себѣ ничего вообразить.

А сколько, сверхъ того, было ухвачено крѣпостныхъ пошлины при переходахъ имѣнья изъ рукъ въ руки! сколько

было разорено денегъ на сводчиковъ и маклеровъ, сколько употреблено суеты и бѣготни при отыскиваніи покупщика!—этого, навѣрное, ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать.

Мнѣ могутъ возразить, что бывшіе владѣльцы все-таки кое-чѣмъ воспользовались, и именно лѣсомъ (нынѣшній лѣсъ не особенно старъ, лѣтъ 30—35-ти, не больше, а есть участки и моложе). Дѣйствительно, громадные пни, встрѣчающіеся на каждомъ шагу, свидѣтельствуютъ, что лѣсу сведено достаточно; но, во-первыхъ, большая его часть была несомнѣнно употреблена на нужды самаго имѣнія, а во-вторыхъ, ежели двое-трое изъ кратковременныхъ владѣльцевъ (едва ли даже они жили въ имѣніи) и урвали что-нибудь, то, право, сущую бездѣлицу.

Люди, которымъ всегда «до зарѣзу» нужны рублей 100—200, не особенно слѣдятъ за процессомъ ихъ добыванія, лишь бы «зарѣзъ» былъ поскорѣе удовлетворенъ. Такъ было и тутъ, о чемъ даже существуютъ анекдоты, въ которыхъ фигурируютъ, съ одной стороны, культурные люди, съ другой—столпы, удовлетворяющіе этому «зарѣзу», не безъ болзы для себя.

Въ настоящее время, повторяю, это—уголокъ довольно благоустроенный, хотя и не безъ важныхъ недостатковъ, а именно:

Недостатокъ первый: солнце здѣсь такое же скучное, какъ и въ Петербургѣ. Оба проведенные мною лѣта были въ этомъ смыслѣ очень неудовлетворительны. Въ прошломъ году залили дожди, въ нынѣшнемъ—27-го июля ударилъ первый морозецъ. Можно ли ожидать въ будущемъ лучшаго лѣта—не знаю, потому что въ Петербургѣ вообще имѣютъ смутное понятіе о благораствореніи воздуховъ. Были, впрочемъ, и для здѣшняго края, очевидно, лучшія времена. Это доказывается довольно большими остатками яблонь, постепенное вымерзаніе которыхъ довершилось лишь недавно. Стало-быть, когда-то здѣсь было возможно разводить яблоки. А нынче, судя по послѣднимъ двумъ годамъ, скоро и простой огурецъ сдѣлается оранжерейнымъ растеніемъ.

Второй недостатокъ: все еще черезъ-чуръ много земли (всего около 160 десятинъ). Конечно, большинство ея находится подъ лѣсомъ, но есть, къ сожалѣнію, и такие участки, которые «ахъ, кабы эту землю къ рукамъ—кажется, лопатой бы деньги загребаль!» Какъ ни велико мое

оздержаніе оть сельскохозяйственныхъ предпріятій, а все-гаки нѣтъ-нѣть да и поддашься на льстивыя рѣчи. То кашавку прочишишь, то поднимешь участочекъ, потому что ежели совсѣмъ бросить, то земля мохомъ прорастеть, и граву косить будѣтъ негдѣ. А сѣно нужно, такъ какъ на скотномъ дворѣ стоитъ штука до десяти травоядныхъ.

Третій недостатокъ: мельница. Въ нынѣшнемъ году я вынужденъ былъ всю плотину выстроить вновь, и это обошлось мнѣ ровно тысячу рублей, кромѣ бревенъ, которыхъ были выпилены изъ своего лѣса. Теперь всѣ любуются плотиной и говорятъ: «депегъ не пожалѣли, зато она у васъ на двадцать лѣтъ безъ поправки пойдетъ!» Но известно мнѣ, что года три тому назадъ бывшій владѣлецъ тоже «значительно исправилъ» плотину, и, вѣроятно, ему тоже говорили: «теперь она на двадцать лѣтъ пойдетъ!» А доходъ съ мельницы двоякій: ежели осень мокрая и воды достаточно, то доходовъ «не слишкомъ много»; ежели осень сухая, то въ очистку приходится—нуль.

Четвертый недостатокъ: слишкомъ пространенъ огородъ. Поднять его, сѣять гряды и потому нѣсколько разъ въ лѣто прополоть послѣднія—стѣтить одной поденициной, не считая постоянныхъ мызныхъ работниковъ, по малой мѣрѣ двѣсти рублей. Да навозу пойдетъ цѣлая уйма, да садовнику въ годъ надо заплатить 360 рублей. А къ концу лѣта получаются и плоды этихъ затратъ. Огурцы, напримѣръ, «принялись-было весело», но вдругъ сдѣлалось «сиверко», и въ тотъ самый моментъ, когда въ Петербургѣ вся Сѣнная завалена огурцами,—у васъ нѣть ничего. То же самое и съ цвѣтной капустой: въ августѣ ее всякой столоначальникъ въ Петербургѣ Ѣетъ, а въ Монрепо показываются въ это время только зародыши и зрѣеть надежда, что въ сентябрѣ четыре-пять кочней выйдутъ « вполнѣ». Остается, стало-быть, капуста да картофель, овощи серые, не боящіяся непогоды,—но слыханное ли дѣло съѣсть этого добра на пятьсотъ, шестьсотъ рублей въ годъ!

Однимъ словомъ, происходить нѣчто въ высшей степени странное. Земля, мельница, огородъ — все, повидимому, предназначеннное самою природой для извлечения дохода—все это оказывается не только лишнимъ, но и прямо убыточнымъ...

Поэтому истинное пользованіе «своимъ угломъ» и истинное деревенское блаженство начнутся только тогда, когда не будетъ ни луговъ, ни лѣсовъ, ни огородовъ, ни мель-

ниць. Скотный дворъ можно упразднить, а молоко покупать и лошадей изнимать, чѣ обойдется дешевле и притомъ составить расходъ, который заранѣе можно опредѣлить, а слѣдовательно и приготовиться къ нему. Можно упразднить и прислугу, а держать только сторожа и садовника, необходимаго для увеселенія зреїнія видомъ расчищенныхъ дорожекъ и изящно убранныхъ цветами клумбъ.

Когда все это будетъ достигнуто, культурный человѣкъ можетъ наслаждаться и отдыхать по всей своей волѣ. А ежели надобѣсть ему отдохнуть, то можетъ и заняться тѣмъ дѣломъ, которое ему по душѣ.

Но какое же это дѣло? — вотъ въ чёмъ вопросъ.

---

Странная вещь, но когда встрѣчаешься съ этимъ вопросомъ — дѣлается не только просто совсѣмъ, но почти совсѣмъ-совсѣмъ.

Объясненіе этой тоски, я полагаю, заключается въ томъ, что у культурнаго русскаго человѣка бываютъ дѣла личныя, но нѣть дѣль общихъ. Личныя дѣла вообще несложны и решаются быстро, безъ особыхъ головоломныхъ думъ; затѣмъ впереди остается громадный досугъ, который решительно нечѣмъ наполнить. Отсюда — скуча, незнаніе, куда, тѣмъ занять праздную мысль, куда избыть праздную жизнь. Когда передъ глазами постоянно мелькаетъ пустое пространство, то дѣлается понятнымъ даже отчаяніе.

Повторю: въ массѣ культурныхъ людей есть уже достаточно личностей вполнѣ добропорядочныхъ, изъ которыхъ насилиственное бездѣліе лежитъ тяжелымъ ярмомъ и которыхъ тѣмъ сильнѣе страдаютъ, что не видятъ конца сиѣдающей ихъ тоскѣ. Чувствовать одиночество, сознавать себя лишнимъ на почвѣ общественныхъ интересовъ, право, нелегко. Отъ этого горькаго сознанія можетъ закружиться голова, но, сверхъ того, оно очень близко граничитъ и съ полнымъ равнодушіемъ.

Чтобы читать книжку, сѣдѣть за наукой, литературой и искусствомъ — для всего этого нѣть никакой изынности въ своемъ собственномъ углѣ, и въ особенности на берегу Финскаго залива. Гораздо болѣе удобствъ въ этомъ смыслѣ представляютъ Эмсы, Баденъ-Бадены, Трувили, Буживали, Лозанны и проч.

Для чего культурному человѣку изыывать въ какихъ-то сумеркахъ, лишенныхъ сѣнта и тепла, когда тѣ задачи, преслѣдованіе которыхъ ему доступно, онъ можетъ вполнѣ

удобно переносить съ собой въ такія мѣстности, въ которыхъ вдоволь и тепла, и свѣта? Для чего онъ будетъ выносить въ своей Заманиловкѣ тьмы темъ всякаго рода лишеній и неудобствъ, когда при тѣхъ же материальныхъ затратахъ онъ можетъ «въ другомъ мѣстѣ» прожить безъ мучительной заботы о томъ, позволить ли подоспѣвшій сѣнокосъ послать завтра въ городъ за почтой?

Человѣкъ—животное общественное, а въ Заманиловкѣ онъ обязывается временно одичать; человѣкъ—животное плотоядное, а въ Заманиловкѣ онъ обязывается едѣться отчасти млекопитающимъ, отчасти травояднымъ. Наконецъ Заманиловка заставляетъ его нуждаться въ услугахъ множества лицъ, чѣмъ въ высшей степени непріятно щекочеть совѣсть. И къ довершенню всего, передъ глазами—пустое пространство.

Вникните въ это положеніе, и вы должны будете сознаться, что оно поистинѣ мрачно. Есть натуры очень строитивыя и упорно-любящія, въ которыхъ червь равнодушія заползаетъ лишь послѣ долгой борьбы, но и тѣ въ концѣ концовъ уступаютъ. Капля точить камень.

И вотъ передъ этими людьми встаетъ вопросъ: искать другихъ небесъ. Тамъ они тоже будуть чужіе, но зато тамъ есть настоящее солнце, есть тепло, и уже рѣшительно не нужно думать ни о сѣнѣ, ни о житѣ, ни объ огурцахъ. Гуляй, свободный и безнечный, по зеленымъ паркамъ и лѣсамъ, и ежели есть охота, то рѣшай въ головѣ судьбы человѣчества.

Я высказываю здѣсь далеко не все, что можно было бы сказать обѣ этомъ предметѣ; я поднимаю только малѣйший уголъ завѣсы, скрывающей безконечную перспективу, но увѣряю—отъ одной мысли обѣ этой перспективѣ становится неволовко.

Какъ-то ничто не спорится намъ, и каждый нашъ успѣхъ почему-то оказывается фиктивнымъ. Двоегласіе очевидно, и оно невольно заставляетъ предполагать, что рядомъ съ успѣхомъ идетъ иѣчто такое, чѣмъ тутъ же, сейчасъ же подрывается его.

Въ чёмъ же однако-жъ бѣда? откуда она идетъ и почему надъ нами стряслась?

Но тутъ я долженъ поставить точку и закончить словами, которыя покамѣстъ на всякой вопросѣ представляютъ наиболѣе подходящій отвѣтъ, а именно: не наше дѣло.

## II.—Тревоги и радости въ Монрепо.

Мы живемъ среди полей  
И лѣсовъ дремучихъ...

Нынѣшней осенью, живя въ Монрепо, я былъ неожиданно взволнованъ: въ наше село переводили становую квартиру...

Въ деревнѣ подобная известія всегда производить беспокою. Хорошо ли, худо ли живется при известной обстановкѣ, по все-таки какъ-нибудь да живется. Это «какъ-нибудь»—великое дѣло. У меньшей братіи оно выражается словами: «живы—и то слава Богу!» у культурныхъ людей—сладкою увѣренностью, что чаша бѣдствій выпита ужъ до дна. И вдругъ: нѣты! имѣется наготовѣ и еще цѣлый ушатъ. Какъ тутъ быть: радоваться или опасаться?

Въ настоящемъ случаѣ поводы радоваться несомнѣнно существовали. Дѣ сихъ порь мы жили совсѣмъ безъ начальства, какъ овцы безъ пастиря. Натурально, блуждали и даже заблуждались. Некому было пожаловаться, не у кого искать защиты. Особливо намъ, культурнымъ людямъ, приходилось плохо. Работникъ загуляетъ или заспорить въ разсчетѣ—какъ съ нимъ разсудиться? Въ лѣсу пропадетъ дерево или въ огородѣ срѣжутъ кочанъ капусты—къ кому взыывать обѣ отмщеній? А съ мальчишками сельскими такъ просто сладу нѣть: обнеситесь отъ нихъ рѣшеткой—они подъ рѣшеткой лазы сдѣлаютъ; обройтесь канавой—черезъ недѣлю вся канава изукрасится тропами. Какъ тутъ быть? Мировой судья судить отъ насъ въ двадцати пяти verstахъ; становой приставъ живеть гдѣ-то ужъ совсѣмъ за болотами, такъ что легче въ Парижъ сѣѣздить, чѣмъ до него добраться. Сотскіе—мирволять; волостной старшина—тотъ на всѣ жалобы только икѣтъ: «миѣ, дескать, до васъ, культурныхъ людей, дѣла нѣты!» Въ виду всего этого мнѣ и самому не разъ-таки приходило въ голову: «вотъ кабы становой былъ поближе, тогда...» Стало-быть, теперь, когда желаніе мое было осуществлено, я имѣль, повидимому, полное основаніе считать себя довольнымъ и осчастливленнымъ.

Но были поводы и для опасеній, и прежде всего—неизвѣстность. Конечно, я имѣль о становомъ достаточно отчетливое понятіе, но о становомъ до-реформенномъ, котораго и въ глаза, и за глаза называли «куроцапомъ». Въ мѣст-

ностяхъ, изобиловавшихъ культурными людьми, это было существо вполнѣ жалкое, въ потертомъ вицмундирѣ съ дрожащими сзади фалдачками, съ воспаленными отъ дорожной пыли глазами, съ физиономіей, замасленной какъ блинъ и не имѣвшей никакого иного выраженія, кромѣ готовности во всякую минуту проглотить рюмку водки. И какъ дополненіе къ нему—становиха, сухая какъ щенка, вслѣдствіе безпрерывныхъ беременностей, но и за всѣмъ тѣмъ беременная. Такого станового, разумѣется, опасаться было нечего. Но вѣдь съ тѣхъ поръ много воды утекло. Говорятъ, будто становымъ новые мундиры пошли, и съ тѣхъ поръ будто бы они приняли въ свое завѣданіе основы и краеугольные камни. И еще говорятъ, будто они, «яко бѣги», получили даръ читать въ сердцахъ человѣческихъ, и что, вслѣдствіе сего, ежели прочтуть въ чьемъ сердцѣ обращенное къ нимъ слово «куроцапъ», то сейчасъ же дѣлаютъ соответствующее распоряженіе. А наконецъ нѣкоторые утверждаютъ, что они самыи названіемъ «становой приставъ» уже начинаютъ тяготиться, признавая его не исчерпывающимъ всего содержанія ихъ дѣятельности, и ходатайствуютъ, чтобы имъ присвоенъ былъ такой титулъ, который прямо говорилъ бы о сердцевѣдѣніи, и чтобы въ сообразность съ нимъ было, разумѣется, увеличено и самое содержаніе. Я не знаю, насколько эти слухи заслуживаютъ вѣроятія, но если вѣрно изъ нихъ хоть одно то, что становымъ дали новую обмундировку, то и тогда уже надо держать ухо востро. Что будетъ, если «онъ», вместо того, чтобы ограждать мои луга отъ потравы, начнетъ читать въ моемъ сердцѣ? Прочтетъ одну страницу, помусить палецъ, перевернетъ, прочтетъ другую и такъ далѣе до конца?

Въ виду этихъ сомнѣній я припоминаль свое прошлое—и на всѣхъ его страницахъ явственно читалъ: куроцапъ! Затѣмъ я обращался къ настоящему и пробовалъ читать, чтѣ тсперь написано въ моемъ сердцѣ; но и здѣсь ничего, кромѣ того же самого слова, не находиль! Какъ будто все мое міросозерцаніе относительно этого предмета выразилось въ одномъ этомъ словѣ, какъ будто ему суждено было не только заполнить прошлое, но и на мое настоящее и будущее наложить неистребимую печать!

Я испугался. Уныло ходилъ я по аллеямъ своего парка и инстинктивно перебиралъ въ умѣ названія различныхъ, болѣе или менѣе отдаленныхъ, городовъ. Потомъ пошелъ на мельницу, но и тамъ шумъ бѣгущей воды навѣялъ на

меня унылые мысли. «Жизнь человеческая,—думалось мнѣ:—подобна этой водѣ. Сейчасъ мы видимъ ее заключенною въ бассейнѣ, а черезъ монентъ она уже устремляется въ пространство... куда?» Потомъ пошелъ по рѣкѣ къ тому мѣсту, гдѣ вчера еще стояла полуразрушенная бесѣдка, и, увидѣвъ, что за ночь вѣтеръ окончательно разметалъ ее, воскрикнулъ:— Быть-можеть, подобно этой бесѣдкѣ, и моя полуразрушенная жизнь...

Однимъ словомъ, какая-то неопределенная тоска овладѣла всѣмъ моимъ существомъ. Иногда въ умѣ моемъ даже мелькала кощунственная мысль: «а вѣдь безъ начальства, пожалуй, лучше!» И что всего несноснѣе: чѣмъ усерднѣе я гналъ эту мысль отъ себя, тѣмъ назойливѣе и образнѣе она выступала впередъ, словно дразнила: лучше! лучше! лучше! Наконецъ я не выдержалъ и отправился на село къ батюшкѣ, въ надеждѣ, что онъ не оставитъ меня безъ утѣшения.

Батюшка уже былъ извѣщенъ о предстоящей перемѣнѣ и какъ разъ въ эту минуту бесѣдовалъ обѣ этомъ дѣлѣ съ матушкой. Оба не знали за собой никакой вины и потому не только не сомнѣвались, подобно мнѣ, но прямо радовались, что и у нихъ на селѣ заведется свой юшнѣе. Такъ что когда я, послѣ первыхъ привѣтствій, нарисовалъ передъ ними образъ станового пристава въ томъ видѣ, въ какомъ огль сложился на основаніи моихъ до-реформенныхъ воспоминаній, то они даже удивились.

— Помилуйте! да вы о комъ это говорите?—воскрикнулъ батюшка:—навѣрно про Савву Оглашеннаго (былъ у насъ, въ древности, такой становой, который вполнѣ заслужилъ это прозвище) вспоминаете? Такъ это при царѣ Горохѣ было, а нынче не такъ! Нынѣшняго станового отъ гвардѣйца не отличишь—вотъ какъ я вамъ доложу! И мундирчикъ, и кепѣ, и бѣльце! Одно слово, во всѣхъ статьяхъ драгунскій офицеръ!

— А какой у нашего новаго станового образъ мыслей!—тому присовокупила матушка, закатывая глаза.

Признаюсь, я не безъ волненія слушалъ эти похвалы, потому что онѣ подтверждали именно то, чего я боялся. Въ особенности напоминаніе обѣ «образѣ мыслей» встревожило меня.

— Говорятъ, будто онъ будетъ въ сердцахъ читать?—робко спросилъ я:—правда ли это?

— Всепремѣнно-ст...

— Помилуйте! да что же онъ тамъ прочтеть?

— Чѣдь написано, то и прочтеть. Ежели у кого написано: «не похваляется»—онъ и въ ремарку такъ занесеть; а ежели у кого въ сердцѣ видится токмо благое послѣшеніе—онъ и въ ремаркѣ напишетъ: «аттестуется съ похвалой!»

— Батюшка! да какъ же это? вѣдь онъ куроцапъ...

Батюшка удивленно вскинулъ на меня глазами и даже слегка помычалъ.

— Это прежде куроцапы были, а по нынѣшнему времени такихъ титуловъ не полагается,—холодно замѣтилъ онъ.—Но ежели бы и доподлинно такъ было, то для имѣющаго чистое сердце все равно, кому его на разсмотрѣніе предъявлять; и «куроцапъ», и «не-куроцапъ» одинаково найдутъ его чистымъ и одобренія достойнымъ! Вотъ ежели у кого въ сердцѣ свило себѣ гнѣзда злоумышленіе...

Батюшка остановился: онъ понялъ, что не великодушно добивать колкостями и безъ того уже убитаго человѣка, и съ видимымъ участіемъ спросилъ:

— Развѣ чувствуете какую-либо вину за собой?

Вопрощъ этотъ смутилъ меня. И прежде не разъ мелькалъ онъ передо мной, но какъ-то въ туманѣ; теперь же, благодаря категорическому напоминанію батюшки, онъ вдругъ предсталъ во всей своей наготѣ.

— Бывало...—отвѣтилъ я уклончиво.

— Напримѣръ?

— Да вообще... вся жизнъ... Вотъ хоть бы «филантропіи» эти... Конечно, до меня еще не добрались, а было и со мной... Занимался. Какъ вы думаете, повредить это мнѣ?

— Смотри по тому. Разныя «филантропіи» бываютъ: и доброкачественные, и недоброкачественные. За первыя—похвала, за вторыя—взысканіе.

— То-то и есть, что я самъ своихъ «филантропій» не разберу. Прежде мнѣ казалось, что онъ доброкачественные, а вотъ теперь... Напримѣръ, такая мысль: хотя свобода есть драгоценнѣйший даръ Творца, но она можетъ легко перейти въ анархію, ежели не обставлена: въ настоящемъ—уплатой оброковъ, а въ будущемъ—взносомъ выкупныхъ платежей. Эту мысль я зарубилъ у себя на носу еще во время особожденія крестьянъ и, я помню, былъ даже готовъ принять за нее мученическій вѣнецъ. Какъ вы полагаете, какова эта «филантропія»? доброкачественная или недоброкачественная?

— По-моему — доброкачественная! Только воть «свобода»... Небольшое это слово, а разговору изъ-за него много бывает. Свобода! гм!.. что такое свобода?! То-то воть и есть... Не было ли и еще чего въ этомъ родѣ?

— Было и еще. Когда объявили свободу вину, я опять не утерпѣлъ и за филантропію принялъся. Проповѣдывалъ, что съ виномъ слѣдуетъ обходиться умненько: сначала въ день одну рюмку выпивать, потомъ двѣ рюмки, потомъ стаканъ, до тѣхъ поръ, пока долговременный опытъ не покажетъ, что пьяному море по колѣна. Въ то время кабатчики очень на меня за эту проповѣдь роптали.

Батюшка слегка поморщился.

— Какъ вамъ сказать? — произнесъ онъ: — Большой недоброкачественности и въ этомъ не видится, а есть однако... Откровенно вамъ доложу: на вашемъ мѣстѣ я бы кабатчиковъ не трогалъ. Почему бы не трогалъ? — а потому, сударь, что кабатчикъ, по нынѣшнему времени, есть столгъ. Прежде были столпы-помѣщики, а нынче столпы-кабатчики. Поэтому я бы и не трогалъ ихъ.

— Но вѣдь по существу...

— По существу — это точно, что особенной вины за вами нѣть. Но кабатчики... И опять-таки повторю: свобода... Какая свобода и что оною достигается? Въ какой мѣрѣ и на какой конецъ? Во благовременіи или не во благовременіи? Откуда и куда? Вотъ сколько вопросовъ предстоитъ разрѣшить! Начни-ка ихъ разрѣшать — пожалуй, и въ Сибири мѣста не найдется! А ежели бы вы, въ то время, вмѣсто «свободы»-то просто сказали: «улучшеніе, моль, быта» — и дѣло было бы попятное, да и вы бы на замѣчаніе не попали!

— Но кто же могъ это предвидѣть? Кто могъ думать, что когда-нибудь становые будуть читать въ сердцахъ?

— Мудрый все предвидѣть. Мудрый такъ поступаетъ: что ему нужно — выскажетъ, а себя подсидѣть — не допустить. Мудрый, доложу вамъ, даже отъ слова «филантропія» воздержится, а просто скажетъ: «благое, съ дозволеніемъ начальства, поспѣщеніе» — и конченъ балъ!

Батюшка остановился и не то укоризненно, не то съ участіемъ покачалъ на меня головой.

— Впрочемъ, — продолжалъ онъ: — ежели настоящимъ mannerомъ разъяснить и притомъ съ раскаяніемъ...

— Да вы, батюшка, со становымъ-то знакомы? — ухватился за эту мысль я.

— Знакомъ достаточно. Малый отличнѣйшій! Молодой ловѣкъ, кепѣ и все такоє... Строгонекъ, конечно, но... понятіемъ.

— Такъ вотъ бы вы... Постарайтесь ужъ, батюшка! вѣдь вся штука въ томъ, чтобы дѣло было представлено въ надлежащемъ видѣ.

Къ моему удовольствію, батюшка согласился на мою россью. Онъ не взялся, конечно, отстоять мою абсолютную правду, но обѣщааль защитить меня отъ злостныхъ реувеличеній, къ которымъ навѣрное не усомнится пригнуть кабатчики, чтобы очернить меня передъ начальствомъ. Съ своей стороны, я вспомнилъ, что нынѣшней осенью мнѣ прислали сотню кустовъ какой-то неслыханной земляники, и предложилъ матушкѣ въ будущемъ году отдать нѣсколько молодыхъ отростковъ для ея огорода.

---

На селѣ, видимо, ждали. Кабатчики чистились и старались сообщить своимъ выставкамъ изящный видъ. Однажды, проходя мимо меня, кабатчикъ Прохоровъ (онъ же по воскресеніямъ и праздникамъ открывалъ у себя сельскій танцклассъ) бойко приподняль картузъ и поздравилъ:

— Съ начальствомъ-сь!

— Не боитесь?

— Напротивъ-сь. Даже съ надеждою ожидаемъ.

Я достаточно на своеемъ вѣку встрѣчалъ новыхъ губернаторовъ и другихъ сильныхъ міра, но никогда у меня сердце не ныло такъ, какъ въ эти дни. Почему-то мнѣ вдругъ показалось, что здѣсь, въ этой глупи, со мной все можно сдѣлать: посадить въ холодную, выворотить наизнанку, истолочь въ ступѣ. Разумѣется, предварительно заинивъ въ измѣнѣ, чтѣ, при умѣни бойко читать въ сердцахъ, сдѣлать очень нетрудно. Поистинѣ никогда я такого сквернаго чувства не испытывалъ.

Я понималъ, что я—российскій дворянинъ, но и только. Затѣмъ я искалъ кругомъ себя тына или ограды, къ которымъ можно бы, въ случаѣ нужды, прислониться—я не находилъ. Я не состоялъ на службѣ—следовательно съ этой стороны защиты не имѣлъ. Я не пользовался громкимъ титуломъ—следовательно никого не могъ пугнуть высокопоставленными связями. Я не былъ особенно богатъ—следовательно никто не надѣялся, что я, подъ веселую руку, созову у себя во дворѣ толпу мужиковъ и

бабъ, заставлю ихъ пѣть и водить хороводы, и первымъ поднесу по стакану водки, а вторыхъ—одѣю пряниками. Кромѣ того, я никого не ограбилъ, контрактовъ на продовольствіе арміи и флотовъ не заключалъ, ничьимъ имуществомъ насильственно не завладѣлъ и даже ни у кого ничего на законномъ основаніи не оттягалъ—слѣдовательно никому не внушилъ ня страха, ни уваженія. Это было до такой степени омерзительно, что многимъ казалось даже страннымъ: зачѣмъ я живу? И уже навѣрное всякому думалось: «вотъ кабы на мѣсто этого разслабленнаго да поселился въ Монрелѣ лихой купчина Разуваевъ (мой со-сѣдъ по имѣнію), то-то бы веселье у насъ пошло!» Но этого мало. Вмѣсто того, чтобы какъ можно безшпоротнѣе позабыть, что я россійскій дворянинъ, я съ удивительной назойливостью обѣ этомъ помнилъ. Я сохранилъ вкусы къ разведенію садовъ и парковъ, чтѣ уже само по себѣ свидѣтельствуетъ о заносчивости; но, сверхъ того, я не «якшался» и—говорять даже—выказывалъ наклонность «задирать носъ». Существовать ли этотъ послѣдній фактъ въ дѣйствительности—по совѣсти, я ни отвергнуть, ни утвердить этого не могу, но, вѣроятно, въ самой моей отчужденности (*«неякшанії»*) было что-нибудь такое, что давало поводъ обвинять меня и въ «задираніи носа». И, разумѣется, это еще больше раздражало: «мразь, а тоже, какъ мышь на крупу надувается!» — въ одинъ голосъ твердили столны-кабатчики.

Огоатѣлый, отживающій, больной, я сидѣлъ въ своеѣ углу, мысленно разрѣшавъ вопросъ: можетъ ли существовать положеніе болѣе анаемское, нежели положеніе россійскаго дворянина, который на службѣ не состоить, ни княжескимъ, ни маркизскимъ титуломъ не обладаетъ, не заставляетъ бабъ водить хороводы и, въ довершеніе всего, не имѣть достаточно денегъ, чтобы переселиться въ городъ и тамъ жить припѣвающи на глазахъ у вышиаго начальства.

Я ни въ земство, ни въ мировой институтъ не попалъ, и не только не попалъ, но ни разу даже не полюбопытствовалъ, что дѣлается на сѣѣздахъ. Какъ-то всегда мнѣ казалось, что не зачѣмъ мнѣ тамъ быть, что я ни курить єиміамъ, ни показывать кукишъ въ карманѣ, ни устраивать мосты и перевозы — одинаково неспособенъ, а становиться...

Повторю: никто не могъ ясно себѣ представить, зачѣмъ

живу, и вследствие этого многие думали и думаютъ, что я умышляю.

За всѣмъ тѣмъ, я не только живу, но и хочу жить, и же, мнѣ кажется, имѣю на это право. Не одни умные бываютъ это право, но и дураки; не одни грабители, но и коихъ грабятъ. Пора наконецъ убѣдиться, что ежели взять право на жизнь у тѣхъ, которыхъ грабятъ, то въ иницѣ концовъ некого будетъ грабить. И тогда грабители вынуждены будутъ грабить другъ друга, а кабатчики—самоцно выпивать все свое вино.

Я хочу жить, несмотря на то, что каждоминутно нахожусь въ ожиданіи, что вотъ-вотъ меня вѣчно слопаетъ. То именно слопаетъ—я даже не стараюсь догадываться, прямо огуломъ думаю: «все можетъ слопать». Ожиданіе о держитъ меня въ хроническомъ беспокойствѣ, заставляетъ смотрѣть на существованіе, какъ на что-то до крайности постылое, и все-таки не убиваетъ во мнѣ жажды жизни. Ахъ, эта проклятая жажда жизни! Какимъ образомъ она такъ крѣпко укореняется въ человѣкѣ—я рѣшильно не понимаю, но хочу жить, хочу! Все думается, что какъ-нибудь да вывернусь, то-есть получу возможность приходить въ разрушеніе постепенно, самъ собою, въ силу естественного хода вещей... (Какой, однако-жъ, идеалъ!) А еще больше думается (и, сознаюсь, не безъ сладкаго трепета думается), что когда-нибудь купецъ Разуваевъ, выведенный изъ терпѣнія задираниемъ моего носа, вдругъ вынѣсть изъ кармана кушъ и скажетъ: «получай и уйди съ глазъ долой!» Господи! вотъ кабы... Какъ бы однако-жъ Разуваеву при этомъ невзначай не нагрубить—вѣдь онъ, каналья, самолюбивъ! Онъ—самолюбивъ, и я—самолюбивъ; онъ потребуетъ, чтобы я колѣнцо передъ нимъ выкинуль; а я—за это ему въ шею! Нѣтъ, ужъ такъ и быть, вытерплю! все вытерплю, даже колѣнцо выкину, лишь бы... И тогда, заполучивъ кушъ, уйду, уйду навсегда! поселюсь въ городѣ, запишусь членомъ въ клубъ и буду каждый вечеръ забавляться въ табельку по четверти копейки за пунктъ.

Весь преданный тревогѣ въ ожиданіи начальства, я невольно спрашивалъ себя: «почему же *прежде* никогда этого со мной не бывало? почему я *прежде* не сомнѣвался въ себѣ, а *теперь*—сомнѣваюсь? почему я *прежде* не предполагалъ, чтобы что-нибудь могло меня слопать, а *теперь*—не только предполагаю, но и всесчасно того ожидаю?» И, по зрею размышленіи, долженъ быть дать такой от-

вѣтъ: «потому что прежде не было раздѣленія людей изъ благонамѣренныхъ и неблагонамѣренныхъ, на благонадежныхъ и неблагонадежныхъ».

Понятій такихъ не было: а потому и лицъ, которымъ удобно было бы взвалить на плеча качества, соединенные съ этими понятіями, не существовало. Была одна маршировка.

Никто не могъ себѣ представить, чтобы на всемъ лицѣ российской имперіи нашелся человѣкъ, которому можно было бы сознательно присвоить титулъ неблагонамѣренного или политически-неблагонадежного лица. Не упоминалось ни объ основахъ, ни о краеугольныхъ камняхъ, а следовательно не могло быть и рѣчи ни о подкапываніяхъ, ни о потрясеніяхъ. Все такъ естественно стояло на своемъ мѣстѣ, что никому не приходило даже въ голову полюбопытствовать, что тутъ такое стоитъ. Не было повода любопытствовать, да и прихотливыхъ людей почти совсѣмъ не существовало. Всякій проходилъ мимо самыхъ несомнѣнныхъ краеугольныхъ камней точно такъ же бездумно, какъ бездумно проходитъ любой маленький чиновникъ своей ежедневный крестный путь отъ Песковъ до Главнаго Штаба или Сената. Для этого чиновника достаточно, что улица, по которой онъ проходилъ вчера, существуетъ и нынѣ, и что она, по вчерашнему же, съ обѣихъ сторонъ ограничена домами — стало-быть, нѣть резона не существовать ей и завтра, и послѣ-завтра, и такъ далѣе безъ конца.

Бывали, правда, и въ то время казнокрады, вымогатели, взяточники, бывали даже люди, позволявшіе себѣ носить волосы болѣе длинные, чѣмъ нужно. Но это были лишь отдельныя разновидности одной и той же семьи, существованіе которыхъ не компрометировало ни основъ, ни краеугольныхъ камней. Или, лучше сказать, это были случайные носители «злой воли», которые и наказывались, сколько кому надлежитъ, ежели не умѣли хоронить концы въ воду. «Ты казнокрадъ — шествуй въ Сибирь; ты отростиль грибу — садись на гауптвахту». Но о краеугольныхъ камняхъ не упоминалось, обобщеній не дѣлалось, и стремленія группировать людей на какія-то мнимыя сословія («охранителей» и «прогрессистовъ», какъ нѣкогда выразился академикъ Безобразовъ) — не существовало.

Понятно, что при такой простотѣ воззрѣній за-глаза достаточно было и куроцаповъ, чтобы удовлетворять всѣмъ

ребностямъ благоустройства и благочинія. Въ ихъ вѣ-  
ніи была маршировка; а такъ какъ въ то время все  
было такъ подстроено, что всякий маршировалъ самъ со-  
всемъ, то куроцапы не сутились, не нюхали, но просто взи-  
мали дани, а въ прочее время лили безъ просыпу.

Но по мѣрѣ нашего соціального и интеллектуального  
звитія глаза наши все больше и больше раскрывались.  
наконецъ раскрылись до того широко, что мы всю  
ссю подѣлили на два лагеря: въ одномъ — благонамѣ-  
дленіе и благонадежные, въ другомъ — неблагонамѣ-  
реніе и неблагонадежные. А такъ какъ это дѣленіе послѣдо-  
вало не на основаніи твердыхъ фактическихъ изслѣдований,  
а просто явилось отвѣтомъ на требование темперамента,  
будораженного преимущественно крестьянской реформой,  
весьма естественно, что на первыхъ же порахъ произошла путаница.

Наружныхъ признаковъ, при помощи которыхъ можно  
было бы сразу отличить благонамѣренія отъ неблагона-  
мѣренія — нѣть; ожидать поступковъ — и мѣшкотно, и  
кучно. А между тѣмъ взбудораженный темпераментъ не  
аетъ ни отдыха, ни срока, и все подсказываетъ: ищи!  
Пришлось сказать себѣ, что въ этой крайности имѣется  
единъ только способъ выйти изъ затрудненія — это сердце-  
вѣдѣніе.

Явился запросъ на сердцевѣдѣніе — явились и сердце-  
вѣды. Мало того, явились и помощники сердцевѣдовъ изъ  
числа охочихъ людей, публицисты, кабатчики, мелкіе тор-  
гаші, старшины, писаря, церковники...

Все это я выяснилъ себѣ очень хорошо, но, къ сожалѣ-  
нію, никакой пользы отъ этихъ разъясненій для себя не  
извлекъ. Главное, у меня не было увѣренности, что я  
самъ-то благонамѣреній. То-есть, я-то собственно очень  
твѣрдо понималъ себя таковыми, но не зналъ, какъ опо-  
вѣдѣтъ передъ судомъ сердцевѣдѣнія.

Что я имѣлъ поводъ питать въ этомъ отношеніи сомнѣ-  
нія — въ этомъ убѣждалъ меня батюшка. Даже и онъ ото-  
звался обо мнѣ какъ-то на-двоє. Сначала сказалъ: «добро-  
качественно», а потомъ присовокупилъ: «только вотъ сво-  
бода...» Только? И это, такъ сказать, съ первого взгляда,  
а что же будетъ, если поискать вплотную? Да, «мудрый»  
такъ не поведеть дѣла, какъ я его вѣль! «Мудрый» покажетъ,  
что нужно — и сейчасъ въ кусты! А я? Впрочемъ,  
что же я, въ самомъ дѣлѣ, такое сдѣлалъ?

И ничего, и очень много—какъ посмотрѣть! И пятнадцать лѣтъ тому назадъ, и какъ будто только вчера—тоже какъ посмотрѣть. Тысяча лѣтъ яко день единъ—для такихъ проказъ, пожалуй, и давности не полагается. «Свобода»!—право, даже смѣшино! Какъ это языкъ у меня повернулся? какъ онъ не отсохъ? А главное, какъ мнѣ не пришло въ голову замѣнить «свободу»—улучшеніемъ быта? А теперь расплачивайся!

И вотъ, несмотря на обнадеживанія батюшки, я беспокойно скитался по аллеямъ своего парка—и сравнивалъ. Сравнивалъ прошедшее съ настоящимъ, маршировку съ сердцевѣдѣніемъ. И дошелъ наконецъ да такого абсурда, что склонился на сторону маршировки...

Наконецъ, однажды, поздно вечеромъ, ко мнѣ на мызу прибѣжалъ батюшка и возвѣстилъ: «пріѣхалъ!»

Явился вопросъ обѣ этикетъ: кому сдѣлать первый шагъ къ сближенію? И у той, и у другой стороны правы были почти одинаковы. У меня было богатое дворянское прошлое, но зато настоящее было плохо и выражалось единственное въ готовности во всякое время слѣдовать, куда глаза глядятъ. У «него», напротивъ, богатое настоящее (всемогущество, сердцевѣдѣніе и проч.), но зато прошлое резюмировалось въ одномъ словѣ: куроцапъ! Надо было устроить дѣло такъ, чтобы ничьему самолюбію не было нанесено обиды.

По всестороннемъ обсужденію, мы остановились на слѣдующемъ планѣ. И я, и «онъ» сойдемся въ домѣ батюшки. Завтра, въ одиннадцать часовъ утра, я, какъ будто тузяя, зайду къ батюшкѣ, а въ то же время и «онъ», какъ будто тузяя, придетъ туда же. И такимъ образомъ произойдетъ приятный сюрпризъ.

Вотъ именно такъ и случилось: безъ шума, безъ пререканий, легко, пріятно. Батюшка былъ правъ: нашъ становой не только не напоминалъ собой Савву Оглащенного, но даже и на станового почти совсѣмъ не походилъ. Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати, сухощавый, легкій на ногу, съ манерами настолько добронорядочными, что, казалось, онъ даже понятія не имѣлъ о сквернословіи. Мундирчикъ (совсѣмъ неожиданного для меня покроя) сидѣлъ на немъ какъ вылитый, дѣлая изъ талии ловкій перехватъ; мнѣ показалось даже, что онъ стукнулъ широрами, когда я вошелъ. Но-французски онъ не говорилъ, но нѣкоторыя русскія

ва произносил въ носъ и этимъ вводилъ въ заблуждение. Сверхъ того, онъ помадилъ волосы и—что всего трогательнее—изывался Миліемъ Васильевичемъ Грациановымъ. Отнесся онъ ко мнѣ отлично; выразился, что давно искалъ учаю со мной познакомиться, и хотя условно, но все-таки призналъ за мной иѣкоторыя литературныя заслуги. Но и этомъ, разумѣется, слегка покурилъ за то, что я, въ первое время моей литературной дѣятельности, слишкомъ юбили попытіе о куроцапствѣ и даже приписывалъ ему какое-то почти должностное значеніе.

— Быть-можеть, и въ настоящую минуту, видя меня, вы мысленно воскликаете: «вотъ куроцапъ!» — прибавилъ онъ, словно угадываая, что происходило въ глубинахъ моего сердца.

Это было не въ бровь, а прямо въ глазъ, такъ что если бы онъ вздумалъ дать своему вопросу дальнѣйшее развитіе, то я навѣрно бы во всемъ сознался. Но онъ очень лило скользнуль по моей душевной рапѣ и перешелъ къ другимъ предметамъ. Чрезвычайно умно и тонко отозвался о распоряженіяхъ губернскаго начальства, но не работѣтьствовать заочно, а, напротивъ, заявилъ, что само начальство «отъ настѣ» работѣства не требуетъ. Сообщилъ, что, по инициативѣ исправника, становые разъ въ мѣсяцъ собираются въ уѣздный городъ для обмѣна мыслей. На собранияхъ этихъ, разумѣется, прежде всего читаются указы и предписанія и обсуждаются мѣры къ быстрому, точному и единообразному ихъ выполненію, но, кроме того, возбуждаются и иѣкоторые теоретическіе вопросы. Такъ, напримѣръ, на послѣднемъ сѣѣзѣ разсуждалось о томъ, что могутъ означать слова закона: «съ скоростью и строгостью», и было решено, что это значитъ: немедленно и не послѣдяющи. На будущемъ же сѣѣзѣ предполагаютъ прочитать рефератъ о томъ, какъ слѣдуетъ понимать выраженіе: «по точному онаго разумѣнію».

— Вообще, я полагаю такъ: мы, становые, обязываемся держаться не буквы, а смысла, — прибавилъ онъ: — и въ этомъ именно заключается отличіе нынѣшней становой системы отъ прежней. Свободы больше! свободы! Чтобы руки не были связаны! чтобы для мѣропріятій было больше простору! Воздуху! воздуху больше!

Разумѣется, я только качалъ головою и моргалъ глазами въ знакъ единомыслія, хотя, признаюсь, когда онъ, подобно народному трибуну, восклицалъ: «свободы больше! сво-

боды!» — я такъ и думалъ, что голось его дрогнетъ. Однако онъ не только произнесъ эти слова совершенно безбоязненно, но какъ ни въ чемъ не бывало продолжать свою *profession de foi*. Заявилъ, что читаетъ «Правительственный Вѣстникъ» какъ романъ и въ восторгѣ отъ «Сенатскихъ Вѣдомостей» («только надо умѣть владѣть этимъ орудіемъ», сказаъ онъ), и затѣмъ нѣсколько неожиданно перешелъ къ перечисленію своихъ губернскихъ начальниковъ и при каждомъ имени позамѣтилъ, но несомнѣнно привставалъ на стулѣ, побуждая и пась дѣлать подобное же движеніе. Потомъ опять перешелъ къ своему личному положенію и отозвался, что хотя онъ и маленький человѣкъ въ служебной іерархіи, но что и на маленькомъ мѣстѣ можно небольшую пользу государству принести, какъ это уже и предусмотрѣно мудрой русской пословицей, гласящей: «лучше маленькая рыбка, чѣмъ большой тараканъ». Что нынче, впрочемъ, различіе между малыми и большими должностями мало-по-малу стирается, и всѣ начинаютъ уже понимать, что въ сущности и большіе чины, и малые — всѣ составляютъ одну семью.

— Конечно, покуда это еще идеальгь, — прибавилъ онъ скромно: — но первые шаги къ осуществленію его уже сдѣланы. Не далѣе, какъ недѣлю тому назадъ, встрѣтилъ я на станціи дѣйствительнаго статскаго советника Фарафонтьева, который прямо сказалъ мнѣ: «ты, братъ, не смущайся тѣмъ, что ты только становой! всѣ мы подъ Богомъ ходимъ!»

Высказавши все это, онъ умолкъ, и батюшка мигнуль мнѣ, что теперь, дескать, самое время предъявить ему мое сердце. Но такъ какъ въ выслушаній мною исповѣди заключалось еще нѣсколько не совсѣмъ ясныхъ для меня пунктовъ, то я и рѣшился предварительно предложить нѣкоторые вопросы.

— Вы прекрасно очертили теоретическую сущность современной становой системы, — сказалъ я. — Откровенное отношеніе къ начальству; быстрое, точное и притомъ однобразное выполненіе предписаний; разъясненіе недоумѣній, возбуждаемыхъ выраженіями, въ родѣ: «по точному онаго разумѣнію»; стремленіе къ расширенію свободы мѣропріятій — это картина несомнѣнно грандіозная, достойная кисти великаго художника. Тѣмъ не менѣе это все-таки только идеалы или, лучше сказать, свѣточи, освѣщающіе становой путь... Къ сожалѣнію, на этомъ пути встречаются обыва-

тели, для которыхъ собственно эти идеалы и сочиняются. А такъ какъ къ числу обывателей принадлежу и я, то естественно меня должно интересовать, какъ относится становая практика къ этимъ бѣднымъ людямъ, которые, нерѣдко сами того не сознавая, могутъ представлять весьма серьезный преткновенія для самыхъ непоколебимыхъ становыхъ идеаловъ? Чего требуете вы отъ нихъ?

— Что касается до меня,—отвѣтилъ онъ:—то я понимаю свои обязанности къ обывателямъ такъ: во-первыхъ, образовать въ средѣ управляемыхъ мною вѣрныхъ исполнителей предначертаній и, во-вторыхъ, — укоренить въ нихъ любовь къ труду. Только и всего.

— Понимаю. Такова, безспорно, воспитательная сторона становой практики. Но рядомъ съ нею, къ сожалѣнію, мы проводимъ и сторону пресѣкательную. Встрѣчаются по временамъ субъекты, которые намѣренno... а впрочемъ, болѣею частью ненамѣренno... ускользаютъ отъ воспитательного воздействиia и, разумѣется, навлекаютъ этимъ на себя гиѳвъ... Какимъ образомъ, то-есть съ какою степенью строгости предполагаете вы поступать относительно ихъ?

Онъ на мгновеніе вперилъ въ меня испытующій взоръ, но, не желая, вѣроятно, для первого знакомства, подвергать меня взысканію,—отвѣтилъ сурово:

— Я полагаю сихъ вредныхъ членовъ отѣкатъ-сь.

— Совершенно понимаю. Но вѣдь для того, чтобы отѣчь какъ слѣдуетъ, необходимо предварительно ихъ уличить...

— Сумѣемъ и это-сь.

— Стало-быть, вы будете ожидать поступковъ?

— Не думаю-сь.

— Будете читать въ сердцахъ?

— Всенепремѣнио-сь.

Тогда произошло во мнѣ нѣчто чудное и торжественное: я вдругъ почувствовалъ, что все мое существо сладко залюбовалось. И не скажу, чтобы это было раскаяніе—нѣтъ, не опо! — а скорѣе всего какое-то безграничное, неудержимое, почти дѣтское довѣrie! Приди и виждь!

— Въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ предъявить вамъ мое сердце! — воскликнулъ я, устремляясь впередъ и чуть не захлебываясь отъ наплыва чувствъ.

— Я высказалъ это такъ искренно, что батюшка нѣсколько разъ сряду одобрительно кивнулъ мнѣ головою, а у матушки даже дрогнули на глазахъ слезы. Онъ самъ не

выдержаль, взяль меня за руку и, ничего еще не видя, крѣпко сжалъ ее.

— Прежде всего, — продолжалъ я: — сознаюсь въ ниже-  
съдѣющемъ. Пятнадцать лѣтъ тому назадъ я занимался  
«благими поспѣшніями» и при этомъ неподлежателно и  
дерзостно призывалъ мѣньшу братію къ общенію.

— Почему же «неподлежателно»? — перебилъ онъ меня  
мягко и какъ бы успокаивая. — По-моему, и «общеніе»...  
почему же и къ нему не прибѣгнуть, ежели оно, такъ скажать... И мѣньшаго брата можно прilаскать... Ну, а на-  
дѣбль — не прогнѣвайся! Вообще я могу вѣсть успокоить,  
что иныче словъ не боятся. Даже сквернословіе, доложу  
вамъ — и то не признается вреднымъ, ежели оно выражено  
въ приличной и почтительной формѣ. Дѣло не въ словахъ  
собственно, а въ тайныхъ намѣреніяхъ и помышленіяхъ,  
которыя слова за собою скрываютъ.

— Вы слишкомъ добры, — отвѣтилъ я. — Я самъ прежде  
такъ думалъ, но иныѣ разсудилъ, что даже такое выра-  
женіе, какъ «кимвалъ бряцающій» — и то можетъ быть упо-  
требляемо лишь въ крайнихъ случаяхъ и съ такою при-  
томъ осмотрительностью, дабы не вводить въ соблазнъ!  
Вотъ каковъ мой иныѣшній образъ мыслей!

— Вообще это правило, конечно, заслуживаетъ полнаго  
одобренія, но въ частности я нахожу, что и въ похваль-  
ныхъ чувствахъ необходимо соблюдать извѣстную сдержан-  
ность и не утаивать отъ начальства выражений, сокрытіе  
которыхъ, съ одной стороны, могло бы поставить его въ  
недоумѣніе, а съ другой — свидѣтельствовало бы о недо-  
статкѣ къ нему довѣрія. Напримѣръ, вы сказали сейчасъ:  
«кимвалъ бряцающій» — какое это прекрасное выраженіе!  
а между тѣмъ, благодаря недостатку откровенности, очень  
можетъ быть, что оно начальству даже и теперь неизвѣстно!  
А впрочемъ, повторяю: все зависитъ отъ того, въ чёмъ  
заключались ваши филантропическія затѣи. Прошу про-  
должать — я весь вниманіе.

— Во-первыхъ, я, ничего не понимающи и безъ вся-  
каго на то уполномочія, ежечасно, ежеминутно болталь о  
свободѣ...

— О свободѣ-сь? зачѣмъ-сь? — переспросилъ онъ меня  
несколько удивленно, но, впрочемъ, и на этотъ разъ, ради  
перваго знакомства, удержался отъ взысканія.

— Да, о свободѣ. И это происходило какъ разъ во  
время крестьянской эманципаціи. При семъ я однакожъ

соловокуплять, что истинная свобода должна быть ограничена: въ настоящемъ — уплатой оброковъ, а въ будущемъ — взносомъ выкупныхъ платежей. И что ежели все это будетъ выполняемо своевременно и бездоимочно, то свобода придется въ анархію, а анархія — въ военную экзекуцію! — Что-жъ! по-моему, это толкованіе «свободы» правильное, и я думаю, что его приличнѣе назвать даже «свойствіемъ»... Съ своей стороны, я готовъ доложить господину исправнику...

— Не въ томъ дѣло. Я и самъ знаю, что лучше этого толкованія желать нельзя! Но... «свобода»! вотъ въ чёмъ вопросъ! Какое основаніе имѣлъ я (не будучи развращенъ въ мозга костей) прибѣгать къ этому слову, коль сколько выраженіе, вполнѣ его замѣняющее, а именно: улучшеніе быта?

— «Улучшеніе быта»? — вопросительно повторилъ онъ и атѣмъ ласково посмотрѣлъ на меня и махнулъ рукой, такъ бы говоря: твоя наивность приводитъ меня въ восхищеніе! — Продолжайте, пожалуйста! — предложилъ онъ.

— И еще я, тоже не понимающи, утверждалъ, что необходимо дать дѣлу такое направленіе, чтобы, съ одной стороны, крестьянинъ сейчасъ же почувствовалъ, а съ другой — помѣщикъ сколь возможно меныше ощущилъ.

— Ну, такъ что-же-съ? — перебилъ онъ уже совсѣмъ изумляясь.

— Извините меня, но теперь я совсѣмъ не такъ думаю. Теперь, напротивъ, я убѣжденъ, что необходимо такъ действовать, чтобы ни крестьянинъ, ни помѣщикъ — никто не почувствовалъ и не ощущилъ! вотъ мой образъ мыслей — *теперь!*

Онъ на минуту сдѣлался серьезенъ; потомъ протянулъ мнѣ руки и сказалъ:

— Вы правы. Вы угадали мою мысль.

— Очень счастливъ. Но ежели за мои тогдашнія затѣи мнѣ суждено отвѣтствовать по всей строгости законовъ, то могу ли я, по крайней мѣрѣ, надѣяться, что настоящая перемѣна въ моемъ образѣ мыслей будетъ принята во вниманіе?

— Ежели эта перемѣна искренняя, то несомнѣнно будетъ. Въ этомъ я вамъ ручаюсь! я доложу и даже, въ случаѣ надобности... Но продолжайте, прошу васъ.

— И еще я утверждалъ, что необходимо поднять духъ обывателей...

— Зачѣмъ-сь?

— Затѣмъ, во-первыхъ, дабы содѣлать этотъ духъ способнымъ къ воспринятію начальственныхъ мѣропріятій, и, во-вторыхъ, затѣмъ, чтобы, закаливъ оный, сообщить ему ту непоколебимость, которая необходима въ видахъ перенесенія бѣдствій.

— Вы и теперь настаиваете на этой мысли?—спросилъ онъ, какъ бы опечаленный неожиданнымъ открытиемъ, которое въ ближайшемъ будущемъ, быть-можетъ, поставить его въ необходимость дѣйствовать относительно меня съ скоростью и строгостью.

— Нѣть, не настаиваю,—отвѣчалъ я:—ахъ, да и могу ли я на чѣмъ-нибудь настаивать! Чѣмъ мы такое? Временные путники въ этой юдоли—и больше ничего! Нѣть, я не настаиваю, хотя признаюсь откровенно, что предметъ этотъ и теперь не настолько для меня ясенъ, чтобы я не нуждался въ начальственныхъ указаніяхъ. Вотъ обѣ этихъ-то указаніяхъ я и прошу васъ, при чѣмъ, конечно, зараньше даю обязательство, что съ полнымъ довѣріемъ подчинюсь всякому решению, которое вамъ угодно будетъ произнести.

— Въ такомъ случаѣ скажу вамъ слѣдующее: лучше не поднимать! Ни духа, ни вообще... ничего! Конечно, на мѣренія ваши не были вполнѣ противозаконны, но, знаете ли, самое слово: «поднять»... «Поднять»—всѧко можно... понимаете: поднять! Нѣть, ужъ пожалуста! пускай это праздное слово не омрачаетъ воспоминанія о свѣтлыхъ минутахъ, которыя мы провели при первомъ знакомствѣ съ вами! Выкините его изъ головы!

— Выкину и никогда къ нему не возвращусь!

— И съ Богомъ. Дальше-съ.

— И еще я утверждалъ—это происходило, когда объясняли свободу вину,—что съ полугаромъ надо обращаться осмотрительно, не начинать прямо съ цѣлаго штофа, но постепенно подготавлять себя къ оному, сначала выпивая рюмку, потомъ двѣ рюмки, потомъ стаканъ и т. д. Не смѣю скрыть, что этой филантропической выдумкой я возбудилъ противъ себя неудовольствие всѣхъ господъ кабатчиковъ.

— Гм!.. кабатчиковъ... Это, я вамъ доложу, серьезно!

— Неужели даже серьезнѣе, нежели...

— Да-съ, серьезнѣе. Не думайте однако-жъ, чтобы я покровительствовалъ пьяницамъ—нѣть, я имъ не потат-

ты! Но кабатчики—это совсѣмъ другое дѣло! Вы, го-  
ода обыватели, смотрите на вещи съ точки зрѣнія слиш-  
мь исключительной! вы моралисты—и ничего больше.  
ы, становые, поставлены въ этомъ случаѣ въ положеніе  
лѣ благопріятное: мы относимся къ явленіямъ съ точки  
ѣнія государственной. Но, сверхъ того, мы имѣемъ и  
скоторые особливыя указанія. Поэтому вы можете смѣло  
звѣрить мнѣ на-слово, если я вамъ скажу: не раздра-  
гайте! не раздражайте господъ кабатчиковъ, ибо въ на-  
стоящее время на нихъ покоятся всѣ наши упованія!

— Вотъ и я имъ тоже говорить, что раздражать не  
нѣдуетъ,—откликнулся съ своей стороны батюшка.

— Не раздражайте! — продолжалъ Граціановъ, посте-  
нно возвышая голосъ:—потому что даже я не могу по-  
лучиться, къ какимъ послѣдствіямъ можетъ привести по-  
обный необдуманный образъ дѣйствія. Не раздражайте,  
потому что наконецъ я не имѣю права потерпѣть, чтобы  
въ районѣ моего вѣдомства кто бы то ни было потрясалъ  
милу и авторитетъ патента! И не потерплю-сь.

Онъ не выдержалъ и, поднявъ вверхъ указательный пал-  
ецъ, слегка помахалъ имъ около моего носа.

— Надѣюсь, что вы раскаиваетесь?—продолжалъ онъ,  
нѣсколько понизивъ тонъ, но все еще строго.

— Раскаиваюсь,—отвѣчалъ я:—но боюсь, что репутація  
моя въ глазахъ господъ кабатчиковъ настолько уже подо-  
рвана, что самое раскаяніе мое...

— Это я берусь устроить,—сказалъ онъ уже совсѣмъ  
снисходительно:—насъ, представителей правящихъ клас-  
совъ общества, такъ немногого въ этой глупи, что мы дол-  
жны дорожить другъ другомъ. Мы будемъ собираться и  
проводить вмѣстѣ время—и тогда сближеніе совершиится  
само собою. Ну, а затѣмъ-сь... Не знаете ли вы и еще  
чего-нибудь за собою?

— Кажется, все. Но, впрочемъ, если бы что-нибудь ума-  
лилъ или совсѣмъ изъ вида упустилъ, то заранѣе каюсь:  
во всемъ грѣшень.

— А я—заранѣе разрѣшаю и отпускаю...

Эта снисходительность до того меня раскуражила, что я  
уже осмѣлился прямо поставить вопросъ такъ:

— Стало-быть, я могу надѣяться, что жизнь моя не бу-  
детъ неожиданнымъ образомъ прервана?

Онъ подумалъ немного, по затѣмъ твердымъ и рѣши-  
тельнымъ голосомъ сказалъ:

— Может!

Это было даже болѣе, нежели я желалъ. Послѣ того разговоръ уже продолжался только для проформы.

Въ заключеніе онъ крѣпко пожалъ мою руку и даже чуть-чуть не поцѣловалъ меня. Но, поколебавшись съ минуту, казалось, сообразилъ, что еще недостаточно испытать меня, и потому отложилъ выполненіе этого обряда до болѣе благопріятнаго времени.

— А теперь прощайте, господа!—сказалъ онъ, вставая:—и да хранить васъ Богъ. Если же вы желаете узнать ближе мои воззрѣнія на предстоящія мнѣ обязанности, также какъ и на ту роль, которая отведена въ этихъ воззрѣніяхъ обывателямъ вѣренного мнѣ стана, то прошу пожаловать завтра, въ девять часовъ утра, въ становую квартиру. У меня будетъ пріемъ урядниковъ.

Разумѣется, мы съ радостью согласились и затѣмъ, вмѣстѣ съ батюшкой, проводили его до квартиры. Я чувствовалъ, что съ моей души скатилось бремя, и потому весело и проворно шлепалъ по грязи. Мысль, что нашъ путь лежитъ мимо кабака купца Прохорова, и что послѣдній увидѣгъ насъ дружески бесѣдующими, производила во мнѣ нечто въ родѣ сладкаго опьяненія. Наконецъ я не выдержалъ, и изъ глубины души моей вылегѣль вопросъ:

— Милій Васильичъ! да скажите же наконецъ, въ какомъ заведеніи вы получили воспитаніе?

На что онъ скромно отвѣтилъ:

— Я получилъ воспитаніе очень недостаточное и именно въ училищѣ для дѣтей канцелярскихъ служителей. Но по выпускѣ изъ онаго я поступилъ въ губернаторскую канцелярію и тамъ, видя ежедневно чиновниковъ особыхъ порученій его превосходительства, сумѣлъ воспользоваться этимъ, чтобы усовершенствовать свои манеры. И вотъ, какъ видите... Что же касается до моихъ воззрѣній на жизнь и міръ, то я почерпалъ ихъ изъ предписаній и циркуляровъ моего начальства.

— Не можетъ быть! извините меня, но, право, глядя на васъ, я думалъ: навѣрное онъ получилъ воспитаніе... ну, по малой мѣрѣ, въ заведеніи Марцинкевича!

Онъ выслушалъ это предположеніе съ удовольствіемъ, но при этомъ очень мило погрозилъ мнѣ пальцемъ, какъ бы говоря: льстецы!

Вотъ рѣчь, которую онъ произнесъ, въ нашемъ присут-

ствій, урядникамъ, собравшимся на другой день утромъ на дворѣ становой квартиры:

«Господа урядники! я собралъ васъ здѣсь, прежде всего, чтобы заявить во всеуслышаніе, что горжусь вами. При чёмъ, конечно, ожидаю, что и вы, въ свою очередь, будете мною гордиться.

«Только взаимное и непрерывное горженье другъ другомъ можетъ облагородить насъ въ собственныхъ глазахъ нашихъ; только оно можетъ сообщить соответствующій блескъ нашимъ дѣйствіямъ и распоряженіямъ. Видя, что мы гордимся другъ другомъ, и обыватели начнутъ гордиться нами, а со временемъ, быть-можеть, перенесутъ эту гордость и на самихъ себя. Ибо ничто такъ не возвышаетъ духъ обывателей, какъ видъ гордящихся другъ другомъ начальниковъ!

«Въ этомъ заключается весь секретъ истории!

«Затѣмъ я считаю нeliшнимъ изложить передъ вами вкратцѣ мой взглядъ на ваши обязанности. Прошу выслушать меня внимательно.

«Во-первыхъ, вы должны знать *все*, что дѣлается въ нашихъ сотняхъ, потому что, только зная *все*, вы получите возможность обо *всемъ* доводить до моего свѣдѣнія. Я же обязанъ знать *все*, потому что, въ противномъ случаѣ, многое осталось бы мнѣ неизвѣстнымъ, чего я ни подъ какимъ видомъ допустить не могу.

«Чтобы знать *все*, нѣть никакой необходимости во вмѣшательствѣ какихъ-либо сверхъестественныхъ или волшебныхъ силъ. Достаточно имѣть острый слухъ, восспособляемый не менѣе острымъ зрѣніемъ — и ничего больше. Въ Западной Европѣ давно уже съ успѣхомъ пользуются этими драгоценными орудіями, а по примѣру Европы и въ Америкѣ. У насъ же, при чрезвычайной простотѣ устройства нашихъ жилищъ, было бы даже непростительно пренебречь сими дарами природы.

«Но тамъ, гдѣ слухъ и зрѣніе оказались бы недостаточными, немаловажнымъ подспорьемъ можетъ послужить цѣлесообразная и строго обдуманная система вопросовъ, которую я называлъ бы системою вопросеній. Такъ, напримѣръ, ежели вы встрѣчаете идущаго по улицѣ односельца, то первый и самый естественный вопросъ долженъ быть таковъ: куда идешь? Если же вы встрѣчаете на улицѣ не односельца, но лицо неизвѣстного происхожденія, то, кромѣ этого вопроса, надлежитъ предлагать еще слѣдующіе: от-

куда? зачѣмъ? гдѣ быть вчера? покажи, что несешь? кто въ твоей мѣстности сотскій, староста, старшина, господинъ становой приставъ? И замѣтьте, господа, никто не вправѣ уклоняться отъ отвѣтовъ на ваши вопросы, ибо фактъ уклоненія уже самъ по себѣ составляетъ неповиновеніе властимъ. Но, кромѣ того, онъ означаетъ и косвенное признаніе не вполнѣ чистыхъ намѣреній уклоняющагося. Невинный человѣкъ отвѣчаетъ немедленно, не ожидая подзатыльника; отвѣчаетъ быстро, торывисто, отчетливо, твердо, звонко. На противъ того, человѣкъ, за которымъ водятся грѣшки, даже и по полученіи подзатыльника, путается, отвѣчаетъ уклончиво, неохотно, а иногда прямо съ дерзостью говорить: не твое дѣло! Таковыхъ надлежитъ, безъ потери времени, взять за караулъ, представлять по начальству, для изслѣдованія.

«Господа! я не безъ намѣренія остановился на этомъ предметѣ больше, чѣмъ нужно, ибо онъ есть фундаментъ, на которомъ зиждится наша становая внутренняя политика. Съ помощью системы вопросенія, а также при посредствѣ слуха и зрѣнія... а быть-можетъ, и обонянія... мы получаемъ такой богатый запасъ свѣдѣній и материала, который стѣть только надлежащимъ образомъ обработать, чтобы передъ нами предстала картина современаго быта, такая картина, которая заставитъ содрогнуться начальственный сердца. Итакъ, сначала напишемъ эту картину—и чѣмъ смѣлѣе, тѣмъ лучше—а затѣмъ, разумѣется, подумаемъ и о томъ, какъ слѣдуетъ поступить, дабы превратить ея неблагонамѣренное содержаніе въ благонамѣренное. Имѣя ее въ виду, мы бодро пойдемъ на встречу злоумышленію, и ежели находящаяся въ нашихъ рукахъ арѣадина нить приведетъ насъ къ дверямъ логовища, то ужъ, конечно, не для того, чтобы осрамиться въ немъ, но для того, чтобы несомнѣнно и неминуемо обрѣсти поличное!

«Вторая ваша обязанность заключается въ слѣдующемъ: вы должны употребить всѣ усилия, чтобы обыватели содѣствовали вамъ. Чтобы достичь этого, вы можете воспользоваться всѣми имѣющими у васъ преимуществами власти, начиная съ увѣщаній и кончая требованіями, не терпящими возраженій. Вы можете, въ случаѣ надобности, даже употребить мое имя. Помните, господа, что содѣствие, о которомъ я говорю, памъ безусловно необходимо. Какъ это ни больно для нашего самолюбія, но должно со-

ясь, что если мы не будемъ имѣть приспѣшниковъ въ вательской средѣ, то не исполнимъ и малой доли тѣхъ чь, кои намъ предстоятъ. Это одна изъ тѣхъ печальныи истинъ, съ которыми мы сразу должны примириться, тѣмъ, чтобы потомъ и не возвращаться къ нимъ. Но, вывая этотъ фактъ печальнымъ, я въ то же время имѣю право назвать его и радостнымъ, потому, во-первыхъ, что вводитъ насть въ общеніе съ обывателемъ, а во-вторыхъ, и потому, что дѣлаетъ сего послѣдняго нашимъ со-дѣстникомъ. Я согласенъ, что онъ умаляетъ тотъ ореоль могущества, которымъ мы были бы окружены, если бы падали таковыи, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ограждается съ отъ злорѣчія и гласить во всеуслышаніе о чистотѣ нашихъ намѣреній. И, вдобавокъ, даетъ намъ слу-жій дѣлать полезныя наблюденія и надѣ самими содѣй-вующими.

«Но содѣйствіе, о которомъ идетъ рѣчъ, можетъ быть всякаго рода. Во-первыхъ, содѣйствіе дѣйствительное, подносящее и безусловно полезное; во-вторыхъ, содѣй-ствіе не особенно полезное, но и не вредное; и въ-третьихъ, дѣйствіе положительно вредное.

«Дѣйствительнаго и истинно плодотворнаго содѣйствія вы можете ожидать по преимуществу отъ господъ кабатчи-ковъ. Я говорю это прямо и смѣло, хотя и знаю, что у васъ принято называть это занятіе зазорнымъ. Я не разъялю этого предубѣжденія и следовательно не могу до-пустить, чтобы его раздѣляли и вы. На свѣтѣ нѣть зазор-ныхъ ремесль, ибо всякое ремесло вызывается насущною потребностью въ немъ. Господа кабатчики, независимо отъ ихъ личной и всегда несомнѣнной благонадежности, драгоцѣнны еще и въ томъ отношеніи, что они находятся въ непрерывномъ и тѣсномъ общеніи съ представителями са-мыхъ разнообразныхъ слоевъ общества. Въ кабакъ стре-мятся всѣ. Туда идетъ и добродѣтельный человѣкъ, и злодѣй, и мирный земледѣлецъ, и храбрый воинъ, и помѣщицъ, и золотарь. Выпивши добрую рюмку водки, человѣкъ дѣлается наклоннымъ къ сообщительности, а выпивши двѣ таковыхъ, онъ уже мало-по-малу начинаетъ давать этой наклонности ходъ. Еще стаканъ—и онъ готовъ. Спра-шивала васъ: кто изъ присутствующихъ при этихъ мета-морфозахъ можетъ быть названъ достовѣрнымъ ихъ сви-дѣтелемъ?—и съ увѣренностью отвѣчаю: кабатчикъ и только кабатчикъ! Все кругомъ пьяно; даже сотскій, скромно

туть же сидящій, не всегда находится на высотѣ своего призванія; одинъ кабатчикъ всегда и пеизмѣнно трезвъ. Онъ трезвъ, потому что долженъ удовлетворять разнообразнымъ требованіямъ потребителей; онъ трезвъ, потому что такова задача его занятія. Однимъ словомъ, онъ трезвъ. Онъ одинъ имѣть возможность трезвенно проникать въ глубины человѣческихъ сердцъ; онъ одинъ твердою рукою держить всѣ нити злоумышленій, какъ приведенныхъ уже въ исполненіе, такъ и проектируемыхъ въ ближайшемъ будущемъ. Вотъ почему мы такъ часто находимъ въ кабакахъ цѣлые склады краденыхъ вещей. Но потому же самому мы обязаны отъ времени до времени прощать кабатчику его поползновенія къ сбыту таковыхъ вещей и видѣть въ немъ дарованное намъ орудіе, которое, при добромъ руководительствѣ, можетъ не только облегчить нашъ трудъ неожиданными откровеніями, но и сообщить изысканіямъ нашимъ совершенно непредвидѣнное направление.

«Не особенно полезного, однако-же и не вреднаго содѣйствія вы можете ожидать отъ господъ бывшихъ помѣщиковъ, нынѣ скромно именующихъ себя землевладѣльцами. Свѣдѣнія, добываемыя этимъ путемъ, представляютъ по преимуществу плодъ досужей говорливости и потому должны быть принимаемы лишь съ крайнею разборчивостью. Но, будучи очищены отъ того, что въ нихъ есть неожиданного и явно неимовѣрнаго, и они могутъ по временамъ проливать лучь свѣта на такія извилины человѣческаго сердца, которыхъ, безъ легкомысленнаго указанія, могли бы остаться павсегда закрытыми для нашего наблюденія.

«Затѣмъ остается еще третьяго рода содѣйствіе, о которомъ я говорю лишь съ болѣю на сердцѣ и которое я уже рапорѣ назвалъ прямо вреднымъ. Господа! я не нахожу достаточно словъ, чтобы предостеречь васъ отъ услугъ и предложеній сихъ содѣйствователей, и, дабы вы умѣли отыскать ихъ, скажу вкратцѣ обѣ ихъ происхожденіи. Въ послѣднія пятнадцать-двадцать лѣтъ, вмѣстѣ съ успѣхами наукъ и развитіемъ формъ общежитія, у насъ появился особенный классъ злонамѣренныхъ людей, известныхъ подъ именемъ газетчиковъ и сочинителей. Профессія эта, главнымъ образомъ, направлена къ тому, чтобы разнообразными путями вводить становыхъ приставовъ въ заблужденіе, съ цѣлью испытанія ихъ способностей, а также и для осмысли-

нія ихъ нравовъ вообще. Люди эти иногда очень серьезно сообщаютъ намъ различныя какъ бы полезныя указанія и даже предлагаютъ проекты реформъ и законоположеній, которыя мы тоже, по чистотѣ нашей, принимаемъ за полезныя, но на днѣ которыхъ—увы!—лежитъ одна жестокая насмѣшка. Въ большей части случаевъ они дѣйствуютъ на насъ не прямо, а посредствомъ опубликованія аллегорій, но тѣмъ успѣшище увлекаютъ въ соблазнъ и опутываютъ насъ своими сѣтями. Есть множество сочиненій, написанныхъ единственно съ цѣлью обмана, но притомъ съ такимъ сатанинскимъ искусствомъ, что чины, дѣйствующіе вдали отъ административныхъ центровъ и, такъ сказать, предоставленные самимъ себѣ, ничего не въ состояніи различить. Увлекаясь прекраснымъ слогомъ сихъ книгъ, они съ точностью слѣдуютъ злодѣйскимъ совѣтамъ, въ нихъ изложеннымъ, и ожидаютъ за сіе отъ начальства наградъ. Каково же бываетъ ихъ горестное изумленіе, когда, вместо награды, изъ губерніи получается переводъ въ другой станъ, а иногда и предложеніе подать просьбу объ отставкѣ! Къ сожалѣнію, я говорю объ этомъ по опыту, ибо самъ двукратно былъ вводимъ подобнымъ образомъ въ заблужденіе. Однажды, когда, прочитавъ въ одномъ сочиненіи составленный якобы нѣкоторымъ городничимъ «Уставъ о печеніи пироговъ», я въ подражаніе овому написалъ: «Правила о томъ, въ какіе дни и съ какимъ масломъ надлежить вкушать блины», и въ другой разъ, когда, прочитавъ, какъ одинъ городничій на всѣ представленія единообразно отвѣчалъ: «не потерялъ!» и «разорю!»—я, взявъ онаго за образецъ, тоже упразднилъ словесныя изъясненія и замѣнилъ оныя звукоподражательностью. И въ оба раза, вместо награды, я получилъ отъ начальства выговорь, съ таковыми притомъ внушеніемъ, что книжками этого рода слѣдуетъ пользоваться лишь для того, чтобы поступать какъ разъ въ противоположность содержащимся въ нихъ указаніямъ! Вотъ почему я и предостерегаю васъ, господа урядники! Будьте вообще осторожны въ выборѣ вашихъ руководителей, но въ особенности опасайтесь льстивыхъ сочинительскихъ приманокъ, погоня за коими можетъ ревностнаго урядника довести до изступленія!

«Третья ваша обязанность заключается въ наблюденіи за цѣлостью и неприкословенностью нашихъ краевогольныхъ камней. Вы знаете, о чёмъ я говорю. Многіе утверждаютъ, что камни сіи суть лишь недавнее изображеніе

становыхъ приставовъ, но вѣдь для насть важно не то, когда и кѣмъ чѣдѣ изобрѣтено, а то, что изобрѣтение получило надлежащій ходъ и что, слѣдовательно, сила его для всѣхъ обязательна. Вы знаете эти камни, господа. Вы сами обладаете собственностью, сами имѣете семейства, чтите начальство, ходите въ храмъ Божій, такъ что если-бѣ вы не были урядниками, то я сказалъ бы вамъ: идите, добрые люди, съ миромъ, и Богъ да поддержитъ васъ въ вашихъ похвальныхъ начинаніяхъ! Но въ качествѣ урядниковъ вы не имѣете права довольствоваться личнымъ выполнениемъ предписаній долга, но обязываетесь требовать, чтобы и другіе съ тою же мужественною непоколебимостью шли по стезѣ добродѣти. Потому я приглашаю васъ, а въ крайнемъ случаѣ даже приказываю дѣйствовать въ этомъ смыслѣ неукоснительностью и неуклонности. Само собою, однако-жъ, разумѣется, что если бы въ районѣ вашихъ дѣйствій находились лица, не имѣющія собственности, то нѣть нужды заставлять ихъ приобрѣтать земли или дома, но вы можете и даже должны требовать, чтобы лица эти, взамѣнъ обладанія собственностью, утѣшали себяуваженiemъ таковой.

«Въ-четвертыхъ, я желалъ бы, чтобы вы какъ можно дѣятельнѣе сносились между собой и сообщали другъ другу результаты вашихъ личныхъ наблюдений. А еще лучше бы, если бы вы, хотя разъ въ мѣсяцъ, собирались здѣсь, у меня, для совмѣстного обсужденія возникающихъ въ вашей практикѣ вопросовъ и для получения отъ меня обязательныхъ для васъ разрѣшений и наставлений. Господа! я самъ ничего больше, какъ первый урядникъ вѣренаго мнѣ стана, и хотя въ качествѣ станового пристава стою во главѣ вашей дружины, но пользуюсь моимъ титуломъ лишь для того, чтобы, подобно недавно встрѣтившемуся со мной на станціи генералу Фарафонтьеву, объявить вамъ: и я, и вы — одна семья! Всѣ мы подъ Богомъ ходимъ, всѣ тщетно спрашиваемъ себя: что сей сонъ значитъ? Будемъ же дѣйствовать единодушно и единомысленно и встанемъ грудью противъ общаго врага!

«За симъ, что касается до прочихъ обывателей, то прошу васъ дать мнѣ время осмотрѣться, прежде нежели я рѣшу, какъ съ ними поступить. Теперь же скажу кратко: есть обыватели *благонамѣренные* и есть *неблагонамѣренные*, есть *благонадежные* и есть *неблагонадежные*. Подобно тому, какъ и государства: бываютъ государства *благоустроенные*,

но бывають и совсѣмъ разстроенные. Все это, конечно, выяснится по мѣрѣ ознакомленія моего съ мѣстностью; а до тѣхъ порь предлагаю вамъ одно: дѣйствуйте неуко-  
снительно, но приберегите рѣшительный натискъ, покуда я, обнаживъ мечъ, не встану передъ вами съ кличью: горе строптивымъ!

«Вотъ все, чѣдъ я имѣлъ вамъ сказать для первого зна-  
комства. Кажется, не забыть ничего. Но если бы вы встрѣ-  
тили въ моихъ словахъ поводъ для превратныхъ толко-  
ваній, то прошу обращаться ко мнѣ за разъясненіями: двери  
моей квартиры всегда будутъ открыты для васъ. Мнѣ даже  
приятно будетъ васъ видѣть сколь возможно чаще, потому  
что урядникъ, въ ожиданіи разъясненій, можетъ помочь  
моей приелугѣ нарубить дровъ, поносить воды и вообще  
оказать услугу по домашнему обиходу.

«Прошайте, господа! Передайте мой привѣтъ сотскимъ,  
и да благословитъ Богъ наши общія начинанія!

«Господа разсыльные! покажите примѣръ!»

По этому слову произошло нечто умилительное. Раз-  
сыльные, въ числѣ шести человѣкъ, взялись за руки и  
стройно запѣли «ура»; урядники подхватили. Мы (я, ба-  
тюшка и трое кабатчиковъ), стоявшіе тутъ въ качествѣ  
постороннихъ зрителей, тоже увлеклись, и, взявшись другъ  
друга за руки, съ пѣніемъ «ура», три раза прошли въздухъ  
и впередъ по селу.

Въ этотъ день кабатчикъ Прохоровъ безвозвездно угож-  
далъ урядниковъ огурцами и квасомъ.

Замѣчательно, что тотъ же Прохоровъ, разставаясь со  
мною и намекая на то мѣсто въ рѣчи станового пристава,  
гдѣ говорилось о троякаго рода содѣйствіи, сказалъ:

— А васъ, господинъ, по второму номеру зачислили!

— А можетъ случиться, что и по третьему!—не безъ  
ехидства присовокупилъ присутствовавшій при этомъ другой  
кабатчикъ, купецъ Колупаевъ.

---

Хотя мнѣнія кабатчиковъ и не имѣли въ данномъ случаѣ  
официального характера, но первы мои были до того воз-  
буждены, что мнѣ почудилась въ нихъ цѣлая программа.  
«Въ самомъ дѣлѣ,—думалось мнѣ:—по какому номеру за-  
числилъ меня Граціановъ: по второму или по третьему?»  
На первый номеръ я, конечно, и самъ не претендовалъ—  
куда ужъ мнѣ за кабатчиками гнаться,—но вотъ во второй...  
ахъ, хорошо, кабы во второй попасть! И вдругъ—въ третій!!!

Правда, онъ самъ далъ мнѣ слово, что жизнь моя не будетъ неожиданнымъ образомъ прервана, но вѣдь не даромъ гласить исторія, что по нуждѣ и закону перемѣна бываетъ— кто же можетъ поручиться, что и относительно меня не представится такой нужды?

Подъ вліяніемъ этой горькой мысли я началъ задумываться и хирѣть, и все чаще и чаще обращать взоры въ ту сторону, гдѣ благоденствовалъ беспечальный купецъ Разуваевъ. Вотъ кабы сбыть ему Монрепо и со всѣми потрошами: и съ земскимъ цензомъ, и съ политическимъ будущимъ, и съ перспективою пользоваться дружескимъ расположениемъ станового пристава! Вотъ такъ бы штука была!

Между тѣмъ Граціановъ не только не лишалъ меня своего покровительства, но все больше и больше сближался со мною. Обыкновенно онъ приходилъ ко мнѣ обѣдать и въ это время обмѣнивался со мной мыслями по всѣмъ отраслямъ сердцевѣдія, при чёмъ каждый разъ обнадеживалъ, что я могу смѣло быть съ нимъ откровеннымъ и что вообще, покуда онъ тутъ, я не имѣю никакого основанія трепетать за свое будущее.

Я долженъ сказать правду, что собесѣдникъ онъ былъ вообще чрезвычайно пріятный. Не вдругъ раскрылъ онъ мнѣ свою душу, но все-таки сразу далъ понять, что онъ либералъ, а иногда даже обнаруживалъ такое пареніе, что я подлинно изумлялся смѣлости его мыслей. Такъ, напримѣръ, однажды онъ спросилъ меня, какъ я думаю, не пора ли переименование квартальныхъ надзирателей въ околоточные распространить на всѣ вообще города и мѣстечки имперіи, и когда я отвѣтилъ, что нахожу эту мѣру преждевременною, то онъ съ большою силою и настойчивостью возразилъ: «а я такъ думаю, что теперь именно самая пора». Въ другой разъ онъ какъ бы мимоходомъ спросилъ меня, какого мнѣнія я насчетъ фаланстеровъ, и когда я выразился, что опытъ военныхъ поселеній достаточно доказалъ непригодность этой формы общежитія, то онъ даже не далъ мнѣ развить до конца мою мысль и воскликнулъ:

— А я, напротивъ того, полагаю, что если бы военные поселенія и связанныя съ ними школы военныхъ кантонистовъ не были упразднены, такъ сказать, на разсвѣтѣ дней своихъ, то Россія давно уже была бы покрыта цѣлою сѣтью фаланстеровъ, и мы были бы и счастливы, и богаты! Да-сы!

Разумѣется, я слышалъ эти разсужденія и радостно из-

чился. Не потому радовался, чтобы самыя мысли, высказанныя Грациановимъ, были мнѣ сочувственны—я тѣлья, страха ради юдейска, вышколилъ, что мнѣ теперь все наплевать,—а потому, что онѣ исходили отъ станово-го пристава. Но по временамъ меня вдругъ осѣняла мысль: «зачѣмъ однако-жъ онъ предлагаетъ мнѣ столь не-известные своему званію вопросы?»—и, признаюсь, эта зойливая мысль прожигала меня насквозь.

Однажды онъ засидѣлся у меня послѣ обѣда дольше обычнаго и, начавъ съ утопическихъ мечтаній о томъ, къ было бы хорошо, если бы въ обществѣ не существовало раздѣленія на богатыхъ и бѣдныхъ, кончиль, разумѣется, тѣмъ, что даль полный ходъ своей искренности.

— Скажу вамъ откровенно,—сознался онъ:—терпѣть не могу я этихъ буржуа, хотя по обязанностямъ службы и долженъ ихъ поддерживать. Деньги у нихъ пропасть—о правда, но ни благородныхъ манеръ, ни благородныхъ тѣствъ, ни порадочныхъ привычекъ—ничего! Даже ёдятъ зобразно. Зазвалъ меня, напримѣръ, из-днѣхъ къ себѣ аббатчикъ Колушаевъ обѣдать и, представьте, чѣмъ угостили! Во-первыхъ, подали щи съ солониной, во-вторыхъ—ланшу, въ-третьихъ—ушинѣ изъ бааранины, потомъ кропево изъ огурцовъ и кусочковъ коренной рыбы съ квашомъ и наконецъ папушникъ съ медомъ... И въ довер-лениѣ всего—ни вилокъ, ни ножей. Согласитесь, что если ни даже начальство таѣтъ угощаютъ, то можно себѣ вообра-зить, какъ они ёдятъ, когда у нихъ вѣтъ гостей! И что всѣго прискорбнѣе, нашъ милый батюшка, который тоже присутствовалъ на этомъ обѣдѣ, не только бѣлъ за обѣ щеки, но даже, какъ мнѣ кажется, спряталъ кусокъ папушкина за пазуху.

Не скрою, что и на меня перечисленіе сейчасъ приведеннаго обѣденнаго меню подействовало болѣзненно; но таѣкъ при этомъ, очевидно, не безъ преднаѣренности, проводилась связь между кушаньями и представлениемъ о политической роли буржуазіи, то обстоятельство это не-вольно налагало на меня известную осторожность.

— Съ своей стороны, я нахожу, что обѣдѣ быть хотя и простой, но сытный,—сказалъ я:—и это, по моему мнѣнію, главное. Единственный серьезный недостатокъ, въ которомъ можно упрекнуть перечисленное вами меню—это обилие суповъ, сообщающее трапезѣ однообразіе и даже иѣкоторую унылость. Но недостатокъ этотъ вовсе не присущъ бур-

жуазії, а зависить преимущественно отъ того, что Колунаевъ живеть въ захолустѣ, гдѣ не имется въ виду образцовъ.

— Но вы? вы сами? вѣдь вы въ томъ же захолустѣ живете, а между тѣмъ...

— Я... что-жъ я? Не забудьте, Милій Васильичъ, что я получилъ воспитаніе въ высшемъ учебномъ заведеніи. Поэтому я, конечно, понимаю, что сущъ обязательенъ только въ единственномъ числѣ, и что затѣмъ существуютъ еще соусы, жаркія, пирожныя и т. д. Но можно надѣяться, что въ недальнемъ будущемъ всѣ эти представленія будутъ не чужды и буржуазіи. Я даже думаю, что и нынѣ, по мѣрѣ приближенія къ центрамъ цивилизациіи, буржуазія ведетъ себя иѣсколько иначе, нежели Колунаевъ. Такъ что, напримѣръ, Поляковъ, Кокорекъ, Губонинъ—ну, я готовъ держать пари, что Поляковъ сморкается не въ горсть, а въ платокъ, и притомъ не въ клѣтчатый бумажный, а въ настоящій батистовый, быть-можетъ, даже вспрыснутый духами!

— Можетъ-быть... можетъ-быть-сь!—сказалъ онъ задумчиво, но потомъ съ живостью продолжалъ:—Нѣть! далеко кулику до Петрова дня, купчинѣ до дворянинъ! Дворянинъ и маленькую рыбку подастъ, такъ сердце не нарадуется, а купчина трилатинудовую бѣлугу на столь выволочетъ—смотретьъ омерзительно! Да-сь, обидѣли! обидѣли въ ту пору господъ дворянъ!

Увы! при этомъ воспоминаніи я чуть-чуть не выдалъ себя. Есть у меня зіюющая рана, прикосновеніе къ которой всегда заходить меня чувствительнымъ и отзывчивымъ. Эта рана—воспоминаніе о дворянской обидѣ.

— Ахъ, какъ обидѣли!—воскликнулъ я, простирая руки... Но, взглянувъ на него, опомнился: по всему его лицу бродила какая-то сомнительная улыбка.

— То-есть, лучше сказать, не обидѣли,—продолжалъ я уже спокойнѣе;—а каждому воздали должное. Прежде у насъ была одна опора—дворянинъ, нынче двѣ опоры—дворянинъ и буржуа. Стало-быть, мы не потеряли, а приобрѣли.

— А про мужичка-то и позабыли?

— И мужичокъ—тоже опора,—согласился я.

— Нѣть-сь, не «тоже опора», а самая настоящая опора—вотъ какъ-сь! Потому что мужичка въ какую сторону хочешь, туда и поверни.

— И съ этимъ согласенъ.

— По секрету скажу вамъ, хоть это и не входить въ ругъ моихъ обязанностей, но по убѣжденіямъ моимъ я— скократъ! А вы?

— Что касается до меня, то я никогда обѣ этомъ не умалъ. Вообще я живу не думаючи—такъ по нынѣшнему времени удобиѣе. Но ежели начальству угодно...

— Начальству! Но развѣ начальство гдѣ-нибудь когда-нибудь сознавало свои истинныя пользы?

Это было уже слишкомъ. Я почувствовалъ, что еще ми-  
нута—и мы вступимъ на такую покатость, съ которой легко  
можно спуститься въ самую преисподнюю. Поэтому я раз-  
омъ пресѣкъ недостойный разговоръ, съ силой воскликнувъ:

— Нѣть! Съ этимъ я никогда не соглашусь! Слышите,  
Гращановъ! Никогда! Никогда!

Я помню, послѣ этого разговара я цѣлый вечеръ былъ  
безпокоенъ и все испытывалъ себя, не проворлся ли я въ  
чемъ-нибудь. И хотя совѣсть моя оказалась совсѣмъ чи-  
стою, но все-таки я долго ночью ворочался съ боку на бокъ,  
прежде нежели сонъ смѣжилъ мон очи.

Но—увы!—чѣмъ чаще мы сходились, тѣмъ скабрезнѣе и  
скабрезнѣе дѣлались наши собесѣданія. Ни одного крас-  
угольного камня не оставилъ онъ безъ изслѣдованія и обо-  
вѣхъ отозвался съ одинаковымъ ехидствомъ. О бракѣ, со-  
гласно съ опредѣленіемъ присяжнаго повѣренного Прже-  
вальского, выразилъ, что это могила любви; о собствен-  
ности сказалъ, что область ея «въ настоящее время» слиш-  
комъужена, что надо расширить ея предѣлы, допустивъ  
притокъ свѣжихъ элементовъ, хотя бы, напримѣръ, казно-  
крадства, при чемъ указывалъ на кушца Разуваева, которы-  
й поставкою гнилыхъ сухарей пріобрѣлъ себѣ блажен-  
ство, и т. д. О религії пробормоталъ что-то такое, отъ чего  
у меня уши разомъ завяли, а о начальствѣ...

Хотя мое положеніе, во время этихъ разговоровъ, было  
очень выгодное, потому что мнѣ приходилось только защи-  
щать, но наконецъ мнѣ такъ наскутило постоянно выслу-  
шивать это бюрократическое сквернословіе, что я рѣшился,  
въ свою очередь, испытать его.

— Скажите, пожалуйста, Милій Васильичъ,—обратился  
я къ нему:—отчего же вы въ рѣчи, обращенной къ уряд-  
никамъ, утверждали совершенно противное?

— Странный вопросъ! — отвѣтилъ онъ мнѣ, нимало не  
смузаясь:—но развѣ я имѣю право быть откровеннымъ съ  
урядниками? Я откровененъ съ начальствомъ—потому что

оно пойметь меня; я откровенень съ вами—потому что вы благородный человѣкъ... Но съ урядниками... Извините меня, я даже удивляюсь вашему вопросу...

— Хорошо-съ. А помните, когда я исповѣдался передъ вами при батюшкѣ?..

— И тогда существовали тѣ же самыя причины. «При батюшкѣ! Но что такое батюшка?

— Извольте, согласенъ и съ этимъ. Но надѣюсь, что теперь вы убѣдились, что я совсѣмъ не раздѣляю тѣхъ воззрѣй, которыя, повидимому, исповѣдуете ви?

— Да-съ, убѣдился-съ... хотя и съ болью въ сердцѣ... но убѣдился-съ

— Ахъ, Милій Васильчы! Какъ хотите, голубчикъ, а вы для меня сфинксы!

— Къ сожалѣнію, я совсѣмъ не сфинксъ, а только становой приставъ!—отвѣчалъ онъ печально, какъ бы подразумѣвая при этомъ: «будь я сфинксъ, давно бы ты узналъ, какъ Кузькину мать зовутъ!»

— Но заклинаю васъ именемъ всего священнаго! Отвѣтьте мнѣ откровенно: врете вы или иѣть?—воскликнулъ я, почти не помня себя отъ страха.

— Вы меня оскорбляете наконецъ—отвѣтилъ онъ, взвигаясь во всю длину своего роста:—хоть я и не что иное, какъ становой приставъ, но скажу вамъ отъ души: для благороднаго человѣка это даже болѣно... «Врете вы или иѣть!.. Ахъ!

Нѣсколько дней онъ, какъ будто будироваль и не ходиль ко мнѣ. Въ это время изъ кухни начали долетать до меня звуки гармоники, и я не безъ удивленія узналь, что они извлекаются какимъ-то вольнопрактикующимъ незнакомцемъ, Увы! Этотъ загадочный для меня человѣкъ настолько коротко сошелся съ моей прислугой, что не только ъль и пиль, но даже по временамъ почевалъ у меня на кухнѣ... И я ничего не зналъ объ этомъ! Разумѣется, это меня встревожило, и я несказанно обрадовался, когда Грацианъ, послѣ недѣльной разлуки, опять, въ обѣденный часъ, явился въ моей столовой.

— Слушайте!—обратился я къ нему:—у меня въ кухнѣ поселился какой-то незнакомецъ... Скажите, могу ли я, по крайней мѣрѣ, запретить ему играть на гармоникѣ? Я не выношу этого инструмента.

— Кто же это?!—удивился онъ.

— Вѣроятно, вы очень хорошо знаете, и кто, и зачѣмъ.

— Зачѣмъ?—повторилъ онъ за мной и вслѣдъ затѣмъ залился добродушнымъ смѣхомъ:—да очень понятно, зачѣмъ? Навѣрное у васъ на кухнѣ лишніе куски остаются, такъ вотъ... Ахъ, всѣ мы говядину любимъ! — прибавить онъ со вздохомъ:—но, разумѣется, ежели вы протестуете...

— Нѣть, я не протестую. Говядина и даже телятина... не въ томъ дѣло! Но я желаю уяснить себѣ слѣдующее: не долженъ ли я считать пребываніе посторонняго человѣка въ моей кухнѣ за нарушеніе неприкосновенности моего очага?

— Нисколько.

— Очень радъ, что таково ваше мнѣніе. Садитесь, пожалуйста, и будемъ обѣдать.

— Но, можетъ-быть, вы еще сомнѣваетесь?—успокаивалъ онъ меня:—въ такомъ случаѣ скажу вамъ слѣдующее: человѣкъ, о которомъ вы говорите, есть не что иное, какъ простодушнѣйшее дитя природы. Если вы его попросите, то онъ самъ будетъ бдительно ограждать неприкосновенность вашего очага. Испытайте его! Потребуйте отъ него какой-нибудь послуги, и вы увидите, съ какимъ удовольствиемъ онъ выполнить всякое ваше приказаніе!

Однимъ словомъ, онъ вновь успокоилъ меня. Наши отношенія возобновились, и я тѣмъ скорѣе забылъ недавнія недоразумѣнія, что по части краeutольныхъ камней я, въ сущности, не уступилъ бы самому правовѣрному изъ станиовыхъ приставовъ. Въ одномъ только я опять не остерегся—это по вопросу о дворянской обидѣ.

— Обидѣли!—воскликнулъ я:—такъ обидѣли, что даже въ исторіи не бывало примѣровъ болѣе горькой обиды! Въ исторіи—понимаете?—въ исторіи, которая потому только и признается поучительною, что она сплошь изъ одиѣхъ обидъ состоитъ!

Затѣмъ я закусывалъ удила и начинай доказывать. Доказывалъ горячо, съ огонькомъ и въ то же время основательно. Во-первыхъ, нась не спросили; во-вторыхъ, нась не вознаградили за самое главное... за наше право! въ третихъ, нась поставили на одну доску... съ кѣмъ!!! въ четвертыхъ, намъ любезно предоставили ликвидировать наши обязательства; въ-пятыхъ, нась живьемъ отдали въ руки Колупаевымъ и Разуваевымъ; въ-шестыхъ...

Хорошо однако-жъ, что я, въ пылу доказательствъ, имѣю привычку отъ времени до времени взглядывать на моего

собеседника. И воть, однажды, поднявъ глаза на Грацианова, я увидѣлъ, что все лицо его свѣтится улыбкою.

— Чему вы смеетесь?—воскликнулъ я на этотъ разъ довольно грубо, потому что рѣшился наконецъ вывести эти улыбки на свѣжую воду.

Однако онъ и тутъ очень ловко вывернулся.

— Тому и смеюсь, что наконецъ-то и вы убѣдились!—сказалъ онъ.—Помните нашъ недавній разговоръ? Я говорилъ, что обидѣли господь дворянъ, а вы утверждали, что не обидѣли, а только воздали каждому должное... Радуюсь, что, по крайней мѣрѣ, хоть теперь...

Но я уже не вѣрилъ коварнымъ оправданіямъ и съ зашальчивостью отвѣтилъ:

— Нѣть, нѣть! Не тому вы смеялись, а совсѣмъ другому... Вы думаете, что я наконецъ проговорился... Ну, такъ чтѣ-жъ? Ну, обидѣли! Допустимъ даже, что я сказалъ это! Ну, и сказалъ. Ну, и теперь повторяю: обидѣли!.. чтѣ-жъ дальше? Это мое личное мнѣніе—попимаете! Мнѣніе, а не поступокъ—и ничего больше! Надѣюсь, что мнѣнія... не наказуемы... чортъ побери! Развѣ я протестую? Развѣ я не доказалъ всею своею жизнью... Воинъ незнакомецъ какой-то ко мнѣ въ кухню влѣзъ, а я и тѣни слова не говорю.. живи!

Однимъ словомъ, неумѣстною своею горячностью я чуть было не довѣль дѣло до размолвки. Къ счастію энѣѣ выкарывалъ въ этомъ случаѣ замѣчательное самообладаніе и вместо того, чтобы обидѣться моими подозрѣніями, началъ очень мило и ловко меня урезонивать. Говорилъ ласковыя слова, и притомъ не на дьячковскій манеръ,—безъ знаковъ препинанія, а тепло, сердечно, съ очевиднымъ участіемъ. Просилъ довѣриться ему, убѣждаль, что хотя лично и не имѣть чести называться дворяниномъ, но всегда соживалъ дворянской обидѣ... И вдругъ, въ то самое время, когда сердце мое уже начало раскрываться на встречу его рѣчамъ, онъ совершенно неожиданно присвокупилъ:

— А чтѣ, попротестовать-то, чай, все-таки хочется?

Это ужъ было такое явное подстрекательство, что я не выдержалъ.

— Никогда!—отвѣтилъ я рѣшительно и холодно.

— Чего ужъ тамъ: никогда!—по глазамъ вижу, что хочется! хочется! хочется!

— Повторяю вамъ: никогда!!!

— Но почему же наконецъ?

— Потому, во-первыхъ, что протестъ несочувственъ для меня лично, а во-вторыхъ, потому, что онъ не согласуется съ нашими традиціями. Знайте, сударь, что наши предки могли свариться другъ съ другомъ, могли выщипывать другъ у друга бороды по волоску, но протестовать... не могли! нѣтъ! никогда!

Я не безъ достоинства всталъ изъ-за стола и удалился въ кабинетъ, оставивъ его на досугъ размыслить, насколько имѣла успѣха, по отношенію ко мнѣ, его пресловутая «система вопрошенія».

И вотъ, однажды, онъ пришелъ ко мнѣ утромъ и, не говоря худого слова... поцѣловалъ меня!

— Давно ужъ я выжидалъ этого момента и наконецъ теперь могу исполнить мое давнишнее искреннее желаніе!—воскликнулъ онъ, облизывая губы.

Разумѣется, я смотрѣлъ на него испуганными глазами.

— Не удивляйтесь,—продолжалъ онъ: — и выслушайте меня. При самомъ вступленіи моемъ въ должность, услышавъ отъ батюшки о вашихъ опасеніяхъ, я сразу принялъ въ васъ самое горячее участіе. Послѣ того вы лично подтвердили мнѣ эти опасенія, причемъ чистосердечно во всемъ сознались, и это еще больше меня тронуло. Я рѣшился устроить вашу жизнь настолько прочно, чтобы вы не могли имѣть никакихъ сомнѣній насчетъ ея непрекратимости. Но, разумѣется, по долгу службы, я долженъ быть предварительно убѣдиться, что вы дѣйствительно этого заслуживаете. Съ этой цѣлью я, по обыкновенію, прибѣгнулъ къ системѣ вопросенія и теперь, послѣ мѣсячнаго испытанія, могу, положа руку на сердце, свидѣтельствовать: вы не только удовлетворили всѣмъ моимъ требованіямъ, но даже предъявили нѣсколько болѣе, чѣмъ я ожидалъ. Я прикидывался ненавистникомъ буржуазіи, но вы доказали мнѣ, что послѣдняя имѣть несомнѣнныя права на существованіе. Я облыжно называлъ себя демократомъ, но вы благородно мнѣ отказали въ вашемъ сочувствіи по этому предмету. Я кощунственно утверждалъ, что начальство само не сознаѣть своихъ полѣзъ, но вы съ негодованіемъ отвергли самое предположеніе о таковомъ несознаніи. Когда же я съ притворнымъ участіемъ отнесся къ дворянской обидѣ, то вы хотя и не отрицали таковой, но при этомъ выказывали такую беззаботную покорность судьбы, которая неоднократно вызывала на мои глаза слезы умиленія. Наконецъ—со-

знатъся ли до конца? — я командировалъ къ вамъ на кухню особаго довѣреннаго человѣка, съ тѣмъ, чтобы онъ собралъ подъ рукой вѣрифійшія о васъ свѣдѣнія, и добытый этимъ изслѣдованіемъ результатъ представляется въ слѣдующемъ видѣ: никогда, въ цѣломъ околоткѣ, не видали столь твердаго въ бѣдствіяхъ землевладѣльца, какъ вы! Самые кабатчики — и тѣ о томъ съ умиленіемъ засвидѣтельствовали. Итакъ, отнынѣ всѣ недоразумѣнія кончены. Вы — нашъ, и мы — ваши!

Высказавши это, онъ, конечно, ожидалъ, что я брошуясь въ его объятія; но я молчалъ. Тогда онъ продолжалъ:

— Забыть. Вы даже мнѣ лично оказали посѣщенную услугу, разъяснивъ разницу, которая существуетъ между помышленіями обывателей и ихъ поступками. Это въ значительной степени упрощаетъ задачи внутренней политики, хотя, съ другой стороны, въ такой же степени умаляеть ихъ блескъ. Во всякомъ случаѣ... благодарю!

Онъ протянулъ ко мнѣ обѣ руки, но я съ самаго начала этой сцены до того растерялся, что руки эти такъ и остались протянутыми въ пространствѣ. Тогда онъ фамильярно потрепалъ меня по плечу и произнесъ:

— Привыкнете, мой другъ, привыкнете!

Въ тотъ же день кабатчикъ Колупаевъ пригласилъ меня къ себѣ на вечѣрку, предупредивъ, что у него соберется вся наша сельская интеллигенція для игры въ стуколку.

И я бытъ тамъ, игралъ съ Граціановымъ и другими гостями въ стуколку, проигралъ цѣлую уйму пятаковъ, говорилъ комплименты кабатчицѣ Колупаевой, ухаживалъ за дочкой, пилъ водку, закусывалъ рыжей икрой и за ужиномъ фль говяжій студень съ хрѣномъ. Вообще, по оказанному мнѣ радушному пріему, я убѣдился, что кабатчики наконецъ примирились со мной и допустили меня въ свою среду. Нѣть сомнѣнія, что я бытъ обязанъ этимъ Граціанову.

Послѣ этого у насъ началось настоящее веселье, и Граціановъ оказался истиннымъ мастеромъ по части соединенія общества. Вечера слѣдовали за вечерами, сначала у кабатчика Прохорова, потомъ у другого кабатчика, Осьмунинкова, а наконецъ я и самъ задать пиръ на весь міръ. Мало того: когда Граціановъ, по секрету, сообщилъ мнѣ, что ему нравится дочка Колупаева, то я охотно принялъ участіе въ сватовствѣ и очень ловко вывѣдалъ у родите-

ей, что за невѣстой будеть дано пятьсотъ рублей деньгами и, кромѣ всякаго платя, лисицій «монтоны» четыре серины, два самовара и мериносовый платокъ.

Но жизнь моя уже была надломлена: я каждый день жидалъ, что Граціановъ опять пощѣлуетъ меня. Не то, чтобы мнѣ были антипатичны собственно административные пощѣлуи, но, будучи характера нелюдимаго и малообщительнаго, я вообще не имѣю къ пощѣлумъ ири-  
страстія.

И вотъ я вспомнилъ, что въ губерніи служитъ, въ качествѣ очень авторитетнаго лица, одинъ изъ моихъ това-  
рищѣй по школѣ, и отправился въ городъ съ цѣлью, во  
что бы то ни стало, разъяснить себѣ вопросъ: имѣть ли  
право Граціановъ цѣловать меня по своему усмотрѣнію? Мой старый другъ очень благосклонно выслушалъ всю  
исторію моихъ сношеній съ Граціановымъ и всѣ дѣйствія  
послѣдняго нашелъ въ высшей степени легкомысленными.  
Во-первыхъ, онъ не имѣлъ права принимать мою исповѣдь  
и, во-вторыхъ, еще меньшее право имѣлъ подвергать меня  
испытанію. Онъ просто-на-просто долженъ былъ ожидать  
поступковъ.

— Что же касается до пощѣлувъ, — прибавилъ мой  
другъ: — то я ничему другому не могу приписать это, какъ  
дурной привычкѣ, пріобрѣтенной имъ, вѣроятно, еще въ учил-  
ицѣ для дѣтей канцелярскихъ служителей.

Но этого мало: онъ убѣдилъ меня, что въ настоящее  
время порядочный человѣкъ не только не имѣть причинъ  
опасаться внезапныхъ жизненныхъ метаморфозъ, но даже  
обязывается жить для славы своего отечества.

— Ты самъ виноватъ, душа моя, — сказалъ онъ: — съ  
одной стороны ты слишкомъ мрачно смотришь на вещи,  
а съ другой — черезчуръ ужъ смиренъ и не выказываешь  
ни малѣйшей самостоятельности. Будь тверже, голубчикъ,  
и живи! Живи, потому что и твоя жизнь еще можетъ быть  
полезною.

И я живу.

---

### III.—Монрепо-усыпальница.

Мало-по-малу тревога, возбужденная во мнѣ появлениемъ  
на нашемъ сельскомъ горизонте Граціанова, улеглась. Да  
ежели говорить по правдѣ, и тревожнаго тутъ ничего не

было, и только исключительные условия, составляющие мою личную особенность, могли содействовать возведению такого пустого факта на степень переполоха. Дело в томъ, что у меня съ малыхъ лѣтъ напугано воображеніе, и напугано, надо сказать правду, начальствомъ. Всю жизнь я ничего другого не видѣлъ передъ собою, кромъ начальниковъ; всю жизнь миѣ твердили: тупа ариометика, косноязычна грамматика, ежели нѣть въ сердцѣ спасительного начальственнаго тренета. Сначала я смотрѣлъ на родителей, какъ на начальство; потомъ поступилъ въ завѣдываніе воспитателей, которые тоже надувались и говорили: «мы — ваше начальство», а наконецъ и вправду попалъ начальству въ руки. Ну, натурально, испугался. Напослѣдяхъ спрятался въ Монрепо и думалъ: ужъ тутъ-то меня не застигнетъ начальственный взоръ, — и вдругъ Граціановъ!..

Lui, toujoutrs lui!

Но въ сущности, повторяю, всѣ эти тревоги — фальшивыя. И ежели отрѣшишься отъ мысли о начальствѣ, ежели побѣдить въ себѣ потребность каяться, признаваться и снимать шапку, ежели сказать себѣ: за что же начальство съ меня будетъ взыскивать, коли я *ничего не дѣлаю*, и ежели наконецъ разъ навсегда сознать, что и становые, и урядники, — все это нѣчто эфемерное, скоропреходящее, на песьѣ построенное (особливо, коли есть кому пожаловаться въ губерніи), то, право, жить можно. Умирать же и подавно ни отъ кого запрета нѣть..

А умирать — пора. Не умереть, а именно умирать, освобождаться отъ жизни постепенно, непостыдно, сладко. Среди царящей суматохи, гдѣ слышатся голоса только безчисленнаго множества темпераментовъ, гдѣ нападающіе не знаютъ, на кого они нападаютъ, а защищающіеся — отъ кого они обороняются, гдѣ нѣть рѣчи объ идеалѣ, а мечется въ глаза только обнаженный фактъ борьбы — въ такой суматохѣ ничего лучшаго не придумаешь, какъ склониться въ укромномъ мѣстѣ и тамъ — начать умирать.

«Тамъ», то-есть въ Монрепо. Нигдѣ не найдется для самаго прихотливаго умирания такого простора, такой тишины, такой безусловной изолированности; нигдѣ нельзя такъ незамѣтно и естественно окунуться въ область неизвѣстнаго. И ежели я говорю, что въ качествѣ усыпальницы Монрепо представляетъ собою нѣчто ии съ чѣмъ несравнимое и исключительное, то говорю это именно по сущей

совѣти, а совсѣмъ не въ видѣ реклами. Мало того: я вполнѣ искренно утверждаю, что наши фрондирующіе помѣщики слишкомъ мало принимаютъ въ разсчетъ это свойство принадлежащихъ имъ Монрепо и только поэтому такъ дешево сбывають ихъ всевозможнымъ хищникамъ новѣйшей формациіи, которые спѣшатъ обратить ихъ въ кабаки.

Прежде всего, какъ на отличнейшую особенность Монрепо, я могу указать на полнѣйшее отсутствіе утѣшений медицины. Я не отрицаю заслугъ врачебной науки и ея служителей, но мнѣ кажется, что ежели разъ человѣкъ рѣшилъ, что жить довольно, то при извѣстной дозѣ порядочности даже не совсѣмъ прилично обороняться отъ смерти. Пускай люди, исполненные цвѣтенія и силы, мечтаютъ о жизни — это ихъ право; человѣкъ умирающій, въ видахъ собственного огражденія, долженъ забыть и о цвѣтеніи, и о силѣ, и вообще о какихъ бы то ни было правахъ на жизнь. Единственное баловство, которое ему разрѣшается, — это по возможности устроить удобную обстановку для предстоящаго умирания. А въ этомъ смыслѣ, опять-таки повторяю, Монрепо неоцѣненно. Въ городѣ никакъ не выдержишь, непремѣнно начнешь обороняться. Обратишься къ человѣку науки, который затормозитъ естественный процессъ умирания, подольешь въ лампаду чего-то не настоящаго, а «замѣняющаго», и заставитъ ее лишній срокъ чадить. Въ Монрепо подобное малодушіе уже по тому одному немыслимо, что тамъ нѣть ни мужей науки, ни «замѣняющихъ» снадобьевъ. Обитатель Монрепо потухаетъ самъ собой, естественно, неизбѣжно. Потухаетъ съ отраднымъ уѣждениемъ, что послѣдняя его мерцанія не отравили окрестности запахомъ злоуханной гари, которая, при другихъ, менѣе благопріятныхъ условіяхъ, непремѣнно въ конецъ измучила бы человѣка, замѣнивъ подлинную жизнедѣятельность искусственнымъ калѣчествомъ.

Но, сверхъ того, истинно «сладкое» умирание возможно только подъ условіемъ полной и невозмутимой тишины. И этого условія ни въ городѣ, ни даже въ деревнѣ не добудешь, а найдешь въ одномъ Монрепо. Вездѣ царить либо рабочая суета, либо разгуль; наконецъ вездѣ отыщутся друзья, люди, принимающіе участіе, любопытные. Только въ Монрепо нѣть ни работы, ни разгула, ни друзей, ни любопытныхъ — развѣ это не блаженство? Ничто не шлохнется кругомъ, ни одинъ звукъ не помѣшаетъ есте-

ственному потуханию. Особливо зимой. Монрепо. потопнувшее въ сугробахъ снѣга—да это земной рай!

Природа оплакала; домъ со всѣхъ сторонъ сторожить садъ, погруженный въ непробудный сонъ; прислуга забралась на кухню, и только смутный гулъ напоминаетъ, что гдѣ-то далеко происходитъ галдѣніе, выдающее себя за жизнь; въ барскихъ покояхъ ни шороха; даже мыши — и тѣ беззвучно перебѣгаютъ изъ одного угла комнаты въ другой. Сидишь себѣ въ креслѣ одинъ-одинѣшенье, или бродишь усталыми ногами взадъ и впередъ по запустѣлой анфиладѣ — и чувствуешь, ясно чувствуешь, какъ постепенно внутри у тебя таетъ и погасаетъ. По совѣсти говорю: слаше этого чувства нѣть. Къ нему можно пристраститься до упоенія, съ нимъ можно возвыситься до одичалости. Даже пропиниціонная привилегія — и та не можетъ идти въ сравненіе съ этой прекраснѣйшей привилегіей постепенного умирания среди сладчайшей тишины.

Намъ, людямъ тридцатыхъ, сороковыхъ и иныхъ годовъ, это въ особенности понятно, потому что съ нами въ послѣднее время случилось нѣчто не совсѣмъ обыкновенное. Все-то мы жили да жили и вдругъ потеряли что-то самое нужное и разомъ сдѣлались неспособными принимать участіе въ дѣлахъ и вещахъ современности. Я знаю, что и между нами найдутся личности, которыхъ не прочь еще похорохориться, устроить недоразумѣніе и погарцовавъ передъ застигнутой врасплохъ толпой, въ качествѣ заправскихъ дѣятелей; но большинство отлично понимаетъ, что являться въ публику съ запасомъ забытыхъ словъ — именно значить только длить безплодныя недоразумѣнія. Положимъ, что эти выцѣвшия слова въ былое время были полны содержанія и освѣщали жизнь, но какое дѣло до нихъ современности? Въ былое время они были и хороши, и необходимы, а теперь...

Когда я начинаю думать о современности, то, признаюсь, она представляется мнѣ не иначе, какъ въ видѣ ящика съ двойнымъ дномъ. Въ которомъ днѣ обрѣтается «настоящая штука» — поди, угадай! Да и какая еще «штука» — можетъ быть, райская птица, можетъ-быть, крокодиль? И поможе, подовчѣе наше люди — и тѣ не угадываютъ, а только поневолѣ какъ-нибудь изворачиваются, наудачу хватаются за первое, чтѣ подъ руку попадеть. Именно поневолѣ, потому что эти люди уже фаталистически «обречены» жить, а стало-быть и изворачиваться. А мы обре-

ены умирать и следовательно отъ угадываний свободны. Но, по-моему, это-то именно и есть настоящее благо. Это быть болѣе благо, чѣм, вемотрѣвшись пристальнѣе въ просящуюся мимо насть сутолоку современности, по совѣсти ельзя не воскликнуть: ахъ, какъ безконечно-мучительна должна быть роль дѣятеля среди этой жизни съ двойнымъ номъ!

Да, такая жизнь болѣе нежели мучительна — она по-итыдна. Передъ глазами мечется какая-то безконечно-фантастическая сказка: не разберешь, чѣмъ тутъ дѣйствительность и чѣмъ — сонное видѣніе. Наиреальнѣйшѣе съ первого взгляда факты — и тѣ являются въ сопровожденіи такихъ подозрительныхъ околичностей, которые отнимаются у нихъ всѣ признаки подлинной реальности. Все окружающее, вся жизнь — все служить источникомъ самыхъ язвительныхъ вопросовъ, и чѣмъ всего мучительнѣе — ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ вы не найдете нигдѣ вполнѣ вразумительного отвѣта. Я могъ бы назвать здѣсь цѣлую свиту вполнѣ несомнѣнныхъ и доказательныхъ фактовъ, которые несомнѣнно подтвердили бы и объяснили мою мысль, и тѣмъ не менѣе не называю ихъ. Почему же я не называю ихъ? А потому именно, что всесчасно и вееминутно ощущаю себя защемленнымъ между двойнымъ дномъ. Вѣдь все равно, — говорю я себѣ: — изъ моихъ указаний ничего не выйдетъ, такъ лучше ужъ я... ахъ, какая масса тутъ малодушія, предательства, лганья!

Но ежели немыслимы опредѣленные отвѣты, то очевидно, что не мыслимы ни правильныя наблюденія, ни вполнѣ твердныя обобщенія. Ни жить, стало-быть, нельзя, ни наблюдать жизнь, ни понимать ее. Вездѣ — двойное дно, въ виду котораго именно только изворачиваться можно или идти невѣдомо куда съ завязанными глазами. Представьте себѣ, что вы печально попали въ комнату, наполненную баснописцами. Собралось множество Эзоповъ, которые ведутъ оживленный разговоръ — и все притчами! Ясно, что тутъ можно сойти съ ума.

И вотъ, для того, чтобы не быть обязаннымъ ни жить, ни понимать жизнь, ни говорить притчами, самое лучшее дѣло — это затвориться въ Монрепо. А если при этомъ и самая охота къ жизни пропала, то это ужъ и совсѣмъ хорошо. Правда, что есть у насъ, культурныхъ людей, слабость баловаться журналами и газетами, которые все-таки болѣе или менѣе препятствуютъ полному забвенію жизни;

но тутъ уже необходимо принять героическая мѣры. А именно: разомъ прекратить доступъ для всего, что напоминаетъ о книгопечатаніи и сопряженныхъ съ нимъ учрежденіяхъ. Въ противномъ случаѣ двойное дно проникнетъ и въ Монрепо.

Ибо у жизни, снабженной двойнымъ дномъ, и литература не можетъ быть иная, какъ тоже съ двойнымъ дномъ. Газеты, напримѣръ, положительно могутъ измучить. Помѣщая на столбцахъ своихъ факты, повидимому, самые обыденные, онѣ будутъ ежедневно пробуждать въ отшельникѣ цѣлый рой томительныхъ сновидѣй. Произвели, напримѣръ, коллежскаго совѣтника Растопырю за отличие въ слѣдующій чинъ—кажется, что можетъ быть проще, обыденнѣе этого извѣстія? А между тѣмъ вдумайтесь въ него, и вы удивитесь, какой безконечный рядъ томительнѣйшихъ вопросовъ поднимется передъ вами по его поводу! Во-первыхъ, вопросы высшаго порядка. Подлинно ли Растопыря заслужилъ производство въ слѣдующій чинъ? Не было ли тутъ интриги, непотизма, лакомства, не скрывается ли за этимъ фактъ ходатайство Гулакъ-Артемовской? Все это—вопросы важные, существенные, ибо при утвердительномъ отвѣтѣ на нихъ («да, по ходатайству Гулакъ-Артемовской») воображенію представляется картина развращенія нравовъ, а при отвѣтѣ отрицательномъ—картина чистоты нравовъ. Согласитесь, что для патріота своего отечества это далеко не безразлично. Затѣмъ опять вопросы: сумѣть ли Растопыря въ новомъ чинѣ заслужить то довѣріе начальства, которое онѣ умѣль заслужить въ старомъ чинѣ? какихъ облегченій вправѣ ожидать отъ него отечество, буде онѣ и впредь съ такою же неуклонностью будуть подвигаться по лѣстницѣ почестей и отличій? А наконецъ и вопросы порядка низшаго, личнаго. Какимъ бокомъ, милостивымъ или немилостивымъ, взглянетъ Растопыря на Монрепо и скрывающагося въ немъ отшельника? не найдеть ли онѣ, что самый фактъ отшельничества есть фактъ подозрительный, влекущій за собой лишеніе хотя и не всѣхъ,—у Растопыри доброе сердце,—то хотя иѣкоторыхъ правъ состоянія? И ежели это фактъ подозрительный и влекущій, то... И такъ далѣе, и такъ далѣе.

Какіе отвѣты я найду на эти вопросы въ газетахъ? положительно никакихъ! Такъ зачѣмъ же мнѣ знать объ этомъ производствѣ? зачѣмъ я буду заставлять мою мысль опускаться куда-то на второе дно, гдѣ этотъ скромно вы-

ядывающій съ газетнаго столбца Растворыя, быть-можеть, вится въ такомъ угрожающемъ видѣ, который все мое существо наполнить испугомъ? И что всего важнѣе—испугомъ напраснымъ, ибо я знаю навѣрное, что Растворыя—злой доброжелательный, который если и позволить себѣ испить меня вѣкоторыхъ правъ состоянія, то не иначе, какъ въ видахъ моей же собственной пользы.

А потому пойдутъ газетные «слухи»... ахъ, эти слухи! Ни подать руку помоши друзьямъ, ни летѣть навстрѣчу зрагамъ — нѣтъ крыльевъ! Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Сиди въ Монрепо и понимай, что ничто человѣческое тебѣ не чуждо и, стало-быть, ничто до тебя не касается. И не только до тебя, но и вообще не касается (въ Монрепо, вслѣдствіе изобилия досуга, это чувство некасаемости какъ-то особенно обостряется, дѣлается до болѣзnenности чуткимъ). А ежели не касается, то изъ-за чего же терзать себя?

Нѣтъ, все это надобно прекратить. Не нужно ни журналовъ, ни газетъ,—тѣмъ больше не нужно, что нынче въ любомъ деревенскомъ кабакѣ, въ любой «портерной» найдется эта отрава, такъ что совсѣмъ отъ жизни все-таки не уѣжшишь. Пойдетъ въ кабакъ кго-нибудь изъ присныхъ и непремѣнно или самъ что-нибудь вычитаетъ, или вдоволь наслушается. Потомъ разскажетъ въ людской, а напослѣдокъ проберется въ комнаты и тамъ начадить. По мнѣнію моему, этимъ путемъ получать вѣсти изъ міра живыхъ, во всякомъ случаѣ, менѣе мучительно, нежели сообщаться съ нимъ посредствомъ книгопечатанія. Ибо, слушая, какъ синь природы несетъ ахилею, вы все-таки имѣете возможность хоть тѣмъ утѣшить себя, что, можетъ-быть, онъ и перевралъ.

Именно такъ я прошлой зимой и поступилъ. Еще 31-го декабря я чувствовалъ себя въ компаніи баснописцевъ, и вдругъ съ 1-го января наступила невозмутимая тишина. Все это взбаломученное море, которое еще вчера съ такимъ безდѣльнымъ гвалтомъ бушевало въ берегахъ, сегодня улеглось какъ бы по манію волшебства. Картины, волновавшія кровь, начали сокращаться, таять и исчезать. Сначала исчезли болгары, потомъ Афганистанъ и Зулу, потомъ ветлинская интрига, потомъ еще интрига, а наконецъ и слухи о предстоящемъ финансовоомъ возрожденіи... Послѣдніе, впрочемъ, держались вѣсколько упорнѣе, потому что вѣдь и умирать не совсѣмъ ловко, когда не умѣешь ясно отвѣтить на вопросъ: что такое рубль? Стало-быть, съ этой

стороны, то-есть со стороны міра живыхъ, я совсѣмъ квіть. Миѣ скажутъ, можетъ-быть, что отсутствіе памятниковъ книгопечатанія представляетъ очень важный проблѣгъ въ человѣческомъ существованіи, потому что и т. д. Но, во-первыхъ, газета «И шило брееть»—развѣ это памятникъ? а во-вторыхъ, я вѣдь не о «существованіи» и рѣчь повель. Я говорю объ умираниі, объ одномъ умираниі; а съ этой точки зреїнія, право, лучше не надо.

Вмѣстѣ съ прочими, отравляющими жизнь, представлениими постепенно начало слаживаться и представление о Граціановѣ. Очевидно, моя поѣзда въ губернію смущила его... Онъ сдѣлался сдержаннѣе, при встрѣчахъ не дѣлалъ миѣ ручкой, но молча прикладывался подъ козырекъ, при чемъ съ явно-утрированною почтительностью выгибалъ шею и откидывалъ назадъ поясницу. А главное, не только пересталъ меня испытывать, но даже совсѣмъ ко миѣ не приходилъ. Только отъ времени до времени я примѣчалъ изъ окна, что онъ меланхолически бродилъ по моему парку, напѣвая какой-то романсь, — вѣроятно, «Черный цвѣтъ». Очевидно, онъ хотѣлъ дать миѣ почувствовать этимъ, какъ онъ могъ бы любить, если бы я только захотѣлъ, и какъ много я потерялъ, устранившись отъ его ласкъ... Я это очень хорошо понималъ и, грѣшный человѣкъ, иногда даже готовъ былъ выслать ему рюмку водки, но, къ счастію, голосъ разсудка и соблазнительная картина непостыднаго умирания восторжествовали надъ легкомысленными угрызеніями совѣсти.

Кабатчики выказали себя нѣсколько упорнѣе и не такъ-то легко предоставили меня моей судьбѣ. Благодаря Граціанову, въ періодъ моего легкомысленного переполоха, я завязалъ съ ними очень крѣпкія связи. У всѣхъ вообще— пилъ водку, игралъ въ стуколку и закусывалъ студнемъ, а въ частности, съ нѣкоторыми вступилъ даже въ духовное родство. У Осьмушникова крестилъ дочку, у Колупаева разыгрывалъ роль свата, у Прохорова — едва не свѣль со двора жену (разумѣется, этого на дѣлѣ не было, а были «пасмѣнки», въ которыхъ я фигурировалъ въ качествѣ соблазнителя). Не могу сказать, чтобы я чувствовалъ себя особенно пріятно, когда, бывало, Осьмушниковъ, еще гдѣ завидѣвъ меня, крикнетъ: «здраво, кумъ!» или Прохоровъ: «здраво, свойки!» — но покуда для меня было пеясно, имѣть или не имѣть Граціановъ право читать въ моемъ сердцѣ,

я крѣпился и молчалъ. Теперь, когда начальство меня разувѣрило, и когда мои отношенія къ Граціанову опредѣлились вполнѣ, я, конечно, счелъ первымъ долгомъ дать отпоръ всѣмъ кумовьямъ и своимъ. Но они уже сами не соглашались ретироваться. Въ особенности же Прохоровъ долго донималъ меня своими дружескими «насмѣшками». Только-что, бывало, я расположусь «умирать», только-что сомнутся мои вѣжды и слухъ начнетъ наполняться тихими шопотами непостыднаго угасанія, какъ онъ ужъ тутъ какъ тутъ, словно изъ-подъ земли выросъ. Сначала наполнить домъ звуками одышки, потомъ грузно, сядеть въ кресло, расправить пятерней кудри, оботреть клѣтчатымъ платкомъ потное лицо, запалить папироску, дохнеть сивухой и начнетъ шутки шутить.

— Усталъ, — скажетъ: — инда задохся. Туковъ много внутри скопилось. Ну, а ты, свойкъ, чтѣ нось повѣсишъ?

— Да такъ...

— Чего «такъ»! Чай, все по чужимъ женамъ тоскуешь? а?

— Когда же это...

— Нѣть, погоди! постой! надо правду говорить! кто у меня жену хотѣлъ со двора свести? а?

— Но послушайте же наконецъ...

— Нѣть, ты постой! погоди! ты вотъ мнѣ на что отвѣтъ: развѣ это резонъ? Резонъ ли мужнюю жену на любовь съ собою склонять? Какъ эти поступки въ заповѣдяхъ называются? слыхалъ? а?

— Слушайте, если вы не прекратите этого разговора, то я...

— То-то «я»! Ну, ты!! Ты!! знаю я, что ты—ты! Ты бы вотъ радъ-радостью въ чужомъ саду яблочко сѣсть, даже и сейчасъ у тебя отъ одного воображенія глаза враскось пошли—да на тотъ грѣхъ я самъ при семъ состою! Ну, миръ, что ли! пошутилъ! давай руку—будеть съ тебѣ!

Но въ ту минуту, когда я мнилъ, что онъ серьезно подаетъ мнѣ руку, онъ совершенно неожиданно показывалъ мнѣ шишъ, а иногда и просто бралъ подъ-мышки и, будучи вчетверо сильнѣе меня, увлекалъ въ непроизвольный галопъ, при чемъ задыхался, хрюпалъ и свистѣлъ на весь домъ.

Это было ужасно мучительно, но я долго терпѣлъ и ни на что не рѣшался. Наконецъ однако-жъ рѣшился и однажды, когда онъ приблизился, чтобы взять меня подъ-мышки, я совершенно серьезно сплюнулъ ему въ самую лахану.

Только тогда онъ понялъ, что я — человѣкъ солидный и «независимый». Онъ скромно вытеръ платкомъ лицо, произнесъ: «однако!» — и съ тѣхъ поръ ко мнѣ ни ногой.

Я сознаюсь, что это было съ моей стороны очень дурной и наглой поступокъ, но клянусь, что въ ту минуту онъ вышелъ самъ собой. Защита какъ-то невольно приняла ту самую форму, въ которую съ давнихъ поръ облекалось нападеніе. Прохоровъ насильственно подворялся въ моемъ домѣ, насильственно заставлялъ меня выедушивать свои «пасмѣшки», насильственно хваталъ меня подъ-мышки и увлекалъ въ гадость — и вотъ я въ той же насильственной формѣ далъ ему отпоръ. Сверхъ того, я позволяю себѣ думать, что поступокъ этотъ скорѣе свидѣтельствуетъ о моей деликатности (съ большою, впрочемъ, примѣсью робости и слабохарактерности), нежели о прямой грубости. Люди деликатные обыкновенно бываютъ очень и даже черезчуръ выносливы. Они долго терпятъ, допускаютъ и даже поддакиваютъ именно изъ опасенія обидѣть, задѣсть чужое самолюбіе. Поддакиваютъ даже тогда, когда уже началось хватаніе подъ-мышки. И вдругъ глаза открываются, и какое-то ужасно подлое и гадкое чувство начинаетъ пронизывать все существо. Но, къ сожалѣнію, все это обнаруживается лишь тогда, когда дѣло уже мучительно обострилось. И вотъ...

Во всякомъ случаѣ, я отнюдь не оправдываюсь, а только констатирую, какъ непрѣятно и ненадѣжно положеніе русскаго культурнаго человѣка, который помнить, что когда-то онъ занимался «филантропіями», и понимаетъ, что по нынѣшнему времени это составляетъ неизбываемый грѣхъ. Онъ помнить, понимаетъ и боится. Чего именно боится — онъ самъ опредѣленно сказать не можетъ; по вѣдь чѣмъ неопределеннѣе подобное чувство, тѣмъ оно тяжелѣе. Главнымъ образомъ однако-жъ онъ боится своей беззащитности, неприкрытии, и вслѣдствіе этого совершенно искренно бѣритъ, что и Граціановъ, и Осьмушиновъ, и Прохоровъ могутъ во всякое время свободно войти къ нему въ домъ и полюбопытствовать: а что, молъ, ты тамъ въ одиночку каверзничашь? И вотъ, когда сумма этихъ унизительныхъ страховъ накопится до нес plus ultra, когда чаша до того переполнится, что новой каплѣ ужъ помѣститься негдѣ, и когда среди невыносимо подлой тоски вдругъ голову освѣтить мысль: а вѣдь, собственно говоря, ни Граціановъ, ни Колупаевъ залѣсть ко мнѣ въ душу ни отъ кого не упол-

зомочены — вотъ тогда-то и является на выручку дикая реакція, то-есть сквернословіе, мордобитіе, плеваніе въ лахань, однимъ словомъ — все то, что при спокойномъ, хоть сколько-нибудь нормальному теченіи жизни мирному гражданину даже на мысль не придетъ.

Какъ бы то ни было, но я безмѣрно обрадовался, что наконецъ меня охватила со всѣхъ сторонъ безконечная тишина. Подъ вліяніемъ этой радости я совсѣмъ утерялъ изъ вида, что эти люди необходимо должны злобствовать на меня. Главная цѣль была достигнута: я очутился одинъ — это было самое существенное. Но этого мало: я сдѣлался почти безстрашенъ. Не только позабылъ, что подъ бокомъ у меня сидить Граціановъ, но опять вспомнилъ старое и бросился въ филантропію. Началь мечтать, сочинять «промежу себя» реформы, и все такія, чтобы всѣ разомъ почувствовали и въ то же время никто ничего не ощутилъ. Сначала, разумѣется, мечталъ робко, но чѣмъ дальше, тѣмъ смѣлѣ, и наконецъ, «въ надеждѣ славы и добра», пустилъ такими букетами, что даже стѣны, слушавшія меня — и тѣ смекнули, чѣмъ пахнетъ.

Ничто такъ не увлекаетъ, не втягиваетъ человѣка, какъ мечтанія. Сначала заведется въ мозгахъ не большие горошины, а потомъ начнеть расти и расти, и наконецъ вырастеть цѣлый дремучій лѣсъ. Вырастетъ, станетъ передъ глазами, зашумитъ, загудитъ, и вотъ тутъ-то именно и начнется настоящая работа. Всего здѣсь найдется: и величіе Россіи, и конституціонное будущее Болгаріи, и Якубъханъ, достославно шествующій по стопамъ Ширъ-Али, и, ужъ само собой разумѣется, выигрышъ въ двѣсти тысяч рублей. Чтò понравилось, тѣ и выбирай. Ежели загорѣлось сердце величиемъ Россіи — займись; ежели величіе Россіи прискучило — переходи къ болгарамъ или къ Якубъхану. Мечтай безпрепятственно, сочиняй цѣлыхъ передовыя статьи — все равно ничего не будетъ. Если хочешь критиковать — критикуй; если хочешь требовать — требуй. Требуй смѣло, такъ прямо и говори: долго ли, моль, ждать? И если тебѣ внимають туго, или совсѣмъ не внимають, то пригрозись: обѣ этомъ, дескать, мы поговоримъ въ слѣдующій разъ...

Ужасно! ужасно! ужасно!

Говорю по совѣsti: возможность удовлетворять потребности мечтанія составляетъ едва ли не самую сладкую при-  
надлежность умиранія. Мечта отуманивается и слѣдова-

тельно устраниетъ изъ процесса умирания все, чѣмъ могло бы встревожить пациента слишкомъ назойливою ясностью. Мечта не ставить въ упоръ именно *такой-то* вопросъ, но всегда хранить въ запасѣ цѣлую свиту быстро мелькающихъ вопросовъ, такъ что мысль, не связанныя обязательнымъ сосредоточеніемъ, скользить отъ одного къ другому совершенно незамѣтно. Даже послѣдовательности въ работѣ ея не замѣчается, хотя связь несомнѣнно существуетъ. Но она скрывается въ тѣхъ моментахъ забытья, въ которое человѣкъ непроизвольно погружается подъ влияниемъ мысленныхъ мельканій. Это забытье совсѣмъ не пустопорожнее, какъ можно было бы предполагать, и въ то же время очень пріятное. Мелькнетъ одинъ предметъ, остановить на себѣ минутное вниманіе и почти вслѣдъ затѣмъ погрузить мысль въ какую-то массу полудремотныхъ ощущеній, которыя невозможно уловить—до такой степени они быстро смѣняются одно другимъ. Затѣмъ вынырнетъ другой предметъ, и непремѣнно вынырнетъ въ послѣдовательномъ порядкѣ, но такъ какъ этому появлѣнію предшествовало «забытье», то опредѣлить, въ чёмъ заключается «порядокъ» и что именно обусловило перемѣну декорацій, представляется невозможнымъ. Повторю: ужасно это пріятно. Ходишь, думаешь, навѣрное знаешь, что иѣчто думаешь, но что именно—не скажешь. Какая открывается при этомъ безграницная перспектива приволья, свободы, безответственности не только передъ самимъ собой (это-то не штука), но и передъ начальствомъ! Поймите, какъ это хорошо! Тяжело вѣдь вѣчно такъ жить, чтобы за все и про все отвѣтъ держать; нужно хоть немного и такъ пожить, чтобы ни за что и ни передъ кѣмъ себя виновнымъ не считать. Хочу—умныя мысли мыслю, хочу—легкомысленничай... кому какое дѣло!

Тѣмъ не менѣе, какъ ни мало опредѣленны были мои зимнія мечтанія, я все-таки иѣкоторые пункты могу здѣсь намѣтить. Чаще и упорнѣе всего, какъ и слѣдуетъ ожидать, появлялся вопросъ о выигрышѣ двухсотъ тысячъ, но такъ какъ вслухъ сознаваться въ такихъ пустякахъ почему-то не принято (право, ужъ и не знаю, почему; по-моему, самое это культурное мечтаніе), то я упоминаю объ этомъ лишь для того, чтобы не быть въ противорѣчіи съ истиной. Затѣмъ выступали и вопросы серьезные, между которыми первое мѣсто, разумѣется, принадлежало величию Россіи. Я считаю нeliшнимъ изложить здѣсь главные тезисы моихъ

мечтаний по этому вопросу, заранѣе, впрочемъ, извиняясь передъ читателемъ въ той неудовлетворительности, которую онъ навѣрно примѣтилъ въ моемъ изложеніи. Увы!—я и до сихъ поръ не могу вмѣстить свободы книгопечатанія и вслѣдствіе этого иногда черезчуръ храбрюсь, но въ большей части случаевъ—черезчуръ робю.

Я знаю, есть люди, которые въ скромныхъ моихъ писаніяхъ усматриваютъ не только пагубный индифферентизмъ, но даже значительную долю злорадства, въ смыслѣ патріотизма. По совѣсти объявляю, что это—самая наглая ложь. Я уже не говорю о томъ, что обвиненіе это очень тяжелое и даже гнусное, но утверждаю положительно, что я всего менѣе въ этомъ виноватъ. Я люблю Россію до боли сердечной и даже не могу помыслить себя гдѣ-либо, кромѣ Россіи. Только разъ въ жизни мнѣ пришлось выжить довольно долгій срокъ въ благородственныхъ заграничныхъ мѣстахъ, и я не упомню минуты, въ которую сердце мое не рвалось бы къ Россіи. Хорошо тамъ, а у насъ... положимъ, у насъ хоть и не такъ хорошо... но, представьте себѣ, все-таки выходитъ, что у насъ лучше. Лучше, потому что больнѣй. Это совсѣмъ особенная логика, но все-таки, и именно—логика любви. Вотъ этотъ-то культь, въ основаніи котораго лежитъ сердечная боль, и есть истинно-русскій культь. Болѣть сердце, болѣть, но и за всѣмъ тѣмъ все-минутно къ источнику своей боли устремляется...

Но этотъ же культь, вѣроятно, и служить предлогомъ для обвиненій, о которыхъ идеть рѣчь. Есть люди (въ послѣднее время ихъ даже много развелось), которые мертвыми дланями стучать въ мертвяя перси, которые суконнымъ языкомъ выкрикаютъ: «звонъ побѣды раздавайся!» и зияющими впадинами, вмѣсто глазъ, выглядываютъ окресть: кто не стучить въ перси и не выкрикаетъ вмѣстѣ съ ними? Это—цѣлое постыдное ремесло. По моему мнѣнію, люди, занимающіеся этимъ ремесломъ, суть іезуиты. Разумѣется, іезуиты русскіе, лыкомъ шитые, вскормленные на почвѣ крѣпостного права и сопряженныхъ съ нимъ: лганья, двоедушія, коварства и проч. Это—люди необыкновенно злые, мстительные, снабженные вонючимъ самолюбіемъ и злую, долго задерживающею памятью, люди, отъ которыхъ можно тогда лишь спастись, когда они вмѣстѣ съ безконечною злобой соединяютъ и безконечную алчность къ ловленію рыбы въ мутной водѣ. Тогда можно отъ нихъ откупиться, можно бросить имъ кость въ глотку. Но если они съ ад-

ской злобой соединяют и адское безкорыстіе, и ежели при этомъ свою адскую ограниченность возводить на степень адского убѣжденія—тогда это уже совершенныя исчадія сатаны. Они настроить мертвыми руками безчисленные ряды костровъ и будутъ безмысленными, пустыми глазами слѣдить за предсмертными конвульсіями жертвы, которая, подобно имъ, не стучала въ пустыя перси...

Но отвратимъ лицо наше отъ лицемѣровъ и клеветниковъ и возвратимся къ Монрепо и навѣваемъ имъ мечтанія.

Я желалъ видѣть мое отечество не столько славнымъ, сколько счастливымъ—вотъ существенное содержаніе моихъ мечтаній на тему о величіи Россіи, и если я въ чемъ-нибудь виноватъ, то именно только въ этомъ. По моему мнѣнію, слава, поставленная въ качествѣ главной цѣли, къ которой должна стремиться страна, очень многимъ стѣтъ слезъ; счастье же для всѣхъ одинаково желательно и въ то же время само по себѣ составляетъ прочную и немеркнущую славу. Какой вѣнецъ можетъ быть болѣе лучезарнымъ, какъ не тотъ, который сотканъ изъ лучей счастія? Какой народъ можетъ сть бѣльшимъ правомъ назвать себя подлинно счастливымъ? Мы скажутъ, быть-можетъ, что общее счастье на землѣ недостижимо, и что вотъ именно для того, чтобы восполнить этотъ недостатокъ и сдѣлать его менѣе замѣтнымъ и горькимъ, и придумана, въ качествѣ подспорья, слава. Слава, то-есть «насть возвышающій обманъ». Но я—человѣкъ скромный; я не дипломатъ и даже не публицистъ, и потому просто не понимаю, для чего нужны обманы, и кого собственно они обманываютъ. Я думаю, что это пустое и вредное кляузничество—и ничего больше. Ужели человѣкъ, смотрящій на міръ трезвыми глазами и чувствующій себя менѣе счастливымъ, нежели онъ этого желаетъ—ужели этотъ человѣкъ утѣшится тѣмъ только, что начнетъ обманывать себя чѣмъ-то замѣняющимъ, не подлиннымъ? Нѣтъ, онъ не сдѣлаетъ этого. Онъ просто скажетъ себѣ: ежели я въ данную минуту не столь счастливъ (а стало быть, и не столь славенъ), то это значитъ, что необходимо употребить известную сумму усилий, дабы законнымъ путемъ добыть ту сумму счастія и славы, которая, по условіямъ времени, достижима. Вотъ и все. А поскольку будуть плодотворны или безплодны эти усилия—это ужъ другой вопросъ.

Руководясь этими скромными соображеніями, я и въ

мечтаніяхъ никому не объявилъ войны и не предприняль ни малѣйшей дипломатической кампаніи. А слѣдовательно не одержалъ ни одной побѣды и никого не огорошилъ дипломатическимъ сюрпризомъ. Вообще моя мысль не задерживалась ни на арміяхъ, ни на флотахъ, ни на подрядахъ и поставкахъ, и даже къ представленіямъ о гражданскомъ мундирномъ шитьѣ прибѣгала лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда, по издревле установленнымъ условіямъ русской жизни, безъ этого ужъ ни подъ какимъ видомъ нельзя было обойтись. Ибо мы и благополучны не можемъ быть безъ того, чтобы при этомъ самъ собой не возникъ вопросъ: а какъ же въ семъ случаѣ поступали господа чиновники? Но тутъ-то именно и выяснилась полная доброкачественность моихъ мечтаній. «Чтѣ дѣлали господа чиновники?» спрашивалъ я самъ себя и тутъ же, послѣ кратковременного «забытья», отвѣтствовалъ: «ходили въ мундирахъ—и больше ничего». Этимъ простымъ отвѣтомъ, мнѣ кажется, исчерпывалось все. И идея необходимости чиновниковъ (ибо благополучіе на ихъ глазахъ созидалось, и они благосклонно допустили его), и идея не-необходимости чиновниковъ, ибо, говоря по сущей совѣсти, благополучіе могло бы совершиться и безъ нихъ. Впрочемъ, по скромности моей, я болѣе склонялся на сторону первой идеи. Да и картина выходила совсѣмъ особенная, русская. Ходятъ люди въ мундирахъ, ничего не созидаютъ, не оплодотворяютъ, а только не препятствуютъ—а на повѣрку оказывается, что этимъ-то именно они и оплодотворяютъ... Какое занятіе можетъ быть легче и какой удѣль—слнце?

Но ежели разъ воинственные и присоединительные упражненія устраниены, то картина благополучія начертывалась уже сама собой. Въ самомъ дѣлѣ, что нужно нашей дорожной родинѣ, чтобы быть вполнѣ счастливой? На мой взглядъ, нужно очень немногое, а именно: чтобы мужикъ русский, говоря стихомъ Державина, «ѣль добры щи и пиво пиль». Затѣмъ все остальное приложится.

Если это есть—значить, у мужика земля приносить плодъ сторицею. Если это есть—значить, страна кипитъ млекомъ и медомъ и вездѣ чувствуется благораствореніе воздуховъ и изобиліе плодовъ земныхъ. Если это есть—значить, деревни въ изобиліи снабжены школами, и мужикъ воистину позналъ, что ученье—свѣтъ, а неученье—тьма. Если это есть—значить, казна государева ломится подъ тяжестью сребра и золата, и нѣтъ надобности ни въ «выбиваніяхъ»,

ни въ экзекуціяхъ для пополненія казенныхъ сборовъ. Если это есть—значить, въ массахъ господствуетъ трудолюбіе, любовь къ законности, потребность тихаго житія; значитъ, массы дѣйствительно повинуются не токмо за страхъ, но и за совѣсть. Если это есть—значить, за границу везутся заправскіе избытки, а не то, что приходится сбывать во что бы то ни стало, вслѣдствіе горькой нужды: вынь да положь.

Если это есть—значить, у мужика есть досугъ; значитъ, онъ ведеть не прекратительную жизнь подъяремнаго животнаго, а здоровое существованіе разумнаго существа; значитъ, онъ плодится и множится. Если это есть—значить, курное логовище уступило мѣсто подлинному жилищу, согласованному съ человѣческими потребностями. Если это есть—значить, правда и милость царствуютъ въ судахъ; значитъ, нечего и судить, такъ что адвокаты щелкаютъ зубами, а суды являются въ мѣста служенія лишь для получения присвоеннаго имъ содержанія. Если это есть—значить, монополія не впиваются когтами въ беззащитную жертву и не рвѣтъ ея внутренностей. Если это есть—значить, государственная казна не расточается, а государственное имущество охраняется и процвѣтаетъ. Если это есть—значить, рубль равенъ рублю.

Вотъ сколько отличнѣйшихъ представлений заключаетъ въ себѣ такой простой фактъ, какъ общедоступность «добрыхъ щей»! Спрашивается: ужели въ цѣломъ мірѣ найдется народъ, болѣе достойный названія «славнаго», нежели этотъ, вкушающій «добры щи» народъ?

Кажется, что мечтать на эту тему—ничего? Даже Гращановъ—и тотъ, думается мнѣ, не найдетъ тутъ «возбужденія пагубныхъ страстей»? Пагубныхъ страстей—къ чему? Къ «добрымъ щамъ»?

Итакъ, я мечталъ на тему о величії Россіи. Я всѣмъ желалъ всего доброго, всего лучшаго. Чиновнику—чиновъ и крестовъ съ надписью: «за вдохновеніе»; купцу—хорошихъ торговъ и медалей; культурному человѣку—бутылку шампанскаго и вышедшее въ тиражъ выкупное свидѣтельство; мужику—«добрыхъ щей». И при этомъ, какъ человѣкъ, одаренный художественными инстинктами, я такъ живо представлялъ себѣ благополучіе этихъ людей, что они метались передъ моими глазами, какъ живые. Всѣ были поперекъ себя толще, у всѣхъ лица лоснились подъ вліяніемъ хорошаго житія и внутренняго ликованія. Но въ

особенности хороши быть мужикъ, такъ хорошъ, что я по цѣлымъ часамъ вель съ нимъ мысленную бесѣду.

— Ну что, милый человѣкъ,—спрашивалъ я:—бунтовать больше не будешь?

— Помилуйте, вашескородіе,—отвѣчалъ онъ:—ужъ ежели мы во время сѣкуціевъ — и то, значитъ, со всѣмъ нашимъ удовольствіемъ, такъ теперича и подавно нась за эти самые бунты...

При этихъ словахъ обыкновенно наступало «забытье» (зри выше), и дальнѣйшія слова мужика стушовывались, но когда мысленная дѣятельность вновь вступала въ свои права, то я видѣлъ передъ собою такое довольное и добродушиое лицо, что невольно говорилъ себѣ: да, этому парню не бунтовать, а именно только славословить впору! Недоимки всѣ съ него сложены, подушная подать предана забвенію... чего еще нужно! И онъ славословить во истину; не такъ, какъ культурные люди, когда получать подачку — съ расшаркиваніемъ и цѣлованіемъ въ плечико,—а скромно и истово, а именно: ёсть «добры щи» во свидѣтельство, что сердце въ немъ играетъ подъ бременемъ благодарности и ликованія.

Положительно я утверждаю, что мечтать на эту тему — ничего!

Даже свое Монрепо — и его я какъ-то сумѣлъ пристегнуть къ мечтаніямъ о величії Россіи. Представьте себѣ, что вдругъ, по щучьему велѣнью, по моему хотѣнью, случился такой анекдотъ. Мой лѣсъ изъ дровяного неожиданно сдѣлался строевымъ; мои болота внезапно осушились и начали производить не мохъ, а настоящую сѣдовѣнную траву, мои пески я утилизировалъ и обработалъ подъ картофельныя плантаціи, а небольшая запашка словно взбѣсилась — начала родить самъ-двадцать \*). (Увы! — въ мечтахъ и не такія метаморфозы возможны!). Развѣ это «не величіе Рос-

\*) Однъ екатеринославскій землевладѣльцъ увѣрялъ меня, что у него птенница постоянно родить самъ-двадцать, и, въ виду моего удивленія по этому поводу, присовокупилъ, что это происходитъ отъ того, что у нихъ въ Екатеринославѣ не земля, а все цѣпна. Замѣтательно, что этотъ самый землевладѣльцъ эту самую землю уже лично двадцать лѣтъ пашетъ, но и за всѣмъ тѣмъ не только въ объявленіяхъ газетныхъ пишеть: продаются столько-то десятинъ «цѣпны», но и самъ, повидимому, вѣрить въ подлинность этой «цѣпны»! Точь-въ-точъ какъ та легендарная девица, дочь бѣдныхъ, но благородныхъ родителей, которая будто бы въ одно и то же время и сокровище сохранила, и капиталъ приобрѣла. Но развѣ это правдоподобно?

сін»? И къ довершенню всей этой чертовщины, въ какихъ-нибудь ста шагахъ отъ моего крыльца прошла желѣзная дорога, которая возить—не вывезетъ произведенія Монрепо. Капуста, которую Ѳдять петербургскіе чиновники,—это все моя; бѣлосиѣжная телятина, которою щеголяеть англійскій клубъ по субботамъ,—тоже моя. Огурцы, морковь, рѣпа, прессованное сѣно, молочные скопы, кормная индѣйки—всего пропасть и все мое. А дрова? а рыба, въ изобиліи извлекаемая изъ Финскаго залива? а прочія произведенія природы, ихъ же имена Ты, Господи, вѣси? Чѣ, если и во всѣхъ другихъ Монрепо идетъ такая же волшебно-производительная галиматья, какъ и въ моемъ? чѣ, если вдругъ воспрянули отъ сна всѣ Проплѣванныя, всѣ Погорѣловки, Ненаѣдовки, всѣ взапуски принялись рожать, и нѣть на дорогахъ проѣзда отъ массы капусты, огурцовъ, рѣдкыи и проч.?

Возгордимся мы или не возгордимся тогда? вотъ вопросъ! Я думаю однако-жъ, что не возгордимся, потому что, во-первыхъ, вѣдь ничего этого на дѣлѣ нѣть, а ежели нѣть ничего, то, стало-быть, и во-вторыхъ, и въ-третьихъ, все-таки ничего нѣть.

Во всякомъ случаѣ, повторяю вновь: мечтать на эту тему—ей-Богу ничего!

Ничего? но кто же сказалъ это? Кто же удостовѣрилъ, что «ничего?» А можетъ-быть, это-то и есть самое оно... А можетъ-быть, тутъ-то, въ этихъ безпardonныхъ мечтахъ, и кроется «возбужденіе пагубныхъ страстей!» Кто сказалъ: ничего? Тяпкинъ-Ляпкинъ сказалъ? А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! Вы, Тяпкинъ-Ляпкинъ, сказали: «ничего?» И такъ далѣ.

Прекрасно. Стало-быть, это—не ничего? Такъ и запишемъ. Нельзя мечтать о величинѣ Россіи—будемъ на другія темы мечтать, тѣмъ болѣе, что по культурному нашему званію намъ это ничего не значить. Напримеръ, конституціонное будущее Болгаріи—чѣмъ не благодарнѣйшая изъ темъ? А при обилии досуга даже тѣмъ болѣе благодарная, что для развиція ея необходимо прибѣгать къ посредничеству телеграфа, то-есть посыпать вопросныя телеграммы и получать отвѣтныя. Анъ время-то, смотришь, и пройдетъ.

Сказано-сдѣлано. Посылаю телеграмму № 1-й: «Митрополиту Анониму. Настоятельно прошу отвѣтить: будетъ ли у васъ конституція?» Черѣзъ четверть часа полученъ отвѣтъ:

«Братолюбивому господину Монрепо. Конституція, сирѣчъ уставъ о предупрежденіи и пресѣченіи—будеть. Анеимъ».

Не удовольствовавшись этимъ объясненiemъ, посылаю телеграмму № 2-й: «Благородному господину Балабанову. Экзархъ Анеимъ увѣдомляетъ, будетъ-де у васть конституція, сирѣчъ исправительный уставъ. Правда ли?» Черезъ четверть часа отвѣтъ: «Благородному господину Монрепо. На то похоже. Коллежскій ассессоръ Балабановъ».

Тогда, чтобы убѣдиться окончательно, посылаю телеграмму № 3-й: «Благородному господину Занкову. Чѣд же наконецъ у васть будетъ?» И черезъ новыя четверть часа получаю новый отвѣтъ: «Будеть, чѣд Богъ дастъ. Губернскій секретарь Занковъ».

Сличивши эти три телеграммы, я нахожу вопросъ о конституціонномъ будущемъ Болгаріи исчерпаннымъ и посылаю четвертую, общую телеграмму: «Митрополиту Анеиму. Пью за болгарскій народъ!» А черезъ четверть часа получаю отвѣтъ: «Братолюбивому господину Монрепо. Не находимъ словъ выразить, сколь для болгарскаго народа сіе лестно. Анеимъ».

И такимъ образомъ въ какой-нибудь часть времени—все кончено.

Кажется, что на эту тему мечтать—ничего?

Но если бы и тутъ оказалось не «ничего», то, дѣлать нечего, возьмемъ за бока Афганистанъ. Ужасно меня съ иѣкоторыхъ поръ интригуетъ Якубъ-ханъ. Коварень, какъ всякий восточный человѣкъ, и въ то же время, подобно знаменитому своему отцу, склоненъ къ присвоенію государственной африканской казны. Пойдетъ онъ или не пойдетъ по слѣдамъ Ширъ-Али относительно коварнаго Альбиона? Ежели пойдетъ, то рано или поздно быть ему во двореннымъ въ губернскомъ городѣ Рязани. Ежели не пойдетъ, то и тутъ Рязани ему не миновать. Въ первомъ случаѣ—въ знакъ гостепріимства, во второмъ—въ знакъ забвенія бунтовъ. Но во всякомъ разѣ онъ предварительно вывезетъ изъ своего мѣста безчисленное множество лаковъ рупій и доставить ихъ въ то мѣсто, которое ему будетъ назначено для гостепріимства. Рязань украсится, оплодотворится и въ иѣсколько мѣсяцевъ сдѣлается неузнаваемою. Въ соборѣ заблаговѣстить новый колоколь, на пожарномъ дворѣ явится новая пожарная труба, а что касается до дамочекъ, то онъ изобрѣтуть, въ пользу Якубъ-хана, такое деколѣтѣ, отъ котораго содрогнутся въ гробѣ кости Ширъ-

Али. Словомъ-сказать, весь обрядъ гостепріимства будеть выполненъ въ точности. Но чо же затѣмъ? Затѣмъ, разумѣется, все пойдетъ обычнымъ порядкомъ. Сначала явится разбитной малый изъ мѣстныхъ культурныхъ людей и дасть рупіямъ приличествующее назначеніе; потомъ начнется по этому случаю судоговореніе, и въ Рязань прибудетъ адвокать и проклянетъ часть своего рожденія, доказывая, что назначеніе рупіямъ дано вполнѣ правильное и согласное съ волей самого истца; а наконецъ Якубъ-хану, въ знакъ окончательного гостепріимства, будетъ дозволено перебѣхать въ Петербургъ, гдѣ онъ и поступить въ ресторанъ Бореля, въ качествѣ служителя...

Нечего и прибавлять, конечно, что русскіе интересы будуть при этомъ такъ строго соблюдены, что даже «Московскія Вѣдомости»—и тѣ останутся довольны...

Кажется, что на эту тему мечтать—ничего?

Но ежели и это не «ничего», то къ услугамъ мечтателя найдется въ Монрепо не мало и другихъ темъ, столь же интересныхъ и ужъ до такой степени безопасныхъ, что даже покойный цензоръ Красовскій—и тотъ съ удовольствиемъ подписать бы подъ ними: «мечтать дозволяется». Во-первыхъ, есть цѣлая область исторіи, которая представляєтъ такой неисчерпаемый источникъ всякаго рода комбинацій, сопряженныхъ съ забытьемъ, что самъ мечтательный Погодинъ—и тотъ не могъ вычерпать его до дна. Возьмите, напримѣръ, хоть слѣдующія темы:

Что было бы, если-бы древніе новгородцы не послѣдовали совѣту Гостомысла и не пригласили варяговъ?

Гдѣ быль бы центръ тяжести, если-бы вѣцкій Олегъ взялъ Константинополь и оставилъ его за собой?

Какими государственными соображеніями руководились удѣльные князья, ведя другъ съ другомъ безпрерывныя войны?

На какой степени гражданского и политического величія стояла бы въ настоящее время Россія, если-бы она не была остановлена въ своемъ развитіи татарскимъ нашествіемъ?

Кто быль первый Лжедмитрій?

Если-бы Петръ Великій не основалъ Петербурга, въ какомъ положеніи находилась бы теперь мѣстность при впаденіи Невы въ Финскій заливъ, и имѣла ли бы Москва основаніе завидовать Петербургу (извѣстно, что зависть къ Петербургу составляетъ историческую миссію Москвы въ теченіе болѣе полутора вѣковъ)?

Почему, несмотря на сравнительно мёншую численность населенія, въ Москвѣ больше трактировъ и питейныхъ домовъ, нежели въ Петербургѣ? Почему въ Петербургѣ немыслимъ трактиръ Тѣстова?

Попробуйте заняться хоть однимъ изъ этихъ вопросовъ, вы увидите, что и ваше существо, и Монрепо, и вся природа—все разомъ переполнится привидѣніями. Со всѣхъ сторонъ поползутъ юркоты, таинственный дуновенія, мельканія, словомъ сказать, вся процедура серьезнаго историческаго, истинно-погодинскаго изслѣдованія. И въ заключеніе тѣнь Красовскаго произнесетъ: «мечтать дозволяется».

О, тѣнь возлюбленная! не ошибкой ли однако высказала ты разрѣшительную формулу? повтори!

Во-вторыхъ, имѣется другая, не менѣе обширная область—кулинарная. Еще Владіміръ Великій сказалъ: «веселіе Руси пiti и ясти» и въ этихъ немногихъ словахъ до такой степени вѣрно очертилъ русскую подоплѣку, что даже и донынѣ русскій человѣкъ ни на чёмъ съ такимъ удовольствіемъ не останавливаетъ свою мысль, какъ на ъдѣ. А такъ какъ объектомъ для ъды служить все разнообразіе природы, то не трудно себѣ представить, какое безчисленное количество механическихъ и химическихъ метаморфозъ можетъ произойти въ этомъ безграничномъ мірѣ чудесъ, если хозяиномъ въ немъ явится мечтатель, охотникъ пожрат!

Въ-третьихъ, въ-четвертыхъ, въ-пятыхъ... я, конечно, не буду утомлять читателя дальнѣйшимъ перечисленіемъ подходящихъ сюжетовъ и темъ. Скажу огуломъ: міръ мечтаний такъ великъ и допускаетъ такое безграничное разнообразіе сочетаній, что нѣть той навозной кучи, которая не представляла бы повода для интереснѣйшихъ сопоставленій.

Итакъ, я мечталъ. Мечталъ и чувствовалъ, какъ я умираю, естественно и непостыдно умираю. Въ первый разъ въ жизни я наслаждался сознаніемъ, что ничто не нарушило моего вольнаго умирания, что никто не призоветъ меня къ отвѣту и не напомнитъ о какихъ-то обязанностяхъ, что ни одна душа не потребуетъ отъ меня ни совѣта, ни помощи, что мнѣ не предстоитъ никуда спѣшить, обѣ чёмъ-то бесѣдоватъ и что-то предпринимать, что ни одинъ органъ книгопечатанія не обольетъ меня помоями сквернословія. Однимъ словомъ, что я забыть, совсѣмъ забыть.

Внутри дома царила пустота, тишина и одиночество. Въ домѣ—то же одиночество и та же пустота. По временамъ паркъ заволакивался, словно сѣтью, падающими хлопьями снѣга; по временамъ деревья какъ бы сбрасывали съ себѣ иго оплѣвѣнія и, колеблемыя вѣтромъ, оживали и шевелились; по временамъ изъ лѣсной чащи даже доносился грозный гулъ. Но взоръ и слухъ скоро привыкали и къ этимъ картинамъ, и къ этимъ звукамъ. Зимняя природа даже и въ гиѣѣ какъ-то безоружна,—разумѣется, для тѣхъ, которыхъ нужда не выгоняетъ изъ теплой комнаты. Вотъ въ полѣ, въ лѣсу—тамъ, должно-быть, страшно. Можно сбиться съ дороги, подвергнуться нападенію волковъ, замерзнуть. Но въ комнатѣ, гдѣ градусникъ показываетъ всегда одинъ и тотъ же уровень температуры, гдѣ и тепло, и свѣтло, и уютно, всѣ эти морозы и выюги могутъ даже подать поводъ для благодарныхъ сопоставленій.

И не только для благодарныхъ, но и для поучительныхъ сопоставленій. Ибо если хорошо быть совсѣмъ обезщеченнымъ отъ морозовъ и выюгъ, то еще большее наслажденіе долженъ ощущать тотъ, кто, испытавъ морозъ и выюгу, кто, прошутавъ до истощенія силъ по сугробамъ, вдругъ совсѣмъ неожиданно обрѣтаетъ спасеніе въ видѣ жилья. Представьте себѣ этотъ почти волшебный переходъ отъ холода къ теплу, отъ ирака къ свѣту, отъ смерти къ жизни; представьте себѣ эту радость возрожденія, радость до того глубокую и яркую, что для нея дѣлаются уже тѣсными предѣлы случая, ее породившаго. Да, это—радость совсѣмъ особенная, лучезарная, ни съ чѣмъ не сравнимая. Не одинъ этотъ случай освѣтила она своими лучами, но разомъ втянула въ себя пѣлую жизнь и на все прошлое, на все будущее наложила печать избавленія. Въ эту блаженную минуту нѣтъ мѣста ни для опасенія, ни для тревогъ. Всѣ опасности миновали, вѣсъ тревоги улеглись; все болѣное, шемящее упразднилось—навсегда. Во всемъ существѣ разлилась горячая струя жизни, во всѣхъ мысляхъ зарить убѣжденіе, что отнынѣ жизнь уже пойдетъ по старою горькою колей, а совсѣмъ новымъ, радостнымъ порядкомъ. Конечно, все это волшебство длится какую-нибудь одну минуту, но зато какая это минута... Боже, какая минута!

Истинно говорю, это—наслажденіе великое, и сть теоретической точки зрѣнія отсутствіе его въ жизни людей, проводящихъ время въ теплыхъ и свѣтлыхъ комнатахъ, представляеть даже очень значительный пробѣлъ.

Междъ прочимъ, я мечталъ и объ этомъ, и это были  
чтанія поистинѣ отрадныя. Сначала я душевно скор-  
бѣлъ, рисуя себѣ картину путника, выбивающагося изъ  
иль; но такъ какъ я человѣкъ добрый, то, разумѣется,  
оставлялъ его до конца погибнуть и въ критическую  
инуту поспѣшалъ на помощь и предоставлялъ въ его  
аспоряженіе неприхотливое, но вполнѣ удовлетворитель-  
ное жилье. И глубока была моя радость, когда вслѣдъ за-  
ѣмъ передъ моими глазами постепенно развертывалась  
картина возрожденія...

Однимъ словомъ, я мечталъ, мечталъ безъ конца, меч-  
талъ обо всемъ: о прошломъ, настоящемъ и будущемъ,  
мечталъ смѣло, въ сладкой увѣренности, что никто объ  
моихъ мечтахъ не узнаетъ и слѣдовательно никто меня  
не подкузьмитъ. И, проводя время въ этихъ мечтаніяхъ,  
чувствовалъ себя удивительно хорошо. До усталости хо-  
дилъ по комнатѣ и ни на минуту не уличилъ свою мысль  
въ бездѣятельности; потомъ садился въ кресло, закрывалъ  
глаза и опять начиналъ мысленную работу. Даже такъ-на-  
зываляемыя «хозяйственные распоряженія»—и тѣ вскорѣ  
приняли у меня мечтательный характеръ. Придетъ вече-  
ромъ, передъ спаньемъ, въ комнаты старикъ Лукьянъ и  
молвить:

— Ну, нынче—зима!

— Ты говоришь: зима?

— Да, зима нынче. И ежели теперича лѣто съ примѣ-  
тами сойдется, такъ, кажется, конца-краю урожаю не бу-  
детъ!

— Ты думаешь?

— Вотъ увидите. Въ прошломъ году мы одну только  
сторону сѣномъ набили, а въ нынѣшнемъ придется, пожа-  
луй, и на чердаки на скотномъ сѣно таскать.

— Гм!.. это бы...

— Увидите сами, коли ежели я не правду говорю. Та-  
кая-то зима у меня на памяткахъ всего разъ случилась,  
когда мнѣ еще пятнадцать лѣть было. И что въ ту пору  
хлѣба нажали, чтѣ сѣна накосили—страсть!

— Богъ, братецъ...

— Само собой, Богъ! захотеть Богъ—полны сусѣки  
хлѣба насыплють, не захотеть—ни пера земля не родитъ!  
это чтѣ говорить!

Молчаніе.

— Распоряженіевъ насчетъ завтрашняго дня не будетъ?

— Нѣть, чѣд ужъ...

— Покойной ночи-сы!

И все въ домѣ окончательно стихаетъ. Сперва изъ скот-ногъ дворъ потухаютъ огни, потомъ изъ кухнѣ замираетъ послѣдній звукъ гармоники, потомъ сторожъ въ послѣдній разъ стукнулъ палкой въ стѣну и забрался въ сѣни снать, а наконецъ ложусь въ постель и я самъ...

Но и сонъ приходить какою-то особеннаго. Мечтанія казавшаго дня не прерываются, а только быстрѣе и отрывочнѣе слѣдуютъ одни за другими. Вотъ и опять «величіе Россіи», вотъ «Якубъ-ханъ», вотъ «историческіе вопросы», а вотъ и «ну, ужъ нынче зима!..» Не разберешь, гдѣ кончилось бодрствованіе, и гдѣ начался сонъ...

Но въ этой-то невозможности что-нибудь «разобрать» именно и заключается та обаятельная сила, которая заставляетъ умирающаго человѣка стремиться въ Миропѣ, чтобы тамъ обрести для себя усыпальницу.

---

Но въ первыхъ числахъ марта въ мое сердце начали вкрадываться смутныя опасенія. Прилетѣли грачи и назнозили паркъ гамомъ; покернѣла дорога. На большомъ трактѣ, отдѣляющемъ отъ моего дома лишь небольшимъ клочкомъ парка, появились тройки съ катающимися, которыхъ, благодаря отсутствію листвы, я могъ видѣть совершенно отчетливо. Это были наши портерныя и питейныя дамы, для которыхъ катанье на тройкахъ составлялось, по изстари заведенному обычая, единственное великолѣпное развлеченье. Повидимому, имъ было очень весело, также какъ и Граціанову, неизмѣнно сопровождавшему дамъ на бѣговыхъ санкахъ. Но въ особенности шумнымъ дѣжалось это веселіе противъ моей усадьбы. Тройки замедляли ходъ; дамы, обративши лицо въ сторону моего дома, хохотали такъ громко, что даже черезъ двойные оконныя рамы до меня долетали ихъ ликиющіе голоса; при этомъ Граціановъ объяснялъ имъ, должно-быть, нѣчто очень уморительное. Можетъ-быть, онъ въ смѣшномъ видѣ пересказывалъ испытаніе, которому меня подвергалъ; можетъ-быть, подмѣтилъ кое-что изъ моихъ привычекъ и тоже возводилъ въ перлы созданія.

Конечно, все это трогало меня очень мало и ничуть не служило помѣхой для моего умирания. Но однажды я замѣтилъ нѣчто не совсѣмъ обыкновенное. Между знакомыми тройками появилась тройка совсѣмъ особенная, охотниц-

кая. На пошевняхъ, покрытыхъ ковромъ, сидѣль купецъ Разуваевъ, самъ правилъ лошадьми и завивалъ пристяжныхъ въ кольца. Какъ только показалась эта тройка, Граціановъ передалъ свою одиночку близъ-стоящему сотскому и пересѣлъ въ Разуваевскія пошевни. Затѣмъ, пропустивши мимо дамскій поѣздъ, друзья остановились прямо противъ оконъ моего дома. Разуваевъ жестикуировалъ, Граціановъ что-то доказывалъ; оба отъ времени до времени хохотали. Я видѣлъ, какъ Разуваевъ поманилъ пальцемъ старого Лукьяныча, сидѣвшаго на лавкѣ у воротъ, какъ послѣдній неторопко подошелъ и, что-то выслушавъ, сплюнулъ въ сторону, и затѣмъ оба друга опять захохотали. Черезъ четверть часа улица опустѣла, и гуляющіе, очевидно, разошлись по кабакамъ. Но, когда начали спускаться сумерки, Разуваевская тройка съ двумя сѣдоками, по крайней мѣрѣ, разъ десять, съ гамомъ и свистомъ, пронеслась взадъ и впередъ мимо моего дома, посылая по сторонамъ комья грязи и рыхлаго снѣга и взбудораживая угомонившихся въ гнѣздахъ грачей.

Передъ спаньемъ Лукьянъ имѣлъ по этому поводу со мной объясненіе.

— Разуваевъ мимо нась сегодня озоровалъ.  
— Видѣлъ.  
— Стало-быть, ему можно?  
— Стало-быть.  
— Стало-быть, ежели онъ ночью... испугаетъ, навѣкъ уродомъ сдѣлаетъ... и это можно?

— Вѣроятно, можно.  
Лукьянъ только головой мотнуль на мой отвѣтъ.  
— Давеча меня поманилъ: «правда ли, говорить, что Матрена-скотница (Матрена — почтенная женщина лѣтъ подъ шестьдесятъ) въ грѣхѣ состоитъ?»

— Съ кѣмъ? сказывалъ?  
— Извѣстно, съ кѣмъ.  
— Со мной?  
— Стало-быть.

Молчаніе.

— А потомъ опять подѣхаль. «Коли, говорить, Матрена не виновата, такъ чѣмъ же твой баринъпитается?» И это, значитъ, можно?

— Должно-быть. Вотъ ты и самъ съ нимъ разговариваешь...

— А я чѣмъ же могу! Я думалъ, онъ обѣ дѣлѣ хочетъ

говорить, а онъ вонъ чтò! По-моему, ему бы за это въ шею накласть—вотъ и все.

— А ты его спроси сначала, согласится ли онъ?

— Это, чай, и безъ спросу можно. При папенькѣ при вашемъ, царство небесное, коли бы такой случай вышелъ...

— Тò было при папенькѣ, а тò теперь.

— Такъ, значитъ, и пущай озоруютъ?

— И пущай!

— Покойной ночи-сь!

Несколько дней сряду повторялось это дикое гиканье, и однажды даже, какъ предсказалъ Лукьянъчъ, Разуваевъ угостилъ меня имъ въ глухую ночь. Прискакать несчетное число разъ мимо моей усадьбы во весь опоръ, крича: «карауль! рѣжутъ! пожаръ!» И во всѣхъ этихъ parties de plaisir неизмѣнно участвовалъ Граціановъ. Я понялъ, что противъ меня затѣяна интрига.

Очевидно, меня хотятъ выжить. Вездѣ кругомъ кабаки, вездѣ веселье идетъ, одинъ я заперся отъ всѣхъ и умираю. И при этомъ какъ-то странно и неестественно себя веду, такъ что и приоровиться ко мнѣ невозможно. Сперва не «якшался» и задиралъ носъ, потомъ смалодушничалъ и началъ «якшаться», и вотъ, въ ту самую минуту, когда всѣ сердца понеслись мнѣ навстрѣчу, когда всѣ начали надѣяться, что я буду приглашать деревенскихъ дѣвокъ водить хороводы у себя передъ домомъ и одѣлять ихъ пряниками, я вдругъ опять заперся и пересталъ «якшаться». Даже батюшка скандализировался моимъ поведенiemъ и, дабы не преогорчить своихъ прочихъ духовныхъ дѣтей, сталъ избѣгать свиданій со мною. Ясно, что Разуваевъ былъ въ этомъ мѣстѣ гораздо болѣе ко двору, нежели я.

Разуваевъ жилъ отъ меня верстахъ въ пяти, снималъ рощи и отправлялъ въ городъ барки съ дровами. Сверхъ того, онъ занимался и другими операциями, объектомъ которыхъ обыкновенно служилъ мужикъ. И онъ былъ веселый, и жена у него была веселая. Домъ ихъ, небольшой и невзрачный, стоялъ у лѣсной опушки, такъ что изъ оконъ никакого другого вида не было, кроме громаднаго пространства, сплошь усыпанного пнями. Но хозяева были гостепріимные, и пированье шло въ этомъ домишкѣ великое.

Ко времени, о которомъ идетъ рѣчь, доходилъ срокъ арендуемыхъ Разуваевымъ рощамъ. И вотъ онъ началъ задумываться. Капиталъ свободный есть, торговые связи

оже заведены, а главное, мѣсто насижено и облюбовано  
Здѣсь онъ по селу улицей—всѣ шапки снимаются; пріѣдетъ  
въ церковь къ обѣднѣ—станетъ съ супругой впереди у  
крылоса, подтягиваетъ дѣячку и любуется на пожертвован-  
ное имъ паникадило; послѣ обѣдни подойдетъ ко кресту  
первымъ послѣ Граціанова и получить отъ батюшки за-  
здравную просвиру. Всѣмъ съ нимъ повадно, всѣмъ по  
себѣ, потому что онъ на всѣ руки: и выпить не дуракъ,  
и пошутить охочъ, и сплясать можетъ. Поставитъ на го-  
лову стаканъ съ пивомъ и спляшетъ. Батюшка сколько  
разъ мнѣ говорилъ: «Вотъ у Разуваева икру подаютъ—  
блѣзжью, настоящую! А однажды изъ города копченую  
стерлядь привезъ—даже и до часа сего забыть не могу!»  
А матушка, вздохнувъ, прибавляла: «По здѣшнему мѣсту,  
только и полакомиться, что у Разуваевыхъ!» Даже такъ-  
называемая чернядь—и та какъ полуумная сбѣгалась со  
всѣхъ сторонъ, когда на село пріѣзжалъ Разуваевъ. По-  
тому что онъ вдругъ, того и гляди, велить пѣсни пѣть и  
начнетъ въ народъ гривенники на драку бросать!

Однимъ словомъ, всѣми онъ былъ любимъ, для всѣхъ  
желателенъ. Мужикъ онъ былъ не то чтобы молодой, но  
въ порѣ, статный, широкоплечий, лицо имѣло русское, круг-  
лое, румяное, глаза веселые, бороду пушистую, свѣтлору-  
сую. И жена у него была такая же, русская: круглицая,  
блѣлотѣлая, полногрудая, румяная, съ веселыми, слегка без-  
стыжими глазами на выкатъ. Охотники были оба пѣсни  
попѣть и пѣли мастерски, особенно хоровыя, подблюдныя.

Давно уже до меня доходили слухи, что Разуваевъ  
ищетъ купить себѣ усадьбу, но только чтобы непремѣнно  
за гроши. Думалъ-было онъ сначала на порожнемъ участкѣ  
новый домъ взбозрдить, но разсчиталъ, что за гроши но-  
ваго заведенія никакъ устроить нельзя. Да поди еще жди,  
когда еще оно въ настоящій видъ придется, а до тѣхъ  
поръ торчи на тычкѣ, жарясь лѣтомъ на припекѣ, а зи-  
мой слушай, какъ вѣтеръ воетъ. Начнешь парки разво-  
дить, сады сажать—смотришь, анъ изъ десяти деревъ одно  
принялось, а прочія посохли. Хорошо было этими парками  
тогда заниматься, когда крѣпостные были. Тогда ни одно  
дерево не пропадало, а шло все въ высъ и въ ширь, словно  
по щучьему велѣнию. Тогда-то и было положено начало  
всѣмъ паркамъ и садамъ, которые мы видимъ, а теперь не  
до парковъ. Такъ вотъ такую бы готовую старинную  
усадьбу подыскать, чтобы и парки при ней были, и пруды

бы въ паркахъ, и караси бы въ прудахъ водились, и плодовый садъ чтобы тутъ же находился, а въ бочку бы харчевенку съ проложей распивочно и на выносъ поставить. Да за грошъ бы, непремѣнно за грошъ.

Сколько тутъ пота мужичьяго пролилось, сколько бабыихъ слезъ эти парки видѣли—Разуваевъ обѣ этомъ не хочетъ и знать. До сихъ поръ старики поминаютъ: «вонъ въ этомъ мѣстѣ трасина была, такъ мы мѣшками засю таскали—смотри, каку горушу избодрили!»—но Разуваеву и до этого дѣла пѣть. Онъ знаетъ только, что современному помѣщику все это не къ рукамъ, да и самъ помѣщикъ, по нынѣшнему времени, тутъ не ко двору. Помѣщикъ—онъ человѣкъ невѣрный, а нужны люди постоянные, вѣроятные, то-есть либо кабатчики, либо оголтѣлые мужики. А сверхъ того, Разуваевъ имѣть простодушно-наглое убѣждѣніе, что стоять только помахать у помѣщика подъ носомъ ассигнаціей, чтобъ онъ сейчасъ же, отъ одного ассигнаціоннаго запаха, впаять въ изнѣмленіе.

И вотъ, благодаря этой наглости съ одной стороны и сознанію беззащитности съ другой, мое сладкое умирание было самымъ нахальнымъ образомъ прервано. Уже съ самаго начала открытія непріязненныхъ дѣйствій, съ появлениемъ первыхъ гиканій, я смутно почувствовалъ, что мое дѣло не выгоритъ, что, такъ или иначе, я долженъ буду уступить силѣ обстоятельствъ. Въ самомъ дѣлѣ, что я могъ предпринять, чтобы оградить себя отъ Разуваева? Жаловаться на него—куда? И притомъ что-нибудь одно: или умирать, или утруждать начальство просьбами, а одновременно заниматься и тѣмъ, и другимъ—развѣ это съ чѣмъ-нибудь согласно? Если же прибѣгнуть къ партикулярнымъ мѣрамъ взысканія, то и тутъ ничего не подѣлаешь. Плюнешь Разуваеву въ лицо—онъ угрется, своротишь ему скулу—онъ въ банию сходить и опять ее на ста- рое мѣсто вправить. Словомъ сказать, съ какой стороны къ нему ни приступись—онъ неуязвимъ. Пожалуй, еще запоеть: «Веселися, храбрый россы!» и заставить слушать себя стоя...

Въ одно прекрасное утро, взглянувъ въ окно, обращенное въ паркъ, я увидѣлъ, что въ одной изъ расчищенныхъ для моихъ прогулокъ аллей ходить двое мужчинъ, посматривають кругомъ хозяйствскимъ глазомъ, мѣряютъ шагами пространство и даже деревья пересчитываютъ. Вглядѣвшись пристальнѣе, я узналъ въ постѣтителяхъ Разуваева

и Грацианова. Воть они скрылись въ чащѣ, воть опять выглянули, подошли къ пруду, при чмъ Разуваевъ сплюнуль на посинѣвшій ледъ; воть подошли къ рѣшеткѣ, отдаляющей огородъ отъ сада, и что-то высчитываютъ— должно быть, сколько лугъ грядъ можно обработать, и съ чмъ именно. Воть наконецъ они возвращаются, опять останавливаются и толкуютъ, воть подходятъ къ дому.

Черезъ минуту въ передней у меня раздался звонокъ...

---

#### IV.—Finis Монрепо.

Когда продавецъ недвижимаго имущества входить въ сношениіе съ покупателемъ, то совѣтуетъ первому не только не утасывать недостатковъ продаваемаго имѣнія, но объяснять оные съ полной откровенностью. Само собою, впрочемъ, разумѣется, что умный продавецъ никогда не скажетъ, что имѣніе его ничего не стоитъ, но сошлется или на недостатокъ капиталовъ, или на собственныи свои, владѣльца, невѣжество и нерадивость. Такая откровенность почти всегда удается, ибо всякий покупатель непремѣнно минѣтъ себя агрономъ, а ежели у него, вдобавокъ, есть нѣсколько лишнихъ тысячъ рублей, то къ такому самомнѣнію обыкновенно присоединяется увѣренность, что, по мѣрѣ размѣна крупныхъ ассигнацій на мелкія, негодное имущество будетъ постепенно превращаться въ золотое дно. Одинъ нашъ знакомый, напримѣръ, такъ рекомендовалъ свое Монрепо лицу, интересовавшемуся приобрѣтеніемъ онаго:

«Земля у менѣ,—пишь онъ,—отчасти худородная, отчасти изъ песковъ состоящая, но ежели приложить трудъ, умѣніе и капиталъ, то... Баженовъ пишетъ: извѣстно, что даже зыбучие пески, ежели... Совѣты подѣгруютъ: ежели зыбучіе пески... Но въ особенности рекомендую нѣкоторыи подозрительного свойства залежи, которыхъ въ имѣніи очень достаточно и которыи, по недостатку капиталовъ, не были, къ сожалѣнію, подвергнуты изслѣдованию. Судя, однако-жъ, по ржавчинѣ, покрывающей воду и растущіе алаки, можно предположить...»

И что же! откровенность эта имѣла самый полный успѣхъ! Прошло очень немного времени, какъ въ Монрепо уже разгуливала новый владѣлецъ и, въ свою очередь, обдумывать излучшую для онаго рекомендацию!

Изъ неизданнаго сочиненія: «Совѣты благоразумія при продажѣ земельныхъ недвижимыхъ имуществъ».

Разуваевъ предсталъ передо мной радостный, румяный, светлый. Онъ увѣренно протянулъ мнѣ руку, держа ее ладонью вверхъ.

— Ну, баринъ, по рукамъ!—воскликнула онъ, повиди-

мому, не питая ни малѣйшаго сомнія, что именно эти самыя слова ему сказать надлежитъ.

— По какому слушаю?

— Да такъ ужъ, хлопай! въ накладѣ не будешь! Хорошее слово услышашь!

— Покуда чтѣ услышу, а до тѣхъ поръ лучше было бы, кабы вы безцеремонность-то посократили.

Разуваевъ взглянуль на меня, слегка подбоченился и грустно покачать головой.

— Ахъ, баринъ вы, баринъ! Погляжу я на васъ, барь,— все-то вы артачитесь!

И затѣмъ, вынувъ изъ кармана большой и туго набитый бумажникъ, присовокупилъ:

— Вотъ!

Приводя эту сцену, я отнюдь не преувеличиваю. Въ послѣднее время русское общество выдѣлило изъ себя нечто на манеръ буржуазіи, то-есть новый культурный слой, состоящій изъ кабатчиковъ, процентщиковъ, желѣзнодорожниковъ, банковыхъ дѣльцовъ и прочихъ казнокрадовъ и міроѣдовъ. Въ короткій срокъ эта праздношатающаяся тля успѣла опутать всѣ наши палестини, въ каждомъ углу она сосеть, точить, разоряетъ и, вдобавокъ, нахальничаетъ. Въ большихъ центрахъ она теряется въ массѣ прочихъ праздношатающихся и потому не слишкомъ бѣть въ глаза, но въ малыхъ городахъ и въ особенности въ деревняхъ она положительно подла и невыносима. Это — ублюдки крѣпостного права, выбивающіеся изъ всѣхъ силъ, чтобы установить свое въ свою пользу, въ формѣ менѣе разбойнической, но несомнѣнно болѣе воровской.

Помѣщикъ, еще недавній и полновластный обладатель сихъ мѣсть, исчезъ почти совершенно. Онъ захудаль, струсилъ и потому или бѣжалъ, или сидѣть, спрятавшись; въ ожиданіи, что вотъ-вотъ сейчасъ побѣжитъ. Мужикъ ничего отъ него не ждетъ; буржуа-міроѣдъ смотритъ такъ, что только не говорить: а вотъ я тебя сейчасъ слопаю; даже попѣ—и тотъ не идеть къ нему славить по праздникамъ, ни о чёмъ не докучаетъ, а при встрѣчахъ впадаетъ въ учительный тонъ.

Оставшись съ клочками земли, которые самъ облюбовалъ при составленіи уставныхъ грамотъ и не безъ грѣха утянуль отъ крестьянскихъ надѣловъ, помѣщикъ не знаетъ, чтѣ съ ними дѣлать, какъ ихъ сберечь. Видѣть самъ, что онъ къ дѣлу не приготовленъ, на выдумки не гораздъ, да

притомъ и лѣнивъ, и что, слѣдовательно, чтѣ бы онъ ни предпринялъ—ничего у него не выйдетъ. Между тѣмъ надо жить. И жить не властъ имѣющимъ, не привилегированнымъ, а зауряднымъ партикулярнымъ человѣкомъ. И прежде былъ онъ негораздъ и неретивъ, но прежде у него было подъ руками «вѣрный человѣкъ», который и распоряжался и присматривался за него, а ему только денежки на столь выкладывали: пей, ъши и веселись! Увы! скоро исполнится двадцать лѣтъ, какъ «вѣрного человѣка» и слѣдъ простыль. «Нѣгъ вѣрныхъ людей! пропалъ, изворовался вѣрный человѣкъ!»—вопіютъ во всѣхъ концахъ разсѣянные остатки стариннаго барства, и вопіютъ не напрасно, ибо каждому изъ нихъ предстоитъ ухитить разрушающееся гнѣздо, да и въ домашнемъ обиходѣ дворянскій обычай соблюсти, то-есть имѣть чай, сахаръ, водку, табакъ. На все это потребенъ рубль, рубль и рубль; а откуда его добыть тому, кто «вѣрного человѣка» лишился и не успѣлъ проникнуть ни въ земство, ни въ мировыя учрежденія?

А «вѣрный человѣкъ» притаился тутъ же подъ бокомъ и обрастаѣтъ да обрастаѣтъ себѣ полегоньку. Помѣщикъ, Сидоръ Кондратычъ Прогорѣловъ, нѣкогда звалъ его Егоркой, потомъ сталъ звать Егоромъ Ивановыемъ, потомъ—Егоромъ Иванычемъ, а теперь уже и прямо произноситъ полный титулъ: Егоръ Иванычъ господинъ Груздѣвъ. Егорка прижалъ въ свое время у Сидора Кондратыча нѣсколько сотенъ рублей; Егоръ Ивановъ—опуталъ ими деревню; Егоръ Иванычъ сѣздила въ городъ, узналъ, где раки зимуютъ, и открылъ кабакъ, а при ономъ и лавку, въ качествѣ подсюорья къ кабаку; а господинъ Груздѣвъ ужъ о томъ мечтаѣтъ, какъ бы ему «банку» устроить и въ конецъ родную палестину слопать. Тщетно Сидоръ Кондратычъ изъ глубины взволнованной души вопіеть: «давно ли Егорка при мнѣ въ прохвостахъ состоялъ!»—на эти вопли Егорка совершенно резонно ему возражаетъ: «одни это съ вашей стороны, Сидоръ Кондратычъ, нестоящія слова!»

Однако-жъ и Егорка выступаетъ на арену дѣятельности не Богъ знаетъ съ какимъ запасомъ. И онъ негораздъ и невѣжественъ, и онъ ретивъ только галдѣть да зубы заговоривать. Но у него есть готовность кровопийствовать—и это значительно помогаетъ ему. Готовность эту онъ выработалъ еще въ то время, когда въ «подломъ видѣ» состоялъ, но тогда онъ употреблялъ ее за счетъ своего патрона, и

за это-то именно и получил титул «вѣрнаго человѣка». Теперь онъ пользуется ею ужъ «гля себя» и пользуется, разумѣется, шире, рискованнѣе. Но, сверхъ того, у него есть и еще подспорье: онъ совсѣмъ не думаетъ о томъ, что ожидаетъ его впереди. Можетъ-быть, изъ него выйдетъ *господинъ Груздѣвъ*, а, можетъ-быть, онъ угодить въ острогъ. Разумѣется, лучше сдѣлаться *господиномъ Груздѣвымъ*, но, съ другой стороны, и въ Сибири люди живутъ. Не выгорѣло—только и всего; а чтобы совсѣмъ было или больно—ни капельки. Понятно, что, заручившись двумя столь драгоценными качествами, онъ всяку мышь, всякую букашку, въ травѣ ползущую—все видитъ.

И вотъ наконецъ совершилось. Миновавши чудеснымъ образомъ каторгу, Егорка откуда-то добываетъ себѣ шитый мундиръ и окончательно дѣлается Егоромъ Иванычемъ господиномъ Груздѣвымъ. Онъ пьеть кровь уже въявлъ и въ то же время сознаетъ себя «столпомъ». Все кругомъ «подражаетъ» ему, заскакиваетъ, льстить. Уѣздныя власти заѣзжаютъ къ нему и по пути, и безъ пути пытать въ его домѣ, закусываютъ и, въ случаѣ административныхъ затрудненій, прибѣгаютъ къ его помощи. Кто купить недоимщицкій скотъ?—Егоръ Иванычъ. Къ кому обратиться съ приглашеніемъ о пожертвованії?—къ Егору Иванычу. А глядя на властей, и помельче сошка чувствуетъ, какъ раскипается у нея сердце усердіемъ къ Егору Иванычу. Батюшка обѣдни не начинаетъ до прѣзда его въ храмъ; волостной старшина совмѣстно съ писаремъ контракты для него сочиняютъ, коими закрѣпляютъ въ пользу его степени всю волость, а сотскіе и десятскіе все глаза проглядѣли, не покажется ли гдѣ Егоръ Иванычъ, чтобы броситься впередъ и разгонять на пути его чернядь.

Видя такое общее «подражаніе», Егорка начинаетъ больше и больше входить въ азартъ. Онъ уже не разъ видѣлъ себя въ мечтахъ поребравшимся въ Петербургъ и оттуда дѣлающимъ экскурсіи «для дебаширства» въ Парижъ, Ниццу, Баденъ-Баденъ и проч.; но покуда это—еще идеаль болѣе или менѣе отдаленнаго будущаго. Покамѣстъ ему и дома жить хорошо. Только вотъ Сидоръ Кондратьичъ, словно бѣльмо на глазу, у него торчитъ. Струсишь онъ, захудалъ, а все-таки помнить, что Егорка въ прохвостахъ у него состоялъ. Да и гибѣдо у него такое насиженено, какъ будто бы именно тутъ, а не въ иномъ

мѣстъ «господину» быть надлежить. Знаеть Егорка, что все это, въ сущности, пустяки, что не въ иреданіяхъ прошлаго сила — и все-таки кипятится: какъ-ни-какъ, а надо Сидора Кондратьича изъ здѣшняго мѣста выкуриить, надо гнѣздомъ его завладѣть. Ибо тогда и только тогда онъ воистину *господинъ* Груздѣвъ будетъ.

Сказано — сдѣлано. Предпринимается цѣлый рядъ подвоховъ. Еще будучи въ «подломъ видѣ», Егорка-вѣрный че-ловѣкъ до тонкости вызналь Сидора Кондратьича и очень хорошо понимаетъ, на какой струнѣ надлежить играть, чтобы его заставить лѣзть на стѣну или ввергнуть въ уныніе. И вотъ не проходитъ и нѣсколькихъ мѣсяцевъ, какъ бывшій властелинъ сихъ мѣстъ видить себя лишеннымъ огня и воды и дѣлается притчей во языцѣхъ. Рабочіе къ нему не идутъ, поля у него не родятъ, коровы его не доятъ, овцы чихаютъ... дуррракъ! Даже чернѣдь, которая специальна рождена для того, чтобы слезы лить, и та весело гогочетъ, слушая анекдоты обѣ егоркиныхъ подвохахъ и прогорѣловскомъ простодушіи. А ежели не донимаютъ простые подвохи, то пускаются въ ходъ подвохи сложные, какъ-то: доносы, напоптыванья, раздаются слова: «книжки читаѣтъ», «народъ смущаетъ», «себлазнь заводитъ». Долго не вѣрить Сидоръ Кондратьичъ ушамъ и глазамъ своимъ, но наконецъ убѣждается, что надо бѣжать, бѣжать безъ оглядки, сейчасъ...

Я не утверждаю, разумѣется, что все написанное выше составляеть общее правило. Есть и тутъ исключенія, но ихъ такъ мало и они такъ своеобразны, что большинству, состоящему изъ простыхъ смертныхъ, трудно и мечтать о томъ, чтобы попасть въ ряды счастливцевъ. Вотъ эти исключенія. Во-первыхъ, дѣятели земскихъ и мировыхъ учрежденій, потому что они сами всегда могутъ притѣснить; во-вторыхъ, землевладѣльцы изъ числа крупныхъ петербургскихъ чиновниковъ, потому что они могутъ содѣйствовать груздѣвскимъ предпріятіямъ и, сверхъ того, служить украшеніемъ груздѣвскихъ семейныхъ торжествъ, какъ-то: крестинъ, свадебъ и проч.; въ-третьихъ, землевла-дѣльцы изъ ряда вонъ богатые, считающіе за собой земли десятками тысячъ десятинъ, которые покуда еще игнорируютъ Груздѣвыхъ и отсылаютъ ихъ для объясненій въ конторы; и въ-четвертыхъ, землевладѣльцы не особенно влиятельные, но обладающіе атлетическимъ тѣлосложеніемъ и способные произвести ручную расправу. Вотъ единствен-

ныя лица, передь которыми новоявленный русский буржуа до поры до времени не нахальствуетъ.

Повторяю, это совсѣмъ не тотъ буржуа, которому удалось неслыханнымъ трудолюбіемъ и пристальнымъ изученіемъ профессіи (хотя и не безъ участія кровописства) завоевать себѣ положеніе въ обществѣ; это—просто праздный, невѣжественный и притомъ лѣнивѣйшій забулдыга, которому, благодаря слѣпой случайности, удалось уйти отъ каторги и затѣмъ слопать кишащія вокругъ него массы «рохлей», «ротогѣевъ» и «дураковъ».

Хотя Разуваевъ еще мелко плавалъ, но уже былъ, такъ сказать, на линіи Груздѣвыхъ. По крайней мѣрѣ идея грабежа была ужъ вполнѣ имъ усвоена. Я зналъ его очень давно, еще въ то время, когда онъ состоялъ дворовымъ человѣкомъ моего сосѣда по прежнему имѣнію, корнета Отлетаева. Тогда Анатошка Разуваевъ, молодой и красивый парень, пользовался довѣріемъ корнетши Отлетаевой, а камеристка послѣдней, Аннушка, тоже молодая и красива дѣвица, пользовалась таковымъ же довѣріемъ со стороны самаго корнета. Года два или три эти люди жили безмятежно, довольные собой, какъ вдругъ эманципація все это счастье перевернула вверхъ дномъ. И Анатолій, и Аннушка тотчасъ же наотрѣзъ отказались отъ наперсничества, хотя корнетъ и корнетша доказывали, что имѣютъ право еще въ теченіе двухъ лѣтъ пользоваться ихъ услугами. Дѣло не обошлось безъ формального разбирательства, но по тогдашнему либеральному времени кончилось тѣмъ, что возмутившимся «хамамъ» выданы были увольнительные свидѣтельства. Немедленно послѣ этого молодая чета вступила въ законный бракъ, а затѣмъ и навсегда исчезла изъ родовыхъ палестинъ. И вотъ, спустя пятнадцать лѣтъ, я вновь встрѣтился съ ними, и встрѣтился какъ чужой, потому что Разуваевъ ни словомъ, ни движеніемъ не выдалъ, что когда-то зналъ меня.

Какъ бы то ни было, но въ эту минуту нахальство Разуваева какъ-то непрѣятно на меня подѣствовало. Къ сожалѣнію, ежели я способенъ понимать (а стало-быть, и оправдывать) известныя жизненные явленія, то не всегда имѣю достаточно выдержки, чтобы относиться къ нимъ объективно, когда они становятся ко мнѣ лицомъ къ лицу. Поэтому я вмѣсто отвѣта указалъ Разуваеву на дверь, и онъ былъ такъ любезенъ, что сейчасъ же послѣдовалъ моему молчаливому приглашенію.

Но тутъ-то именно и начались для меня глупѣйшія испытанія. Вечеромъ того же дня явился Лукьянъчъ и вмѣсто того, чтобы, по обычаю, повздыхать да помолчать, вступилъ въ собесѣданіе.

— Разуваева-то вы давѣча прогнали?

— Я его къ себѣ не приглашалъ, а стало-быть, и отъ себя не прогонялъ. А такъ какъ онъ ворвался ко мнѣ на халомъ, то, разумѣется, я...

— Про то я и говорю, что прогнали.

Лукьянъчъ помолчалъ съ минуту, потомъ крякнулъ, переступилъ съ ноги на ногу и какъ-то особенно пошевелилъ плечами. Значить, будетъ продолженіе.

— А онъ къ вамъ за дѣломъ пріѣжалъ.

— Да, показывалъ бумажникъ; вотъ за это-то я и указалъ ему на дверь.

— Угоду онъ у васъ купить охотится—оттого и бумажникъ показывалъ. Чтобъ, значитъ, сумѣнія вы не имѣли.

— А коли дѣло想要ъ дѣлать, такъ долженъ говорить по-человѣчъму, а не махать бумажникомъ у меня передъ глазами.

— Такъ-то оно такъ.

Опять минута молчанія и опять переступаніе съ ноги на ногу.

— Нехорошо въ здѣшнемъ мѣстѣ, нескладно.

— Чѣмъ такъ?

— Народу настоящаго нѣть. Мелкій народъ, гадѣнокъ. Глаза бѣлые, лопочутъ по-своему, не разберешь. Ни ему приказанье отдать, ни отъ него резонъ выслушать... право!

— Такъ вѣдь это не со вчерашняго дня.

— То-то, говорю: нехорошо здѣсь. Сидишь, молчишь—того гляди, остатній умъ промолчишь.

— Да ты сказывай прямо: съ Разуваевымъ, что ли, разговаривалъ?

— А хоть бы и съ Разуваевымъ... Разуваевъ самъ по себѣ, а я самъ по себѣ.

— Ну, хорошо; продать такъ продать. А куда потомъ дѣваться? надо же гдѣ-нибудь помирать?

— Я въ свое мѣсто уйду, къ Успленью-матушкѣ.

— А я куда уйду?

— Неужто-жъ мѣстовъ не найдется!

— То-то вотъ и есть, что нынче нигдѣ притаиться нельзя. Только-что затворишиесь — смотришь, анъ кто-нибудь и заглянуль.

— Кабы вы меня слушали, этого бы не было. Говориль я тогда: не нужно мужикамъ Свѣтлички отдавать—нѣть, отдали. А пустошоночка-то какая! кругленькая, веселенькая, двадцать десятинокъ — въ самую могуту! И лѣсокъ березовый по ней, грибовъ сколько, все бѣлые. Все село туда за грибами ходить. Выстроили бы тамъ домокъ, въ пропорцію; какъ захотѣли, такъ и жили бы.

— Да ты къ чему это говоришь? уйти, что ли, отъ меня хочешь?

— Уйти мнѣ отъ васъ никакъ невозможно. Я покойному вашему папенъкѣ образъ снималъ, чтобы быть, значитъ, завсегда при васъ. А только я по мужицкому своему разуму говорю: нехорошо здѣсь.

— Стало-быть, продать?

— Это какъ вамъ будетъ угодно

— И опять искать?

— И опять сыскать можно. Только ужъ надо съ умомъ. Чтобы Разуваевыхъ, значитъ, не было. Вонъ онъ и теперь свищетъ да гамить по ночамъ, а лѣтомъ, пожалуй, и вовсе въ трубу трубить будетъ... Попрежнему, по-старинному, въ шею бы ему за это накласть, а нынче, вишь, не-дозволено.

— Чудакъ! да вѣдь и тамъ, и во всякомъ мѣстѣ свой Разуваевъ найдется!

— На что такое мѣсто выбирать? Надо такое избрать, чтобы никѣмъ-никого опричь своихъ. Живемъ, значитъ, здѣни, ни мы никого не замаемъ, ни насть никто не замай. Вотъ какое мѣсто искать нужно.

— Ну, прощай покуда.

— Спокойной ночи-съ.

Всю ночь я не могъ заснуть. Все мнѣ представлялся вопросъ: въ самомъ дѣлѣ, чтѣ я буду дѣлать, если Разуваеву вздумается по ночамъ въ трубу трубить? Да и не одному Разуваеву, а вообще всякому. Должно-быть, ужъ это судьба такая: насчетъ членіевъ строго, а въ трубу трубить у сосѣда подъ ухомъ—можно. Весь арсеналъ воздѣйствій, кажется, во всякое время налицо: и ежовыя рукавицы, и бараній рогъ, и злачныя мѣста—а кому они служатъ защитой? Хорошо еще, что не всѣ знаютъ, что озорничать свободно — иначе всѣ, у кого мало-мальски досугъ есть, непремѣнно затрубили бы въ трубы. Какъ тутъ быть? неужто приносить жалобы, подавать прошенія, нанимать адвоката, ходатайствовать? неужто наконецъ бѣжать?

И на другой день утромъ голова моя была полна этими мыслями. Уныло бродилъ я по комнатамъ и отъ времени до времени посматривалъ въ окно, словно желая удостовѣриться: все ли стоить на старомъ мѣстѣ и не бѣжало ли къ Разуваеву? Мартъ подходилъ уже къ концу, время стояло хмурое, хотя въ воздухѣ все-таки чуялась близость весны. Деревья въ паркѣ стояли обнаженные, мокрые; на цвѣтникѣ, передъ домомъ, снѣгъ лосинѣлъ и, весь истощенный, долеживалъ послѣдній срокъ; дорожки по мѣстамъ пестрѣли желтыми пятнами; нѣсколько поодаль, на огородѣ виднѣлись совсѣмъ черные гряды, а около парниковъ шла усиленная дѣятельность. За зиму рабочей людѣ отдохнула и приготовлялся къ серьезному труду. Вотъ и я за зиму отдохнула и приготовляюсь продолжать отдыхать и лѣтомъ. Какой отдыхъ пріятнѣе: зимній или лѣтній? — оба въ своемъ родѣ хороши! Зимой хорошо отдыхать, переходя въ туфляхъ изъ комнаты въ комнату; лѣтомъ хорошо отдыхать, бродя по аллеямъ и внимая пѣнію зябликовъ и чижей. Но ежели все сложилось такъ хорошо — зачѣмъ же я буду уступать это хорошее какому-то Разуваеву? И какое право онъ имѣть прямо или косвенно заявлять, что я кому-то мѣшаю и что вообще я здѣсь не ко двору?

Среди этихъ сѣтованій явился давно небывалый гость: батюшка. На вопросъ: чѣмъ потчивать? онъ только горько усмѣхнулся, какъ бы вопрошая: а какіе теперь дни? забылъ?

— Не полагается?

— То-то, что не полагается. И изъ мірянъ благочестивые — и тѣ ни вина, ни елея не дерзаютъ.

Мы оба нѣсколько минутъ помолчали, слегка удрученные.

— Былъ я у васъ на мельницѣ, — началъ батюшка: — полезное заведеньице!

— Выгоды мало приносить, батюшка.

— И выгода будетъ, ежели къ рукамъ. Коли помольцевъ мало, самимъ по осени, въ дешевое время, зерно можно скупить, а весной, въ дорогое время, мукой продавать — убытка не будетъ. Вотъ тоже огородъ у васъ. Мѣсто обширное: сколько одной овощи насадить можно, окромя ягодъ и всего прочаго!

— И сажаемъ, батюшка, да тоже безъ особенной выгода. Сами, должно-быть, потребляемъ, а на сторону малъ продаемъ.

— И на сторону можно бы продавать, коли съ разумъ-

шемъ. Возьмемъ хотя бы ягоды: земляница, малина, сморода,—на все покупщикъ найдется.

— Кабы быть покупщикъ—отчего бы не продать!

— Искать, сударь, надо—и найдется. Толщте и отверзется. По здѣшнему мѣсту да покупщика не сыскать! Да тутъ на одномъ огурцѣ фортуву сѣять можно.

Однако-жъ воспоминаніе объ овощахъ (особенно ежели съ елесемъ), повидимому, подействовало на батюшку раздражительно. Онъ слегка повернулся, провелъ рукою по волосамъ, какъ бы отгоняя «мечтаніе», потомъ вздохнулъ и перешелъ къ злакамъ.

— Вотъ тоже луга у васъ. Мѣсто здѣсь потное, доброе, только ума требуетъ. А вы сбете-сбете, и все у васъ кислица замѣсто тимофеевки родится,

— Такъ, стало-быть, Богу угодно, батюшка.

— Знаю, что безъ Бога нельзя. Прогнѣвать Его не слѣдуетъ—вотъ что главнѣе всего. А затѣмъ и самому необходимо заботу прилагать, дабы Богъ на наши благополезные труды благосердныи окомъ взиралъ. Вотъ тогда будетъ родиться не кислица, а тимофеева трава.

— Что-жъ, батюшка, кажется, я ничего такого не дѣлаю, за что бы Богу гнѣваться на меня.

— То-то и есть, что «не дѣлать»—то мы всѣ мастера, а нужно «дѣлать», да только такъ «дѣлать», чтобы Богу пріятно было. Тогда у насъ будетъ нормовъ изобиліе: и сами будемъ сыты, и скотину не изобидимъ. Скажемъ, напримѣръ, о картофель. Плантациіи вы завели значительныя, картофель прошлой осенью нарыли достаточно, а между прочимъ добрую половину свиньямъ скормили. Свиньи же, по неизвѣнію борова, плода не принесли.

Послѣднее замѣчаніе поразило меня. Въ самомъ дѣлѣ, меня преслѣдуетъ неудача особаго рода. На скотномъ дворѣ у меня мужской плодъ положительно не въ авантажѣ. Третій годъ, напримѣръ, мы ищемъ селезня для утокъ, и что ни купимъ—опять окажется утка. И вотъ, вслѣдствіе этого преобладанія женскаго элемента надъ мужскимъ, куры ненесутся, коровы доить мало и телятся не каждогодно. А одна корова такъ положительно добродѣтельная. Въ теченіе четырехъ лѣтъ всего одинъ разъ телилась, да и то самымъ необыкновеннымъ образомъ. Никто ничего не подозрѣвалъ, а она между тѣмъ однажды вечеромъ не пришла со стадомъ домой, а на утро, только солнышко встало, слышимъ: мычить, умница, у воротъ, а за нею теленочекъ. Радо-

стамъ и изумлениамъ не было конца. «Вотъ умница, вотъ красавица! и гдѣ это она?» сыпалось на нее со всѣхъ сторонъ, и всякий спѣшилъ чѣмъ-нибудь порадовать умную коровку. Радовался и я, и подарилъ «Умницѣ» «Домашнюю Бесѣду» за цѣлый годъ. Но съ тѣхъ поръ «Умница»—ни гугу. Покушаешь, ляжешь, взглянешь на небо, зажмурить глаза—и только. Не разъ я спрашивалъ у Лукьянчика, что за причина такая? Но у него всегда одинъ отвѣтъ: либо—«стало-быть, пѣтухи свою дѣла не понимаютъ», либо—«стало-быть, быкъ не солоношь попался». Прекрасно; но кто же долженъ за этимъ наблюдать?

Разумѣется, въ виду этихъ фактовъ я ничего дѣльнаго на укоризны батюшки возразить не могъ.

— Опять же лѣсь, — продолжалъ между тѣмъ батюшка:—съ тѣхъ поръ, какъ имѣніе къ вамъ перешло, онъ даже въ ростѣ прибавляться пересталъ. Мужики въ немъ жерднякъ рубятъ, бабы — вѣники рѣжутъ. А ежели бы этотъ самый лѣсь да въ надежныя руки—онъ бы процентъ принесъ!

Я молчалъ, потому что сознавалъ батюшину правду, какъ она ни была для меня обидна. А батюшка все больше и большие хмуриль брови и началь даже разжизниться.

— Куры ненесутся,—говорилъ онъ негодящимъ голосомъ:—коровы молока не даютъ, поля не родятъ, мельница издержекъ не окупаетъ, лѣсь надлежащаго прироста не даетъ—по-вашему, какъ это называется?

Я такъ и ждалъ, что онъ вынетъ изъ кармана листокъ «Московскихъ Вѣдомостей» и закричитъ: «измѣна!»

— А по-моему, — продолжалъ онъ: — это и для правительства прямой ущербъ. Правительство источниковъ новыхъ не видитъ, а стало-быть, и въ обложеніяхъ препону находить. Въ случаѣ, напримѣръ, войны—какъ тутъ быть? А окромѣ того и мѣстность здѣшняя терпитъ. Сколькимъ сирымъ и неимущимъ было бы существованіе обеспечено, если-бъ съ вашей стороны приличное направление сельскохозяйственной дѣятельности было дано! А вѣдь и по христіанству, сударь, грѣшино сирыхъ не призирать.

Батюшка опять-таки былъ правъ; но такъ какъ онъ разсердился, то, по закону возмездія, счелъ нужнымъ разсердиться и я.

— Ну-ну, бата! — сказалъ я: — увѣщевать, отчего не увѣщевать, да не до седьмого пота! Куры яицъ не несутъ, а онъ правительство приплелъ... ишь вѣдь! Вотъ я

намедни въ газетахъ читалъ: такой же батя, какъ и вы, опасеніе выражалъ, дабы добрыя сѣмена не были хищными птицами позабыты. Хоть я и не приравниваю себя къ «добрѣмъ сѣменамъ»—гдѣ ужъ!—а сдается, будто вы съ Разуваевымъ сѣбать меня собрались.

— Что вы! Христосъ съ вами!—смягчился батюшка:— я вѣдь для вашей же пользы! Вижу, что ни въ чемъ благополучія нѣть, думаю: кому же, какъ не пастырю, о семъ представительствовать!

— Нѣть, вѣтъ лучше прямо скажите: Разуваевъ васъ комиѣ подослали?

Батюшка слегка крякнулъ и ужъ совсѣмъ было сконфузился, но сейчасъ же, впрочемъ, оправился.

— А хотѣлъ бы и Разуваевъ? отчего же бы и отъ него препорученія не принять, ежели изъ того обойдная польза произойти должна? Въ сихъ случаяхъ пастырю даже въ обязанность вмѣняется...

— Позвольте, да развѣ я въ газетахъ публиковалъ или кому сказывалъ, что дачу продаю?

— Обѣ этомъ, конечно, не слыхаль, а только для всѣхъ видимо. Призору настоящаго нѣть, предпріятій тоже не видится — вотъ и сдается, словно бы дѣло къ недальнему концу приближается.

— Вы такъ полагаете?

— Вмѣстѣ съ прочими и я. Нерѣдко мы съ попадьей про вѣсть поминаемъ: совсѣмъ не такъ господинъ устроился, какъ ему надлежитъ! Да вѣдь и въ самомъ дѣлѣ, гдѣ, сударь, вамъ за ской угодной самимъ вездѣ усмотрѣть?

— А какъ бы, по-вашему, миѣ устроиться надлежало?

— Да такъ думается: десятинки дѣвъ-три, не больше; домичекъ небольшой, садикъ при немъ, аллейка для прохладности... чисто, аккуратно! А изъ живности: курочекъ съ пятокъ, ну, коровка, чтобы молочко свое было.

— За этимъ, значитъ, я буду въ состояніи усмотретьъ?

— Гдѣ и сами присмотрите, а гдѣ и Лукьяннычъ поможетъ. Женщину тоже хорошую подыскать можно, чтобы за курами да за коровой ходила.

Именно это самое говорилъ миѣ вчера Лукьяннычъ. Да и самъ—развѣ я, въ сущности, когда-нибудь мечталъ о другомъ! Пять курочекъ и одна коровка — вотъ все, что миѣ нужно, съ чѣмъ я могу справиться! Да и это нужно совсѣмъ не для того, что оно въ самомъ дѣлѣ «нужно», а только для того, чтобы около дома не было ужъ через-

чурь безмолвно, чтобы что-нибудь по близости мычало, кухтало. Взять бы я въ товарищи Лукьянчика и скотницу Матрену, слушать бы, какъ они, съ утра прикончивъ съ дѣлами, взапуски зѣваютъ и чешутся спинами объ дверные косяки. И мнѣ было бы хорошо, и всѣмъ было бы хорошо. Правительство находило бы новые источники, а Разуваевъ приизиралъ бы сырыхъ и неимущихъ, предоставляя имъ пахать землю, полоть гряды въ огородѣ и проч. Тѣмъ не менѣе я не рѣшился въ эту минуту сознаться передъ батюшкой, что онъ отгадалъ мои тайные помышленія!

— Благодарю за предику,—сказалъ я: — но откровенно сознаюсь, что таковыя бываютъ пріятыи лишь во благовременіи. Такъ и Разуваеву передайте.

На этотъ разъ батюшка взаимно оторвался и даже слегка побѣгѣлъ въ лицѣ. Онъ поспѣшно засучилъ рукава своей ряски, взялъ шапку и сталъ искать глазами образа.

— Образокъ-то маленький! — сказалъ онъ: — сразу и не стыдишься!

Онъ произнесъ это съ улыбкой, что, впрочемъ, не мѣшило мнѣ прочесть на его лицѣ: «МАТЕРИАЛЫ!!! Правительству новыхъ источниковъ дохода не предоставляетъ — первое; настырѣ духовныхъ не читать и совсѣмъ ихъ не брежетъ — второе».

— Говорить-то будете? — спросилъ онъ уже совсѣмъ умиленнымъ голосомъ.

— Я, батюшка, въ городѣ...

Онъ радушно показалъ мнѣ руку на прощанье, но увѣренію моему вѣры не далъ, и на лицѣ его я прочиталъ новый «материалъ»: «утверждаетъ, якобы говорѣлъ въ городѣ, но наврядъ ли — третье».

Распростившись съ батюшкой, я вышелъ изъ дома и направился въ огородъ. Тамъ, около парниковъ, сидѣлъ садовникъ Артемій, порядочно навеселъ, и ропталъ.

— Какой это навозъ? — вопіялъ онъ: — развѣ на такомъ навозѣ можетъ настоящая обѣшь вырасти?

Съ этими словами онъ нагнулся, зачерпнулъ изъ парника рукой и поднесъ горсть къ самому моему липу.

— Вотъ, сударь, извольте смотрѣть!

И затѣмъ, не выжидая моего отвѣта, продолжалъ:

— Навозъ для парниковъ долженъ быть конскій, чистый... одно чтобы кало! А у васъ какъ? Я говорю: давай мнѣ навозу чистаго, чтобы, значитъ, все одно, какъ печь, а Лукьянчика: «ступай въ свиной хлѣбъ, тамъ

про тебя много приласено!» Развѣ такъ возможно... ахъ-ахъ-ахъ!

— Ну, старикъ, какъ-нибудь...

— Позвольте вамъ, господинъ, доложить: и вѣсъ за эти самыя слова похвалить нельзѧ. Потому я — садовникъ, и всякий, значитъ, береть это въ разсужденіе. Теперича вы, напримѣръ, усадьбу свою продавать вадумали... хорошо! Приходитъ, значитъ, покупатель, и первымъ дѣломъ: садовникъ! кажи парники! Чѣдъ я ему покажу? А почему, скажетъ, въ парникахъ у тебя чичего не растетъ? А?

Но я уже шелъ дальше, на скотный, и только слышалъ, какъ въ догонку мнѣ укоризненно раздавалось:

— Я выпилъ: это дѣйствительно! да вѣдь не на ваши, а на свои... ахъ, господинъ, господинъ!

На скотномъ меня ждала радость: «Умница» опять отелилась.

— Телочку принесла... пестреньюю, — радовалась ста-руха Матрена, но вдругъ словно спохватилась, вздохнула и прибавила:—а по настоящему, лучше, кабы бычка принесла!

— Отчего такъ?

— Все равно рѣзать велите: бычка не такъ бы жалко.

— Почему же ты думаешьъ, что я рѣзать велю?

— Такъ неужто-жъ Разуваеву отдавать? будеть съ него, толстомясаго, и старыхъ коровъ. Вонъ и Машка пороситься собралась — стало-быть, и поросять для Разуваева беречи будете?

Рѣшительно, даже кругомъ меня, и въ домѣ, и во дворѣ, все въ заговорѣ. Положимъ, это не злостный заговоръ, а, напротивъ, увылый, жалѣющій, но все-таки заговоръ. Никто въ меня не вѣрить, никто отъ меня ничего солиднаго не ждеть. Вотъ Разуваевъ—другое дѣло! Этотъ подтянетъ! Онъ свиной навозъ въ конской обратить! онъ заставитъ коровъ доить! онъ такого пѣтуха предоставить, что куры только ахнутъ!

Всѣ боятся Разуваева, никто не любить его, и въ то же время всѣ сознаютъ, что Разуваева имъ не миновать. Вотъ ужъ полгода, какъ рабочіе мои предчувствуютъ это и въ моихъ глазахъ самымъ занискивающимъ образомъ снимаютъ шапки передъ нимъ.

Продолжая свою экскурсію, прихожу къ сѣнному сараю; тамъ работники: первый Иванъ да другой Иванъ прошлогоднее сѣно перебиваютъ и для чего-то съ одной стороны на другую его перетаскиваютъ.

— Что это вамъ вздумалось?

— Федотъ Лукьянъчъ велѣль.

— Зачѣмъ?

— У насть спереди-то съ гнильцой сѣно лежало, а сзади зеленое, вѣдренное; такъ теперь похуже-то сѣно къ стѣнѣ переложимъ, а хорошее будетъ впереди.

— Сами себя, стало-быть, тѣшить хотите?

— Нѣтъ, а на случай ежели примѣрно покупатель... Я прекращаю разговоръ и спрашиваю:

— Гдѣ Лукьянъчъ?

— Съ Андреемъ за рѣку въ лѣсъ пошелъ.

— Зачѣмъ же Андрея взялъ?

— У насть въ прошломъ году за рѣкой порубочка была, такъ хворостку пошли на это мѣсто покидать, чтобы покупателю, значитъ...

Я поворачиваюсь и быстро заканчиваю свой осмотръ. «Неужто же я въ самомъ дѣлѣ продаю? — спрашиваю я себя. — Ежели продаю, то какимъ же образомъ я какъ-будто не сознаю этого? ежели же не продаю, такъ вѣдь это просто разореніе: никто никакой работы не дѣлаетъ, а всѣ только дыры замазываютъ да приготавливаются кому-то показать товаръ лицомъ».

— Стакнулись, что-ли, вы съ Разуваевымъ? — накинулся я на Лукьянъчза, какъ только увидѣль его.

— Зачѣмъ съ Разуваевымъ! Свѣтъ не клиномъ сошелся; можетъ, и окромя покупатель сыщется!

Онъ высказалъ это съ такою невозмутимой увѣренностью, что мнѣ ничего другого не оставалось, какъ замолчать.

Разумѣется, молчать — самое лучшее. Но какъ молчать, когда будавки со всѣхъ сторонъ такъ и впиваются въ насть? какъ молчать, ежели комнаты не тощены, ежели вы ежечасно рискуете остаться въ положеніи человѣка, выброшенаго на необитаемый островъ, ежели самыя обыкновенные жизненные удобства ежеминутно грозятъ сдѣлаться для васъ недоступными?

Я знаю, что мой личный казусъ ничтоженъ, но развѣ я одинъ? Развѣ такія руины, какъ я, не считаются тысячами, десятками тысячъ? руины, жалобно вымирающія по своимъ угламъ? руины, питающіяся крупицами, остающимися отъ трапезы міроѣдовъ? руины, ежеминутно готовыя превратиться въ червонныхъ валетовъ?

Предположите, что я представляю собой типъ старокультурнаго человѣка средняго пошиба, не обладающаго

сильными материальными средствами, но и не совсѣмъ обѣлленного; человѣка, помнишаго крѣпостное право съ его привольями; человѣка, смолоду выработавшаго себѣ потребность извѣстныхъ удобствъ; человѣка, ни къ какому дѣлу не приготовленного (ибо и дѣла въ то время не предвидѣлось), и—что важиѣ всего—человѣка, совершенно неспособнаго къ физическому труду. Сей человѣкъ ни въ чёмъ не можетъ лично помочь себѣ; онъ не можетъ сдѣлать шагу въ жизни безъ того, чтобы не потребовать чьей-нибудь услуги. Для него одного нужно пѣсколько человѣкъ, которые постоянно заботились бы о томъ, чтобы онъ былъ накормленъ, одѣтъ, обутъ, не задохся отъ собственныхъ міазмовъ, не закоченѣль отъ холода. Чтобы связать эти постороннія существованія съ своимъ, онъ долженъ имѣть наготовѣ приманку, то-есть деньги, и эти деньги, въ большинствѣ случаевъ, опять-таки добыть при помощи постороннихъ людей. Но развѣ эти люди, которыхъ онъ заманиваетъ деньгою, не понимаютъ, что они существуютъ не для себя? развѣ есть возможность устроить такой миражъ, который заставлялъ бы ихъ думать, что, соблюдая мою выгоду, холятъ и покоя меня, они не мою выгоду соблюдаются, а свою, не меня покоятъ и холятъ, а себя?

Даже при крѣпостномъ правѣ такого миража нельзя было устроить, а теперь уже стало и совсѣмъ ясно, что только нужда можетъ заставить посторонняго человѣка принять участіе въ холеніи другого человѣка, хотя бы и «барина». А ежели нужда, то, стало-быть, надлежитъ удовлетворять ей вотъ до этой черты и ни на волосъ больше. И вотъ затѣаивается борьба или, лучше сказать, какая-то безтолковая игра въ прятки, въ неохоту, въ нехотѣніе. Допустимъ, что подневольный человѣкъ въ этой борьбѣ ничего не выигрываетъ, что онъ все-таки и впередъ останется прежнимъ подневольнымъ человѣкомъ: но вѣдь онъ и безъ того никогда ничего не выигрываетъ, и безъ того онъ осужденъ «слезы лить» — стало-быть, какой же ему все-таки резонъ усердствовать и потрафлять? А культурный человѣкъ проигрываетъ положительно. Не говоря уже о материальныхъ ущербахъ, чего стоятъ нравственная страданія, причиняемые вѣчно-присущимъ страхомъ беспомощности?

Сапоги не чищены, комнаты не топлены, обѣдъ не готовленъ — вотъ случайности, среди которыхъ живеть культурный обитатель Монрепо. Случайности унизительныя и глуныя, но для человѣка, не могущаго ни въ чёмъ себѣ

помочь, очень и очень чувствительны. И что всего мучительнее—это сознание, что только благодаря тому, что подневольный человекъ еще не вполнѣ уяснилъ себѣ идею своего превосходства, случайности эти не повторяются ежедневно.

Затѣмъ, какъ человекъ, возлежавшій на лопѣ крѣпостного права и питавшійся его благотынями, я помню, что у меня были «права», и притомъ въ такихъ безграничныхъ размѣрахъ, въ какихъ никогда самая свободная страна въ мірѣ не можетъ надѣять излюбленнѣйшихъ дѣтей своихъ. Ибо что можетъ быть существеннѣе, въ смыслѣ экономическомъ, права распоряжаться трудомъ посторонняго человека, распоряжаться легко, безъ предна�ѣренныхъ подвоховъ, просто: «подойди и сработай то-то!» Или что можетъ быть дѣйствительнѣе, въ смыслѣ политическомъ, какъ право распоряжаться судьбой посторонняго человека, право по усмотрѣнію воздѣйствовать на его физическую и нравственную личность? Насколько подобный «права» нравственны—это вопросъ особый, который я охотно разрѣшаю въ отрицательномъ смыслѣ, но несомнѣнно, что правы существовали и что ими пользовались. Вопросы о нравственности или безнравственности известнаго жизненнаго строя суть вопросы высшаго порядка, которые и натурамъ свойственны высшимъ. Только абсолютно-чистыя и высоко-нравственные личности могли, въ пылу «пользованія», волноваться такими вопросами и разрѣшать ихъ радикально. Средний же культурный человѣкъ, даже въ томъ случаѣ, ежели чувствовалъ себя кругомъ виноватымъ, считалъ дѣло удовлетворительно разрѣшеннымъ, если ему удавалось въ свои отношенія къ подневольнымъ людямъ ввести такъ-называемый патріархальный элементъ и за это заслужить кличку «доброго барина». Онъ никогда не былъ героемъ и ясно понималъ только одно, что за предѣлами крѣпостного права его ожидаетъ неумѣлость и беспомощность. И потому старался отвѣтить на запросы совѣсти не прямыми разрѣшеніями, а лукавыми подѣлками. Подѣлки эти отнюдь не обѣляли его, а скорѣе обнаруживали безхарактерность и слабость; но даже и за эту базхарактерность онъ держался цѣнко, какъ за что-то оправдывающее или, по малой мѣрѣ, смягчающее. И съ этою же безхарактерностью остался и теперь, когда на практикѣ увидѣлъ свою беспомощность, неумѣлость и сиротливость.

Мнѣ скажутъ, что это типъ вымирающій — это правда,

но—увы!—онъ еще не вымеръ. И еще скажутъ, что это типъ несимпатичный—и это правда, но и это не мѣшаетъ ему существовать. Притомъ же онъ даль отпрыскъ. Я надѣюсь, что этотъ отпрыскъ будетъ нѣсколько иного характера, но покуда онъ еще не настолько опредѣлился, чтобы заключать объ его пригодности къ жизни въ тѣхъ хищническихъ формахъ, въ какихъ она сложилась въ послѣднее время. Мне кажется даже, что то характеристическое условіе, которое мы привыкли связывать съ представлениемъ о культурности, то-есть отсутствіе возможности обойтись безъ посторонней услуги, существуетъ и для отпрыска въ той же силѣ, какъ и для старого, отживающаго дерева.

Не знаю, какъ кому, а на мой взглядъ, ежели по обстоятельствамъ нѣть другого выбора, какъ или быть «рохлей», или быть «кровопивцемъ», то я все-таки роль «рохли» нахожу болѣе приличною.

Какъ культурный человѣкъ средняго пошиба, я мирно доживаю свой вѣкъ въ деревнѣ. Я выбралъ деревню, во-первыхъ, потому, что городская жизнь для меня несподручна, во-вторыхъ, потому, что я имѣю привязанность къ «своему мѣсту», и, въ-третьихъ, потому, что я имѣю наклонность къ унылію и нигдѣ такъ полно не могу удовлетворить этой потребности, какъ въ деревнѣ. Затѣмъ, какъ человѣкъ старокультурный, я никому не нуженъ и даже ни для кого не понятенъ. Я не имѣю достаточно денегъ, чтобы призирать сирыхъ и неимущихъ, и тѣмъ менѣе—чтобы веселить сердца Осьмушниковыхъ и Колупаевыхъ, забирая у нихъ на книжку водку и колоніальный товаръ. Я не имѣю достаточно знаний, чтобы подѣлиться ими и выказать свое превосходство и полезность. Наконецъ я говорю совсѣмъ другимъ языккомъ и, вдобавокъ, оказался даже недостойнымъ принять участіе въ земскихъ и мировыхъ учрежденіяхъ. Все это ставить меня въ совершиенную невозможность что-нибудь предпринять и въ какомъ бы то ни было смыслѣ играть дѣятельную роль. И я, дѣйствительно, не только не «дѣйствую», а просто-напросто сижу и ничего не дѣлаю. Имѣю ли я право на это?

Въ глазахъ закона я это право имѣю. Я знаю, что было бы очень некрасиво, если-бъ вдругъ всѣ стали ничего не дѣлать; но такъ какъ мы достовѣрно извѣстно, что существуютъ на свѣтѣ такие неусыпающіе черви, которымъ никакъ нельзя «ничего не дѣлать», то я и позволяю себѣ маленьку льготу: съ утра до ночи отдыхаю одѣтымъ, а

съ ночи до утра отыкаю въ одномъ нижнемъ бѣльѣ. По-видимому, и закону все это отлично известно, потому что и онъ съ меня за мое отыканіе никакого взыска не полагаетъ.

Оказывается однако-жъ, что и ничегонедѣлание представляеть своего рода угрозу. «Ничего-то не дѣлать всѣ мы мастера,—говорить батюшка:—а надобно дѣлать, и притомъ такъ, чтобы Богу было приятно». И при этомъ умиленнымъ гласомъ вопрошаешь: «а говѣть будете?» Ахъ, батюшка, батюшка! да какъ же мнѣ быть, ежели я иначе жить не умѣю, ежели съ пеленокъ все говорило мнѣ о ничегонедѣланіи, ежели это единственный грузъ, которымъ я успѣлъ запастись въ жизни и съ которымъ добрель до старости? И не сами ли вы, батюшка, при крѣпостномъ правѣ возглашали: «рабы, господамъ повинуйтесь и послужите имъ въ веселіи сердца вашего»? Да наконецъ съ которыхъ же поръ нишѣ духомъ, ротозѣ, рохи, простофили, дураки начали стоять на счету враговъ отечества?

А Граціановъ такъ даже положительно подозрѣваетъ, что если я «ничего не дѣлаю», то это значить, что я фронт-дирую. Или, въ переводѣ на русскій языкъ: фордыбачу, артачусь, фыркаю, хорохорюсь, пѣтушусь, кажу кукишъ въ карманѣ (вотъ какое богатство синонимовъ!). И все это, какъ истинно лукавый и опасный человѣкъ, дѣлаю «промежу себя». Допустимъ, что я дѣйствительно «недоволенъ» и съ своей личной точки зрѣнія, и съ болѣе общей, философской. Допустимъ, что я, возложа на одрѣ, читаю Кабѣ, Маркса, Прудона и даже—*horribile dictu!*—такую заразу, какъ «Впередъ» или «Набатъ». Но развѣ быть недовольнымъ «промежу себя» воспрещено? Развѣ гдѣ-нибудь написано: вмѣняется въ обизанность быть во что бы то ни стало довольнымъ? Наконецъ развѣ погибнуть государство, общество, религія оттого, что я... кажу кукишъ въ карманѣ?

Граціановъ думаетъ, что погибнуть, а вслѣдъ заnimъ такъ же думаютъ: Осьмушниковъ, Колупаевъ, Разуваевъ. Всѣ они, вмѣстѣ взятые, не понимаютъ, что значать слова: государство, общество, религія, но трепетать готовы. И вотъ они бродятъ около меня, киваютъ на меня головами, шепчутся и только-что не въ глаза мнѣ говорятъ: уди!

Да, трудно себѣ представить, какая существуетъ масса людей средняго пошиба, людей, ничѣмъ не прославившихся, но и ни въ чемъ не проштрафившихся, которымъ жить тошно. Къ прирожденной беспомощности, неумѣлости

и сиротливости въ послѣднее время присоединились еще намеки и покиванія. Можно ли предоставить себѣ существованіе менѣе защищеннѣ? Конечно, можно, скажутъ мифы—и укажутъ на мужика. Но, по моему мнѣнію, мужикъ уже до того незащищенъ, что тутъ самая незащищенность почти равняется защищенности. А иѣдь культурному человѣку ссыпала говорили: «ты—краса вселенной, ты—соль земли!»—и вдругъ является какой-нибудь уроженецъ ретираднаго мѣста и безъ околичностей говорить: «уйди... сочувствователь!»

«Сочувствователь»—это новое модное слово, которое стремится затмить «нигилистъ» и которое исключительно имѣть въ виду людей культуры. Вместо обвиненія въ фактѣ является обвиненіе въ сочувствіи—и дешево, и сердито. Обвиненіе въ фактѣ можно опровергнуть, но какъ опровергнуть обвиненіе въ «сочувствіи»? Желаніе понять и выяснить извѣстное явленіе въ ряду условій, среди которыхъ оно народилось—сочувствіе ли это? Да, выискиваются люди, которые утверждаютъ во всеуслышаніе, что все это—сочувствіе. Кто же эти люди?—это граждане ретирадныхъ мѣстъ, которые, благодаря смутѣ, вышли изъ первобытнаго заключенія и, всѣ пропитанные воиномъ его, стремятся заразить ею вселенную. Это люди, которымъ необходимо поддерживать смуту и питать пламя человѣко-ненавистничества, ибо они знаютъ, что не будь смуты, умолкни ненависть—и имъ вновь придется сдѣлаться гражданами ретирадныхъ мѣстъ.

Я очень хорошо понимаю, что волна жизни должна идти мимо вымирающихъ людей старокультурнаго закала. Я знаю, что жизнь сосредоточивается теперь въ окрестностяхъ питетнаго дома, въ области объегориванья, среди Осьмушниковъ, Колупаевыхъ и прочихъ столповъ; я знаю, что па нихъ покоятся всѣ упованія, что съ ними дружить все, что не хочетъ знать иной почвы, кроме непосредственно дѣловой. Я знаю все это и не протестую. Я недостоинъ жить и умираю. Но я еще не умеръ—какъ же сть этимъ быть?

Есть у меня одна претензія: безъ утѣшненія прожить послѣдніе дни. Конечно, я не могу въ точности опредѣлить, сколько осталось этихъ дней счетомъ, но неужто-жъ нельзя имѣть сколько-нибудь терпѣнія? И что же! оказывается, что даже для осуществленія этой скромнѣйшей претензіи необходима «протекція». Я долженъ припомнить

старинныя связи, долженъ утруждать напоминаніемъ о своемъ забытомъ существованіи, долженъ обращаться къ просвѣщеному содѣйствію. Конечно, въ этомъ содѣйствіи мнѣ не будетъ отказано, и въ концѣ концовъ я получу таки право безнаказанно «артачиться» и «показывать кукишь въ карманѣ», но ради Бога, развѣ нельзя отъ одной мысли обѣ этой предварительной процедурѣ сойти съ ума?

Свѣтлая недѣля прошла на сѣльѣ очень весело. Много было пѣсень, довольно и дракъ. Колупаевъ, Осьмушниковъ и Прохоровъ давно такъ бойко не торговали; батюшка ходилъ по избамъ, поздравлялъ хозяевъ съ праздникомъ и собирая крутыя яйца; даже въ мое уединеніе доносились клики ликованія, хотя по случаю праздниковъ Монрецѣ было пустынѣе, нежели въ обыкновенные дни. Вся прислуга, точно съ цѣпи сорвалась; появлялась въ домъ лишь на минуту, словно для того только, чтобы узнать, живъ ли я, и затѣмъ вновь бѣжала бѣгомъ на село принять участіе въ общемъ веселіи. Даже Лукьянъ-чайка и никакъ не могъ дозваться, хотя и слышалъ, что гдѣ-то недалеко кто-то зѣваетъ; потомъ оказалось, что и онъ, по-своему, соблюдалъ праздничный обрядъ, то-есть сидѣлъ, пока свѣтло, за воротами на лавкѣ и смотрѣлъ, какъ пыщевые, проходящіе мимо усадьбы, теряли равновѣсіе, падали и баражтались въ грязи посередь дороги.

Всѣ сельскіе нотабли посѣтили меня, пили водку, Ѳли ветчину и крутыя яйца. И, какъ мнѣ казалось, съ какимъ-то напряженнымъ любопытствомъ вглядывались въ обстановку моего дома—точно старались запомнить, гдѣ что стоять. Колупаевъ даже провелъ рукой по обоямъ залы и сказалъ:

- Обой-то, кажется, новенькие поставить собирались?
- Собирался.
- И купили, сударь?
- Купилъ.
- Такъ-съ. Въ сохранности, стало-быть, лежать?
- Лежать.

Однимъ словомъ, повидимому, начали ужъ подозрѣвать, изъ замышляю ли я, чего доброго, что-нибудь утаить или въ другое мѣсто потихоньку перевезти.

Въ началѣ недѣли Граціанова не было дома: опять Ѳздиль въ городъ христосоваться съ полицейскимъ управлениемъ. Въ серединѣ недѣли однако-жъ вернулся и привезъ свѣжія

политическія новости. Новости эти, впрочемъ, заключались единственно въ томъ, что отнынѣ никому ужъ спуску не будетъ (помнится однако-жъ, что и послѣ новогодней поѣздки онъ эту же новость привезъ). Баловства этого чтобы ни-ни! Особливо ежели кто книжки читаетъ или неприлично званію себя ведеть—сейчасъ въ кутузку и... фюйти! Въ концѣ недѣли посыпалъ и меня, и при этомъ выказалъ такой величественный видъ, что я даже удивился, какъ это онъ меня удостоилъ.

— Откровенно вамъ скажу,—началь онъ послѣ обычныхъ пасхальныхъ привѣтствій:—очень меня моя нынѣшняя поѣзда въ городъ порадовала.

— Награду получили?

— Насчетъ награды: исправникъ поѣловаль—только и всего. А главное: наконецъ-то за умъ взялись!

— Новенькое что-нибудь?

— Да-сь; теперь, доложу вамъ, спуску не будетъ! И нашему брату приходится ухо вострѣ держать, а что касается до иныхъ прочихъ...

— Ну, слава Богу!

Повидимому, однако-жъ, онъ не ожидалъ съ моей стороны такого восклицанія. По крайней мѣрѣ онъ взглянуль на меня и чуть замѣтило ухмыльнулся.

— Чѣдѣ вы улыбаетесь?—полюбопытствовалъ я.

— Да такъ, знаете... А впрочемъ...

— То-то «впрочемъ!» А я вамъ на это скажу: иногда мы ищемъ, думая осиное гнѣздо обрѣсти, а вмѣсто того обрѣтаемъ сокровище! Имѣйте это въ виду.

— Превосходно-сь!

Мы оба на минуту замолчали и, кажется, оба мысленно восклинули: «однако!»

— Вы, я слышалъ, имѣніе-то продавать хотите?—началь онъ вновь.

— И я со стороны слыхалъ объ этомъ, но самъ ничего не знаю.

— Отчего бы и не продать?

— А отчего бы продать?

— Выгоды для васъ держать въ здѣшнемъ мѣстѣ имѣніе нѣть—вотъ что. Сами вы занимаетесь мало, Лукьянчица—старъ. На вашемъ мѣстѣ я совсѣмъ бы не такъ поступилъ.

— А какъ, напримѣръ?

— Да купилъ бы рощицу десятинки въ двѣ, въ три, выстроилъ бы домичекъ, садикъ бы развелъ, коровку,

курочекъ съ пятокъ... Все передъ глазами — любезное дѣло!

— Представьте себѣ, что ужъ цѣлый мѣсяцъ я эти совѣты выслушиваю.

— А, по-моему, благие совѣты всегда выслушивать пріятно. Да-съ. Пора господамъ-дворянамъ за умъ взяться, давно пора! А все гордость путается: мы, дескать, интеллигентія—а гдѣ ужъ!

— Однако вы и резонерствомъ заниматься стали?

— Нельзя; всѣмъ заниматься приходится, наша должность такая. Вотъ въ «Вѣдомостяхъ» справедливо пишутъ: вся наша интеллигентія—фальшивъ одна, а настоящій-то государственный смыслъ въ Москвѣ, въ Охотномъ ряду обрѣтается. Тамъ, дескать, съ основаніемъ Россіи не чищено, такъ сколько одной благонадежности накопилось! Разумѣется, не буквально такъ выражаются, своими словами я пересказываю.

— Вѣрно, что своими словами.

— Такъ вотъ и дѣльнище бы было въ виду этого себя ограничивать. Собственность-то подъ силу, значить, выбирать, да и вообще... Ну, скажите на милость: можете ли вы за всей этой машиной усмотрѣть?

— Да я и не претендую на это.

— А найдись ловкій человѣкъ—тотъ усмотритъ. Надѣтьмъ и мужики не подумають озоровать. Это чтобы луга травить или лѣсь рубить—сохрани Богъ.

— Кто-жъ этотъ «ловкій»? Разуваевъ, что ли?

— А хоть бы и Разуваевъ.

— Надоѣль онъ мнѣ—вотъ что!

— Первымъ дѣломъ, устроилъ бы онъ въ здѣшнемъ паркѣ гулянье, а между прочимъ вотъ тамъ на уголку торговлю бы прохладительными напитками открылъ...

— Да, хорошо это... Гм!.. такъ вы думаете, что отнынѣ спуску ужъ не будешь?

— Да-съ, не дадуть-съ, подтянуть-съ!

— Слава Богу! а то совсѣмъ было распустили!

— Теперь—конецъ!

— Всему вѣнцу! Вонъ изъ Москвы пишутъ: «умниковъ»-де въ рѣкѣ топить надо...

— Тсс...

— Да! Такъ вы, кажется, объ Разуваевѣ начали что-то говорить?

— Просиши онъ узнать, не примете ли вы его?

— Быть вѣдь онъ у меня... И такой странный: вынуль изъ кармана бумажникъ и началь передъ глазами махать имъ. А, впрочемъ, день-на-день не приходится. Я вообще трудно рѣшился, все думаю: можетъ, и еще Богъ грѣхамъ потерпить! И вдругъ выдастся часъ: возьми все и отстань!

— Значить, такъ ему и сказать?

— Да, пусть придетъ. Такъ и скажите: вѣрнаго, моль, еще иѣть, а на то похоже!

— А какъ бы для васъ-то было хорошо!

Наконецъ Граціановъ ушелъ; я же, по обыкновенію, началь терзать себя размышленіями. «Умникъ» я или «неумникъ»? спрашивалъ я себя. Самолюбіе говорило: умникъ; скромность и чувство самосохраненія подсказывали: иѣть, неумникъ. А что, ежели въ самомъ дѣлѣ умникъ?—вѣдь здѣсь не токмо рѣка, но и море, пожалуй, не далеко! Долго ли умника утопить?

Какая однako-жъ странная эта московская топительная программа! Какъ понимать ее? Кто будетъ разсортовывать умниковъ отъ неумниковъ, первыхъ ставить ошуйю, а вторыхъ—одесную? Вотъ, я думаю, одесную-то видимо-невидимо наберется! Нагалдятъ, насмердятъ—не про дохнешь!

Въ прежнія времена процедура разсортовки умниковъ отъ неумниковъ происходила очень просто. Явится, бывало, кто-нибудь изъ лицъ, на заставахъ команду имѣющихъ, выстроить всѣхъ въ шеренгу и кликнетъ: «зачинщики (по нынѣшнему—«умники»), впередъ!» Сейчасъ это выйдутъ впередъ зачинщики, каждый получить, что ему по расчи сленію полагается—и правъ. Всякій знаетъ, что, получивъ надлежащее, онъ спокойно можетъ смыться съ массою заурядныхъ смертныхъ, и что до слѣдующаго раза его требовать не будуть; въ слѣдующій же разъ, можетъ-быть, и совсѣмъ Богъ помилуетъ.

Нынче, съ упраздненіемъ заставъ, распорядиться такимъ образомъ некому. Некому вы кликать кличъ, некому дѣлать расчислениія, некому возвращать надлежащее: стало быть, поневолѣ разсортовка «умниковъ» и «неумниковъ» должна быть предоставлена молодцамъ изъ Охотнаго ряда, а гдѣ такового не имѣется—Осьмушниковымъ, Колупаевымъ, Разуваевымъ и молодцамъ, на персяхъ у нихъ воз лежащимъ. Какой же возможенъ для нихъ критеріумъ для расцѣнки! Критеріумъ этотъ одинъ: кто въ книжку читаетъ, кто чисто ходить, въ кабаки не заглядываетъ (но

къ Донону), подходя не сквернословить (но потихоньку и по-французски), кто не накладывает, не наяривает—тот и «умникъ!» Но вѣдь и московскіе сочинители топи-тельныхъ программъ тоже и въ книжку читаютъ, и даже перомъ балуютъ—стало-быть, и они «умники»? Или быть-можетъ, они только полуумники?

И еще: чёмного говорилъ Граціановъ, да много сказаль. Ишь вѣдь: «ведеть себя несвойственно званію»—какъ это понимать? Напримеръ, хоть бы я. Земли я лично не пашу, ремесломъ никакимъ не занимаюсь, просто сижу и совсѣмъ ничего не дѣлаю—кажется, что это званію моему не не-свойственно? А между тѣмъ несомнѣнно, что, говоря свои жестокія слова, онъ имѣлъ въ виду именно меня. Ужъ не унылость ли моя ввела его въ заблужденіе? Имѣеть, дескать, постоянно унылый видъ и этимъ другихъ не только отъ дѣла, но даже отъ пищи отбиваетъ... Господи помилуй! Да послѣ того какъ меня «обидѣли», какой же видъ болѣе приличествуетъ моему званію, какъ не унылый! Меня «оби-жаютъ», а я буду суетиться, предлагать услуги и ликоватъ... Ни за что! На зло буду слезы лить—гляди!.. Однако и это вещь поправимая, если умненько со мной поступить. Я уныль, но могу и паки возвеселиться. Куплю гитару и «Самоновѣйший иѣсенникъ», и когда Колупаевъ, въ сопро-вождениі подносчиковъ и иныхъ кабацкихъ чиновъ, при-дуть топить меня, яко «умника», я предъявлю ему вещественные доказательства и возглашу: я совсѣмъ не «умникъ», но такой же курицынь сынъ, какъ и вы всѣ! И при этомъ, пожалуй, такое еще слово вымолвлю, что они шапки передо мной снимутъ! Чѣмъ нужно, чтобы произвести во мнѣ по-добное превращеніе?—нужно очень нѣмногое: приказать. Прикажите унылый видъ прекратить—и я прекрасенъ.

Вообще я не понимаю, изъ чего Граціановъ тревожить себя и хлопочеть. Вместо того, чтобы гнѣваться, полеми-зировать, ссылаться на свидѣтельство гражданъ ретирад-ныхъ мѣсть и даже «подъ рукой» скрежетать зубами, объявилъ бы прямо: «веселися, храбрый россъ!»—давнымъ бы давно я трепака отхватывалъ. Да и этого не надо, со-всѣмъ ничего не надо. Просто надлежить отставить меня въ жертву унылости—только и всего. Ибо повторяю: ежели бы и въ самомъ дѣлѣ унылостью моей я хотѣлъ намекнуть, что «хорохорюсь», «кажу кукишъ въ карманѣ»—эка важность! Кажу такъ кажу, хорохорюсь такъ хорохорюсь — пущай!

Изъ всего вышеписанного всякий можетъ заключить, что я и самъ не весьма отличного о себѣ мнѣнія. Ибо что же можетъ быть менѣе лестно: человѣкъ «артачится», «фордыбачить», а его не токмо за это не бываютъ, но даже и вниманія никакого на это не обращаютъ? Однако-жъ и тутъ загвоздка есть. Говорять, будто бы это «не-отличное мнѣніе» касается не столько самого меня, сколько тѣхъ тенетъ, въ которыхъ я отъ рожденія путаюсь. Вотъ, моль, какая тутъ затаенная мысль. Но ежели это и такъ—это важность! Были бы тенета, а тамъ, какъ я о нихъ «между себя» полагаю—это потомъ какъ-нибудь на досугѣ разберется. А покуда: «веселися, храбрый россъ!» — и шабашъ.

До меня даже такие слухи доходятъ, какъ будто бы Граціановъ ночей изъ-за меня не спитъ. Говорять, будто онъ такъ выражается:—Кабы у меня въ стану все такие «граждане» жили, какъ Колушаевъ да Разуваевъ—я быль бы поперекъ себя толще, а то вотъ принесла нелегкая эту «заразу»... И при послѣднихъ словахъ будто бы заводить глаза въ сторону Монрендо...

А я, признаюсь, на его мѣсть все бы спаль. Спаль бы да тучнѣлъ, да во снѣ отъ времени до времени бредиль: «веселися, храбрый россъ!» И достаточно.

Самъ себя человѣкъ изнуряетъ, самъ развращаетъ свою фантазію до того, что она начинаетъ творить цеизглаголемая, самъ сны наяву видитъ—да еще жалобы приносить! Ахъ, ты... Вотъ и сказалъ бы, кто ты таковъ, и нужно бы сказать, а боюсь—какихъ еще доказательствъ нужно для безпрепятственности спанья?

Ничтожный я! ничтожный! ничтожный! Ваше благородие! господинъ Граціановы! какъ вы полагаете, легко ли съ этакимъ эпитетомъ на свѣтѣ жить?

«Ничтожный»—это подлежащее. А сказуемое—фюиты! Связки—не полагается. Вѣдь вонъ онъ, мой синтаксисъ-то, каковъ! А ваше благородие еще почивать не изволите! Изволите говорить: зараза! Ахъ-ахъ-ахъ!

Нѣтъ, лучше бѣжать. Но вопросъ: куда бѣжать? Желаль бы я быть «птичкой вольной», какъ говорить Катерина въ «Грозѣ» у Островскаго, да вѣдь Граціановъ, того гляди, и канарейку слопаетъ! А кромѣ какъ «птички вольной», у меня и воображенія не хватаетъ, кѣмъ бы другимъ быть пожелать. Ежели конемъ степнымъ, такъ Граціановъ заарканить и начпеть подъ верхъ муштровать. Ежели буй-ту-

ромъ, такъ Граціановъ будеть для бифштексовъ воспитывать. Но что́ всего замѣчательнѣе — животнымъ еще все-таки вообразить себя можно, но человѣкомъ — никогда.

Человѣкъ — это общипанный пѣтухъ. Такъ гласить анекдотъ о человѣкѣ Платона, и этотъ анекдотъ, возвѣденный въ идеаль, преподанъ, яко руководство, и въ наши дни.

Но бѣжать все-таки надо. Какая бы метаморфоза ни приключилась, во что бы ни обратиться, хотя въ червя ползучаго, все-таки надо бѣжать. Двѣ-три десятинки, коровка, пять курочекъ — всѣ въ одинъ голосъ такъ говорятъ! Мнѣ—двѣ десятинки; Осъмушниковымъ и Разуваевымъ — вселенная! Такова внутренняя политика. Ежели старые столбы подгнили, надо искать новыхъ столбовъ. Да вѣдь новые-то столбы и вовсе гнилые... ахъ, господинъ Граціановъ!

Не малодушіе ли это однako-жъ съ моей стороны, не преувеличеніе ли? — Вѣдь жиль же я до сихъ поръ — живъ есмь и жива душа моя! — вѣроятно, ежели и впредь буду жить — и впредь никто меня не съѣсть. Допустимъ, что все это такъ. Но, во-первыхъ, развѣ такъ живутъ люди, какъ я до сихъ поръ жиль? А во-вторыхъ, какой горькій искусъ нужно вынести на своихъ плечахъ, чтобы дойти до подобнаго малодушія, до подобныхъ преувеличеній. Вѣдь и малодушіе не по произволу является, но сходственно съ обстоятельствами дѣла. Легко указывать на человѣка и восклицать: «вотъ рабъ лукавый!» — но что же ему дѣлать, если у него, кромѣ лукавства, услады иной въ жизни нѣтъ?

Чуть ли не съ Кантемира начиная, мы только и дѣляемъ, что жалуемся на «дурныя привычки». Распущенность, разнузданность, равнодушіе, лѣнъ, малодушіе, лукавство, лицемѣrie, лганье — вотъ каковъ багажъ. Конечно, обладающее подобными привычками общество едавали можетъ чѣмъ-либо заявить себя со стороны производительности, а скорѣе обязывается жить со дня на день, пугливо озираясь по сторонамъ. Но для того, чтобы дурные привычки исчезли, надобно прежде всего, чтобы онъ сдѣлялись невыгодны. Рамки такія нужны, въ которыхъ даже невзначай не представилось бы повода для проявленія этихъ привычекъ. А гдѣ эти рамки взять?

Обратить строгое вниманіе на выборъ подчиненныхъ —

отлично. Строжайше соблюдать законъ—превосходно. Не менѣе строго соблюдать экономію—лучше придумать нельзя. Судя по всему, все это такъ и будетъ. И вотъ, когда это случится, тогда и я утрачу дурную привычку преувеличивать. А до тѣхъ поръ—и радъ бы, да не могу.

Впрочемъ, я однажды ужъ оговорился, что мой личный казусъ ничтоженъ. Повторю это и теперь. Чѣмъ я такое—«пхѣ»! Одно только утѣшительно: вѣдь и всѣ остальные—ихѣ, всѣ до единаго. Но какое странное утѣшеніе!

Разуваевъ явился ко мнѣ на другой день и на этотъ разъ былъ удивительно миль. Расчесалъ кудри, тщательно вымылся, надѣлъ новый сюртукъ и лтаны изъ-вынужка. Вообще, повидимому, понялъ, что пришелъ не въ харчевню. Даже про стариинное наше знакомство помянуть и съ благодарностью отозвался при этомъ о корнетишѣ Отлетаевой.

— Кабы онъ въ тѣ поры не зачинали суда, а честью попросили,—сказалъ онъ: — я, можетъ, и посейчасъ бы вѣрный слуга для нихъ былъ.

— Ну, гдѣ ужъ!—усомнился я.

— Вѣрное слово, вашескородіе, говорю; даже и теперича завсегда помню, что я ихній рабъ состоялъ.

— Чѣмъ ужъ о старыхъ дѣлахъ вспоминать, лучше о нынѣшихъ потолкуемъ. Торгуете?

— И нынче дѣла нельзя похулить, надо правду сказать. Народъ нынче очень ужъ оплошалъ, такъ, значить, только случая опускать не слѣдуетъ.

— Частенько-таки я въ послѣднее время такія слова слышу, но, признаюсь, удивляюсь. По-моему, ежели народъ оплошалъ, да еще вы слушаевъ упускать не будете—вѣдь этакъ онъ, чего доброго, и вовсе оплошаетъ. Откуда вы тогда барыши-то свои выбирать надѣетесь?

— Ахъ, вашескородіе! йѣнъ доста-а-нетъ!

Онъ сказалъ это съ такой невозмутимой увѣренностью, что мнѣ невольно пришло на мысль: чѣмъ же такое однажды памъ въ дѣствѣ твердили о курицѣ, несшей золотыхъ яйца? Какъ известно, владѣлецъ этой курицы, наскучивъ получать по одному яйцу въ день и желая заразъ воспользоваться всѣми будущими яйцами, зарѣзалъ курицу и, разумѣется, не только обманулся въ своихъ мечтаніяхъ, но утратилъ и прежний скромный доходъ. Легенда эта (въ смыслѣ результата) всегда казалась мнѣ достойною вѣроятія, и я вполнѣ искренно думалъ, что человѣкъ, зарѣз-

завшій драгоцѣнную курицу, быль глупый человѣкъ и совершилъ неправильно за свою глупость пострадасть.

И вотъ теперь Разуваевъ объявляетъ прямо, что все это вздоръ. Судя по его словамъ, курица не перестаетъ нести золотыя яйца, даже если она съѣдена. Это какая-то вѣчная, дважды-волшебная курица, которую ничто не можетъ, ничего доканать не можетъ. Это—курица-миѳъ, курица-безсмыслица, но въ то же время курица, подлинное существованіе которой можетъ подтвердить такой несомнѣнныи экспертъ куриныхъ дѣлъ, какъ Разуваевъ. И мнѣ кажется, что наши экономисты и финансисты недостаточно оцѣниваютъ этотъ фактъ, ибо въ противномъ случаѣ они не разлагольствовали бы ни о сокровищахъ, въ нѣдрахъ земли скрывающихся, ни о сокровищахъ, издаваемыхъ экспедиціей заготовленія бумагъ, а просто-на-просто объявили бы: ежели въ одномъ карманѣ пусто, въ другомъничего, то распори курицѣ брюхо, выпотроши, свари, сѣѣшь, и пускай она продолжаетъ нести золотыя яйца попрежнему. И она будетъ нестись—въ этомъ порукою Разуваевъ.

«Пѣнъ доста-а-нетъ!» Просто, глупо—и между тѣмъ изумительно глубоко. Эту фразу слѣдовало бы золотыми буквами пачертать на вѣхѣ пантеонахъ, ибо, въ сущности, на ней одной издревле всѣ экономисты и финансисты висятъ.

— Однако вы, какъ я вижу, и финансистъ!—похвалилъ я.

— Я-то-съ? — помилуйте, вашескородie! таکъ маленько мерекаемъ \*), а чтобы настоящимъ манеромъ произойти—такого разума отъ Бога еще не удостоены-сь.

— Ахъ, Анатолій Иванычъ, Анатолій Иванычъ! да вѣдь и всѣ мы, голубчикъ, только мерекаемъ!

— Нѣгъ-сь, вашескородie,—слыхаль я, что бываютъ и настоящіе по этой части ходаки. Прожженые, значитъ. Взглянетъ—и сразу все нутро высмотритъ.

— Это только такъ издали кажется, мой почтенный, что онъ нутро видѣть, а въ дѣйствительности онъ то же самое усматриваетъ, чѣмъ и мы съ вами. Только мы съ вами мерекаемъ кратко, а онъ пространно. Знать не знаю, вѣдать не вѣдаю, а намерекать могу съ три короба—вотъ и разгадка вся.

\* Для незнанихъ съ этимъ выражениемъ считаю нелишнимъ пояснить, что «мерекать» значить кое-что понимать, на бобахъ разводить. Первоначальнымъ корнемъ этого выражения былъ, очевидно глаголъ «мерещиться». Мерещится знаніе, а настоящаго нѣть.

— Это такъ точно-съ.

— Одинъ придетъ, померекаетъ; другого завидки возьмутъ—придетъ и наизнovo перемерекаетъ. И все одно и то же выходитъ. А мы, простецы, смотримъ издали, какъ они сами себѣ хвалы слагаютъ, и думаемъ, что и нивѣсть какой свѣтъ ихъ осіялъ.

— И это истинная правда-съ.

— И ежели по правдѣ говорить, такъ вы ужъ черезтуръ скромнаго о себѣ мнѣнія. Именио вы-то и не мерекаете, а самое нутро видите. «Йѣнь достанетъ!» Ахъ, голубчикъ! неужто же вы не понимаете, что вы финансистъ?

Не знаю, насколько понялъ меня Разуваевъ, но знаю, что онъ остался польщенъ и доволенъ. Разумѣется, онъ воепользовался мою словоохотливостью, чтобы при первой же возможности перейти къ дѣйствительному предмету своего посѣщенія.

— Главная причина,—сказалъ онъ:—время теперь самое подходящее. Весна на дворѣ, огородъ работать пора, къ посѣву приготавляться. Ежели теперь время опустить—послѣ его ужъ не наверстать.

— Но почему же вы думаете, что я упущу?

— Вашескородіе! позвольте вамъ доложить! Ну, какая же есть возможность вамъ за всѣмъ усмотрѣть-съ!

— Однако шло же какъ-нибудь до сихъ поръ.

— Какъ-нибудь—это такъ точно-съ. А намъ надо не какъ-нибудь, а чтобы настоящимъ манеромъ. Вашескородіе! позвольте вамъ доложить! Совсѣмъ бы я на вашемъ мѣстѣ... ну, просто совсѣмъ бы не такъ я эту линію повелъ!

— Чѣдѣ же бы вы сдѣлали?

— Оченно просто-съ. Купилъ бы двѣ-три десятинки-съ, выстроилъ бы домичекъ по пропорціи, садичекъ для прохладности бы развелъ, коровку, курочекъ съ пятачкомъ... Мило, благородно!

Стало-быть, и онъ. Всѣ какъ одинъ, почти слово въ слово: должно-быть, однако-жъ, частенько-таки они обо мнѣ бесѣдуютъ. Вотъ онъ, vox populi—теперь только я понимаю, что не покориться ему нельзя. Ежели люди такъ увѣренно ждутъ—стало-быть, они имѣютъ къ тому основаніе; ежели они съ такою тщательною подробностью опредѣляютъ, чѣдѣ для меня нужно, стало-быть, они положительно знаютъ, что я сижу не на своемъ мѣстѣ, что здѣсь я помѣха и безобразіе, а вонъ тамъ, на двухъ десятинкахъ, я придуясь какъ разъ въ самую мѣру. И чѣдѣ всего важнѣе—это же са-

мое сознавалъ я и самъ. Давно ужъ сознавалъ, да самолюбіе, должно-быть, мѣшало вструнить на новый путь, а можетъ-быть, и просто лѣнь...

Вѣроятно, эта же самая причина существовала и теперь. Я очень радушно побесѣдовалъ съ Разуваевымъ, но ни своей цѣны ему не объявилъ, ни обѣ его цѣнѣ не спросилъ. Словомъ-сказать, ни на чемъ не покончилъ. Однако-жъ видимо было, что Разуваевъ, уходя отъ меня, былъ значительно ободренъ. Онъ быстрымъ окомъ окинулъ мою обстановку, какъ бы желая запечатлѣть ее къ своей памяти, и на прощанье долго и умилно смотрѣлъ мнѣ въ глаза. Онъ понялъ, что я все еще «артачусь», и былъ такъ любезенъ, что взглянуль на эту слабость снисходительно. Въ самомъ дѣлѣ, не Богъ же знаетъ что съѣсть человѣкъ, ежели и подождать двѣ-три недѣли, а онъ между тѣмъ жалованье рабочимъ за мѣсяцъ заплатить... Во всякомъ случаѣ я почти уѣзжденъ, что отъ меня онъ побѣжалъ къ своимъ единомышленникамъ, и что тамъ все единогласно уже решено и скомпоновано. Можетъ-быть, и Лукьянъ-чтамъ, вмѣстѣ со всѣми, совѣты подаетъ...

— Лукьянъ-чт! А Лукьянъ-чт! гдѣ ты?— испугался я.  
— Здѣсь я,— отозвался голосъ изъ передней.  
— Разуваевъ-то вѣдь въ сурѣзъ покупать приходилъ.  
— Неужто-жъ въ шутку!  
— Истинный ты Езопъ! никакъ съ тобой говорить настоящимъ манеромъ невозможно.

— Чего «настояшимъ манеромъ»! Апрѣль въ половинѣ, пахать пора, а гдѣ у насъ навозъ-то?

— Такъ неужто за зиму не накопилось?  
— Спросите у садовника, куда онъ его дѣвалъ.  
— Такъ, значитъ, продать?  
— Это какъ вамъ будетъ угодно.  
— Да ты-то, ты-то что думаешь! Чай, не цѣпами у тебя языкъ скованъ—шевели!

— И то умаялся, еще при папенькѣ при вашемъ шевелившіи. Говорилъ въ то время: не покупайте, зачѣмъ вамъ!— нѣтъ, купили...

— Ну, ступай!

Но прошла Святая, прошла Фомина недѣля, а я все еще артачился и недоумѣвалъ. Вонъ выѣхалъ Иванъ старшій съ сохой на полосу противъ усадьбы, перекрестился и пошелъ ковырять. Ишь ковыряется! даже изъ оконъ видно, какъ онъ на каждомъ шагу пропашку за пропашкой дѣлаетъ... такъ

бы и налетѣлъ! Смотрю, ань и Разуваевъ стонть на дорогѣ и тожь на пашню любуется: только понапрасну, моль, землю болтаютъ! Наконецъ онъ не вытерпѣлъ, крикнулъ: «а ты бы, Иванъ, сохой-то не все напусто, а и въ землю бы попадалъ!» И Иванъ понялъ, что это не напрасный окрикъ, что когда-нибудь онъ отзовется на немъ, и началъ въ землю сохой попадать. «Но-но, милякъ! Ино... стерво!» слышатся мнѣ черезъ полуотворенное окно поощренія, посылаемыя имъ рижему мерину.

Главное препятствіе для окончательной развязки представляла, повидимому, мысль: наступаетъ лѣто — куда дѣваться? Ежели въ Петербургъ или въ Москву бѣхать — упаси Богъ! Тамъ теперь такие фундаменты закладываются и такія созидаются зданія, что того и гляди задавятъ. Ежели за границу бѣхать — не лежить у меня сердце къ этой «заграницѣ». Во-первыхъ, англичанъ на каждомъ шагу встречаешь: ходятъ прямо, надменно, и у каждого на лицѣ: «Afghanistan — jamais!» Это, то-есть, наасъ, русскихъ, они такъ дразнятъ. Ахъ, господа, господа! Съ которыхъ уже порь вы твердите: *jamais* да *jamais*, а мы между тѣмъ, не торопясь да Богу помолись, смотрите-ка, куда забрались! Одно нехорошо: объяснить имъ это прямо нельзя — того гляди, проштрафишься. Онъ говоритъ: *jamais!* а я отвѣтить ему не могу. Почемъ я знаю, что по обстоятельствамъ дѣла и въ согласность съ высшими соображеніями слѣдуетъ въ данную минуту говорить? Можетъ-быть: *pour sїr*, а можетъ-быть, и — *jamais*. Такъ ужъ лучше пусть онъ одинъ дразнится, а мы помолчимъ — вотъ оно, положеніе-то, каково! Во-вторыхъ, настоящей прислуги за границей нѣть. Коли хотите, цѣлые города (курорты) существуютъ, гдѣ, кромѣ лакеевъ, и людей другихъ не найдешь, а все-таки подлиннаго, «своего» лакея нѣтъ. Тамошний лакей жадный, прожженый, онъ всякому служить готовъ, а потому ни настоящей споровки, ни преданности съ него спросить нельзя. А намъ нуженъ лакей постоянный, чтобы съ утра до вечера все одного и того же человѣка шпынять. Въ-третьихъ, за границей очень ужъ чисто. Вычистить съ утра и хотять, чтобы цѣлый день чисто было. А намъ это невозможно. Помню, я въ прошломъ году людскія помѣщенія на скотномъ дворѣ вычистить собрался; напильть поденщицъ (на свою-то прислугу не понадѣялся), самъ за чисткой наблюдалъ, чистилъ день, чистилъ другой, одного убѣеннаго и ошпаренного клопа цѣлый ворохъ на полосу вывезъ — и

вдругъ вижу, смотрить на мои хлопоты старшій Иванъ и только-что не въявъ говоритъ: дай срокъ! я завтра же всю твою чистоту въ лучшемъ видѣ загажу. Такъ-то и всѣ. Нельзя намъ чисто жить, недосугъ. Да и приспособленій у насъ не заведено. За границей машинами улицы поливаются, а мы—ковшичкомъ! за границей громадными щетками грязь вычищаются, а мы—метелками. И не то чтобы мы не понимали, что хорошо, что худо; спросите у первого встрѣчнаго: что лучше, въ чистотѣ ли жить, или въ грязи барахтаться—навѣрное всякий скажетъ: «какъ можно: въ грязи или въ чистотѣ?» Но черезъ минуту непремѣнно прибавитъ: «ахъ, баринъ, баринъ!»

Словомъ сказать, ни въ столицѣ, ни за границей—нигдѣ жить охоты нѣть. Купить бы гдѣ-нибудь въ Проплѣванскомъ уѣздѣ, на берегу рѣки Гнилушки, двѣ-три десятинки—именно такъ, ни больше, ни меньше—да вѣдь, пожалуй, въ поискахъ за этимъ эльдорадо все лѣто пройдетъ...

Очень возможно, что я долго бы такимъ образомъ не доумѣвалъ, если-бъ не пришелъ ко мнѣ на помощь неожиданный случай и не ускорилъ развязку.

Сейчасъ послѣ Фоминой я получилъ письмо отъ стариннаго моего пріятеля и школьнаго товарища, Ивана Косушкина (есть такая фамилія и очень древняя: и въ Смоленскѣ Косушкины сидѣли, и въ Тушинѣ бѣгали, но нигдѣ «косушки» не забывали и тѣмъ прославились). Письмо гласило слѣдующее:

«Соломенное Городище, 26-го апрѣля.

«Ау, дружище! гдѣ ты и какъ живешь? Ежели въ Монрепо унываешь, то брось все, продавай за гроши и кати сюда! Ибо лѣта наши приходятъ преклонныя, и слѣдовательно закатъ дней своихъ намъ не унывающе, но веселящее провести надлежитъ.

«Скоро будетъ два года, какъ я поселился здѣсь, поселился, повидимому, случайно, а на повѣрку выходитъ, что навсегда. Вотъ краткая повѣсть о моемъ переселеніи.

«И я родился въ Аркадіи, и у меня было свое Монрепо; но въ послѣднее время такъ оно мнѣ опостылѣло, что я, какъ помѣшанный, слонялся изъ угла въ уголъ. Дѣло въ томъ, что покуда были налицо разные Евдокимычи, да Климичи, да Аксиньюшки, жилось хоть и ен особенно сладко, но все-таки жилось. Жиль и я. Никто не тревожилъ меня, никто «распоряженіями» не донималъ.

Придеть кто-нибудь на счетъ покосца переговорить—ступай къ Евдокимычу; дровецъ не продадите ли—ступай къ Климычу; маслица иѣть ли залишняго—ступай къ Аксиньюшкѣ. Какъ ужъ они тамъ ладились—не знаю, но денегъ на расходы не требовали и даже меня отъ времени до времени кушками побаловывали. Но что важнѣе всего—я быль увѣренъ (да и теперь вѣрю), что дѣло у насть идетъ среднимъ ходомъ, безъ грабежа, но и безъ мотовства, смироно, честно, благородно... И вдругъ, среди этакой-то тишины и во всемъ благого посигшемъ, налетѣть на насть вихрь: стали старики помирать. Сначала умеръ Евдокимыть, потомъ Климыть, а наконецъ и Аксиньюшка.

«Умирали по очереди, безмолвно, точные младенцы. Сначала недѣли двѣ морщится, скучный ходить (Евдокимыть говорилъ: «въ первую холеру я съ покойнымъ папенькой вашимъ въ ростепель въ Москву бѣдилъ—съ тѣхъ самыхъ поръ ноги можжать»), потомъ вѣзаетъ на печку и ужъ не слѣзаетъ оттуда: значить, смерть идетъ. И дѣйствительно, не пройдетъ и мѣсяца—смотришь, плюютъ за сияющими комъ. Причастится, особорется и совсѣмъ ужъ притихнетъ. А къ вечеру искнетъ—и иѣть его. Тяжелѣе другихъ умирала Аксиньюшка: все каялась мнѣ, что «еще при покойнице матушкѣ вашей новинку утаила», и просила простить. Точно ли она утаила новинку, или въ порывѣ предсмертнаго самобичеванья наклепала на себя—сказать не могу; но, вспоминаючи матушкинъ «глазокъ-смотрокъ», сдается мнѣ, что врядъ ли отъ ея вниманія могла укрыться цѣлая недостающая новинка.

«Не думай однако жъ, что я пишу идиллію, и тѣмъ наче, что любуюсь ею. Отлично я понимаю, какимъ образомъ сложился типъ крѣпостного пѣстуна, и почему всѣ эти Евдокимычи до конца оставались у меня. Прежде всего у нихъ ногъ ужъ не было, чтобы бѣжать, а во-вторыхъ, отъ отца съ матерью они павѣрное и безъ ногъ бы ушли, потому что тѣ были господа настоящіе и хотя особенно блестящихъ хозяйственныхъ подвиговъ не совершали, но любили игру «въ каторгу», то-есть съ утра до вечера сутились, пороли горячку, гоношили, а, стало-быть, сумѣли бы и со стариковъ «спросить». Ну, а мнѣ все равно: живите, только меня не трогайте!

«Когда всѣ перемерли, я остался одинъ лицомъ къ лицу съ Монреаль. Ужасно это тяжелое чувство; въ первый разъ въ жизни напасть на меня страхъ. Спать по почамъ не

МОГЬ; все чудилось: зачём же Монрепо-то не умерло? и кто меня теперь успокоитъ? кто добро мое сбережетъ? Пришлось нанимать чужака.

«Явился чуженинъ и говорить: «Филаретъ Семеновъ Перебѣжчиковъ, здѣшняго города мѣщанинъ; надѣюсь вашей милости заслужить». Что-жъ, очень радъ; вотъ ключи, вотъ планы; съ остальнымъ сами постепенно познакомитесь. Но на первыхъ же порахъ началь мена этотъ человѣкъ огорчать. Прежде всего охаять распоряженія Евдокимыча и даже попытался набросить на нихъ неблаговидную тѣнь. Потомъ сталъ каждый вечеръ ходить, спрашививать, какое на завтрашній день распоряженіе будетъ (да еще цѣлыхъ два ему выложи: одно на случай, коли ежели вѣдро, а другое изъ случай, коли ежели Богъ дождичка пошлетъ). А я почемъ знаю? Кому видище, какъ по обстоятельствамъ дѣла поступать надлежить, мнѣ или ему? Но ты, конечно, понимаешь, что нельзя же прямо человѣку сказать: отстань, потому что я ничего не знаю и ничѣмъ распорядиться не могу... Вотъ я распоряжался, распоряжался, да и затосковалъ.

«А къ этому вскорѣ присоединилось и еще обстоятельство: прислали къ намъ въ ѿздѣ новаго начальника. Глаза какъ плошки, усы какъ у таракана, изъ усть пахнетъ «Московскими Вѣдомостями». Старого-то—отличный былъ, царство небесное!—смѣнили за то, что все въ городѣ сидѣмъ сидѣль (кстати, онъ мнѣ потомъ жаловался: «вѣдь и Илья-Муромецъ, говорить, сколько лѣтъ сиднемъ сидѣль, однако когда понадобилось»...). Такъ новый, какъ дорвался до мѣста, такъ и побѣхъ. Бѣдить, братецъ, по проселкамъ и все людей выдергиваетъ да въ плѣнь уводить. Завелся, видишь ли, «духъ» какой-то въ нашихъ палестинахъ, такъ вотъ по этому случаю. У меня не былъ, а проѣхалъ мимо не разъ. Смотрѣть я на него изъ окна въ бинокль: сидѣть въ телѣгѣ, обернется лицомъ къ усадѣбѣ и вытаращить глаза. Думалъ я, думалъ: никогда у насть никакого «духа» не бывало, и вдругъ завелся... Кого ии спросишь: что, моль, за духъ такой? — никто ничего не знаетъ, только говорятъ: строгость пошла. Разумѣется, затосковалъ еще пуще. А ну, какъ и во мнѣ этотъ «духъ» есть? и меня, въ преклонныхъ моихъ лѣтахъ, въ плѣнь уведутъ!

«Взялъ и вдругъ все продалъ. Трактирщикъ тутъ у насть поблизости на пристани процвѣлъ — онъ и купилъ. Въ немъ ужъ навѣрное никакого «духу», кромѣ грабительства,

нѣтъ, стало-быть, ему честь и мѣсто. И сейчасъ, на моихъ глазахъ, покуда я пожитки собираль, онъ и распоряжаться началь: птицу на скотномъ перерѣзаль, карасей въ прудѣ выловилъ, скотъ угналъ... «А потомъ, говорить, начну домъ распродавать, лѣсъ рубить, въ два года выручу два капитала, а наконецъ и пустое мѣсто зѣдешево продамъ».

«Признаюсь однако-жъ, что на первыхъ порахъ тоскливо было. Во-первыхъ, странно съ неизвѣстною такія фразы слышать: «а подсѣчнничекъ-то вы, кажется, съ собой нашъ уложили?» или: «тутъ полотенчикъ прежде висѣло, такъ какъ прикажете, ваше оно или наше будетъ?» А во-вторыхъ, продать-то я продаль, а какъ съ собой поступить—не знаю. На всякий случай однако-жъ отправился въ «губернію», думаю: тамъ моя невинность видище будетъ. Пробѣжалъ мимо Соломеннаго Городища, смотрю и не вѣрю глазамъ: волшебство! При самомъ вѣзда въ городъ, безъ конца тянется заборъ, а за заборомъ зелени, зелени—цѣлое море! И домъ большой, и развалины какія-то въ стоянѣ. Спрашиваю на станціи: что за штука?—отвѣчаютъ: жиль-быль здѣсь откупщикъ, и водочный заводъ у него былъ (это развалины-то), а теперь, дескать, домъ съ землей продаются. Сейчасъ же побѣжалъ смотрѣть. Мѣсто—двѣ десятины; въ самый разъ, значитъ, и то, пожалуй, за всѣмъ не усмотрѣшишь; заборъ—подгниль, а мѣстами даже повалился, надо новый строить; домъ, ежели маленько его по-править, то хватить надолго; и мебель есть, а въ одной комнатѣ даже ванна мраморная стоитъ, въ которой жидовинъ-откупщикъ свое тѣло бѣлое нѣжилъ; руина... ну, это, пожалуй, «питорескъ» и больше ничего; однако существуетъ легенда, будто по почамъ здѣсь собираются сирые и неимущіе, лижутъ кирпичи, нѣкогда обагрившіе сивухой, и бываютъ пьяны. Но садъ—волшебство! Ни цвѣтниковъ, ни аллей, а все вишни, вишни, вишни, смородина, смородина, смородина! Это «онъ» все на «предметъ настоекъ» разводиль! И все запущено, разрослось, переплелось... Словомъ сказать, такъ мнѣ вдругъ захотѣлось тутъ умереть, что сейчасъ же я поскакалъ въ Москву и въ два дня кончилъ.

«И ко всему этому—здѣшній начальникъ оказался смиренный. Любознательный, но смиренный. Пріѣхалъ ко мнѣ на новоселье, посидѣль, побесѣдоваль и вдругъ задумался. «Такъ вы,—говорить,—къ намъ...» — Совсѣмъ, говорю.—«Атtestатъ у васъ есть?»—Вотъ онъ.—Посмотрѣль, пере-

листвоваль: служилъ тамъ-то и тамъ-то, аттестовался спо-  
собнымъ и достойнымъ, въ походахъ не бывалъ, подъ су-  
домъ и ельдѣствіемъ не состоялъ... Вздохнулъ.— «А знаете  
ли,— говорить:— я, золя ваша, этого не понимаю: къ вамъ...  
совсѣмъ... чѣмъ такое значитъ?»— Да просто значитъ, что къ  
вамъ совсѣмъ — и больше ничего.— «Помилуйте... что же  
такое у насъ?.. никто къ намъ... никто, никогда... и  
вдругъ!» — Да вѣдь надо же гдѣ-нибудь жить?— «Такъ-то  
такъ... а все-таки... ну, какую вы здесь прелестъ нашли!  
городишко самый пустой, бѣлаго хлѣба не сыщешь... никто  
къ намъ никогда... и вдругъ вздумалось!» Это было такъ  
мило, что я не выдержалъ и расцѣловалъ его. И вотъ съ  
тѣхъ порь мы друзья. Чтобы окончательно его успоконить,  
я отвѣль въ домъ квартиру для полицейскаго чина, истре-  
биль всѣ книги, вмѣсто газетъ выписалъ «Московскія Вѣ-  
домости» и купилъ гитару. Все прошлое лѣто, днемъ и  
ночью, я держалъ окна настежь: приди и виждь!

«Итакъ, бросай свое Монрепо и пріѣзжай сюда. Ничего  
кромѣ ношеннаго платья не привози, но гитарой запасись  
непремѣнно: это придаетъ шикъ благонамѣренности. Ежели  
есть прислуга, особенно ежели ветхая, въ родѣ моего Евдо-  
кимыча, то также привози, потому что это придастъ на-  
шему сожительству шикъ респектабельности: авторитеты,  
значить, признаемъ. По исполненіи сего, заживемъ отлично.  
Будемъ вдвоемъ сидѣть у открытаго окна, брацать на стру-  
нахъ и пѣть:

Ахъ, что кому до насъ!  
Когда праздничекъ у насъ,  
Мы зароемся въ соломку,  
И никто не найдеть насъ!  
Тиуинъ! тиуинъ! тиуинъ!

«Помнишь?  
«Затѣмъ жму твою руку и жду. Vale.

*Иванъ Косушкинъ.*

«Р. С. Забылъ сказать: при домѣ есть сажалка и въ  
ней караси. Караси, да ежели въ сметанѣ... это что же  
такое!»

Первою мыслю по прочтѣніи этого письма было: такъ  
вотъ онѣ, дѣй десятины, о которыхъ мнѣ цѣлый мѣсяцъ  
твѣрдѣть! Зачѣмъ, черезъ часъ я уже былъ у Разуваева,  
и мы въ два слова кончили. Finis Монрепо!

## V.—Предостережение.

Посвящается кабатчикамъ, мѣнеджерамъ, подрядчикамъ, железнодорожникамъ и прочихъ мірѣдскихъ дѣлъ мастерамъ.

Я, отставной корнетъ Прогорѣловъ, нѣкогда крѣпостныхъ дѣлъ мастеръ, впослѣдствіи оголѣтый землевладѣлецъ, а нынѣ пропацій человѣкъ — я обращаю къ вамъ рѣчь мою!

Вся цивилизованная природа свидѣтельствуетъ о скромѣ пришествіи вашемъ. Улицы ликуютъ, дома терпимости прихорашиваются, половы и гарсоны въ трактирахъ и ресторанахъ въ ожиданіи млѣютъ, даже стерляди въ трактирныхъ бассейнахъ — и тѣ рѣзвѣе играютъ въ водѣ, словно говорятъ: слава Богу! кажется, скоро начнуть быть и насы! По всей веселой Руси, отъ Мѣщанскихъ до Кунавина вклучительно, раздается одинъ кличъ: идетъ чумазый! Идетъ и на вопросъ: «что есть истина?» твердо и неукоснительно отвѣтить: «распивочно и на выносъ!»

Присутствуя при этихъ шумныхъ предвкушеніяхъ будущаго распивочнаго торжества, пропащіе люди жмутся и ждутъ... Они понимаютъ, что «чумазый» придетъ совсѣмъ не для того, чтобы «новое слово» сказать, а для того единственno, чтобы показать, гдѣ раки зимуютъ. Они знаютъ также, что именно на нихъ-то онъ прежде всего и обрушится, дабы впослѣдствіи уже безъ помѣхи производить опыты упрощенного кровопицства; но неотразимость факта до того ясна, что имъ даже на мысль не приходитъ оброняться отъ него. Придетъ «чумазый», придетъ съ ногъ до головы наглый, съ цѣнными руками, съ несвойственной утробой — придетъ и слопаетъ! Только и всего.

И не одна безсознательная кунавинская природа привѣтствуетъ ваше пришествіе; пѣть, слухи о васъ проникли даже въ ту среду, которая уже привыкла формулировать свои предвидѣнія и чаянія. И эта среда вмѣстѣ съ Кунавинымъ спѣшитъ всѣмъ возвѣстить ваше пришествіе, какъ вѣрийній залогъ грядущаго обновленія.

Прежде всего васъ привѣтствуютъ наши «охранители». Пропащіе люди, которыхъ они когда-то изъ всѣхъ силъ старались пристроить, нынѣ до смерти надѣли имъ. Сентиментальничаютъ, ропщутъ, не то просить прощенія, не то грубятъ. Что-то невиданное происходитъ; не поймешь, гдѣ тутъ слава и гдѣ стыдъ. И въ довершеніе всего, до того обнажились, что даже на табакъ подчаску не изъ чего

дать. И это люди, которые когда-то не только сами называли себя столпами, но даже и были оними! Какимъ чудомъ случилось, что, обнажаясь все больше и больше, они постепенно выродились въ пропащихъ людей?

Исторія этого превращенія для охранителей представляеть какую-то неисповѣдимую загадку. Но еще больше загадочнымъ кажется то, что, несмотря ни на какія умертвія, прошацій человѣкъ все-таки еще живъ состоять. Жизнь съ пассивнымъ упорствомъ держится въ этомъ расшатанномъ организмѣ, держится наряду съ явнымъ оголѣніемъ... И кто знаетъ? можетъ-быть, именно благодаря этому упорству, была одна минута, когда казалось, что вотъ-вотъ все русское общество вступить на стезю абсолютнаго и бесповоротнаго безстолбія... Да, было и такое время, было! все въ русской жизни было! Такое было время, когда все смыкалось, когда самые несомнѣнныя столпы, казалось, потонули въ зіяющей безднѣ, чтобы не вынырнуть изъ нея никогда! Хорошо, что Богъ пронесъ мимо эту дурную фантасмагорію; но охранители и донынѣ не могутъ забыть о краткомъ періодѣ этого «чуть-чуть не безстолбія» и, разумѣется, вспоминаютъ о немъ не только съ тоскою, но и съ омерзѣніемъ... Было такое время... га!

Да, слово «столпъ» не пустой звукъ, но одна изъ тѣхъ живыхъ и несомнѣнныхъ конкретностей, временное исчезновеніе которыхъ производитъ замѣтную пустоту въ кодексѣ благоустройства и благочинія. Столпы — это выдающіеся пункты, около которыхъ ютится мелкота, иногда ропщицая, но въ большинствѣ случаевъ безнадежно изнемогающая. Столпы даютъ тонъ этой мелкотѣ, держать ее въ изумлениі, не допускаютъ обрасти. Однимъ своимъ присутствіемъ они съ большимъ успѣхомъ устраниютъ вредныя мечтанія, нежели самыя дѣятельныя разслѣдованія корней и витей. Разслѣдованіе налетить и исчезнеть; столпы же всегда тутъ, безотлучно... вплоть до изгноя. Мелкота съ суевѣрными страхомъ взираетъ на ихъ незыблѣмость и инстинктивно понимаетъ, что совмѣстное существованіе незыблѣмости и мечтаній—дѣло не только немыслимо, но и прямо противоестественное. Едва рожденныя, вредныя мечтанія тутъ же немедленно и умираютъ. Или, лучше сказать, они даже не рождаются, а только отъ времени до времени заносятся въ видѣ эффектнаго слуха со стороны, не поселяя въ столпахъ ни малѣйшей тревоги своимъ эфемернымъ появлѣніемъ...

Воть почему столы считаются существеннѣйшимъ подспорьемъ, и воть почему, когда наступаетъ моментъ изгнанія, благоразумные охранители заранѣе подстерегаютъ этотъ моментъ и дѣлаютъ нужная приспособленія, дабы старые, подгнившіе столы были немедленно замѣнены новыми...

Нынѣ, къ безмѣрной радости охранителей, пробѣль, причиненный кратковременнымъ безстолбiemъ, пополненъ. «Чумазый человѣкъ»—въ виду у всѣхъ: человѣкъ свѣжій, не-преклонный и расторопный, который навѣрное освободить охранителей отъ половины гнетущей ихъ обузъ. Нѣть нужды, что онъ еще недостаточно поскоблился, что онъ не тронутъ наукой и равнодушенъ къ памятникамъ искусства, что на знамени его только одна надпись читается явствѣнно: распивочно и на вынось... Охранитель видѣть въ этомъ не препятствіе, но залогъ. Чѣмъ меныше бродить въ обществѣ превыспрениостей, тѣмъ прочнѣе оно стоять—это истина, которая нынѣ бывать въ глаза даже будочникамъ. Чѣмъ такое «общество»?—это фикція и больше ничего. Обѣтъ этой фикціи отъ времени до времени упоминается, потому что совсѣмъ забыть о ней какъ-то совсѣмъ, но въ сущности... Ахъ, тѣмъ-то вѣдь и дорогъ «чумазый человѣкъ», что, имѣя его подъ рукой, о всѣхъ вообще фикціяхъ навсегда можно забыть, и никакъ не будетъ совсѣмъ. Ему ни «общество», ни «отечество», ни «правда», ни «свобода»—ничто ему доподлинно неизвестно! Ему известенъ только грошъ — ну, и пускай онъ надѣлаетъ изъ него пятаковъ!

Слѣдомъ за охранителями привѣтствуютъ чумазаго человѣка и публицисты. Никогда не было потрачено столько усилий на разъясненіе принциповъ собственности, семейственности и государственности, никогда съ такою настойчивостью, съ такими угрозами не было говорено о необходимости огражденія этихъ принциповъ. Знаете ли, ради чего поднялась эта суматоха? ради чего такъ усиленно понадобилось ограждать огражденное и разъяснять разъясненное?—все ради васъ, кабатчики и мѣнизы! все ради того, чтобы для васъ соотвѣтствующую обстановку устроить и ваше пришествіе приличнымъ образомъ объяснить.

Въ старое время и въ обществѣ, и въ литературѣ было насчетъ этого болѣе нежели просто. Люди наиболѣе заинтересованные столь же мало думали о вопросахъ собственности, семейственности и государственности, какъ мало

Думаетъ человѣкъ, которому приходится періодически совершать одинъ и тотъ же путь, о домахъ и заборахъ, стоящихъ по обѣимъ сторонамъ этого пути. Зачѣмъ мнѣ, крѣпостныхъ дѣль мастеру, было напоминать о существованіи какихъ-то «принциповъ» собственности, семейственности и государственности, когда я самъ былъ ходячимъ гимномъ этимъ принципамъ? Зачѣмъ мнѣ было подстрекать самого себя на постиженіе какихъ-то усложненій, когда стоило только протянуть руку, чтобы безъ всякаго постиженія получить желаемое? Всѣ эти «принципы» я не имѣлъ надобности ни расчленять, ни смаковать, ни ограждать ихъ, потому что они представляли собой стихію до такой степени мнѣ родную, что я только весело плавалъ въ ней, какъ рыба въ водѣ. Мнѣ и на мысль не приходило, что я могу захлебнуться или потонуть въ ней (знаю, что подъ конецъ я захлебнулся-таки, но вѣдь зато и наплавался же!). Ничѣмъ она не угрожала мнѣ, а только ласкала и нѣжила.

И вдругъ все измѣнилось. По волѣ судѣбъ, насталъ періодъ безстолбія и всѣхъ напугалъ. Начали рыться, доискиваться причинъ, и наконецъ пришли къ такому заключенію, что даже и въ родной стихіи нельзя безсрочно плавать, не понимая, чѣмъ дѣлаешь. Умозаключеніе это прямо противорѣчило исторической практикѣ, побѣдоносно доказавшей, что столны именно до тѣхъ поръ и стоять крѣпко, пока крѣпко стоять безсознательность; но такъ какъ безстолбіе одолѣвало, то приходилось довольствоваться хотя какимъ-нибудь выходомъ, чтобы такъ или иначе освободиться отъ ненавистнаго явленія. Понадобилось уяснить составная части стихіи, указать наилучшіе способы упраздненія ею. Вотъ эту-то задачу и приняла на себя публицистика. Она объяснила, что жизнь совсѣмъ не такъ проста, какъ это казалось намъ, крѣпостныхъ дѣль мастерамъ, что, напротивъ того, она представляетъ сплошную цѣль большихъ и малыхъ «принциповъ», которые постоянно и ревниво надлежитъ держать передъ глазами, дабы благополучно провести свою ладью къ желанной пристани.

Но коль скоро однажды объявились необходимость «принциповъ», то, само собой разумѣется, потребовались и заменощи для нихъ. Мы, крѣпостныхъ дѣль мастера, не могли быть таковыми, во-первыхъ, потому, что людей, однажды уже ославленныхъ въ качествѣ выслужившихъ всѣ, было бы странно вновь привлекать къ дѣятельному

столпослуженію, а во-вторыхъ, и потому, что, какъ я уже сказаъ выше, надъ всей нашей крѣпостной жизнью тяготѣлъ только одинъ рѣшительный принципъ: какъ только допущены будуть разъясненія, расчлененія и раззѣданія, такъ тотчасъ же всѣ мы пропали! Требовались люди болѣе подходящіе, такие, которые зубами вѣщались бы въ врученныя имъ знамена и всечасно памятали, что плошать въ дѣлѣ держанія знаменъ — отнюдь не допускается. Такими людьми оказались—вы, кабатчики, желѣзоподорожники, мѣнилы и прочіе міроѣдскихъ дѣль мастера! Публицисты отлично угадали, что цѣнче васъ въ настоящее время людей не найти, и изъ восторга отъ этой находки воскликнули: «долой безстолбіе! вотъ они, новоявленные наши столпы!»

И точно: безстолбіе какъ-то вдругъ кануло, и ежели о немъ изрѣдка вспоминаютъ и теперь, то для того лишь, чтобы съ пылающими отъ стыда щеками воскликнуть: «ужели когда-нибудь быть этотъ позоръ?» Отнынѣ на вѣсъ, кабатчики и мѣнилы, покоятся всѣ улованія. Вы совершили то, чѣмъ не сумѣли свершить даже мы, ваши достоиславные предшественники; вы съ неумолимою логикою приведете принципъ умиротворенія посредствомъ обездоленія. Мы, крѣпостныхъ дѣль мастера, какъ-то задумывались передъ громадностью этой задачи. Не скажу, чтобы наскѣ останавливали на этомъ пути какія-нибудь соображенія высшаго порядка, но мы все-таки понимали, что если начать обездоливать вилотную, то изъ этого, чѣмъ доброго, въ концѣ концовъ произойдетъ обездоленіе нашей собственной утробы. Вы и въ этомъ отношеніи поставлены гораздо выгоднѣе, нежели мы. Аrena вашего обездоленія такъ безконечна и такъ загадочна, что даже при самой неисповѣдимой наглости всегда будетъ казаться, что еще не все вычерпано, что затерялся еще гдѣ-то уголокъ, въ которомъ процессъ обездоленія не совершилъ всего своего круга.

Въ виду столь несомнѣнныхъ свидѣтельствъ и я, Прогорѣловъ, не имѣю возможности сомнѣваться: да, вы грядете — это не тайна и для меня. Но, признаюсь откровенно, увѣренность эта не наполняетъ моего сердца сладкой надеждой, но, напротивъ, заставляетъ меня съ иѣ-которымъ трепетомъ приподнимать завѣсу будущаго и отыскивать тамъ совсѣмъ не тѣ ликующіе тоны, которые обѣщаютъ наши охранители и наши публицисты.

Не думайте однако-жъ, кабатчики и мѣнялы, что я спо-  
раю къ вамъ зависью, и что именно это дурное чувство  
препятствуетъ мнѣ привѣтствовать васъ. Нѣть, тутъ со-  
всѣмъ не то. Вотъ ужъ двадцать лѣтъ сряду, какъ я со-  
стою въ званіи пропаща человѣка, и мнѣ кажется, что  
этого периода времени вполнѣ достаточно, чтобы пролить  
бальзамъ забвенія па какіе угодно сердечные ропоты. На  
первыхъ порахъ я дѣйствительно волновался и предста-  
влялъ изъ себя не то невинно-падшаго, который успѣль-  
таки припрятать въ укромномъ мѣстѣ кой-какія уцѣлѣвшія  
крохи, не то человѣка, приведеннаго въ восторженное со-  
стояніе отъ безпрерывной молотьбы по головѣ. Подъ вли-  
яніемъ свѣже-нанесенной обиды я или схидствовалъ, или  
извергалъ цѣлые потоки ропотовъ, при чемъ такъ безтол-  
ково кричалъ, что не только не вникалъ въ смыслъ соб-  
ственныхъ рѣчей, но, въ большинствѣ случаевъ, за гвал-  
томъ не умѣль даже хорошенъко разслышать ихъ. Но  
вдругъ промелькнула свѣтлая минута. Я вслушался, вникъ  
и... покраснѣлъ. Я понялъ, что мой ропотъ быть чѣмъ-то  
нелѣпымъ по существу и безконечно неуклюжимъ по формѣ;  
что по существу я обнаруживалъ только голую алчность, а  
по формѣ — только беззавѣтийшую невѣжественность. Съ  
тѣхъ поръ я смирился и замолчалъ. Изрѣдка, правда, и  
теперь кое-что сболтну въ одномъ изъ тѣхъ тихихъ прію-  
товъ, которые извѣстны подъ именемъ земскихъ учрежде-  
ний, но сболтну неувѣренно и какъ-то невнятно, съ про-  
пушками. Точь-въ-точъ какъ органчикъ, котораго валь, отъ  
времени и жестокаго обращенія, утратилъ три четверти  
своихъ колышковъ.

И знаете ли что еще! Съ тѣхъ поръ, какъ я покраснѣлъ  
и созналъ, что титулъ пропаща человѣка прикрѣпленъ  
за мной безповоротно, — я полюбилъ это скромное званіе.  
Иногда мнѣ даже сдается, что оно близко граничитъ съ  
званіемъ человѣка вообще, что въ этомъ качествѣ ему  
предстоитъ хорошая и прочная будущность, и что ежели  
дляувѣковѣченія родовъ пропащихъ людей не будетъ за-  
веденено бархатныхъ и иныхъ книгъ, то не потому, чтобы  
люди сіи не были того достойны, а потому, что, разъ испы-  
тавъ тщетуувѣковѣченій, они и сами едва ли пожелають  
ихъ возобновленія. Повторяю: я до того примирился съ  
мыслью, что я пропащий человѣкъ, что воспоминанія ми-  
нувшей славы уже не пробуждаются во мнѣ ни безплодной  
горечи, ни несбыточныхъ надеждъ. Я знаю, что история

назадъ не возвращается, что даже гнусное не повторяется въ ней въ одиѣхъ и тѣхъ же формахъ, но или развивается въ формы гнуснѣйшія, или навсегда прекращается, и что, стало-быть, Прогорѣловымъ — какъ бы они ни вспомнили — повториться въ прежнихъ формахъ (а новыхъ они сами не выдержатъ) не суждено. Одно меня заботить въ моемъ новомъ положеніи: сумѣю ли я настолько совладать съ собою и съ своимъ прошлымъ, чтобы сдѣлаться воистину порядочнымъ пропащимъ человѣкомъ, то-есть человѣкомъ долга, добра, чести и труда?

Итакъ, не по чувству зависти я воздерживаюсь отъ поздравленія васъ съ прѣздомъ, а просто потому, что меня береть оторопь. И не за себя я боюсь — чего ужъ! изъ меня все, даже страхъ вынули! — но за отчество.

Какъ ни безшабашно прошла моя жизнь, однако помаялся-таки я на своемъ вѣку, а тѣмъ временемъ кое-что и попристало ко мнѣ. Я, Прогорѣловъ, грамотенъ — вотъ въ чемъ суть. Преимущество ли это мое, или злосчастіе — всяко можно судить. Это преимущество, потому что грамота помогла мнѣ и непостыдно и безболѣзенно (по крайней мѣрѣ относительно) перекочевать изъ категоріи столповъ въ категорію пропащихъ людей; это злосчастіе — потому что грамота же помѣшила мнѣ всесфло отダться восторгамъ возрожденія и этимъ самымъ уподобила мое существованіе ладьѣ, плавающей по волнамъ житейскаго моря безъ кормила и весла.

Правда, что моя грамота — нельзя сказать, чтобы через-чуръ ужъ сложная, но важно ужъ то, что она потревожила мой почивавшій внутренній міръ и въ то же время внушила мнѣ вкусы къ нѣкоторымъ нелишнимъ наблюденіямъ и ощущеніямъ.

Благодаря этимъ наблюденіямъ, я знаю, напримѣръ, что независимо отъ клейменыхъ русскихъ словарей въ нашей жизни выработался свой собственный подоплечный словарь, имѣющій очень мало сходства съ клеймеными. И представь себѣ, Разуваевъ, что когда рѣчь идетъ о выраженіяхъ еще не утвердившихся, новоявленныхъ, каковы, напримѣръ: интеллигентія, культура, дирижирующіе классы и проч., то я положительно предпочитаю послѣдній первымъ. Я инстинктивно чувствую, что клейменые словари фаталистически обречены на повтореніе задовъ. Ихъ міросозерцаніе — мое міросозерцаніе; условности, которыя связываютъ ихъ, суть тѣ же, которыя связываютъ и меня;

словомъ-сказать, словари эти несомнѣнно сочинены самимъ мной, еще въ ту эпоху, когда я какъ сыръ въ маслѣ катался. Такъ что если-бъ я руководствовался только ими, то положительно все сомнительное и неясное такъ навсегда и осталось бы для меня сомнительнымъ и неяснымъ. Но, по счастью, рядомъ съ клеймеными словарями существует толковый интимно-обывательскій словарь, который провиндитъ и отлично объясняетъ смыслъ даже такихъ выражений, передъ которыми клейменый словарь стойть, уставясь лбомъ въ стѣну. Вотъ къ этому-то неизданному, но превосходнѣшему словарю я всегда и обращаюсь, когда мнѣ нужно вложить персты въ язвы.

Возьмемъ хоть бы данный случай. Вездѣ кругомъ говорятъ: грядутъ кабатчики, мѣнилы, желѣзнодорожники и прочие міроѣдскихъ дѣль мастера. Желая объяснить себѣ это явленіе, я прежде всего обращаюсь къ обывательскимъ наблюдательнымъ реестрамъ и вижу, что вы значитесь въ нихъ тако:

«Разуваевъ, Анатолій, бывшій халуй (понимаю). Занимается кабаками, а нынѣ, сверхъ того, и интеллигенціей (не понимаю).

«Губошленовъ, Іона, бывшій цѣловальникъ (понимаю). Занимается поставкой для арміи и флотовъ гнилыхъ сухарей (еще бы не понимать!), а нынѣ, сверхъ того, дирижирующей классъ» (не понимаю). И т. д., и т. д.

Очень возможно, что для публицистовъ, подчасковъ и прочихъ экспертовъ науки подчеркнутыя мною опредѣленія вполнѣ ясны, но для меня—человѣка только потревоженнаго наукой—нѣтъ. Поэтому я по старой привычкѣ беру сначала клейменый словарь и спѣшу справиться въ немъ: что сей сонъ значитъ? Но—увы!—никакихъ утѣшений въ немъ не обрѣтаю, кроме того, что интеллигенція есть интеллигенція, а правящій классъ есть тотъ, который править. Тогда я припоминаю, что у насъ есть еще неизданный интимно-обывательскій толковый словарь, мысленно развертываю его и читаю слѣдующее:

«Интеллигенція, или кровопрѣство...

«Правящій классъ, или шайка людей, втихомолку отъ начальства обѣгоривающая...»

Дальше я уже не читаю: съ меня довольно. Искомая язва глядитъ мнѣ прямо въ глаза, сіяющая, обнаженная, вполнѣ достовѣрная. Нѣть нужды, что прочитанныя опредѣленія противорѣчатъ безсознательной номенклатурѣ, усвоен-

ной мною съ пеленокъ: тѣ, что открылось передъ мной, такъ прозрачно-ясно, что я забываю всѣ пеленки, заподозрѣваю всѣ клейменые словари и вѣрю только ему одному, нашему единственно правдивому и единственному прозорливому подоплечному толковому русскому словарю!

И затѣмъ цѣлый рядъ мыслей, самаго внезапнаго свойства, такъ и ронится въ моей головѣ.

Горе—думается мнѣ—тому граду, въ которомъ и улица, и кабаки безнужно скучать о томъ, что собственность священна! Навѣрное въ градѣ семъ имѣеть произойти неслыханнѣйшее воровство!

Горе той веси, въ которой публицисты безнужно и настоятельно вопіютъ, что семейство — святыня! Навѣрное надъ этой весью невдолгъ разразится колоссальнѣйшее прелюбодѣйство!

Горе той странѣ, въ которой шайка шалопаевъ во всѣ трубы трубить: «государство, mon cher! — c'est sacrifié!» Навѣрное въ этой странѣ государство въ скоромъ времени превратится въ расхожій пирогъ!

А работа воображенія не только не отстаетъ отъ работы мысли, но, по обыкновенію, даже опережаетъ ее. Картины слѣдуютъ за картинами... ужасъ! Представьте себѣ эту неусыпающую свару, въ которой отнятіе перемѣшано съ прелюбодѣяніемъ и терзаніемъ пирога! Осуществите ее въ цѣлой массѣ лицъ, искаженныхъ жаждой любостяженія и любострастія; заставьте этихъ людей метаться, рвать другъ друга зубами, срамословить, свальничать, убивать и, въ довершеніе всего, киньте куда-нибудь въ уголъ или на хоры горѣть шутовъ-публицистовъ, умиленно поющіхъ гимны собственности, семейственности и государственности! Ужели возможна картина болѣе потрясающая? Бѣжать отъ нихъ! бѣжать! бѣжать! — вотъ единственная мысль, которая угнетаетъ мозгъ при видѣ этихъ озлобленныхъ, бѣсноватыхъ существъ. Но куда бѣжать?

Вотъ чего я, Прогорѣловъ, страшусь и чего — увы! — я не могу не провидѣть въ ближайшемъ будущемъ. Воистину говорю: никогда ничего подобнаго не бывало. Ужасно было крѣпостное мучительство, но оно имѣло опредѣленный районъ (каждый мучительствовалъ въ предѣлахъ своего гнѣза) и потому было доступно для надзора. Ваше же мучительство, о міроѣды и кровопрѣстивныхъ дѣлъ мастера, есть мучительство вселенское, неуличимое, не знающее ни границъ, ни даже ясныхъ опредѣленій! Ужели это про-

грессъ, а не наглое вырожденіе гнусности меньшей въ гнусности сугубую?

Интеллигентія! дирижирующіе классы! И при семъ въ скобахъ: «сюжетъ заимствованъ съ французскаго»! Слыханное ли это дѣло! И какъ отвѣтъ на эти запросы—«Разуваевъ, бывый халуй»! Разуваевъ, заспанный и пахучий, буйный, безшабашный, безвременно оплывшій, съ отяженіемъ отъ виннаго угара головой и съ хмельною улыбкою на устахъ. Подумайте! да онъ—въ ту самую минуту, какъ вы, публицисты, призываесте его: «иди и володѣй нами!»—даже въ эту торжественную минуту онъ пущаеть враскосъ глаза, высматриваая, не лежитъ ли гдѣ плохо!

Знаеть ли онъ, что такое отечество? слыхалъ ли онъ когда-нибудь это слово? Ахъ, это отечество! По настоящему-то вѣдь это нестерпимѣйшая сердечная боль, непрестающая, гложущая, гнетущая, въ конецъ изводящая человѣка—вотъ какое значеніе имѣть это слово! А Разуваевъ думаетъ, что это падаль, брошенная на расклеваніе ему и прочимъ кровопийственныхъ дѣлъ мастерамъ.

Но да свершится. Исторія имѣть свои повороты, которые невозможнно измѣнить, а тѣмъ менѣе устранить. Это, конечно, не слѣной фатализмъ, передъ которымъ не остается ничего другого, какъ преклониться, и не произволь, которому люди подчиняются, потому что за нимъ стоить цѣлый легіонъ темныхъ силъ; но все-таки это законъ, и именно законъ послѣдовательного развитія однихъ явлений изъ другихъ. Явлениія приходятъ на арену исторіи какъ бы кра-дучись и почти не обираживая своей внутренней подготовкіи—вотъ почему они, въ большинствѣ случаевъ, кажутся намъ внезапными или произвольными. Но подготовка эта несомнѣнно существовала—только мы, ошеломленные исконной репутацией несмѣняемости, которой пользовались явленія предшествующія, проглядѣли ее. Такъ что когда новые вещи, новые порядки и новые дѣла являются во всеоружіи совершившагося факта, то мы видимъ себя безсильными не только для борбы съ ними, но и для смягченія бесполезныхъ наглостей подкравшагося торжества.

Увы! міроѣдскій періодъ, очевидно, еще не исчерпалъ всего своего содержанія. Ему еще предстоитъ сказать рѣшительное слово, и чѣмъ ближе къ концу будетъ приходить его рѣчъ, тѣмъ жестче и неумолимѣе выскажетъ это послѣднее слово. Жизнь выработала известную сумму при-

манокъ, имѣющихъ несомнѣнно кровопрѣстивенный характеръ, и покуда эти приманки носятъ название утѣхъ, къ нимъ все-таки не перестанутъ устремляться завистливые взоры тѣхъ, кто не боится рисковать или кто суевѣрно надѣется на свою счастливую звѣзду. Покуда мудрость текущей минуты будетъ учить, что въ виду устраненія жизненныхъ огорченій человѣческое естество необходимо упразднить, а на мѣсто его водворить и утвердить естество волче, до тѣхъ порь всякой могущій вмѣстить будетъ прямо или косвенно черпать изъ кладезя этой мудрости. Принципъ утѣхъ — великий принципъ, которому суждено вѣчно пльнять человѣческія сердца, и ежели тутъ есть бѣда, то не въ томъ, что люди желаютъ наслаждаться утѣхами, а въ томъ, что по обстоятельствамъ эти утѣхи нерѣдко получаются характеръ злобиной и человѣконенавистнической. Вотъ когда жизнь выработаетъ новаго сорта утѣхи, тогда самъ собою изноется и міроѣдскій періодъ. А покуда, повторяю, придется еще много услышать жестокихъ и безчеловѣчныхъ словъ и долго оставаться безмолвнымъ свидѣтелемъ всякаго рода безстыжествъ и неключимостей.

Какъ бы то ни было, но я взялся за перо совсѣмъ не съ тѣмъ, чтобы протестовать. Я только намѣренъ высказать нѣсколько благожелательныхъ соображеній, которыхъ, по мнѣнію моему, вамъ, новоявленнымъ столпамъ, въ видахъ собственной пользы, нeliшне было бы принять къ сведенію.

Я самъ, пропащій человѣкъ Прогорѣловъ, былъ въ свое время столпомъ и самъ безчисленно прегрѣшалъ. Я былъ и отнимателемъ, и прелюбодѣемъ, и измѣнникомъ казенаго интереса, и не только не полагалъ въ томъ грѣха, но и вполнѣ искренно былъ убѣжденъ, что именно на этихъ трехъ китахъ мѣръ стоитъ. Только теперь, когда меня безповоротно произвели въ чинъ пропащаго человѣка, я понялъ, что никакихъ тутъ китовъ нѣть. Во всякѣмъ случаѣ тѣ, что мнѣ предстоитъ сказать по этому поводу, будуть плодомъ моего собственнаго опыта и моей собственной долгѣтней міроѣдской практики. Стало-быть, вѣрою.

Начнемъ съ отечества. Отвѣтъ, Разуваевъ! знаешь ли ты, что такое отечество?

Сдѣлавши этотъ вопросъ, я натурально стараюсь уловить, какое онъ произвелъ на тебя впечатлѣніе. И долженъ сказать, что впечатлѣніе это, на мой взглядъ, не весьма удовлетворительное. Прежде всего ты изумленъ и таращаешь

глаза, словно спрашиваяешь: и зачёмъ ему это слово понадобилось? Нельзя даже поручиться, что ты не думаешь, что это слово бунтовское, заключающее въ себѣ «филантропію»... Потомъ однако-жъ ты начинаешь шутки шутить, зубы заговаривать: «кто же, моль, такого пустяка (ты употребляешь не это слово, а другое, но я изъ учтивости о немъ умалчиваю) не знаетъ!» Но наконецъ, прижатый къ стѣнѣ, ты какъ-то загадочно киваешь въ ту сторону, гдѣ имѣеть квартиру становой приставъ Граціановъ.

Твой кивокъ въ сторону Граціанова убѣждаетъ меня, что ты смысливаешь отечество съ начальствомъ, или, по малой мѣрѣ, ставишь представленіе о первомъ въ зависимости отъ представленія о послѣднемъ. Исполнять приказанія начальства—вотъ, по-твоему, чѣмъ значить быть истиннымъ сыномъ отечества. Ясно, что ты ровно ничего не понимаешь.

Тогда я за тѣми же разъясненіями обращаюсь къ твоему публицисту (онъ тебя провидѣлъ, облюбовалъ, онъ же, стало-быть, обязывается и отвѣтить за тебя), въ чаяніи, что этотъ шустрый малый сумѣетъ яснѣе формулировать тѣ, чѣмъ ты въ столповой своей необрѣзанности только бормочешь. Но—увы!—и отъ него ничего, кроме бормотанія, въ отвѣтъ не слышу. Онъ легкомысленно перебѣгааетъ отъ одного признака къ другому; онъ упоминаетъ и о географическихъ границахъ, и о расовыхъ отличіяхъ, и о равной для всѣхъ обязанности законовъ, и о присягѣ, и объ окраинахъ, и о необходимости обязательного употребленія въ присутственныхъ мѣстахъ русского языка, и о господствующей религіи, и объ арміи и флотахъ, и въ концѣ концовъ все-таки сводить вопросъ къ Граціанову. Словомъ сказать, онъ тоже смысливаешь отечество съ государствомъ и правительствомъ, подчиняя представленіе о первомъ представленію о двухъ послѣднихъ.

Смѣю тебя увѣритъ однако-жъ, что представленія эти совершенно различны, и что смышеніе ихъ можетъ привести къ такимъ запутанностямъ, которыхъ на практикѣ бывають равносильны бѣдствіямъ.

Итакъ, въ чѣмъ же тутъ различіе?

Прежде всего отечество—привлекаетъ; государство—обязываетъ; начальство—приказываетъ. Все это функции, конечно, очень почтенные, но и за всѣмъ тѣмъ совершенно различны. Дальше. Представленію объ отечествѣ соответствуетъ представленіе о нравахъ и обычаяхъ, объ играхъ,

ійсніахъ и пляскахъ, о примѣтахъ и суевѣріяхъ, о пословицахъ, поговоркахъ, притцахъ и сказкахъ и наконецъ о томъ неклейменомъ, но несомнѣнно ходячемъ словарѣ, о которомъ я упомянуль уже выше. Представленію о государствѣ соотвѣтствуетъ представленіе о законахъ, о комиссіяхъ, издающихъ сто одинъ томъ трудовъ, о географическихъ границахъ, объ арміяхъ и флотахъ, о податихъ и повинностяхъ, о казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, о дипломатическихъ нотахъ и о клейменыхъ словаряхъ. Представленію о начальствѣ соотвѣтствуетъ представленіе о департаментахъ, канцеляріяхъ и штабахъ, о предписаніяхъ, подтвержденіяхъ и о тщетныхъ ожиданіяхъ на сіи предписанія отвѣтовъ, о маршировкахъ и обмунидировкахъ, о наградахъ, повышеніяхъ, увольненіяхъ и перемѣщеніяхъ и наконецъ паки о предписаніяхъ и подтвержденіяхъ.

Отечество говорить тебѣ кратко: «живи!» даже не прибавляя при этомъ: играй, пой пѣсни, пляши, сказывай сказки и проч. Оно знаетъ, что и безъ его напоминанія все сіе тебѣ свойственно. Государство тоже говоритъ: «живи!» но прибавляется: «и повинуйся закону». Начальство выражается такъ: «живи, но ожидай предписаній и подтвержденій!»

Ужели и теперь не ясно, что это функции совершенно другъ отъ друга отличныя?

Но будемъ продолжать наши сравненія.

Отечество есть тотъ таинственный, но живой организмъ, очертанія которого ты не можешь отчетливо для себя определить, но которого прикосновеніе къ себѣ ты непрерывно чувствуешь, ибо ты связанъ съ этимъ организмомъ непрерывно пуповиной. Онъ, этотъ таинственный организмъ, былъ свидѣтелемъ и источникомъ первыхъ впечатлѣній твоего бытія; онъ создалъ тебя способностью мыслить и чувствовать; онъ создалъ твои привычки, далъ тебѣ языкъ, вѣрованія, литературу, онъ обогрѣлъ и приютилъ тебя, словомъ сказать, сдѣлалъ изъ тебя существо, способное жить. И всего этого онъ достигъ безъ малѣйшаго насилия, однимъ теплымъ и безконечно любовнымъ къ тебѣ прикосновеніемъ. Онъ сдѣлалъ больше того: неусыпно обнимая тебя своею любовью, онъ и въ тебѣ зажегъ священную искру любви, такъ что и тебѣ нигдѣ не живется такою полною, горячою жизнью, какъ подъ сѣнью твоего отечества. Ты слово скажешь — въ отечествѣ тебя понимаютъ; ежели это слово умное — возвеличать и воздвигнуть

монументъ; ежели оно глупое—забранять и простять. Ты сдѣлаешь движение—въ отечество сразу угадываютъ, куда оно клонится; ежели это движение осмысленное—скажутъ: «даже жесть у него умный и благородный!»; ежели оно нелѣпое и противоестественное—опредѣлять въ актеры въ Александринскій театръ: играй съ Новиковымъ и Петипа! Всякій поступокъ твой въ отечество оцѣнять, не прикидывая къ нему абсолютныхъ критеріумовъ, а довольствуясь правиломъ: «по здѣшнему мѣсту и такъ сойдетъ». Самый плохой человѣкъ—и тотъ найдетъ въ своемъ отечествѣ массу такихъ же плохихъ людей, которые будуть вмѣстѣ съ нимъ на бобахъ разводить, вмѣстѣ быть печатные пряники, вмѣстѣ горевать и радоваться. Даже мерзавецъ—и тогъ обрѣтѣтъ цѣлую уйму сомерзацевъ, съ которыми можетъ по душѣ поговорить. Нигдѣ на чужбинѣ ты ничего подобнаго не найдешь: ни сочувствія, ни снисходительности, ни даже порицаній. Вездѣ, кромѣ своего отечества, ты чужой; ни тебя никто въ земскія учрежденія не выберетъ, ни ты никого въ земскія учрежденія не выберешь. Только въ отечествѣ тебѣ до всего дѣло, даже въ такомъ отечествѣ, гдѣ на каждомъ шагу тебѣ говорятъ: «не суйся! не лѣзь впередъ! не твое дѣло!» Пускай говорятъ! ты все-таки всѣмъ существомъ своимъ сознаешь, что дѣла у тебя по горло, и что, если-бы ты даже желать послѣдовать совѣту о несованіи носа, никакъ это невозможно выполнить, потому что дѣло само такъ и подступаетъ къ твоему носу. Словомъ сказать, только тутъ, только охваченный волнами родного воздуха, ты чувствуешь себя способнымъ къ жизни существомъ, хозяиномъ «своего дѣла», человѣкомъ, котораго понимаютъ и который въ то же время самъ понимаетъ.

Всѣ эти блага наполняютъ твое существо такою полноюю довольства, какой ничто другое не можетъ тебѣ дать. А довольство, въ свою очередь, полагаетъ начало другому не менѣе сладкому чувству—чувству признательности и солидарности. Не довольствуясь отвлеченной идеей отечества, ты ищешь олицетворить его въ чемъ-нибудь конкретномъ и въ этихъ поискахъ прежде всего наталкиваешься на своихъ соотечественниковъ. Кто дать тебѣ это чувство довольства? кто дать тебѣ славу, ежели ты силенъ, и снисхожденіе, ежели ты слабъ? Кто окружилъ тебя почетомъ или накрылъ покровомъ забвенія, смотря по тому, что ты заслужилъ? Кто сказалъ тебѣ: вотъ въ чемъ твоя заслуга и вотъ въ чемъ твой стыдъ? Все это дали и сказали тебѣ

твои соотечественники. Во всякомъ другомъ мѣстѣ, отъ всѣхъ другихъ людей ты слышалъ только одинъ разговоръ: столько-то франковъ и столько-то сантимовъ; только здѣсь, въ отечествѣ, съ тобой разговаривали по-человѣчески, только здѣсь признали въ тебѣ существо, которое можно хвалить или порицать и котораго дѣйствія во всякомъ случаѣ слѣдуетъ считать обязательно-вмѣніемъ. Какъ же тебѣ не быть безконечно признателнымъ этимъ людямъ, которые ни разу не проглядѣли въ тебѣ человѣка, которые могли любить, ненавидѣть, даже презирать тебя, но одного не могли: остататься къ тебѣ равнодушными? Какъ тебѣ не считать себя солидарнымъ съ ними, какъ всеминутно отъ глубины благодарнаго сердца не восклицать: о, плоть отъ плоти моей и кость отъ костей моихъ! — когда и у нихъ при видѣ твоемъ дыханіе спирается въ зобу? Какъ не броситься въ огонь и въ воду ради присныхъ твоихъ? какъ не принять смерть, мучительство, позоръ ради друговъ гвоихъ? О, Разуваевъ! сдѣлай милость, пойми меня! вѣдь они, они одни признали въ тебѣ подлиннаго человѣка, одни они напоили тебя и радостью, и мучительствомъ, и позоромъ — какой же высшей награды можно желать?

Вотъ отчего говорится, что нѣть отечества краше собственнаго отечества; вотъ отчего ни о чёмъ не болѣть сердце такою острою болью, какъ обѣ отечества. Люди изнываютъ подъ непосильнымъ бременемъ этой боли, сходить съ ума, рѣшаются на самоубійство. Стоитъ одинокій человѣкъ гдѣ-нибудь на берегу Средиземнаго моря, среди залитой лучами солнца природы, и чувствуетъ, какъ капля по каплѣ истекаетъ его сердце кровью. Ахъ, что-то тамъ дѣлается, въ этихъ дорогихъ сердцу палестинахъ, гдѣ «С.-Петербургскія» и «Московскія Вѣдомости» издаются (wo die Citronen blühen)? Чай, Феденька Неугодовъ закусываетъ, Петръ Толстоловъ цыркаетъ... ахъ, такъ бы и легъ туда! хоть невидимкой посидѣлъ бы въ томъ засѣданіи комиссіи, когда она, издавъ сто одинъ томъ трудовъ, сама наконецъ приходитъ къ заключенію, что все земное ею свершено, и что затѣмъ ей ничего другого не остается, какъ разойтись! Да, хочется и туда! не для смѣха хочется, а потому что память о нихъ даже въ лучахъ этого горящаго солнца не можетъ до конца потонуть.

До какой степени живуче это чувство неразрывности съ отечествомъ даже въ плохихъ людяхъ, доказательствомъ

тому можетъ служить слѣдующій, правда, довольно банальный примѣръ. Колеситъ гулящій русскій человѣкъ по бѣду свѣту, сыплетъ марками и франками, уплачиваетъ тринкельды и пурбуары — и все ему почёта ни отъ кого нѣть. Наконецъ наступаетъ рѣшительный моментъ: жизнь въ обществѣ кельнеровъ, гарсоновъ и метрдотелей наскучила. Франки приходятъ къ концу — айда домой! Начинаются расчеты: столько-то на разставанье съ Парижемъ, столько-то — на ознакомленіе по пути съ садомъ Кроля, столько-то — на дорогу... И представь себѣ, Разуваевъ! такова сила инстинктивной вѣры въ привѣчающія свойства отечества, что ежели нѣть совсѣмъ завалящихъ денегъ, то гулящій человѣкъ въ своихъ путевыхъ разсчетахъ какъ-то совсѣмъ забываетъ Россію. Только бы до Эйдкунена доѣхать, а тамъ какъ-нибудь... вѣдь тамъ ужъ Россія! И дѣйствительно, доѣхали до Вержболова, а здѣсь ужъ давно ждутъ: пожалуйте по этапу! Ну, что-жъ! по этапу, такъ по этапу! Бывали! видали!

Я знаю, Разуваевъ, что разъясненія эти утомили тебя, но я остановился на нихъ потому, что надо же тебѣ знать, чѣмъ такое отечество и почему такъ естественно его любить. Вѣдь ты градешь съ тѣмъ, чтобы играть роль, ты даже въ обывательскихъ книгахъ въ графѣ «чѣмъ занимается» отмѣченъ: «дережиращій классъ» — надо же, чтобы ты понималъ, чѣмъ именно разумѣли наши предки, говоря: земля наша велика и обильна, но порядку въ ней нѣть. Но, сверхъ того, я и не для тебя одного пишу. Помимо тебя, на свѣтѣ существуютъ легіоны вергопраховъ, которые слишкомъ охотно говорятъ о прекращеніяхъ и вовсе не думаютъ о томъ, что отечество не прекращать, а любить надлежитъ. Пускай и они тронутся моими стенаньями, пускай скажутъ себѣ: «да, онъ правъ! если мы присныхъ своихъ предадимъ расточенію, то съ кѣмъ же сами останемся? кто будетъ насъ красавцами называть?»

Идея отечества одинаково для всѣхъ плодотворна. Честнымъ она внушаетъ мысль о подвигѣ, бесчестныхъ — предостерегаетъ отъ множества гнусностей, которыхъ безъ нея несомнѣнно были бы совершены. Есть еще и другая идея, въ томъ же смыслѣ плодотворная — это идея о судѣ потомства; но такъ какъ она непосредственного дѣйствія не оказываетъ, то и доступна лишь людямъ, не чуждыимъ обобщеній, — тогда какъ мысль о томъ, какъ будеть принять тотъ или другой поступокъ въ средѣ соотечественниковъ, бьетъ прямо въ чувствительное мѣсто и отчасти имѣть даже угро-

жающій характеръ. Ибо нѣтъ презрѣнія существеніе того презрѣнія, которымъ пользуется человѣкъ отъ своихъ соотечественниковъ.

Но, можетъ-быть, ты скажешьъ на это: «вѣдь самъ же ты, за нѣсколько страницъ выше, утверждалъ, что и мерзавцу въ своемъ отечествѣ веселѣе, потому что онъ найдетъ тамъ массу вполнѣ однородныхъ сомерзавцевъ, съ которыми ему можно душу отвести; стало-быть, дескать, и я: подберу подходящую компанію, и будемъ мы вкупѣ сомерзавствовать, а до прочаго намъ дѣла нѣтъ». Прекрасно; дѣйствительно, ты можешьъ такую компанію обрѣсти. Но вѣдь ежели я рисовалъ тебѣ подобную перспективу, то, право, не для того, чтобы ты непремѣнно въ ней искалъ себѣ успокоенія, а только на случай крайности. Не спорю, можно такъ искусно нырнуть въ шайку специалистовъ, что ею, такъ-скажать, отъ всего остального свѣта себя загородить; но не забывай, что въ такой шайкѣ тебѣ предстоитъ только бражничать да по душѣ калѣкать, а вѣдь тебѣ, главнѣйшимъ образомъ, надо обѣгоривать и дѣла дѣлать. Вотъ эти-то послѣднія функции и вынудятъ тебя отъ времени до времени выбѣгать изъ шайки и обращаться къ прочимъ партикулярнымъ людямъ. Теперь представь себѣ слѣдующее. Допустимъ, что въ виду засилія, которое ты взялъ, партикулярные люди не посмѣютъ совершенно уклониться отъ сношеній съ тобой; но такъ какъ имъ известно, что ты несомнѣнныи кровопивецъ, то они непремѣнно хотѣтъ частицу сокровища да утаить отъ тебя. Если же имъ о кровопивствѣ твоемъ неизвѣстно, если ты сумѣлъ—не скажу: сдѣлаться честнымъ человѣкомъ, но по крайней мѣрѣ прикинуться таковымъ, то они не только все свое сокровище, но и тѣлѣ, и души—все полностью тебѣ препоручатъ. Не ясно ли, что даже въ такомъ дѣлѣ, какъ облапошиванье, быть кровопивцемъ загадочнымъ выгоднѣе, нежели неприкрытымъ нахаломъ, который всей своей физіономіей только-что не говорить: что-жъ ты задумался, не плюешь на меня? плюй!

Осторожность и загадочность—вотъ школа, которую ты обязываешься пройти, если хочешь, чтобы въ тебѣ воистину видѣли «дирижирующій классъ». Ибо обыватель простодушень, и ежели видѣть, что на него наступаютъ съ тѣмъ, чтобы горло ему перекусить, то уклоняется. Но когда его потихоньку невѣдомо гдѣ сосутъ, онъ только перевертывается,

Теперь—о государствѣ. Эта идея тоже плодотворная, но только въ другомъ родѣ и въ другой степени. Но ты и ее смышишаешь съ Грациановымъ, а публицисты твои—съ цензурнымъ вѣдомствомъ; а потому надо и въ данномъ случаѣ кое-что тебѣ пояснить. Скажемъ такъ: отечество—отъ Бога, государство—дѣло изобрѣтательности человѣческаго ума. Вотъ главное и существенное различіе между отечествомъ и государствомъ; остальные подробности ты можешь сообразить самъ по тому же масштабу. Необходимо, впрочемъ, помнить еще слѣдующее: въ представлении о государствѣ ты не встрѣтишь ни съ подблюдными, ни съ свадебными пѣснями, ни съ сказками, ни съ былинами, ни съ пословицами, словомъ—сказать — ни съ чѣмъ изъ всего цикла тѣхъ нѣжашихъ явленій, которыя обдаютъ тебя тепломъ, когда ты мыслишь себя лицомъ къ лицу съ отечествомъ. Ничего подобнаго государство тебѣ не дастъ, но у него имѣется въ рукахъ громадная привилегія; оно властно обеспечить или не обеспечить твоему отечеству спокойное пользованіе этими благами. Это обстоятельство очень важно, и ты отнюдь не долженъ упускать его изъ вида, если хочешь умнѣнко вести дѣла свои. Такъ что ежели, напримѣръ, ты сдуру будешь молить Бога, чтобы государство не обеспечивало хороводовъ и игръ, но воспрещало и преслѣдовало оные, то, во-первыхъ, молитва твоя не будетъ угодна Богу, а во-вторыхъ, ты самъ же первый почувствуешь на себѣ ея неблагопріятныя послѣдствія, если Провидѣніе допустить осуществленіе ея. Знай, Разуваевъ, что только народы веселые и хороводолюбивые къ объегориванію ласковы; народы же угрюмые, узаконеніями непосильно изнуряемые, даже для самыхъ изобрѣтательныхъ кровопрѣпцевъ даютъ мало пищи. Отданные въ жертву унылости, они безмолвно изнемогаютъ безъ малѣйшей надежды когда-нибудь нагулять приличное тѣло. Кости да кожа—поистинѣ съ такого одра больше двугривеннаго и ожидать нельзя! Это не я говорю, а исторія.

Не менѣе плодотворна и идея о начальствѣ. Идея эта тебѣ небезызвѣстна—этого отрицать нельзя, но все-таки скажу, даже и ее ты какъ-то неблагородно представляешь себѣ. Начальство представляется тебѣ чѣмъ-то такимъ, что наполняетъ крикомъ вселенную, а въ свободное отъ криковъ время принимаетъ барашка въ бумажкѣ. Нѣть, это не такъ; это идеаль, уже вышедший изъ употребленія, и притомъ такой, который не за что было бы любить. Но не

любить начальства нельзя, такъ какъ и оно, совмѣстно съ государствомъ, для того установлено, дабы наидѣйствительнѣйше обезпечивать неприкосновенность хороводовъ и игръ. А потому, ежели ты будешь въ молитвахъ своихъ упоминать о начальствѣ (это полезно: «да тихое житіе поживемъ»), то проси Бога такъ, чтобы въ начальственныхъ распоряженіяхъ было больше снисходительности и менѣе настоятельности, и чтобы, не теряя изъ вида спасительной строгости, начальство въ то же время памятовало, что и оно, яко изъ человѣковъ состоящее, прегрѣшать можетъ. Именно такъ и молись, ибо въ противномъ случаѣ результать одинъ: кости да кожа, съ его неизбѣжнымъ послѣдствіемъ въ формѣ постепенного закрытія заведеній, гласящихъ: распивочно и на выносъ.

Итакъ, три главныхъ объекта предстоятъ для твоей, Разуваевъ, любви:

Во-первыхъ, отечество, которое ты обязываешься любить—будемъ говорить кратко—за то, что оно твое отечество и его тебѣ далъ Богъ.

Во-вторыхъ, государство, которое ты долженъ любить ради отечества, дабы послѣднее не впало въ уныніе и свойственные ему игры и смѣхи неповрежденными склонило.

Въ-третьихъ, начальство, которое ты долженъ любить тоже ради отечества и по той же причинѣ.

Какъ видите, во всѣхъ трехъ случаяхъ отечество стоитъ на первомъ планѣ. Я знаю, что для себя это сущій сюрпризъ, но чтѣ же дѣлать, мой другъ! я бы и самъ радъ всѣхъ поровнять, но такъ ужъ выходитъ.

Повторю: все сейчасъ изложенное я высказалъ по собственному опыту. Когда я былъ столпомъ, то такъ же, какъ и ты, Разуваевъ, ровно ничего не понималъ. Для меня это было еще постыднѣе, потому что я грамотенъ. Грановскаго слушалъ, Бѣлинскаго читалъ, восторгался, трепеталъ отъ умиленія—и, представь себѣ, всѣ эти восторги и умиленія я словно во снѣ или въ фантастическомъ представлѣніи продѣльывалъ! Отслушавъ, бывало, Грановскаго, а черезъ часъ, какъ ни въ чемъ не бывало, думаешь: «а чтѣ, кабы кто у меня душу купилъ!» Какимъ образомъ происходилъ чудодѣйственный процессъ этого жизненнаго двоегласія—объ этомъ цѣлые томы психологическихъ изслѣдований можно написать; но онъ происходилъ несомнѣнно, и я былъ въ немъ дѣйствующимъ лицомъ. Я безъ умолку болталъ о любви къ отечеству—и въ годину опасности

жертвовалъ на алтарь отечества чужія тѣла; я требовалъ, чтобы отечественный кульпъ былъ объявленъ обязательнымъ, но лично на встречу врагу не шелъ, а нанималъ за себя пропойца. И въ довершениѣ всего я снабжалъ по-жертвованныхъ и нанятыхъ мною «защитниковъ» сапогами на картонныхъ подошвахъ и, прося у Бога побѣдъ и одолѣній, нимало не думалъ о томъ, далеко ли уйдутъ на картонныхъ подошвахъ мои ратнички... И вотъ за это теперь я—пропащій человѣкъ.

Я говорилъ себѣ: отечество — святыня! обѣ этомъ во всѣхъ стихотвореніяхъ упоминается. Но ежели мое личное процвѣтаніе не поставлено въ прямую зависимость отъ процвѣтанія отечества, то пускай оно остается святыней, а я буду процвѣтать особо. Правда, въ моей головѣ иногда мелькала мысль, что этотъ выводъ лукавый и постыдный, что, слѣдя Грановскому и Бѣлинскому, его надлежало бы какъ разъ выворотить наизнанку, то-есть сказать: ежели мое личное процвѣтаніе не поставлено въ зависимость отъ процвѣтанія отечества, то я самъ, по совѣсти, обязанъ устроить эту зависимость; но я какъ-то ухитрялся обходить эту назойливую мысль и предпочиталъ оставаться при первоначальной редакціи. Я срывалъ цвѣты удовольствія, а соотечественники мои унывали; я праздновалъ, а соотечественники мои повинны бѣша работѣ; я быль изъять отъ тѣлесныхъ наказаній, а соотечественники мои были изъяты отъ наградъ. И въ то же время я слушалъ Грановскаго, восторгался, восклицалъ: «отечество — святыня!» И вотъ за это теперь я — пропащій человѣкъ.

Прорывались однако-жъ минуты, когда мнѣ думалось: а вѣдь, несмотря на процвѣтаніе, все-таки въ моемъ существованіи есть что-то непрочное и какъ бы неблаговонное. Куда бы я ни сунулъ свой носъ, вездѣ навстрѣчу мнѣ раздавался окрикъ: «чего съ жиру бѣсишься! твое дѣло не лѣзть, а другимъ примѣръ подавать!» «Подавать примѣръ» — это, по тогдашнему времени, значило: собственнымъ тѣломъ такую филантропію пропагандировать, чтобы никто своего носа отнюдь никуда не совалъ. И чтѣ же! первого окрика было вполнѣ достаточно, чтобы я убѣдился. Мнѣ какъ-то сразу сдѣлалось ясно, что дѣйствительно я съ жиру бѣшуясь, а не по настоящей внутренней нуждѣ дѣйствую, что, въ сущности, для меня даже выгоднѣе не совать носа, потому что тогда и въ мою мурью никто носа не сунетъ. И, заручившись этой столпововою мудро-

стью, я ни за себя, ни за другихъ—ни за кого пальцемъ не шевельнуль. Ни за кого не заступился, никого не загородилъ грудью, и въ то же время умилялся и воскликнулъ: «отечество — святыня!» И воть за это теперь я — пропащій человѣкъ.

Какъ въ быдое время мнѣ ни до кого не было дѣла, такъ теперь никому пѣть дѣла до меня. Никто ко мнѣ не устремляется, никто отъ меня ничего не ждетъ, никто даже въ толкъ не можетъ взять, хочу ли я чего-нибудь, или просто блажу. А я между тѣмъ... понялъ! Я понялъ, чтѣ такое отечество, понялъ, почему оно вправѣ требовать отъ сыновъ своихъ жертвъ и даже самоотверженія, и—увы!—понялъ даже и то, почему отъ меня лично оно ни жертвъ, ни самоотверженія не требуетъ: оно лучше меня самого знаетъ, что я дать ему ничего не могу. Оставленный всѣми, отжившій, выдохшійся, я обязываюсь изнывать въ отчужденіи, услаждая себя лишь надеждой, что когда-нибудь мой сынъ или внукъ утопятъ званіе пропащаго человѣка въ званіе человѣка вообще и сына отечества въ особенности. То-есть тогда, когда даже потроховъ моихъ въ поминѣ не будетъ. Скажи, можно ли представить себѣ боль, горшую этой!

Воть отъ этой-то боли я и желаю предостеречь тебя, Разуваевъ. Не иди по стопамъ моимъ, и ежели достигнешь производства въ столпы, то не понимай этого званія въ черезчуръ буквальномъ смыслѣ, но потщись изъ недвижимаго имущества превратиться въ движимое. Люби отечество свое, люби! Служи ему собственнымъ лицомъ, а не чрезъ посредство наемниковъ; не процвѣтай особо, совместно съ твоими соотечественниками, не угодай въ бездѣльничествѣ и равнодушіи, но стой грудью за други своя, жертвой своими интересами, своею личностью, самоотвергайся! Ежели тебѣ жалко поступиться рублемъ, то поступись хоть двугривеннымъ. Все это для тебя даже необходимо, нежели для меня. Мы, Прогорѣловы, столповали въ такое тугое время, когда люди больше глазами хлопали, нежели понимали; тебѣ, Разуваевъ, предстоитъ столповати въ такое время, когда даже и мелкотѣ приходить на умъ: «а чтѣ, ежели этотъ самый кусь, который онъ къ устамъ подносить, взять да вырвать у него?» И вырвать — не сомнѣвайся, а тебя произведутъ въ пропащіе люди, и все это произойдетъ тѣмъ легче, что на твое мѣсто давно ужъ самъ себя замѣтилъ новый столпъ: содержатель дома тер-

шности Ротозѣевъ... Вотъ сколько вѣсъ тамъ, въ щеляхъ, притаилось... столповъ!

Однимъ словомъ, люби отечество — и вѣрь, что убытка не будетъ. А затѣмъ мнѣ остается условиться еще на счетъ нѣкоторыхъ подробностей, и задача моя будетъ кончена.

По поводу вашего появленія было поднято много разнаго принципіального разговора. Собственность, семейство, государство — вотъ трїада, которую, по мнѣнію охранителей и публицистовъ, вы призваны защитить и навсегда утвердить. Прекрасно: постараемся же говориться, въ какой мѣрѣ и какъ ловчѣе все это осуществить.

«Собственность» — ты понимаешь достаточно, то-есть всѣмъ своимъ нутромъ. «Все,— говоришь ты:— что я успѣль опустить въ *свой* карманъ, помѣстить въ *своей* квартирѣ, запереть въ *свою* шкатулку, все, что я могу, по личному усмотрѣнію, перенести въ другое мѣсто и въ случаѣ банкротства спрятать — все это есть собственность движимая. Дома же и земли, которые я не могу ни перенести, ни спрятать, но могу: первые, застраховавъ въ двойной цѣнности, поджечь, а вторыя, исхлопотавъ отъ установленныхъ баснописцевъ залоговые свидѣтельства (съ виньетками и картинками), заложить въ кредитномъ учрежденіи — это собственность недвижимая». То же самое говорять и твои юристы и публицисты, только съ несравненно меньшей ясностью, чѣмъ, впрочемъ, и вполнѣ естественно, ибо на неясности почтѣть ихъ право на получение гонорара.

Все это однако-же относится къ собственности уже осуществившейся, то-есть опущенной въ карманъ, запертой въ шкатулку или получившей отъ нотаріуса надлежащую санкцію. О томъ же, какимъ образомъ произошелъ процессъ этого осуществленія, тутъ вѣвсе умалчивается, а мнѣ сдается, что съ точки зрѣнія принципіальностей это-то именно и важно. Какимъ образомъ запутался въ твоемъ карманѣ рубль? какъ случилось, что, постепенно перекладывая запутавшіеся рубли изъ кармана въ шкатулку, ты наконецъ воскликнулъ: «а теперь пойдемъ къ нотаріусу и постараемся опредѣлить, чѣмъ слѣдуетъ разумѣть подъ именемъ недвижимаго имущества?»

Ежели ты дѣйствительный поборникъ принциповъ, ежели ты воистину призванъ оградить и утвердить оные, то ты поймешь мое беспокойство. Прямо тебѣ говорю: какъ на-садитель и оградитель принципа собственности, ты дол-

женъ такимъ образомъ вести свои дѣла, чтобы во всякое время дать отчетъ относительно способовъ приобрѣтенія. По крайней мѣрѣ я, Прогорѣловъ, былъ въ старые годы вполнѣ на этотъ счетъ чистосердеченъ. «Все, что вы видите—говорилъ я—все это перешло ко мнѣ отъ папеньки и маменьки (были и исключенія, но очень немногі), я же только одно усовершенствованіе въ донедшемъ имуществѣ допустилъ: заложилъ оное въ опекунскомъ совѣтѣ». По моему мнѣнію, не меныше чистосердечіе въ этомъ смыслѣ обязываешься выказать, Разуваевъ, и ты.

Но тутъ-то именно ты и начинаешь увертываться. На одно набрасываешь покровъ давности (тоже, братъ, принципъ!), на другое—покровъ коммерческой тайны. А юристы и публицисты твои, такъ тѣ даже прямо говорятъ, что такъ какъ въ данномъ случаѣ истцовъ въ виду не имѣется, то и надлежитъ въ требованіи чистосердечнаго отчета отказать. И отказываютъ—что будешь дѣлать! И даже правильно отказываютъ, потому что допусти васъ подноготную разворачивать, вы и сами искляузничаетесь, и другихъ до смерти закляузничаете.

Однако для партикулярного человѣка это не резонъ, ибо онъ не юристъ и не публицистъ, а простой сынъ отечества. Какъ только онъ замѣчаетъ, что отвѣтчикъ начинаетъ ссылаться на отсутствіе истцовъ, такъ тотчасъ начинаетъ подозрѣвать: а вѣдь отсутствующій-то истецъ, пожалуй, и есть именно я, партикулярный человѣкъ!

Допустить, чтобы эта мысль утвердилась въ немъ—очень невыгодно, потому что, развивая, провѣряя и дополняя ее, онъ можетъ прийти къ выводамъ поистинѣ поразительнымъ. Какъ юристъ, ты ясно понимаешь, чѣмъ ты вправѣ «воспользоваться», что вотъ это ты можешь «оттягать», а вотъ это—просто «отнять»; но партикулярный человѣкъ, какъ сынъ отечества, во всемъ этомъ сомнѣвается. Какъ юристъ, ты говоришь: «какъ взялъ, такъ и отдай!»—а онъ, какъ сынъ отечества, возражаетъ: «и все-таки ты поступай по-божески!» Какъ юристъ, ты говоришь: «своими ли глазами ты смотрѣлъ? своими ли руками бралъ?...»—а онъ, какъ сынъ отечества, возражаетъ: «и все-таки ты меня обманулъ, зубы мнѣ заговорилъ!» Какъ юристъ, ты его убѣждаешь: «ты пропустилъ всѣ сроки, не жаловался, не апеллировалъ, на кассацию не подалъ, кто-жъ виноватъ, что ты прозѣвалъ?»—а онъ, какъ сынъ отечества, возражаетъ: «гдѣ же это видано, чтобы изъ-за какихъ-то кляузъ

у меня мое отнимать?» Какъ юристъ, ты говоришь: «я за своей собственностью блюду, а ты за своей блюд!» а онъ, сынъ отечества, возражаетъ на это: «воръ!»

Конечно, всѣ эти возраженія ничтожны и будутъ оставлены безъ послѣдствій; но когда живешь среди сыновъ отечества, то надобно заранѣе приготовиться къ тому, чтобы и ничтожныя возраженія выслушивать. Сыны отечества простодушны и неразвиты, и въ довершеніе всего каждый изъ нихъ наивно думаетъ: своего-то вѣдь жалко. Очень можетъ быть, что это и предразсудокъ; но что же дѣлать, мой другъ! онъ настолько живучъ, что не принять его къ свѣдѣнію—просто нельзя.

Я думаю, впрочемъ, что ты до извѣстной степени удовлетворишъ этому предразсудку, если признаешь совмѣстное существованіе своей собственности и чужой. Это будетъ и просто, и благородно. Неусыпно стеречь свою шкатулку и въ то же время не подбирать ключа къ шкатулкѣ сосѣда; держаться обѣими руками за рубль, запутавшійся въ карманѣ, и въ то же время не роптать, ежели видишь такой же рубль въ карманѣ приснаго... чтѣ можетъ быть величественнѣе этого зрѣлица! Вотъ задачи, которыхъ предстоитъ осуществить истинному радѣтелю принципа собственности, и, по-моему, это задачи очень хорошія, особенно ежели выраженіе о подбираніи ключа не принимать въ исключительно буквальномъ смыслѣ, но стараться какъ можно шире распространять его дѣйствіе. Не пренебрегай ими, Разуваевъ! Не разоряй, не грабь и на вопросъ: кого же ты будешь допекать послѣ того, какъ въ конецъ допечешь обывателя?—не отвѣчай съ нахальствомъ: «Йень до-ста-а-нетъ!» Нѣть, когда-нибудь наступить минута, что и онъ не достанетъ, ибо всякому доставанію положень предѣль, а слѣдовательно положенъ предѣль и твоимъ допеканьямъ.

Человѣкъ ни къ чему не относится съ такою чувствительностью, ничего такъ ревниво не оберегаетъ, какъ ту совокупность материальныхъ удобствъ, которыми онъ успѣлъ обставить свою жизнь. Малый ущербъ, приводящій къ стѣсненію этой обстановки, заставляетъ его роптать и искать глазами, гдѣ обидчикъ? И такъ какъ обидчика имя рекъ никогда налицо не оказывается, то онъ невольно приходитъ къ необходимости обобщать и распространять...

Ужели ты не боишься тѣхъ горькихъ послѣдствій, ко-

торыя неизбежно должны произойти изъ подобныхъ обобщений?

Итакъ, будь умѣренъ и помни, что титуль дирижирующего класса, который ты стремишься восхитить, влечеть за собой не одни права, но и обязанности. Обязанности эти, въ томъ, что касается принципа собственности, гласятъ такъ: «не укради!» А такъ какъ по обстоятельствамъ времени такая редакція представляется черезчур уже строгою, то мы можемъ смягчить ее такъ: не до конца обездоливай, но непремѣнно оставляй обывателю столько, чтобы изобрѣтательность его и впредь находила для себя поводъ изощряться. Ежели ты изъ рубля отнимешь половину—это, я полагаю, будетъ вполнѣ прилично; ежели ты отнимешь изъ рубля восемь гравирований, то это будетъ уже кровопрѣстенно, но все-таки выносимо. Остального не отнимай: пускай опять разживаются!

Затѣмъ на очереди стоять принципъ семейственности, который тоже обязываетъ тебя оградить. Сознаюсь откровенно: мы, Прогорѣловы, достаточно-таки порасшатали этотъ принципъ, или, лучше сказать, до того его обнажили, что въ концѣ концовъ въ немъ ничего не осталось, кроме вѣзжаго салона, въ которомъ во всякое время происходили разговоры объ улучшениї быта милой бездѣлицы. И вотъ, когда дѣти перестали поздравлять родителей съ добрымъ утромъ и цѣлованіемъ родительскихъ ручекъ выражать волнующія ихъ чувства по поводу съѣденнаго обѣда, когда самоваръ, около которого когда-то ютилась семья, исчезъ изъ столовой куда-то въ буфетную, откуда чай, разлитый рукою паемника, разносился по закоулкамъ квартиры, когда дни именинъ и рожденій сдѣлались пусть формальностью, служащею лишь поводомъ для выпивки,— только тогда прозорливые люди догадались, что семейству угрожаетъ дѣйствительная опасность. Начали думать, соображать, какъ этому дѣлу помочь, и, разумѣется, прежде всего бросились за справками. Оказалось, что вездѣ было такъ. Во всѣхъ странахъ цивилизованныаго міра, где Прогорѣловы завѣдавали дѣлами культуры, вездѣ они низвели семейный вопросъ до уровня милой бездѣлицы. Изъ драмы сдѣлали оперетку, изъ совмѣстнаго скита—изъ спальней въ дѣтскую, изъ дѣтской на кухню, потомъ въ столовую, гостиную и обратно черезъ всѣ инстанціи въ спальню—вольное катанье на тройкахъ въ трактиръ «Самаркандъ». И вездѣ же на смигу ослабѣ-

вшимъ Прогорѣловымъ явились люди свѣжіе, неиспорченные, которые тѣмъ съ большей готовностью подняли брошенныя въ грязь знамена, что въ совершенствѣ поняли, какую службу они могутъ сослужить. У всѣхъ на памяти, какъ ловко подняла, въ тридцатыхъ годахъ, знамя семейственности и домашняго очага западно-европейская буржуазія и какъ крѣпко она держалась за него, пока вѣчно достойная памяти Наполеонъ III, при содѣствіи Оффенбаха, Шнейдерши и нынѣшней неутѣшной вдовы, не увлекъ ее въ сторону милой бездѣлицы.

Въ виду столь рѣшительныхъ справокъ предполагалось, что то же самое произойдетъ и у насъ. Сначала Прогорѣловы расшатаются, а потомъ кабатчики и мѣнялы утвердятъ. Первая часть этой программы уже выполнена, но будетъ ли выполнена послѣдняя — это еще вопросъ.

Миѣ кажется, что наиболѣе существеннымъ препятствиемъ въ этомъ смыслѣ явится родъ вашихъ занятій. Вы, кабатчики, желѣзнодорожники и мѣнялы, не имѣете занятій осѣдлыхъ и производительныхъ, но исключительно отдаетесь подсиживанью и сводничествомъ. Въ согласность этому и жизнь ваша получила характеръ кочевой, такъ что большую ея часть вы проводите въ домовъ своихъ, въ Кунавинѣ. Но о какихъ же принципахъ можетъ быть рѣчь въ Кунавинѣ?

Очевидно, что публицисты, возложившіе на васъ обязанность утвердить принципъ семейственности, совсѣмъ проглядѣли эту обстановку. Ихъ ввела въ заблужденіе ваша грубость, которую они приняли за патріархальность. Въ то время, когда у западно-европейскаго буржуа наполеоновскаго образца «l'eau vient à la bouche» — у васъ «текутъ слюни»; въ то время, какъ у того же буржуа изъ устъ вылетаетъ цѣлый фейерверкъ милыхъ мерзостей — изъ вашей утробы извергается какое-нибудь односложное паскдество; въ то время, какъ западный буржуа разговариваетъ, убѣждаетъ, умоляетъ, — вы, «глядя по товару», выкладываете болѣе или менѣе крупную ассигнацію, кратко присовокупляя: «Машка, пошевеливайся!» Не спорю, съ точки зрѣнія ясности намѣреній, ваши «слюни» сравнительно менѣе паскудны, нежели французское «l'eau à la bouche», но спрашивается: что же однако общаго между кунавинскими «слюнями» и семейственностью? О какомъ тутъ «утвержденіи» можетъ идти рѣчь?

Поэтому, въ смыслѣ семейственности, я не надѣюсь на тебя, Разуваевы! Ничего ты не утвердишь. Но такъ какъ на тебя обращены всѣ взоры, и такъ какъ, въ качествѣ новоявленной «интеллигенціи», чаша сія ни въ какомъ случаѣ не минетъ тебя, то, по мнѣнію моему, ты только тогда успѣшишь... ну, хоть притвориться поборникомъ чистоты семейнаго очага, когда радикально измѣнишь родъ своихъ занятій. Перестань заниматься кабаками, не подсиживай, не сводничай, сократи до минимума экскурсіи въ Кунавино, производи, а не маклери—это до известной степени осадить тебя, угреть твои «слюни» и приведеть въ порядокъ твои утробныя урчанія. Но будетъ ли и за всѣмъ тѣмъ принципъ семейственности тобой утверждень—на это, я полагаю, и прозорливѣйшій изъ публицистовъ утвердительного отвѣта не дастъ. Да и отвѣтить тутъ можно только одно: не будетъ, навѣрное не будетъ—вотъ и все.

Въ заключеніе еще одинъ вопросъ: о неоставленіи присныхъ безъ заступленія, или же—что то же самое—о не примѣненіи къ нимъ принципа предательства.

Я, Прогорѣловъ, совершенно некомпетентенъ по этому вопросу. Всю жизнь я столповаль за свой собственный счетъ, а о присныхъ слышалъ только за обѣдней въ церкви. Тѣмъ не менѣе, возобновляя въ памяти процессъ моего переименованія изъ столповъ въ пропащіе люди, я долженъ сознаться, что въ числѣ причинъ этого превращенія немаловажную роль играло и то, что я прощѣталъ независимо отъ процвѣтанія моихъ соотечественниковъ, что я ни за кого не поревновалъ, никого своей грудью не заслонилъ. Стало-быть, ежели ты желаешь столповать продолжительно и благополучно, то не только не долженъ брать примѣровъ съ меня (къ чему ты, мимоходомъ сказать, черезчуръ наклоненъ), но, напротивъ, обязываешься поступать совершенно наоборотъ. Я равнодушествовалъ—ты сострадай; я бездѣйствовалъ—ты хлопочи; я держался правила: носа изъ муры не совать—ты выбѣгай изъ муры какъ можно чаще, суй свой носъ, суй! Хлопочи о концессіяхъ, но не забывай и о соотечественникахъ. Это хорошо зарекомендуется тебѣ въ ихъ глазахъ и ихъ самихъ заставить надѣяться и вѣрить въ лучшіе дни. Выдѣсть ли что-нибудь изъ этихъ хлопотъ, надѣждъ и вѣрованій—это вопросъ другой, и ежели ты хочешь, чтобы я отвѣтилъ на него по совѣсти, то изволь, отвѣчу! не выдѣсть ничего, потому что

у тебя и на умъ ничего такого—чтобъ что-нибудь вышло—  
нѣтъ. Но все-таки старайся, радѣй, хлопочи!

За симъ моя рѣчь кончена. Вкратцѣ она можетъ быть  
резюмирована такъ:

Люби отечество, чти государство, повинуйся начальни-  
камъ.

Блюди свою собственность, но не отказывай и присному  
твоему въ правѣ имѣть таковую.

О Кунавинѣ по возможности позабудь.

А главное все-таки: люби, люби и люби свое отечество!  
Ибо любовь эта дастъ тебѣ силу и все остальное безъ труда  
совершить.

---

# Оглавление

## VI ТОМА.

СТР.

### Пестрыя письма.

(1884—1886 гг.)

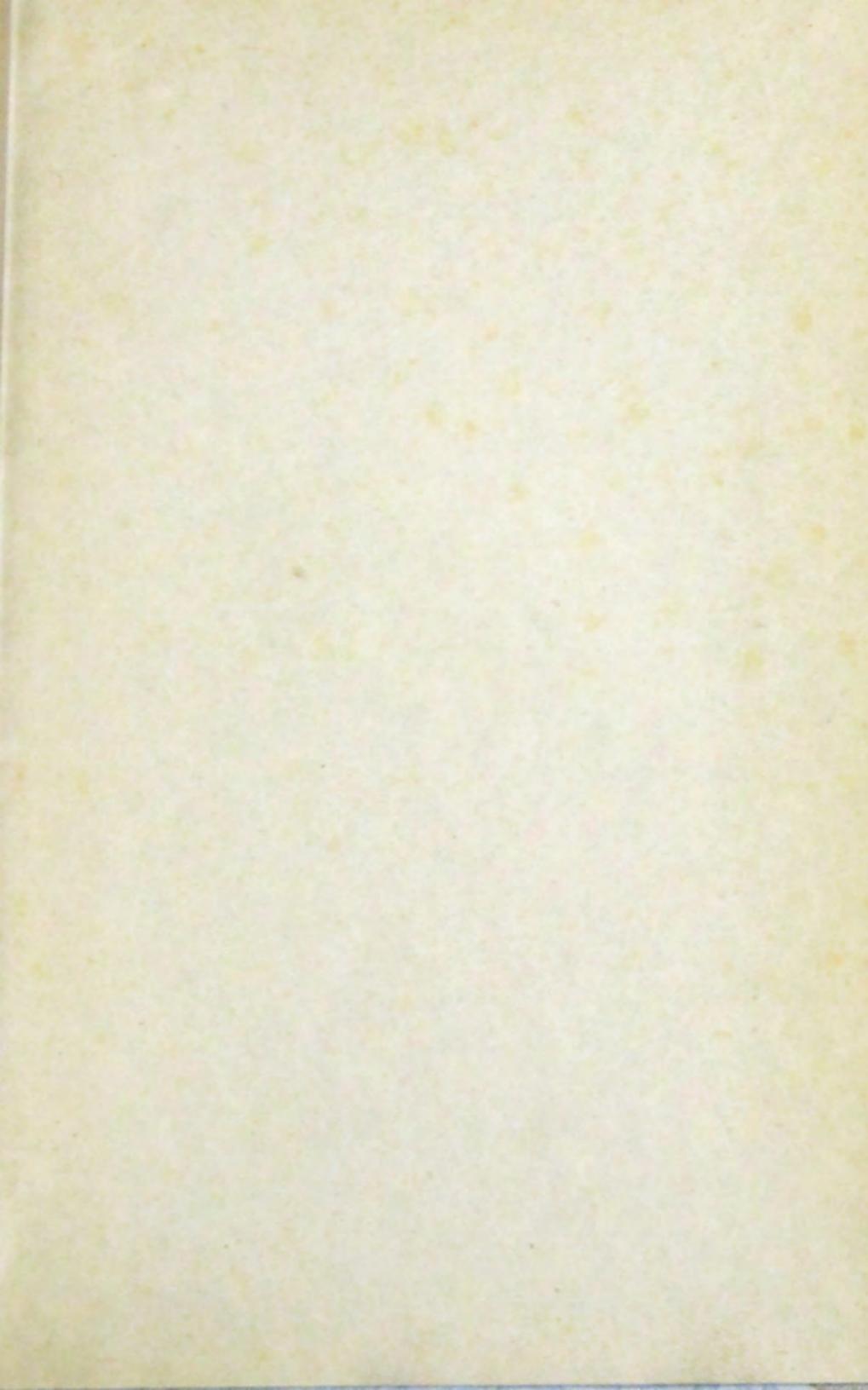
|  |            |
|--|------------|
| Письмо первое . . . . .                      | 5          |
| Письмо второе . . . . .                      | 13         |
| Письмо третье . . . . .                      | 26         |
| Письмо четвертое . . . . .                   | 50         |
| Письмо пятое . . . . .                       | 83         |
| Письмо шестое . . . . .                      | 109        |
| Письмо седьмое . . . . .                     | 132        |
| Письмо восьмое . . . . .                     | 150        |
| Письмо девятое . . . . .                     | 172        |
| <b>Недоконченные бесѣды. (1873—1884 гг.)</b> | <b>187</b> |

### Убѣжнище Монрепо.

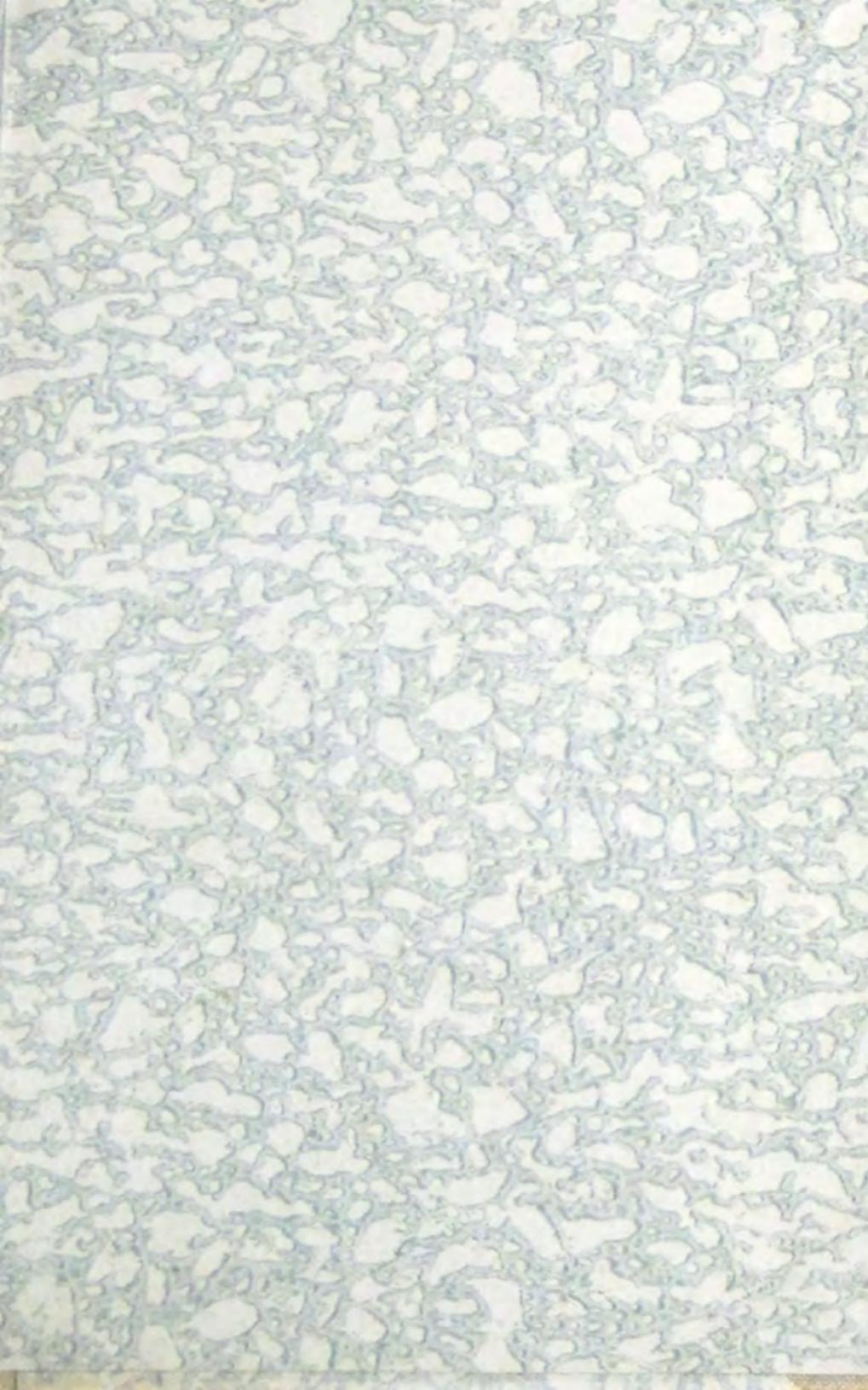
(1878—1879 гг.).

|  |     |
|--|-----|
| I. Общий обзоръ . . . . .                  | 341 |
| II. Тревоги и радости въ Монрепо . . . . . | 372 |
| III. Монрепо-усыпальница . . . . .         | 407 |
| IV. Finis Монрепо . . . . .                | 435 |
| V. Предостереженіе . . . . .               | 472 |

---







K-5-15-70

Ward:

-

Cherry

Ward:

10-14

Ward